

НОЙ ГОРДОН

ЛЕЖДАРЬ

УЧЕНИК АВИЦЕННЫ



Он жил, чтобы спасти других...

XI век. Сирота Роберт наделен даром целительства. Странствующий лекарь открывает ему секреты ремесла. В путешествиях он обрел славу и встретил любовь. Однако бродяга-знахарь не пара для богатой девушки.

Прошли годы. Роберт стал любимым учеником Авиценны, ему обязаны жизнью правители государств, его боготворят, ему завидуют. И однажды он вновь встречает ту, с которой был вынужден расстаться...

Ной Гордон

ЛЕКАРЬ. Ученик Авиценны.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами — удивительная книга. Хотя действие происходит в средневековые времена, в ней нет умопомрачительных погонь, захватывающих поединков и хитроумных дворцовых интриг. Книга довольно велика по объему, но в ней нет ничего лишнего: каждая деталь, мелочь, чуть ли не всякая реплика занимают свое место и рано или поздно сыграют свою роль в повествовании. Так принято в хороших детективах, однако эта книга — вовсе не детектив. Это исторический роман, в котором реальными историческими лицами являются лишь два персонажа да еще несколько монархов, упомянутых вскользь, скорее для создания надежного исторического фона.

На наш взгляд, потрясающий успех романа во многом связан с личностью его создателя. Перу американца Ноя Гордона, внука эмигрантов из царской России, принадлежит около десяти книг, каждая из которых заслужила внимание многочисленных читателей, запомнилась, вызвала интерес и благосклонные отклики строгих критиков.

В 1944 году Ноя, выходца из рабочей семьи, призвали в американскую армию. Повоевать он не успел, но получил льготы ветерана войны, в том числе право на государственную субсидию для обучения в Университете. Родители хотели, чтобы сын стал врачом и имел гарантированный доход, однако сам Ной, познакомившись поближе с медициной, предпочел журналистику. Вместе с тем он на всю жизнь сохранил любовь к медицине и глубокое уважение к медикам. Впоследствии несколько десятков лет проработал редактором в различных журналах по медицине и биологии. Литературное творчество стало чем-то вроде хобби, и все романы писателя, как исторические, так и связанные с современностью, повествуют исключительно о врачах. Владея определенными профессиональными знаниями, хорошо зная «внутреннюю кухню» медицины, писатель смог достоверно, убедительно, а главное, увлекательно, рассказывать о судьбах своих героев, влюбленных в дело, которому они посвятили всю жизнь.

Работа над романом «Лекарь. Ученик Авиценны» заняла у Н. Гордона около пяти лет: избранная им тема требовала не только познаний в медицине, но и обширных сведений по истории Англии и средневекового Востока, знания некоторых специфических вопросов христианского, иудейского и мусульманского богословия, древних обычаев и традиций нескольких народов. Ведь чтобы сделать живыми людьми героев, живших тысячу лет назад, необходимо было погрузиться в тогдашнее мировоззрение и быт, изучить множество деталей, вплоть до одежды и кулинарных рецептов. Нельзя не признать, что с поставленной задачей автор справился блестяще. Персонажи, созданные его богатой фантазией, живут в реальной обстановке, мыслят и действуют сообразно духу своего века — и в то же время становятся очень близкими нам, современным читателям, ибо решают жизненные вопросы, актуальные для людей любой эпохи: любовь и верность, дружба и предательство, упорство в достижении цели, тяга к знанию и воинствующее невежество, преданность своему делу и забота о семье... И при всем том персонажи романа не превращаются в иллюстрации, они остаются живыми людьми, в чем-то очень похожими на нас сегодняшних.

В Европе роман был встречен с восторгом, завоевал громадную читательскую аудиторию, удостоился ряда премий, а немецкие продюсеры купили права на его экранизацию. Поскольку наша страна расположена на перекрестке путей с Востока в Западную Европу, хочется верить, что нашим читателям обязательно полюбит

С любовью моей Нине, которая подарила мне Лоррен

Бога бойся, храни его заветы, Ибо это каждому подобает.

Екклесиаст, гл. 12, ст. 13

Славлю Тебя, ибо я дивно устроен.

Псалом 138, ст. 14

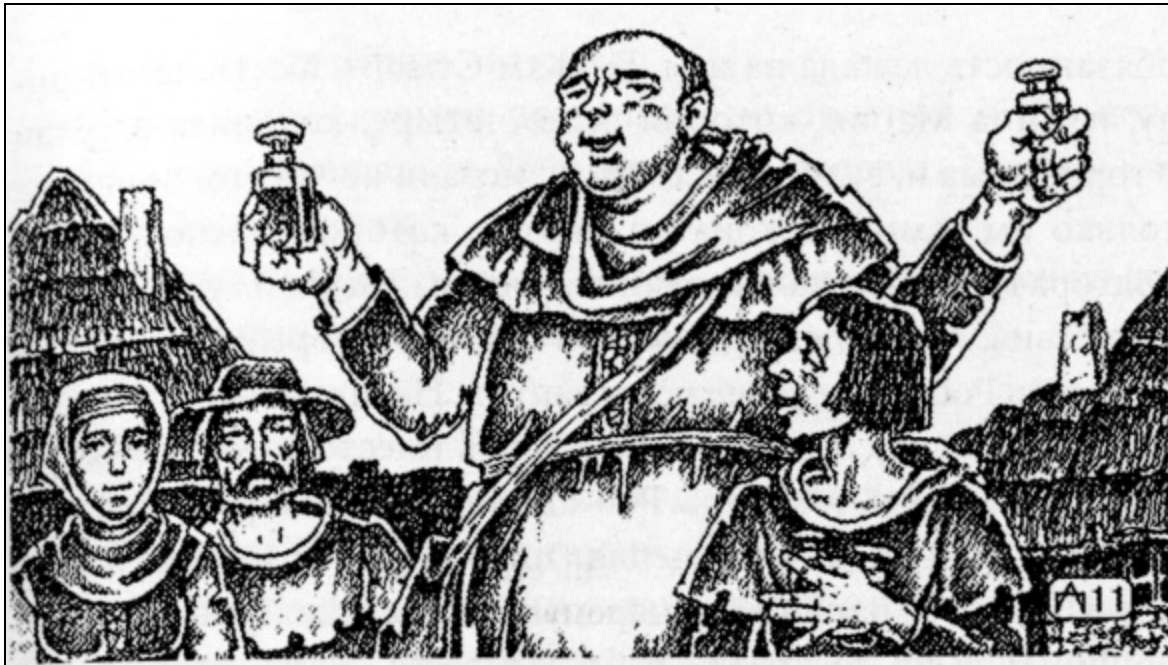
Что же до мертвых, то Аллах их воскресит.

Коран, сура 6, аят 36 [Ш](#)

Не здоровые имеют нужду во враче, но больные.

Евангелие от Матфея, гл. 9, ст. 12

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ УЧЕНИК ЦИРЮЛЬНИКА



Для Роба Джея то были последние мгновения детской беззаботности и благословенного душевного покоя, но в неведении своем он считал великим несчастьем, что его заставили сидеть дома с братьями и сестрой. Весна только-только начиналась, солнце стояло еще низко, посылая робкие теплые лучики под застреху соломенной крыши, и Роб, нежась в этих лучах, растянулся во весь рост у двери, на грубо отесанном каменном крыльце. По худо замощенной улице Плотников с трудом пробиралась какая-то женщина. Не грех было бы отремонтировать и дорогу, и большую часть ветхих дощатых домиков, где ютился рабочий люд: эти хижины на скорую руку сооружались умельцами, которые зарабатывали себе на хлеб возведением крепких хором для тех, кто поудачливее, побогаче.

Роб лушил ранний горох, целую корзину, стараясь в то же время приглядывать за малышами — в отсутствие мамы эта обязанность лежала на нем. Вильям Стюарт, шести лет от роду, и Анна-Мария, которой было четыре, копались в грязи у торца дома и, заливаясь смехом, играли во что-то, понятное только им самим. Джонатан Картер, которому исполнилось полтора годика, лежал на овчине, пускал пузыри и гукал от удовольствия. А семилетний Сэмюэл Эдвард, который должен был помогать Робу, уже успел ускользнуть. Находчивому Сэмюэлу вечно удавалось незаметно исчезнуть вместо того, чтобы помогать старшим, и теперь Роб старался высмотреть беглеца. Подражая матери, Роб расщеплял нижний конец зеленых стручков и большим пальцем выцарапывал из их гладкого нутра горошины; он не прекратил работу и тогда, когда заметил, что шедшая по улице женщина направляется прямо к нему.

Мясистое лицо женщины было ярко размалевано, а туго затянутый корсаж так высоко поднимал ее грудь, что время от времени при ходьбе выглядывал нарумяненный сосок. Робу было всего девять лет, но лондонские дети отличали продажных женщин с первого взгляда.

— Ну вот, добралась. Это дом Натанаэля Коля?

Роб неприязненно разглядывал ее: уже не в первый раз блудницы приходили к их порогу и спрашивали отца.

— Кто это спрашивает? — грубо отозвался он, радуясь тому, что отца нет дома — он ушел искать работу, эта женщина его не застала, и еще радуясь, что мать ушла относить шитье, значит, не попадет в неловкое положение.

— В нем нуждается его жена. Это она меня послала сюда.

— *Нуждается?* Что ты хочешь этим сказать? — Проворные руки мальчика перестали лущить горох.

Блудница посмотрела на него недоброжелательно: в его тоне и обращении она почувствовала презрение.

— Она тебе мать?

Он молча кивнул.

— У нее начались тяжелые роды. Она в конюшнях Эгльстана, недалеко от пристани Пуддл-Док. Так что лучше разыщи отца да скажи ему. — И с тем женщина ушла прочь.

Мальчик растерянно огляделся.

— Сэмюэл! — громко позвал он, но противный Сэмюэл не спешил возвращаться. Робу пришлось оторвать от игры Вильяма и Анну-Марию.

— Пригляди за малышами, Виль, — велел он, вышел из дому и припустил бегом по улице.

* * *

Люди, достойные доверия, утверждали, что в лето от Рождества Христова 1021-е — тот самый год, когда Агнесса Коль зачала в восьмой раз, — козни сатаны были особенно сильны. В тот год на многих людей обрушились несчастья, а в природе творились вещи удивительные и вселяющие страх. Прошлой осенью весь урожай на полях погубили жестокие морозы, даже реки покрылись льдом. Потом пошли дожди, каких еще не видали, а с оттепелью, наставшей как-то сразу, вверх по Темзе хлынула приливная волна, смывая и мосты, и дома. Ветреные зимние ночи озарялись огоньками падающих звезд, даже комету видели на небе. В феврале сама земля заметно содрогнулась. Молния отбила голову у распятия, и люди шептались, что Христос и все его святые уснули. Ходили слухи, что из одного источника целых три дня лилась кровь, а те, кто приходил издалека, рассказывали, что в дремучих лесах и иных потаенных местах появлялся сам дьявол.

Агнесса велела своему старшему сыну не больно прислушиваться к тому, что болтают люди. А потом с беспокойством добавила: ежели он увидит или услышит что-нибудь необычное, пусть обязательно осенит себя крестным знаменем.

В том году люди возроптали на Бога, ибо гибель прошлогоднего урожая принесла им тяжкие лишения. Натанаэль вот уж больше четырех месяцев не приносил в дом ни гроша и жил только тем, что зарабатывала своим умением жена, искусная вышивальщица.

Давно, когда они только поженились, Агнесса и Натанаэль души друг в друге не чаяли, а в счастливом грядущем не сомневались: муж рассчитывал разбогатеть на строительных подрядах. Но цех плотников не спешил посвящать работников в мастера. Старейшины, от которых это зависело, так придирчиво изучали каждый предложенный их вниманию соискателем набросок нового дома, как будто вся эта работа предназначалась для самого короля, не иначе. Шесть лет проходил Натанаэль в учениках плотника, вдвое дольше в подмастерьях. Вот теперь уже мог бы претендовать и на звание мастера-плотника, которое давало право брать подряды на строительные работы. Но для того, чтобы стать мастером, нужны немалые усилия и хороший заработок в добрые времена, а сейчас Натанаэль даже на попытку не отваживался.

Их жизнь по-прежнему вращалась в пределах цеха, но теперь и сама гильдия плотников города Лондона отвернулась от них — каждое утро Натанаэль являлся к цеховому старосте и слышал одно и то же: работы нет. Вместе с другими бедолагами он искал спасения в напитке, который между собой они звали пойлом: кто-нибудь из плотников приносил меду, другой — щепотку пряностей, а уж кувшин вина в цехе всегда можно было найти.

Жены других плотников рассказывали Агнессе, что частенько кто-нибудь из бражников приводил с улицы женщину и безработные мужья в пьяном угаре ложились с ней по очереди.

Несмотря на все неудачи, Агнесса не могла оттолкнуть Натанаэля: слишком она любила плотские утехи. Благодаря мужу она всегда ходила с животом, ибо не успевала родить одного ребенка, как муж тут же старательно наполнял ее утробу другим, а когда ей подходило время разрешиться от бремени, старался не показываться дома. Жизнь семьи протекала в точности так, как сурово предсказывал отец Агнессы, когда она, уже зачав Роба,

вышла замуж за молодого плотника — тот некоторое время назад пришел в Уотфорд строить вместе со своими товарищами новый амбар соседу Агнессы. Отец порицал грамоту, которой обучилась Агнесса, — книги, говорил он, увлекают женщину ко греху любострастия.

У отца ее был небольшой надел земли, полученный от Этельреда Уэссекского [2] в благодарность за военную службу. Первым из семейства Кемпов он стал йоменом [3]. Уолтер Кемп отправил дочь учиться грамоте в надежде выдать ее замуж за богатого землевладельца: хозяева больших поместий предпочитали иметь под рукой надежного человека, который умел читать и считать, отчего же не быть таким человеком хозяйской жене? То, что дочь выбрала человека низкого происхождения, да еще и распутничала с ним, огорчило и рассердило Уолтера. И ведь он, бедняга, даже не смог лишить ее наследства: после его смерти маленькое хозяйство забрали за недоимки в казну короля.

Честолюбивые мечты отца, однако, наложили отпечаток на всю жизнь Агнессы. Самой счастливой порой в ее памяти так и остались те пять детских лет, которые она провела в женском монастыре, обучаясь грамоте. Монахини носили алые башмаки, бело-фиолетовые рясы и невесомые, словно облако, покрывала. Они научили девочку читать и писать, понимать те немногие латинские слова, которые встречаются в катехизисе, кроить материю и шить так, чтобы швы оставались совершенно незаметными, а еще — изготавливать богато расшитые золотом украшения для риз. Последнее было таким тонким делом, что его ценили даже во Франции, где так и называли: «английская работа».

И та «дурость», которой научили Агнессу монахини, теперь давала пищу ее семье.

Сегодня утром она долго думала, идти ли отнести заказчику шитье для риз. Она уже была на сносях, чувствовала, как ее разнесло, как трудно дается каждый шаг. Но кладовые в доме почти опустели, надо бы сходить на рынок Биллингсгейт, купить муки белой и серой, а для этого ей необходимы деньги, которые обещал уплатить за вышивку купец, возивший товар во Францию. Жил он в Саутуорке, на другом берегу реки. И Агнесса, неся в руке узелок с работой, медленно побрела по улице Темзы в направлении Лондонского моста.

Улица Темзы, как всегда, была запружена вьючными животными и грузчиками, которые сновали с тюками между похожими на пещеры складами и лесом мачт у причалов. Она жадно впитывала шум города, как впитывает струи дождя иссохшая земля. Хотя им и жилось нелегко, Агнесса все же была признательна Натанаэлю за то, что он увез ее из сельского домика в Уотфорде.

Она так любила этот большой город, Лондон!

— Ах, сукин ты сын! А ну-ка возвращайся и верни мне деньги! Деньги мне назад неси! — вопила разъяренная женщина кому-то, кого Агнесса не видела.

А вокруг клубки смеха обвивались лентами слов на языках заморских земель. Проклятия звучали так, будто горячие благословения.

Она прошла мимо одетых в отрепья рабов, втаскивавших железные чушки на борт готовившихся отплывать кораблей. Собаки злобно лаяли на этих несчастных, изнывавших под непосильной ношей; на бритых головах рабов сверкали бисеринки пота. Агнесса ощутила чесночный дух от их немых тел, вонь металла, а затем — куда более приятные ароматы, шедшие от тележки продавца пирогов с мясом. У Агнессы потекли слюнки, но в кармане у нее оставалась одна-единственная, последняя монетка, а дома ждали голодные ребятишки.

— Пирожки сладкие, как грех! — выкрикивал торговец. — С пылу, с жару!

От причалов шел крепкий дух разогревшейся на солнце сосновой смолы и

просмоленных корабельных канатов. На ходу Агнесса почувствовала, как шевелится ребенок, плавающий в заключенном между ее бедер океане, и прижала руку к животу. На углу столпились матросы в украшенных цветами шапках — они залихватски пели, а трое музыкантов наигрывали мотив на дудке, барабане и арфе. Проходя мимо них, Агнесса обратила внимание на мужчину, облокотившегося на странного вида повозку, расписанную знаками зодиака. На вид ему можно было дать лет сорок. Волосы и борода были темно-русыми, но понемногу он начинал лысеть. Черты лица приятные — не будь он таким толстым, смотрелся бы краше Натанаэля. Лицо у него было багровое, а чрево далеко выдавалось вперед, не уступая животу беременной Агнессы. И все же его тучность не отталкивала, а напротив, обезоруживала и привлекала. Она как бы говорила всем, кто его видел: вот человек общительный и миролюбивый, любящий жизнь со всеми ее радостями. Голубые глаза его искрились в лад с улыбкой на устах.

— Красивая дама. Хочешь быть моей, куколка? — проговорил он. Агнесса, невольно вздрогнув, оглянулась в поисках той, к кому он обращался, но поблизости никого не оказалось.

— Ха! — Вообще-то Агнесса могла одним взглядом заморозить наглеца и довести его до дрожи, но она не лишена была чувства юмора и ценила его в других, а у этого мужчины юмор явно бил через край.

— Мы рождены друг для друга. Я готов умереть за тебя, благородная госпожа, — с жаром закричал он ей вслед.

— Нет нужды. Христос уже это сделал, сэр, — отвечала Агнесса.

Она вскинула голову, развернула плечи и удалилась, соблазнительно покачивая бедрами, неся впереди невероятно огромный живот, заключавший младенца, и расхохоталась вместе с незнакомцем.

Уже давным-давно никто не делал комплиментов ее женственности, даже в шутку, и этот нелепый обмен любезностями привел ее в хорошее расположение духа, пока она шла и шла по улице Темзы. Все еще улыбаясь, она подходила к пристани Пуддл-Док, когда ощутила начало схваток.

— Богородице, помилуй, — прошептала Агнесса.

Боль резанула ее снова. Начинаясь в животе, боль овладевала всем ее телом и разумом, даже ноги не держали. Не успела она опуститься на мостовую посреди улицы, как стали обильно отходить воды.

— На помощь! — закричала Агнесса. — Помогите, кто-нибудь!

Тут же собралась падкая до любых зрелищ толпа лондонцев, Агнессу тесно обступили их ноги. Затуманенными от боли глазами она увидела кружок глазевших на нее сверху лиц.

Агнесса громко застонала.

— Эй вы, негодяи, расступитесь, — прорычал какой-то ломовой извозчик. — Ей же дышать из-за вас нечем! И не мешайте людям честно зарабатывать свой кусок хлеба, унесите ее с улицы, чтобы телегам было где проезжать.

Ее внесли в темноту и прохладу, сильно пахнущую навозом. Пока переносили, кто-то умыкнул ее узелок с готовым шитьем. В темной глубине помещения двигались и колебались чьи-то огромные фигуры. Громко стукнуло о доску копыто, послышалось залиvistое ржание.

— Ну, что это? Послушайте, нельзя же нести ее сюда, — раздался чей-то ворчливый голос. То был суетливый коротышка, пузатый, со щербатым ртом. Увидев его сапоги и

шапку, какие обыкновенно носят конюхи, Агнесса узнала в нем Джеффа Эгльстана и поняла, что находится в одной из принадлежащих ему конюшен. Больше года назад Натанаэль подновлял здесь некоторые стойла, и Агнесса ухватилась за это воспоминание.

— Мастер ^[4]Эгльстан, — слабым голосом проговорила она, — я Агнесса Коль, жена хорошо известного вам плотника.

По лицу она догадалась, что он узнал ее, пусть и без всякой охоты, и с сожалением понял, что Агнессу отсюда выставить нельзя.

За спиной хозяина конюшен уже столпились люди, в глазах которых светилось любопытство.

— Прошу вас, — лоя ртом воздух, проговорила Агнесса, — не будет ли кто-нибудь так любезен позвать сюда моего мужа?

— Я не могу оставить конюшни без присмотра, — пробормотал Эгльстан. — Пусть кто-нибудь другой идет.

Все стояли и молчали.

Агнесса полезла в карман и вытащила монетку.

— Прошу вас, — повторила она и подняла монетку повыше.

— Я исполню свой долг христианки, — сразу же отозвалась женщина, по виду явно из гулящих. Пальцами, как когтями, она вцепилась в монетку.

Боль стала невыносимой, и это была еще не известная ей боль, не такая, как обычно. Она привыкла к резким сокращениям. После первых двух родов последующие у нее протекали тяжелее, но терпимо, и родовые пути стали свободнее. Перед рождением Анны-Марии и сразу после у нее случились выкидыши, однако и Джонатан, и следующий мальчик покинули ее тело легко после отхода вод, как выскальзывают из пальцев гладкие зернышки. За все пять родов она не испытывала ничего похожего на то, что происходило сейчас.

«Святая Агнесса, — безмолвно воззвала она. — Святая Агнесса, помогающая овечкам помощи мне!»

Во время родов она неизменно молилась святой, в честь которой была наречена, и святая Агнесса ей помогала, но на этот раз ее окружила сплошная невыносимая боль, а младенец в утробе казался огромной пробкой.

Наконец ее громкие вопли привлекли внимание проходившей мимо повитухи, старой карги, к тому же изрядно выпившей, и та с проклятьями выдворила из конюшни ротозеев. Вернувшись, она с отвращением осмотрела Агнессу

Чертовы мужики положили тебя прямо в дерьмо, — пробормотала она. Но передвинуть роженицу было просто некуда. Старуха задрала Агнессе юбки выше пояса и разрешила исподнее, потом руками разгребла навоз на полу, освобождая место для младенца, рвущегося на свет, и вытерла руки о грязный передник.

Из кармана она вынула пузырек со свиным жиром, потемневшим от крови других рожениц. Выцарапав немного тошнотворного жира, смазала себе руки такими движениями, словно мыла их, потом запустила два пальца, три, наконец и всю руку в расширившееся отверстие женщины, которая теперь уже была, как животное.

— Тебе придется вдвое больше, мистрис ^[5], — сделала вывод повитуха через пару минут, смазывая руки уже по самые локти. — Этот негодник мог бы укубить себя за пятки, если б ему вздумалось. Он выходит попой вперед.

Итак, Роб пустился бегом в направлении пристани Пуддл-Док. На бегу до него дошло, что надо отыскать отца, и он повернул в сторону дома, где заседали старейшины цеха плотников, — всякий ребенок из принадлежащей к цеху семьи так и поступал, если требовалась помощь.

Лондонская гильдия плотников помещалась в конце улицы Плотников, в старой мазанке — строении из столбов, перевязанных ветками и ивовыми прутьями, покрытом известью; каждые три-четыре года непрочный домик приходилось основательно подновлять. В просторном помещении цехового совета, за изготовленными самими старейшинами грубыми столами сидели на таких же грубых стульях человек десять-двенадцать в кожаных дублетах, с поясами для свойственных профессии инструментов. Мальчик узнал кое-кого из соседей, а также членов десятка, в который входил отец, но самого Натанаэля не обнаружил.

Для лондонских столяров и плотников цех был всем сразу; он давал работу, оказывал помощь больным и инвалидам, хоронил умерших, заботился о стариках, поддерживал тех, кто временно не имел работы; цех разрешал споры, пристраивал сирот в семьи, помогал найти заказы; он имел и немалый моральный авторитет, и политический вес. Это было четко организованное общество, состоявшее из четырех частей — сотен. В каждой сотне насчитывалось десять десятков, и в каждом десятке люди были тесно спаяны между собой. И лишь если человек выбывал из десятка: умирал, тяжело и надолго заболел, уезжал в другие края, — лишь тогда на его место принимали в цех нового ученика, обычно из числа ожидающих своей очереди сыновей других членов цеха. Слово старосты цеха было столь же непререкаемым, как и королевский указ, и именно к этому человеку, Ричарду Бьюкерелу, примчался теперь Роб.

Бьюкерел всегда сутулился, словно груз ответственности неотступно давил на его плечи. Все у него было каким-то темным: волосы черные, глаза цвета старой дубовой коры; узкие штаны, рубаха и дублет из грубой шерсти, окрашенной в кипятке с ореховой скорлупой, а кожа, загоревшая под солнцем на строительстве доброй тысячи домов, казалась дубленой. И ходил, и думал, и говорил он неторопливо. Роб выслушал очень внимательно.

— Натанаэля здесь нет, сынок.

— А не знаете ли, где его можно отыскать, мастер Бьюкерел?

Тот помолчал в нерешительности.

— Извини-ка меня, будь любезен, — сказал он по размышлении и пошел к группе тесно сидевших мужчин.

До ушей Роба долетали только отдельные слова и шепот, которым произносились фразы.

— Неужто он с *той самой* шлюхой? — пробормотал Бьюкерел.

— Мы знаем, где можно найти твоего отца, — сказал староста цеха, вернувшись к Робу через минуту. — Ты поспеши к своей матушке, сынок. А мы тебя скоро догоним и приведем с собой Натанаэля.

Роб скороговоркой поблагодарил его и помчался дальше.

Он не останавливался передохнуть ни на минуту. Уворачиваясь от тяжело груженных повозок, обегая стороной пьяниц, проскальзывая сквозь толпы лондонцев, он мчался к

Пуддл-Доку. На полдороги он увидел своего врага, Энтони Тайта, с которым за последний год трижды жестоко дрался. Энтони вместе с парочкой приятелей, вечно околачивающихся на пристани, изводил насмешками рабов, занятых на погрузке кораблей.

«Времени у меня сейчас на тебя нет, треска сушеная, — подумал Роб. — Только попробуй тронуть меня, гад ползучий, — и я тебя вздую как следует».

Так, как собирался в один прекрасный день вздуть своего чертова папашу.

Увидел, как один из прихлебателей показывает Энтони на него пальцем, но пробежал мимо и понесся дальше.

Совершенно задыхаясь, с колотьем в боку, он добежал до конюшен Эгльстана как раз в ту минуту, когда незнакомая старуха пеленала новорожденного младенца.

Конюшню наполняли тяжелые запахи конского навоза и крови его матери. Мама лежала на полу. Глаза закрыты, в лице ни кровинки. Роба удивило, какая она маленькая.

— Мама!

— Ты сын?

Он кивнул, не в силах говорить, только тощая грудь тяжело вздымалась.

— Не мешай ей отдыхать, — сказала ему старуха, отхаркавшись и сплюнув на пол.

Когда появился отец, на Роба он и не взглянул. В телеге, высланной сеном (Бьюкерел взял ее у одного работника), они отвезли домой маму вместе с новорожденным — мальчиком, которому предстояло получить имя Роджер Кемп Коль.

Всякий раз, родив очередного ребенка, мама весело и гордо показывала новорожденного остальным своим детям, но сейчас она молча лежала, глядя в потолок.

В конце концов Натанаэль позвал соседку, вдову Харгривс.

— Она даже грудь малышу дать не может, — пожаловался он.

— Может, это и пройдет, — успокоила его Делла Харгривс. Она знала одну кормилицу и унесла малыша, к великому облегчению Роба. Он всеми силами, как умел, заботился об остальных четверых. Джонатана Картера уже успели приучить к горшку, но, оказавшись без материнского глаза, он, кажется, начисто об этом позабыл.

Отец не отлучался из дому. Роб мало с ним говорил и старался не попадаться ему под руку.

Он скучал по урокам, которые проходили каждое утро: мама умела превратить их в увлекательную игру. Роб не знал ни единой живой души, у которой было бы столько внутреннего тепла, столько любви и задора, столько терпения, если он не сразу запоминал урок.

Сэмюэлу Роб поручил гулять с Вилем и Анной-Марией, не допуская их без надобности в дом. В тот вечер Анна-Мария горько плакала — она хотела услышать колыбельную. Роб обнял ее, назвал милой барышней Анной-Марией — девочка больше всего любила, когда ее так называли. Наконец, он спел сестренке песенку о миленьких кроликах и пушистых птенчиках, которые спят в гнездышке (радуясь при этом, что его не слышит Энтони Тайт). У сестры щечки были круглее, а кожа более нежная, чем у матери, хотя мама всегда говорила, что Анна-Мария пошла вся в Кемпов, даже ротик во сне открывает так же.

На следующий день мама выглядела лучше, но отец сказал, что щеки у нее порозовели от жара. Маму била дрожь, и они укрыли ее одеялами.

На третье утро, когда Роб поил маму водой, его поразило, каким жаром пышет ее лицо.

— Мой Роб, — прошептала она и погладила руку сына. — Ты стал настоящим мужчиной. — Она тяжело дышала, изо рта шел неприятный запах.

Когда он взял мать за руку, что-то перешло из ее тела в его разум. То было знание: мальчик абсолютно ясно понял, что должно с нею произойти. Он не мог заплакать. И закричать тоже не мог. Волосы зашевелились у него на затылке. Роб ощутил ужас и больше ничего. Он не в силах ничем ей помочь, если б даже был взрослым.

Пораженный ужасом, он слишком крепко сжал мамину руку, ей стало больно. Отец заметил и наградил его подзатыльником.

На следующее утро, когда Роб проснулся, его мать уже умерла.

* * *

Натанаэль Коль сидел и рыдал, и это очень напугало его детей. Они еще не умели понять, что их мама ушла в лучший мир, но никогда раньше не видели, чтобы отец плакал. Побледневшие, настороженные, дети сбились в кучку.

Обо всем позаботился цех.

Пришли жены плотников. Никто из них не дружил с Агнессой, ибо ее ученость вызывала подозрения. Но теперь женщины простили ей былой грех и подготовили в последний путь. С тех пор Роб на всю жизнь возненавидел запах розмарина. Случись это в добрые времена, мужчины пришли бы вечером, после работы, но теперь работы у многих не было, так что люди стали собираться рано. Пришел Хью Тайт, отец Энтони, очень на него похожий, — он представлял гробовщиков, постоянное сообщество, изготавливавшее гробы для похорон членов гильдии. Похлопал Натанаэля по плечу:

— У меня запасено вдоволь прочных сосновых досок. Остались с прошлого года, когда мы строили таверну Бардуэлла, помнишь, какое было отличное дерево? Твоя Агнесса заслужила такое.

Хью не отличался большим умением, работал на стройках подальше от Лондона, и Роб слышал, как отец с упреком говорил, что Хью и за инструментом не может смотреть, как положено. Сейчас, однако, Натанаэль лишь тупо кивнул и вернулся к выпивке.

На это цех не поскупился, ибо только на похоронах и дозволялись пьянство и обжорство. Помимо яблочного сидра и ячменного эля выставили еще и сладкое пиво, и хмельные меды: мед разбавляли водой и давали настояться шесть недель, чтобы смесь перебродила. Было на столе и «пойло» — неизменный друг плотников, утешавший их в беде. Было вино морат, настоящее на меду и тутовых ягодах, и метеглин — пряная медовуха на целебных травах. Принесли целые связки жареных перепелов и куропаток, множество блюд из печеной и жареной зайчатины и оленины, копченую сельдь, свежую форель и камбалу, большие ячменные лепешки.

Цех собрал со всех своих членов по два пенса для раздачи милостыни во имя блаженной памяти Агнессы Коль. Цех выделил хоругвеносцев, которые возглавили процессию, направившуюся в церковь, и гробокопателей, которые вырыли могилу. В церкви Святого Ботульфа священник Кемптон рассеянно отслужил мессу и препоручил маму заботам Иисуса, а члены цеха пропели два псалма за упокой ее души. Упокоилась она на кладбище при церкви, под молодым тисовым деревом.

Когда возвратились в дом на поминки, женщины уже разогрели и поставили на стол все блюда; не час и не два собравшиеся ели и пили — смерть соседки избавила их на время от забот, сопряженных с нищетой. Вдова Харгривс сидела рядом с детьми и, суетясь,

подкладывала им самые лакомые кусочки. Она то и дело прижимала ребятишек к своей полной груди, а они отворачивались и страдали. Но когда Вильяму стало худо, именно Роб отвел его за дом и держал ему голову, пока Виля тошнило. Делла Харгривс после гладила Вильяма по голове и говорила, что это у него от горя. Но Роб-то знал, что она щедро потчевала мальчика своей собственной стряпней, и весь остаток поминок удерживал братьев и сестру от ее тушеного угря.

* * *

Роб уже понимал, что такое смерть, и все же ожидал, что мама вот-вот вернется домой. В самой глубине души он не очень-то Удивился бы, если бы она открыла дверь и вошла в дом, неся с собой купленную на рынке провизию или деньги, полученные от купца из Саутуорка за свое шитье.

— *Начнем урок истории, Роб.*

Какие три племени германцев вторглись в Британию в пятом и шестом веках от Рождества Христова?

— *Англы, юты и саксы, мама.*

— *А откуда они пришли, миленький мой?*

— *Из Германии и Дании. Они покорили британцев, которые жили на восточном побережье, и основали королевства Нортумбрию, Мерсию и Восточную Англию.*

— *А отчего у меня такой умный сынок?*

— *Умный, мама?*

— *Ах! Вот тебе поцелуй от твоей умной мамы. И еще поцелуй— за то, что у тебя умный отец. Никогда не забывай своего отца, он умница...*

К огромному удивлению Роба, отец остался дома. Казалось, Натанаэлю очень хочется поговорить с детьми, но у него ничего не получалось. Почти все время он чинил соломенную крышу. Минуло несколько недель после похорон, оцепенение начало понемногу проходить, Роб только стал понимать по-настоящему, насколько теперь изменится его жизнь, как тут отец получил наконец работу.

Берега Темзы в районе Лондона покрыты толстым слоем коричневой глины — вязкого месива, где в изобилии прижились корабельные черви, именуемые древоточцами. Эти черви причиняли большой вред деревянным сооружениям: столетиями они буравили и точили причалы, так что пришлось чинить многие пристани. Работа была тяжелая и грубая, ничуть не похожая на строительство красивых домов, но Натанаэль, задавленный нуждой, и такой был рад.

А на Роба Джея свалились все заботы о доме, хотя готовил он неважно. Частенько Делла Харгривс приносила приготовленные ею блюда или стряпала обед у них в кухне — обычно тогда, когда Натанаэль был дома. Она очень старалась, чтобы от нее хорошо пахло, старалась показать свой добрый нрав и заботу о детях. Эту дородную женщину нельзя было назвать непривлекательной: румяные щеки, высокие скулы, острый подбородок, маленькие пухлые руки, которые она старалась не слишком натрудить. Роб всегда заботился о своих

братьях и сестре, но теперь он стал для них единственным источником ласки и заботы, и это ни ему, ни им не очень-то нравилось. Джонатан Картер и Анна-Мария то и дело ревели. Вильям Стюарт растерял весь аппетит, черты лица у него заострились, глаза стали огромными, а Сэмюэл Эдвард потерял всякий стыд: он приносил с улицы разные ругательства, обзывал ими Роба — с таким ликованием, что старший брат ничего иного не мог поделать, кроме как надавать ему затрещин.

Роб пытался поступать так, как — по его представлениям — поступила бы *она* в тех или иных обстоятельствах.

По утрам, когда малыш получал протертую кашку, а остальные запивали чем-нибудь ячменные лепешки, Роб чистил очаг, помещенный под круглым отверстием в крыше (туда выходил дым, а когда шел дождь, оттуда падали на огонь и шипели капли). Золу он выбрасывал за домом, а потом мыл полы, стирал пыль с небогатой мебели во всех трех комнатках. Три раза в неделю он ходил за продуктами на рынок Биллингсгейт и покупал то, что мама приносила домой за один поход раз в неделю. Многие торговцы знали его. Когда он пришел впервые, они выражали свои соболезнования и делали небольшие подарки семье Колей — несколько яблок, кусочек сыра, половинку соленой трески. Но за несколько дней Роб и торговцы привыкли друг к другу, и он торговался с ними горячее, чем мама: пусть не думают, что могут надуть мальчишку. Обратное с рынка он еле тащился, так не хотелось ему принимать от Виля бремя забот о малышах.

Мама хотела, чтобы в этом году Сэмюэл начал школьное ученье. В свое время она спорила с мужем и убедила его, что Робу надо учиться у монахов при церкви Святого Ботульфа, и мальчик каждый день ходил в церковь на протяжении двух лет, пока не пришлось остаться дома, чтобы разгрузить маму, которая должна была много шить. Теперь никто из них не пойдет учиться, ведь отец не умеет ни читать, ни писать, а обучение грамоте считает пустой тратой времени. Роб скучал по ученью. Проходя по шумным кварталам, где тесно жались друг к другу жалкие лачуги, он почти и не вспоминал, что совсем недавно его больше всего заботили глупые ребяческие игры да призрак Тони Тайта, гада ползучего. Энтони со своими прихлебателями видел, как Роб проходит мимо, но не делал попыток погнаться за ним, как будто смерть матери делала его неприкосновенным.

Однажды вечером отец похвалил Роба за его труды.

— Ты всегда был старше, чем тебе по годам положено, — сказал Натанаэль сыну едва ли не с осуждением. Они беспокойно поглядели друг на друга. Говорить больше было не о чем. Если отец и проводил свободное время с продажными женщинами, то Робу ничего об этом не было известно. Он по-прежнему злился на отца, едва вспоминал, как тяжело приходилось трудиться маме, но понимал и другое: Натанаэль сейчас работал изо всех сил, и мама восхищалась бы им.

Роб охотно переложил бы заботы о братьях и сестре на вдову и всякий раз с надеждой смотрел на Деллу Харгривс, когда та приходила к ним, потому что из шуток и перешептываний соседей узнал: она не прочь стать их мачехой. Своих детей у нее не было. Ее мужа, плотника Ланнинга Харгривса, год и три месяца тому назад задавило бревном. Считалось вполне обычным, если в случае смерти женщины, у которой остались малые дети, вдова быстро выходила замуж за вдовца, а потому никого и не удивило, что Натанаэль стал оставаться наедине с Деллой в ее домике. Случалось это, однако, нечасто, потому что он много работал и сильно уставал. Чтобы построить причалы, надо было вытесать из мореного дуба опоры — огромные столбы квадратного сечения, а затем, во время отлива, забить их

глубоко в дно реки. Натанаэлю приходилось работать в сырости и холоде. У него, как и у его товарищей по работе, появился постоянный лающий кашель, и он еле добирался до дому. В глубинах вязкого ила на дне Темзы им попадались весточки из прошлого: кожаная римская сандалия с длинными ремешками, которые обвязывали вокруг лодыжки, обломок копья, глиняные черепки. Натанаэль принес домой Робу обработанный кусочек кремня. Этот наконечник стрелы, острый как бритва, нашли на глубине двадцати футов.

— Он римский? — спросил, загоревшись, Роб.

— Может, и саксонский, — пожал плечами отец.

Но несколько дней спустя нашли монету, в происхождении которой сомневаться уже не приходилось. Когда Роб смыл с нее окаменевший пепел, а потом долго-долго тер, на одной стороне почерневшего маленького диска стали видны слова: *Prima Cohors Britanniae Londonii* [6]. Той латыни, которой Роб научился в церкви, тут уж не хватало.

— Быть может, это значит, что первая когорта должна находиться в Лондоне, — размышлял вслух Роб.

На другой стороне был изображен конный римлянин и три буквы: IOX.

— А что значат эти буквы? — спросил отец.

Этого Роб не знал. Мама, наверное, знала, но теперь ему не у кого было спросить, и он отложил монету подальше.

* * *

Все в доме уже так привыкли к кашлю отца, что перестали обращать на него внимание. Но вот однажды утром, когда Роб чистил очаг, ему послышался какой-то шум за дверью. Он открыл ее и увидел Хармона Уайтлока, плотника из отцовской ватаги, и с ним двух рабов — Хармон позаимствовал их у грузчиков, чтобы отнести домой Натанаэля.

Рабы ужаснули Роба. В рабство люди попадают по разным причинам. Военнопленный становится *servi* [7] воина, который мог отобрать у него жизнь, однако же пощадил ее. Свободного человека могут продать в рабство за тяжкие преступления, а равно за долги или за неуплату особенно высокого штрафа или виры [8]. Вместе с мужчиной рабами становились его жена, дети и все последующие поколения.

Эти рабы были очень рослыми, мускулистыми мужчинами; головы обриты, что указывало на их рабское состояние; одеты в лохмотья, источающие невыносимый смрад. Роб не мог понять: то ли это иноземцы, взятые в плен, то ли англичане. Они ничего не говорили, только равнодушно смотрели на него. Натанаэль не был ни худым, ни низкорослым, однако эти двое несли его, как пушинку. Вид рабов напугал Роба даже сильнее, чем землистое, без кровинки, лицо отца и то, как бессильно запрокинул он голову, когда его опустили на постель.

— Что случилось?

— Да все эта злосчастная работа. У нас уже половина людей хворает, кашляют да сплевывают поминутно. А он сегодня так ослабел, что свалился сразу, чуть лишь нам пришлось поднапрячься. Ну, думаю, он денек-другой отлежится, а там вернется обратно на пристань.

Назавтра Натанаэль не смог подняться на ноги. И говорить толком не мог, только сипел и кашлял. Мистрис Харгривс принесла горячий отвар, заправленный медом, и не спешила

уходить. Они с Натанаэлем тихонько, доверительно о чем-то разговаривали, раз-другой женщина чему-то смеялась. На следующее утро, однако, у Натанаэля начался сильный жар, он не был расположен шутить и любезничать, и Делла надолго не задержалась.

Язык и горло у отца сделались ярко-красными, он то и дело просил воды.

Ночью ему снились кошмары. Один раз он кричал, что по Темзе поднимаются вонючие датчане на своих кораблях с высоко задранными носами ^[9]. В груди kloкотала густая мокрота, а откашляться ему никак не удавалось; дышать становилось все труднее. На рассвете Роб поспешил в соседний дом, за вдовой, но Делла Харгривс не пожелала идти.

— Мне так кажется, у него гнилостная болезнь, а она легко передается, — сказала Делла и захлопнула дверь.

И Роб снова пошел к старейшинам цеха, больше идти все равно было некуда. Ричард Бьюкерел хмуро выслушал его, пошел к ним в дом и долго сидел в ногах у Натанаэля, присматриваясь к его пылающему лицу и прислушиваясь к тому, как kloкочет у того в груди при каждом вздохе.

Самым легким выходом было бы позвать священника; поп не много сделал бы: зажег бы свечи, прочитал молитву, — но после этого Бьюкерел мог уйти с чистой совестью и никто его ни в чем не упрекнул бы. Несколько лет он был хорошим, преуспевающим строителем, но в должности главы лондонской гильдии плотников ему приходилось слишком трудно, потому что в его распоряжении была скудная казна, а он пытался с ее помощью сделать куда больше, чем она позволяла.

Но Бьюкерел отлично понимал, что станет с этой семьей, если не будет хотя бы одного кормильца, и он поспешил к себе, взял деньги из казны гильдии и нанял Томаса Ферратона, лекаря.

В тот вечер жена Бьюкерела пилила его немилосердно:

— Лекаря? Что же это, Натанаэль Коля вдруг сделался человеком знатным, благородным? Да всякому другому в Лондоне вполне хватает обычного хирурга ^[10], отчего же Натанаэлю Колю требуется лекарь, который обойдется нам недешево?

Бьюкерелу оставалось лишь пробормотать какие-то оправдания, потому что жена была права. Оплачивать услуги лекаря могли позволить себе только знать да богатые купцы. А простой работник мог потратить полпенни на хирурга-цирюльника — тот пускал кровь или назначал сомнительное лечение. По мнению самого Бьюкерела, все целители были вымогателями чертовыми и вреда от них было больше, чем пользы. Но ему так хотелось сделать для Коля все возможное, что в минуту слабости душевной он нанял лекаря, потратив на это взносы, заработанные тяжким трудом других плотников.

Когда Ферратон появился в доме Коля, он выглядел жизнерадостным и уверенным, являя собой живой пример процветающего человека. Узкие штаны были сшиты по последней моде, а манжеты рубашки украшены такой вышивкой, что у Роба сжалось сердце: он тут же вспомнил маму. Стеганую куртку Ферратона, изготовленную из самой тонкой шерсти, какая только существовала, покрывала корка засохшей крови и рвоты, что он гордо считал рекламой своей профессии.

Рожденный для богатства (его отец, Джон Ферратон, был купцом, с выгодой торговал шерстью), Ферратон в свое время был отдан в ученье к лекарю Полу Виллибальду. Тот происходил из богатой семьи, которая изготавливала и продавала лучшие клинки. Виллибальд лечил только состоятельных людей, и Ферратон, когда окончился срок его ученичества, сам занялся практикой такого же рода. Знатные пациенты не станут

приглашать купеческого сына, зато у зажиточных он чувствовал себя как дома: и интересы, и взгляды у них были одни и те же. По доброй воле Ферратон никогда не стал бы лечить человека из рабочего сословия, однако он предположил, что Бьюкерел послан кем-то, занимающим куда более высокое положение. В Натанаэле Коле он мигом признал пациента, недостойного его внимания, однако не затевать же скандал! И лекарь решил покончить с неприятной задачей как можно быстрее.

Он осторожно коснулся пальцами лба Натанаэля, заглянул ему в глаза, понюхал дыхание.

— Ну что же, — промолвил лекарь. — Это пройдет.

— Что с ним? — спросил Бьюкерел, но Ферратон не спешил отвечать.

Роб почувствовал, что доктор просто этого не знает.

— Это гнойное воспаление горла, — изрек наконец Ферратон, показывая на белые язвочки, испещрявшие ярко-красное горло пациента. — Суппуративное [\[11\]](#)воспаление временного характера. И ничего больше. — Он наложил Натанаэлю на руку жгут, молча вскрыл вену и обильно пустил кровь.

— А если он не поправится? — спросил Бьюкерел.

Лекарь нахмурился. В дом этого простолюдина он больше не придет.

— Я уж для надежности пушу ему кровь снова, — сказал он и проделал ту же операцию на другой руке. Уходя, оставил маленький пузырек жидкой каломели [\[12\]](#), смешанной с пережженным камышом, и велел Бьюкерелу заплатить отдельно за визит, за два кровопускания и за лекарство.

— Пиявка, присосавшаяся к людям! Коновал зазнавшийся, еще благородного из себя строит! — ворчал под нос Бьюкерел, глядя вслед лекарю. Робу староста цеха пообещал прислать женщину, чтобы ухаживала за отцом.

Обескровленный, побелевший, Натанаэль лежал, не в силах пошевелиться. Несколько раз он принимал старшего сына за Агнессу и пытался взять его за руку. Но Роб помнил, что из этого получилось, когда болела мама, и отошел в сторонку.

Немного позже, устыдившись, он вернулся к лежанке отца. Взял загрубевшую от труда руку Натанаэля, заметил обломанные ногти, маленькие черные волоски и ввевшуюся в кожу грязь.

Случилось в точности то же самое, что и в первый раз. Роб почувствовал, как жизнь уходит из этого тела, будто гаснет мерцающая свеча. Каким-то образом он ясно понял, что отец умирает и очень скоро его не станет. Мальчика сковал ужас, такой же, как и перед смертью матери.

По ту сторону лежанки были его братья и сестра. Роб был еще совсем мал, но умен, и вопрос сугубо практический, насущный, оттеснил в сторону и его печаль, и его панический страх.

Что же теперь станет *с нами*? — громко спросил он и потряс руку отца. Никто ему не ответил.

На этот раз — ведь хоронили члена гильдии, а не его жену — цех плотников оплатил на отпевании целых пятьдесят псалмов.

Через два дня после похорон Делла Харгривс отправилась в Рамси [\[13\]](#), чтобы жить там в доме брата. Ричард Бьюкерел отвел Роба в сторону, поговорить.

— Если не осталось ни одного взрослого родственника, то по закону надлежит детей и все имущество разделить, — быстро проговорил он. — Обо всем этом позаботится гильдия.

Роб оцепенел.

Вечером он попытался объяснить это братьям и сестре, но только Сэмюэл понял, о чем идет речь:

— Значит, нас должны разделить?

— Да.

— И мы все станем жить в разных семьях?

— Да.

Ночью кто-то взобрался на лежанку и лег рядом с ним. Роб подумал было, что это Виль или Анна-Мария, но нет — Сэмюэл обхватил его руками за шею и прижался, словно боялся свалиться на пол.

— Я хочу, чтобы они вернулись, Роб.

— Я тоже хочу. — Роб погладил худенькое плечо, по которому так часто колотил.

Они поплакали вместе.

— Так, значит, мы больше никогда-никогда не увидимся?

— Ох, Сэмюэл, — ответил Роб, чувствуя, как похолодело все внутри. — Не приставай ко мне сейчас с глупостями. Конечно, мы будем жить в этом квартале и видеться постоянно. И мы навсегда останемся братьями.

Это успокоило Сэмюэла, и он уснул ненадолго, но перед рассветом обмочил постель, будто был младше Джонатана. Утром ему стало стыдно, он избегал смотреть Робу в глаза. Как оказалось, тревожился он не напрасно: его увели первым. Большинство членов отцовского десятка по-прежнему были без работы. Из девяти плотников лишь один имел возможность и желание принять в семью ребенка. К Тэрнеру Хорну, мастеру-плотнику, жившему через шесть домов от Колей, вместе с Сэмюэлом отправились молотки и пилы, принадлежавшие Натанаэлю.

Через два дня явился отец Кемптон, тот самый, что отпевал и маму, и отца, а с ним пришел священник, которого звали Ра-нальдом Ловеллом. Отец Ловелл сказал, что его переводят в приход на севере Англии и он хочет взять с собой ребенка. Он внимательно рассмотрел их всех и остановил свой выбор на Виле. Священник был рослым, плотным, жизнерадостным человеком с пшеничными волосами и серыми глазами, в которых — как убеждал себя Роб — светилась доброта.

Братик, бледный и дрожащий, смог только кивнуть головой и пошел из дому вслед за двумя священниками.

— Ну, до свидания, Вильям, — крикнул ему Роб.

Ему отчаянно хотелось, чтобы разрешили оставить хотя бы двоих младшеньких. Но еды от поминок отца уже почти не осталось, а мальчик умел смотреть правде в глаза. Джонатан,

отцовский кожаный дублет и пояс с инструментами достались подмастерью по имени Эйлвин, из той же сотни, что и Натанаэль. Когда в дом пришла мистрис Эйлвин, Роб ей объяснил, что Джонатана приучили к горшку, но если он чего-нибудь пугается, то нужны салфетки. Женщина усмехнулась, кивнула, забрала малыша и истончившиеся от частой стирки тряпочки и ушла.

Кормилица оставила у себя младенца Роджера и получила мамины материалы для шитья. Об этом рассказал Робу, который так и не видел кормилицу, Ричард Бьюкерел.

Надо было вымыть голову Анне-Марии. Роб сделал это старательно, как его учили, но все равно немного мыла попало ей в глаза, а пекло оно сильно. Роб насухо вытер девочке голову и, пока она плакала, прижал к себе, вдыхая запах блестящих русых волос запах, так похожий на мамин.

На следующий день пекарь и его жена, по фамилии Хейвер-хилл, забрали ту мебель, которая еще на что-то годилась, а Анна-Мария отправилась жить с ними в комнате, помещавшейся над булочной. Крепко держа ее за руку, Роб вывел девочку к ним.

— Ну, до свидания, малышка. Я люблю тебя, милая моя барышня Анна-Мария, — прошептал он, обнимая сестренку. Но она, кажется, считала, что это он виноват во всем, что случилось в последнее время, и попрощаться не захотела.

Итак, остался один Роб, а из вещей — ничего. Тем вечером к нему пришел поговорить Бьюкерел. Староста цеха крепко выпил перед этим, но голова у него была ясная.

— Для тебя найти семью будет не так-то легко. Времена такие: ни у кого нет еды для большого мальчика, который ест много, а выполнять работу взрослого не может. — Он помолчал, собираясь с мыслями, потом заговорил снова: — Когда я был помоложе, все кругом только и говорили, что стоит прекратиться войнам да избавиться от короля Этельреда — худшего из королей, который разорил целое поколение, — и времена настанут хорошие. Завоеватели приходили одни за другими: саксы, датчане, множество распроклятых конунгов — пиратских королей. Теперь у нас наконец-то есть сильный монарх, король Канут ^[14], он обеспечил прочный мир, зато на нас, похоже, ополчилась сама природа. Летние ливни и зимние метели оставили нас ни с чем. Урожай гибнет три года подряд. Мельникам нечего молотить, моряки не покидают портов. Никто ничего не строит, и для ремесленников нет работы. Тяжелые времена настали, сынок. Но я подыщу тебе место, даю слово.

— Спасибо вам, мастер староста.

— Я присматривался к тебе, Роберт Коль, — сказал Бьюкерел, с волнением глядя на него. — Я видел, что мальчик заботится о своей семье, как настоящий мужчина. Будь у моей жены другой нрав, я бы принял тебя в свою семью. — Он моргнул, смутился, что выпивка развязала ему язык сильнее, чем хотелось бы, и тяжело поднялся на ноги. — Доброго отдыха тебе ночью, Роб.

— И вам доброго отдыха, мастер староста.

* * *

Роб превратился в отшельника. Пещерой служили комнаты, почти голые. Соседи не в силах были совсем не замечать мальчика, но помощь оказывали скудную: утром приходила мистрис Хейверхилл, давала лепешку, оставшуюся не проданной вчера; вечером приходила

мистрис Бьюкерел, приносила маленький кусочек сыра, подмечала, что у Роба глаза красны от слез, и поучала: плакать — это привилегия женщин. Воду он, как и прежде, брал из общественного колодца, потом прибирал в доме, но там не осталось никого и почти ничего, приводить комнаты в беспорядок стало некому, и Робу нечего было делать, разве только страдать и что-нибудь воображать.

Иной раз он бывал римским разведчиком: лежал, притаившись, за маминой занавесью и прислушивался к тайнам враждебного мира. Он слышал, как мимо катятся повозки, как играют ребятишки, щебечут птицы.

Однажды до него донеслись голоса небольшой группы мужчин из числа гильдейских.

— Роб Коль — это наша забота. Кто-нибудь обязательно должен взять его к себе, — это голос Бьюкерела.

Роб затаился, чувствуя себя виноватым и слушая чужой разговор так, будто речь идет вовсе не о нем.

— Ага, ты посмотри, какой он вымахал. А когда совсем вырастет, добрая будет из него рабочая лошадка, — завистливо произнес Хью Тайт.

А вдруг его заберет к себе Тайт? Роб растерянно обдумал возможность жить под одной крышей с Энтони Тайтом. И его отнюдь не огорчило, когда в ответ на слова Тайта Бьюкерел презрительно хмыкнул:

— Ему еще три года, не меньше, расти до плотницкого ученика, а ест он уже сейчас как большая лошадь. В Лондоне полным-полно сильных рук и пустых желудков. — Голоса отдалились.

Еще через два дня, тоже утром, так же притаившись за занавесью, Роб дорого заплатил за грех подслушивания. Он услышал, как мистрис Бьюкерел обсуждает дела своего мужа с мистрис Хейверхилл.

— Вот все говорят, это большая честь — быть старостой гильдии плотников. Но у меня от этой чести хлеба на столе не прибавилось. Совсем наоборот, эта должность приносит множество хлопот, от которых никуда не деться. Я уже устала относить свою провизию таким, как здоровый ленивый мальчишка, что живет здесь.

— А что с ним станет? — со вздохом спросила мистрис Хейверхилл.

— Я посоветовала мастеру Бьюкерелу продать его как неимущего. Даже в нынешние худые времена за молодого раба заплатят достаточно, чтобы вернуть гильдии и всем нам те деньги, что были потрачены на семью Колей.

Роб даже дышать перестал. Мистрис Бьюкерел фыркнула.

— Староста цеха и слышать об этом не желает, — проговорила она со злостью. — Ну, ничего, в конце-то концов я его уломаю. Только пока он соберется, мы уже всего не вернем.

Когда женщины удалились, Роб остался лежать за занавеской, словно в горячке: его попеременно бросало то в жар, то в холод.

Он всю жизнь видел рабов, но само собой разумелось, что их положение его не касается — он-то был рожден свободным англичанином!

Чтобы работать грузчиком на пристани, он был еще слишком мал. Ему, однако, было известно, что мальчишек-рабов заставляют трудиться в копях, в таких узких шгольнях, куда взрослому мужчине ни за что не пролезть. Знал он и то, что рабов одевают в отрепья и худо кормят, а за малейшие провинности безжалостно секут. А главное — однажды попав в рабство, они остаются чьей-нибудь собственностью до конца жизни.

Роб лежал на полу и плакал. Наконец он сумел собраться с духом и сказал себе, что Дик

Бьюкерел ни за что не продаст его в рабство. В то же время он побаивался, что мистрис Бьюкерел может подбить на это других, ничего не говоря мужу. На такое она вполне способна, решил мальчик. Ему стало страшно в пустом, покинутом всеми доме, он вздрагивал от каждого шороха.

* * *

Пять дней провел он в оцепенении после похорон отца, а потом в дверь постучал незнакомец.

— Это ты молодой Коль?

Роб неохотно кивнул, сердце его отчаянно забилося.

— Меня зовут Крофт. Направил меня к тебе человек по имени Ричард Бьюкерел, мы с ним вместе пили в таверне Бардуэлла.

Роб видел перед собой мужчину не молодого и не старого, рослого и тучного, с обветренным лицом, которое обрамляли длинные волосы, какие обыкновенно носят свободные люди, и коротко подстриженная курчавая борода такого же рыжеватого, имбирного цвета.

— А как звучит твое полное имя?

— Роберт Джереми Коль, сэр.

— Возраст?

— Девять лет.

— Я хирург-цирюльник, ищу себе ученика. Ведомо ли тебе, юный Коль, чем занимается хирург-цирюльник?

— Вы вроде лекаря?

— Ну, пока это неплохой ответ, — улыбнулся толстяк. — Бьюкерел поведал мне, в каком положении ты оказался. Нравится тебе моя профессия?

Вовсе нет, у Роба не было никакого желания стать таким же вымогателем-пиявкой, как тот, кто до смерти обескровил его отца. Но еще меньше ему хотелось быть проданным в рабство, а потому он, не колеблясь, ответил толстяку утвердительно.

— Работы не боишься?

— Что вы, сэр, не боюсь!

— Вот это хорошо, потому что я тебя заставлю трудиться до седьмого пота. Бьюкерел сказал мне, что ты умеешь читать и писать и латынь даже учил, так?

— По правде говоря, латынь учил совсем немножко, — ответил Роб неуверенно.

— Я тебе дам испытательный срок, парнишка, — улыбнулся цирюльник. — Вещи у тебя есть?

Маленький узелок был у Роба давно приготовлен. «Так я спасен?» — пронеслось в голове. Выйдя из дома, они взобрались на удивительную повозку, каких Роб до сих пор и не видывал. Она была крытая, по обеим сторонам козел возвышались белые шесты, перевитые толстыми, как малиновые змеи, ремнями. Фургон был выкрашен в ярко-красный цвет, а на этом фоне нарисованы желтой солнечной краской барашек, лев, весы, козел, рыбы, стрелок из лука, рак...

Серая в яблоках лошадка потянула повозку, и они покатали по улице Плотников, мимо дома, где заседали старейшины цеха. Роб застыл на козлах, пока они пробивались сквозь

толчею улицы Темзы, но успевал бросать время от времени быстрые взгляды на цирюльника. Теперь он разглядел красивое, несмотря на слой жира, лицо, длинный красный нос, жировик на левом веке и сеточку тонких морщин, разбегающихся от пронизательных голубых глаз.

Повозка прокатилась по короткому мосту через речушку Уолбрук, мимо конюшен Эгльстана и того места, где упала мама. Потом свернула направо и загрохотала по Лондонскому мосту — на южный берег Темзы. Рядом с мостом стоял у причала лондонский паром, а немного дальше находился рынок Саутуорк, через который попадали в Англию заморские товары. Миновали склады, разграбленные и сожженные датчанами, но недавно отстроенные. Вдоль берега рек вытянулись узкой лентой хижины-мазанки, где ютились рыбаки, матросы, работники с пристаней. Были здесь и два ветхих постоянных двора для приезжающих на рынок торговцев. А подальше, по обеим сторонам широкой мощеной улицы, поднимались великолепные особняки богатых лондонских купцов, окруженные все как один прекрасными садами; некоторые дома стояли на сваях, глубоко вбитых в болотистую почву. Роб узнал дом торговца шитьем, на которого работала и мама. Дальше этого дома Роб никогда не бывал.

— Мастер Крофт!

— Нет, так не годится, — сердито нахмурился тот. — Не следует называть по фамилии, меня всегда называют Цирюльником, профессия у меня такая.

— Слушаюсь, Цирюльник, — отозвался Роб.

Не прошло минуты, как они уже оставили Саутуорк позади, и тут Роб с ужасом понял, что вступил в мир чужой и совершенно незнакомый.

— Цирюльник, куда это мы едем? — спросил он, не в силах сдержать слез.

Толстяк улыбнулся и хлестнул лошадь вожжами, она тут же перешла на резвую рысь.

— Куда глаза глядят, — ответил он мальчику.

Перед наступлением сумерек они разбили лагерь на холме у ручья. Мастер сказал, что его серого трудягу-коня зовут Тат.

— Это сокращенно от Инцитата, скакуна, которого император Калигула так любил, что сделал жрецом и консулом ^[15]. Наш же Инцитат — добрый и резвый конь, особенно если учесть, что бедняга кастрирован, — объяснил Цирюльник и показал Робу, как надо ухаживать за меринком, протирать его пучками мягкой сухой травы, а затем дать напиться и пустить на выпас — и только потом заботиться о самих себе. Остановились они на открытом месте, на некотором удалении от леса, но Цирюльник послал Роба насобирать хвороста для костра, и мальчику пришлось совершить не один поход, пока он собрал достаточный запас. Вскоре костер уже потрескивал, а от подвешенного над ним котелка распространился аромат, от которого у Роба так и потекли слюнки. Цирюльник, не жадничая, сначала положил в железный котелок толсто нарезанные куски копченой свинины. Затем слил вытопленный шкворчащий жир и нарезал в него большую репу и несколько луковиц, добавил горсть сушеных тутовых ягод и щепотку трав. Когда обжигающая похлебка была готова, Роб ощутил восхитительный аромат, подобного которому еще не слыхивал. Цирюльник ел не спеша, наблюдал, как Роб жадно проглотил немалую порцию, и молча подлил ему еще. Огрызками ячменных лепешек они дочиста вытерли деревянные миски. Роб, не дожидаясь приказа, взял котелок и миски, пошел к ручью и вычистил их песком.

Вернул на место посуду, отошел к ближайшему кустику и пустил струю.

— Клянусь Господом Богом и пресвятой Богородицей, вот орган, весьма примечательный видом, — сказал неожиданно оказавшийся рядом Цирюльник.

Роб быстро прервал свое занятие и спрятал член в штаны.

— Когда я был совсем маленьким, — сказал он напряженным голосом, — у меня было омертвление... там. Мне рассказывали, что хирург удалил небольшой кусочек кожи на самом кончике.

— То есть обрезал крайнюю плоть, — сделал вывод Цирюльник с нескрываемым удивлением. — Ты был обрезан, как проклятый язычник!

Мальчик, очень обеспокоенный, отошел подальше. Он насторожился и ожидал, что за этим последует. Из лесу на них пахло сыростью; Роб развязал свой узелок, вытащил оттуда вторую рубаху и надел поверх той, в которую уже был одет.

Цирюльник снял с повозки две меховые подстилки, бросил на землю.

— Спать будем снаружи, а то повозка до отказа забита всякой всячиной.

В развязанном узелке Роба Цирюльник углядел блеск римской монеты и вытащил ее. Он не спросил, откуда взялась монета, а Роб не стал ему рассказывать.

— На ней есть надпись, — проговорил Роб. — Мы с отцом... нам показалось, что она подтверждает прибытие в Лондон первой когорты римлян.

Цирюльник всмотрелся в монету.

— Так и есть.

Он, несомненно, много знал о римлянах и уважал их, судя по имени, которое дал своему коню. Роба охватила неприятная уверенность в том, что он оставит монету себе.

— Там еще буквы, на другой стороне, — хрипло сказал он.

Цирюльник поднес монету ближе к огню (становилось все темнее) и прочитал надпись: — IOX. Io значит «кричу». X — десять. Это римский обычай торжествовать победу «Кричу десятикратно».

Роб испытал облегчение, когда монета вернулась к нему, и постелил себе возле костра. Одна подстилка была из овчины, ее он положил на землю шерстью вверх, а другая — медвежья шкура, ею Роб укрылся. Обе шкуры уже старые, с отвратительным запахом, но они его хотя бы согреют.

Цирюльник постелил себе сам, по другую сторону костра, рядом положил меч и кинжал — так, чтобы были под рукой при нападении или чтобы, со страхом подумал Роб, зарезать убегающего мальчишку. Цирюльник снял висевший на шее, на крепком ремешке, саксонский рог. Заткнув костяной пробкой нижнее отверстие, наполнил рог темной жидкостью из флакона и протянул Робу:

— Моего собственного приготовления. Пей до дна.

Пить это Робу не хотелось, но отказаться он побоялся. В семьях лондонских работников детишек не пугали букой, не таким уж опасным и злым, а вместо того рано учили, что бывают такие матросы и грузчики, которые не прочь соблазнить мальчика где-нибудь за заброшенными складами. Он знал детей, которые польстились на сласти и монетки, предложенные такими людьми, знал и чем им пришлось расплачиваться. Роб также хорошо усвоил, что обычно первый шаг к этому — опьянение.

Он попытался отказаться от второй порции жидкости, но Цирюльник нахмурил брови.

— Пей! — приказал он. — Это тебя успокоит.

И лишь когда Роб сделал еще два больших глотка и зашелся кашлем, Цирюльник был удовлетворен. Он забрал рог на свою сторону костра, прикончил флакончик, а за ним и другой, выпустил газы и улегся. Еще раз взглянул на Роба.

— Доброго тебе отдыха, парнишка. Выспись хорошенько. Меня бояться тебе незачем.

Роб не сомневался, что это уловка. Лежал под вонючей шкурой и ждал, крепко сжав ляжки. В правой руке была монета. В левой руке он сжимал тяжелый камень, хоть и понимал, что, даже имея оружие Цирюльника, не сумел бы справиться с толстяком, а потому находится целиком в его власти.

Вдруг появилось убедительное доказательство того, что Цирюльник уснул. Как оказалось, он жутко храпит во сне.

Во рту Роба все еще стоял лекарственный привкус выпитого зелья. Настоянный на спирту напиток разлился по телу, и Роб, выпустив из руки камень, плотнее завернулся в шкуру. Но монетку он по-прежнему сжимал и представлял себе римлян, идущих ряд за рядом, выкрикивающих по десять раз славу героям, которые целому миру не позволят победить себя. Над его головой кружился небосвод с огромными белыми звездами, такими близкими, что хотелось протянуть руку и снять их оттуда, чтобы сделать ожерелье для мамы. Потом он мысленно перебрал в уме всех членов семьи, одного за другим. Из тех, кто остался в живых, он больше всего скучал по Сэмюэлу — это было странно, ведь именно Сэмюэл не признавал его старшим и обзывал бранными словами. Роба беспокоило, не замочил ли салфеток Джонатан, он молился о том, чтобы мистрис Эйлвин выказала терпение, воспитывая малыша. Мальчик надеялся, что Цирюльник скоро воротится в Лондон, потому что так хотелось снова свидеться с братишками и сестренкой.

Цирюльник хорошо понимал, что сейчас чувствует новый ученик. Ему самому было ровно столько же лет, когда он остался один-одинешенек: берсерки [\[16\]](#) напали на Кэктон, рыбацкую деревушку, где он родился. События того дня навсегда врезались в его память.

Во времена его детства королем был Этельред. Сколько он себя помнил, отец вечно проклинал Этельреда, говорил, что ни в одно царствование люди еще не жили в такой нищете. Этельред ввел непосильные подати, отнимая последнее, чтобы только обеспечить роскошную жизнь для Эммы, властной красавицы, которую привез из Нормандии и сделал королевой Англии. На те же подати он собрал сильное войско, да только использовал его для защиты самого себя, а вовсе не своего народа, а жестокость и кровожадность короля были таковы, что многие мужчины плевались, едва заслышав его имя.

В лето от Рождества Христова 991-е Этельред опозорил своих подданных: он решил золотом откупиться от нападений грабителей-датчан. На следующую весну корабли датчан снова, как и все последние лет сто, приплыли к Лондону. У короля больше не было выбора. Он собрал всех своих бойцов, все боевые корабли, и датчане потерпели на Темзе страшное поражение, потеряв убитыми множество своих. Но два года спустя произошло более грозное вторжение: Олаф, король норвежцев, и Свен [\[17\]](#), король датчан, поднялись по Темзе на девяноста четырех ладьях. И снова Этельред стянул свое войско к Лондону, не подпустил туда норманнов, но на сей раз морские разбойники поняли, что трусоватый король в попытке уберечься сам оставил страну без защиты. Норманны разделили свои силы, их ладьи поплыли вдоль побережья, предавая огню и мечу маленькие прибрежные городки и селения.

Как раз тогда отец впервые взял Генри Крофта в море надолго, на целую неделю — ловили сельдь. Когда ранним утром они с богатым уловом вернулись на берег, мальчик пустился бегом вперед — ему хотелось первым оказаться в объятиях матери, услышать похвалу из ее уст. Неподалеку, в бухточке за холмом, скрывались полдюжины норвежских ладей. Добежав до своей хижины, Генри увидел, что ставни распахнуты, а через оконное отверстие на него смотрит незнакомый человек, одетый в звериные шкуры.

Генри понятия не имел, кто этот человек, но, повинувшись инстинкту, резко развернулся и пустился со всех ног назад, к отцу.

Мать лежала на полу мертвая — грабители попользовались ею и убили, — но отец этого еще не знал. Приближаясь к дому, Люк Крофт вытащил свой нож, однако у порога его встретили трое, вооруженные мечами. Генри видел издали, как отца одолели и схватили. Один воин держал отцу руки за спиной. Другой обеими руками потянул его за волосы, вынудив встать на колени и вытянуть шею. Третий мечом стал рубить ему голову...

На девятнадцатом году жизни Цирюльник стал свидетелем того, как в Вулвергемптоне казнили некоего убийцу. Один из стражников шерифа [\[18\]](#), вооруженный боевым топором, отсек преступнику голову, словно петуху. Совсем не так, очень грубо и неумело, отрубали голову его отцу: викинг обрушил на него град ударов, будто рубил дрова для костра.

Вне себя от горя, до смерти напуганный, Генри Крофт убежал в чашу леса и затаился там, как зверь, за которым гонятся охотники. Когда он выбрался оттуда, умирающий с голоду, оглушенный, норвежцы уже уплыли, оставив за собой одни трупы и пепелища. Генри и других осиротевших мальчиков подобрали власти и отправили в Линкольншир, в Кроулендское аббатство.

После нескольких десятилетий беспрерывных нападений норманнов в монастырях осталось слишком мало монахов и слишком много осиротевших детей. Бенедиктинцы убили сразу двух зайцев: они постригли в монахи большинство сирот. В возрасте девяти лет Генри велели дать обеты и объяснили, что он должен пообещать Богу жить в бедности и всю жизнь хранить целомудрие, в соответствии с уставом, который выработал сам святой Бенедикт Нурсийский.

Благодаря этому он сумел получить образование. Ежедневно четыре часа посвящались учению, шесть — тяжелой и грязной работе. Аббатству принадлежали обширные участки земли, в основном на болотах, и каждый день Генри вместе с другими монахами переворачивал пласты грязи, тянул из последних сил плуг, как загнанная лошадь, — ради того чтобы превратить трясины в плодородные поля. Считалось, что все остальное время он станет проводить в размышлениях и молитве. Службы в церкви шли утром, днем, вечером — службы, службы... Каждая молитва считалась одним шагом по бесконечной лестнице, долженствующей привести душу на небеса. Таких понятий, как отдых или физические упражнения, не существовало, однако позволялось гулять по крытой галерее, с четырех сторон окружавшей двор монастыря. С севера к галерее примыкала ризница — строение, где хранились утварь и священные реликвии. С востока — церковь, с запада — капитул [\[19\]](#), а с юга — унылая трапезная, состоявшая из столовой комнаты, кухни и кладовой на первом этаже, на втором же помещался дормиторий [\[20\]](#).

Внутри четырехугольника располагались могилы в качестве постоянного напоминания о неизменном течении жизни в Кроулендском аббатстве: завтрашний день пройдет точно так же, как вчерашний, а в конечном итоге каждый монах уснет вечным сном в пространстве, огражденном галереей. Поскольку кое-кто усматривал в такой жизни лишь мир и покой, аббатство показалось привлекательным для нескольких знатных господ. Они бежали от придворных интриг и от жестокости Этельреда и спасли себе жизнь, облачившись в монашеские рубища. Эти влиятельные и благородные господа жили в отдельных кельях, как и те настоящие подвижники, кои стремились приблизиться к Богу, истязая свой дух и умерщвляя плоть; подвижники носили власяницы, занимались самобичеванием и вдохновенно истязали себя иными способами. Для остальных же шестидесяти семи мужчин, носивших тонзуру (хотя они и не чувствовали к этому призвания и отнюдь не были святыми), домом служила обширная зала, где на полу лежали шестьдесят семь тюфяков, набитых соломой. Стоило Генри Крофту проснуться среди ночи — любой из множества, — как он неизменно слышал вокруг кашель и чихание, храп на все лады, громкое испускание газов, шорохи, издаваемые при рукоблудии, болезненные вскрики тех, кому снились кошмары, и поправление уставной заповеди блюсти молчание: кто-то ругался, что не подобает служителю церкви, кто-то тайком вел беседы, почти всегда о еде. Трапезы в аббатстве отличались скудостью.

Всего в восьми милях от монастыря находился город Питерборо, но Генри ни разу там не побывал. Однажды, когда ему уже исполнилось четырнадцать лет, он попросил у своего исповедника, отца Дунстана, позволения петь псалмы и читать молитвы на берегу реки в час между вечерней и повечерием. Позволение он получил. Когда он шел по лугу в речной пойме, отец Дунстан следовал за ним в некотором отдалении. Генри ступал неторопливо и осторожно, сложив руки за спиной и склонив голову, словно погрузился в молитву, не хуже самого епископа. Стоял чудесный теплый летний вечер, от реки тянуло свежим ветерком. Брат Мэтью, географ, рассказывал мальчику об этой реке. Называлась она Болотной рекой.

Начиналась в Средней Англии, близ Корби, и скользила, извиваясь змейкой, к Кроуленду, отсюда поворачивала на северо-восток между грядами покатых холмов и плодородных долин и наконец прорывалась сквозь прибрежные трясины, чтобы влиться в Уош — большой залив Северного моря.

По обоим берегам реки произволением Божиим росли густые леса, перемежавшиеся возделанными полями. Трещали сверчки. На ветвях деревьев щебетали птицы, а на лугу паслись коровы, взиравшие на мальчика с неммым почтением. На берег кто-то вытащил маленькую лодку.

На следующей неделе он спросил позволения читать молитвы у реки в одиночестве после ранней утрени, которая проходила на рассвете. Позволение было дано, и отец Дунстан теперь за Генри не пошел. Тот, дойдя до берега, столкнул на воду лодчонку, забрался в нее и оттолкнулся посильнее.

Веслами он греб, только пока не выбрался на стрежень, а потом застыл неподвижно в середине хрупкой лодочки и всматривался в коричневатую воду, позволяя реке нести его, словно палый лист. Прошло время, он осознал, что уже далеко от аббатства, и тогда засмеялся, заулюлюкал и стал выкрикивать всякие ребяческие глупости.

— *Вот* тебе! — крикнул Генри, так и не зная, мстит ли каждому из шестидесяти шести монахов, которые теперь будут спать без него, то ли отцу Дунстану, то ли Господу Богу, который в Кроуленде представал существом весьма злобным и жестоким.

На реке он оставался весь день, пока стремящаяся к морю вода не стала, по его мнению, слишком глубокой и опасной. Тогда он причалил к берегу и начал жизнь, в которой ему предстояло узнать настоящую цену свободы.

Генри бродил по приморским селениям, спал где придется, а питался тем, что удавалось выпросить или украсть. Когда есть совсем нечего — это куда хуже, чем когда кормят скудно. Жена одного крестьянина дала ему узелок с едой, старую куртку и рваные штаны в обмен на монашеское облачение, из которого можно было сшить шерстяные рубахи ее сыновьям. В портовом городке Гримсби рыбак наконец взял его на свою лодку подручным и заставлял трудиться немилосердно целых два года, а взамен платил гроши и предоставлял дырявый кров. Когда этот рыбак умер, его жена продала лодку людям, которые не нуждались в мальчике-подручном.

Для Генри потянулись голодные месяцы, пока он не прибил к трупке бродячих циркачей. С ними он исходил много дорог, погружая и разгружая повозки, подсобляя, чем мог, в их ремесле, а они за это давали ему объедки и защищали. Даже на его наивный взгляд, они не отличались большим умением в своем искусстве, зато умели бить в барабан и собирать большую толпу. А когда по кругу пускали шапку, на удивление многие зрители бросали туда свои монеты. Генри жадно смотрел на это. Для акробата он был уже стар — ведь акробатам еще в раннем детстве ломали кости в суставах. А вот жонглеры обучили его своему ремеслу. Он подражал фокуснику и научился самым простым трюкам. Фокусник объяснял: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы публика сочла тебя некромантом — и церковь, и корона вешают ведьм и колдунов по всей Англии. Генри внимательно слушал сказителя, младшая сестра которого стала первой в его жизни женщиной. Он всей душой привязался к циркачам, но через год, в Дербишире, труппа распалась и каждый пошел своей дорогой, а Генри остался один.

Несколько недель спустя в городке Мэтлок его судьба сделала крутой поворот: цирюльник-хирург, по имени Джеймс Фарроу, заключил с ним договор сроком на шесть лет.

Позднее Генри узнает, что никто из местных юношей не желал идти в учение к Фарроу, ибо ходили упорные слухи, будто тот не чурается колдовства. Но Генри, когда до него дошли эти слухи, уже два года служил у Фарроу и прекрасно знал, что никакой он не колдун. Пусть цирюльник-хирург был человеком суровым и до чертиков придирчивым, для Генри служба у него открывала редкую возможность.

Жители поселка Мэтлок — а жителей там было негусто — обрабатывали землю. Там не было ни знати, ни преуспевающих купцов, при которых мог бы кормиться ученый лекарь; не было и многочисленного населения, пусть и не очень богатого, среди которого нашел бы себе пациентов хирург. В обширной сельской местности вокруг Мэтлока больному не к кому было обратиться, кроме Джеймса Фарроу, деревенского цирюльника-хирурга. Он не только ставил очистительные клистиры, стриг и брил, но и хирургические операции проводил, и лечение назначал. Генри честно исполнял договор на протяжении пяти с лишним лет.

Джеймс Фарроу был строгим хозяином, он поколачивал Генри, когда ученик совершал ошибки, но и учил его всему, что знал сам, и учил очень тщательно.

На четвертый год жизни Генри в Мэтлоке (а это был 1002 год) король Этельред совершил шаг, который принес страшные последствия. Не зная, как справиться с грозившими отовсюду напастями, король позволил некоторым датчанам поселиться на юге Англии и наделил их землей — при условии, что они станут сражаться под его знаменами против его врагов. Таким путем он нанял к себе на службу и знатного датчанина Паллига, женатого на Гунхильде, сестре датского короля Свена. В тот же год викинги вновь напали на Англию и, следуя своему обычаю, жгли и убивали. Когда они дошли до Саутгемптона, король решил снова выплатить им дань, и разбойники убрались восвояси, получив от него двадцать четыре тысячи фунтов стерлингов.

Когда ладьи унесли норманнов прочь от английских берегов, Этельред устыдился и впал в страшный гнев. Он приказал казнить всех датчан, находящихся в Англии, в день святого Бриктиуса (13 ноября). Эта подлая резня, учиненная по королевскому приказу, казалось, выпустила на свободу все зло, которое долго копилось в душах англичан.

Жизнь никогда не была сладкой, но после убийства множества датчан она стала жестокой до крайности. По всей Англии совершались зверские преступления, шла охота на ведьм, которых предавали смерти через повешение или сожжение на костре. Похоже, всю страну охватила неутолимая жажда крови.

Годы ученичества Генри Крофта подходили к концу, когда пожилой человек, именем Бейли Элerton, взял да и умер — а лечил его Фарроу. Ничего примечательного в этой смерти не было, однако мигом распространились слухи, будто умер старик от того, что Фарроу втыкал в него иглы и заколдовал беднягу.

В предшествующее воскресенье в маленькой церквушке Мэтлока священник как раз объявил, что злые духи — люди слышали! — собираются в полночь на шабаши у могил и совокупаются там с самим сатаной.

— Мерзко сие в очах Спасителя нашего, что мертвые должны восстать из могил по наущению дьявольскому! И те, кто предается подобным мерзостям, суть враги Господа Бога, — гремел он с амвона. Дьявол бродит среди них, предупредил священник, и служат ему полчища ведьм и колдунов, прикинувшихся людьми. На деле же они творят обряды черной магии и совершают тайно убийства.

Пастырь вооружил своих испуганных и повергнутых в трепет прихожан заклинанием, которое надлежало применять против всякого, заподозренного в волшбе: «Колдун лукавый,

вознамерившийся овладеть душой моею, твои чары против тебя же обратятся, заклятья твои на тебя же да падут тысячекратно. Именем пресвятой Троицы повелеваю: верни мне здоровье мое и силу! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». И напомни им слов: Священного Писания: «Ворожеи не оставляй в живых» [\[21\]](#).

— Их необходимо отыскать и истребить, а иначе гореть вам всем в жарком и устрашающем пламени чистилища, — увещевал он паству.

Бейли Элerton умер во вторник: когда он мотыжил свое поле, сердце у него остановилось. Дочь его утверждала, что видела на коже отца следы укулов иглой. Никто другой не мог с уверенностью это подтвердить, и все же в четверг с утра толпа ввалилась во двор Фарроу — как раз тогда, когда он сел верхом на лошадь, отправляясь к своим пациентам. Он все еще смотрел на Генри и давал ему указания на день, когда его стащили с седла.

Верховодил в толпе Саймон Бек, участок которого граничил с землей Фарроу.

— Разденьте его, — велел Бек.

Фарроу задрожал, когда с него сорвали одежду.

— Ну и гад же ты, Бек! — закричал он. — Гад какой!

Без одежды он выглядел старым, кожа на животе свисала складками, округлые плечи оказались узкими, мускулы — вялыми и дряблыми, над большой багровой мошонкой съежился маленький половой член.

— Вот оно! — торжествуя воскликнул Бек. — Метка сатаны!

В правом паху Фарроу всем были ясно видны две маленькие темные точки, похожие на след от укуса змеи. Бек надрезал одну из них кончиком своего ножа.

— *Это же родинки!* — завопил Фарроу.

Потекла кровь — у колдуна этого случиться не должно было.

— Хитрые они страшно, — сказал Бек. — Могут вызывать кровь, когда захотят.

— Я цирюльник, а не колдун, — с отвращением сказал Фарроу, обращаясь ко всем. Но, когда его привязали к деревянному кресту и понесли к его собственному пруду, где он разводил рыбу, Фарроу стал молить о пощаде.

Крест со страшным плеском бросили в неглубокий пруд и удерживали под водой. Толпа успокоилась, наблюдая за тем, как поднимаются пузыри. Наконец крест вытянули и дали Фарроу возможность покаяться. Он жадно хватал ртом воздух и слабо отплевывался.

— Признаешь ли ты, сосед Фарроу, что связался с дьяволом? — дружелюбно спросил его Бек.

Но связанный человек вместо ответа лишь кашлял.

Тогда его снова погрузили в воду. Продержали на этот раз до тех пор, пока пузыри не перестали подниматься на поверхность. И даже тогда не спешили поднимать.

Генри мог лишь смотреть на это и всхлипывать, на его глазах будто бы снова убивали отца. Он больше не был мальчиком, он превратился во взрослого мужчину, но против охотников на ведьм был совершенно бессилён. Да и боялся, как бы они не взяли в голову, что ученик цирюльника помогал колдуну в его делах.

Наконец они отпустили крест, дав ему всплыть, прочитали заклинание против злого духа и уши, так и оставив крест плавать на пруду.

Когда никого из толпы не осталось, Генри пробрался среди тины и вытянул крест на берег. На губах хозяина выступила розоватая пена. Генри закрыл ему невидящие глаза, которые выделялись, как немое обвинение, на белом лице, и очистил плечи Фарроу от

налипших водорослей, потом разрезал веревки.

Цирюльник-хирург давно был вдовцом, детей не имел, так что все заботы пали на его слугу. Тот похоронил Фарроу как можно скорее.

Проходя по комнатам дома, Генри обнаружил, что толпа побывала здесь прежде него. Несомненно, они искали доказательства связи с сатаной, потому и унесли с собой все деньги Фарроу и его вино. Дом разграбили подчистую, но Генри нашел одежду, немного получше той, в которую был сейчас одет. Нашел немного еды и положил в свой дорожный мешок. Еще он взял сумку с хирургическими инструментами, поймал коня Фарроу и выехал из Мэтлока, пока никто не вспомнил о нем и не вернулся в дом.

* * *

Он снова стал скитальцем, но теперь владел ремеслом, а это все меняло. Всюду находились больные, готовые заплатить ему за лечение пенни, а то и два. Постепенно он понял, какой доход может принести продажа лекарственных снадобий, а чтобы собрать толпу, прибегал к приемам, которым научился у бродячих артистов.

Опасаясь, что его могут разыскивать, он нигде не задерживался надолго и избегал называться полным именем, он стал просто Цирюльником. Очень скоро все эти особенности сплелись в один тугий клубок и стали такой формой существования, которая его вполне устраивала. Он носил добротную и красивую одежду, не знал недостатка в женщинах,пил, когда пожелает, наедался всякий раз до отвала, поклявшись никогда больше не знать голода. Быстро набирал вес. К тому времени, когда он встретил женщину, ставшую его женой, весил он уже не меньше семи пудов. Люсинда Имс, вдова, владела прекрасной фермой в Кентербери, и Цирюльник полгода ухаживал за скотом и посевами, изображая хорошего хозяина. Его приводила в восторг ее маленькая белая попка, похожая на перевернутое бледное сердечко. Когда они предавались любви, она высовывала из левого уголка рта розовый язычок, словно ребенок, который зубрит трудный урок. Она обвиняла мужа в том, что он не дал ей ребенка. Возможно, она была права, но ведь она не понесла и от первого мужа. Голос у нее становился визгливым, тон — злобным, а стряпня — какой попало. Еще далеко и года не прошло после их свадьбы, как он стал вспоминать более отзывчивых женщин, более разнообразную и вкусную еду, стал стремиться к передышке от ее бесконечных попреков.

* * *

Шел 1012 год, тот самый, когда датский король Свен подчинил Англию себе. Десять лет он досаждал Этельреду, горя желанием унижить человека, который умертвил его земляков. В конце концов Этельред со всем своим флотом бежал на остров Уайт, а королева Эмма с сыновьями Эдуардом и Альфредом нашла убежище в Нормандии.

Вскоре после этого Свен умер от старости. У него остались двое сыновей: Харальд, унаследовавший от отца датскую корону, и Кнуд, юноша девятнадцати лет, которого датские воины провозгласили королем Англии.

У Этельреда еще хватило запала на одно сражение, и он изгнал датчан, однако Кнуд

почти сразу же вернулся и на этот раз захватил всю Англию, кроме Лондона. Он уже выступил в поход на завоевание и Лондона тоже, когда узнал о смерти Этельреда. Кнуд не оплошал, он смело созвал Витан [\[22\]](#), совет английских мудрецов. В Саутгемптон съехались епископы, аббаты, эрлы и тэны [\[23\]](#), которые избрали Кнуда законным королем Англии. Кнуд продемонстрировал блестящий талант политика, стремящегося объединить измученную войнами страну: он направил в Нормандию послов и стал убеждать королеву Эмму сочетаться браком с преемником ее покойного мужа. Она согласилась, долго не чинясь. Намного старше Кнуда годами, она оставалась женщиной соблазнительной и чувственной, и придворные, посмеиваясь, передавали друг другу, что Кнуд и его королева почти не выходят из опочивальни.

Как раз тогда, когда новый король спешил вступить в законный брак, Цирюльник от законного брака бежал. В один прекрасный день он просто покинул Люсинду Имс, ставшую чересчур сварливой, да к тому же стряпавшую из рук вон плохо, и вернулся к своим странствиям. В Бате он купил себе первую повозку, а в Нортумберленде взял первого ученика. Преимущества не замедлили сказаться. За прошедшие с тех пор годы он обучил нескольких юношей. Те немногие, кто имел способности, приносили ему доход, а остальные помогли понять, какие качества он желает видеть в ученике.

Он хорошо знал, что грозит тому мальчишке, который ничему не научится и будет изгнан мастером. Таких ждали только беды: наиболее удачливые становились забавой для извращенцев либо попадали в рабство; невезучие умирали с голоду или попадали под нож разбойников. Цирюльника все это волновало куда больше, чем ему хотелось бы признать, но он не мог себе позволить держать ни на что не годного парня. Сам он выжил в жестокой борьбе, и сердце его способно было ожесточаться, коль скоро речь заходила о его собственном благополучии.

Новенький — парнишка, которого он взял к себе в Лондоне, — явно старался угодить ему, но Цирюльник знал, насколько обманчивой бывает внешность, если дело касается учеников. И не было никакого смысла тревожиться об этом раньше времени, наподобие пса, который только и боится, как бы кто-нибудь не отнял у него кость. Время покажет, и довольно скоро, заслуживает ли юный Коль того, чтобы выжить.

Схватка в Челмсфорде

Роб проснулся, едва лишь начало светать, и обнаружил, что его новый хозяин уже встал и проявляет признаки нетерпения. Он сразу же увидел, что день тот начинал не в лучшем настроении. Вот так, будучи не в духе, Цирюльник вытащил из повозки копье и показал мальчику, как им пользоваться.

— Оно не слишком тяжелое для тебя, если будешь держать обеими руками. Особого умения не требуется, просто коли изо всех сил. Если нацелишь его в середину туловища разбойника, то просто не можешь хоть куда-нибудь не попасть, а уж если ты ранишь его, то я, скорее всего, смогу потом убить. Это тебе понятно?

Роб кивнул, еще скованно чувствуя себя с чужим человеком.

— Видишь ли, парнишка, нам надо всегда быть начеку, а оружие держать под рукой — только так и можно остаться в живых. Эти дороги, построенные римлянами, поныне остаются самыми лучшими в Англии, да только никто о них не заботится. Обязанность короны — расчищать их по обеим сторонам, чтобы разбойным людям нелегко было устроить засаду на путников, но почти на всех дорогах никто не выкорчевывает кустарник.

Еще он показал, как запрягают лошадь. Когда тронулись в путь, Роб взобрался на козлы рядом с хозяином, под палящие лучи солнца, все еще одолеваемый всевозможными страхами. Вскоре Цирюльник дернул вожжи, и Инцитат свернул с римской дороги на довольно глухой проселок под сенью девственного леса. На шее У толстяка висел коричневый саксонский рог, некогда украшавший голову громадного быка. Хозяин поднес рог к губам и издал громкий сочный звук — наполовину призыв, наполовину стон.

— Благодаря этому сигналу всякий, кто его слышит, поймет, что мы не подкрадываемся с намерением убивать людей или воровать. В таких медвежьих углах жители, если встречают чужака, без раздумий стараются убить его. А звук рога говорит им, что мы люди порядочные, нам можно верить, да и постоять за себя мы сумеем.

Цирюльник предложил Робу попробовать дуть в рог, но как тот ни надувал щеки, как ни тужился, ни единого звука ему извлечь не удалось.

— Ничего, не огорчайся: станешь постарше, приобретешь сноровку — получится. И не только трубить в рог, но и многое другое.

Вся дорога была покрыта вязкой грязью. На самых трудных участках были настелены ветки, но кучеру требовалось напрягать внимание и пускать в ход все свое умение. На очередном повороте их занесло в самую жижу, и повозка увязла по ступицы колес. Цирюльник вздохнул.

Они оба слезли с козел, лопатой обкопали колеса, насобирали в лесу валежника. Цирюльник тщательно подложил ветки под каждое колесо, взобрался снова на козлы и взял вожжи.

— А ты бросай ветки под колеса, как только повозка тронется с места, — велел он, и Роб кивнул.

— Н-но, Та-а-ат! — крикнул Цирюльник. Заскрипели оси. — Давай!

Роб проворно подкладывал ветки, перебегая от колеса к ко лесу, а лошадь тянула изо всех сил. Колеса качнулись. Кругом было скользко, но появилась и опора. Повозка неуверенно двинулась вперед. Когда она выбралась на сухое место, Цирюльник натянул

вожжи и придержал лошадь, пока Роб не догнал их и не взобрался на козлы.

Оба были по уши забрызганы грязью, и у ближайшего ручейка Цирюльник остановил Тата.

— Давай-ка наловим себе рыбки на завтрак, — предложил он, когда они смыли всю грязь с лица и рук. Срезал две ивовые ветки, а из повозки достал леску и крючки. Вынул из-под козел коробочку.

— В этой коробке кузнечики, — объяснил хозяин. — И одна из твоих обязанностей — следить, чтобы она не пустела. — Он приподнял крышку ровно настолько, чтобы Роб мог запустить туда руку.

Что-то живое с шуршанием бросилось врассыпную от его руки, что-то смертельно напуганное и шершавое, и он схватил одно существо, осторожно сжал в кулаке. Потом разжал кулак, удерживая только крылья насекомого большим и указательным пальцами. Ноги кузнечика отчаянно извивались. Четыре передние ноги — тонкие, как ниточки, а две задние — сильные, с толстыми голеньями, благодаря которым он и мог прыгать.

Цирюльник показал, как надо насаживать наживку на крючок, вонзая острый кончик под короткий сегмент жесткого панциря позади головы.

— Не слишком глубоко, иначе он истечет кровью и умрет. Ты где раньше удил рыбу?

— На Темзе. — Роб гордился своим умением рыболова: они с отцом не раз закидывали удочки с насаженными на крючок червями — когда работы у отца не было, рыба помогала прокормить семью.

— Здесь рыбалка другая, — хмыкнул Цирюльник. — Оставь на минутку удочки и встань на четвереньки.

Они осторожно подползли почти к самой воде на берегу ближайшего пруда и легли на живот. Роб подумал, что этот толстяк какой-то странный.

В зеркальной глади пруда застыли четыре рыбки.

— Мелочь, — прошептал Роб.

— Как раз такого размера они лучше всего, — возразил Цирюльник, когда они отползли подальше от берега. — Большая форель в вашей реке жесткая и скользкая. А ты заметил, как эти держатся у самого устья пруда? Они кормятся, повернувшись против течения, выжидают, пока к ним подплывет что-нибудь сочное. Они осторожные, пугливые. Если ты поднимешься у водоема во весь рост, сразу же заметят. Если станешь топтать по берегу, почувствуют шаги и тут же прыснут в разные стороны. Поэтому и нужно длинное удилище. Держись на расстоянии от берега и забрасывай кузнечика легонько, только до воды — а там пусть она сама снесет его к рыбе.

Он скептически наблюдал, как Роб забрасывает удочку с наживкой, следуя его указаниям.

Последовал резкий рывок удочки, радостно отозвавшийся в руках Роба, — невидимая рыбка схватила наживку, что твой дракон. После этого рыбалка пошла так же, как и на Темзе. Он терпеливо выждал, давая рыбе время заглотить наживку, а затем вздернул кончик удочки и вонзил крючок поглубже, как учил его отец. Когда он вытащил на траву первую бьющуюся на крючке добычу, они восхитились ее блеском, напоминающим смазанное маслом ореховое дерево; гладкие бока сияли всеми оттенками красного, а кончики черных плавников светились теплым оранжевым цветом.

— Налови еще пять штук, — велел ему Цирюльник и исчез в чаще леса.

Роб поймал две рыбки, потом одна сорвалась, и он осторожно перешел к следующему

пруду. Форель жадно хватала кузнечиков. Он вытаскивал последнюю из шести, когда появился Цирюльник с полной шапкой сморчков и дикого лука.

— Мы едим два раза в день, — сказал Цирюльник. — Ближе к полудню и рано вечером, как все культурные люди.

Коль встанешь в шесть, позавтракаешь — в десять,
Съешь ужин в пять, а на бок — снова в десять,
То проживешь ты десять раз по десять.

У него была с собой ветчина, он нарезал ее толстыми ломтями. Когда мясо в почерневшей сковороде было готово, обвалил форелей в муке и зажарил их в жиру до появления хрустящей коричневой корочки, не забыв напоследок добавить грибы и лук.

Позвоночник рыб выступал над дымящейся плотью, позволяя избавиться от большинства костей. Пока пировали рыбой и мясом, Цирюльник поджарил на оставшемся ароматном жире ячменные лепешки и сделал бутерброды с большими ломтями сыра, которому предварительно позволил размягчиться в нагретой сковороде.

Теперь Цирюльник пришел в более благодушное настроение. Как заметил для себя Роб, толстяку, чтобы обрести доброе расположение духа, надо сперва наесться. Понял он и то, что Цирюльник — повар на редкость талантливый, и сам незаметно привык ожидать каждой новой трапезы как главного события дня. Роб вздохнул, подумав о том, что в копиях все было бы совсем по-другому. А работа, рассуждал он удовлетворенно, вполне ему по силам, ведь какой же это труд — наловить кузнечиков для наживки, поймать несколько рыбок да подложить под колеса телеги немного веток, если повозка застрянет в грязи.

* * *

Село называлось Фарнем. Были в нем крестьянские дома с приусадебными участками: облезлый постоялый двор; трактир, из которого доносился слабый запах пролитого эля; кузня с длинными поленницами у горна; мастерская кожевника, откуда немилосердно воняло; лесопилка с заполненными горами нарезанных досок двором. Дом управителя ^[24]выходил на площадь — собственно, это была даже не площадь, а немного более широкий участок улицы в центре села, похожей на проглотившую яйцо змею.

Цирюльник остановил повозку на околице. Достал барабан и колотушку и протянул Робу;

— Бей в него.

Инцитат уже понял, чем они собираются заняться. Он поднял голову и громко заржал, поднимаясь на дыбы. Роб гордо забил в барабан, заражаясь тем возбуждением, которое они вызвали по обе стороны улицы.

— Нынче вам предстоит развлечение, — выкрикивал Цирюльник, — а вслед за тем лечение недугов и разных хворей, как серьезных, так и пустяковых!

Кузнец, у которого под грязной кожей так и перекатывались бугры мышц, глядел им вслед, позабыв раздуть мехи. Двое мальчишек на лесопилке перестали укладывать доски в штабеля и побежали на призывный грохот барабана. Один вдруг повернулся и помчался в

противоположную сторону.

— Ты куда, Джайлс? — крикнул ему вдогонку товарищ.

— Домой. Позову Стивена и всех остальных.

— Забеги по пути к моему брату, позови всех и оттуда!

Цирюльник одобрительно кивнул головой.

— Всем передай! — крикнул он.

Из домов стали выходить женщины, перекликались между собой, а детишки высыпали на улицу, подняв страшный гвалт, и вскоре догнали стаю собак, уже мчавшихся с истошным лаем за красной повозкой.

Цирюльник медленно проехал из конца в конец улицы, развернулся и поехал обратно.

Старик, гревшийся на солнышке возле постоянного двора, открыл глаза и, увидав царивший переполох, улыбнулся беззубым ртом. Из трактира вышли несколько гуляк с чарками в руках, а за ними и подавальщица, которая поспешно вытирала о передник мокрые руки; глаза у нее сияли.

На маленькой площади цирюльник остановился. Из повозки он извлек четыре складные скамеечки и поставил их на землю, собрав в одно целое.

— Это называется помост, — указал он Робу на получившееся возвышение. — Куда бы мы ни приезжали, ты первым делом должен его поставить.

На помост они водрузили две корзины с закупоренными пузырьками — это было, по словам Цирюльника, целебное снадобье. Потом хозяин скрылся в фургоне и задернул завесу.

* * *

Роб сидел на помосте и смотрел, как по улице спешат к повозке люди. Пришел мельник в белом от муки одеянии, два плотника, которых Роб мигом опознал по знакомым приметам: опилкам и стружкам на одежде и в волосах. На земле устраивались целые семьи, готовые ждать, пока удастся передвинуться поближе к повозке. Женщины, не теряя времени даром, шили и плели кружева, а ребятишки шумели и затевали возню. Несколько деревенских мальчишек разглядывали Роба, а он надулся от важности, заметив в их глазах зависть, смешанную с почтительным страхом. Но все эти глупости очень скоро вылетели у него из головы, потому что он, как и они, превратился в зрителя. На помост, сияя улыбкой, взобрался Цирюльник.

— Доброго дня всем сегодня и доброго утра завтра, — обратился он к собравшимся. — Мне очень приятно оказаться в Фарнеме. — После этого он стал жонглировать.

Жонглировал он красным шариком и желтым, причем руки его, казалось, совсем и не двигаются. Это было великолепное зрелище!

Толстые пальцы отправляли шарики в полет по бесконечному кругу — сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Когда зрители захопали, он достал из кармана куртки еще и зеленый шарик. Потом прибавил синий. И наконец — ах! — коричневый!

«Как здорово — уметь проделывать такие шутки», — подумал Роб.

Он затаил дыхание, ожидая, что Цирюльник вот-вот уронит какой-нибудь из шариков, но тот с легкостью управлялся со всеми пятью, при этом не умолкая ни на минуту. Он заставил зрителей смеяться. Он рассказывал им всякие истории, даже пел короткие песенки.

Потом он жонглировал веревочными кольцами и деревянными тарелочками, а когда

закончил жонглировать, стал показывать фокусы. Яйцо бесследно исчезло на глазах публики, в волосах одного мальчика обнаружилась монетка, а платок стал менять свой цвет.

— Позабавитесь ли вы, если увидите, как по моей воле исчезает бесследно кружка эля?

Все дружно захлопали в ладоши. Подавальщица поспешила в трактир и тотчас принесла кружку, покрытую шапкой пены. Цирюльник приложил ее к губам и осушил залпом. Зрители добродушно захохотали, захлопали, Цирюльник поклонился им и спросил, обращаясь к женщинам, хочет ли кто из них ленту.

— Ой, конечно! — воскликнула подавальщица. Была она молодая, в теле, и ее безыскусный быстрый ответ вызвал в толпе многочисленные смешки. Цирюльник заглянул ей в глаза и улыбнулся:

— Как вас зовут?

— Ой, сэр! Амелия Симпсон.

— Мистрис Симпсон?

— Я незамужняя.

— Какое сокровище даром пропадает, — галантно произнес Цирюльник, прикрыв глаза. — А какого цвета ленту вы желаете, барышня Амелия?

— Красную.

— А по длине?

— Двух ярдов мне вполне хватит.

— Будем надеяться, — пробормотал Цирюльник и вскинул брови.

В публике грубовато захохотали, но Цирюльник, казалось, уж и позабыл о девушке. Он взял веревку, разрезал на четыре части, а потом сделал ее снова целой — одними движениями рук, без заклинаний. Потом накрыл большим платком кольцо, и оно превратилось в грецкий орех. И только после этого, как бы сам изумляясь происходящему, поднес пальцы ко рту и потянул оттуда что-то, позволив зрителям увидеть кончик красной ленты.

Люди смотрели во все глаза, а он все тянул и тянул, плечи его слегка сторбились, а глаза сошлись к переносице — лента все не кончалась. Наконец, туго натянув кончик, вытащил кинжал, приложил его к самым губам и отрезал ленту. С поклоном протянул ее подавальщице из трактира.

Рядом стоял пыльник, и он тут же растянул ленту на своей мерной линейке.

— Два ярда ровно! — объявил он. Раздался гром рукоплесканий.

Цирюльник подождал, пока стихнет шум, и поднял над головой пузырек с целебным зельем.

— Мастера, хозяйки и барышни!

*Одно лишь*мое Особое Снадобье от Всех Болезней...

Способно продлить отпущенный вам срок жизни и восстановить износившиеся ткани тела. Негнущиеся суставы становятся гибкими, а разболтавшиеся — крепкими. В поблекших глазах снова зажигается искра молодости. Недуги исцеляет, здоровье возвращает, волосам выпадать не позволяет, а блестящую лысину вновь покрывает шевелюрой. Ослабевшее зрение делает ясным, а притупившуюся память — острой.

Великолепное лекарство для сердца, помогает лучше всякого укрепляющего, слабительное, куда нежнее, чем клистир из сливок. Особое Снадобье помогает победить опухоли и кровавый понос, облегчает роды и боль, на которую обречены все женщины, совершенно излечивает от всяких цинготных напастей, заносимых на наши берега морскими

бродягами. Годится и для скота, и для человека, исцеляет от глухоты, глазной боли, кашля, чахотки, болей в животе, разлития желчи, лихорадки и малярии. Исцеляет от всех недугов! Делает лекаря ненужным!

Не сходя с помоста, Цирюльник продал множество пузырьков. Потом они с Робом вместе установили ширму, за которой хирург-цирюльник стал осматривать пациентов. Больные и немощные вытянулись длинной цепочкой, готовые уплатить за лечение пенни или два.

* * *

В тот вечер они ужинали жареной гусятиной в трактире. Роб впервые в жизни ел за плату. Еда показалась ему необыкновенно вкусной, хотя сам Цирюльник жаловался, что гусь пережарен, и ворчал, что пареная репа плохо протерта. После ужина Цирюльник расстелил на столе карту острова Британия. Роб впервые видел географическую карту, он с восторгом наблюдал за тем, как палец Цирюльника проводит по ней извилистую линию — тот путь, что предстоит им в ближайшие месяцы.

Наконец, со слипающимися глазами, полусонный, он доковылял при лунном свете до их стоянки и постелил себе. За последние несколько дней произошло столько всего нового, что голова кружилась, а сон не шел.

Он дремал, созерцая звезды, когда возвратился Цирюльник, и не один.

— Амелия, красавица, — приговаривал Цирюльник. — Красивая, как куколка. Один только взгляд на эти ждущие ласки губы — и я уже знал, что готов умереть за тебя.

— Смотри под ноги, не то споткнешься о корни, — предупредила она.

Роб лежал, прислушиваясь к звукам поцелуев, шороху снимаемой одежды, смеху и вздохам. Затем услышал, как на земле расстилают шкуры.

— Мне лучше лечь снизу, из-за живота, — послышался голос Цирюльника.

— Весьма выдающийся живот, — лукаво сказала девушка тихим голосом. — Наверное, это будет все равно, что прыгать на пуховике.

— Будет тебе, барышня. Вот у меня кое-что получше пуховика.

Робу хотелось увидеть ее голой, всего-то и надо было чуть-чуть повернуть голову, но когда он на это отважился, девушка уже не стояла во весь рост. Ему удалось увидеть лишь слабые отблески света на ее ягодицах.

Мальчик шумно дышал, но с таким же успехом мог и закричать — парочка уже ни на что не обращала внимания. Вскоре он увидел, что хозяин протянул большие пухлые руки и сомкнул их на движущихся безостановочно белых полушариях девушки.

— Ах, куколка!

В ответ та издала стон.

Они уснули раньше, чем Роб. Но наконец и его сморил сон, и снилось ему, как Цирюльник жонглирует.

* * *

Когда утренняя прохлада разбудила его, женщины у костра уже не было. Они с хозяином

свернули лагерь и покинули Фарнем, пока большинство обитателей села еще видело сны.

Солнце выкатилось на небо, и вскоре им встретились заросли ежевики; путники остановились и насобирали полную корзину ягод. В ближайшей крестьянской усадьбе закупили провизию. Когда сделали привал на завтрак, Роб развел костер и стал нарезать бутерброды с ветчиной и сыром, а Цирюльник разбил в большую миску девять яиц, добавил побольше кислых сливок, взбил все вместе до густой пены и поставил на огонь, не помешивая, пока не получился нежный пирог, который он сверху посыпал спелой ежевикой. Когда Роб уписывал за обе щеки доставшуюся ему долю, хозяин выглядел очень довольным.

Ближе к вечеру они проезжали мимо крепости, вокруг которой были разбросаны крестьянские усадьбы. Робу видны были люди во дворах и на земляных валах. Цирюльник подхлестнул лошадь, пустил ее резвой рысью, желая побыстрее оставить укрепления позади.

Оттуда, однако, вынеслись им вдогонку три всадника и закричали, приказывая остановиться.

Вооруженные люди, суровые и вселяющие страх, разглядывали пестрый фургон с явным любопытством.

— Что у тебя за ремесло? — спросил один из всадников, одетый в легкую кольчугу, какая подобаает человеку знатному.

— Я цирюльник-хирург, благородный господин, — ответил хозяин.

Всадник кивнул с довольным видом и повернул коня:

— Поезжай за мной.

Окруженная стражей повозка с грохотом прокатилась через вкопанные в земляной вал крепкие ворота, потом через вторые, сделанные в ограде из высоких заостренных кольев, проехала по подъемному мосту, перекинутому через ров с водой. Робу еще никогда не приходилось видеть вблизи такое мощное сооружение. Огромная цитадель стояла на высоком фундаменте, нижний этаж был из камня, а верхние этажи из Дерева; крыльцо и коньки крыши покрыты искусной резьбой, а коньковый брус горел на солнце позолотой.

— Оставь повозку на главном дворе. И возьми с собой хирургические инструменты.

— А что нужно сделать, благородный господин?

— Сука лапу поранила.

Нагруженные инструментами и пузырьками со всевозможными снадобьями, они последовали за этим человеком в огромный зал, напоминавший пещеру. Пол из каменных плит посыпан камышом, который давненько не меняли. Мебель, судя по виду, предназначалась для великанов среднего размера. Три стены увешаны мечами, щитами, копьями, а одна, северная, украшена гобеленами, некогда яркие краски которых успели поблекнуть. Перед этой стеной стоял трон из покрытого резьбой темного дерева.

В большом камине огонь не горел, но в зале витал запах дыма, сохранившийся с минувшей зимы, слышался и куда менее приятный запах, усилившийся, когда они подошли к большой охотничьей собаке, лежавшей близ камина.

— Угодила в капкан, лишилась двух пальцев. Тому уж две недели. Поначалу все прекрасно заживало, а потом раны вдруг загноились.

Цирюльник кивнул. Он вытряхнул из серебряной миски, стоявшей перед собакой, мясо, и влил туда содержимое двух пузырьков из своего запаса. Собака смотрела на него слезящимися глазами и заскулила, когда он поставил миску перед нею, но через какое-то мгновение принялась лакать снадобье.

Цирюльник не желал рисковать: пока собака впала в полудрему, он связал ей челюсти и

лапы, чтобы она не смогла поранить его зубами и когтями.

Когда Цирюльник надрезал лапу, собака задрожала и жалобно завизжала. Запах из раны шел отвратительный, там кишели черви.

— Она лишится еще одного пальца.

— Она не должна охрометь. Ты уж постарайся, — холодно ответил ему сопровождающий.

Когда дело было сделано, Цирюльник смыл с лапы кровь остатками лекарства, потом замотал лапу тряпочкой.

— А как же плата, благородный господин? — вежливо поинтересовался он.

— Дождись, пока с охоты вернется эрл, его и попросишь, — ответил рыцарь и удалился.

Они осторожно развязали собаку, собрали инструменты и воротились к повозке. Цирюльник медленно выехал из крепости, как человек, имеющий на то позволение.

Но когда крепость исчезла из виду, он харкнул и сплюнул.

— Эрл может вернуться еще через неделю. Если к тому времени собака выздоровеет, он, может быть, и заплатит, этот богобоязненный эрл. Если же собака подохнет или эрл просто будет не в духе из-за несварения желудка, он вполне может приказать, чтобы нас выпороли. Я остерегаюсь связываться с большими господами и зарабатываю себе на хлеб по деревням и селам, — сказал он, понукая лошадку.

* * *

На следующее утро они добрались до Челмсфорда, причем Цирюльник успел прийти в более благодушное настроение. Там, однако, уже бесцеремонно расположился торговец мазями, плотный мужчина в безвкусной ярко-оранжевой куртке; голову его венчала копна седых волос.

— Рад видеть тебя, Цирюльник, — сказал он приветливо.

— Здравствуй, Уот. А где твоя зверюга?

— Зверь занемог, совсем никуда не годится. Я его отдал на травлю.

— Жалко, что ты не напоил его моим Особым Снадобьем. Ему это пошло бы на пользу. — Оба засмеялись.

— Но я завел себе нового зверя. Посмотреть желаешь?

— Отчего же не посмотреть? — откликнулся Цирюльник. Он загнал повозку под тень дерева и пустил лошадь пастись; тем временем собралась толпа. Челмсфорд был большим селом, зрителей хватало.

— Ты бороться умеешь? — спросил Цирюльник Роба.

Тот утвердительно кивнул. Борьбу он обожал. Лондонские мальчишки из семей работников занимались ею ежедневно.

Уот начал развлекать толпу, как и Цирюльник, с жонглирования. И делал это, по мнению Роба, очень искусно. Зато как рассказчику ему было далеко до Цирюльника, и смех зрителей раздавался гораздо реже. Но медведь понравился всем.

Клетка стояла в тени, накрытая полотном. В толпе слышались возгласы, когда Уот снял покров. Робу когда-то приходилось видеть ученого медведя. Когда ему было шесть лет, отец повел его посмотреть такого зверя, того показывали возле постоянного двора Суонна. Мальчику медведь показался огромным. Когда Уот вывел на платформу своего медведя на

длинной цепи, с продетым в нос кольцом, Робу показалось, что этот зверь поменьше. Чуть больше крупного пса, зато очень красивый.

— Медведь Бартрам! — возвестил Уот.

По его команде медведь лег на землю и притворился мертвым. Потом поймал мячик и принес своему хозяину, забрался на лесенку и спустился с нее, а затем Уот стал наигрывать на флейте, и медведь станцевал простонародный танец, называемый каролой, только не кружился, а неуклюже поворачивался на месте, но зрителям это доставило столько удовольствия, что они хлопали в ладоши при каждом движении медведя.

— А сейчас, — сказал Уот, — Бартрам станет бороться со всяким, кто пожелает. Если кто сумеет опрокинуть его на землю, то получит бесплатно горшочек мази Уота — самого что ни на есть чудодейственного средства для исцеления людских недугов.

В толпе оживленно зашумели, но ни один желающий не выступил вперед.

— Давайте, борцы, выходите! — взывал Уот.

У Цирюльника хитро блеснули глаза.

— Вот парнишка, у которого не дрожат коленки от страха, — громко сказал он.

К величайшему удивлению Роба и его немалому испугу, хозяин вытолкнул его вперед. Чьи-то руки тут же помогли ему взобраться на помост.

— Мой ученик против твоего зверя, дружище Уот, — воскликнул Цирюльник.

Уот согласно кивнул, и оба опять рассмеялись.

«Ой, мамочка!» — пронеслось в голове оцепеневшего Роба.

Это все-таки был медведь. Он стоял, покачиваясь на задних лапах, выставив навстречу Робу свою мохнатую голову. Это не собака, не приятели с улицы Плотников. Он видел могучие плечи и толстые лапы зверя, инстинкт самосохранения подсказывал Робу, что надо спрыгнуть с помоста и бежать без оглядки. Но поступить так — значит подвести хозяина и лишиться всего, что теперь у него было связано с цирюльником-хирургом. И Роб выбрал из двух зол меньшее: он шагнул навстречу зверю.

Сердце гулко стучало; Роб кружил вокруг медведя, помахивая вытянутыми вперед руками, — он видел, что так делают борцы постарше его. Наверное, у него это не очень хорошо получалось: кто-то в толпе хихикнул, медведь повернул голову на звук смеха. Роб постарался забыть, что его противник не человек, и поступил так, как дрался бы с другим мальчишкой: кинулся вперед и попытался сбить Бартрама с ног. С таким же успехом он мог пытаться вырвать из земли с корнем большущее дерево.

Бартрам поднял одну лапу и лениво ударил мальчика. Когти у него были удалены, но и удара такой лапы хватило, чтобы Роб упал и отлетел назад чуть не до края помоста. Теперь ему было уже не просто страшно: он понимал, что ничего не сможет поделать, ему придется спасаться бегством, — но Бартрам подозрительно быстро подошел косолапыми шагами и стоял, выжидая. Когда Роб встал на ноги, медведь тут же обнял его передними лапами, прижал к себе лицом, шерсть забила мальчику нос и рот. Он задыхался в густом жестком черном меху, пахнувшем точно так же, как и шкура, которой он укрывался по ночам. Медведь еще не был взрослым, но ведь Роб тоже не был взрослым! Отчаянно вырываясь, он случайно заглянул в маленькие испуганные красные глазки зверя. Медведю страшно не меньше, чем ему, догадался Роб, но в эту минуту именно медведь был хозяином положения. Бартрам не мог кусаться, но было ясно, что укусил бы непременно; он уткнулся своим кожаным носом в плечо Роба, обдавая мальчика горячим зловонным дыханием.

Уот вытянул руку в направлении маленькой ручки на ошейнике зверя. Не дотронулся

даже, но медведь тут же захныкал и съежился. Потом отпустил Роба и опрокинулся на спину.

— Прижми его к земле, болван! — прошептал Уот.

Роб бросился на поверженного медведя и ухватил его за черный мех на плечах. Никого из зрителей одурачить не получилось, кое-кто стал свистеть, но толпу удалось развлечь, а потому она была настроена миролюбиво. Уот вернул Бартрама в клетку, а потом вручил Робу его приз — небольшой глиняный горшочек мази, как и было обещано. Вскоре торговец уже объяснял зрителям, из каких полезных веществ состоит его снадобье и как им пользоваться.

Роб на ватных ногах отошел к повозке.

— Ты справился просто отлично, — похвалил его Цирюльник. — Прыгнул прямо на него. Что, кровь из носу пошла немного?

Роб шмыгнул носом, сознавая, что ему еще повезло.

— Зверь как раз собирался со мной разделаться, — угрюмо заявил он.

Цирюльник ухмыльнулся и покачал головой:

— А ты заметил маленькую рукоятку на его ошейнике? Этот ошейник душит. Рукоятка позволяет закрутить ошейник, не давая животному дышать, если оно не подчиняется командам. Так вот медведей и обучают. — Он подал Робу руку, помогая взобраться на козлы, затем запустил палец в горшочек и взял немного мази, втер ее себе между большим и указательным пальцами. — Свечное сало и свиной жир, да еще немного душистой травки. Однако же он бойко этим торгует! — проговорил Цирюльник, глядя на то, как выстраиваются в очередь покупатели, стремясь отдать Уоту свои пенни. — Наличие животного гарантирует ему процветание. Публику можно развлекать представлениями сучеными сурками, козами, воронами, барсуками и собаками. Даже ящерицы годятся, и тогда можно собрать больше денег, чем я собираю в одиночку.

Лошадь, повинувшись кучеру, двинулась вперед, увозя фургон по дороге в прохладу лесов, подальше от Челмсфорда и борцовских схваток с медведем. Роб еще подрагивал от пережитого. Не шевелясь, он сидел и размышлял.

— Почему же тогда *вы самине* держите животное для развлечения публики? — задал он созревший в голове вопрос.

Цирюльник повернулся на козлах в его сторону. Приветливыми голубыми глазами он отыскал глаза Роба, и этот взгляд говорил больше, чем улыбка на губах.

— У меня есть ты, — сказал он.

Разноцветные шарики

Начали они с жонглирования, и Роб сразу понял, что такое чудо ему никогда не будет по силам.

— Стой ровно, но не напрягайся, руки по швам. Потом сгибай руки в локтях, пока они не будут параллельны земле. Поверни их ладонями вверх. — Цирюльник критически оглядел ученика и кивнул. — Представь себе, что я поставил тебе на ладони поднос с яйцами. Нельзя дать подносу накрениться ни на миг, иначе яйца скатятся. Вот и с жонглированием то же самое. Если руки у тебя не будут ровными, все шарики попадают на землю. Это тебе понятно?

— Понятно, Цирюльник. — В животе у Роба неприятно защекотало.

— Сложи ладони ковшиком, будто собираешься пить воду из каждой по отдельности. — Он взял два деревянных шарика. Красный шарик положил в согнутую ковшиком правую руку Роба, а синий — в левую. — А теперь подбрось их в воздух, как жонглер, только оба сразу.

Шарики пролетели у Роба над головой и упали на землю.

— Замечай. Красный взлетел выше, потому что правая рука у тебя сильнее левой. Поэтому тебе надо научиться уравнивать силу, меньше усилий прилагать правой рукой, а больше левой, ведь броски должны быть одинаковой силы. Кроме того, шарики взлетели слишком высоко. Жонглеру хватает забот и без того, чтобы задирать голову против солнца и разглядывать, куда подевались его шарики. Шарики должны взлетать не выше этого места, — и он постучал по лбу Роба. — Так ты сможешь видеть их, не поднимая головы.

Хозяин нахмурил брови.

— Вот еще что. Жонглеры никогда не *бросают* шарики, а только *подбрасывают*. Середина ладони в это мгновение должна резко распрямиться, так что вместо ковшика ладонь становится совершенно плоской. Середина ладони посылает шарик строго вверх, а запястьем в то же самое время ты будто щелкаешь, как кнутом, предплечье же лишь чуть-чуть приподнимается. А от локтя до плеча руки вообще не должны двигаться.

Он поднял шарики и подал их Робу.

Когда они приехали в Хартфорд, Роб установил помост, достал из фургона пузырьки с эликсиром Цирюльника, а потом сам взял два деревянных шарика и стал добиваться, чтобы они выскакивали из руки. Казалось, ничего трудного в этом нет, но в половине случаев, как оказалось, он заставляет шарики при броске возвращаться, из-за чего те меняют направление полета. Если он запускал шарик по кривой, промедлив с подбрасыванием, то шарик падал ему в лицо или перелетал через плечо. Если же он слишком расслаблял ладонь, шарик просто улетал от него прочь. Но Роб не сдавался, и вскоре до него стал доходить смысл того, как надо подбрасывать шарик. Когда вечером перед ужином он продемонстрировал свое только что обретенное умение хозяину, тот, кажется, остался доволен.

На следующий день Цирюльник остановил повозку, не доезжая до деревушки Лутон, и показал Робу, как подбрасывать шарики таким образом, чтобы их пути пересекались.

— Они не столкнутся в воздухе, если один вылетит чуть раньше или поднимется чуть выше другого, — объяснил он.

Как только в Лутоне началось представление, Роб потихоньку удалился с двумя шариками и стал тренироваться на полянке в лесу. Чаще всего синий шарик и красный

сталкивались с легким стуком, словно смеялись над ним. Шарик все время падали, старались укатиться, приходилось то и дело гоняться за ними. Роб приуныл, чувствуя себя круглым дураком. Но никто на него не смотрел, разве что лесная мышка пробежит или птица случайно вспорхнет, поэтому он продолжил свое занятие. Наконец он увидел, что удастся запустить оба шарика удачно, если первый вылетал из левой руки по более широкой дуге, а второй шел ниже и пролетал меньшее расстояние. Ему понадобились два дня постоянных усилий, ошибок и бесконечных повторений, пока он не уверился в себе настолько, что смог предъявить результат Цирюльнику.

Тот показал ему, как направлять оба шарика по кругу:

— Это поначалу кажется труднее, чем есть на самом деле. Выскакивает первый шарик. Когда он уже летит, ты переключиваешь второй в правую руку.левой ловишь первый, из правой вылетает второй, и пошло: хоп, хоп, хоп! Шарик быстро выскакивают из твоей руки, однако падают гораздо медленнее. В этом весь секрет жонглера, это его и спасает. А времени у тебя предостаточно.

К концу недели Цирюльник уже показывал ему, как запускать одной рукой и красный, и синий шарик. Один нужно было держать на ладони, а другой чуть дальше, на пальцах. Роб обрадовался, что ладони у него большие. Он часто ронял шарик, но в конце концов получилось: сначала он подбрасывал красный, и не успевал тот упасть в руку, как вылетал синий. Они так и летали вверх-вниз из одной руки — хоп, хоп, хоп! Он использовал Для тренировок каждую свободную минуту, вот так: два шарика по кругу, потом навстречу друг другу, оба одной правой, потом оба одной левой. Выяснилось, что чем ниже летят шарик, тем быстрее ему удастся жонглировать. Не доезжая городка Блечли, они задержались немного: Цирюльник купил у местного крестьянина лебедя. Это был лебеденок, и все же побольше любой птицы, какую Роб видел приготовленной на столе. Крестьянин продал птицу неошипанной, и Цирюльник очень этим возмущался, долго тушку промывал в проточной воде, а затем подвесил над костерком, чтобы подпалить корни перьев.

Он начинил лебедя каштанами, луком, жиром и разными травами, как и приличествует, когда готовишь птицу, обошедшуюся недешево.

— Мясо лебедя более упругое, чем у гуся, но суше, нежели утиное, поэтому надо жиру добавить, — радостно поучал он Роба. Они так и сделали, завернув птицу целиком в тонкие слои соленой свинины, перекрывшие друг дружку и образовавшие сплошной панцирь. Цирюльник перевязал все вместе льняным шпагатом, насадил на вертел и повесил над огнем.

Роб упражнялся в жонглировании неподалеку от костра, и шедшие оттуда запахи приятно дразнили его обоняние. Жар костра вытопил из свинины сало, впитывавшееся в суховатое мясо, а тем временем жир, добавленный в начинку, медленно растопился, смазывая мясо изнутри. Цирюльник поворачивал над огнем свежесрезанную ветку, служившую вертелом, и тонкая оболочка свинины высыхала и сморщивалась. Когда же птица была совсем готова и снята с огня, слой соленой свинины лопнул и свалился. Лебедь, зажаренный внутри нее, оказался сочным и нежным, немного волокнистым, зато отлично пропитавшимся жиром и прокопченным. Они съели часть лебедя с горячей каштановой подливкой и вареной молодой тыквой. Роба досталась огромная розовая ножка.

На следующее утро они поднялись рано и ехали быстро — вчерашний день, проведенный без работы, придал им сил. Для завтрака остановились на обочине дороги и полакомились холодной грудкой лебедя и разогретыми лепешками с сыром. Закончив

трапезу, Цирюльник довольно рыгнул и дал Робу третий шарик — зеленый.

* * *

Они двигались, как муравьи, по огромной равнине. Перед ними открылись Котсуолдские холмы, округлые, невысокие, прекрасные в своем нежном летнем наряде. В долинах уютно укрывались деревеньки, где каменных домов было больше, чем Роб привык видеть в Лондоне. Наступил день святого Свитина ^[25], а еще через три дня Робу минуло десять лет. Но Цирюльнику он об этом ничего не сказал.

Мальчик рос: костистые запястья уже заметно выступали из рукавов рубахи, которые мама нарочно оставила подлиннее. Цирюльник щедро нагружал его работой. Роб выполнял большую часть хозяйственных дел: в каждом новом селе или деревеньке разгружал и загружал снова повозку, собирал хворост для костра, носил воду. От той вкусной и жирной пищи, которая превратила Цирюльника в настоящего толстяка, Роб становился жилистым и мускулистым. К этой замечательной пище он привык очень скоро.

С Цирюльником они постепенно притирались друг к другу. Если толстяк приводил к их костру женщину, Роба это уже не удивляло. Иногда он слышал страстные вздохи и пытался подсматривать, но чаще отворачивался и засыпал. Если складывались подходящие обстоятельства, Цирюльник иногда проводил ночь в доме женщины, но на рассвете непременно возвращался к повозке: пора было уезжать в поисках нового места.

Постепенно Роб стал понимать, что Цирюльнику хочется приласкать каждую женщину, на которую падает его взгляд, и так же ласково он относится к людям, собирающимся на его представление. Цирюльник-хирург оповещал их, что его Особое Снадобье от Всех Болезней изготовлено по восточному рецепту, а основой является настой молотых сушеных листьев растения, называемого «Виталия» ^[26], которое произрастает лишь в пустынях далекой Ассирии. Но когда запасы Снадобья подошли к концу, Роб помог Цирюльнику приготовить новую партию и увидел, что Снадобье — это главным образом обычный хмельной напиток.

Не больше пяти-шести раз пришлось расспрашивать встречных, пока они нашли крестьянина, который рад был продать бочонок метеглина. Годилась любая разновидность хмельных напитков, но Цирюльник говорил, что всегда старается найти именно метеглин — разбавленный водой перебродивший мед.

— Его придумали валлийцы, парнишка, и это одна из немногих хороших вещей, которые мы у них переняли. Название происходит от их слов «меддиг», то есть лекарь, и «ллин», что значит «крепкий хмельной напиток». Они привыкли так принимать лекарство, это хороший способ, ибо от метеглина язык деревенеет, а душа согревается.

Виталия же, «трава жизни» из далекой Ассирии, оказалась щепоткой селитры, которую Роб старательно размешал в каждом галлоне метеглина. Селитра придавала крепкому напитку привкус лекарственного зелья, смягченный сладостью перебродившего меда, который служил основой снадобья.

Пузырьки были маленькие.

— Купи бочонок задешево, пузырек же продавай дорого, — повторял Цирюльник. — Наше место — среди простолюдинов и бедняков. Выше нас стоят хирурги, которые урывают себе кусок пожирнее, а иногда бросают нам грязную работенку, с которой им самим мараются неохота, как кидают кусок гнилого мяса дворовому псу! А над *этими* жалкими

людишками стоят румяные лекари, надутые от чувства собственной важности; они пользуют только благородных, потому и берут дороже всех.

Ты ни разу не задумывался, почему вот этот Цирюльник не подстригает ни бород, ни волос? А потому, что я могу позволить себе выбирать, какой работой заняться. Вот тебе урок, и запомни его хорошенько, ученик: если приготовить целебное снадобье с толком да продавать его, не лентясь, то хирург-цирюльник может заработать не меньше денег, нежели лекарь. И это все, что тебе необходимо обязательно знать, даже если ничего больше у тебя получаться не будет.

Когда они закончили смешивать целебное зелье на продажу, Цирюльник достал небольшой горшочек и в нем приготовил еще немного снадобья. Потом расстегнул штаны. Роб замороженно смотрел, как струйка журчит в горшочке с Особым Снадобьем.

— Это для особых пациентов, — шелковым голосом произнес Цирюльник, выдавливая из себя последние капли. — Послезавтра мы приедем в Оксфорд. Тамошний управитель, по имени сэр Джон Фиттс, дерет с меня три шкуры, иначе грозит выгнать совсем из округи. А через две недели окажемся в Бристоле — там есть хозяин таверны, некий Питер, который всегда во время моих представлений выкрикивает во всю глотку оскорбления. Вот для таких людей я готовлю достойные подарочки.

Когда они оказались в Оксфорде, Роб не стал удаляться для жонглерских упражнений с разноцветными шариками. Он ждал и глядел во все глаза, пока не появился королевский управитель в испачканной атласной куртке, высокий худощавый мужчина со впалыми щеками и не сходящей с губ холодной усмешкой — казалось, его забавляет что-то недоступное пониманию прочих. Роб видел, как Цирюльник вручил ему мзду, а затем, словно поразмыслив хорошенько, без видимой охоты дал флакончик метеглина.

Управитель открыл флакончик и осушил. Роб ждал, что вот сейчас он закашляется, станет плевать и закричит, чтобы их тут же арестовали. Но благородный Фиттс сделал последний глоток и утер губы:

— Добрая выпивка.

— Спасибо, сэр Джон!

— Дай мне еще несколько таких, домой отнесу.

Цирюльник вздохнул, словно примираясь с неизбежным.

— Слушаюсь, благородный господин.

Сдобренные мочой пузырьки были помечены царапинами, чтобы не перепутать их с неразбавленным метеглином, и хранились отдельно в уголке фургона; впрочем, сам Роб не отваживался пить медовый настой вообще, из опасения ошибиться. Из-за самого факта существования Снадобья для особых пациентов его тошнило при виде любого метеглина, благодаря чему он, возможно, и не пристрастился к выпивке с юных лет.

* * *

Жонглировать тремя шариками оказалось делом чертовски трудным. Роб упражнялся несколько недель — без большого успеха. Поначалу он брал два шарика в правую руку, а один в левую. Цирюльник советовал ему начать с жонглирования двумя шариками одной рукой, ведь этому он уже обучился. Когда казалось, что настал подходящий момент, Роб в том же темпе подбрасывал и третий шарик. Два шарика взлетали вместе, за ними один,

опять два, опять один... Одинокий шарик чередовался с двумя сразу, это смотрелось красиво, но на самом деле так не жонглируют. А всякая попытка направить три шарика навстречу друг другу неизменно заканчивалась крахом.

Упражнениям он посвящал каждую свободную минуту. Ему и по ночам снилось, что разноцветные шарики танцуют в воз-1 духе, легкие, как птички. Проснувшись, он пытался подбрасывать их именно так, но очень быстро убеждался, что ничего у него не выходит.

Сноровка пришла к нему, когда они были в Стратфорде. Роб не увидел ничего нового в том, как он подбрасывает и ловит шарики, просто нашел нужный ритм. Казалось, что все три шарика сами выскакивают из его рук и возвращаются так, словно стали частью его самого.

Цирюльник был этим очень доволен.

— Сегодня у меня день рождения, — сказал он. — Ты сделал мне отличный подарок.

Чтобы отпраздновать оба события, они отправились на рынок и купили большой кусок молодой оленины. Цирюльник сварил ее, сдобрил жиром, заправил мятой и щавелем, потом обжарил, добавив пиво, мелкую морковь и сладкие груши.

— А когда у тебя день рождения? — спросил он за едой.

— Через три дня после святого Свитина.

— Так ведь он давно прошел! А ты даже не сказал ничего.

Роб промолчал. Цирюльник посмотрел на него и одобрительно кивнул. Потом отрезал еще мяса и положил в миску Роба.

В тот вечер Цирюльник повел его в стратфордский трактир. Роб пил сладкий сидр, а его хозяин потягивал свежий эль и спел по случаю праздника песню. Голос у него был не сильный, но мелодию он выводил хорошо. Когда допел до конца, послышались аплодисменты и стук кружек по столам. В углу сидели две женщины — других женщин в таверне и не было. Одна — светловолосая, дородная, молодая. Другая — худощавая, постарше; в ее русых волосах уже серебрилась седина.

— Спой еще! — смело воскликнула та, что постарше.

— Мистрис, вам все мало, — откликнулся Цирюльник. Он запрокинул голову и запел:

Вот песня о том, как вдова развлекалась:

Она с молодым негодяем связалась,

В постели он ей так и сяк угождал,

А утром в расплату все золото украл.

Женщины визжали и помирали со смеху, закрывая лицо руками. Цирюльник же послал им эля и пропел:

Взглядом ты меня раз приласкала,

Нежно руками потом обнимала,

Буду тебя я вертеть, тормошить,

Поздно, милашка, пощады просить [\[27\]](#).

На удивление легко для человека его комплекции Цирюльник протанцевал с обеими женщинами по очереди огненную чечетку, а собравшиеся в трактире мужчины хлопали в

ладоши и подбадривали его возгласами. Он подбрасывал и без усилий вертел довольных женщин — под слоем жира у него таились мышцы, достойные ломовой лошади. Роб уснул вскоре после того, как Цирюльник усадил обеих женщин за свой столик. Сквозь туман он припоминал потом, как его разбудили и как женщины помогали хозяину поддерживать его, когда он, спотыкаясь, брел вместе с ними к лагерю.

Когда утром он проснулся, все трое лежали под повозкой, переплетясь на манер огромных дохлых змей.

У Роба все больше вызывали интерес женские груди; он подошел ближе и стал разглядывать женщин. У младшей груди отвисали, а соски были тяжелые, с большими коричневыми кругами. Старшая же была почти плоской, с маленькими синеватыми сосцами, как у сучки или свиньи.

Цирюльник приоткрыл один глаз и наблюдал, как мальчик запоминает женские тела. Вскоре высвободился и стал пошлепывать сердитых сонных женщин, будить их, чтобы достать и вернуть в повозку подстилки, а Роб тем временем запрягал конягу. В подарок каждой даме Цирюльник оставил по монете и по пузырьку Особого Снадобья. Под шум крыльев недовольной цапли они с Робом выехали из Стратфорда, когда река начала розоветь под первыми лучами солнца.

Домик на берегу моря

Однажды утром Роб в очередной раз попробовал дунуть в саксонский рог — и вместо обычного шипения раздался полноценный звук. Вскоре он уже гордо оглашал путь одинокими, далеко разносившимися гудками. Лето заканчивалось, дни становились короче, и они направились на юго-запад.

— У меня маленький домик в Эксмуте, — поведал ему Цирюльник. — Зиму я всегда стараюсь проводить на теплом побережье, терпеть не могу холод.

И дал Робу коричневый шарик.

Жонглировать четырьмя шариками — этого Роб не боялся, потому что давно научился выпускать два шарика из одной руки, теперь же просто выпускал по два из каждой. Упражнялся он постоянно, только Цирюльник не позволял заниматься этим на козлах, во время езды: мальчик частенько промахивался, и хозяину надоело то и дело натягивать вожжи и ждать, пока Роб слезет, подберет шарики и вернется обратно.

Изредка они приезжали в деревню, где мальчишки такого же возраста, как Роб, плескались в реке, смеялись и резвились, и тогда ему тоже очень хотелось побыть ребенком. Но он уже стал не таким, как они. Разве они боролись с медведем? А умели жонглировать четырьмя шариками? А в саксонский рог могли трубить?

В Гластонбери он сваял дурака: стал жонглировать перед ватагой восхищенных мальчишек на деревенском кладбище, пока Цирюльник давал представление на площади неподалеку и хорошо слышал рукоплескания и смех. Он сделал Робу строгое внушение:

— Ты не можешь выступать на публике, пока не сделаешься настоящим жонглером, а произойдет это или нет, еще посмотрим. Это тебе понятно?

— Да, Цирюльник, — отозвался Роб.

Уже в конце октября, вечером, они добрались наконец до Эксмута. Дом, пустой и заброшенный, стоял в нескольких минутах ходьбы от берега моря.

— Когда-то здесь была крестьянская усадьба, но я купил дом без земли, а потому дешево, — сообщил Цирюльник. — Лошадь я держу в бывшем сенном сарае, а повозку — где был амбар.

Навес, под которым укрывалась когда-то крестьянская корова, теперь хранил от непогоды запас дров. Жилье это было ничуть не больше, чем дом Робба на улице Плотников в Лондоне, и крыша была тоже соломенная, но вместо дыры для выхода дыма здесь стоял большой камин с дымоходом. В камине Цирюльник повесил чугунок, установил треногу, большой котел, громадные щипцы для поленьев и крюк для жаренья мяса. Возле камина находилась печь, а чуть дальше стояло необъятное ложе. В течение прошлых зим Цирюльник сумел устроиться здесь со всеми удобствами. Было у него корыто для замеса теста, стол, скамья, шкафчик для хранения сыра, несколько кувшинов, две-три корзины.

Когда в очаге запылал огонь, они разогрели остатки окорока, которым питались всю эту неделю. Мясо стало жестковатым, а лепешки покрылись налетом плесени. Хозяин не привык к такой еде.

— Завтра надо запастись провизией, — мрачно проворчал он.

Роб вытащил деревянные шарiki и стал в отсветах пламени упражняться в перекрестном жонглировании. Все шло хорошо, потом вдруг шарiki попадали на пол.

Цирюльник вытащил из своего мешка желтый шарик и бросил на пол; тот подкатился к остальным и замер.

Красный, синий, коричневый, зеленый. И вот теперь желтый.

Роб подумал обо всех других цветах и почувствовал, как им овладевают отчаяние и безнадежность. Встал и посмотрел на Цирюльника. Понимал, что хозяин видит в его глазах непокорность, которой раньше не было, но ничего поделать с собой не мог.

— Сколько еще?

Цирюльник понял и его вопрос, и его отчаяние.

— Ни одного, — спокойно ответил он. — Это последний.

* * *

Они трудились, готовясь встретить зиму. Поленьев хватало, но некоторые надо было еще разрубить. И хвороста на растопку надо было насобирать, наломать, аккуратно сложить у камина. В домике было две комнаты: одна жилая, другая кладовая для продуктов. Цирюльник совершенно точно знал, где купить лучшие продукты. Вдвоем с Робом они накупили репы, лука; корзину тыкв. В одном саду в Эксмуте взяли бочку яблок — белых, с золотистой кожурой — и привезли в повозке домой. Поставили бочонок свинины на засолку. В соседней крестьянской усадьбе была коптильня, так что они купили окороков и макрели, попросили закоптить за небольшую плату, а потом повесили припасы в доме вместе с четвертью ^[28]баранины — высоко, в сухом месте, до времени, когда все это потребуется. Крестьянин, привыкший к тому, что люди сами производят продукты питания или же добывают их браконьерством, сказал удивленно, что никогда не слыхал о тех, кто покупает мясо в таких количествах.

Роб возненавидел желтый шарик. Этот шарик стал для него настоящим мучением.

Жонглирование пятью шариками с самого начала пошло как-то не так. Ему приходилось держать в правой руке сразу три. В левой руке один шарик прижимали к ладони безымянный палец и мизинец, а другой удерживался большим, указательным и средним. В правой же руке один удерживался точно так же, другой держали только большой и указательный пальцы, а средний шарик был зажат между указательным и средним. Он и держал-то их с трудом — куда уж тут жонглировать?

Цирюльник старался ему помочь.

— Когда жонглируешь пятью шариками, — говорил он, — многое из того, чему ты научился, уже не подходит. Теперь шарик уже не выскакивает из ладони, его надо подбрасывать кончиками пальцев. А для того, чтобы жонглировать всеми пятью сразу, их надо подбрасывать очень высоко. Сначала подбрасываешь шарик правой рукой. И тут же должен выскочить шарик из левой, потом опять из правой, снова из левой и еще один из правой. БРОСОК-БРОСОК-БРОСОК-БРОСОК-БРОСОК! Выпускать их нужно очень быстро.

Роб попробовал, и шарики посыпались на него дождем. Он старался поймать их, но они падали мимо и закатывались во все углы комнаты.

— Вот тебе и работа на зиму, — сказал с улыбкой Цирюльник.

* * *

Вода, которую они пили, имела горьковатый вкус, поскольку находившийся за домом родник был забит густым слоем гниющих дубовых листьев. Роб отыскал в сарае, где стояла лошадь, деревянные грабли и выгреб огромную кучу промокших и почерневших листьев. Потом накопал на берегу песка и насыпал в родник толстым слоем. Когда муть осела, вода стала свежей.

Быстро наступила зима, но какая-то странная. Роб любил добрую зиму, когда на земле лежит снег. В Эксмуте же в том го дуползимы шли дожди, а если и падал снег, то снежинки сразу таяли на сырой земле. Льда не было вовсе, если не считать немногих тоненьких сосулечек в воде, которую он носил из родника. С моря беспрестанно дул холодный сырой ветер, и домик на берегу не избежал царившей повсюду сырости. По ночам Роб спал вместе с Цирюльником на огромном ложе. Хозяин лежал ближе к огню, но его массивное тело и само излучало немало тепла.

Роб возненавидел жонглирование. Он старался изо всех сил, но из пяти шариков поймать удавалось лишь два-три. Когда он, держа два шарика в руке, пытался поймать третий, тот ударялся об один из зажатых в руке и улетал в сторону.

Он стал браться за любую работу, лишь бы не упражняться в жонглировании. Без приказа выносил ночной горшок и всякий раз старательно вычищал каменную чашу. Нарубил больше дров, чем требовалось, а кувшин то и дело наполнял свежей водой. Инцитата скреб и чистил до тех пор, пока у того не стала блестеть серая шкура, а потом еще и расчесал коню гриву. Перебрал по одному всю бочку яблок, откладывая те, что начали подгнивать. Благодаря его трудам в доме стало даже чище, чем было у мамы в Лондоне.

На берегу залива Лайм он смотрел, как накатывают на песок волны, покрытые белыми барашками пены. Ветер налетал с бурного моря такими сильным порывами, что у мальчика начинали слезиться глаза. Хозяин заметил, как он дрожит, и заплатил портнихе-вдове по имени Эдита Липтон, чтобы она сшила Робу теплую куртку и узкие штаны из старых вещей самого Цирюльника.

Муж и два сына Эдиты утонули в бурю, в которую попали во время лова рыбы. Она была степенной женщиной, пышнотелой, с добрым лицом и печальными глазами. Очень скоро она стала возлюбленной Цирюльника. Когда тот оставался на ночь у нее в городе, Роб лежал один на просторном ложе и представлял себе, будто этот дом — его собственный.

Однажды налетел шквалистый ветер с холодным дождем, стал задувать во все щели, и Эдита пришла на ночь к ним. Робу пришлось переселиться на пол, где он прижал к себе замотанный в холст горячий камень, а ноги укрыл полотном, принесенным портнихой.

— Не лечь ли мальчику с нами, ему же здесь будет теплее? — услышал он ее тихий ласковый голос.

— Нет, — отрезал Цирюльник.

Через несколько минут, когда Цирюльник засопел, трудясь на ней, вдова опустила руку, в темноте нащупала голову Роба и легонько погладила, словно благословляя.

Он лежал, боясь пошевелиться. К тому времени, когда Цирюльник завершил свои труды, она уже убрала руку. После этого, если вдове случалось ночевать в доме Цирюльника, Роб ждал, лежа на полу рядом с ложем, но больше она до него не дотрагивалась.

— Ты не двигаешься вперед, — сказал ему однажды Цирюльник. — Обрати на это внимание. Я ценю ученика только тогда, когда он умеет развлечь толпу. Мой ученик должен уметь жонглировать.

— А нельзя ли жонглировать только четырьмя шариками?

— Самый лучший жонглер может работать сразу с семью. Я знаю нескольких, жонглирующих шестью. Мне же хватит и обычного жонглера. Но если ты не можешь справиться с пятью шариками, то скоро нам придется расстаться. — Цирюльник вздохнул. — В ученики я принимал многих, но лишь трое оказались годными и остались у меня. Первым был Ивэн Кэри, он научился отлично жонглировать пятью шариками, однако проявил слабость к выпивке. Уже закончив обучение, он провел со мной еще четыре года и неплохо зарабатывал, пока его не зарезали в пьяной драке в Лестере — такая глупая смерть.

Вторым был Джейсон Эрл — умница, лучший жонглер из всех. Он обучился у меня ремеслу цирюльника, да только женился на дочке управителя Портсмута, а тесть сделал из него заправского вора и заставил собирать мзду.

Предпоследний ученик был настоящим чудом. Звали его Гибби Нельсон. Он честно зарабатывал мне и еду, и питье, пока не умер от лихорадки в Йорке. — Цирюльник нахмурил брови. — А вот *последний*, черт его раздери, оказался дураком. Он остановился там же, где и ты, — жонглировал четырьмя шариками, а пятый ему ну никак не давался. Я отделался от него в Лондоне перед тем, как нашел тебя.

Они оба огорченно посмотрели друг на друга.

— Ты, впрочем, далеко не дурак. Ты хороший парнишка, с тобой нет хлопот, и свою работу ты проворно делаешь. Но ведь и коня, и повозку, и этот самый дом, и мясо, что свисает с балок, я сумел купить вовсе не потому, что учу мальчишек, которые не приносят мне никакого дохода. К весне ты станешь жонглером, иначе придется тебя где-нибудь оставить. Понял?

— Да, Цирюльник.

Кое-что хозяин мог ему показать. Велел жонглировать тремя яблоками, и острые хвостики кололи Робу ладони. Цирюльник ловил их мягко, слегка отодвигая руку при падении каждого следующего.

— Видишь? — учил он мальчика. — И это маленькое отличие ведет к тому, что яблоко, уже зажатое в руке, не мешает тебе поймать и удержать следующее. — Роб быстро выяснил, что с шариками получается точно так, как и с яблоками. — Вот теперь кое-что у тебя получается, — сказал ему Цирюльник с надеждой в голосе.

Рождественские праздники подкрались как-то незаметно. Эдита предложила им пойти в церковь вместе.

— Мы что, уже одна семья? — хмыкнул Цирюльник. Но не стал возражать, когда она предложила взять с собой только мальчика.

В маленькой сельской церквушке-мазанке толпилась уйма народа, поэтому там было теплее, чем в любом другом доме промозглого Эксмута. После отъезда из Лондона Роб ни разу не был в церкви, и теперь с жадностью вдыхал напоминавший о многом смешанный запах ладана и людской толпы. Он целиком погрузился в мессу, которая всегда утешала и успокаивала его. После службы священник, понять которого было нелегко из-за сильного дартмурского [\[29\]](#)акцента, прочитал проповедь о рождении Спасителя и о том, какую благословенную жизнь в человеческом воплощении Он вел, пока Его не убили евреи, прервав нить этой жизни. Очень пространно священник говорил о падшем ангеле

Люцифере, с коим Иисус непрестанно борется, защищая всех и каждого. Роб пытался решить, какому святому помолиться бы отдельно, от себя самого, но в конце концов обратился к самой чистой душе, какую только знал: «Позаботься о других, мама. У меня все прекрасно, только помоги младшеньким. — Но не удержался и от того, чтобы не попросить о себе самом: — Мама, пожалуйста, помоги мне справиться с пятью шариками».

Из церкви они пошли прямо к столу: Цирюльник зажарил на вертеле гуся, начиненного сливами и луком.

— Если у человека есть гусь на Рождество, то и весь год станет он зарабатывать деньги, — убежденно заявил Цирюльник. Эдита улыбнулась в ответ.

— А я слышала, что для этого надо есть гуся на Михайлов день [\[30\]](#), — сказала она, но, когда Цирюльник стал настаивать на своем, спорить не стала. А он не пожалел горячительных напитков, и обед прошел на славу.

На ночь она не осталась — возможно, потому, что рождение Иисуса наводило ее на мысли о погибшем муже и сыновьях; Роб тоже витал далеко отсюда.

Она ушла домой, а Цирюльник смотрел, как Роб убирает со стола.

— Не следует мне чересчур привязываться к Эдите, — изрек он наконец. — Она всего только женщина, скоро мы с ней расстанемся.

* * *

В первые три недели нового года солнце совсем не показывалось, и настроение у них стало под стать неизменно серому, мрачному небу. Цирюльник стал давить на Роба, чтобы тот продолжал усердно упражняться, сколь бы плачевны ни были результаты.

— Ты помнишь, как у тебя не выходило с тремя шариками? Не выходило, не выходило, а потом — раз, и вышло! А с саксонским рогом разве не то же самое было? Ты должен использовать каждую минуту, чтобы жонглировать пятью шариками.

Но сколько бы времени Роб ни посвящал этому занятию, результат не менялся. Он стал относиться к жонглированию безразлично, с первой минуты уверившись, что ничего у него не получится.

Он знал: придет весна, а жонглера из него так и не выйдет.

Как-то ночью ему приснилось, будто Эдита снова погладила его по голове, а потом раскрыла бедра и показала то, что находится между ними. Проснувшись, он уже не смог вспомнить, как именно это выглядело, но во сне с ним произошла удивительная и пугающая вещь... Он стер грязь с мехового одеяла, когда Цирюльника не было дома, а потом дочиста оттер растворенной в воде золой.

Мальчик был не настолько глуп, чтобы воображать, будто Эдита станет ждать, пока он станет взрослым и женится на ней, однако, подумал он, ей жилось бы куда лучше, если бы она обзавелась сыном.

— Цирюльник скоро уедет, — сказал он ей однажды утром, когда вдова помогала ему вносить в дом дрова. — Нельзя ли мне остаться в Эксмуте и жить у вас?

Ее взгляд стал тяжелым, но она не отвела глаз:

— Я не смогу прокормить тебя. Чтобы самой не умереть с голоду, мне приходится работать и портнихой, и шлюхой. А если бы и тебя надо было кормить, мне пришлось бы спать со всеми подряд. — Одно поленце выпало из охапки, которую она несла. Эдита

дождалась, пока Роб положит его на место, потом повернулась и вошла в дом.

После этого случая она стала приходить реже, а с ним едва перебрасывалась парой слов. Наконец и вовсе перестала появляться. Возможно, наслаждения стали меньше интересовать Цирюльника, потому что он стал каким-то раздражительным.

— Дубина! — зарычал он на Роба, когда тот снова упустил шарики. — Давай, поработай всего с тремя, только бросай их высоко, как бросаешь все пять. Когда взлетит третий, хлопни в ладоши.

Роб так и сделал; когда он хлопнул в ладоши, ему вполне хватило времени поймать все три шарика.

— Видишь? — сказал довольный Цирюльник. — За то время, что ты хлопал, можно было запустить остальные два шарика.

Но когда Роб попробовал с пятью, они столкнулись в воздухе и снова все пошло прахом; хозяин ругался, а шарики раскатились по всей комнате.

И вдруг оказалось, что до весны всего две-три недели.

Однажды ночью Цирюльник, считая, что Роб спит, подошел к нему и поправил медвежью шкуру, чтобы та закрывала подбородок и мальчику было тепло. Он долго стоял над ложем, глядя на Роба. Потом вздохнул и отошел.

Утром Цирюльник достал из повозки кнут.

— Ты не думаешь о том, что делаешь, — упрекнул он Роба. Мальчик ни разу не видел, чтобы хозяин стегал кнутом лошадь, однако стоило ему снова уронить шарики — и кнут хлестнул его по ногам.

Было очень больно. Роб громко вскрикнул и заплакал.

— Подбери шарики.

Он подобрал, снова подбросил с тем же прискорбным результатом, и кнут снова прошелся по его ногам.

Отец много раз колотил Роба, но никогда не хлестал его кнутом.

Снова и снова он подбирал все пять шариков и пытался жонглировать ими, только ничего у него не получалось. После каждого промаха кнут обвивался вокруг ног, исторгая из него новый вскрик.

— Подними шарики.

— Ну, пожалуйста, не надо, Цирюльник!

— Это ради твоей же пользы, — ответил тот с посуровевшим лицом. — Думай головой. Поразмысли над этим. — Несмотря на холодный день, с Цирюльника лил пот.

Боль заставила Роба думать о том, чем он занимается, но тело тряслось от рыданий, а мышцы стали словно чужие. У него получалось даже хуже, чем обычно. Роб стоял и дрожал, лицо заливали слезы, сопли забивали нос и рот, когда Цирюльник хлестал его. «Я римлянин, — говорил он себе. — Когда вырасту, я найду этого человека и убью».

Цирюльник хлестал его, пока кровь не выступила на штанинах новых брюк, сшитых Эдитой. Тогда он бросил кнут и вышел из дома.

* * *

Поздно вечером хирург-цирюльник воротился домой пьяным и замертво свалился на ложе.

Утром его глаза смотрели спокойно, но губы поджались, когда он увидел ноги Роба. Хозяин нагрел воды, смочил тряпку и стер засохшую кровь, потом принес горшочек медвежьего сала.

— Вотри его как следует, — велел он.

Сознание того, что он провалился, язвило Роба куда сильнее, чем царапины и рубцы от ударов кнута.

Цирюльник сверился со своей картой:

— Я отправляюсь в путь на Страстной Четверг и довезу тебя до самого Бристоля. Это богатый портовый город — может быть, там ты найдешь себе место.

— Да, Цирюльник, — ответил Роб чуть слышно.

Цирюльник долго возился с завтраком, а когда тот наконец поспел, он щедро выложил овсяную кашу, поджаренные лепешки с сыром, яйца и ветчину.

— Ешь, ешь, — угрюмо приговаривал он.

Сидел и смотрел, как Роб заталкивает в себя еду.

— Мне очень жаль, — сказал Цирюльник. — Я и сам ведь в детстве много бродяжничал, знаю, как жестока бывает жизнь.

После этого за все утро он сказал Робу лишь одну фразу: — Можешь оставить себе одежду.

* * *

Разноцветные шарики были убраны, и Роб больше не упражнялся. Но до Страстного Четверга оставалось еще чуть ли не две недели, и Цирюльник заставлял его все так же много работать, велел выскоблить дощатые полы в обеих комнатах. Дома мама каждую весну мыла стены сверху донизу, а теперь Роб делал это здесь. В этом доме было не так дымно, как в родительском, но стены здесь, казалось, никто никогда не мыл, и когда Роб закончил, разница стала хорошо видна.

Вскоре после полудня, как по волшебству, выглянуло солнце, море посинело, засверкало, и воздух стал уже не таким соленым. Впервые Роб понял, почему кому-то может нравиться жить в Эксмуте. В лесу, начинавшемся за их домом, стали проклевываться сквозь мокрую палую листву первые зеленые ростки. Роб насобирали целый горшочек побегов папоротника, и они сварили ветчину с первой в этом году зеленью. В успокоившееся море отважились выйти рыбаки, Цирюльник встретил одну из возвращающихся лодок и купил устрашающих размеров треску и полдюжины рыбьих голов. Роба он засадил за нарезку свинины кубиками, а затем медленно зажарил жирное мясо на сковороде, пока оно не покрылось хрустящей корочкой. Потом сварил густую похлебку, положив туда мясо, рыбу, нарезанную дольками репу, топленый жир, цельное молоко и щепотку тимьяна. Они в молчании смаковали похлебку, заедая теплыми хрустящими лепешками, и оба думали о том, что совсем скоро Робу уже не придется так пировать.

Некоторая часть подвешенной к стропилам баранины уже позеленела. Цирюльник отрезал гниль и унес в лес. Из бочки с яблоками, где уже мало что осталось, шла страшная вонь. Роб перевернул бочку, вытряхнул из нее все, проверил каждое яблочко, откладывая в сторону те, которые не испортились.

Такие плотные, кругленькие...

Вспомнив, как Цирюльник помог ему жонглировать яблоками и научиться ловить их не поранившись, Роб подбросил три яблочка — хоп-хоп-хоп.

Поймал. Снова подбросил, на этот раз повыше, и успел хлопнуть в ладоши, прежде чем поймать их.

Взял еще два яблока, подбросил в воздух все пять, но они — право, удивительно! — столкнулись и попадали на пол, немного забрызгав его соком. Роб застыл на месте, не зная точно, где сейчас Цирюльник. Он не сомневался, что снова отведаст кнута, если хозяин увидит, как он портит продукты.

Но окрика из соседней комнаты не последовало.

Роб стал складывать крепкие яблоки обратно в бочку. Попытка удалась неплохо, сказал он себе. И время он, кажется, рассчитал лучше.

Он выбрал еще пять яблок подходящего размера и подбросил их вверх. На этот раз почти получилось, только он слишком сильно волновался, и яблоки полетели вниз, словно их сдуло с дерева порывом осеннего ветра.

Он поднял яблоки и снова подбросил. Роб метался по всему помещению, дергался, никакой приятной глазу плавности в движениях, но теперь все пять яблок взлетели и попали в его руки, и снова взлетели, будто их было всего три.

Вверх-вниз и снова вверх-вниз. И снова, и снова.

— Ах, мама! — воскликнул он с дрожью в голосе, хотя много лет спустя мог и усомниться в том, что она имела к этому отношение.

Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп!

— Цирюльник, — позвал он, не решаясь кричать.

Дверь отворилась. Через миг он уронил все яблоки, и они рассыпались повсюду.

Подняв голову, он съежился, потому что Цирюльник спешил к нему, подняв руку.

— Я все видел! — закричал Цирюльник, и Роб оказался в его радостных объятиях, которые можно было сравнить с самой добросовестной хваткой медведя Бартрама.

Наступил и минул Страстной Четверг, а они пока не трогались из Эксмута — надо было обучить Роба всем тонкостям искусства развлекать публику. Сначала отрабатывали парное жонглирование — это Робу очень понравилось с самого начала, и он быстро добился больших успехов. Потом перешли к фокусам, основанным на ловкости рук, что по трудности можно было сравнить с жонглированием четырьмя шариками.

— Фокусникам не дьявол помогает, — наставлял его Цирюльник. — Фокусы — это чисто человеческое искусство, и в нем совершенствуются тем же путем, каким ты освоил жонглирование. Только фокусы гораздо легче, — поспешно добавил он, увидев, как у Роба вытянулось лицо.

Цирюльник поведал ему самые простые секреты белой магии:

— Ты не должен знать ни робости, ни смущения; что бы ты ни делал, на лице всегда должна быть написана полная уверенность в себе. Нужны проворные пальцы, четкие движения, умение прикрывать все болтовней, вставляя в нее необычные словечки, чтобы они служили достойной оправой твоим действиям. А последнее правило — самое-самое важное. У тебя должны быть приспособления, позы, жесты, любые отвлекающие маневры, которые заставят зрителей *смотреть куда угодно, только не на то, что ты в это время действительно делаешь*.

Для них главный отвлекающий маневр состоит в том, добавил Цирюльник, что они работают в паре. Для наглядности он показал ему фокус с лентой.

Для этого фокуса мне нужны ленты: голубая, алая, черная, желтая, зеленая и коричневая. После каждого ярда я делаю на ленте скользящий узел, потом туго сворачиваю ленту, а полученные рулончики прячу в разных карманах. Причем в определенном кармане всегда должен быть один и тот же цвет. «Кто хочет получить ленту?» — спрашиваю я. «Ой, я хочу, сэр! Голубенькую, в два ярда длиной». Большой длины обычно не просят. Не корову же на эту ленту привязывать.

Я тогда делаю вид, будто позабыл об этой просьбе, и перехожу к другим фокусам. А потом *ты* привлекаешь всеобщее внимание — может быть, жонглируешь. Пока все глазают на тебя, я лезу вот в этот карман куртки, где хранятся голубые ленты. Потом делаю вид, будто закашлялся, прикрываю рот рукой, и вот уже рулончик ленты у меня во рту. Через минуту, когда все снова переводят глаза на меня, я обнаруживаю, что между зубами у меня зажат кончик ленты, и понемногу вытягиваю ее. Когда первый узел задевает зубы, он соскальзывает. Когда чувствую второй, я понимаю, что вот они — два ярда, — отрезаю ленту и вручаю.

Роб пришел в восторг, научившись фокусу, однако все эти манипуляции, которые трудно назвать красивыми, огорчили его, он понял, что магия — это надувательство.

А Цирюльник и дальше рассеивал его иллюзии. Вскоре Роб, если и не стал пока искусным фокусником, мог выполнять черновую работу помощника фокусника. Он разучил некоторые танцы, псалмы и песни, а также шутки и рассказы, смысла которых не понимал. Под конец он затвердил те речи, которые сопутствовали продаже Особого Снадобья от Всех Болезней. Цирюльник заявил, что Роб схватывает все на лету. И намного раньше, чем предполагал сам мальчик, пришел к выводу, что тот уже вполне готов.

Они пустились в путь туманным апрельским утром и два дня преодолевали под легким весенним дождиком гряду Блэксаунских холмов. На третий день после полудня, под очистившимся от туч и сиявшим небосводом, они приехали в деревню Бриджтон. Цирюльник остановил повозку перед мостом, от которого и пошло название деревни [\[31\]](#), и окинул Роба оценивающим взглядом:

— Значит, ты готов к работе?

Роб кивнул, хотя в глубине души не чувствовал уверенности.

— Вот и молодец. Это просто небольшая деревенька. Шлюхи да сутенеры, трактир переполнен, полным-полно клиентов, которые издалека приходят в поисках женщин и выпивки. А потому все можно, а?

Роб понятия не имел, что под этим подразумевается, но снова кивнул утвердительно. Инцитат, которого слегка подхлестнули вожжами, неспешной рысцой потянул повозку на другую сторону моста. Поначалу все шло так, как раньше. Конь ржал, Роб бил в барабан, они медленно катили по главной улице. Мальчик соорудил помост на сельской площади и водрузил на него три плетеных корзины с пузырьками Особого Снадобья.

Но на этот раз, когда началось представление, он взобрался на помост вместе с Цирюльником.

— Доброго дня всем сегодня и доброго утра завтра, — сказал Цирюльник. — Нам очень приятно оказаться в Бриджтоне...

По третьему шарик у они вынули из карманов одновременно, потом и четвертый, и пятый. У Роба шарики были красные, у Цирюльника — синие; шарики взмывали вверх и лились из одной руки в другую, будто струи фонтана. Руки двигались едва заметно, а шарики плясали в воздухе.

Наконец, не переставая жонглировать, они повернулись лицом друг к другу и встали на противоположных сторонах помоста. Не промедлив ни мига, Роб послал шарик Цирюльнику, а сам поймал брошенный ему синий. Поначалу он отправлял Цирюльнику каждый третий шарик и тут же получал ответный. Потом они стали посылать друг другу шарики через один; красные и синие снаряды то и дело сновали туда-сюда. Вот Цирюльник незаметно для постороннего глаза кивнул Робу, и в ответ на каждый шарик, попадавший тому в руку, тут же вылетал встречный — так же ловко, быстро, точно.

Рукоплескания прозвучали для Роба подобно грому и слаще любой музыки.

Когда эта часть представления завершилась, он забрал десять шариков из двенадцати и сошел с помоста, спеша укрыться в повозке, за завесой. Сердце бешено колотилось, ртом он отчаянно хватал воздух. Ему было слышно, как Цирюльник, ничуть не запыхавшийся, рассказывает собравшимся о том удовольствии, которое доставляет жонглирование, а сам продолжает подбрасывать два оставшихся шарика.

— Известно ли вам, чем вы владеете, когда держите вот такие штуки в своей руке, мистрис?

— И чем же, сэр? — спросила его девка.

— Вы владеете его вниманием — полностью и без остатка, — ответил Цирюльник.

Толпа разразилась восторженным смехом и одобрительными возгласами.

Роб в повозке подготовил все нужное для нескольких фокусов и присоединился снова к хозяину, который тут же заставил пустую корзину расцвести бумажными розами, превратил темный головной платок в целую цепочку веселеньких флажков, выловил из воздуха несколько монет и заставил исчезнуть сперва целую бутылку эля, а потом куриное яйцо.

Роб под одобрительный свист слушателей спел «Песенку о богатой вдове», а после этого Цирюльник быстро распродал свое Особое Снадобье, опустошив все три корзины и велел Робу принести из повозки еще. Затем выстроились в длинную очередь те, кто жаждал исцеления от многочисленных хворей. Роб заметил, что в толпе, отзывавшейся громким смехом на все шутки, воцарилось очень серьезное настроение, когда речь зашла о поиске средств для облегчения их телесных недугов.

Как только закончился прием пациентов, они уехали из Бриджтона: Цирюльник сказал, что это настоящая клоака и с наступлением темноты там орудуют настоящие головорезы. Хозяин не скрывал того, что очень доволен сделанным сбором, и Роб улегся спать счастливым: его согревала мысль о том, что он завоевал себе место под солнцем.

* * *

На следующий день они были в Йовилле, где Роб испытал жгучий стыд, упустив во время представления три шарика. Цирюльник утешал его.

— Поначалу такое обязательно случается время от времени, — говорил он. — Потом это станет случаться все реже и реже, а там и совсем пройдет.

На той же неделе они посетили Тонтон, городок трудолюбивых ремесленников, и Бриджуотер, где жили преимущественно крестьяне, которые придерживались весьма строгих правил. Давая представления в этих местах, они воздерживались от излишних вольностей. Следующим на их пути был Гластонбери, город людей набожных, построивших свои жилища вокруг большой и красивой церкви Святого Михаила.

— Здесь мы должны соблюдать благопристойность, — предупредил Цирюльник. — В Гластонбери всем заправляют попы, а они весьма неодобрительно смотрят на всякую лечебную деятельность, полагая, что Господь им одним поручил заботы не только о душе человеческой, но и о теле.

Туда они прибыли на следующее утро после праздника Троицы, завершающего пасхальные празднества и развлечения и знаменующего сошествие Святого Духа на апостолов, каковое укрепило последних после девяти дней непрерывных молений вслед за вознесением Иисуса на небеса.

Роб заметил в толпе зрителей не меньше пяти попов с постными физиономиями.

Они с Цирюльником жонглировали красными шариками: хозяин торжественно возгласил, что оные суть подобия разделяющихся языков огненных, представляющих Дух Святой, как о том сказано в «Деяниях апостолов», глава вторая, стих третий. Зрители были довольны, они горячо хлопали, но тут Роб запел «Gloria» [\[32\]](#), и все сразу примолкли. Петь ему всегда нравилось; голос Роба дрогнул на строчке о детях, уста которых сладко поют осанну [\[33\]](#), на очень высоких нотах он срывался немножко, но в целом получилось отлично, как только у него перестали дрожать коленки.

Цирюльник вынес священные реликвии, хранившиеся у него в ветхой шкатулке из ясеневоего дерева.

— Воззрите, друзья мои! — сказал он особым тоном (как он позднее пояснил Робу, это был его «монашеский» голос) и показал им землю и песок, привезенные с горы Синайской и горы Масличной, а также щепочку от Истинного Креста и кусочек шеста, на котором висели ясли с младенцем Иисусом. Показал он им сосуд с водой из реки Иордан, ком земли из сада

Гефсиманского, фрагменты мощей бесчисленных святых.

Потом на помосте его сменил Роб и встал там в одиночестве. Воздев очи к небесам, как и наставлял его Цирюльник, он запел еще один гимн:

Создатель неба звездного,
Для верных свет немеркнувший,
Христе, всех нас избавивший,
Молитву нашу выслушай.
Скорбя о мире гбнущем,
Себя обрекшем тлению,
Ты нашим стал спасением
И исцеленьем немощи [\[34\]](#).

Слушатели растрогались. Пока они не перестали вздыхать, Цирюльник поднял флакончик Особого Снадобья.

— Друзья, — сказал он. — Подобно тому, как Господь Бог нашел лекарство для души вашей, я отыскал то, что излечивает тело.

И поведал им о Виталии, Траве Жизни, которая, несомненно, действовала одинаково хорошо и на богобоязненных людей, и на грешников, ибо раскупали Снадобье очень охотно, а потом выстроились в очередь к завесе, за которой Цирюльник осматривал пациентов, жаждущих получить от него совет и облегчение своих страданий. Священники, наблюдавшие все это, бросали косые взгляды, но их удалось задобрить подарками и смягчить выказанными горячими религиозными чувствами. Лишь один церковник выразил свое недовольство:

— Ибо архиепископом Теодором писано: опасно пускать кровь в то время, когда луна прибывает, а воды морские приливают.

Цирюльник не замедлил согласиться с ним.

В тот вечер они разбивали лагерь, ликуя. Цирюльник варил в вине мелко нарезанную говядину, пока она не стала нежной, добавил лук, старую репу, которая сморщилась, но была еще вполне годной, свежие бобы и зеленый горошек. Для запаха он бросил туда тимьян и щепотку мяты. У них оставалась часть головки сыра, необыкновенно светлого, купленного в Бриджуотере. После ужина Цирюльник сел у костра и с видимым удовлетворением пересчитал наличность, хранимую в особой шкатулке.

Робу эта минута показалась подходящей, чтобы задать вопрос, который неотступно его преследовал и угнетал.

— Цирюльник, — позвал он.

— М-м-м-м?

— Цирюльник, когда же мы отправимся в Лондон?

Хозяин, сосредоточенно раскладывая монеты столбиками и не желая сбиться со счета, только махнул рукой.

— Позже, — пробормотал он рассеянно. — Когда-нибудь позже.

В Кингсвуде Роб промахнулся четыре раза, один раз он уронил шарик в Манготсфилде, но то был его последний промах. После того как они в середине июня развлекали и лечили жителей деревни Реддич, Роб перестал посвящать по несколько часов ежедневно упражнениям в жонглировании: частые представления на публике позволяли его пальцам сохранять ловкость, а ему самому — не терять чувства ритма. При жонглировании к нему теперь пришла уверенность. Робу казалось, что вскоре он мог бы справляться и с шестью шариками, только Цирюльник о том и слышать не пожелал. Он хотел, чтобы Роб помогал ему в ремесле цирюльника-хирурга.

Подобно перелетным птицам, они двигались на север, только не летели, а медленно тащились по горам, разделяющим Англию и Уэльс. В первый раз Роб помогал Цирюльнику при осмотре и лечении пациентов, когда они оказались в Абергэвенни — селении, которое состояло из одной улицы покосившихся хижин, прилепившихся к подножию угрюмой гряды невысоких гор.

Робу было страшно — куда страшнее, чем учиться жонглировать.

Почему люди становятся вдруг больными? Это была великая тайна. Казалось, человеку не дано ее постичь и совершить чудо, которое поможет прогнать болезнь. Цирюльник был способен на такое, значит, он умнее всех, кого Роб встречал до сих пор.

Люди выстроились в очередь перед завесой, и Роб вызывал следующего, как только Цирюльник заканчивал с предыдущим. Роб приглашал их в относительное уединение, какое мог обеспечить тонкий занавес. Первым, кого Роб провел к хозяину, был высокий сутулый мужчина с покрытой черной грязью шеей; грязь въелась и в пальцы, и под ногти.

— Тебе не мешало бы помыться, — мягко предложил ему Цирюльник.

— Понимаете, это уголь, — объяснил пациент. — Когда его копаешь, пыль въедается в кожу.

— Так ты копаешь уголь? — сказал Цирюльник. — Я слышал, что он ядовит, если его сжигать. Да я сам видел собственными глазами, что он порождает вонючий тяжелый дым, который не так-то легко выходит через дымовое отверстие в крыше. Неужто такая бесполезная вещь способна кого-то прокормить?

— Все правильно, сэр, мы и живем бедно. Только в последнее время суставы у меня стали опухать и болеть, копать теперь очень больно.

Цирюльник потрогал его грязные запястья и пальцы, потыкал своим толстым пальцем в распухший локоть пациента.

— Это происходит от того, что ты вдыхаешь испарения земли. Постарайся побольше сидеть на солнце, как сможешь. Чаше купайся в теплой воде, но не в горячей, ибо горячая вода вызывает слабость в сердце и конечностях. Натрирай опухшие болезненные суставы моим Особым Снадобьем от Всех Болезней — его можно и внутрь принимать, тебе это пойдет на пользу.

Он потребовал с больного шесть пенсов за три пузырька Снадобья и еще два пенса за осмотр и советы; на Роба он при этом старался не смотреть.

Дородная женщина с поджатыми губами вошла вместе с тринадцатилетней девочкой — та была уже помолвлена.

— Ежемесячные кровотечения закупорились в ее теле и не выходят, — пожаловалась женщина. Цирюльник спросил, были ли у девочки раньше регулярные истечения крови.

— Больше года они происходили всякий месяц, — ответила мать. — Но вот уж пять месяцев, как ничего нет.

— Ты возлежала с мужчиной? — осторожно поинтересовался Цирюльник у девочки.

— Нет, — ответила за нее мать.

Цирюльник всмотрелся в девочку. Была она тоненькая, пригожая, с длинными светлыми волосами и настороженно глядящими глазами.

— У тебя бывает рвота?

— Нет, — прошептала девочка.

Он снова внимательно присмотрелся, потом туго натянул на ней платье. Взял ее мать за руку и приложил к маленькому округлому животу.

— Нет, — повторила девочка и замотала головой. Щеки залил румянец, она начала всхлипывать.

Мать отняла руку от живота дочери и вlepила ей пощечину. Она увела дочь, ничего не заплатив, но Цирюльник не стал их останавливать.

Потом быстро, одного за другим, он принял мужчину, у которого уже восемь лет была искривлена нога, а левая ступня при ходьбе волочилась по земле; женщину, которую одолевали сильные головные боли; мужчину, который жаловался, что у него постоянно чешется голова; глуповатую девушку, не перестававшую улыбаться: у той была ужасная болячка на груди, и она, по ее словам, непрестанно молилась Богу, чтобы через их селение проехал хирург-цирюльник.

Он продал Особое Снадобье всем, кроме чесоточного — тот не стал покупать, хотя Цирюльник ему настойчиво советовал; должно быть, у больного просто не было двух пенсов.

* * *

Они перебрались к более низким и пологим холмам западных графств Срединной Англии. Не доезжая села Геррефорд, пришлось остановить Инцитата на берегу реки Уай и пропустить отару овец, переходивших реку вброд. Поток блеющей густой шерсти казался бесконечным, и Роб почему-то очень испугался. Ему хотелось бы научиться обращаться с животными, ведь и мама была родом из крестьянской усадьбы, однако он чувствовал себя сугубо городским мальчиком. Тат был единственным конем, с которым он научился управляться. На улице Плотников, далеко от них, жил один сосед, который держал дойную корову, но с овцами никому из Колей не доводилось соприкасаться.

Село Геррефорд процветало. Они проезжали мимо крестьянских хозяйств, и повсюду валялись в грязи свиньи, а вокруг расстилались зеленые луга, на которых паслось множество овец и коров. Каменные дома и амбары были просторные, крепкие, а люди в большинстве смотрели куда веселее, чем задавленные нуждой жители холмов Уэльса всего в нескольких днях пути отсюда. На лужайке у села они и повеселили публику, собравшуюся немалой толпой, и Снадобье разошлось очень хорошо.

Первым пациентом за занавесом у Цирюльника на этот раз оказался мальчик, с виду ровесник Роба, хотя и более щуплый-

— Свалился с крыши, и шести дней еще не прошло, и вот — посмотрите, — сказал отец

мальчика, бондарь.

Щепка от бочарной клепки, лежавшая на земле, проткнула ладонь левой руки, и ладонь воспалилась и раздулась, что твоя рыба-иглобрюх. Цирюльник показал Робу, как надо держать мальчику руки, а отцу велел придерживать ноги и отыскал среди своих инструментов короткий острый нож.

— Крепче держите, — бросил он.

Роб ощущал, как дрожат руки мальчика. Тот завопил, когда лезвие ножа рассекло ему ладонь. Из раны брызнула струя зеленовато-желтого гноя, пахло смрадом, потом хлынула кровь.

Цирюльник вычистил рану от омертвевших тканей и, пользуясь железным пинцетом, снова и снова входил в рану — осторожно, толково, — вытаскивал мелкие щепочки.

— Это кусочки той большой щепки, которая его поранила, видите, — объяснил он отцу, показывая щепочки.

Мальчик стонал. Роба подтащивало, но он держался, пока Цирюльник без всякой спешки, заботливо продолжал врачевание.

— Надо их все вынуть, — сказал он, — ибо они выделяют вредоносные испарения, от которых рука снова начнет мертветь.

Убедившись, что рана полностью очищена от остатков щепок, он влил туда немного Снадобья и перевязал чистой тряпочкой, потом допил сам то, что оставалось в пузырьке. Рыдающий пациент улизнул, довольный тем, что все закончилось, а отец задержался и уплатил.

Следующим на очереди был согбенный старец, которого мучил глухой кашель. Роб пропустил его за занавес.

— По утрам выходит мокрота. Ох, сэр, очень много! — говорил он, задыхаясь.

Цирюльник задумчиво провел рукой по костлявой груди больного.

— Хорошо. Я поставлю тебе банки. — Он посмотрел на Ро-ба. — Помоги ему раздеться до пояса, чтобы можно было поставить банки на грудь.

Роб осторожно снял со старика короткую рубашку — тот казался таким хрупким. Помогая пациенту снова подойти к цирюльнику-хирургу, он был вынужден поддерживать того за обе руки.

Чувство было такое, будто он держит пару трепещущих птичек. Негнущиеся пальцы крепко прижались к рукам Роба, и оттуда в него перелилось знание.

Цирюльник, взглянув на них, увидел, как Роб застыл на месте.

— Давай-давай, — нетерпеливо бросил он. — Мы не можем заниматься этим до самой ночи. — Казалось, Роб его не слышит.

Раньше Робу уже дважды приходилось испытывать эту удивительную и очень неприятную уверенность, которая проникала вглубь его существа, переливаясь из тела другого человека. И теперь, как и тогда, ужас охватил его, подавляя все прочие чувства; он отпустил руки старика и выбежал, спрыгнул с помоста.

* * *

Цирюльник, ругаясь, искал повсюду, пока обнаружил своего ученика, который сидел за деревом, сжавшись в комок.

— Я требую объяснений. *Сейчас же!*

— Он... Этот старик скоро умрет.

— Это еще что за глупости, с чего ты взял? — Цирюльник смотрел на него с недоумением.

Ученик уже всюду плакал.

— Перестань, — сказал Цирюльник. — Откуда ты-то знаешь?

Роб открыл рот, но слова застревали у него в горле. Цирюльник вlepил ему оплеуху, и он тяжело задышал. Наконец заговорил, и теперь слова так и лились потоком, потому что в его сознании они крутились и бурлили непрерывно еще до того времени, когда он встретил Цирюльника и покинул Лондон.

Он почувствовал неминуемую смерть матери, объяснил он, так и произошло. А потом ему открылось, что отец умирает, и тот вскоре умер.

— Ах, Боже мой, вот оно что, — произнес Цирюльник с отвращением. Но слушал он внимательно, не сводя глаз с Роба.

— Так ты хочешь сказать, что и впрямь чувствуешь, будто этот старик умирает?

— Да. — Роб даже не надеялся, что хозяин ему поверит.

— А когда?

Вместо ответа он только пожал плечами.

— Но скоро?

Мальчик кивнул. К сожалению, говорить он умел только правду.

В глазах Цирюльника он увидел, что тот хорошо это понимает.

Хозяин немного поразмыслил и, наконец, принял решение:

— Я пока избавлюсь от пациентов, а ты укладывай все в повозку.

* * *

Из села они выехали неторопливо, но как только их уже нельзя было видеть, помчались что есть духу по тряской дороге. Инцитат, громко шлепая и разбрызгивая воду, пронесся по броду через реку, а едва выбравшись на тот берег, распугал отару овец, которые заблеяли так громко, что заглушили вопли разъяренного овчара.

Роб впервые увидел, как Цирюльник нахлестывает коня кнутом.

— Почему мы убегаем? — крикнул он, вцепившись в козлы.

— А ты знаешь, как поступают с колдунами? — Цирюльнику приходилось кричать, перекрывая топот копыт, стук и звяканье вещей, лежавших в фургоне.

Роб отрицательно покачал головой.

— Их вешают на дереве или на кресте. Иногда подозреваемых бросают в вашу Темзу, чтоб ей ко всем чертям провалиться, если тонут, их признают невиновными. И если этот старик умрет, то все скажут: это мы виноваты, мы колдуны, — проорал он, не переставая нахлестывать вконец перепуганного коня.

* * *

Они не останавливались ни для того, чтобы поесть, ни для того, чтобы облегчиться. К

тому времени, когда Тату позволили замедлить ход, Геррефорд остался далеко позади, но они не останавливались, пока не погас последний лучик дня. Они с Цирюльником, совершенно без сил, быстро разбили лагерь и молча съели что попало под руку.

— Расскажи мне все заново, — наконец потребовал Цирюльник. — И не пропускай ничего.

Слушал он с напряженным вниманием и перебил Роба лишь один раз, просто попросил говорить громче. Выслушав рассказ мальчика до конца, кивнул:

— Когда я сам ходил еще в учениках, я стал свидетелем того, как моего учителя, цирюльника-хирурга, убили по ложному обвинению в колдовстве.

Роб уставился на него, слишком напуганный, чтобы спрашивать.

— За мою жизнь было несколько случаев, когда пациенты умирали в то время, как я их лечил. Однажды в Дареме умерла старушка, и я не сомневался, что церковный суд назначит мне испытание: либо водой, либо каленым железом [\[35\]](#). Меня отпустили после допроса с пристрастием, поста и раздачи милостыни. В другой раз, в Эддисбери, мужчина умер прямо у меня за занавесом. Тот был молод и на вид совершенно здоров. Прекрасный повод для любителей мутить воду, но мне повезло: я помчался на дорогу, и никто не преградил мне путь.

— Так вы думаете, — еле смог вымолвить Роб, — что я... отмечен дьяволом? — Именно этот вопрос весь день преследовал его и не давал покоя.

— Если думаешь так, — хмыкнул Цирюльник, — значит, ты дурак и невежда. А я знаю, что ты ни то ни другое. — Он пошел к повозке, наполнил рог метеглином, выпил до дна и лишь после этого заговорил снова: — Матери и отцы рано или поздно умирают. И старики умирают. Это в порядке вещей. Ты уверен, что почувствовал что-то?

— Уверен, Цирюльник.

— Может быть, тебе показалось или ты просто фантазировал — ты же совсем еще мальш, а?

Роб решительно помотал головой.

— А я говорю, что это все — отражение твоих мыслей, — подвел итог Цирюльник. — Довольно мы сегодня удирали, довольно болтали, пора и отдыхать.

Они постелили себе по разные стороны костра. Но оба долго лежали, не в силах уснуть. Цирюльник ворочался с боку на бок, наконец, встал и открыл другую бутылку метеглина. Принес ее к постели Роба и сел на корточки.

— Предположим, — сказал он и сделал большой глоток, — просто *представим*, что все люди в мире рождаются без глаз. А ты родился с глазами, а?

— Тогда я буду видеть то, чего никто, кроме меня, не может видеть.

— Конечно. — Цирюльник снова выпил и кивнул. — Или представь, что ни у кого из нас нет ушей, а у тебя есть. Или что У нас отсутствует какой-нибудь другой орган чувств. И вот каким-то образом, по воле Божьей, или от природы, или в силу чего угодно еще ты получил... особый дар. Просто *представь*, что ты способен точно знать: вот такой-то человек скоро умрет. И что?

Роб молчал, снова перепугавшись насмерть.

— Все это дурость, и мы оба это понимаем, — проговорил Цирюльник. — Все это тебе просто примерещилось, мы оба в этом согласны. Но ты просто *представь* себе... — Он в задумчивости припал к бутылке, кадык заходил туда-сюда, а затухающее пламя костра отражалось теплыми искорками в его исполненных надежды глазах, какими он смотрел на

Роба. — Грешно было бы не использовать такой дар, — заключил он.

* * *

В Чиппинг-Нортоне они сделали остановку, купили метеглин и изготовили еще партию Снадобья, восполняя приносящие неплохой доход запасы.

— Когда я умру и окажусь в очереди к воротам рая, — говорил Цирюльник, — святой Петр станет спрашивать: «Чем ты зарабатывал хлеб свой?» Кто-то ответит: «Я возделывал землю», кто-то скажет: «Я мастерил обувь из кож». Но я скажу: «Fumum vendidi», — весело произнес бывший монашек, и Робу хватило скромных познаний в латыни, чтобы понять: «Я продавал дым».

И все же этот толстяк был не просто бродячий торговец сомнительным зельем. Когда он лечил больных за своим занавесом, то делал это умело и, как правило, очень бережно. Что Цирюльник умел делать, то умел и делал отлично. Он научил Робу уверенности движений и мягкости прикосновений.

В Бакинге Цирюльник показал ему, как вырывать зубы — им повезло заполучить гуртовщика, у которого был полон рот гнилых зубов. Пациент по толщине не уступал Цирюльнику, но он выпучивал глаза, громко стонал и даже вопил, как баба. На середине лечения он передумал.

— Стойте, стойте, стойте! Отпустите меня! — прошепелявил он окровавленными губами, но зуб надо было удалять, тут и вопроса даже не было, а потому они вдвоем налегли на него. Это был отличный урок.

В Клейверинге Цирюльник арендовал на один день кузницу, и Роб учился изготавливать железные ланцеты и острые иглы. Это задание ему потом пришлось повторять несколько лет в десятке с лишним кузниц по всей Англии, пока учитель не уверился в том, что он может делать это как положено. А в Клейверинге он забраковал почти все сделанное мальчиком, однако нехотя позволил тому забрать маленький обоюдоострый ланцет — первый инструмент в собственном хирургическом наборе Роба. Это был знаменательный день. Они закончили объезжать Срединную Англию и держали теперь путь на Болота [\[36\]](#). Цирюльник объяснял по пути, какие вены надо вскрывать, чтобы пустить кровь, что вызвало у Роба неприятные воспоминания о последних днях жизни отца.

Иной раз он невольно вспоминал отца, ведь и его собственный голос все больше походил на отцовский, тембр становился ниже, а на теле начинали пробиваться волосы. Он знал, что эта первая поросль с годами станет гуще: помогая Цирюльнику, Роб уже неплохо познакомился с мужским телом, не покрытым одеждой. Женщины представляли для него куда большую загадку: при лечении женщин Цирюльник пользовался куклой с пышными формами и загадочной улыбкой, которой дал имя Тельма. Вот на ее обнаженном глиняном теле женщины целомудренно показывали, что и где болит у них самих; все это позволяло избежать непосредственного осмотра. Роб по-прежнему чувствовал себя скованно, когда приходилось вторгаться в личные дела пациентов, но к обычным расспросам о работе организма он вполне привык: «Когда у вас последний раз был стул, мастер? Когда у вас начнутся ежемесячные истечения, мистрис?»

По предложению Цирюльника Роб брал руки каждого пациента, который оказывался за занавесом, в свои.

— Что ты чувствуешь, когда их пальцы оказываются в твоих руках? — спросил его Цирюльник однажды. Они были тогда в Тисбери, и Роб разбирал помост.

— Иногда вообще ничего не чувствую.

Цирюльник кивнул. Взял у Роба одну скамью, уложил в фургон и вернулся нахмуренный.

— Значит, иногда ты... *что-то* все-таки чувствуешь?

Роб молча кивнул.

— И что же ты чувствуешь? — В голосе хозяина послышалось раздражение. — *Что именно* ты чувствуешь, парень?

Но он не мог сказать определенно, не умел описать это словами. Он интуитивно ощущал жизненную силу того или иного человека, будто заглядывал в темные колодцы и чувал, много ли еще жизни остается в каждом.

Цирюльник же принял его молчание за доказательство того, что Робу все это только казалось.

— Не вернуться ли нам в Геррефорд? Посмотрим, а вдруг тот старик живет себе поживает, — лукаво сказал он.

Роб согласился, и это вызвало у Цирюльника вспышку раздражения.

— Мы не можем ехать назад, болван! — воскликнул он. — Ведь если он и вправду умер, нам что — самим совать голову в петлю?

Хозяин и дальше насмеялся над «даром», часто и громко. Но когда Роб стал забывать взять за руки очередного пациента, он тут же приказал ему поступать, как прежде.

— А почему бы и нет? Разве я не деловой человек, разве я забываю об осмотрительности в делах? И разве такая блажь стоит нам хоть сколько-нибудь?

В Питерборо, которое всего несколько миль — и целая жизнь — отделяли от аббатства, откуда он убежал еще мальчишкой, Цирюльник провел один в трактире весь долгий и дождливый августовский вечер, целеустремленно и неспешно потягивая крепкие напитки.

К полуночи пришел ученик, заждавшийся учителя. Тот уже выходил из трактира, сильно пошатываясь. Роб встретил его и поддерживал на всем пути в лагерь.

— Пожалуйста, — прошептал Цирюльник со страхом в голосе.

Роб очень удивился, когда подвыпивший хозяин поднял обе руки, потом протянул их перед собой.

— Ах, ради Бога, пожалуйста, — повторил Цирюльник.

Наконец Роб понял, чего он хочет. Взял Цирюльника за руки и заглянул ему в глаза. Через мгновение Роб кивнул.

Цирюльник повалился на свою постель. Рыгнул, повернулся на бок и уснул сном праведника.

В том году Цирюльник не успел добраться в Эксмут до наступления зимы: они выехали в обратный путь слишком поздно, и осенний листопад застал их в селении Гейт-Фулфорд на Йоркском нагорье. Вересковые пустоши были густо покрыты травами и цветами, и холодный ветерок был насыщен их густым пряным запахом. Роб с Цирюльником следовали за Полярной звездой, останавливались по пути в деревнях и неплохо зарабатывали, а их повозка катила по бесконечному ковру пурпурного вереска, пока они не прибыли в город Карлайл.

— Дальше на север я никогда не забираюсь, — сказал Робу Цирюльник. — В нескольких часах пути отсюда заканчивается Нортумбрия и начинаются пограничные земли. А по ту сторону лежит Шотландия, край, где люди прелюбодействуют со своими овцами. Всем известно, что доброму англичанину туда лучше не попадать.

Целую неделю они жили в лагере, разбитом близ Карлайла, каждый день проводили в тавернах, где брали выпивку с разумной умеренностью, и вскоре Цирюльник уже прознал, где можно найти подходящее жилье. Он снял на зиму домик в три комнаты, выходящий на вересковую пустошь. Многое здесь напоминало о доме, который принадлежал ему на южном побережье, но не было ни камина, ни каменного дымохода, что весьма огорчило Цирюльника. Они расстелили шкуры по обе стороны очага, словно у костра на ночном привале, а поблизости нашлась и конюшня, где с радостью приютили Инцитата. Цирюльник снова щедро закупил провизию на зиму, легко расставаясь с Деньгами — эта его манера вызывала у Роба поразительное ощущение благополучия.

Хозяин запасся говядиной и свининой. Он думал купить оленье бедро, но летом в Карлайле повесили трех торговцев-охотников — за то, что убивали оленей в королевских лесах, которые служили местом охоты только для знати. Вместо оленины Роб с учителем купили пятнадцать жирных кур и мешок корма.

— Эти куры — твоя забота, — сказал ему Цирюльник. — Ты должен их кормить, резать, когда я попрошу, ощипывать, потрошить, а я уж займусь ими, когда они окажутся в котле.

На Роба куры произвели впечатление: такие большие, желтые, с голыми ногами, красными гребнями и бородками. Они не протестовали, когда по утрам Роб забирал из их гнезд четыре, а то и пять яиц.

— Они думают, что ты большой и страшный петух, — смеялся Цирюльник.

— Отчего бы нам не купить настоящего петуха?

Цирюльник только неопределенно хмыкнул: холодным зимним утром он любил поспать подольше, не хватало, чтобы петух кукарекал.

У Роба еще не было, конечно, бороды, но русые волоски стали пробиваться на лице. Цирюльник сказал, что лицо бреют только датчане, однако он сам знал, что это не совсем так: его отец не носил бороду. В наборе хирургических инструментов у Цирюльника имелась бритва, и он сердито кивнул, когда Роб попросил ее попользоваться. Мальчик несколько раз порезался, зато бритье принесло ему ощущение взросления.

Однако в первый же раз, когда Цирюльник поручил ему зарезать курицу, Роб снова почувствовал себя совсем ребенком. Каждая из птиц смотрела на него своими черными глазками-бусинками, как бы говоря, что может стать ему другом. Наконец он сделал над

собой усилие, и его пальцы сжали ближайшую теплую шейку; дрожа, он закрыл глаза. Резкий, судорожный рывок — и дело сделано. Но птица отомстила ему после смерти, упорно не желая расставаться с перьями. Ощипывание и потрошение заняли у него не один час, а Цирюльник с отвращением воззрился на протянутую ему перемазанную жиром тушку.

В следующий раз, когда потребовалась курица, Цирюльник показал настоящее мастерство. Он открыл курице клюв и вонзил тонкий нож вдоль верхнего края прямо в мозг. Птица обмякла, умерев мгновенно, и встопорщила перья. Теперь их можно было без малейшего усилия вырывать пучками.

— Это тебе еще один урок, — сказал Цирюльник. — Человека убить несколько не труднее. Трудно удержать в нем искру жизни, а еще сложнее сделать так, чтобы человек был здоров. Вот на эти цели и должны быть обращены все наши помыслы.

Стояла поздняя осень, погода благоприятствовала сбору трав, и учитель с учеником прочесывали леса и вересковые пустоши. Цирюльник особенно хотел отыскать портулак; тот, если растворить его в Особом Снадобье, снижал жар и постепенно прогонял лихорадку. К глубочайшему разочарованию Цирюльника, портулака они не нашли нигде. Были, впрочем, растения, попадавшиеся достаточно часто: лепестки красной розы использовались для припарок; тимьян и желуди, растертые в порошок и смешанные с жиром, годились для втирания в гнойники на шее. Были и такие, которые приходилось добывать с трудом: нелегко выкопать корень тиса, а он помогает беременной женщине сохранить плод. Они собирали укроп и сорго лимонное — мочегонные средства; аир болотный, помогающий предотвратить ухудшение памяти, вызванное холодными влажными испарениями; ягоды можжевельника, которые в вареном виде помогали открыть закупоренные дыхательные пути; люпин, позволяющий вытягивать гной, если приложить к воспаленному месту тряпицу, смоченную в его горячем отваре; мирт и мальву, каковые облегчают чесотку.

— Ты растешь быстрее, чем эти травы, — с кривой улыбкой сказал Цирюльник, и то была чистая правда: Роб вымахал ростом уже почти с учителя и давно вырос из той одежды, которую сшила ему в Эксмуте Эдита. Но когда Цирюльник привел его к карлайлскому портному и заказал «новую зимнюю одежду, которой хватит на ближайшее время», портной лишь покачал головой:

— Мальчик еще растет, разве нет? Лет пятнадцать-шестнадцать? Такие парни быстро вырастают из старой одежды.

— Шестнадцать? Да ему одиннадцать только исполнилось!

— Тогда он вырастет *очень высоким* мужчиной! — И портной взглянул на Роба со смесью удивления и уважения. — На нем сшитая мною одежда станет словно съезживаться. Позволено ли будет предложить, чтобы мы переделали что-нибудь из старого?

Так вышло, что еще один наряд Цирюльника, на этот раз из почти еще приличного серого материала, был перекроен и перешит. Они все дружно смеялись, когда при первой примерке оказалось, что одежда слишком просторна для Роба, однако рукава и штанины коротки. Портной убрал лишнее по ширине, а из полученного материала надставил штанины и рукава, скрыв швы щегольскими полосками синей ткани. Почти все лето Роб бегал босиком, но скоро должен был выпасть снег, и мальчик обрадовался, когда Цирюльник купил ему башмаки из сыромятной кожи.

В этих башмаках он прошагал через площадь Карлайла до церкви Святого Марка и постучал в ее массивные дубовые две ри. Прошло немало времени, пока они отворились; перед Робом стоял пожилой викарий ^[37] со слезящимися глазами.

— Позвольте спросить, отец. Я ищу священника по имени Ранальд Ловелл.

Викарий захлопал глазами.

— Я знал священника с таким именем, он помогал Лайфингу служить мессу в те времена, когда Лайфинг был епископом Уэлла. На Пасху будет десять лет, как он умер.

— Нет, я ищу не этого, — покачал головой Роб. — Я своими глазами видел отца Ранальда Ловелла всего года два назад.

— Ну, может, тот, которого я знал, был Хью Ловелл, а вовсе не Ранальд.

— Ранальда Ловелла перевели из Лондона в одну церковь на севере. С ним мой брат Вильям Стюарт Коль. Тремя годам младше меня.

— У твоего брата теперь может быть другое имя во Христе, сын мой. Священники нередко отдают мальчиков в монастыри, и те становятся пономарями. Ты поспрашивай других, везде расспрашивай. Ибо святая наша мать Церковь есть море безбрежное, я же в ней — лишь рыбка малая. — Старик священник приветливо кивнул Робу головой, и мальчик помог ему притворить тяжелые двери.

* * *

Поверхность маленького пруда за городской таверной затянуло тонкой коркой льда. Цирюльник указал пальцем на пару костяных коньков, подвешенных к потолочной балке в домике, где они жили:

— Жаль, что они такие маленькие. Тебе не подойдут, у тебя ступни необыкновенно большие.

Что ни день, лед становился все толще, и однажды утром, когда Роб вышел на середину и топнул ногой, лед лишь отозвался глухим стуком. Роб снял с балки маленькие коньки. Они были вырезаны из оленьего рога и очень похожи на те, что смастерил ему отец, когда Робу было шесть лет. Из тех он быстро вырос, но все равно пользовался ими целых три зимы, так что теперь Роб взял эти коньки, вышел с ними на пруд и привязал к ногам. Поначалу он катался с удовольствием, да только острия коньков затупились, и это, а также их малый размер, подвело его, едва лишь он попытался развернуться. Размахивая руками, он тяжело шлепнулся на лед и проскользил по нему изрядное расстояние.

И тут услышал чей-то смех.

Девушке было, вероятно, лет пятнадцать. Она хохотала громко, заливисто.

— А ты можешь лучше? — запальчиво спросил ее Роб, отмечая в то же время, что она красивая куколка: очень худая, с тонкими ногами и с волосами черными, как у Эдиты.

— Я? — переспросила она. — Да что ты, я не умею, да и смелости мне ни за что в жизни не хватит.

Весь гнев Роба сразу утих.

— Эти коньки больше годятся на твои ноги, чем на мои, — сказал он. Снял коньки и отнес их к берегу, где стояла девочка. Это совсем не трудно. Давай я тебя научу.

Он быстро преодолел ее возражения и вскоре уже привязывал коньки к ее ногам. Девочка не могла удержаться на непривычно скользкой поверхности льда и вцепилась в Роба. Ее карие глаза от тревоги расширились, а тонкие ноздри раздувались. ж

— Не бойся, я же тебя держу, — подбодрил он. Он поддерживал девочку сзади и подталкивал ее вперед по гладкому льду, ощущая теплоту ее ляжек.

Вскоре она уже смеялась и визжала, когда он вез ее вокруг пруда снова и снова. Зовут ее Гарвин Тэлбот, сказала девочка. У ее отца, Эльфрика Тэлбота, усадьба за городом.

— А тебя как зовут?

— Роб.

Она без умолку щебетала, обрушивая на него лавину сведений — городок-то был невелик. Девочке уже было известно, когда они с Цирюльником приехали в Карлайл, каким ремеслом занимались, сколько провизии закупили, в чьем доме теперь живут.

Очень быстро ей понравилось на льду. Глаза ее сверкали от удовольствия, а щеки покраснелись от морозца. Волосы развевались, открывая розовое ушко. Верхняя губа у нее был очень тонкой, зато нижняя казалась опухшей. На скуле виднелся побледневший синяк. Когда она улыбалась, Роб видел, что один зуб на нижней челюсти шатается.

— Значит, вы осматриваете людей?

— Ну да, конечно.

— И женщин?

— У нас есть кукла. На ней женщины показывают, где у них болит.

— Какая жалость, — проговорила девочка, — что вы пользуетесь куклой. — Искоса она так взглянула на Роба, что у то го закружилась голова. — Она хоть красива?

«Не так красива, как ты», — хотелось ответить Робу, но не хватило смелости. Он просто пожал плечами.

— Ее зовут Тельма.

— Тельма! — Гарвин захохоталась от смеха, он улыбнулся в ответ. — Ой! — воскликнула девочка, посмотрев на солнце. — Мне пора бежать в усадьбу, на вторую дойку! — И склонилась всем весом своего мягкого тела на его руки.

На берегу Роб опустился на колени у ее ног и отвязал коньки.

— Это не мои, они висели в доме, — честно сказал он. — Но ты можешь взять их себе на время и кататься.

Она быстро замотала головой:

— Если я принесу их домой, *он*меня изобьет до полусмерти и станет допытываться, что мне пришлось делать, чтобы их заполучить. — Роб почувствовал, как к лицу прихлынула кровь. Чтобы справиться со смущением, он подобрал три сосновые шишки и стал жонглировать для нее.

Гарвин засмеялась и захлопала в ладоши, а потом скороговоркой, задыхаясь, объяснила, как отыскать усадьбу ее отца. Уже уходя, она чуть задержалась и обернулась к Робу.

— В четверг утром, — выпалила она. — Он не любит, когда кто-нибудь к нам приходит, но по утрам в четверг он возит сыр на рынок.

* * *

Наступил четверг, однако Роб не поспешил в усадьбу Эльфрика Тэлбота. Вместо этого он долго не вставал с постели, охваченный страхом — не перед Гарвин, не перед ее отцом, — а перед тем, что творилось с ним самим и чего он не в силах был понять. Здесь были тайны, на разгадку которых ему не хватало ни смелости, ни мудрости.

Ночью ему приснилась Гарвин Тэлбот. В этом сне они лежали вместе на сеновале — должно быть, в сарае ее отца. Сон был похож на те, в каких он несколько раз видел Эдиту, и

теперь он старался вытереть свою подстилку так, чтобы не привлечь внимания Цирюльника.

Пошел снег. Тяжелые хлопья валились с неба, и Цирюльник затянул оконные отверстия шкурами. Воздух в доме стал тяжелым, и даже днем видно было только маленький круг, освещенный очагом. Снег шел четыре дня, с короткими перерывами.

Подумывая, чем бы заняться, Роб сидел у очага и рисовал разные травы, которые они насобирали. Из костра он выхватывал обгоревшую палочку и набрасывал на коре, содранной с поленьев, то курчавую мяту, то хрупкие засохшие цветы, то покрытые прожилками листики клевера. После полудня растопил на огне снег, напоил и накормил кур, стараясь при этом побыстрее отворить и так же быстро затворить дверь в курятник — несмотря на все его старания по регулярной чистке клеток, воздух там был уже очень тяжелый.

Цирюльник не вылезал из постели, потягивая метеглин. На второй вечер снегопада он отправился в трактир и вернулся; с тихой светловолосой девкой по имени Хелен. Роб, лежа по другую сторону очага, пытался подсматривать за ними: хотя он не раз видел это событие, теперь его стали озадачивать некоторые подробности; с недавних пор тревожившие его мысли и сны. Но в крошечной тьме ничего разглядеть не удавалось, только головы, освещенные пламенем очага. Цирюльник был весь поглощен своим занятием, но женщина казалась усталой: и невеселой, словно выполняла безрадостную работу.

Когда она ушла, Роб взял кусок коры, палочку из очага и вместо растений попытался изобразить женские черты.

Цирюльник, отправившись к ночному горшку, задержался у постели мальчика, разглядел рисунок и задумчиво наморщил лоб.

— Кажется, это лицо мне знакомо, — проговорил он.

Немного погодя, уже вернувшись в постель, он поднял голову и сказал:

— Ба! Так это же Хелен!

Робу это было приятно. Он попытался изобразить торговца мазями, Уота, но того Цирюльник узнал, лишь когда Роб пририсовал рядом фигурку медведя Бартрама.

— Тебе надо продолжать эти старания воссоздать лица — думается мне, такое умение нам еще пригодится, — велел ему Цирюльник. Но наблюдать за Робом ему скоро надоело, и он вернулся к метеглину, а потом уснул.

Наконец, во вторник снегопад прекратился. Роб обернул голову и руки старыми лохмотьями и отыскал в доме деревянную лопату. Расчистил дорожку у дома и пробрался к конюшне, чтобы прогулять Инцитата; от безделья и сытной еды — вдоволь сена и сладкого зерна — конь разжирел.

В среду Роб помог нескольким местным мальчишкам расчистить занесенную снегом поверхность пруда. Цирюльник снял шкуры с оконных отверстий и впустил в дом поток холодного свежего воздуха. Это событие он отпраздновал, зажарив баранью ногу и подав к ней мятное желе и пироги с яблоками.

Утром в четверг Роб снял с балки костяные коньки, перекинул через шею кожаные ремешки креплений. Потом пошел на конюшню и не запряг Инцитата, а лишь надел на него узду и недоуздок, сел на коня верхом и выехал из городка. Морозный воздух звенел, ярко светило солнце, ослепительно сверкал белизной свежий снег.

Роб представил себя римлянином. Вообразить себя Калигулой на настоящем Инцитате ему не хотелось — он твердо помнил, что Калигула был не в своем уме и плохо кончил. Он решил быть Цезарем Августом и повел преторианцев по Аппиевой дороге до самого Брундизия [\[38\]](#).

Усадьбу Тэлбота он нашел без каких-либо затруднений — она стояла точно там, где и сказала девочка. Дом покосился и выглядел ветхим, с прогнувшейся крышей, зато сарай был просторным и крепким. Дверь в него была отворена, и Роб слышал, как внутри кто-то возится со скотиной.

Мальчик сидел верхом, не решаясь сойти, но Инцитат тихонько заржал, и делать ничего не оставалось.

— Гарвин! — позвал он.

В дверях сарая показался мужчина и медленно пошел к Робу. В руках он держал деревянные вилы, густо облепленные навозом, от которого на морозе валил пар. Шел он, осторожно ступая, и Роб понял, что человек этот пьян. Сутулый, с землистым цветом лица, кудлатой черной бородой (того же цвета, что и волосы Гарвин) — это мог быть только Эльфрик Тэлбот.

— Ты кто? — спросил он.

Роб назвал себя. Мужчина покачнулся.

— Что ж, Роб Джереми Коль, не повезло тебе. Ее здесь нет. Она сбежала, шлюха проклятая.

Вилы качнулись в его руках, и Роб уже не сомневался, что сейчас и его самого, и коня окатят с ног до головы дымящимся коровьим навозом.

— Убирайся прочь из моих владений, — сказал Тэлбот; из глаз его полились слезы.

Роб медленно ехал на Инцитате обратно в Карлайл. В голове неотвязно вертелись мысли: куда она направилась, выживет ли в одиночку? Больше он не был Цезарем Августом во главе отряда преторианцев. Он был просто мальчиком, которого одолевали сомнения и страхи.

Вернувшись в дом, Роб повесил костяные коньки на балку и больше уже их не снимал.

Делать больше ничего не оставалось, только дожидаться весны. Они приготовили и разлили по пузырькам новую партию Особого Снадобья. Каждая травка, нужная Цирюльнику, кроме одного только портулака, прогоняющего лихорадку, была уже высушена, измельчена в порошок или превратилась в целебный отвар либо настой. Они оба устали от бесконечных упражнений в жонглировании, от повторения фокусов. Цирюльник по горло был сыт севером, его тошнило от избытка сна и выпивки.

— И когда же зима закончится? Просто сил нет ждать! — воскликнул он однажды мартовским утром, и они выехали из Карлайла до срока, медленно продвигаясь на юг по раскисшим дорогам.

Весна встретила их в Беверли. Воздух сделался ласковее, выглянуло солнышко, появилась толпа паломников, которые приходили в этот город помолиться в большой каменной церкви, посвященной Иоанну Евангелисту. Роб с Цирюльником горячо взялись за развлечение публики, и большая толпа зрителей, первых в новом сезоне, встретила их с немалым воодушевлением. И во время лечения все шло хорошо, пока Роб, впуская за занавес уже шестую пациентку, красивую женщину, не взял ее мягкие руки. Сердце его бешено заколотилось.

— Входите, мистрис, — проговорил он слабым голосом. Его руки — там, где они соприкасались с руками женщины — от испуга покрылись гусиной кожей. Он повернул голову и столкнулся взглядом с Цирюльником.

Цирюльник побелел. Он грубовато толкнул Роба в уголок, подальше от любопытных ушей.

— У тебя нет никаких сомнений? Ты вполне уверен?

— Она умрет совсем скоро, — ответил Роб.

Цирюльник воротился к женщине, которая была далеко не стара и не выглядела больной. Она и не жаловалась на здоровье, а за занавес явилась, дабы приобрести любовное зелье.

— Муж мой уже в преклонных летах. Пыл его угасает, а он ведь любит меня. — Говорила она спокойно, а природная грация и отсутствие показной скромности подчеркивали ее достоинство. На ней была дорожная одежда из дорогого материала. Несомненно, это была женщина богатая.

— Я не продаю любовных зелий. Они суть колдовство, а не лечение, благородная госпожа.

Она пробормотала извинения, но обращение приняла как должное, и Цирюльника это привело в ужас: обвинение в колдовстве против знатной особы влекло за собой неминуемую гибель.

— Весьма часто желаемое действие оказывает глоток крепкого хмельного напитка. Пить его надо горячим, на ночь. — От платы Цирюльник отказался. Как только женщина ушла, он принес извинения тем пациентам, которых не успел принять. Роб уже укладывал все вещи в повозку.

И вновь они бежали из города.

На этот раз во время бешеной гонки они почти не говорили друг с другом. И лишь когда

отдалились на вполне безопасное расстояние и разбили лагерь на ночь, Цирюльник нарушил молчание.

— Если человек умирает мгновенно, глаза у него стекленеют, — тихо проговорил он. — Лицо теряет всякое выражение, иногда становится багровым. Уголки рта обвисают, веки бессильно закрываются, конечности как бы каменеют. — Он вздохнул. — Такой конец не лишен милосердия.

Роб ничего не ответил.

Они постелили себе и попытались уснуть. Цирюльник встал и некоторое время утешал себя выпивкой, но на сей раз не дал ученику подержать свои руки.

В душе Роб твердо знал, что никакой он не колдун. Но в таком случае объяснение могло быть только одно, и его Роб принять не мог. Он лежал без сна и молился. «Прошу тебя. Нельзя ли забрать у меня этот недобрый дар и вернуть его туда, откуда он был взят?» Обескураженный и рассерженный, он не удержался и от упрека, ибо смирение не принесло ему ничего. «Это ведь такой дар, который угоден разве что сатане, и я более не желаю иметь с ним ничего общего», — заявил он Богу.

* * *

Казалось, молитва его услышана: той весной подобных прискорбных случаев больше не было. Погода стояла по-прежнему хорошая, потом стала еще лучше — солнечная, теплее и суше, чем обычно. Для них это было хорошо.

— Тепло и сухо на день святого Свитина, — торжествующе сказал однажды утром Цирюльник. — Всякий тебе скажет, что еще сорок дней такая погода простоит. — Постепенно страхи улеглись, к ним вернулось хорошее настроение.

Хозяин не забыл, когда у Роба день рождения! На третье утро после дня святого Свитина он сделал мальчику прекрасный подарок: три гусиных пера, чернильный порошок и кусочек пемзы.

— Вот теперь ты сможешь рисовать лица по-настоящему, а не палочкой из костра, — объявил Цирюльник.

Купить ему ответный подарок на день рождения Роб не мог — у мальчика не было денег. Но как-то раз, уже под вечер, когда они ехали полем, его глаза заметили и узнали одно растение. Наутро он улизнул со стоянки, полчаса шагал до того поля и насобирав охапку зелени. На день рождения Цирюльника Роб преподнес ему портулак, траву от лихорадки, и именинник принял подарок с заметным удовольствием.

Их растущее взаимопонимание сказывалось и на представлениях. Они прекрасно чувствовали друг друга, их слаженность придавала представлению блеск и отточенность, вызывая у зрителей бурные рукоплескания. Роба посещали видения наяву: он представлял себе среди зрителей братьев и сестру, воображал, какими гордыми и радостными стали бы Анна-Мария и Сэмюэл Эдвард, когда увидели бы, как их старший брат проделывает фокусы и легко жонглирует пятью шариками.

Они, должно быть, уже сильно выросли, напоминал он себе. Вспомнит ли его Анна-Мария? И по-прежнему ли так несносен Сэмюэл Эдвард? А Джонатан Картер теперь уже должен и ходить, и говорить, настоящий маленький человечек.

Ученик не смеет советовать своему учителю, куда направить путь, но в Ноттингеме он

нашел возможность разглядеть карту Цирюльника и увидел, что они находятся в самом сердце Английского острова. Чтобы попасть в Лондон, им надо было продолжать двигаться на юг, но одновременно и отклониться к востоку. Он запомнил названия городов и селений, чтобы знать точно, направляются ли они туда, куда так горячо стремилось его сердце.

* * *

В Лестере один крестьянин выкапывал камни со своего поля и откопал древний саркофаг. Он обкопал его со всех сторон, но тот был слишком тяжел, одному не поднять, да и земля держала нижнюю часть цепко, словно то был валун.

— Герцог послал людей и тягло, чтобы вытащить его из земли. Он заберет саркофаг в свой замок, — гордо сообщил им йомен [\[39\]](#).

На шершавой поверхности белого мрамора была видна надпись:

**DUS MANIBUS. VIVIO MARCIANO MILITI LEGIONIS SI CUNDAE AUGUS
IANUARIA MARINA CONJUNX PIEN TISSIMA POSUIT MEMORIAM.**

— «Богам подземного царства, — перевел Цирюльник. — Вивию Марциану, воину Второго легиона Августа, в месяце январе воздвигла эту гробницу Марина, верная супруга его».

Роб и хозяин обменялись взглядами.

— Интересно, что стало с этой куколкой Мариной после того, как она его похоронила? Она ведь оказалась далеко от родного дома, — трезво рассудил Цирюльник.

«Мы все далеко от дома», — подумал Роб.

* * *

Лестер — город людной. На представление собралось множество народа, а когда распродали целебное зелье, работы оказалось хоть отбавляй. Пациенты шли один за другим. Роб помог учителю рассечь карбункул у одного молодого мужчины, наложить шину на сломанный палец юноши, напоить горевшую в лихорадке почтенную мать семейства портулаком, а мучившегося от колик ребенка — отваром ромашки. Затем он провел за занавес коренастого лысеющего мужчину с молочными зрачками.

— Давно ли ты ослеп? — спросил Цирюльник.

— Вот уж два года. Сначала была просто дымка перед глазами, постепенно она становилась гуще, а теперь я и свет еле различаю. Я переписчик, но работать не в силах.

* * *

— Зрение я не могу вернуть, — сказал Цирюльник, качая головой и позабыв, что пациент не может видеть его жеста, — как не могу вернуть молодость.

Переписчик позволил Робу увести его из-за занавеса.

— Какое горькое известие! — сказал он мальчику. — Я никогда больше ничего не увижу!

Стоявший поблизости человек, худощавый, с ястребиным лицом, горбоносый, услышал его слова и пристально посмотрел на слепого. Голова и борода у человека были седые, но сам он был еще молод — не более чем вдвое старше Роба. Вот он шагнул вперед и положил руку на локоть слепого.

— Как зовут тебя? — В его речи слышался французский выговор, который Роб не раз слышал у норманнов на лондонских пристанях.

— Эдгар Торп, — ответил переписчик.

— А я Бенъямин Мерлин, лекарь из Теттенхолла, что недалеко отсюда. Позволь мне взглянуть на твои глаза, Эдгар Торп.

Переписчик согласно кивнул и стоял, хлопая ресницами. Лекарь приподнял большими пальцами его веки и всмотрелся в мутные зрачки.

— Я могу надсечь твои глаза и вырезать помутневшие хрусталики, — заключил он. — Мне уже приходилось делать это раньше, но тебе должно хватить сил выдержать боль.

— Да что мне эта боль, — прошептал переписчик.

— Тогда нужно разыскать кого-нибудь, кто привел бы тебя в мой дом в Теттенхолле в следующий вторник, рано утром.

Роб словно прирос к месту. Ему раньше и в голову не приходило, что кто-то может взяться за такое, что не под силу Цирюльнику.

— Мастер лекарь! — Он бросился вдогонку за уходящим человеком. — А где вы научились этому... надсекать глаза?

— В академии. Там, где обучают лекарей.

— А где находится эта школа для лекарей?

Мерлин посмотрел на стоявшего перед ним рослого юношу в дурно сшитой одежде, из которой он уже вырос. Цепкий взгляд не упустил ни пестрого фургона, ни помоста, на котором еще лежали шарики для жонглирования и пузырьки с целебным зельем, о качестве которого лекарь имел вполне ясное представление.

— Полмира надо проехать, — мягко сказал он. Подошел к вороной кобыле у коновязи, вскочил в седло и уехал, не удостоив более ни единым взглядом помост цирюльника-хирурга.

* * *

В тот же день, ближе к вечеру, когда Инцитат медленно тянул повозку прочь от Лестера, Роб рассказал Цирюльнику о Бенъямине Мерлине.

— Я о нем слыхал, — кивнул хозяин. — Лекарь из Теттенхолла.

— Да. А говорил он, как французик.

— Он еврей из Нормандии.

— Кто такие еврей?

— То же самое, что народ Израилев. Это тот народ из Библии, который распял Иисуса и был изгнан римлянами из Святой земли.

— Он говорил о школе, где учат лекарей.

— Иногда их обучают в монастырской школе в Вестминстере. Все говорят, что учат их там паршиво, ну, и лекари выходят паршивые. Большинство из них просто служат переписчиками у тех лекарей, что их обучали, вместо платы за ученье. Все равно как ты

помогаешь мне и учишься ремеслу цирюльника-хирурга.

— Мне кажется, он говорил не о Вестминстере. Сказал, что эта школа далеко-далеко.

— Может быть, в Нормандии или в Бретани, — пожал плечами Цирюльник. — Во Франции евреев пруд пруди, вот некоторые и сюда пробрались, лекари в том числе.

— О народе Израилевом я читал в Библии, но живого ни одного не встречал.

— Есть еще один лекарь-еврей в Малмсбери, по имени Исаак Адолесентолай. Знаменитый доктор. Может быть, ты одним глазком на него взглянешь, когда мы поедem в Солсбери.

И Малмсбери, и Солсбери лежали на западе Англии.

— Значит, мы не поедem в Лондон?

— Нет. — Цирюльник уловил особые нотки в голосе своего ученика, а о том, что мальчик скучает по своим родным, он давно знал. — Мы поедem напрямиком в Солсбери, — строго повторил он — чтобы собрать добрый урожай с тех толп, которые притекают на солсберийскую ярмарку. А оттуда направимся в Эксмут, потому что к тому времени уже и осень настанет. Тебе понятно?

Роб молча кивнул.

— Но вот весной, когда снова тронемся в путь, мы поедem на восток, в сторону Лондона.

— Благодарю вас, Цирюльник, — выговорил Роб, тихонько ликуя.

Настроение у него заметно улучшилось. Что значила отсрочка, если в конце концов они отправятся в Лондон! Он снова вообразил себе ребятишек.

Потом мысли его перешли на другое:

— Как вы думаете, а он сможет вернуть тому переписчику зрение?

— Мне приходилось слышать о такой операции, — пожал плечами Цирюльник. — Мало кто умеет ее делать, а уж этот еврей — сомневаюсь. Но люди, которые Христа убили, не остановятся перед тем, чтобы обмануть слепого, — заключил он и стал понукать коня: приближалось время обеда.

Их приезд в Эксмут не походил на возвращение домой, но все-таки Роб не чувствовал себя таким одиноким, как два года назад, когда попал сюда впервые. Домик на берегу моря выглядел знакомым и приветливым. Цирюльник погладил большой камин со всеми кухонными принадлежностями и вздохнул.

Они рассчитывали закупить на зиму, как обычно, много замечательной еды, только теперь уж не надо живых кур в доме: как они убедились, от тех идет невыносимая вонь.

Роб — в который раз! — вырос из старой одежды.

— Кости у тебя все длиннее и длиннее, так я скоро по миру пойду, — причитал Цирюльник, однако дал Робу большой отрез шерсти, выкрашенной в коричневый цвет; он купил материал на ярмарке в Солсбери. — Я возьму повозку и поеду с Татом в Ательни, выберу там сыры и окорока, а ночь проведу на тамошнем постоялом дворе. Ты же, пока меня не будет, должен очистить родник от листьев и начать колку дров на зиму. Но выкрой время, отнеси эту ткань к Эдите Липтон и попроси сшить тебе все, что нужно. Не забыл, как найти ее дом?

— Смогу отыскать. — Роб взял материю и поблагодарил хозяина.

— Новая одежда должна быть рассчитана на вырост, — ворчливо добавил Цирюльник, словно спохватившись. — Скажи пусть оставит запас, не жалея, чтобы потом можно было выпускать понемногу.

* * *

Казалось, чаще всего в Эксмуте льет холодный дождь, шел он и сейчас, поэтому Роб завернул материю в овчину. Дорогу он знал. Два года назад он несколько раз бродил вокруг ее дома надеясь что-нибудь подглядеть.

На его стук дверь почти сразу отворилась. Эдита взяла его за руки, втягивая в дом из-под дождя, и Роб едва не уронил сверток.

— Роб! Дай-ка я на тебя погляжу. Никогда еще не видела, чтобы человек так менялся всего за два года!

Он хотел сказать ей, что она за это время совсем не изменилась, но взглянул и словно язык проглотил. Эдита перехватила его взгляд, и ее глаза потеплели.

— А я тем временем постарела и поседела, — сказала она небрежно.

Роб покачал головой. Волосы у нее были все такими же черными, и все остальное — точно такое же, как ему помнилось, особенно красивые блестящие глаза.

Она заварила чай из мяты, и к Робу вернулся дар речи; он охотно и с большими подробностями рассказывал, где они с учителем побывали, что повидали — по крайней мере, поведал, что успел.

— Ну, а я, — сказала Эдита, — стала жить чуть получше, чем прежде. Времена не такие тяжелые, люди снова могут позволить себе шить одежду.

Он теперь только вспомнил, зачем пришел к ней. Развернул овчину и показал ей материю. Эдита заключила, что это отличная шерстяная ткань.

— Надеюсь, ее хватит, — озабоченно проговорила она. — Ты ведь вырос, теперь ты выше Цирюльника. — Схватила свои мерные ленты, отметила ширину плеч, обхват талии, длину рук и ног. — Получатся узкие штаны, просторная куртка и плащ. То-то славный будет у тебя наряд!

Роб кивнул и поднялся, не очень-то желая уходить.

— А что, Цирюльник тебя заждался?

Он объяснил, куда и зачем поехал Цирюльник, и Эдита махнула ему рукой, чтобы сел снова.

— Уже обедать пора. Я, конечно, не предложу того, чем онтебя кормит: свеженькой прожаренной говядины, как у короля, язычков жаворонков и жирных пудингов, — ты просто поделишь со мной ужин деревенской женщины.

Она достала из шкафчика лепешку и послала Роба под дождь: у родника был сарай, где она хранила сыр и кувшинчик молодого сидра. В сгущающейся темноте он два раза натыкался на ивы, ломая тонкие ветви; вернувшись в дом, нарезал сыр ломтиками, положил на лепешку, тоже нарезанную ломтиками, и нанизал все вместе на прутья, чтобы обжарить над огнем. Эдита улыбнулась, глядя на него:

— Ах, этот человек оставил на тебе неизгладимую метку.

— Но ведь в такую ночь вполне разумно разогреть еду, — Улыбнулся Роб ей в ответ.

Они поели, попили, а потом просто сидели за столом и оживленно беседовали. Роб подбросил дров в огонь, который начал шипеть и дымить из-за того, что в дымовую дыру лил дождь.

— Непогода разгулялась, — заметила Эдита.

— Да уж.

— Плохо идти домой в темноте, да еще в такую бурю.

Робу приходилось ходить и в более темные ночи и под куда более сильным ливнем.

— Похоже, снег начинается, — сказал он.

— Значит, ты останешься здесь. И мне веселее.

— Спасибо вам.

Он, оцепенев, прошел снова к роднику, отнес остатки сыра и сидра, не осмеливаясь дать волю мыслям. Когда он вернулся в дом, Эдита снимала платье.

— Ты бы лучше снял с себя все мокрое, — сказала она, и, оставшись в одной ночной сорочке, преспокойно легла в постель.

Роб сбросил вымокшие штаны и куртку и разложил их по одну сторону круглого очага. Голый, он поспешил в постель и лег, дрожа, рядом с Эдитой между кожаными покрывалами.

— Холодно!

— Тебе и холоднее бывало, — улыбнулась она. — Когда я заняла твое место на ложе Цирюльника.

— А меня тогда отправили спать на полу, и ночь еще была такая морозная! Да, холодно было.

Эдита повернулась к нему.

— «Бедный малыш, растет без матери», — вот о чем я думала. Мне так хотелось пригреть тебя на ложе.

— Вы тогда протянули руку и погладили меня по голове. Она тотчас положила руку на его голову, пригладила ему во

лосы, прижимая Роба лицом к своему теплему телу.

— На этом ложе я нянчила своих сыновей. — Она закрыла глаза. Потом развязала ворот сорочки и дала ему грудь, уже несколько отвислую.

Ощущение живой плоти во рту пробудило в нем (или ему так показалось?) давным-давно забытые младенческие воспоминания. Роб почувствовал, как защипало под веками. Эдита взяла его за руку, приглашая познакомиться с ее телом.

— Вот что ты должен делать. — Глаз она при этом не открывала.

В очаге громко треснуло поленце, но они этого даже не услышали. Намокший очаг немилосердно дымил.

— Легонько и терпеливо. Кругами, как ты и делаешь, — мечтательно говорила Эдита. Роб, несмотря на холод, отбросил и покрывало, и ее сорочку.

С удивлением увидел, что у нее толстые ноги. Его глаза вслед за пальцами изучали ее. Женское естество походило на то, что он себе представлял, но в свете очага сейчас можно было рассмотреть все в подробностях.

— Быстрее... — Она бы и еще что-то добавила, но Роб отыскал ее губы. Они не были похожи на материнские, к тому же Роб заметил, что Эдита проделывает что-то интересное своим жаждущим языком.

Несколько слов, сказанных быстрым шепотом, — и вот уже он оказался на ней, между полных бедер. В дальнейших указаниях нужды не было: повинуясь инстинкту, Роб попал куда надо и толкал, толкал...

Бог хороший плотник, подумалось Робу: ведь женщина была совершенной выемкой, а он — прекрасно подогнанным к этой выемке шипом.

Глаза Эдиты вдруг распахнулись, она посмотрела прямо на Роба. Губы изогнулись в странной усмешке, обнажая зубы, горлом она издала резкий хрипящий звук — Роб решил бы, что она умирает, если бы не слышал такого раньше много раз.

Уже не год и не два он видел и слышал, как другие предаются любви: отец с матерью в их тесном домике, Цирюльник с его бесконечными девками. Он давно пришел к убеждению, что в потаенном женском месте должно скрываться какое-то волшебство — иначе с чего бы мужчины так стремились туда?

Во тьме тайны, покрывавшей ложе Эдиты, фыркая, словно лошадь, от дыма угасающего огня, он почувствовал, как горечь и тяжесть оставляют его, изливаясь прочь из тела. Уносясь в водовороте самой пугающей на свете радости, Роб познал разницу между «наблюдать» и «участвовать».

* * *

На следующее утро Эдиту разбудил стук в дверь, она прошлепала босыми ногами к двери и открыла.

— Ушел уже? — прошептал Цирюльник.

— Давно, — ответила она, впуская его в дом. — Он уснул мужчиной, а проснулся мальчиком. Пробормотал что-то такое, мол, надо бежать чистить родник, и умчался прочь.

Цирюльник улыбнулся:

— Все прошло хорошо?

Она кивнула с неожиданной застенчивостью:

— Это славно, потому что он уже полностью созрел. И куда лучше ему узнать твою доброту, чем грубость и жестокость первой встречной.

Эдита смотрела, как он достает из кошелька монеты и раскладывает на столе.

— Только за этот раз, — предупредил он на всякий случай. — Если он снова придет к тебе...

— Я теперь провожу время с одним тележным мастером, — покачала головой Эдита. — Добрый человек, у него дом в городе Эксетере, трое сыновей. Думаю, он хочет взять меня в жены.

Цирюльник кивнул.

— А ты сказала мальчику, чтобы он не брал с меня пример?

— Сказала, что ты, когда выпьешь, нередко становишься грубым и как мужчина уже мало на что годишься.

— Что-то не припоминаю, когда это я просил тебя говорить такое.

— А это я добавила из своих собственных наблюдений, — сказала Эдита и спокойно встретила его взгляд. — Но повторила и то, что ты просил сказать, слово в слово. Сказала, что его хозяин растратил себя на выпивку и непотребных девок. Посоветовала, чтобы он не брал пример с тебя и не становился таким.

Цирюльник угрюмо слушал.

— Только он не позволил мне критиковать тебя, — сухо добавила она. — Сказал, что ты очень хороший человек, когда не пьян. И хозяин отличный, а к нему относишься с большой добротой.

— Он вправду так сказал? — спросил Цирюльник.

Эдита прекрасно изучила выражение лица Цирюльника и могла безошибочно сказать, что сейчас он безмерно доволен.

Он надел шапку и вышел за порог. Когда Эдита спрятала деньги и улеглась снова, она услышала, как Цирюльник насвистывает на улице.

Мужчины иногда могут утешить, часто они бывают грубыми, но в любом случае остаются загадкой, сказала себе Эдита, повернулась на бок и уснула опять.

Чарльз Босток походил скорее на знатного щеголя, нежели на купца: длинные пшеничные волосы зачесаны назад и закреплены гребнями да лентами; одет с ног до головы в красный бархат, материю явно дорогую, пусть и запылившуюся в дороге; башмаки остроносые, из мягкой кожи — в таких красоте больше, чем проку. Но глаза — глаза прожженного торговца — смотрели холодно. Он восседал на огромном белом коне, в окружении немалого числа слуг, вооруженных до зубов: для защиты от разбойников. Купец развлекался беседой с цирюльником-хирургом, повозке которого позволил присоединиться к каравану вьючных лошадей, перевозивших соль с соляных копей Арунделя.

— Мне принадлежат три больших склада на реке, да еще арендую несколько. Мы, странствующие торговцы, создаем новый облик Лондона — значит, приносим пользу и королю, и всем англичанам.

Цирюльник вежливо кивнул; этот хвостун ему невыносимо наскучил, но он рад был ехать в Лондон под охраной вооруженного отряда: чем ближе к этому большому городу, тем опаснее становилось путнику на дорогах.

— А чем вы торгуете? — спросил он купца.

— В пределах нашего островного королевства я, главным образом, приобретаю и продаю изделия из железа и соль. Но покупаю и различные драгоценные вещи, каковые не производятся в нашей земле, доставляю их из-за моря. Шкурки зверей, шелк, всевозможные самоцветы и золото, необычные наряды, красители, вино, оливковое масло, слоновую кость, а также бронзу, медь, олово, серебро, стекло и тому подобные товары.

— Так вы, значит, много путешествуете в далеких землях?

— Да нет, хотя и собираюсь, — улыбнулся купец. — Я ездил однажды в Геную и привез оттуда завесы для дверей — полагал, что у меня их возьмут более богатые собратья-купцы. Однако прежде, чем купцы взяли их для своих особняков, этот товар у меня буквально расхватали для своих замков несколько эрлов — те, кто помогает нашему королю Кануту править Англией [\[40\]](#).

И я совершу еще по меньшей мере два путешествия, ведь король Канут обещает, что всякий купец, совершивший три плавания в заморские края в интересах английской торговли, будет возведен в тэны. Пока же я подряжаю других, чтобы путешествовали, а сам веду все дела в Лондоне.

— Не будете ли вы так любезны поведать нам, что нового происходит в городе? — попросил Цирюльник, и Босток снизошел к его просьбе.

Король Канут, сообщил он, возвел себе просторные палаты близ восточной стены аббатства в Вестминстере. Король-датчанин возбудил в английском народе немалые симпатии благодаря тому, что издал недавно новый закон, наделявший всякого свободного англичанина правом охотиться на принадлежащей ему земле. Раньше таким правом пользовались лишь король и его придворные.

— Отныне каждый землевладелец может добыть себе косулю, и он на своей земле сам себе король.

Рассказал Босток и о том, что король Канут унаследовал от брата своего Харальда датскую корону и правил теперь и Англией, и Данией.

— Благодаря этому он становится господином всего Северного моря; он построил целый флот боевых кораблей, которые прочесывают весь пиратский океан и впервые за сто лет обеспечивают Англии безопасность и прочный мир.

Роб почти не прислушивался к их беседе. Когда делали дневной привал в Элтоне, они с Цирюльником дали представление — заплатили за право ехать под охраной купца. Глядя, как они жонглируют, Босток хохотал во все горло и неистово хлопал в ладоши. Робу он подарил двухпенсовую монету.

— Это пригодится тебе в столице, — сказал он, подмигивая, — где за каждую мелочь приходится платить и платить.

Роб поблагодарил, но мысли его витали далеко отсюда. Чем ближе к Лондону, тем сильнее овладевало им ожидание встречи.

На ночь разбили лагерь на крестьянском поле в Рединге, до родного города Робу оставалось меньше дня пути. В ту ночь он так и не уснул, пытаясь решить, с кого же из братьев — или с сестры? — начать.

* * *

На следующий день он начал примечать вехи, которые ему помнились: рощицу могучих дубов, высокий камень, перекресток дорог у подножия холма, где они с Цирюльником делали первый привал, и каждая такая веха заставляла его сердце биться быстрее, а душу петь. После полудня они простились с караваном в Саутуорке — купца ждали там дела. Саутуорк со времени отъезда Роба заметно разросся. С дороги им было видно, что на болотистом берегу Темзы, близ спуска к древнему парому строятся новые склады, а у причалов на реке так и снуют суда из заморских краев.

Цирюльник пристроил Инцитата в поток повозок, проезжавших по Лондонскому мосту. На другом берегу людей и животных было столько и они так напирали, что ему не удалось повернуть повозку на улицу Темзы, пришлось поневоле тащиться там, где еще оставался проезд — по улице Фенчерч, через речку Уол-брук, а потом трястись по булыжникам Чипсайда. Роб с трудом мог усидеть на месте, ему казалось, что кварталы старых деревянных лачуг, словно посеребрившихся под дождями и солнцем, ветрами и снегом, ни капельки не изменились.

Цирюльник повернул у ворот Олдерсгейт направо, потом налево, на улицу Ньюгейт, и мучивший Роба вопрос, с кого же начать, решил сам собой: на улице Ньюгейт находилась пекарня, а значит, первой он навестит Анну-Марию.

Роб помнил узкий дом, в котором на первом этаже помещалась булочная, и жадно высматривал, пока не увидел его.

— Здесь, остановите! — крикнул он Цирюльнику и соскользнул с козел, не дожидаясь, когда Инцитат полностью остановится.

Однако, перебежав на ту сторону улицы, он увидел, что теперь здесь лавка, которая снабжает уходящих в плавание моряков. Озадаченный, он отворил дверь и вошел в лавку. Стоявший за прилавком рыжеволосый мужчина поднял голову на звук прикрепленного к двери колокольчика и кивнул.

— А что же произошло с пекарней?

Лавочник, почти скрытый за бухтой аккуратно уложенного каната, пожал плечами.

— А Хейверхиллы по-прежнему живут на втором этаже?

— Нет, там живу я. Но я слышал, что когда-то здесь жили пекари. — И добавил, что лавка была уже пуста, когда он купил ее два года тому назад. Купил у Дэрмена Монка, который живет чуть дальше по улице.

Роб попросил Цирюльника подождать в повозке и бросился разыскивать Дэрмена Монка. Тот оказался человеком одиноким и был очень рад случаю поболтать. Дом старика был переполнен кошками.

— Так ты, значит, брат малышки Анны-Марии. Припоминаю, такая миленькая, вежливая девочка, настоящий котенок. Я был близко знаком с Хейверхиллами и считал их превосходными соседями. Они переехали жить в Солсбери, — сказал ему старик, поглаживая полосатую кошку с хищными глазами.

* * *

У Роба от волнения засосало под ложечкой, когда он вошел в дом совета старейшин плотницкого цеха. Там все до последней мелочи осталось точно таким, каким ему помнилось, вплоть до хлипкой стены, от которой отвалился большой кусок штукатурки над дверью — дыра была на своем месте. Вокруг стола сидели и пили несколько плотников, но ни одного знакомого лица Роб не увидел.

— А Бьюкерел здесь?

— Кто-кто? — Один из плотников поставил свою кружку на стол. — Ричард Бьюкерел?

— Да, мне нужен Ричард Бьюкерел.

— Умер он, тому уж два года.

Роб почувствовал, как сжалось сердце: Бьюкерел был так добр к нему!

— Кто же теперь староста цеха?

— Люард, — лаконично ответил тот же плотник. — Эй! — крикнул он кому-то из учеников. — Сбегай за Люардом, тут к нему парень пришел.

Из комнаты позади зала вышел Люард, плотный человек с покрытым рубцами лицом. Слишком молодой, чтобы занимать должность старосты цеха. Не выказав ни малейшего удивления, он согласно кивнул, когда Роб попросил отыскать адрес одного из членов гильдии. Всего несколько минут он листал пергаментные страницы толстой учетной книги.

— Вот! — сказал он наконец и покачал головой. — В старом списке здесь значился подмастерье по имени Эйлвин, но уже несколько лет против имени нет ни единой записи.

Никто в зале ничего не знал ни об Эйлвине, ни о том, почему он больше не значится в списках.

— Члены гильдии то и дело выбывают, зачастую они вступают в цех в каком-нибудь другом городе.

— А что известно о Тэрнере Хорне? — тихо спросил Роб.

— Мастеру-плотнику? Он по-прежнему живет здесь, в том доме, где и всегда жил.

Роб с облегчением вздохнул. Хотя бы Сэмюэла он повидает.

Один из мужчин, прислушивавшийся к их разговору, встал со своего места, отвел Люарда в сторонку и пошептался с ним.

— Мастер Коль, — откашлявшись, обратился к Робу Люард. — Тэрнер Хорн — десятник плотников, которые строят сейчас дом в гавани Эдреда. Если можно, я бы

советовал вам пойти туда и поговорить с ним самому.

— Но я не знаю, где эта гавань Эдреда, — сказал он, переводя взгляд с одного лица на другое.

— Это новый район. Вы знаете гавань Королевы, старинную римскую пристань у стены на берегу реки?

Роб утвердительно кивнул.

— Ступайте в гавань Королевы. А там всякий укажет вам дорогу до гавани Эдреда, это совсем недалеко, — сказал ему Люард.

* * *

Недалеко от стены, укреплявшей берег Темзы, тянулись неизбежные склады, а дальше за ними — улицы жилых домов, где селились простые труженики пристани, мастера, изготавливавшие паруса и корабельные снасти, корабелы, перевозчики, грузчики, матросы торговых кораблей. Гавань Королевы была населена густо, и таверн там хватало. В одной вонючей харчевне Роб разузнал, как попасть в гавань Эдреда. Этот новый район начинался сразу за старым, и Тэрнера Хорна он застал за постройкой дома на участке болотистого луга.

Когда Хорна позвали, тот спустился с крыши, недовольный тем, что его оторвали от работы. Роб узнал его лицо. Человек этот стал румяным от сытости, а волосы выгорели.

— Я брат Сэмюэла, мастер Хорн, — представился он. — Роб Джереми Коль.

— Да, да. Но как же ты вырос!

Роб увидел, как затуманились глаза честного мастера.

— Он прожил с нами меньше года, — сказал Хорн без уверток. — Славный такой парнишка. Мистрис Хорн его просто обожала. Мы ему не раз и не два говорили: «Никогда не играй на причалах!» Сколько взрослых мужчин погибло, попав под грузовую телегу, когда возчик заставляет пятиться запряженную в нее четверку лошадей! Что ж говорить о мальчугане девяти лет...

— Восьми.

Хорн вопросительно посмотрел на него.

— Если это случилось год спустя после того, как вы его приняли к себе, то ему было восемь лет, — объяснил Роб. Губы у него застыли и, казалось, не хотели шевелиться, поэтому говорить было трудно. — Понимаете, он на два года младше меня.

— Ну, тебе лучше знать, — мягко проговорил Хорн. — Он похоронен у церкви Святого Ботульфа, в дальнем ряду по правой стороне кладбища. Нам сказали, что где-то рядом упокоился и ваш отец. — Хорн помолчал. — Вот насчет инструментов твоего отца, — сказал он, испытывая неловкость. — Одна пила сломалась, но молотки еще в полном порядке. Могу отдать их тебе.

Роб покачал головой:

— Оставьте у себя, пожалуйста. На память о Сэмюэле.

* * *

На ночевку они устроились на лугу у ворот Бишопсгейт, близ заболоченной северо-

восточной окраины Лондона. На следующий день Роб сбежал от пасущихся овец и от сочувствия Цирюльника и пошел рано утром на свою улицу — постоять, вспомнить младшеньких. Из маминого дома вышла незнакомая женщина, выплеснула у самых дверей воду из корыта, в котором стирала.

Роб пробродил все утро и оказался в Вестминстере, где дома по берегу реки редели, а за полями и лугами огромного монастыря возникла усадьба, которая могла быть только королевскими палатами. Вокруг выстроились казармы воинов короля и надворные постройки, а в самих палатах, насколько понимал Роб, вершились судьбы всего народа. Он увидел внушающих страх королевских телохранителей, о которых в каждом трактире рассказывали с трепетом. Это были воины-датчане, огромные, тщательно отобранные за рост и доблесть в бою, дабы неотступно защищать короля Канута. Робу подумалось, что для короля, обожаемого народом, здесь многовато вооруженной стражи. Он повернул назад, прошел через центр города и незаметно для себя оказался неподалеку от церкви Святого Павла. Тут на плечо ему опустилась чья-то рука.

— А я тебя знаю. Ты — Коль.

Роб пристально взгляделся в юношу и на мгновение почувствовал себя девятилетним ребенком: он никак не мог решить, то ли ввязаться в драку, то ли спастись бегством — перед ним был не кто иной, как Энтони Тайт.

Но на лице Тони играла улыбка, а никого из приспешников поблизости было не видеть. Кроме того, Роб заметил, что теперь он стал чуть ли не на три головы выше и намного плотнее своего старого врага. Он хлопнул по плечу Тони, гада ползучего, и вдруг так ему обрадовался, будто в детстве они были закадычными друзьями.

— Пойдем в таверну, расскажешь о себе, — предложил Энтони, однако Роб не спешил: у него было только два пенса, подаренные купцом Бостоком за искусство жонглирования. Энтони Тайт понял его колебания:

— За выпивку плачу я. Уже год я получаю плату.

Когда они присели в углу ближайшего трактира и стали потягивать эль, Энтони рассказал, что он теперь плотницкий ученик.

— В распиловочной яме, — объяснил он, и Роб заметил, какой у Тони хриплый голос и землистый цвет лица.

Роб знал, что это за работа. Ученик должен стоять в глубокой канаве, поперек которой кладут бревно. Ученик тянет длинную пилу за один конец и весь день дышит опилками, которые так и сыплются на него. Плотник-подмастерье в это время стоит на краю ямы и работает пилой сверху.

— Похоже, для плотников трудные времена подходят к концу, — сказал Роб. — Я был в доме собраний цеха, там мало кто слоняется без дела.

— Лондон растет, — кивнул Тайт. — В городе уже проживает сто тысяч душ, каждый восьмой англичанин. Повсюду что-нибудь строится. Сейчас хорошо записаться в цех, в ученики — поговаривают, скоро будут создавать новую сотню. А ты ведь родом из семьи плотника...

— Нет, я уже прохожу обучение, — покачал головой Роб. Он поведал о своих странствиях с Цирюльником и в награду увидел зависть, вспыхнувшую в глазах Энтони.

Тайт заговорил о смерти Сэмюэла.

— А я за эти годы схоронил мать и двух братьев — оспа. Отец от лихорадки умер.

Роб печально кивнул:

— Я должен отыскать тех, кто остался в живых. В любом из лондонских домов, мимо которых я прохожу, может находиться последний ребенок, рожденный моей матерью перед смертью. Ричард Бьюкерел тогда пристроил его.

— Так, может быть, вдова Бьюкерела знает что-нибудь?

Это предположение Тайта заставило Роба поднять голову.

— Она снова замужем, за зеленщиком по имени Баффингтон. И живет теперь неподалеку отсюда, сразу за воротами Ладгейт, — подсказал Энтони.

* * *

Дом Баффингтона стоял на отшибе и этим уединением мог бы соперничать с новыми палатами короля, если бы не промозглая сырость, которой тянуло с болот у реки Флит. Да и сам дом был вовсе не палатами, а сбитой на скорую руку лачугой. За этой ветхой лачугой был устроен тщательно возделанный огород с грядками капусты и салата, окруженный со всех сторон влажной болотистой землей. Роб немного постоял, наблюдая за четырьмя невеселыми ребятами. С мешками камней в руках они высматривали болотных кроликов вокруг огорода, над которым звенели тучи комарья.

Мистрис Баффингтон он отыскал в доме, она поздоровалась с ним, раскладывая собранную зелень по корзинам. Ворча, она пожаловалась, что кролики съели весь их доход.

— Помню я и тебя, и всю твою семью, — сказала она, разглядывая Роба так, словно он был редким и дорогим овощем.

Но когда Роб спросил прямо, она так и не смогла припомнить, чтобы первый муж называл ей имя или дом той кормилицы, которая приняла грудного младенца, нареченного Роджером Колем.

— И что же, никто так и не записал ее имени?

Должно быть, в его глазах промелькнуло что-то такое, от чего мистрис Баффингтон вскипела:

— Я писать не обучена. Отчего же *вы*, сэр, не узнали ее имя и не записали? Разве он не твой брат?

Роб мысленно спросил себя, можно ли винить в этом мальчишку в его тогдашнем положении, но не мог не признать, что доля правды в ее словах есть.

— Давай не будем ссориться, — улыбнулась она. — Ведь давно, в трудные времена, мы были соседями.

К удивлению Роба, она смотрела на него такими глазами, какими женщина смотрит на мужчину, и взгляд ее потеплел. Постоянный труд не дал ей располнеть, а в свое время, как разглядел Роб, она была по-настоящему красива. И годами не старше Эдиты.

Но тут же он с тоской вспомнил Бьюкерела, показную добродетель ее скудной милостыни, напомнил себе и о том, что эта женщина когда-то хотела продать его в рабство.

Он холодно взглянул на нее, пробормотал слова благодарности и вышел из дома.

* * *

В церкви Святого Ботульфа дверь отворил ризничий, старик с побитым оспой лицом и

нечесаными седыми космами. Роб хотел повидать священника, который хоронил его родителей.

— Отца Кемптона перевели в Шотландию, тому уж десять месяцев.

Старик провел его на кладбище.

— Ох-ох, у нас тут уже все переполнено! — вздыхал он. — Ты не был здесь в позапрошлом году, когда свирепствовала оспа? — Роб покачал головой. — Повезло тебе! Столько людей умерло, мы каждый день с утра до вечера только и отпевали. Теперь на кладбище и места почти не осталось. А народ стекается в Лондон отовсюду, и человек быстро проживает те сорок лет, которые ему обычно отпущены.

— Но вам ведь больше сорока лет, — заметил Роб.

— Мне? Так меня ведь сохраняет благочестивый характер моих занятий, да и жизнь я веду во всех отношениях чистую и целомудренную. — Его лицо озарила улыбка, и Роб уловил исходящий от него запах горячительных напитков.

Подождал у кладбищенского домика, пока ризничий сверялся с книгой записи погребений. В итоге все, что смог сделать для него пьяненький старичок — провести Роба по лабиринту покосившихся надгробий к общему участку в восточной половине кладбища, почти у задней стены, поросшей мохом, и объявил, что и его отец, и брат Сэмюэл погребены «где-то неподалеку». Роб попробовал припомнить похороны отца и таким образом найти место захоронения, но ничего не вспомнил.

Найти маму оказалось легче. За три с лишним года тисовое дерево над могилой сильно разрослось, но узнать его было нетрудно.

Вдруг Робу пришла в голову мысль, и он поспешил на их стоянку. Цирюльник пошел вместе с ним на берег Темзы, покрытый скалами, и там они отыскивали небольшой серый валун, поверхность которого была сглажена и отполирована волнами за Долгие-долгие годы. Инцитат помог им вытащить валун из реки.

Роб собирался собственноручно вытесать на нем надпись, но Цирюльник отговорил его от этой затеи.

— Мы здесь и без того слишком задержались, — сказал он. — Пусть это сделает резчик по камню, быстро и хорошо. Я оплачу его работу, а ты вернешь долг, когда закончишь обучение и станешь получать плату.

Они задержались в Лондоне только до тех пор, пока на камне не были высечены все три имени и годы рождения и смерти; камень установили на могиле под тисовым деревом. После этого Цирюльник хлопнул его по плечу своей мясистой рукой и посмотрел в глаза:

— Мы с тобой всегда в пути. Рано или поздно побываем везде, где только можно расспросить об остальных трех ребятах.

Он развернул свою карту и указал Робу на шесть больших дорог, ведущих из Лондона: на северо-восток в Колчестер; на север в Линкольн и Йорк; на северо-запад в Шрусбери и дальше в Уэльс; на запад до Силчестера, Винчестера и Солсбери; на юго-восток в Ричборо Дувр и Лайм; на юг до Чичестера.

— Вот Рамси, — ткнул он пальцем в центральную часть Англии, — куда отправилась на жительство к брату твоя соседка-вдова Делла Харгривс. У нее ты сможешь узнать, как зовут ту кормилицу, которой она отдала младенца Роджера, и когда мы, снова приедем в Лондон, ты разыщешь его. А вот здесь дальше Солсбери, куда семья Хейверхилл, как тебе сказали, увезла Анну-Марию. — Цирюльник нахмурился. — Как жаль, что мы не знали этого, когда не так давно были в Солсбери на ярмарке! — воскликнул он, и Робу стало не по

себе при мысли, что они с сестренкой вполне могли находиться в толпе народа недалеко друг от друга.

— Ладно, — сказал Цирюльник. — Осенью, по пути в Эксмут, мы все равно заедем в Солсбери.

— А на севере, — воспрянул духом Роб, — где бы мы ни оказались, я стану расспрашивать всех священников и монахов, знакомы ли им отец Ловелл и его юный подопечный Вильям Коль.

Назавтра, рано утром, они покинули Лондон и выехали на широкую Линкольнскую дорогу, которая вела на север Англии. Когда все дома и смрад огромного скопления людей остались позади, они сделали привал на берегу весело журчащего ручья, приготовили завтрак, не жалея продуктов. И оба согласились в том, что Лондон — далеко не лучшее место, чтобы дышать Божьим воздухом и греться в лучах теплого солнышка.

В один из первых июньских дней они оба лежали на спине на берегу ручья близ Чиппинг-Нортон, наблюдали сквозь густую листву, как по небу плывут облака, и ждали, когда начнет клевать форель.

Удочки, закрепленные на воткнутых в землю рогульках, оставались неподвижными.

— Уже поздно, сезон не тот, чтобы форель набрасывалась на червячков, — добродушно проворчал Цирюльник. — Недели две пройдет, появятся в поле кузнечики, тогда и рыбу ловить легче станет.

— Как это черви-самцы отличают самок? — поинтересовался Роб.

— Вне всякого сомнения, черви в темноте все одинаковые, как и женщины, — улыбнулся Цирюльник в полудреме.

— Женщины не бывают одинаковые, все равно, днем или ночью, — горячо возразил Роб. — Они представляются похожими, но каждая отличается от других по запаху, вкусу, на ощупь — ощущения разные.

— Это подлинное чудо, которое и соблазняет мужчину, — вздохнул учитель.

Роб встал и прошел к повозке. Вернулся он, держа в руках дощечку из гладкой сосны, на которой он чернилами нарисовал лицо девушки. Сел на корточки рядом с Цирюльником и протянул дощечку ему:

— Узнаете, кто это?

Цирюльник всмотрелся в рисунок:

— А, это куколка из Сент-Айвса, та, что была на прошлой неделе.

Роб забрал рисунок и, польщенный, стал его снова рассматривать.

— А зачем ты нарисовал ей на щеке ту отвратительную отметину?

— Потому что у нее была эта отметина.

— Да, припоминаю, — кивнул головой Цирюльник. — Но ведь ты можешь своим пером и чернилами изобразить ее красивее, чем в жизни. Отчего не дать ей возможность видеть себя в лучшем свете, чем видят ее все остальные?

Роб нахмурился; что-то задело его, но он не понимал, что именно. Еще раз присмотрелся к рисунку, вспоминая оригинал.

— Как бы то ни было, она этого не видела — я ведь сделал рисунок, когда она уже ушла.

— Но ты же мог и при ней нарисовать.

Роб вместо ответа пожал плечами и улыбнулся. Цирюльник окончательно стряхнул с себя дремоту и резко сел:

— Пришло нам время использовать твои способности на деле.

* * *

На следующее утро они остановились у хижины лесоруба и попросили нарезать им плашек из соснового ствола. Но древесина разочаровала их: она была слишком шероховатой, и рисовать на ней пером оказалось трудно. Зато кругляшки из молодой березы были и твердыми, и гладкими, а лесоруб за одну монетку охотно нарезал им целую березку.

Позднее в тот же день, когда завершилось представление, Цирюльник объявил, что теперь его ученик нарисует подобия жителей Чиппинг-Нортон, шести человек.

Зрители задвигались, засуетились. Вокруг Роба собралась целая толпа, с любопытством глаза на то, как он разводит чернила. Но парень давно уже привык развлекать публику, и всеобщий интерес его не смущал.

На каждом из шести березовых дисков он нарисовал по одному лицу: старушку, двух юношей, двух коровниц, от которых даже пахло коровами, и еще мужчину с шишкой на носу.

У пожилой женщины были глубоко посаженные глаза и беззубый рот с морщинистыми губами. Один из юношей был полненьким, круглолицым, рисовать его было просто, как лицо на тыкве. Второй же парень был худощавый, темноволосый, с недобрым взглядом. Девушки были сестрами, такими похожими, что самым трудным оказалось изобразить крошечные различия; это у него не получилось, так что девушки могли обменяться рисунками, ничего и не заметив. Из всех шести рисунков самому Робу понравился только последний. Мужчина приближался к старости, в его глазах и в каждой черте лица сквозила грусть. Роб передал эту печаль, сам не понимая, как это ему удалось.

Шишку на носу он изобразил без малейших колебаний. Цирюльник не ругал его, потому что все заказчики были явно довольны, а зрители долго хлопали в ладоши.

— Кто купит шесть пузырьков, может получить — совершенно бесплатно, друзья мои! — такую же картинку, — провозгласил Цирюльник, высоко поднял пузырек с Особым Снадобьем и пустился в привычные восхваления.

Вскоре перед Робом выстроилась целая очередь, и он рисовал и рисовал; а еще более длинная очередь стояла перед помостом, на котором Цирюльник продавал свое зелье.

* * *

После того, как король Канут смягчил законы об охоте, в мясных лавках стала появляться оленина. На рыночной площади городка Элдрет Цирюльник купил большущее седло оленя. Он натер его чесноком и сделал глубокие надрезы, заполнив их маленькими кубиками свиного сала, луком, сверху густо смазал несоленым маслом, а потом постоянно сбрызгивал жиром, пока оленина жарилась в соусе из меда, горчицы и темного эля.

Роб уплетал за обе щеки, но львиную долю Цирюльник съел сам, да еще с большой порцией гарнира из протертой репы и целой свежей лепешкой.

— Ну, может, еще капельку? Чтобы сил не убавлялось, — сказал он с улыбкой. За время их знакомства он значительно потолстел — Роб предполагал, что пуда на два с половиной, не меньше. На шее появились толстые складки, руки стали похожи на окорока, а живот плыл перед хозяином, как парус при полном ветре. Жажда же его ничем не уступала аппетиту.

Они выехали из Элдрета, а через два дня достигли Рамси.

В тамошнем трактире Цирюльник привлек внимание хозяина тем, что выдул, не говоря ни слова, два кувшина эля, потом издал отрыжку, напоминавшую раскат грома, а уж затем перешел к интересовавшему его делу.

— Мы ищем здесь женщину, зовут Делла Харгривс.

Трактирщик пожал плечами и покачал головой.

— Харгривс — это по мужу. Она вдова. Приехала сюда четыре года назад, к брату на жительство. Его имени я не знаю, но прошу тебя подумать, городок-то невелик. — И, чтобы

поощрить трактирщика, Цирюльник заказал еще эля.

Глаза трактирщика по-прежнему ничего не выражали.

— Освальд Суитер, — шепнула ему жена, подавая выпивку.

— А, ну конечно же! Сестра Суитера, — воскликнул трактирщик, принимая от Цирюльника плату.

Освальд Суитер был местным кузнецом; он не уступал Цирюльнику по толщине, но у него были сплошные мускулы. Выслушал он их, слегка хмурясь, потом, словно бы нехотя, заговорил:

— Делла? Да, я принял ее. Родная же кровь. — Взял щипцы и задвинул разогретую до темно-вишневого цвета заготовку поглубже в мерцающие угли. — Моя жена встретила ее радушно, да только у Деллы настоящий талант к безделью. Ну, женщины и не поладили. Через полгода Делла от нас уехала.

— И куда же? — спросил Роб.

— В Бат.

— А в Бате что ей делать?

— Да то же, что и здесь делала, пока мы ее не выгнали, — тихо проговорил Суитер. — Она уехала с мужчиной, похожим на крысу.

— Она много лет жила в Лондоне по соседству с нами, и там все считали ее порядочной женщиной. — Роб хотел быть справедливым, хотя ему Делла никогда не нравилась.

— Ну что же, молодой сэр, нынче моя сестра сделалась девкой. Она скорее ляжет под кого попало, чем станет трудиться ради хлеба насущного. Где собираются шлюхи, там вы ее и найдете. — Суитер вытащил из углей заготовку, уже раскаленную добела, и положил конец разговору, взявшись за молот; снопы жалящих искр долетали до них и за порогом кузни.

* * *

Роб с Цирюльником направились вдоль побережья, и тут на целую неделю зарядили дожди. Но однажды утром они выбрались из-под повозки, из своих отсыревших постелей, увидели, что день наступил теплый, небо безоблачное, солнце светит ярко — и тут же позабыли обо всем, кроме блаженного ощущения свободы.

— Давай-ка прогуляемся по миру, с которого смыты все грехи! — радостно воскликнул Цирюльник, и Роб безошибочно угадал, что он хочет этим сказать: да, Роба подгоняет тревога и желание во что бы то ни стало отыскать своих братьев и сестру, но он молод, здоров, он живет и может насладиться таким чудесным днем.

Они громко, восторженно пели: и церковные псалмы, и похабные песенки, а в перерывах трубили в рог, и пение куда громче возвещало об их присутствии в этих краях. Они медленно продвигались по тропинке в лесу, погружаясь попеременно то в тепло солнечных лучей, то в прохладу свежей зелени.

— Чего еще ты можешь желать! — произнес Цирюльник.

— Оружия! — не раздумывая, выпалил Роб.

— Оружие тебе покупать я не стану, — отрезал Цирюльник. Улыбка сошла с его лица.

— Но мне ведь не обязательно нужен меч. А вот кинжал — это вполне разумно, на случай, коль на нас нападут.

— Всякий разбойник сперва подумает хорошенько: мы крепкие люди, с нами не так

легко справиться, — сухо ответил Цирюльник. — Все дело в том, что я такой крупный. Захожу в трак-тир и люди помельче думают: «Да, он здоровяк, но удар ножом помешает ему на нас напасть», — и руки их сами тянутся к рукояти ножа. А потом они замечают, что у тебя нет оружия, сразу понимают, что ты еще не охотничий пес, а только щенок, пусть и большой. И они, пристыженные, больше не собираются приставать к нам. А с кинжалом на поясе ты и двух недель не проживешь.

Дальше они ехали молча.

Столетия непрерывных вторжений приучили каждого англичанина чувствовать себя воином. Рабам носить оружие запрещал закон, а ученики не могли себе позволить его купить. Но все остальные, кто отпускал длинные волосы, подчеркивали свое положение свободных людей еще и тем, что носили, не скрывая, оружие.

Что ж, подумал Цирюльник устало, это правда: коротышка с ножом запросто может убить рослого, но безоружного юношу.

— Тебе необходимо уметь обращаться с оружием, когда настанет время носить его, — решил он. — Это часть твоего обучения, и до сих пор я ею пренебрегал. Следовательно, я стану учить тебя владению мечом и кинжалом.

— Спасибо, Цирюльник! — просиял Роб.

* * *

Они встали лицом друг к другу на поляне, и Цирюльник вытащил из ножен на поясе кинжал.

— Нельзя держать кинжал как ребенок, который колет букашек. Тебе надо взвесить его на повернутой вверх ладони, будто собираешься жонглировать. Четырьмя пальцами обхватываешь рукоять, а большой либо вытянут вдоль лезвия, либо прихватывает остальные пальцы, смотря какой удар ты хочешь нанести. Труднее всего защититься от удара, который наносится снизу вверх.

Когда дерешься на ножах, ноги надо согнуть в коленях и легко пружинить на ступнях, всегда будучи готовым прыгнуть вперед или назад. Готовым отклониться вбок, уходя от удара противника. И готовым убить, потому что этот инструмент предназначен для грязной и жестокой работы. Делают его из того же доброго металла, что и скальпель. И если уж взялся за скальпель или за кинжал, то надо резать на совесть, словно от этого зависит твоя жизнь — часто именно так оно и есть.

Он вложил кинжал в ножны и передал Робу меч. Тот взвесил его на руке, держа перед собой.

— Romanus sum [\[41\]](#), — тихо проговорил он.

— Да нет, какой ты римлянин, черт их побери! Меч-то у тебя английский. У римлян мечи были короткие, заостренные на конце, обоюдоострые, с режущими кромками из стали. Они любили драться вплотную к противнику и часто пользовались мечом как кинжалом. А это широкий английский меч, Роб Джереми, он и длиннее, и тяжелее. Это наше главное оружие, и оно позволяет держать противника на расстоянии. Все равно что секач или топор, только вместо деревьев им рубят живых людей.

Он забрал меч и отошел от Роба. Держа оружие обеими руками, принялся вращать им, а широкий меч, ослепительно сверкая на солнце, рассекая воздух, описывал большие

смертоносные круги.

Наконец Цирюльник остановился и, задышавшись, оперся на меч.

— Теперь ты попробуй, — велел он, вручая оружие Робу.

Цирюльника не очень обрадовало то, как легко его ученик держит тяжелый меч одной рукой. «Это оружие для сильного мужчины, — подумал он с завистью, — и лучше всего оно действует в проворных молодых руках».

Подражая учителю, Роб закружил по маленькой поляне, вращая мечом. Лезвие со свистом рассекало воздух, и хриплый крик сам собой вырвался из горла юноши. Цирюльник с немалым беспокойством смотрел, как Роб набрасывается на воображаемого врага, нанося тому сокрушительный режущий удар.

* * *

Следующий урок он получил через несколько дней, когда вечером они оказались в гудящем от множества голосов трактире в Фулфорде. Там сидели англичане, погонщики большого конного каравана, направлявшегося на север, и погонщики-датчане, чей караван двигался на юг. Оба отряда остановились в городе на ночевку, пили, сколько влезет, а друг на друга поглядывали, как две своры бойцовых псов.

Роб сидел вместе с Цирюльником и не без удовольствия пил сидр. В подобные переделки они попадали не впервые, но умели держаться так, чтобы не вступать в ссоры.

Один датчанин вышел на двор — облегчиться от выпитого — и вернулся, зажимая под мышкой визжащего поросенка, а в руке держа веревку. Один конец веревки он обвязал вокруг шеи поросенка, а другой закрепил на столбе, поддерживающем крышу трактира. После этого захохотал по столу своей кружкой.

— Кто здесь такой храбрый, чтобы поспорить со мной в умении забивать кабана? — крикнул он, обращаясь к погонщикам-англичанам.

— Молодец, Витус! — одобрительно вскричал один из его товарищей и тоже застучал кружкой по столу, а вскоре к ним присоединились и все остальные датчане.

Англичане в мрачном молчании слушали этот грохот кружек и громкие насмешки, потом один из них вышел к столбу и кивнул.

С полдюжины более осторожных гуляк залпом допили свои кружки и выскользнули из трактира.

Роб тоже было приподнялся, зная привычку Цирюльника уходить раньше, чем начнется шум и драка, но учитель неожиданно удержал его.

— Ставлю два пенса на Дастина! — громко объявил один англичанин, и вскоре обе компании оживленно делали ставки.

Противники с виду не уступали друг другу: обоим лет по двадцать с небольшим; датчанин плотнее и немного ниже ростом, зато у англичанина руки длиннее.

Им завязали глаза полотенцами и, поставив по разные стороны столба, привязали за щиколотки десятифутовыми веревками.

— Погодите! — выкрикнул тот, кого звали Дастином. — Сперва еще кружечку!

Их товарищи с одобрительными возгласами подали каждому по чаше метеглина, и удалыцы залпом их осушили.

Затем, оставаясь с завязанными глазами, они вынули из ножен кинжалы. Тут же

отпустили и поросенка, которого все время держали на равном расстоянии от каждого из соревнующихся. Тот попытался сразу удрать, но, привязанный к столбу, мог лишь бегать по кругу.

— Чертенюк уже близко, Дастин! — крикнул кто-то. Англичанин приготовился и замер, но топот копыт тут же потонул в возгласах зрителей: поросенок пробежал мимо, а Дастин и не заметил.

— Витус, *давай!* — хором вскричали датчане.

Перебуганный подсвинок мчался прямо на погонщика-датчанина. Тот, не мешкая, нанес три удара кинжалом по воздуху, а поросенок, вереща, рванулся в обратную сторону.

Дастин мог по звуку определить, куда бежит поросенок, и пошел на него с одной стороны, тогда как Витус приближался к подсвинку с другой.

Датчанин с силой нанес удар, целясь в поросенка, и Дастин со всхлипом втянул в себя воздух: острое лезвие рассекло ему предплечье.

— Ах ты, северянин недоделанный! — Он, широко размахнувшись, нанес яростный удар, не задев, однако, ни визжащего подсвинка, ни своего противника.

Теперь поросенок метнулся между ногами Витуса. Датчанин ухватил веревку, державшую поросенка, и сумел подтащить его к своему кинжалу. Первый удар пришелся в правое переднее копыто, поросенок жалобно заверещал.

— Ну, он твой, Витус!

— Прикончи скорее, а завтра мы его съедим!

Отчаянно визжащий поросенок представлял собой отличную цель, и Дастин сделал выпад на звук. Его рука с зажатым в ней кинжалом скользнула по гладкому боку поросенка, и клинок с глухим звуком вошел по самую рукоять в живот Витуса.

Датчанин тихонько застонал, но отпрыгнул назад, сорвавшись с клинка, распоровшего ему живот.

Теперь в трактире воцарилась тишина, которую нарушал только визг поросенка.

— Убери нож, Дастин, ты его прикончил, — распорядился один из англичан. Все столпились вокруг погонщика, сняли повязку с глаз, перерезали веревку, привязывавшую его к столбу.

Датчане без единого слова поспешили унести своего товарища, пока саксы не опомнились и пока не нагрянули стражники управителя.

— Пойдем к нему, — со вздохом сказал Цирюльник. — Мы же цирюльники-хирурги, может быть, поможем чем-нибудь.

Однако было совершенно ясно, что они ничего уже не могут сделать. Витус лежал на спине, как сломанная кукла, глаза его расширились, лицо посерело. Сквозь зияющую рану на животе было видно, что кишки у него рассечены почти до конца.

Цирюльник взял Роба за локоть и заставил присесть на корточки рядом с раненым.

— Осмотри рану, — приказал он твердо.

Видны были слои: загорелая кожа, бледная плоть, скользкая на вид светлая брюшина. Кишки были розовыми, как пасхальная крашенка, а кровь ярко-красной.

— Поразительно, но человек со вскрытыми внутренностями воняет куда сильнее, чем любое животное, — заметил Цирюльник.

Кровь широкой струей лилась из брюшной полости, потом из разрезанных кишок хлынули фекалии. Раненый чуть слышно бормотал что-то на своем языке — быть может, молился.

Роба выворачивало, но Цирюльник удерживал его возле умирающего, словно тыкал щенка носом в напущенную тем лужу.

Роб взял погонщика за руку. Датчанин походил на мешок с песком, в котором снизу проделали дыру. Роб чувствовал, как вытекает жизнь. Он скорчился на полу возле умирающего и крепко держал того за руку до тех пор, пока в «мешке» совсем не осталось песка, а душа Витуса с легким шорохом сухого листа не унеслась прочь из тела.

* * *

Они продолжили упражняться с оружием, но теперь Роб стал гораздо задумчивее и не выказывал такого пыла.

Он стал больше думать о своем даре, внимательно наблюдал за тем, что делает Цирюльник, и слушал его наставления, перенимая все, что знал учитель. Когда он стал понемногу разбираться в болезнях и в симптомах, по которым их распознают, то затеял втайне новую игру: старался по внешнему виду пациента угадать, на что тот будет жаловаться.

В Нортумбрии, в деревушке Ричмонд, они увидели в очереди мужчину со слезящимися глазами, натужно кашляющего.

— Вот у этого что? — спросил Цирюльник.

— Скорее всего, чахотка?

Цирюльник одобрительно улыбнулся.

Но когда очередь больного с кашлем подошла, Роб взял его за руки и повел за занавес. Хватка не напоминала пожатие рук умирающего; чутье подсказало Робу, что для чахоточного этот человек слишком крепок. Он догадался, что мужчина просто-напросто простудился и скоро избавится от болезни, носящей временный характер.

Спорить с Цирюльником не было никакого смысла, однако постепенно благодаря таким случаям Роб начал осознавать: его Дар состоит отнюдь не только в том, чтобы предсказывать смерть, нет, им можно пользоваться, чтобы определить болезнь и, быть может, помочь живым.

Инцитат медленно тянул ярко раскрашенный фургон по английским равнинам на север, из одной деревни в другую, порой такую крошечную, что у нее и названия-то не было. Всякий раз, когда они проезжали мимо монастыря или церкви,

Цирюльник терпеливо ожидал в повозке, пока Роб расспрашивал об отце Ранальде Ловелле и о мальчике по имени Вильям Коль. О таких никто не слышал.

Где-то на полпути между Карлайлом и Ньюкаслем-на-Тайне Роб взобрался на каменную стену, построенную девятьсот лет назад когортами Адриана для защиты Англии от налетчиков-шотландцев [\[42\]](#). Сидя в Англии и глядя на Шотландию, он говорил себе, что встреча хоть с кем-то близким ожидает его, вернее всего, в Солсбери — туда ведь перебрались Хейверхиллы вместе с его сестрой Анной-Марией.

* * *

Но, когда они наконец добрались до Солсбери, в местной гильдии пекарей его

встретили нелюбезно.

Старостой цеха был человек по фамилии Каммингс. Приземистый, чем-то похожий на лягушку, он был не таким толстым как Цирюльник, но достаточно полным, чтобы рекламировал свое ремесло.

— Я не знаю никаких Хейверхиллов.

— Не могли бы вы посмотреть в своих книгах?

— Послушай! Сейчас ярмарка, самое горячее время! Большинство членов нашего цеха занято, мы все суедемся, из сил выбиваемся. Лучше приходи, когда ярмарка закончится.

И пока ярмарка продолжалась, лишь какая-то часть Роба жонглировала, показывала фокусы, помогала лечить больных а другая его часть все высматривала в толпе знакомое лицо, жаждала хоть мельком увидеть ту девочку, какой, по его представлениям, стала теперь подросшая сестра.

Он так и не увидел ее.

На следующий день после закрытия ярмарки он снова явился в здание цеха пекарей Солсбери. Это был симпатичный, уютный домик, и Роб, хотя и занятый своими тревогами, не мог не подивиться: отчего это здания всех других цехов неизменно построены куда солиднее, чем у плотников?

— А, это молодой цирюльник-хирург! — Каммингс на этот раз поздоровался с ним куда любезнее, да и в целом держался гораздо спокойнее. Он внимательно перелистал две толстые учетные книги, потом покачал головой: — Никогда не было У нас пекаря по фамилии Хейверхилл.

— Муж и жена, — настаивал Роб. — Они продали свою булочную в Лондоне и объявили, что переезжают сюда. У них живет моя сестра по имени Анна-Мария.

— Да ведь совершенно очевидно, что произошло, молодой хирург. Когда они уже продали свою лондонскую лавку, но еще не приехали сюда, им подвернулось что-то получше, в каком-то другом городе — там, где нужда в пекарях больше.

— Да, похоже, так и есть. — Роб поблагодарил старосту и вернулся в повозку.

Цирюльник был заметно встревожен, но Робу посоветовал мужаться.

— Ты никогда не должен терять надежду. Наступит день, и ты всех их отыщешь, уж поверь мне.

Но у Роба был такое чувство, будто земля расступилась и поглотила не только мертвых, но и живых. Теперь даже крошечная надежда увидеться с ними казалась ему слишком наивной. Он чувствовал, что время его семьи прошло безвозвратно; по коже пробегал мороз, когда Роб вынудил себя признать: что бы ни ждало его в будущем, это будущее, по всей вероятности, ему суждено встретить в одиночестве.

Робу оставалось ходить в учениках всего несколько месяцев. Они сидели в общем зале постоянного двора в Эксетере и за кувшинчиком темного эля осторожно обсуждали условия, на которых хозяин наймет его в качестве подмастерья.

Цирюльник пил в молчании, словно глубоко погрузился в размышления, в конце концов предложил очень скромную плату.

— И к тому же еще новый полный костюм, — добавил он как бы в порыве щедрости.

Но Роб недаром проучился у него шесть лет. Он лишь пожал, плечами, как бы в нерешительности.

— Меня больше тянет вернуться в Лондон, — сказал он и наполнил чаши и хозяину, и себе.

Цирюльник кивнул и сказал:

— Полный костюм каждые два года, независимо от необходимости.

На ужин они заказали пирог с крольчатинной, и Роб съел его с большим удовольствием. Цирюльник же набросился не на еду, а на трактирщика.

— Если мне и удастся найти в этом пироге мясо, то оно слишком жесткое или чересчур уж острое, сверх разумного, — ворчал он. — Ну, плату можно поднять. — И тут же спохватился: — Немного поднять.

— Действительно, приправы *никуда* не годятся, — поддержал его Роб. — Вот у вас такого никогда не бывает. Меня всегда да восхищало, как вы готовите дичь.

— Какую же плату ты сам считаешь справедливой? Для парня шестнадцати лет от роду?

— Я не хочу получать плату.

— Не хочешь платы? — Цирюльник поглядел на него с подозрением.

— Не хочу. Вы получаете доход от продажи Особого Снадобья и от лечения больных. Вот и я хочу получать доход от продажи каждого двенадцатого пузырька Снадобья и от лечения каждого двенадцатого пациента.

— Каждого *двадцатого* пузырька и каждого двадцатого пациента.

Роб заколебался всего на мгновение, потом кивнул, соглашаясь.

— Эти условия действительны один год, после чего подлежат пересмотру по обоюдному согласию.

— По рукам!

— По рукам, — спокойно ответил Роб.

Следующая кружка пива понравилась обоим, и оба усмехнулись.

— Ха! — воскликнул Цирюльник.

— Ха! — отозвался Роб.

* * *

К новым расходам Цирюльник отнесся со всей серьезностью. Когда они приехали в Нортгемптон, славившийся мастерами-умельцами, он нанял плотника, и тот сделал вторую загородку с занавесом, а уже в следующем городке на их пути, Хантингтоне, хозяин

установил эту загородку недалеко от своей собственной.

— Пришло время тебе становиться на ноги, — сказал он Робу.

После представления и рисования портретов Роб водворился в загородке и стал ждать пациентов.

Посмеются ли они, едва взглянув на него? Или же, размышлял он, повернутся и встанут в очередь к Цирюльнику?

Первый пациент болезненно поморщился, когда Роб взял его за руки — ему на кисть наступила его же собственная старая корова.

— Лягнула и перевернула бадью с водой, стерва этакая. А потом, когда я подошел поставить на место, чертова скотина наступила мне на руку, вишь как?

Роб бережно придерживал поврежденную кисть и сразу позабыл обо всем постороннем. У пациента был большой кровоподтек, нестерпимо болевший. И кость была сломана — та, что идет от большого пальца. Важная кость. Робу потребовалось некоторое время, чтобы перевязать руку и наложить шину.

А вот следующая пациентка была как раз такой, какие наводили на Роба страх — худая старуха с суровым взглядом.

— Совсем оглохла, — сообщила она.

При осмотре оказалось, что уши не забиты серой, и Роб не представлял, чем он может ей помочь.

— Я не могу вам помочь, — сказал он с сожалением. Старуха покачала головой. — Я НЕ МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ! — прокричал он.

— ТОГДА ПОПРОСИ ТОГО ЦИРЮЛЬНИКА, ДРУГОГО!

— ОН ТОЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ!

Женщина заметно разгорячилась:

— НУ, И ЧЕРТ С ТОБОЙ... Я САМА ЕГО ПОПРОШУ!

Она заковыляла прочь, а Роб ясно слышал и смех Цирюльника, и веселье, охватившее прочих пациентов.

С горящим лицом он ждал за своим занавесом, когда к нему вошел юноша, должно быть, на год-другой старше самого Роба. Роб посмотрел на левый указательный палец больного и подавил готовый сорваться с губ вздох: палец уже давно омертвел.

— Не самое прекрасное зрелище.

У юноши побелели губы, но он заставил себя улыбнуться:

— Я рубил дрова для очага две недели назад и попал обухом по пальцу. Больно было, конечно, но казалось, что понемногу заживает. А потом...

Первый сустав почернел, выше все было воспалено, кожа стала бесцветной и покрылась большими волдырями, из которых сочилась кровавая жижа и шел отвратительный запах.

— А как ты его лечил?

— Да сосед посоветовал приложить влажной золы, смешанной с гусиным пометом, чтобы боль ушла.

Роб кивнул — в подобных случаях это было обычное средство.

— Ладно. Так вот, теперь развилась пожирающая болезнь — если ее не остановить, она сожрет сперва кисть руки, потом и всю руку целиком. И задолго до того, как она перейдет на тело, ты умрешь. Этот палец необходимо удалить.

Юноша храбро кивнул.

Теперь Роб позволил себе вздохнуть. У него не должно остаться ни малейших

сомнений: ампутация была делом серьезным сама по себе, а этому парню придется зарабатывать себе кусок хлеба, оставшись на всю жизнь без пальца. И он пошел в загородку Цирюльника.

— Что-то нужно? — У Цирюльника вспыхнули искорки в глазах.

— Нужно показать вам кое-что, — ответил Роб и вернулся к своему пациенту; Цирюльник шел за ним, тяжело ступая.

— Я сказал больному, что палец надо удалить.

— Надо, — согласился Цирюльник и перестал улыбаться. — Это правильное решение. Тебе нужна помощь, парнишка?

Роб отрицательно покачал головой. Он дал больному выпить три флакончика Особого Снадобья, а потом тщательно приготовил все необходимое, чтобы не пришлось лихорадочно что-то отыскивать в середине операции или звать на помощь Цирюльника.

Взял два остро заточенных ножа, иглу с навощенной ниткой, короткую дощечку, корпию для перевязки и пилку с мелкими зубчиками.

Руку юноши он привязал к дощечке — ладонью кверху.

— Сожми в кулак все пальцы, кроме поврежденного, — велел ему Роб и замотал здоровые пальцы, чтобы они не мешали.

Позвал трех крепких мужчин из числа слонявшихся поблизости зевак: двое держали самого парня, третий удерживал дощечку.

Больше десятка раз он видел, как Цирюльник проводит такие операции, а дважды делал их сам, под надзором учителя, но в одиночку оперировал впервые. Хитрость здесь состояла в том, чтобы отрезать как можно дальше от участка омертвления, чтобы оно не распространялось, и в то же время сохранить все то, что можно.

Роб взял нож и вонзил в здоровую часть руки. Пациент завопил и попытался вскочить со стула.

— Держите крепче.

Сделал круговой надрез, остановился на минуту, промокнул тряпочкой текущую кровь, потом аккуратно рассек не затронутую гниением часть пальца, заворачивая кожу к костяшке, пока не получились две складки.

Державший доску мужчина отпустил ее и стал блевать.

— Держи дощечку, — велел Роб мужчине, который держал юношу за плечи. Вреда от замены уже не было — больной лишился чувств.

Кость мягкая, ее легко резать, и пила легко скользила в руках, пока Роб отпиливал палец. Он тщательно подрезал обе складки кожи, чтобы культя получилась аккуратная, как учили — не слишком тесная (такая будет постоянно причинять боль) и не слишком свободная (от такой все время одно неудобство). Взял иголку с ниткой и накрепко сшил складки мелкими, экономными стежками. Кровь еще сочилась из раны; и Роб смыл ее, поливая культю Особым Снадобьем. И сам помог отнести стонущего пациента под дерево, в тень, где тот сможет понемногу прийти в себя.

После этого он быстро принял еще нескольких пациентов: вправил вывихнутую ногу, ребенку наложил мазь и перевязал руку, глубоко разрезанную серпом, продал три пузырька Снадобья вдове, которую мучили постоянные головные боли, и шесть пузырьков — мужчине с подагрой. Роб начинал уже гордиться собой, но тут к нему за занавес вошла женщина, страдавшая изнуряющей рвотой.

Ошибиться было невозможно: она вся высохла, кожа восковая, щеки блестят от пота.

Уже взяв ее за руки и зная, что ее ждет, он заставил себя посмотреть в лицо женщине.

— ...Совсем не хочется есть, — рассказывала она. — Да и то, что съедаю, не держится во мне. Вырываю почти сразу, а нет — оно проходит сквозь меня быстро и выходит кровавым стулом.

Роб положил ладонь на ее тощий живот, нащупал твердый выступ и приложил туда руку женщины.

— Бубон.

— А что это — «бубон», сэр?

— Опухоль, которая разрастается, съедая здоровую плоть. Ты можешь почувствовать под рукой сразу несколько таких бубонов.

— Болит невыносимо. Неужели нет никакого лекарства? — проговорила женщина, не теряя выдержки.

Роба восхитило это мужество, и ему не хотелось лгать ей, да-же во имя милосердия. Он покачал головой: Цирюльник рассказывал ему, что многие страдают от бубонов в животе и все они умирают от постоянных рвот.

Когда женщина ушла, Роб, сожалея, что не сделался плотником, заметил на полу отрезанный палец. Он подобрал его, завернул в тряпицу, отнес под дерево, где приходил в себя прооперированный юноша, и вложил сверток ему в здоровую руку.

— И что мне с ним делать? — недоумевающе взглянул тот на

Роба.

— Священники учат, что утраченные члены следует хоронить на кладбище, дабы они дожидались тебя, и тогда в Судный день восстанешь ты в целости.

Юноша обдумал эти слова и кивнул:

— Спасибо, цирюльник-хирург.

* * *

Первым, что они увидели, приехав в Рокингем, была копна седых волос торговца мазями Уота. Цирюльник, сидевший рядом с Робом на козлах, крикнул от огорчения: он решил, что комедиант-соперник опередил их и уже дал свое представление. Но когда они обменялись приветствиями, Уот их успокоил:

— Представление давать я здесь не буду. Вместо этого позвольте пригласить вас на травлю.

Он повел их посмотреть на медведя, огромного зверя, покрытого шрамами, с продетым в нос железным кольцом.

— Болеть вот стал, скоро умрет своей смертью, так что нынче вечером косолапый принесет мне последнюю выручку.

— Это Бартрам, тот, с которым я боролся? — спросил Роб и сам не узнал свой голос.

— Нет, Бартрама уж четыре года как затравили. А это медведица, Годива, — ответил Уот и снова накрыл клетку холстиной.

В тот день Уот наблюдал их представление и продажу Снадобья. Потом, с разрешения Цирюльника, торговец мазями взобрался на помост и объявил, что сегодня же вечером состоится медвежья травля — в большой яме позади мастерской кожевника. Полпенни за вход.

К тому времени, когда они с Цирюльником пришли на место уже изрядно стемнело, лужок вокруг ямы освещался неровным светом дюжины смоляных факелов. По всему полю звучал громкий смех мужчин и не менее громкая ругань. Выжлятники сдерживали трех псов в намордниках, рвущихся с коротких поводков: поджарого полосатого мастифа, рыжего пса, похожего на меньшого брата мастифа, и громадного датского элкхаунда.

Годиву привел Уот, которому помогали еще два человека. Глаза неуклюже переваливающейся медведицы были прикрыты колпачком, но она учуяла запах собак и инстинктивно развернулась в их сторону.

Уот с помощниками провели ее к толстому столбу, вкопанному в землю посреди ямы; к верхушке и нижней части столба были прикреплены прочные кожаные ремни. Распорядитель травли привязал правую заднюю лапу медведицы нижними ремнями. Немедленно раздалась негодующие возгласы:

- Верхними ремнями, верхними!
- Привяжи зверюгу за шею!
- Привяжи за кольцо в носу, дуралей ты этакий!

Распорядителя нисколько не тронули ни выкрики, ни оскорбления — он был человек искушенный в своем деле.

— У медведицы вырваны когти. Если еще и за голову ее привязать, то смотреть станет вообще не на что. Так хоть клык сможет пустить в ход, — растолковал он зрителям.

Уот снял колпачок, прикрывавший Годиве глаза, и проворотскочил в сторону. В колеблющемся свете факелов медведица огляделась вокруг, озадаченно всматриваясь в людей и собак.

Заметно было, что медведица старая, лучшие дни ее давно прошли, и те, кто выкрикивал ставки, почти не получали ответов, пока не стали предлагать три к одному на собак — псы, которых подвели к краю ямы, выглядели свирепыми и сильными. Выжлятники почесывали псам головы, разминали им шеи, потом сняли намордники, отстегнули поводки и отошли в сторону.

Мастиф и рыжий сразу прильнули к земле, не сводя с Годивы глаз. Рыча, они метнулись вперед, щелкнули зубами, промахнувшись, и тут же отступили: они ведь еще не знали, что у медведицы нет когтей, а когти — это они понимали и уважали.

Элкхаунд промчался прыжками по периметру ямы, и медведица то и дело бросала на него через плечо настороженные взгляды.

— Ты смотри на маленького рыжего, — прокричал Уот в ухо Робу.

— Но ведь он кажется совсем не таким страшным, как остальные.

— Он из замечательной породы, их вывели от мастифов, чтобы травить в яме быков [\[43\]](#).

Медведица заморгала глазами, поднялась на задних лапах, прижавшись спиной к столбу. Годива казалась растерянной: она видела, что собаки нападают всерьез, но сама она была прирученным зверем, давно привыкшим и к ремням, и к воплям людей, поэтому не разозлилась еще настолько, насколько это было необходимо распорядителю. Тот поднял длинное копьё и ткнул медведицу в сморщенный сосок, оторвав его темный кончик. Медведица взвыла от боли.

Обрадованный мастиф рванулся вперед. Он собирался разорвать мягкий низ живота, но

медведица повернулась, и острые собачьи клыки вонзились ей в левую ляжку. Медведица взревела и ударила лапой. Если бы ей не вырвали безжалостно когти, ещё когда она была медвежонком, она выпустила бы псу кишки, а так удар безоружной лапы вреда врагу не причинил. Пес понял, что отсюда опасность ему, вопреки ожиданиям, не грозит, выплюнул шерсть с кусочком мяса и снова впился в ляжку, уже опьяненный вкусом крови.

Маленький рыжий пес взвился в воздух, нацелившись Годиве в глотку. Клыки у него не уступали клыкам мастифа; длинная нижняя челюсть накрепко сомкнулась с верхней, и пес повис у медведицы прямо под мордой, словно зрелый плод на ветке дерева.

Наконец и элкхаунд почувствовал, что пора в бой, бросился на Годиву слева. Ему так не терпелось добраться до нее, что он вскарабкался на мастифа. Одним страшным укусом он лишил Годиву левого глаза и левого уха, она замотала раненной головой, разбрасывая вокруг кровавые ошметки.

А охотник на быков сомкнул челюсти на толстой складке провисшей шкуры, поросшей густым мехом. Эти челюсти без устали сжимали глотку медведицы, и та начала задыхаться. Теперь и мастиф добрался до низа живота и стал его рвать зубами и когтями.

— Не получилось боя, — разочарованно выкрикнул Уот. — Собаки уже одолели медведя.

Годива опустила огромную правую переднюю лапу на спину мастифа. За общим шумом не было слышно, как хрустнул хребет, но умирающий мастиф откатился и скорчился на песке, а медведица обратила свои клыки на элкхаунда. Зрители заорали от восторга.

Элкхаунд отлетел к самому краю ямы и остался лежать там без движения — у него была разорвана глотка. А Годива тронула лапой самого малого из псов, который теперь был уже не рыжим, а красным от залившей его крови мастифа и медведицы. Но челюсти его были упрямо сжаты на горле Годивы. Медведица обняла его передними лапами, покачиваясь на задних, и сжала, круша кости.

Только тогда, когда жизнь покинула собаку, хватка челюстей ослабла. Медведица стала колотить собаку о столб, снова и снова, до тех пор, пока пес не свалился в истоптанный песок, подобно охапке сорванного ветром перекасти-поля.

Годива опустила на все четыре лапы рядом с убитыми ею собаками, но не проявила к ним ни малейшего интереса. Дрожа и задыхаясь, она принялась зализывать свои страшные рваные раны, из которых обильно текла кровь.

Зрители оживленно переговаривались вполголоса: кто платил по ставкам, кто получал выигрыш.

— Больно уж быстро все закончилось, больно быстро, — недовольно проворчал мужчина рядом с Робом.

— Да ведь чертова зверюга еще жива, мы можем позабавиться, — отозвался другой.

Какой-то пьяный парень взял у распорядителя копье и стал колоть Годиву сзади, попадая ей под хвост. Раздались громкие радостные крики: медведица зарычала, рванулась к обидчику, но ремень, державший заднюю ногу, отбросил ее назад.

— Второй глаз! — закричал кто-то в задних рядах. — Выколи ей второй глаз!

Медведица снова поднялась на задние лапы и стояла, покачиваясь. Здоровый глаз смотрел на них с вызовом, но в этом взгляде читалось и спокойное приятие неизбежного. Робу вспомнилась женщина с изнуряющей рвотой, его пациентка из Нортгемптона. Пьяница нацелил острие копья в громадную голову зверя, и тут Роб подошел и вырвал копье у него из рук,

— Назад, дурень распроклятый! — резко крикнул Робу Цирюльник, устремляясь вслед за ним.

— Молодец, Годива, — ласково проговорил Роб, опустил копье и с силой вонзил его в глубину разорванной груди. Почти в то же мгновение из уголка перекошенной пасти хлынула кровь.

Среди зрителей раздался ропот, похожий на рычание собак, когда те смыкались вокруг медведицы.

— Он не в себе, мы за ним проследим, — быстро выкрикнул Цирюльник.

Роб не сопротивлялся, когда Цирюльник с Уотом вытащили его из ямы и уволокли за пределы освещенного круга.

— Это еще что за дурак дерьмовый, который называет себя помощником цирюльника? — бушевал разъяренный Уот.

— По правде говоря, даже не знаю. — Цирюльник дышал тяжело, как кузнечные мехи. Роб заметил, что в последнее время хозяйина стала одолевать одышка.

А распорядитель, стоя в освещенном факелами круге, успокаивал публику, объявляя, что их еще ожидает травля сильного барсука; возмущение понемногу уступило место отдельным одобрительным крикам.

Пока Цирюльник извинялся перед Уотом, Роб пошел прочь. Когда хозяин своей тяжелой походкой приблизился к повозке, Роб уже сидел там у костра. Цирюльник откупорил бутылку горячительного и влил в себя половину. Потом тяжело опустился на свою постель по другую сторону костра и устался на помощника.

— Дурень ты проклятый, — сказал он.

Роб улыбнулся.

— Если бы только ставки не были уже уплачены, они пустили бы тебе кровь, и я бы не стал их упрекать за это.

Роб пощупал медвежью шкуру, которая служила ему постелью. «Она уже почти совсем вылезла, скоро придется выбрасывать», — подумал он, поглаживая остатки меха.

— Что ж, Цирюльник, добрых снов, — пожелал он.

Цирюльнику и в голову не приходило, что у них с Робом Джереми может когда-нибудь дойти дело до ссоры. В свои семнадцать лет бывший ученик оставался все тем же мальчишкой, трудолюбивым и добродушным.

Разве что об условиях найма он спорил упорно, словно торговка на рынке. В конце первого года работы по найму он запросил двенадцатую часть вместо двадцатой. Цирюльник поворчал, но в конце концов согласился, потому что Роб, несомненно, заслуживал более высокого вознаграждения.

Цирюльник замечал, что Роб почти ничего из своей платы не тратит, и знал почему: тот откладывал деньги, чтобы купить оружие. Однажды зимним вечером в эксмутской таверне некий садовник хотел всучить Робу кинжал.

— Что вы скажете? — спросил Роб хозяина, протягивая кинжал ему.

Это было оружие, достойное садовника.

— Лезвие бронзовое, скоро сломается. Рукоять, возможно, и неплохая, но она так пестро раскрашена — не прячутся ли за этим какие-нибудь недостатки?

Роб Джереми вернул дешевый нож владельцу.

Весной, пустившись в путь, они объезжали побережье, и Роб без конца бродил по пристаням, разыскивая испанцев — ведь самые лучшие клинки привозили из Испании. Но так ничего и не купил к тому времени, когда они повернули во внутренние районы Англии. В июле они оказались в Нортумбрии. В Блайте ими овладело настроение, которое никак не соответствовало названию этого селения ^[44]. Проснувшись поутру, они увидели, что Инцитат лежит неподалеку на земле без признаков жизни.

Роб поднялся и с грустью смотрел на павшую лошадь, а Цирюльник выразил свои чувства потоком ругательств.

— Думаете, он пал от какой-нибудь болезни?

— Вчера никаких симптомов не было, — пожал плечами Цирюльник. — Он уже старый был. Когда давным-давно он достался мне, уже был немолодым.

Роб потратил полдня, разбивая и копая сухую землю, но они оба не желали, чтобы Инцитат пошел на корм псам и воронью. Пока Роб копал большую яму, Цирюльник отправился искать другую лошадь. На это ушел целый день, и стоила лошадь недешево, но без нее им было никак нельзя. Цирюльник купил бурую кобылу с лысой мордой, совсем еще молодую, трехлетку, — Что, назовем ее тоже Инцитатом? — спросил хозяин, но Роб покачал головой, и с тех пор они называли ее не иначе, как просто Лошадь. Она оказалась легконогой, но на следующее же утро после покупки у нее слетела подкова — пришлось возвращаться в Блайт за новой.

Кузнец по имени Дэрмен Маултон заканчивал ковать меч, при виде которого у них обоих загорелись глаза.

— Сколько? — спросил Роб, слишком горячо, по мнению Цирюльника, который считал нужным поторговаться как следует.

— Этот уже продан, — сказал мастер, но разрешил им подержать меч, прикинуть на руке. Это был английский широкий меч, без всяких украшений, острый, верный, отлично выкованный. Будь Цирюльник помоложе и не столь умудрен опытом, он бы соблазнился и

попробовал перекупить меч.

— Сколько за точно такой же, и к нему в пару кинжал? — Названная сумма превосходила годовой заработок Роба.

— Половину надо уплатить сразу, если решите сделать мне заказ, — добавил Маултон.

Роб сбегал к повозке и вернулся с кошельком, из которого быстро отсыпал требуемые деньги.

— Мы вернемся сюда через год, потребуем заказ и доплатим остаток, — сказал он, а кузнец кивнул головой и заверил, что оружие будет ожидать заказчика.

* * *

Несмотря на потерю Инцитата, сезон у них прошел исключительно успешно. Перед самым его окончанием Роб запросил у хозяина одну шестую долю доходов.

— Одна шестая моих доходов! Сосунку, которому и восемнадцати еще не исполнилось! — Цирюльник был искренне возмущен, Роб же принял его возмущение спокойно и прекратил разговор.

По мере того как приближался день возобновления годичного договора, волновался и переживал как раз Цирюльник, который отлично понимал, насколько существенно увеличились его доходы благодаря подмастерью.

В деревушке Семпрингем он слышал, как одна больная прошептала своей подруге:

— Стань в ту очередь, к молодому цирюльнику, Эадбурга, — говорят, что за занавесом он прикоснется к тебе. И еще говорят что прикосновение его рук исцеляет.

«Говорят, что он и Снадобья продает чертову уйму», — вспомнил Цирюльник с кривой усмешкой.

Он не тревожился из-за того, что к загородке Роба Джереми, как правило, выстраивается более длинная очередь. Право, для своего нанимателя Роб был сущим кладом.

— Одну восьмую, — предложил он наконец. Такое решение нелегко ему далось, но он и на одну шестую готов был согласиться. К его облегчению, Роб согласно кивнул.

— Одна восьмая — это справедливо, — сказал Роб.

* * *

Образ Старика родился в уме Цирюльника. Неизменно озабоченный тем, как разнообразить представления, он выдумал старого распутника, который пьет Особое Снадобье от Всех Болезней, а после начинает приставать к каждой встречной юбке.

— И сыграть его должен ты, — сказал он Робу.

— Да ведь я слишком высокий. И молодой чересчур.

— Нет-нет, играть будешь ты, — упрямо повторил Цирюльник. — Я же такой толстый — один взгляд на меня, и все сразу всё поймут.

Они вдвоем провели много времени, присматриваясь к старикам, изучая их прихрамывающую походку, покрой одежды, прислушиваясь, как и о чем те говорят.

— Вот ты представь себе, каково это — чувствовать, что жизнь тебя постепенно покидает, — говорил Цирюльник. — Тебе кажется, что ты всегда сможешь удовлетворить

женщину. А ты подумай, что состаришься и уже больше этого не сможешь.

Они смастерили седой парик и накладные седые усы. Морщины на лице никак не сделать, но Цирюльник наложил Робу на лицо средства для ухода за кожей, и лицо стало казаться старым, высохшим от долгих лет под ветром и солнцем. Роб научился ходить скрючившись и прихрамывать, подволакивая правую ногу. А голос он делал выше тоном и говорил неуверенно, словно годы научили его чего-нибудь да опасаться.

Одетый в потрепанную старую накидку Старик появился впервые в Тадкастере, когда Цирюльник расхваливал замечательное свойство Особого Снадобья возвращать силы. С трудом волоча ноги, Старик добрался до помоста и купил пузырек.

— Несомненно, я старый осёл и только выбрасываю деньги на ветер, — произнес он хрипловатым старческим голосом. Не без труда открыв пузырек, выпил содержимое там же, у помоста, и стал медленно пробираться к служанке из трактира (ей заранее все объяснили и деньги заплатили).

— Ах ты, какая красивая! — вздохнул Старик, и девушка, как бы в смущении, отвела глаза. — Не сделаешь ли мне одолжения, милашка?

— Если оно мне по силам.

— А ты просто положи мне на лицо свою руку. Всего лишь мягонькую тепленькую ручку на щеку старика. А-а-ах! — выдохнул он, когда девушка смущенно исполнила его просьбу.

Когда он закрыл глаза и поцеловал ей пальцы, из толпы послышались шутки и довольные смешки. Через миг он широко распахнул глаза.

— Клянусь святым Антонием! — взволнованно произнес он. — Ох, да это просто чудо!

Старик похромал снова к помосту, спеша изо всех сил.

— Дай-ка мне еще один, — попросил он Цирюльника и тут же выпил снадобье. Когда он вернулся к служанке, та отошла, но он не отставал от нее.

— Я ваш слуга, мистрис, — сказал он с жаром и, наклонившись к самому уху, что-то зашептал ей.

— Ой, что вы, сэръ, нельзя такое говорить! — Она снова отошла, он — следом за нею, и толпа довольно захохотала.

Через несколько минут Старик появился снова, все так же хромая, но ведя служанку под руку; все одобрительно приветствовали его, а затем, все еще хохоча, устремились к Цирюльнику — расставаться со своими пенсами.

* * *

Вскоре им уже не было нужды нанимать женщин, чтобы те подыгрывали Старика — Роб и сам научился искать подход к женщинам в толпе. Он хорошо чувствовал, когда чья-нибудь добропорядочная жена искренне негодовала, от такой он сразу отставал; попадались ведь и женщины побойчее, которые отнюдь не обижались на сальную шутку, а то и на мимолетный щипок.

Однажды вечером в городке Личфилд он явился в наряде Старика в трактир. Прошло немного времени, и местные пьяницы хохотали и размазывали по щекам слезы, слушая его воспоминания о любовных похождениях.

— В былые времена я ни одной юбки не пропускал. Вот, помню, попалась мне

пухленькая такая красотка... волосы — что черное руно, а сиськи — доить можно. А солома под нами была нежная, что лебяжий пух. А за стеной-то ее отец, вполовину моложе меня, злой как черт — спал как младенец, ничего и не слышал.

— А в каких же годах вы тогда были, дедушка?

Старик осторожно распрямил больную спину.

— На три дня моложе, чем сейчас, — сказал он надтреснутым голосом.

Весь вечер деревенские простаки ссорились друг с другом за право угостить его чарочкой. И впервые не он провожал в лагерь шатающегося Цирюльника, а тот — своего помощника.

* * *

Цирюльник целиком отдался гурманству. В первую очередь лакомился птицей: жарил каплунов на вертеле, уток предварительно обкладывал тонко нарезанными ломтиками сала. В Вустере же он натолкнулся на людей, забивавших двух быков, и купил бычьи языки.

Вот тогда они попиروвали!

Сперва он прокипятит языки, потом обрезал лишнее и снял с них кожицу, затем поджарил с луком, диким чесноком и репой, поливая тимьянным медом и растопленным салом, пока сверху языки не покрылись гляцевитой хрустящей корочкой, а внутри не стали такими нежными, тающими во рту, что их и жевать почти не нужно было.

Роб едва прикоснулся к этому великолепному и сытному блюду — он спешил отыскать новую таверну, где можно было бы сыграть старого дурня. Куда бы они ни приезжали, повсюду завсегдатаи трактиров щедро угощали его выпивкой. Цирюльник знал, что Робу больше всего по вкусу эль и пиво, но в последнее время он с тревогой замечал, что подмастерье пьет и медовуху, и «пойло», и вино морат — все, что дают.

С тревогой Цирюльник всматривался в помощника, ожидая признаков того, что обильные возлияния скажутся в итоге на его собственном кошельке. Но как бы ни тошнило Роба, каким бы одеревеневшим от выпитого он ни был накануне, днем он вроде бы делал все, что положено, так же, как и всегда — за исключением одной мелочи.

— Я замечаю, ты перестал брать своих пациентов за руки когда они входят к тебе на прием, — сказал Цирюльник.

— Вы этого тоже не делаете.

— Но ведь дар-то не у меня!

— Дар! Вы же вечно твердили, что никакого дара и нет!

— А вот теперь думаю, что он у тебя есть, — возразил Цирюльник. — Только сдается мне, притупился от выпивки, а при постоянном пьянстве и вовсе исчезнет.

— Да вы же сами говорили, что мы только фантазируем.

— Послушай хорошенько! Потерял ты свой дар или нет, а только будешь по-прежнему брать за руки каждого пациента, входящего к тебе за занавес. Им это нравится. Тебе понятно?

Роб угрюмо кивнул.

Следующим утром на лесной дороге им повстречался птицелов. Он нес на плече длинную расщепленную на конце палку с приманкой — шариками из теста, начиненными семенами. Когда птица подходила к приманке, он дергал за веревочку, и щель на палке

смыкалась, захватывая ногу птицы. Человек этот столь наловчился в обращении со своим орудием, что весь пояс у него был увешан маленькими белыми ржанками. Цирюльник купил их всех. Ржанки считались таким лакомством, что их обычно зажаривали не потроша. Но Цирюльник был слишком разборчив. Он ощипал и начинил каждую птичку и приготовил такой необыкновенный завтрак, что даже мрачное лицо Роба посветлело.

В Грейт-Беркемстеде они дали представление перед многочисленными зрителями и продали много пузырьков Снадобья, а вечером Цирюльник и Роб вместе пошли в таверну — отметить примирение. Поначалу все шло хорошо, но пили они крепкий морат, в котором чувствовался легкий привкус горьковатых тутовых ягод; Цирюльник подметил, что у Роба заблестели глаза, и подумал, не побагровело ли от выпитого лицо и у него самого.

А вскоре Роб вышел из себя, толкнул и обругал здорового детину-дровосека.

Миг — и они сцепились не на шутку. Ростом и комплекцией они друг другу не уступали, а дрались жестоко, словно лишившись разума. Одуревшие от мората, сошлись вплотную и осыпали друг друга ударами в полную силу — кулаками, коленями, ступнями, — и звук от ударов был такой, будто лупят обухом по дубовому стволу.

Наконец они выдохлись и позволили доброхотам растащить их. Цирюльник увел Роба Джереми в лагерь.

— Пьяный дурак!

— Уж кто бы говорил! — отозвался Роб.

Весь дрожа от негодования, Цирюльник сел и взглянул на своего помощника.

— Да, правда, я тоже бываю пьяным дураком, — сказал он. — Но я не ввязываюсь в неприятности. Никогда я не торговал яда-ми. Не имею ничего общего с колдовством, каким налагают проклятия или вызывают злых духов. Я всего-навсего покупаю много выпивки и устраиваю представление, которое позволяет мне продавать маленькие пузырьки с большой прибылью. И такой заработок зависит от того, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. А потому ты должен прекратить свои безумные выходки и никогда не сжимать кулаки.

Они смерили друг друга сердитыми взглядами, но все же Роб кивнул, соглашаясь.

С того дня он, казалось, выполнял все распоряжения Цирюльника против своей воли. Они держали теперь путь на юг, как бы наперегонки с перелетными птицами, ибо наступала осень. Цирюльник решил не заезжать на ярмарку в Солсбери, чтобы не растревлять душевные раны Роба. Впрочем, старания его пропали втуне: когда они разбили лагерь не в Солсбери, а в Винчестере, Роб вечером пришел к костру, сильно покачиваясь, а лицо все было в синяках — несомненно, подрался где-то.

— Мы проезжали сегодня утром мимо монастыря, ты правил лошадью, но даже не остановился расспросить об отце Ранальде Ловелле и своем брате.

— А что толку? Где бы я ни спрашивал, никто о них ничего не знает.

Больше Роб не заговаривал ни о сестре Анне-Марии, ни о Джонатане, ни о Роджере, которого помнил совсем младенцем.

«Он отказался от них и теперь пытается все забыть», — говорил себе Цирюльник, стараясь понять Роба. Роб словно превратился в медведя и каждый вечер отдавал себя заново на травлю в очередном трактире. В парне сорняком прорастала душевная слабость: он охотно испытывал боль от пьянства и драк, чтобы заглушить ту боль, какую вызывали в нем воспоминания о сестре и братьях.

И Цирюльник не мог для себя решить, хорошо или плохо то, что Роб смирился с потерей

Ту зиму в Эксмуте они провели плохо, как никогда. Поначалу ходили в таверну вместе. Обычно пили немного, беседовали с местными жителями, потом находили себе женщин и с ними возвращались в дом. Но хозяину уже было трудно тягаться с молодым подмастерьем в неумной тяге к женщине — к собственному удивлению, Цирюльник не очень-то об этом и сожалел. Теперь настала его очередь лежать ночами без сна и наблюдать колышущиеся тени, слушать страстные вздохи и горячо желать, чтобы Роб с очередной женщиной, ради всех святых, утомонились, замолчали и уснули наконец.

Снега в том году совсем не было, но дожди лили не переставая, и бесконечное шлепанье капель раздражало слух и действовало на нервы. На третий день Рождества Роб вернулся домой разъяренным до крайности:

- Проклятый трактирщик! Запретил мне появляться на его постоялом дворе!
- Без всякой на то причины, как я понимаю?
- За драки, — хмуро выдавил Роб.

После этого Роб почти не выходил из дома, но, как и Цирюльник, был не в настроении. Долгих разговоров и приятных бесед они теперь не вели. Цирюльник много пил, что всегда бывало в это мрачное время года. Когда удавалось, он подражал зверям, впадающим в зимнюю спячку. Если же не спал, то просто лежал на просевшем ложе, как огромный камень, чувствовал, как собственный вес тянет его книзу, прислушивался к своему свистящему и хриплому дыханию. Смутно припоминал многих пациентов, которым дышалось легче, чем ему сейчас.

Растревожившись от таких мыслей, он раз в день вставал с постели и готовил что-нибудь лакомое и обильное, ища спасения от холода и скуки в жирном мясе. Как правило, рядом с ложем у него стояли откупоренная бутылка и блюдо с жареным барашком, покрытым застывшим жиром. Роб, как и раньше, прибирал в доме (когда у него появлялось настроение), но к февралю весь Дом провонял, словно лисья нора.

Приход весны обрадовал обоих, и уже в марте они уложили все необходимое в повозку и выехали из Эксмута. Путь их пролег через Солсберийскую равнину и дальше, по изрытой оврагами низменности, где перепачканные с ног до головы рабы долбили слои известняка и мела, чтобы добыть железную и оловянную руду. В лагерях рабов они не останавливались — там не заработаешь и полпенни. Цирюльнику пришла мысль проехать по границе с Уэльсом до самого Шрусбери, выехать на берег реки Трент, а затем следовать по ее течению на северо-восток. Остановки они делали во всех теперь уже хорошо знакомых селах и городках. При въезде в них Лошадь не умела с такой живостью и грацией вставать на дыбы, как это делал Инцитат, но она была красива, а в гриву ей они вплели десятки разноцветных лент. Дела в целом шли очень даже неплохо.

В местечке Хоуп-под-Динмором нашелся умелый кожевенных дел мастер, у которого Роб купил ножны из мягкой кожи для ожидавших его меча и кинжала.

Едва приехав в Блайт, сразу отправились в кузницу, где их радостно приветствовал Дэрмен Маултон. Мастер пошел к полкам, находившимся в полутемной глубине мастерской, и вернулся с двумя свертками, завернутыми в мягкие шкуры.

Роб нетерпеливо развернул — и задохнулся от восторга.

Меч — если такое вообще возможно — был еще лучше того, которым они так восхищались год назад. Кинжал ни в чем ему не уступал. Пока Роб восторгался мечом, Цирюльник прикинул на руке нож и почувствовал, как идеально тот сбалансирован.

— Чистая работа! — сказал он Маултону, который принял эту похвалу как должное.

Роб вложил каждый клинок в ножны на поясе, ощущая их непривычную тяжесть. Положил руки на рукояти, и Цирюль ник с удовольствием оглядел его с головы до ног.

А посмотреть было на что. К восемнадцати годам он полностью вырос и теперь на две пяди ^[45]возвышался над Цирюльником. Широкий в плечах, худощавый, с гривой вьющихся каштановых волос, с широко посаженными голубыми глазами, которые меняли выражение быстрее, чем морские волны — свой цвет. Лицо с крупными чертами, с квадратным подбородком, всегда чисто выбритым. Роб до половины вытащил из ножен меч, который свидетельствовал о его положении свободнорожденного мужчины, потом вложил обратно. Разглядывая его, Цирюльник ощутил прилив гордости и какое-то смутное, но непреодолимое опасение, найти имя которому сам затруднялся. Назвать это ощущение страхом было бы недалеко от истины.

В первый же раз, когда Роб вошел в таверну при оружии (это было в Беверли), он тотчас почувствовал, как все изменилось. Не то чтобы люди стали относиться к нему с большим почтением, но держались они осторожнее, а в разговоре выбирали выражения. Цирюльник снова и снова повторял, что Роб теперь должен вести себя осмотрительнее, ибо по учению святой матери-церкви необузданный гнев есть одно из восьми самых страшных преступлений, которые караются смертной казнью [\[46\]](#).

Робу надоело уже слушать, что произойдет, если стражники поволокут его на церковный двор, но Цирюльник не уставал расписывать Божьи суды, на которых обвиняемым приходилось доказывать свою невиновность, держа в руке горячие камни или раскаленное добела железо, а то и пить кипящую воду.

— Осужденного вешают или же обезглавливают, — сурово рассказывал Цирюльник. — Если человек повинен в смертоубийстве, его нередко привязывают ремнями за щиколотки к хвостам диких быков, а потом травят быков собаками.

«Боже праведный, — думал Роб, — Цирюльник с этими причитаниями совсем превратился в старую бабу. Он что же, думает, я выйду на улицу и стану рубить всех встречных?»

В городке Фулфорд обнаружилось, что он потерял римскую монету, которую носил при себе с тех самых пор, как отец с товарищами откопали ее на дне Темзы. С горя он так напился, что сразу вскипел, едва какой-то шотландец с изрытым оспой лицом толкнул его под локоть. И не извинился, а злобно забормотал что-то на гаэльском [\[47\]](#).

— Говори по-английски, карлик чертов! — прикрикнул на него Роб: шотландец, хотя и крепкого телосложения, был на две головы ниже.

Наверное, поучения Цирюльника все же не пропали даром: Робу хватило ума отстегнуть ножны с оружием. Шотландец незамедлительно последовал его примеру, а уж тогда они сошлись лицом к лицу. Пусть этому человеку и недоставало роста, но Роба ждал неприятный сюрприз — противник невероятно ловко орудовал и руками, и ногами. Сперва он выбросил вперед ногу и сломал Робу ребро, потом его кулак, твердый, как скала, сломал со страшным хрустом нос, причинив Робу сильную боль.

— Сучий сын! — прорычал Роб и обратил свою боль и ярость на укрепление тающих сил. Он едва сумел выстоять, пока шотландец не выдохся настолько, что им обоим можно было отступить без ущерба для чести.

До лагеря он еле дотащился, а уж выглядел, да и чувствовал себя так, будто его поймала и безжалостно избивала целая шайка великанов.

Цирюльник не слишком-то церемонился, вправляя с громким треском хрящей сломанный нос. Полил крепким напитком царапины и синяки, но слова его пекли сильнее, чем хмельное зелье.

— Ты стоишь на распутье, — объявил ему Цирюльник. — Ремеслу нашему ты обучился. Разум у тебя быстрый, и я не вижу причин, почему бы тебе не преуспеть на этом поприще. Все зависит лишь от твоего характера. Если ты и дальше пойдешь по той дорожке, что сейчас, то скоро сделаешься горьким пьяницей.

— И меня таковым объявит человек, который сам умрет от пьянства, — с презрением

ответил Роб и зарычал, прикоснувшись к своим распухшим и кровоточащим губам.

— Не думаю, что ты проживешь достаточно долго, чтобы умереть от пьянства, — бросил Цирюльник.

* * *

Как ни искал Роб, как ни перетряхивал свои пожитки, римская монета так и не нашлась. Теперь единственной вещью, связывавшей его с детством, остался наконечник стрелы, некогда подаренный отцом. Роб просверлил в кремне дырочку и стал носить его на шее, на коротком ремешке из оленьей кожи.

Мужчины теперь старались не сталкиваться с ним — помимо великанского роста и умело изготовленного оружия этому способствовал нос, который выделялся на лице, постепенно меняя оттенки, и торчал несколько криво. Наверное, Цирюльник был слишком зол на него и не использовал всего своего умения, когда вправлял нос — тот так и остался немного кривым.

Ребро много недель вызывало у него боль при каждом вдохе. На всем пути из Нортумбрии в Уэстморленд, а потом обратно в Нортумбрию Роб вел себя смирно. Не ходил по тавернам да трактирам, где легко попасть в драку, а оставался по вечерам у повозки, сидел у костра. Если лагерь разбивали далеко от города, он «брал пробы» их Снадобья и скоро пристрастился к метеглину. Но однажды вечером, когда Роб истребил немалую часть их целебного зелья, он вдруг обнаружил, что открывает пузырек с нацарапанной на нем буквой «Б». Пузырек был из «запаса для особых пациентов», с добавлением мочи, и предназначался для мести личным врагам Цирюльника. Роб содрогнулся и отшвырнул пузырек. С тех пор он покупал себе выпивку, когда они останавливались в городах, и бережно укладывал ее в угол повозки.

В городе Ньюкасле он изображал Старика, прикрыв синяки накладной бородой. Толпа собралась немалая, Снадобья продали предостаточно. После представления Роб скрылся за повозкой, чтобы избавиться от своей личины, а потом устанавливать занавес и принимать больных. За повозкой уже стоял Цирюльник, споря о чем-то с высоким костлявым мужчиной.

— Я следую за вами от самого Дарема, где впервые увидел, — говорил незнакомец. — Куда бы вы ни приехали, всюду собирается толпа, а она-то мне и нужна. Поэтому предлагаю странствовать вместе и делиться всеми заработками.

— У тебя нет заработка, — возразил ему Цирюльник.

— Есть, — улыбнулся тот. — Мое ремесло требует нелегкого труда.

— Да ты, я вижу, куешь деньги пальцами, а жнешь кошельки. В один прекрасный день тебя схватят за руку в чьем-нибудь кармане, тут тебе и конец. Нет, с ворами я дела не имею.

— Возможно, это не тебе решать.

— Как раз ему и решать, — вмешался Роб.

Незнакомец удостоил его лишь мимолетным взглядом.

— А тебе, старик, лучше помолчать и не привлекать внимания тех, кто может тебя обидеть.

Роб шагнул к нему. У воришки от удивления широко раскрылись глаза, он выхватил из-под одежды длинный узкий нож и слегка повел им в сторону одного и другого.

Великолепный кинжал Роба, казалось, сам собой выскочил из ножен и вонзился вору в предплечье. Роб вовсе не напрягался, но удар вышел сильный, он почувствовал, как острие царапнуло по кости. Когда выдернул кинжал из раны, оттуда сразу же хлынула струя крови. Роб даже поразился тому, сколько крови может так быстро вылиться из такого тощего, словно журавль, человечка.

Воришка попятился, держась за раненую руку.

— Иди сюда, — позвал его Цирюльник. — Давай мы тебя перевяжем. Не бойся, зла мы тебе не причиним.

Но вор уже обогнул повозку и в мгновение ока скрылся.

— Столько крови, что незамеченным он не останется. Если в городке есть стражники, они его схватят, а он, скорее всего, приведет их к нам. Надо быстро уезжать, — решил Цирюльник.

* * *

Они бежали, как и в тех случаях, когда опасались смерти пациента, нигде не останавливаясь, пока не удостоверились, что погони за ними нет.

Роб развел костер и присел у огня, все еще в наряде Старика. Переодеться у него не было сил. Поужинали вчерашней холодной репой.

— Нас же было двое, — раздраженно сказал Цирюльник. — Могли спокойно от него отделаться.

— Его надо было проучить.

— Послушай меня, — сказал Цирюльник, поворачиваясь к Робу. — С тобой стало опасно.

Роб возмутился этой несправедливости — он же защищал Цирюльника! Почувствовал, как в нем снова вспыхивают гнев и память о прежних обидах.

— Со мной вы никогда ничем не рисковали. И теперь уже не вы приносите нам доход, это я его приношу. Я зарабатываю для вас больше денег, чем мог бы собрать тот ворюга своими проворными пальцами.

— Опасность и ответственность, — устало подвел итог Цирюльник и отвернулся от Роба.

Они достигли самого северного колена своего маршрута и делали остановки в приграничных деревушках, где жители и сами толком не знали, кто они — англичане или шотландцы. Выступая перед толпами зрителей, они с Цирюльником и шутили, и работали в полном согласии друг с другом, но, сойдя с помоста, замыкались в отчужденном молчании. Стоило начать разговор, и он быстро перерастал в ссору.

Давно минули те дни, когда Цирюльник осмеливался поднимать на него руку, однако язык у хозяина, особенно под влиянием хмельного, оставался все таким же грубым, обидным и не знавшим удержу.

В Ланкастере они остановились на ночевку близ пруда, В лунном свете от воды поднимался туман, похожий на слабый дымок, и тут на них напал целый легион каких-то мелких мошек, спасение от которых они попытались найти в выпивке.

— И всегда-то ты был дубиной стоеросовой, деревенщиной неотесаной. Молодой сэръ Засранец.

Роб вздохнул.

— Я взял к себе осиротевшего болвана, ни на что не годного... Человеком сделал... А без меня ты остался бы полным ничтожеством.

«Скоро наступит день, когда я стану самостоятельно работать цирюльником-хирургом», — решил про себя Роб. Он давно уже шел к этому решению: их с Цирюльником дороги дальше разойдутся.

Днем он отыскал купца, у которого был большой запас кислого вина, купил изрядное количество и теперь старался утопить в вине этот скрипучий голос, пиливший его. Но голос не умолкал.

Вскоре Роб забрался в фургон, чтобы заново наполнить кубок, но и там его настиг тот же голос.

— Налей и мне чашу, чтоб ей провалиться!

«Сам себе наливай, пьяница несчастный», — хотел было ответить Роб, но его вдруг охватило непреодолимое искушение и он забрался в тот угол, где хранилось Снадобье из «запаса для особых пациентов».

Взял пузырек, поднес к глазам, всмотрелся и наконец разглядел нацарапанную отметину, которой был помечен этот «запас». Тогда он выбрался из фургона, откупорил глиняный пузырек и протянул толстяку.

Со страхом он осознал, что совершает гнусность. Впрочем, не большую, чем совершал сам Цирюльник, который из года в год поил этим «особым запасом» не так уж мало людей.

Роб замороженно наблюдал, как Цирюльник берет пузырек в руки, запрокидывает голову, открывает рот и подносит к губам сосуд.

Еще можно было успеть все поправить. Роб открыл уже рот, чтобы остановить хозяина. Можно было сказать, что у пузырька треснуло горлышко, и без труда заменить его таким же пузырьком метеглина, но без отметины.

Но он промолчал.

Цирюльник взял горлышко в рот.

«Глотай!» — мстительно подумал Роб.

Жирная шея задержалась — Цирюльник пил. Потом отшвырнул в сторону пустой пузырек, упал на спину и захрапел.

* * *

Отчего же Роб не испытывал никакой радости от своей проделки? Всю долгую ночь он лежал без сна и размышлял об этом.

В трезвом Цирюльнике уживались два человека: один — веселый, с добрым сердцем, другой — довольно гнусный тип, не гнушавшийся поить кое-кого Снадобьем из «особого запаса». В пьяном Цирюльнике этот второй тип, несомненно, брал верх.

И с внезапной ясностью, будто в прорезавшем тьму ночи ярком луче света, Роб увидел, что сам превращается в мерзкую ипостась Цирюльника. Мороз продрал его по коже, он ощутил какую-то безысходность и придвинулся ближе к огню.

Наутро встал с первым проблеском рассвета, отыскал выброшенный пузырек с отметиной и зашвырнул его подальше в лес. Потом подбросил в костер хворосту. Когда Цирюльник проснулся, его уже ожидал роскошный завтрак.

— Я вел себя недостойно, — обратился Роб к Цирюльнику, когда тот наелся. Поколебался, но заставил себя продолжить. — Я прошу у вас прощения и отпущения грехов.

Цирюльник только кивнул, от удивления потеряв дар речи.

Они запрягли Лошадь и добрую половину утра катили молча, только время от времени Роб чувствовал на себе задумчивый взгляд Цирюльника.

— Я долго размышлял, — заговорил наконец тот. — В следующем сезоне тебе надо ехать без меня, становиться самостоятельным цирюльником-хирургом.

Роб стал возражать, чувствуя себя виноватым — ведь только вчера он и сам пришел к тому же заключению.

— Это все выпивка проклятая виновата. Хмель делает нас обоих злыми. Нужно бросить пить, и у нас все пойдет хорошо, как раньше.

Эти слова, казалось, растрогали Цирюльника, но он лишь покачал головой.

— Отчасти дело в выпивке, отчасти же в том, что ты — выросший олененок, которому необходимо испытать в деле свои рога, а я — старый бык. Для оленя я стал слишком толстым и выдыхаюсь быстро, — сухо отметил он. — Я теперь с трудом и на помост взбираюсь, а довести представление до конца с каждым днем все тяжелее. Я бы с радостью остался в Эксмуте, грелся бы летом на солнышке, выращивал бы салат на грядках, уж не говоря о том удовольствии, которое я получаю от своей кухни. А пока я в отъезде, я мог бы заготовить целое море Снадобья. Кроме того, я стану, как и прежде, оплачивать содержание повозки и Лошади. Ты же будешь оставлять себе весь доход от лечения своих пациентов, а также от каждого пятого пузырька Снадобья, проданного в первый год, в последующие же — от каждого четвертого.

— Каждого третьего в первый год, — привычно поправил его Роб, — и каждого второго в последующем.

— Для юноши девятнадцати лет это чрезмерно, — строго сказал Цирюльник. В его глазах вспыхнули искорки. — Давай вдвоем над этим подумаем, — предложил он. — Мы же люди разумные.

* * *

В конце концов они порешили: Роб будет получать доход от продажи каждого четвертого пузырька в первый год, а в последующие — каждого третьего. Этот договор остается в силе на протяжении пяти лет, после чего подлежит совместному пересмотру.

Цирюльник просто ликовал, а Роб все никак не мог поверить своему счастью: для юноши его лет он станет получать очень даже неплохой доход. Так, в приподнятом настроении, они катили по Нортумбрии, снова чувствуя себя друзьями. В Лидсе после трудов пошли на рынок и провели там несколько часов. Цирюльник закупил уйму всякой всячины и объявил, что должен приготовить обед, которым не стыдно отметить заключенный ими новый договор.

Из Лидса выехали по большой дороге, что шла низиной вдоль реки Эйр; на многие мили здесь тянулся лес могучих старых деревьев, которые возвышались, подобно башням, над зеленым кустарником, маленькими рошицами и поросшими вереском полянами. Лагерь разбили рано, среди зарослей ольхи и ивы, и Роб не один час помогал Цирюльнику приготовить большущий пирог с мясом. В начинку Цирюльник положил мелко нарубленное

смешанное мясо: ногу косули, телячье филе, жирного каплуна и пару голубей. Добавил шесть вареных яиц и фунт сала, а сверху прикрыл все это толстой хрустящей слоеной корочкой, обильно смазанной растительным маслом.

Ели они очень долго, а когда пирог возбудил у Цирюльника жажду, утолить ее было лучше всего любимым метеглином. Роб, памятуя о данном недавно зароке, пил одну воду и смотрел, как наливаются кровью лицо хозяина, а взгляд становится угрюмым.

Наконец Цирюльник потребовал, чтобы Роб принес ему из фургона два ящика пузырьков с метеглином — он сам будет брать по мере надобности. Роб подчинился, с нарастающим беспокойством наблюдая, как пьет хозяин. Вскоре тот стал ругательски поминать условия их договора, но до ссоры дело не дошло: Цирюльника сморил пьяный сон.

Утром — солнечным, ярким, наполненным птичьими трелями он проснулся бледный и ворчливый. О вчерашних излишествах, кажется, ничего и не помнил.

— Пойдем-ка наловим форели, — предложил Цирюльник. — Я бы с удовольствием съел на завтрак жареной рыбки, а в Эйре она как раз должна водиться. — Поднявшись со своей подстилки, однако, он пожаловался на сильную боль в левом плече. — Загружу я лучше повозку, — решил он. — Часто труд помогает прогнать из суставов боль.

Он отнес в повозку один из ящиков с метеглином, вернулся за вторым. На полдороге к повозке Цирюльник уронил ящик со страшным грохотом и звоном. На лице его появилось выражение крайнего удивления.

Он приложил руку к груди и поморщился. Роб видел, что от боли даже плечи у него ссутулились.

— Роберт, — ласково позвал он. Впервые Роб слышал, как хозяин называет его полным именем. А тот шагнул к Робу, протянув вперед обе руки.

Но прежде чем Роб подбежал, он перестал дышать. Подобно огромному дереву — нет, подобно скатывающейся с гор лавине, подобно обвалу каменных глыб — Цирюльник запрокинулся назад и как подкошенный рухнул на землю.

— Я никогда не видел его.

— Он был моим другом.

— Тебя, кстати, я тоже никогда не видел, — сурово сказал священник.

— Но теперь-то видите. — Роб утром разгрузил фургон, спрятав все имущество в ивовой рощице, чтобы освободить место для тела Цирюльника. Потом он шесть часов ехал до деревушки Эйрс-Кросс, где была старинная церковь. А теперь здешний священник с неприятным взглядом неприветливо, с подозрением расспрашивал его, как будто Цирюльник только прикинулся мертвым, нарочно, чтобы доставить хлопоты священнику.

Когда из расспросов выяснилось, кем был Цирюльник при жизни, служитель церкви засопел, не скрывая своего недовольства.

— Лекари, хирурги, цирюльники — все они попирают истину а она в том, что лишь Троица и святые имеют власть исцелять болезни.

Роб и без того был измучен переживаниями, и выслушивать подобное он был не расположен. «Довольно!» — мысленно зарычал он. Он не забывал, что на поясе висит оружие, но Цирюльник словно и теперь наставлял его: сдерживайся! Роб заговорил со священником тихо, просительно, сделал немалое пожертвование в пользу церкви.

— Архиепископ Вульфстан, — проворчал наконец священник, — запретил клирикам переманивать прихожан из чужих приходов, ибо это связано с церковной десятиной и платой за требы.

— Он не был чужим прихожанином, — заверил Роб. В конце концов он договорился о погребении Цирюльника в освященной земле.

Как удачно, что он захватил с собой полный кошель! Дело не терпело отлагательства, запах тления уже ощущался. Деревенский плотник ужаснулся, когда увидел, каких размеров гроб ему необходимо изготовить. Столь же вместительной должна быть и яма, и Роб сам вырыл ее в углу кладбища.

Сперва он подумал, что Эйрс-Кросс назван так потому, что здесь есть брод через реку Эйр, но священник растолковал: название селения происходит от громадного распятия из полированного дуба, каковое находилось в самой церкви [49]. Усыпанный лепестками розмарина гроб с телом Цирюльника поставили у подножия этого распятия, перед алтарем. Вышло так, что был день святого Каллиста, и в церкви Святого Креста было много народа. Когда хор затянул «Господи, помилуй», маленький храм был переполнен.

— Господи, помилуй, Христе, помилуй, — вел хор.

В церкви было всего два окошка. Запах ладана мешался со смрадом, однако немного свежего воздуха просачивалось сквозь трещины в деревянных стенах и соломенной кровле, заставляя свечи мигать. Шесть высоких тонких свечей рассеивали тьму вокруг гроба. Саван покрывал все тело, оставляя открытым лишь лицо Цирюльника. Роб сразу закрыл ему глаза, и покойный казался теперь просто спящим, а может быть, очень пьяным.

— Это твой отец? — прошептала стоящая рядом старушка. Роб поколебался, но решил, что проще всего кивнуть. Старушка вздохнула и погладила его по руке.

Роб оплатил поминальную мессу, в которой с трогательной печалью приняли участие все прихожане, и он с удовлетворением подумал, что Цирюльника не хоронили бы

торжественнее, если бы тот принадлежал к какому-нибудь ремесленному цеху, да и молились за него не хуже, чем если бы его покрывал пурпурный саван, положенный самому королю.

Когда служба окончилась и люди разошлись, Роб приблизился к алтарю. Четырежды преклонил колени и осенил себя крестным знаменем, как учила его матушка когда-то давным-давно, поклонился особо Богу, Сыну Его, Богородице, и, наконец, апостолам и всем святым душам.

Священник обошел церковь, бережливо загасил свечи, а потом оставил Роба скорбеть в одиночестве у погребальных носилок.

Роб не пошел утолить ни голод, ни жажду, оставался коленапреклоненным, словно повис в пространстве между колеблющимся пламенем свечей и сгустившейся вокруг тьмой.

Он не замечал, как идет время, и вздрогнул, когда колокола загудели, призывая к заутрене. Роб поднялся и проковылял на занемевших ногах по боковому нефу.

— Выкажи свое почтение, — холодно велел ему священник, и Роб послушно поцеловал ему руку.

Выйдя на улицу, побрел по дороге. Под деревом облегчился от скопившейся влаги, потом вымыл руки и лицо водой из бадьи, стоявшей у дверей; в церкви священник между тем завершал полунощницу.

Вскоре после того, как священник снова ушел, свечи у гроба догорели и Роб остался в темноте наедине с Цирюльником. Только теперь он позволил себе думать о том, как этот человек спас его, тогда совсем несмышленного мальчишку, в Лондоне. Он вспоминал и то, каким Цирюльник бывал заботливым и как бывало наоборот. Вспоминал восторг, с которым тот готовил и подавал еду, и то, каким он был эгоистичным. Бесконечное терпение учителя и его жестокость. Непристойности и трезвые, практичные советы; смех и злость; душевную теплоту и пристрастие к выпивке.

Роб понимал: между ними не было любви, но их отношения заменяли любовь близких людей — настолько, что при первых лучах зари, осветивших восковое лицо, Роб горько заплакал, и не только по Генри Крофту.

* * *

Похороны состоялись после утрени. Священник не стал задерживаться у могилы.

— Можешь засыпать, — бросил он Робу.

Когда по крышке гроба застучали камни и гравий, Роб услышал бормотание на латыни — что-то о твердой и неколебимой надежде на скорое воскресение.

Роб сделал для Цирюльника все, что сделал бы для близкого родственника. Он вспомнил, как затерялись могилы отца и брата, и заплатил священнику еще и за то, чтобы тот заказал надгробный камень, и указал, что следует написать:

Генри Крофт

Цирюльник-хирург

Преставился июля в 11-й день, лета Господня 1030-го

— Может, добавить *Requiescat in pace* или что-нибудь подобное? — предложил

священник.

Единственной подходящей эпитафией Цирюльнику могли служить слова *Carpe diem* [50] («Радуйся дню сегодняшнему»). И все же...

Роб не сдержал улыбки.

Священнику не понравилось то, что он выбрал, но этот упрямый юноша платил деньги за камень и настаивал, а потому церковнослужитель записал, что было сказано.

Fumum vendidi. «Я продавал дым».

Глядя, как этот священник с холодными глазами прячет, довольно улыбаясь, в карман свой доход, Роб сообразил, что не будет удивительно, если на могиле цирюльника-хирурга никакого камня вообще не появится. Кому в Эйрс-Кросс есть до этого дело?

— Скоро я вернусь сюда и посмотрю, все ли сделано, как я просил.

Глаза священника при этом затуманились.

— Ступай себе с Богом, — лаконично сказал он и вернулся в церковь.

* * *

Донельзя уставший, голодный, Роб погнал Лошадь туда, где оставил в ивовой роще их имущество.

Все было в целости и сохранности. Загрузив снова фургон, он присел и поел. Остатки пирога уже испортились, но он прожевал заплесневелую лепешку, которую Цирюльник испек четыре дня назад. Потом Роб сообразил, что он законный наследник. И лошадь, и повозка принадлежали ему. Ему достались инструменты и приспособления, истрепанные подстилки, шарики для жонглирования и набор для фокусов, блеск и дым, право решать, куда отправиться завтра, куда послезавтра.

Первое, что он сделал — вытащил пузырьки «особого запаса» и разбил их один за другим о большой камень.

Оружие Цирюльника он позднее продаст: его собственное лучше. Но саксонский рог повесил на шею.

Взобрался на козлы, посидел — прямо, торжественно, будто на троне.

Быть может, подумалось ему, он поищет и найдет себе мальчика в помощь.

Роб продолжал их всегдашний путь — «совершал прогулку по новорожденному миру», как сказал бы Цирюльник. В первые дни он все никак не мог заставить себя разгрузить повозку и дать представление. В Линкольне зашел в трактир, взял себе горячего. Сам он не готовил, питаясь по большей части хлебом и сыром. Хмельного не брал в рот. Вечерами сидел у костра на стоянке, остро ощущая свое одиночество.

Он все ждал, не произойдет ли чего. Ничего особенного не случилось, и постепенно Роб стал понимать, что придется вести самостоятельную жизнь.

В Стаффорде он решил, что пора браться за работу. Лошадь стала прядать ушами и вставать на дыбы, когда они въехали на городскую площадь, и Роб ударил в барабан.

Чувство было такое, будто он всю жизнь работал в одиночку. Ведь его зрители не ведали, что на помосте должен быть еще и старший, который подает сигналы, когда начинать жонглировать, когда заканчивать, а еще рассказывает забавные истории. Поэтому они толпились вокруг, слушали, смеялись, восхищенно смотрели, как он рисует их подобию, раскупали целебный напиток и стояли в очереди, чтобы он осмотрел их за занавесом. Беря их за руки, Роб почувствовал, что дар вернулся к нему. У могучего кузнеца, который по виду способен был перевернуть мир, внутри сидело нечто, пожиравшее жизнь, и долго кузнецу не протянуть. Худенькая бледная девушка, на вид очень болезненная, располагала таким неисчерпаемым запасом сил и здоровья, что Роб, взяв ее за руки, почувствовал прилив радости. Возможно, прав был Цирюльник, когда заявил, что дар подавлен Действием крепких напитков, а после воздержания вернется. Впрочем, какова бы ни была причина возвращения дара, Роб обнаружил, что охвачен возбуждением, и с нетерпением ожидал прикосновения к следующей паре рук.

Выехав в тот день из Стаффорда, он остановился у крестьянской усадьбы — купить ветчины — и увидел у амбара кошку с выводком котят.

— Хочешь, выбери себе кого-то из них, — с надеждой предложил крестьянин. — Большинство мне придется утопить, их же кормить нечем.

Роб поиграл с котятами, помахая перед носами веревочкой. Каждый котенок очень мило включался в игру, кроме одной маленькой белой кошечки, которая хранила гордый вид, презрительно глядя на окружающих.

— Не хочешь пойти со мной, а? — Кошечка сидела смиренно с самым благодушным видом, но стоило Робу попробовать взять ее в руки, как она сразу царапнула его когтями.

Как ни странно, но это лишь укрепило его в желании взять именно этого котенка. Он стал ласково ей что-то нашептывать и страшно обрадовался, когда удалось взять кошечку на руки и погладить ее.

— Вот эту я возьму, — сказал он и поблагодарил крестьянина.

На следующее утро он приготовил себе завтрак, а котенка покормил хлебом, размоченным в молоке. Заглянув в зеленоватые глазки, разглядел в них кошачью стервозность и улыбнулся.

— Я назову тебя в честь мистрис Баффингтон, — сказал он ей.

Возможно, именно кормежка волшебным образом повлияла на кошечку: через час-другой она уже довольно мурлыкала, свернувшись в клубок у него на коленях, пока он правил

Лошадью.

Ближе к полудню он отложил котенка в сторону, когда круто поворачивал на дороге близ Теттенхолла и увидел мужчину, стоявшего над распростертой на земле женщиной.

— Что у нее болит? — спросил Роб, останавливая Лошадь. Женщина, как он видел, дышит; лицо покраснелось от напряжения, а живот сильно выпирал.

— Ей пришло время рожать, — ответил ему мужчина.

За его спиной, в саду, стояло с полдюжины корзин, доверху наполненных яблоками. Сам же мужчина был одет в лохмотья и не походил на владельца такого богатого сада. Роб предположил, что этот бедняга безземельный — он гнет спину на хозяина, обрабатывает большой участок, а в награду хозяин выделяет ему крошечный клочок земли, который и кормит бедняка со всей семьей.

— Мы собирали первый урожай, когда у нее начались схватки. Она хотела дойти до дома, да вот сил не хватило. Здесь поблизости нет повитухи — была одна, да как раз этой весной померла. Когда стало видно, что ей совсем плохо, я послал мальчишку сбегать за лекарем.

— Ну что ж, ладно, — ответил Роб и взялся за вожжи. Он собирался ехать своей дорогой, потому что как раз таких случаев Цирюльник советовал избегать: если он сможет помочь женщине, плата будет скудной, а если не сможет, того и гляди объявят виновником несчастья.

— Да времени прошло уж больше чем достаточно, — горько сказал крестьянин, — а лекаря все нет и нет. Это доктор-еврей.

Пока он говорил, Роб заметил, как женщина закатила глаза, а тело забилося в судорогах.

Из того, что рассказывал ему о лекарях-евреях Цирюльник, Роб заключил, что лекарь, скорее всего, не явится вообще. А ему самому не давали сдвинуться с места полные безысходного отчаяния глаза батрака и собственные воспоминания, которые ему хотелось бы позабыть.

Роб вздохнул и слез с повозки.

Стал на колени возле перепачканной в грязи измученной женщины и взял ее за руки.

— Когда она в последний раз чувствовала, как шевелится дитя?

— Да уж недели две тому. Две недели она ходит полуживая, словно опоили ее чем. — Мужчина рассказал, что у нее уже были раньше четыре беременности. Два мальчика растут в доме, но последние двое детей родились мертвыми.

Роб чувствовал, что этот ребенок тоже мертв. Он приложил руку к раздутому животу и отчаянно захотел уехать. Но перед глазами у Роба стояло побелевшее лицо матушки, когда она лежала на покрытом навозом полу конюшни, а в душе было ясное ощущение того, что эта женщина скоро умрет, если он ей не поможет.

Среди наваленных кучей инструментов Цирюльника он отыскал зеркальце из полированного металла. Когда судороги отпустили женщину, он расширил инструментом шейку матки, как учил его Цирюльник. Заполнявший женщину плод выскользнул легко — скорее куча гнили, нежели младенец, Роб краем глаза заметил, что мужчина издал булькающий звук и отошел в сторону.

Руки диктовали голове, что надо делать, хотя обычно бывает наоборот. Он извлек плаценту, очистил и промыл родовые пути. Подняв глаза, Роб с удивлением увидел, что приехал доктор-еврей.

— Вы охотно займете мое место, — проговорил Роб. Он чувствовал огромное

облегчение от приезда лекаря, потому что у женщины не прекращалось кровотечение.

— Спешить некуда, — отвечал ему лекарь. Но к дыханию он прислушивался непрерывно и осмотрел больную так медленно и внимательно, что сомнений не было: Робу он ни на грош не доверяет. Наконец у лекаря на лице появилось удовлетворенное выражение.

— Положи ладонь ей на живот и крепко потри, вот так.

Роб, недоумевая, массировал опустевшее чрево. В конце концов сквозь мышцы живота он почувствовал, как раздутая губчатая матка снова сжимается в тугий шар, и кровотечение прекратилось.

— Волшебство, достойное Мерлина. А этот трюк я непременно запомню, — сказал Роб.

— В том, что мы делаем, никакого волшебства нет, — спокойно возразил доктор. — А тебе известно мое имя?

— Мы встречались несколько лет назад. В Лестере.

Беньямин Мерлин посмотрел на раскрашенную повозку и улыбнулся.

— А! Ты был мальчиком, учеником. А цирюльник — такой толстяк, который изрыгал цветные ленты.

— Верно.

Роб не стал говорить, что Цирюльник умер, да Мерлин о нем и не спрашивал. Они разглядывали друг друга. Ястребиное лицо еврея по-прежнему обрамляла густая седая шевелюра и такая же седая борода, но он уже не был таким худым, как прежде.

— А что тот переписчик, с которым вы говорили тогда в Лестере? Вы надсекли ему глаза?

— Переписчик? — Мерлин, казалось, был озадачен, потом взор его прояснился. — Да! Эдгар Торп, из деревни Лактеберн в Лестершире.

Если Роб и слышал эту фамилию, он давно ее позабыл. И понял, что в этом разница между ними: сам он по большей части не запоминал имен своих пациентов.

— Я его оперировал, удалил катаракту на обоих глазах.

— А теперь? Он здоров?

— Мастера Торпа нельзя назвать здоровым, — печально улыбнулся Мерлин. — Он стареет, у него много жалоб и много болезней. Но видит обоими глазами.

Роб сразу замотал погибший плод в тряпки. Сейчас Мерлин развернул их и всмотрелся, потом взбрызнул плод водой из фляги.

— Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, — быстро проговорил еврей, потом снова завернул останки в тряпку и отнес батраку. — Дитя было крещено по правилам, — сказал он, — и, несомненно, перед ним отворятся врата Царствия Небесного. Ты должен так и сказать отцу Стиганду или второму священнику церкви.

Работник порылся в испачканном землей кошеле.

— Сколько я должен заплатить, мастер лекарь?

— Сколько можешь, — ответил Мерлин.

Мужчина вынул из кошелька пенни и протянул лекарю.

— Дитя было мужского пола?

— А это никому не известно, — мягко ответил лекарь. Он опустил монету в большой карман своей куртки и рылся там, пока не выудил монетку в полпенни. Эту он дал Робу. Им еще надо было помочь работнику отвезти женщину домой — здесь работы уже больше, чем на полпенни.

Когда они с лекарем наконец покончили со всеми трудами, то отошли к ближайшему ручью и смыли с себя кровь.

— Тебе приходилось уже наблюдать подобные роды?

— Нет.

— Откуда же ты знал, что нужно делать?

— Мне об этом рассказывали, — пожал плечами Роб.

— Говорят, что некоторые люди рождаются целителями. Избранные. — Еврей улыбнулся Робу. — Разумеется, иным просто везет.

Роб чувствовал себя неуютно под его пристальным взглядом

— А если бы мать умерла, а дитя было живым? — заставил себя Роб задать вопрос.

— Кесарево сечение.

Роб посмотрел на него вопросительно.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю?

— Не понимаю.

— Ты должен разрезать живот и стенку матки и извлечь младенца.

— Разрезать мать?

— Да.

— А вам приходилось это делать?

— Несколько раз. Еще когда я только изучал медицину, один из моих учителей вскрыл живую женщину, чтобы извлечь дитя.

«Вот лжец!» — подумал Роб, устыдившись того, что слушает так жадно. Ему вспомнилось, что рассказывал Цирюльник об этом человеке и обо всем его племени.

— И чем все это кончилось?

— Она умерла, но умерла бы она в любом случае. Я не одобряю вскрытие живых женщин, однако мне рассказывали о врачах, которые поступали так и сохраняли жизнь и матери, и ребенку.

Роб повернулся и зашагал прочь, пока этот человек с французским выговором не высмеял его, как доверчивого простака. Но, сделав всего два шага, вернулся назад:

— А где нужно резать?

В дорожной пыли лекарь-еврей нарисовал торс и показал два разреза: один — длинной прямой линией на левом боку, другой — чуть выше середины живота.

— Или так, или эдак, — сказал он и отбросил палку подальше.

Роб кивнул и ушел, не в силах даже поблагодарить.

Из Теттенхолла Роб выехал не мешкая, но с ним уже что-то начало происходить.

Запас Особого Снадобья от Всех Болезней подходил к концу, поэтому он купил у одного крестьянина бочонок метеглина и, сделав привал, смешал необходимые составляющие для Целебного зелья, распродавать которое начал в селении Ладлоу. Снадобье расходилось, как всегда, хорошо, однако Роб пребывал в задумчивости; ему даже было страшновато.

Держать душу человеческую на своей ладони, словно камешек. Чувствовать, как умирает женщина, но вернуть ее к жизни *своими усилиями!* Даже королю не дано такой власти. *Избранные.*

Может ли он выучить еще больше, чем уже знает? Насколько больше? «Как это, — спрашивал он себя, — выучить все, чему только могут научить другие?»

В первый раз он осознал, что горячо желает сделаться лекарем. Иметь настоящую возможность бороться со смертью! У него появились новые мысли, которые то приводили его в неопиcуемый восторг, то причиняли жестокие душевные муки.

Наутро он направил повозку к Вустеру, следующему городу на дороге к югу, на берегу реки Северн. Впоследствии Роб не мог вспомнить ни реки, ни дороги, ни того, как он погонял Лошадь — вообще ничего из той поездки. Вустерские горожане, разинув рты, глазели, как красная повозка прокатила по площади, совершила круг, не останавливаясь, а потом выехала из города по той же дороге — но в обратном направлении.

* * *

Деревушка Лактеберн в Лестершире была слишком мала, чтобы иметь собственный трактир, однако всю шел сенокос, и Роб остановился у луга, где орудовали косами четверо мужчин. Тот, что шел по проколу ближе к дороге, оторвался на минутку от работы и объяснил, как проехать к дому Эдгара Торпа.

Старика Роб отыскал на огороде: тот, стоя на четвереньках, собирал лук. Роб сразу же, с чувством странного волнения, заметил, что Торп видит. Правда, старика одолевали боли в суставах и, хотя Роб помог ему подняться на ноги и распрямиться еще минутку-другую стонал и охал, пока они не смогли нормально беседовать.

Роб принес из фургона несколько пузырьков со Снадобьем и сразу откупорил один из них, что очень обрадовало хозяина дома.

— Я приехал сюда расспросить вас о той операции, которая вернула вам зрение, мастер Торп.

— Вот как? А отчего это вас интересует?

— У меня есть родич, — поколебавшись, солгал Роб, — который нуждается в таком же лечении, вот я и спрашиваю, чтобы передать ему.

Торп отхлебнул из пузырька и вздохнул.

— Надеюсь, что он человек сильный и мужества ему не занимать, — проговорил он. — Меня привязали к креслу за руки и за ноги, вот как это было. Веревки врезались в кожу, плотно прижимая голову к высокой спинке. В меня влили не одну чарку, пока я не отупел от

выпивки, а вот тогда лекарские помощники поддели мне веки крючками и держали, чтобы я не мог моргнуть.

Старик закрыл глаза и поежился. Несомненно, он много раз пересказывал эту историю — все подробности излагал четко, без малейшей запинки, — но Роб тем не менее слушал, затаив дыхание.

— Болезнь моя была такова, что видеть я мог лишь то, что находится прямо передо мной, да и то расплывчато. Вот появилась в поле зрения рука мастера Мерлина. В ней зажато лезвие, которое все росло, приближаясь, и наконец воткнулось мне в глаз.

Ах! Боль была такая, что я вмиг протрезвел! Я не сомневался, что он вырезал мне глаз, а не просто удалил из него туман. Я заорал на него, потребовал, чтобы он ничего больше не смел со мной делать. Когда же он продолжил свое, я обрушил на его голову град проклятий и сказал, что теперь-то понимаю, как его презренное племя могло убить нашего кротчайшего Господа.

Когда он воткнул лезвие во второй глаз, боль была столь велика, что я утратил всякое соображение. Очнулся я во тьме крошечной — на глазах моих была повязка, — и почти две недели страдал невыразимо. Но со временем я обрел способность снова видеть, как когда-то давно. И настолько улучшилось у меня зрение, что еще два полных года я прослужил переписчиком. Потом пришлось оставить эти обязанности, потому что сильные боли в суставах сделали работу слишком трудной.

«Значит, все это правда», — думал потрясенный Роб. Так, может быть, и остальное, о чем поведал ему Бенъямин Мерлин, тоже вовсе не выдумки?

— Мастер Мерлин — самый замечательный врачеватель, какого только доводилось мне видеть, — говорил между тем Эдгар Торп. — Вот только трудно ему избавить мои кости и суставы от болей, это даже удивительно для такого умелого лекаря, — недовольно закончил он.

* * *

Роб снова направился в сторону Теттенхолла, разбил лагерь в лощине недалеко от городка и провел там три дня, будто томящийся от любви мужлан, которому и не хватает смелости прийти к возлюбленной, и не удается заставить себя дать ей покой. Первый же крестьянин, у которого он покупал провизию, рассказал, как найти дом Бенъямина Мерлина, и несколько раз Роб проезжал в повозке мимо этого низкого крестьянского домика с аккуратным амбаром и надворными постройками, полем, фруктовым садом и виноградником. На первый взгляд ни что не свидетельствовало, что здесь живет лекарь.

На третий день после полудня он повстречал Мерлина на дороге, в нескольких милях от дома.

— Как поживаешь, юный цирюльник?

Роб отвечал, что у него все хорошо, и сам осведомился о здоровье лекаря. Минуту-другую они говорили о погоде, потом Мерлин кивнул, прощаясь:

— Я не могу задерживаться — мне нужно побывать еще у трех больных прежде, чем окончится мой трудовой день.

— А можно, я провожу вас и посмотрю? — с трудом выговорил Роб.

Лекарь обдумал это. Казалось, такая просьба ему очень не понравилась. Он кивнул с

большой неохотой.

— Только будь добр ни во что не вмешиваться, — предупредил он.

Первый пациент жил недалеко от места, где они встретились, в крошечной хижине у пруда, по которому плавали гуси. Это был некто Эдвин Гриффит, надсадно кашлявший старик. Роб сразу понял, что тот страдает далеко зашедшей грудной болезнью и через недолгое время сойдет в могилу.

— Как вы чувствуете себя сегодня, мастер Гриффит? — спросил его Мерлин.

Старик зашелся от кашля, отдышался и вздохнул.

— Все так же, и мало о том сожалею, разве что сегодня мне не хватило сил покормить гусей.

— Быть может, мой юный друг позаботится о них, — сказал

Мерлин с улыбкой, и Робу не оставалось ничего делать, как только подчиниться. Старик Гриффит объяснил ему, где держит корм, и вскоре Роб уже спешил с мешком к берегу пруда. Его раздражало то, что лечение этого больного он пропустил — ясно же, что Мерлин не станет тратить много времени у постели умирающего. К гусям он подошел с опаской, знал, какими злобными те бывают. Но гуси проголодались и со страшным гоготом набросились на корм, не заботясь ни о чем другом. Роб поспешил прочь от пруда.

Когда он снова вошел в хижину, Мерлин, к его удивлению, все еще беседовал с Эдвином Гриффитом. Роб никогда раньше не видел, чтобы лекарь выполнял свою работу так неспешно. Мерлин задавал бесконечные вопросы о привычках больного и его питании, о детстве, о родителях, дедушках и бабушках, от каких причин те умерли. Пощупал пульс на запястье старика и еще раз на шее, приложил ухо к груди, послушал. Роб не шевелился, напряженно наблюдая за всем этим.

Когда они уходили, старик поблагодарил его за то, что покормил птицу.

Весь день, казалось, был посвящен уходу за обреченными: теперь Мерлин повел его за две мили, к дому сразу за городской площадью — там угасала, мучась болями, жена управляющего городом.

— Как поживаете, Мэри Свейн?

Она не ответила, только смотрела на лекаря неотрывно. Ответ был вполне ясен, и Мерлин кивнул головой. Он сел, взял руку больной в свои и ласково заговорил с нею. Как и в случае со стариком, он уделил ей на удивление много времени.

— Помогите мне, пожалуйста, повернуть мистрис Свейн, — обратился он к Робу. — Тихонько. Ну, тихонько же. — Когда

Мерлин закатил ее ночную сорочку, чтобы вымыть костлявое тело, они увидели на тощем левом боку воспаленный нарыв. Лекарь, не теряя времени, вскрыл его ланцетом, устраняя источник боли, и Роб отметил с удовлетворением, что сделано это было так, как сделал бы он сам. Мерлин оставил пациентке флакон с болеутоляющим настоем.

— Осталось посетить еще одного, — сказал Мерлин, когда они затворили за собой двери дома Мэри Свейн. — Это Танкред Осберн. Сегодня утром приходил его сын, сказал, что тот поранился.

Мерлин привязал повод своего коня к повозке, а сам уселся на козлы, рядом с Робом, чтобы веселее ехалось.

— Как там глаза твоего родича? — любезно осведомился, лекарь.

Ну, конечно же, Эдгар Торп не мог не рассказать о его расспросах, догадался Роб и почувствовал, как краска заликает щеки.

— Я не собирался обманывать его. Хотел только убедиться сам, что дала ему операция, — объяснил он. — А объяснить, почему это мне интересно, было проще всего так.

Мерлин улыбнулся и кивнул. По дороге он рассказал о том, каким образом удалял катаракты на глазах Торпа.

— Это операция такого рода, которую я никому не советовал бы делать в одиночку, — подчеркнул он, и Роб согласно кивнул, потому что не имел желания вообще оперировать чьи бы то ни было глаза!

Всякий раз, как они подъезжали к развилкам дорог, Мерлин указывал ему путь, пока наконец они не остановились у богатой крестьянской усадьбы. Видно было, что хозяин здесь тщательно следит за всем, но в самом доме они обнаружили мужчину могучего телосложения, который стонал, лежа на служившем ему постелью соломенном тюфяке.

— А, Танкред, что ты на этот раз с собою сделал?

— Вот, поранил треклятую ногу.

Мерлин отбросил одеяло и нахмурился: правое бедро было изогнуто и все распухло.

— Ты, должно быть, испытываешь страшную боль. И все-таки велел мальчику сказать, чтобы я пришел, «когда смогу». В следующий раз нельзя так глупо храбриться, и тогда я приду сразу же, — резко сказал он.

Мужчина закрыл глаза и молча кивнул.

— Как это случилось, когда?

— Вчера в полдень. Свалился с крыши, черт бы ее побрал, когда перестилал проклятую солому.

— Ну, теперь с крышей тебе придется немного подождать, — сказал Мерлин и взглянул на Роба. — Мне потребуется помощь. Найди-ка планку для шины, немного длиннее его ноги.

— Только не выламывайте из построек и из забора, — простонал Осберн.

Роб пошел искать то, что можно. В амбаре лежало с дюжину березовых и дубовых бревен, а также оструганная сосновая доска. Она была широковата, но мягкое дерево легко подавалось и Роб, пользуясь хозяйским инструментом, быстро отрезал ненужное.

Осберн сердито покосился на него, узнав доску, но ничего не сказал.

— Ляжки у него как у быка, — вздохнул Мерлин, снова взглянув на поврежденную ногу. — Нам предстоит трудная работа, юный Коль. — Лекарь взял ногу за лодыжку и щиколотку и стал осторожно нажимать, одновременно слегка поворачивая и выпрямляя поврежденную конечность. Послышался легкий треск, словно крошились сухие листья, и Осберн громко замычал.

— Без толку, — сказал через минуту Мерлин. — У него слишком могучие мышцы. Они сжались, защищая ногу, а у меня не хватает сил справиться с ними и соединить сломанную кость.

— Позвольте, я попробую, — предложил Роб.

Мерлин кивнул, но сперва дал крестьянину хлебнуть кружку хмельного напитка — Осберн весь трясся и всхлипывал от боли, которую причинила ему неудачная попытка соединить кость.

— Дайте еще, — задыхаясь, попросил он лекаря.

Когда он выпил вторую кружку, Роб крепко взял его за ногу, подражая манере Мерлина. Осторожно, стараясь не дергать, надавил, и бас Осберна сменился долгим пронзительным воплем. Мерлин подхватил могучего пациента под мышки и, вытаращив от натуги глаза, потянул его в противоположную сторону.

— Вроде бы получается, — крикнул Роб, чтобы Мерлин мог его расслышать сквозь несмолкающие вопли больного. — Пошла! — И в тот же миг концы сломанной кости царапнули друг друга и встали на место. Распростертый на постели больной вдруг замолчал.

Роб посмотрел, не лишился ли тот чувств, но нет — Осберн бессильно откинул голову, лицо было мокрым от слез.

— Не отпускай ногу, так и держи, — приказал Мерлин. Он смастерил повязку из тряпок и обвязал вокруг щиколотки и лодыжки. К этой повязке он прикрепил один конец веревки, а другой накрепко обмотал вокруг дверной ручки. Затем наложил шину на растянутую конечность.

— Теперь можно отпустить, — сказал он Робу.

Для пущей надежности они еще привязали здоровую ногу к сломанной. Несколько минут хватило, чтобы успокоить связанного и измученного больного, дать все необходимые указания его бледной жене и отпустить его брата, который пока будет работать на поле.

На току Роб и Мерлин остановились и посмотрели друг на друга. Рубахи на обоих промокли от пота, да и лица были не суше, чем залитые слезами щеки Осберна.

Лекарь улыбнулся и похлопал Роба по плечу:

— Ты должен пойти теперь ко мне домой, мы разделим вечернюю трапезу.

* * *

— Это моя Дебора, — произнес Бенъямин Мерлин.

Жена доктора была пухленькой женщиной с острым носиком и пунцовыми щеками. Увидев Роба, она заметно побледнела, а взаимные представления приняла сухо. Мерлин принес во двор таз с ключевой водой, чтобы Роб мог освежиться. Моясь, он слышал, как в доме женщина что-то горячо говорит мужу на языке, которого Роб никогда прежде не слышивал.

— Ты должен извинить ее. — Лекарь тоже вышел помыться и поморщился. — Она всего опасается. Закон гласит, что во время религиозных праздников мы не должны принимать христиан у себя в доме. Однако сегодня вроде бы никакого особенного праздника нет. Просто обычный ужин. — Вытираясь полотенцем, Мерлин посмотрел Робу в глаза. — Если ты все же предпочтешь не садиться с нами за стол, я могу вынести тебе еду сюда.

— Я с удовольствием буду вместе с вами, мастер лекарь.

Мерлин кивнул.

Станный ужин.

Собрались родители и четверо детишек: три мальчика и девочка. Девочку звали Лия, а братьев — Ионафан, Руил и Захария. Мальчики, как и отец, сели за стол в шапках! Когда жена подала горячую лепешку, Мерлин кивнул Захарии, и тот заговорил на гортанном языке, который Роб недавно слышал в этом доме.

— Сегодня, — остановил его Мерлин, — брохот [\[51\]](#) надо читать по-английски — из уважения к нашему гостю.

— Благословен еси, Господи Боже наш, Царь Вселенной, — с чувством стал читать молитву мальчик, — дарующий нам хлеб, что родит земля. — Он передал лепешку Робу, который воздал ей должное и отдал остальным.

Мерлин налил из большого графина в чаши красное вино. Роб последовал примеру и

поднял свою чашу, а отец между тем кивнул Руилу.

— Благословен еси, Господи Боже наш, Царь Вселенной, сотворивший плод лозы виноградной.

Еда состояла из рыбного супа, сваренного с молоком — не такого, как готовил Цирюльник, однако горячего и острого.

Закусили яблоками из сада лекаря-еврея. Младший из братьев, Ионафан, с возмущением поведал отцу, что кролики изводят их капусту.

— Тогда тебе следует известить кроликов, — сказал ему Роб. — Поставь капканы, и твоя мама сделает из них вкусное жаркое.

Ненадолго повисло смущенное молчание, потом Мерлин улыбнулся:

— Мы не едим ни кроликов, ни зайцев, это не кошерная пища.

Роб заметил, что мистрис Мерлин выглядит встревоженной, словно боится, что он не поймет и не одобрит их обычаев.

— Существуют законы о том, какую пищу нам вкушать, очень древние законы. — И Мерлин объяснил, что иудеям не дозволено употреблять в пищу мясо животных, которые не жуют жвачку и не имеют раздвоенных копыт. Нельзя есть мясо вместе с молоком, потому что Библия предостерегает: нельзя смешивать мясо животного с молоком, полученным из сосцов его матери [\[52\]](#). И крови пить они не смеют, а равно есть мясо, которое не очищено от крови тщательно и не посолено.

У Роба кровь застыла в жилах, и он сказал себе, что мистрис Мерлин совершенно права: он не в силах понять евреев. Вот уж поистине язычники! Его едва не стошнило, когда лекарь вознес хвалу Богу за съеденную ими пищу без крови и без мяса.

* * *

И все же он попросил разрешения расположиться на эту ночь в их саду. Бенъямин Мерлин настоял, чтобы он спал под кровом, в прилегающем к дому сарае, и вскоре Роб уже лежал на душистом сене, прислушивался через тонкую стенку к голосу женщины, который то резко повышался, то звучал тише. В темноте он безрадостно усмехнулся, понимая, хотя и не знал языка, смысл того, что она говорила мужу.

«Ты же совсем не знаешь этого долговязого плечистого мужлана, однако тащишь его в дом. Да разве ты не видишь: у него сломан нос и лицо все в шрамах, а оружие дорогое — настоящий разбойник! Он ведь зарежет нас прямо в постели!»

Наконец, Мерлин явился в сарай с большой флягой и двумя деревянными чашами. Протянул чашу Робу и вздохнул.

— Во всем остальном она просто превосходная женщина, — сказал он, наливая вино. — Ей здесь нелегко приходится, вдали от многих, кто дорог ее сердцу.

— А в какой части Франции вы родились? — поинтересовался Роб. Вино, как он убедился, было крепким и ароматным.

— Как и это вино, мы с женой появились на свет в деревне Фалез, где и сейчас живут наши семьи под благосклонным покровительством Роберта Нормандского [\[53\]](#). Мой отец и два брата занимаются виноторговлей, поставляют товар и в Англию.

Семь лет тому назад, сказал Мерлин, он воротился в Фалез из Персии, где обучался в академии лекарей.

— Из Персии! — Роб понятия не имел, где находится Персия, но знал, что очень далеко.

— Ив какой же стороне лежит эта Персия?

— На востоке, — улыбнулся Мерлин. — Далеко-далеко на востоке.

— А в Англию как вы попали?

Возвратившись в Нормандию лекарем, объяснил Мерлин, он обнаружил, что во владениях герцога Роберта ^[54]лекари наличествуют в изобилии. За пределами же Нормандии существовала острая конкуренция, да и опасностей хватало: войны и политика, герцоги против графов, владетельная знать против короля.

— В юности я дважды бывал в Лондоне вместе с отцом, который привозил вино на продажу. Мне запомнилась красота английских полей и лугов, а умение короля Канута сохранять в стране мир и покой известны по всей Европе. Вот я и решил приехать в эти тихие зеленые края.

— И что же, Теттенхолл оправдал ваши ожидания?

Мерлин кивнул:

— Но трудности встречаются. Здесь нет тех, кто исповедует нашу веру, а потому мы не имеем возможности молиться как положено, к тому же сложно соблюдать законы о пище. С детьми мы говорим на родном языке, но думают они на языке англичан, и как мы ни стараемся, многих законов нашего народа они не знают. Я стараюсь привлечь сюда из Франции других евреев. — Он хотел налить еще вина, но Роб накрыл свою чашу рукой.

— Я могу пить лишь немного, иначе теряю рассудок, а мне нужна ясная голова.

— Ради чего ты разыскивал меня, юный цирюльник?

— Расскажите мне о той школе в Персии.

— Она находится в городе Исфагане, на западе страны.

— А отчего вы поехали в края, столь далекие?

— Куда же еще мне было ехать? Мои родители не хотели отдавать меня в учение к лекарю. Хотя и грустно признавать, но большинство людей моей профессии в Европе — это гнусные пиявки и невежды. В Париже есть большая больница, Отель-Дье ^[55] — это просто чумной барак, куда сволакивают умирать стонущих бедняков. Есть медицинская школа в Салерно, убогое заведение. Мой отец, общаясь с другими евреями, удостоверился в том, что на Востоке арабы подняли науку врачевания до уровня высокого искусства. У персидских мусульман в Исфагане есть больница, в которой действительно исцеляют больных. Именно в этой больнице и в небольшой академии при ней готовит настоящих лекарей Авиценна.

— Кто-кто?

— Самый выдающийся врачеватель в мире. Авиценна, имя которого на арабском — Абу Али аль-Хусейн ибн Абдалла ибн Сина.

Роб упросил Мерлина несколько раз повторить это мелодичное иноземное имя, пока не запомнил хорошенько.

— А в Персию трудно попасть?

— Это опасное путешествие, длящееся несколько лет. Надо долго плыть морем, потом долго ехать по суше через грозные горы и обширные пустыни. — Мерлин пристально посмотрел на гостя. — Надобно тебе выбросить персидские академии из головы. Много ли ты знаешь о своей собственной вере, юный цирюльник? Знакомы ли тебе те проблемы, с которыми сталкивается ваш святейший папа?

— Иоанн XIX? — Роб пожал плечами. По правде говоря, кроме имени понтифика и того факта, что именно он возглавляет Святую Церковь, Роб и не знал ничего.

— Иоанн XIX. Папа, который пытается удержать две мощные церкви вместо одной, подобно всаднику, желающему скакать на двух лошадях сразу ^[56]. Западная церковь неизменно признает его главой, тогда как Восточная церковь ворчит и не соглашается с ним. Двести лет назад патриархом восточных христиан в Константинополе стал мятежный Фотий, и с тех пор движение к расколу внутри церкви все набирает и набирает силу.

Ты и сам, общаясь со священниками, не мог не заметить, что они не доверяют врачам, хирургам и цирюльникам, не любят их. Клирики полагают, что они одни способны с помощью молитвы охранить не только души человеческие, но и тела.

Роб только хмыкнул.

— Однако неприязнь английских священников к медикам бледнеет перед той ненавистью, которую испытывают священники Восточной христианской церкви по отношению к школам арабских врачей и вообще к мусульманским академиям. Восточная церковь, живя с мусульманами бок о бок, ведет непрестанную и беспощадную войну с исламом ради того, чтобы осенить людей благодатью единственной истинной веры. В арабских центрах учености иерархи Восточной церкви видят лишь поощрение язычества и серьезнейшую угрозу. Пятнадцать лет тому назад Сергей II, тогдашний патриарх Восточной церкви ^[57], объявил, что всякий христианин, посещающий мусульманское учебное заведение к востоку от его патриархата, является вероотступником и святотатцем, погрязшим в язычестве. Он оказал давление и на Святого Отца в Риме, дабы тот поддержал этот указ. Бенедикт VIII был тогда только-только избран на престол святого Петра, его мучили предчувствия, что он станет папой, который узрит распад церкви. И, чтобы задобрить вечно недовольную восточную половину, он охотно исполнил просьбу Сергия. А карой за язычество является отлучение от церкви.

— Суровая кара, — поджал губы Роб.

— Тем более суровая, — кивнул головой Мерлин, — что влечет за собой и страшное наказание со стороны светских властей. По уложениям, принятым и королем Этельредом, и королем Канутом, язычество рассматривается как самое тяжкое преступление. Те, кто был осужден по этим законам, понесли ужасное наказание. Некоторых заковали в кандалы и отправили в паломничество на многие годы — пока цепи не заржавеют и не спадут с них. Кое-кого сожгли на костре, иных повесили, а многих бросили в темницы, где они томятся до сего дня.

Мусульмане же, со своей стороны, не горят желанием просвещать носителей враждебной и угрожающей им религии, и уж много лет как в академии Восточного халифата ^[58] не допускают учащихся-христиан.

— Понятно, — мрачно откликнулся Роб.

— Возможно, тебе подошла бы Испания. Она ведь в Европе, самый западный край Западного халифата. Две религии там легче уживаются. Есть несколько учащихся-христиан из Франции. В таких городах, как Кордова, Толедо, Севилья мусульмане открыли большие университеты. Если ты окончишь один из них, то станешь признанным ученым. И хотя попасть в Испанию не так-то легко, это все же куда легче, нежели предпринять путешествие в Персию.

— А почему же вы сами не отправились в Испанию?

— Да потому, что евреям и в Персии позволяют учиться, — усмехнулся Мерлин. — А мне хотелось коснуться края одежды Ибн Сины.

— Я не желаю отправляться на край света, — нахмурился Роб, — чтобы сделаться

ученым. Все, чего я хочу — стать настоящим лекарем.

Мерлин налил себе вина.

— Меня это даже удивляет, ты ведь совсем молодой теленок, а наряд носишь из дорогой ткани, и оружие у тебя такое, какого я не могу себе позволить. Жизнь цирюльника имеет свои преимущества. Зачем же тебе становиться лекарем, когда это потребует труда куда большего, а доставит ли богатство — неизвестно?

— Меня научили лечить некоторые хвори. Я умею отхватить искалеченный палец так, что останется аккуратная культя. Но ко мне приходит и отдает свои деньги множество людей, а я и понятия не имею, чем им помочь. Я профан. Все время говорю себе: многих можно было бы спасти, если бы я знал больше.

— Ты можешь десять или двадцать жизней посвятить изучению медицины, и все равно к тебе будут обращаться люди, чьи болезни суть загадка, ибо горькое чувство бессилия, о котором ты говоришь, неразрывно связано с ремеслом врача, с этим приходится мириться. И все же ты прав: чем больше учился лекарь, тем лучше он знает свое дело. Своему желанию ты дал лучшее объяснение из всех возможных. — Мерлин задумчиво осушил чашу. — Если арабские школы не для тебя, то надо искать среди английских лекарей, пока не найдешь лучшего из малосведущих. Возможно, кого-нибудь убедишь взять тебя в ученики.

— А вы знаете кого-то из таких лекарей?

Если Мерлин и уловил намек, то ничем этого не показал. Лишь отрицательно покачал головой и поднялся на ноги.

— Каждый из нас честно заработал отдых, а завтра мы вернемся ко всем вопросам со свежей головой. Доброй тебе ночи, юный цирюльник.

— Доброй ночи и вам, мастер лекарь.

* * *

На завтрак они ели на кухне горячую гороховую кашу и снова слушали благословения на древнееврейском языке. Семья собралась за столом вместе, исподволь разглядывая Роба, а он внимательно изучал их. Мистрис Мерлин по-прежнему была очень сурова, а в свете начавшегося дня у нее на верхней губе стала видна жидкая полоска темных волос. Вьющиеся волосы виднелись из-под рубашек Бенъямина Мерлина и его сына Руила. А каша была отменная.

Мерлин вежливо осведомился у Роба, хорошо ли тот провел ночь, потом добавил:

— Я размышлял о нашем разговоре. К сожалению, мне не приходит на ум ни один из лекарей, кого я мог бы рекомендовать тебе в качестве хозяина и примера для подражания. — Жена подала на стол корзину крупных ягод черной смородины, и Мерлин просиял: — Ах, ты непременно должен отведать ягоды с кашей, они придают ей совсем особый вкус.

— Мне бы хотелось, чтобы вы взяли меня в ученики, — сказал Роб.

К его огромному разочарованию, Мерлин отрицательно покачал головой.

Роб быстро проговорил, что Цирюльник обучил его многому:

— Вчера я ведь пригодился вам. А вскоре мог бы сам навещать ваших больных в суровую погоду, и вам стало бы легче.

— Не пойдет.

— Но вы же видели, что я понимаю в лечении, — не отставал от него Роб. — Кроме того, я силен и могу выполнять тяжелую работу, какая только потребуется. Ученичество сроком на семь лет. Или даже больше, как вы сами пожелаете. — От возбуждения он вскочил на ноги, нечаянно толкнув стол и расплескав кашу.

— Это невозможно, — отвечал ему Мерлин.

Роб ничего не мог понять. Он не сомневался, что понравился Мерлину.

— Неужто у меня нет необходимых способностей?

— Способности у тебя отличные. Я видел, как ты работаешь, и могу заключить: из тебя выйдет отличный лекарь.

— Тогда в чем же дело?

— В этой стране, которая строже всех блюдет христианские законы, мне просто не позволят стать твоим хозяином.

— Кому до этого есть дело?

— Здешним священникам. Я давно им подозрителен: воспитывали меня французские евреи, а в академии обучали мусульмане. Священникам кажется, что здесь пахнет заговором опасных языческих течений. Они с меня глаз не спускают. И я со страхом ожидаю того дня, когда мои слова истолкуют как волшебство или когда я позабуду окрестить новорожденного.

— Но если вы не хотите взять меня в ученики, — сказал Роб, — то хотя бы посоветуйте такого лекаря, к которому следует обратиться.

— Я же сказал тебе, что никого посоветовать не могу. Впрочем, Англия велика, в ней много не знакомых мне лекарей.

Роб поджал губы, а его рука легла на рукоять меча.

— Вчера вечером вы советовали искать лучшего из малосведущих. Кто самый лучший лекарь из тех, кого вы знаете?

Мерлин вздохнул и стерпел угрожающий тон гостя.

— Артур Джайлс из Сент-Айвса, — холодно ответил он и вернулся к прерванному завтраку.

Роб вовсе не собирался вытаскивать меч из ножен, но жена лекаря не сводила глаз с оружия и не сумела подавить дрожи

и глухого стопа, уверившись в том, что сбывается ее мрачное пророчество. Руил и Ионафан смотрели на него печальными глазами, а Захария начал плакать.

Робу стало не по себе из-за того, что он вот так отплатил им за гостеприимство. Он попытался как-то извиниться, это не получилось, и в конце концов он просто отвернулся от еврея-французишки, все хлебавшего свою кашу, и выбежал из дома.

Еще несколько недель назад Роб стал бы искать избавления от стыда и злости на дне кубка, однако теперь он уже научился относиться к выпивке с осторожностью. Для него стало очевидным: чем дольше он воздерживается от вина, тем острее чувствует волны, исходящие от людей, когда он берет их за руки, а этому дару он придавал все большее значение. Поэтому вместо того, чтобы пьянствовать, он провел день с женщиной — на полянке в лесу у берега Северна, в нескольких милях от Вустера. Нагретая солнцем трава была почти такой же горячей, как и их кровь. Женщина была подручной у портнихи: бедные пальцы сплошь исколоты иглой, костлявое хрупкое тело, ставшее скользким на ощупь после того, как они искупались в реке.

— Майра, ты стала прямо как угорь, — крикнул ей Роб, и на сердце у него полегчало.

Плавала она как рыба, а вот он был неуклюжим, напоминая в толще зеленоватой воды какое-то морское чудище. Она раздвинула Робу ноги и проплывала между ними, а он в это время поглаживал ее бледные, с туго натянутой кожей, бока. Вода была прохладной, но они дважды предались любви на разогретом берегу, и весь гнев вышел из Роба. Между тем Лошадь в нескольких шагах пощипывала травку, а Мистрис Баффингтон тихо сидела, наблюдая за ними. У Майры были маленькие острые груди и куст шелковистых каштановых волос. Скорее слабая поросль, чем куст, подумал Роб с кривой усмешкой — она походила не столько на женщину, сколько на девочку, хотя с мужчиной была не впервые, в этом сомнений не было.

— Сколько лет тебе, куколка? — лениво спросил он.

— Пятнадцать, так мне сказали.

Так она ровесница его сестры, Анны-Марии, сообразил Роб и опечалился, подумав, что сестра живет где-то, выросла уже, а он ее совсем не знает.

И тут его пронизала вдруг мысль, настолько чудовищная, что ноги у него ослабели и солнечный свет померк перед глазами.

— А тебя всегда звали Майрой?

— А как же, — удивленно улыбнулась она, услышав такой вопрос. — Меня же так зовут — Майра Фелькер. Как еще меня могут звать?

— А родом ты из этих краев, куколка?

— Мать бросила меня в Вустере, здесь я и живу все время, — ответила она весело.

Роб кивнул и погладил ее руку.

И все же, мрачно думал Роб, с учетом всех обстоятельств, вполне может случиться, что в один прекрасный день он уложит в постель собственную сестру, сам о том не подозревая. На будущее он зарекался иметь дело с юными созданиями одного возраста с Анной-Марией.

Грустные мысли прогнали праздничное настроение, и Роб стал собирать одежду.

— Ах, значит пора расставаться? — с сожалением спросила девушка.

— Пора, — ответил он. — Мне еще предстоит долгий путь До Сент-Айвса.

Артур Джайлс из Сент-Айвса вызвал у него страшное разочарование, хотя ожидать чего-то иного он был не вправе — ведь Мерлин назвал это имя лишь под сильным давлением Роба. Лекарь оказался толстым грязным старикашкой, к тому же у него и с головой, кажется, не все было в порядке. Он держал коз, причем держал в доме, пусть и не постоянно, отчего жилище страшно провоняло.

— Кровопускание — вот что лечит, юный незнакомец. Это тебе следует запомнить. Когда не помогают другие средства, надобно сделать очищающее кровопускание, затем еще и еще. Вот что лечит этих негодяев! — вопил Джайлс.

На расспросы он отвечал охотно, но стоило заговорить о всяком ином способе лечения, кроме кровопускания, становилось ясно, что это Роб может поучить старика, и не без выгоды. У Джайлса не было ни малейших профессиональных знаний, ни малейшего запаса, из которого мог бы почерпнуть что-нибудь полезное ученик. Лекарь предложил ему стать учеником и пришел в неистовство, когда это предложение было вежливо отклонено. Роб с большой радостью уезжал из Сент-Айвса — уж куда лучше было остаться цирюльником, нежели сделаться таким вот лекарем.

Несколько недель ему казалось, что он отделался от неосуществимого желания стать лекарем. Он много трудился, давая представления, продал изрядное количество Особого Снадобья от Всех Болезней и был вознагражден за все старания разбухшим кошельком. Мистрис Баффингтон благодаря его успехам росла как на дрожжах, как он сам в свое время благодаря Цирюльнику. Кошечка питалась щедрыми остатками его еды и на его глазах выросла окончательно, превратившись в большую белую кошку с надменным взглядом зеленых глаз. Сама, себе она казалась львицей и затевала драки. Когда он выступал в городе Рочестере, она куда-то исчезла и вернулась в лагерь лишь в сумерках. Правая передняя лапа у нее была жестоко искусана, а от левого уха почти ничего не осталось; белая шерстка покрылась пятнами крови. Роб промыл ей раны и ухаживал за кошкой нежно, как любовник.

— Ах, мистрис! Ты должна научиться избегать драк, как научился я. Пользы от них никакой. — Он напоил ее молоком и уложил к себе на колени, сидя у самого костра.

Кошка лизала ему руку своим шершавым языком. Возможно, на пальцах осталась капелька молока, возможно, от них пах-до ужина, но Робу хотелось думать, что это ласка, и он в ответ погладил ее мягкую шерстку, радуясь, что у него есть товарищ.

— Если бы мне открылась дорога в мусульманскую школу, — сказал он кошке, — я бы посадил тебя в повозку и направил Лошадь в сторону Персии, и ничто не помешало бы нам добраться в конце концов до тех языческих мест.

«*Абу Али аль-Хусейн ибн Абдалла ибн Сина*», — тоскливо думал Роб.

— Черт с тобой, араб несчастный, — произнес он вслух и лег спать.

Но звуки имени снова и снова звучали у него в голове неотвязной и манящей молитвой: «*Абу Али аль-Хусейн ибн Абдалла ибн Сина, Абу Али аль-Хусейн ибн Абдалла ибн Сина..*» — пока эти загадочные звуки не одолели беспокойства, кипящего в его груди. Роб провалился в сон.

В ту ночь ему снилось, что он сошелся в смертельном бою на кинжалах с омерзительным рыцарем-стариком. Старик испускал газы и насмехался над Робом. Его черные доспехи покрылись ржавчиной и поросли мхом. Головы их так сблизились, что Роб видел, как из гниющего костлявого носа врага текут сопли. Видел ужасные холодные глаза и ощущал тошнотворный смрад дыхания рыцаря. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Хотя Роб был молод и силен, он знал, что кинжал черного призрака не знает пощады, а доспехи его

крепки и надежны. Позади виднелись жертвы этого рыцаря: мама, отец, милый Сэмюэл, Цирюльник и даже Инцитат и медведь Бартрам. Ярость придала Робу сил, но он уже почувствовал, как клинок неумолимо вонзается в его тело.

Когда он пробудился, вся одежда была мокрой: снаружи от утренней росы, а внутри от пота, вызванного страшным сновидением. Роб лежал под утренним солнышком, слышал радостные трели малиновки в каких-нибудь трех шагах и думал о том, что во сне он оказался побежденным, но сон остался позади. И он не в силах сдаться.

Ушедшие уже не вернуться, этого не изменишь. Но разве есть в жизни лучший путь, чем борьба с Черным Рыцарем? А изучение медицины само по себе вызывало любовь, по-своему заменявшую ему утраченную семью. Когда подошла кошка и потерлась здоровым ухом, Роб окончательно решил: он своего добьется.

* * *

Его ожидали сплошные разочарования. Он дал представления поочередно в Нортгемптоне, в Бедфорде, в Хартфорде, повсюду разыскивал лекарей, беседовал с ними и убедился, что все они вместе взятые понимают в лечении болезней куда меньше, нежели Цирюльник. А в городке Малдон местный лекарь так прославился своими варварскими методами, что люди, которых Роб просил указать дорогу к его дому, лишь бледнели и осеяли себя крестным знаменем.

Да, к таким идти в ученики не стоило.

Ему вдруг пришло в голову, что второй лекарь-еврей, быть может, возьмет его с большей охотой, чем Мерлин. На площади Малдона он остановился близ работников, возводивших стену из кирпичей.

— Известно ли вам что-нибудь о евреях, проживающих в этих краях? — спросил он мастера-каменщика. Человек молча глянул на него, сплюнул и отвернулся.

Роб расспросил еще нескольких мужчин, встретившихся ему на площади — с тем же результатом. Наконец, один горожанин присмотрелся к нему повнимательнее:

— А с чего это ты ищешь евреев?

— Я ищу лекаря-еврея.

— Да хранит тебя Бог! — Человек кивнул Робу с пониманием и сочувствием. — В городе Малмсбери есть евреи, среди них и лекарь по имени Адолесентолай.

Из Малдона до Малмсбери Роб добрался за пять дней с остановками в Оксфорде и Алвестоне, где давал представления и продавал снадобье. Ему смутно помнилось, что Цирюльник однажды говорил об Адолесентолае как об известном лекаре, а потому Роб с надеждой в душе приближался к Малмсбери; вечерние тени упали на него в маленькой, беспорядочно застроенной деревушке. На постоялом дворе он получил простой, но сытный ужин. Цирюльник нашел бы тушеную баранину слишком пресной, но мяса было много, а после ужина Робу хватило денег заплатить за то, чтобы в углу общей спальни ему постелили свежей соломы.

Утром он попросил хозяина постоялого двора рассказать о живущих в Малмсбери евреях. Тот пожал плечами, как бы спрашивая: «Да что о них рассказывать-то?»

— Мне интересно, ведь до недавнего времени я совсем не встречал евреев.

— Потому что в нашей стране они редки, — сказал хозяин. — Муж моей сестры (а он

капитан корабля и где только ни бывал) говорит, что во Франции их множество. Еще он говорит, что их в каждой стране можно найти, и чем дальше на восток, тем больше.

— А живет здесь среди них Исаак Адолесентолай? Лекарь?

— Вот уж нет, — усмехнулся трактирщик. — Это они все живут вокруг Исаака Адолесентолая, греясь в лучах его славы.

— Так его, значит, уважают?

— Он великий целитель. Люди приезжают издалека, чтобы поговорить с ним, и останавливаются у меня. — В голосе трактирщика слышались нотки гордости. — Конечно, священники его поругивают, но... — Он приложил палец к носу^[59] и наклонился ближе: — Я-то знаю, что не меньше двух раз его забирали среди ночи и увозили в Кентербери — лечить архиепископа Ательнота, который в прошлом году был, как считали, при смерти.

Трактирщик объяснил, как добраться до еврейского поселения, и вскоре Роб уже проезжал мимо серых каменных стен Малмсберийского аббатства, через лес и поля, мимо разбитого на крутом склоне холма виноградника, где монахи собирали спелые ягоды. За землями аббатства, за небольшой рощицей и находилось еврейское поселение — десять-двенадцать домиков, жавшихся друг к другу. А вот, вероятно, и евреи: мужчины, похожие на ворон, в просторных черных кафтанах и остроконечных кожаных шляпах, пилили и прибивали доски — сооружали сарай. Роб подъехал к тому дому, который был побольше прочих, с широким двором, заставленным повозками и лошадьми у коновязи.

— Я ищу Исаака Адолесентолая, — обратился Роб к одному из мальчишек, ухаживавших за лошадьми.

— Он сейчас принимает больных, — ответил мальчик, ловко поймав брошенную монетку: Роб хотел быть уверенным, что о Лошади позаботятся как следует.

Парадная дверь вела в комнату ожидания, где стояли деревянные скамьи, сплошь занятые больными и страждущими. Похоже на очереди к нему самому, когда он принимал за занавесом, только людей гораздо больше. Свободных мест на скамьях не было, и Роб просто прислонился спиной к стене. Время от времени из маленькой двери, ведущей во внутренние покои дома, появлялся мужчина и забирал с собой того, кто сидел ближе на первой скамье. И тогда все пересаживались на одно место вперед. Лекарей, как он понял, было пятеро: четверо молодых, а один — маленького роста, быстрый в движениях мужчина средних лет, которого Роб и счел Исааком Адолесентолаем.

Ждать пришлось невероятно долго. Комната все время была переполнена — как только один лекарь забирал пациента, тут же со двора входил новый, только что приехавший. Чтобы скоротать время, Роб пытался угадать, кто чем болен.

Когда он оказался первым на передней скамье, день уже клонился к вечеру. В дверях показался один из молодых лекарей.

— Можете пройти со мной, — произнес он с французским выговором.

— Мне нужно видеть Исаака Адолесентолая.

— Я Моисей бен Авраам, ученик мастера Адолесентолая. Я смогу сделать все, что необходимо.

— Не сомневаюсь, что вы умело лечили бы меня, будь я болен. Но мне нужно повидать мастера по другому делу.

Ученик кивнул и позвал с собой следующего на скамье.

Прошло немного времени, вышел Адолесентолай и повел Роба за собой по короткому коридору. Через распахнутую дверь Роб мельком увидел операционную с кушеткой, ведрами

и всевозможными инструментами. Вошли в маленькую комнатку, совершенно пустую, если не считать стола и двух стульев.

— Что беспокоит? — спросил Адолесентолай. И с некоторым удивлением слушал, как Роб вместо описания симптомов болезни взволнованно заговорил о своем горячем желании изучать медицину.

У лекаря было темное лицо с красивыми чертами. Улыбка на нем не появлялась. Несомненно, эта беседа закончилась бы тем же самым, даже если бы Роб выказал больше осторожности, но он не удержался от вопроса:

— Вы долго живете в Англии, мастер лекарь?

— А почему ты спрашиваешь об этом?

— Вы так хорошо говорите на нашем языке!

— Я родился в этом доме, — тихо ответил Адолесентолай. — В лето от Рождества Христова 70-е, после того как император Тит разрушил Храм, он привез из Иерусалима в Рим пятерых молодых евреев-военнопленных. Их называли *adolescentoli*, что по-латыни значит «юноши». Я потомок одного из них, Иосифа Адолесентолая. Он добился свободы, записавшись на службу во второй римский легион, и с легионом оказался на этом острове. Здесь жили тогда низкорослые смуглые рыбаки, черные силуры, которые первыми стали называть себя бриттами. А твоя семья столь же долго живет в Англии?

— Не знаю.

— Но сам ты вполне прилично говоришь на английском языке, — сказал Адолесентолай шелковым голосом.

Роб рассказал о своей встрече с Мерлином, упомянув только разговор о медицинском образовании.

— А вы тоже учились у великого персидского лекаря в Исфагане?

— Нет, — покачал головой Адолесентолай. — Я учился в университете в Багдаде — там медицинская школа больше и библиотека богаче. Если, конечно, не считать того, что у нас не было Авиценны, или Ибн Сины, как его там называют.

Поговорили об учениках лекаря. Трое были французскими евреями, а четвертый — еврей из Салерно.

— Мои ученики предпочли меня Авиценне или любому другому арабу, — сказал Адолесентолай с гордостью. — Они, конечно, не могут пользоваться такой библиотекой, как студенты в Багдаде, но у меня есть «Лечебник» Бальда [\[60\]](#). В нем перечислены все способы лечения по Александру Тралльскому [\[61\]](#), указано, как готовить целebные мази, припарки и пластыри. От них требуется изучить с величайшим тщанием эту книгу, а равно некоторые книги Павла Эгинского [\[62\]](#) на латыни и определенные сочинения Плиния [\[63\]](#). И прежде чем окончится их ученичество, они должны научиться делать флеботомию [\[64\]](#), прижигания, надрезание артерий, удаление катаракты.

Роба охватило непреодолимое желание узнать все это — в чем-то сходное с чувством, которое испытывает мужчина, увидев женщину и тут же воспылав страстью к ней.

— Я приехал, чтобы просить вас взять меня в ученики.

Адолесентолай склонил голову.

— Я догадался, что ты здесь именно по этой причине, но не приму тебя.

— Стало быть, мне не удастся вас убедить?

— Не удастся. Ты должен найти себе учителя из лекарей-христиан либо остаться

цирюльником, — выговорил Адолесентолай не резко, но твердо.

Возможно, причины были те же, какие называл и Мерлин, однако этого Робу не суждено было узнать — лекарь замолк. Поднялся и первым пошел к двери, безразлично кивнув Робу, когда тот выходил из его амбулатории.

* * *

Проехав еще два города, уже в Девайзесе Роб во время жонглирования уронил шарик — впервые с того времени, когда освоил эту премудрость. Зрители смеялись его шуткам и раскупали целебное снадобье, но вот во время приема вошел к нему за занавес молодой рыбак из Бристоля, примерно ровесник Роба. Он мочился кровью, страшно исхудал и сказал, что чувствует, как подходит смерть.

— Неужто вы ничем не можете мне помочь?

— Как тебя зовут? — тихо спросил Роб.

— Хеймер.

— Мне кажется, у тебя во внутренностях бубон, Хеймер. Но я вовсе в этом не уверен. Не знаю, как вылечить тебя или чем облегчить боли. — Цирюльник продал бы рыбаку немалое количество своих пузырьков. — А это — главным образом хмельное, ты где угодно можешь купить гораздо дешевле, — сказал он, сам не понимая зачем. Раньше он ничего подобного пациентам не говорил.

Рыбак поблагодарил и вышел.

Вот Адолесентолай и Мерлин, должно быть, знают, что можно сделать для этого рыбака, с горечью сказал себе Роб. Трусливые негодяи, подумал он, отказываются учить его, а проклятый Черный Рыцарь довольно смеется.

В тот вечер его захватила страшная буря с ураганным ветром и проливным дождем. Был только второй день сентября, рановато для осенних дождей, но от этого не становилось ни суше, ни теплее. Роб добрался до единственно возможного убежища — постоянного двора в Девайзесе — и привязал Лошадь к суку огромного дуба, росшего во дворе. Пробравшись внутрь, он обнаружил, что его опередило слишком много людей. Даже на полу было буквально яблоку негде упасть.

В темном углу скорчился утомленный путник, обнимавший обеими руками большой мешок, в каких обычно возят свой товар купцы. Если бы Роб не ездил в Малмсбери, то не бросил бы на этого типа больше ни единого взгляда, но теперь по черному кафтану и остроконечной кожаной шляпе он понял, что это еврей.

— Вот в такую ненастную ночь и Господа нашего убили, — громко произнес Роб.

Разговоры в трактире смолкли, когда он стал рассказывать о страстях Господних — путники любят послушать рассказчика, это развлекает их. Кто-то подал Робу чашу. Когда Роб рас— сказывал о том, как толпа отрицала, что Иисус есть Царь Иудейский, усталый человек в углу совсем съежился.

К тому времени, когда он дошел до событий на Голгофе, еврей подобрал свой мешок и вышел во тьму и бурю. Роб прервал свой рассказ и занял освободившееся место в теплом уголке.

Но изгнание купца из трактира принесло ему ничуть не больше удовольствия, чем тот случай, когда он напоил Цирюльника снадобьем из «особого запаса». В общем зале

постоялого двора стояла вонь промокшей шерстяной одежды и немых человеческих тел, и Роба вскоре стало подташнивать. Дождь еще не перестал, а он уже ушел с постоялого двора и отправился к своей повозке и животным.

Погнал Лошадь до ближайшей поляны, распряг. В повозке оставался сухой хворост, и ему удалось разжечь костер. Мистрис Баффингтон была еще слишком молода для спаривания, но, вероятно, от нее пахло самкой, потому что в тени за пределами освещенного костром круга слышалось призывное мяуканье кота. Роб швырнул в ту сторону палку, а белая кошечка довольно потерлась о его ногу.

— Какая мы чудесная одинокая пара, — сказал ей Роб.

Пусть у него уйдет на это вся жизнь, но он будет искать и искать, пока не найдет стоящего лекаря, к которому можно пойти в ученики, решил он.

Что касается евреев, то он ведь пока говорил лишь с двумя их лекарями. Несомненно, имеются и другие.

— Быть может, кто-нибудь из них согласится обучать меня, если я выдам себя за еврея, — сказал он, обращаясь к кошке.

Вот так это все и началось — даже не мечта, а просто фантазия за разговором со скуки. Роб понимал, что не сможет убедительно изображать из себя еврея под ежедневным пристальным вниманием хозяина-еврея. Но он сидел у костра, смотрел на языки пламени, и постепенно его мысли обретали плоть. Кошечка подставила ему свое шелковистое брюхо.

— А не может ли из меня выйти сносного еврея для мусульман? — Этот вопрос Роб адресовал кошке, себе самому и Богу.

Достаточно убедительного, чтобы учиться у *величайшего врачевателя во всем мире*?

Пораженный невероятием этой мысли, он уронил кошку, и та прыжками унеслась в повозку. Миг — и она уже вернулась, неся в зубах что-то, похожее на мохнатого зверька. Оказалось, это накладная борода, которую он носил, когда разыгрывал дурацкую роль Старика. Роб взял бороду в руки. Если у Цирюльника он был Стариком, задал он себе вопрос, отчего же ему не стать евреем? Можно изображать того купца с постоялого Двора в Девайзесе, да и других тоже...

— *Я стану разыгрывать роль еврея!* — вскричал он.

Хорошо, что никто не проходил мимо и не слышал, как он разговаривает сам с собой, а временами и с кошкой — тогда его объявили бы колдуном, вызывающим своего суккуба [\[65\]](#). Но страха перед церковью он не испытывал.

— Да чихал я на этих попов, которые еще и чужих детей похищают, — заявил он кошке.

А можно ведь отрастить настоящую еврейскую бороду. Он уже горел нетерпением. Людям этого племени он станет говорить, что воспитывался, подобно сыновьям Мерлина, вдали от соплеменников, потому и не знает ни языка, ни обычаев.

Он таки пробьется в Персию!

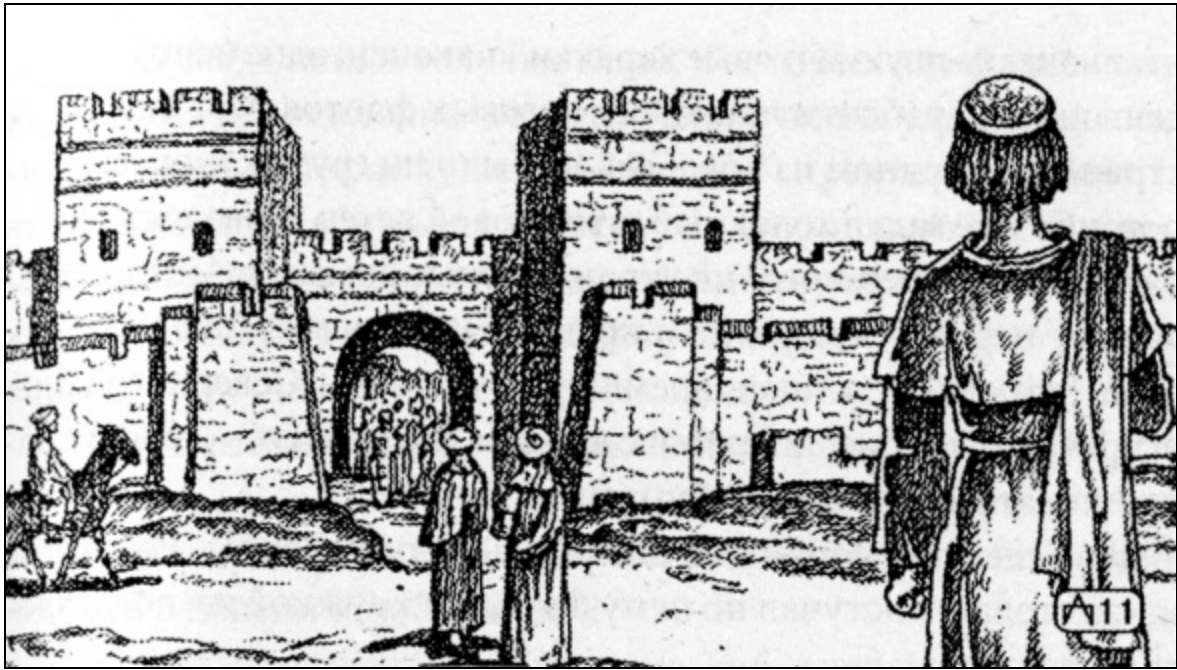
И он коснется края одежды Ибн Сины!

Роб испытывал одновременно восторг, страх и даже стыд за то, что он, взрослый мужчина, так дрожит. Было похоже на те чувства, какие он испытывал, когда узнал, что ему впервые придется выйти за пределы Саутуорка.

Говорят, что *они* есть повсюду, черт бы забрал их души. По пути он станет искать их и присматриваться к их повадкам.

И, достигнув Исфагана, уже будет готов играть роль еврея, так что Ибн Сине придется принять его и поделиться с ним драгоценными тайнами арабской медицинской школы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОЛГОЕ СТРАНСТВИЕ



Из Лондона отправлялось во Францию больше кораблей, чем из любого другого английского порта, и Роб направился в город своего детства. На всем пути он много работал, желая запасти как можно больше золота на такое долгое и опасное путешествие. Когда он добрался до Лондона, сезон мореплавания уже закончился. Вся Темза, казалось, поросла лесом мачт — столько судов встало на якорь. Король Канут, следуя своей датской натуре, построил большой флот ладей, как у викингов, и эти лады, подобные прирученным чудищам, бороздили воды, омывающие Англию. Вокруг грозных боевых ладей теснились суда всевозможных типов и размеров: пузатые кнорры, превращенные в рыбацкие лодки, способные уходить далеко в море; галеры-триремы, принадлежавшие богачам; медлительные, с низкой осадкой корабли для перевозки зерна; быстроходные двухмачтовые купеческие суда с треугольными латинскими парусами; итальянские двухмачтовые каракки [66]; наконец, одномачтовые суденышки — рабочие лошадки торговых флотов всех северных стран. Ни на одном из кораблей не было ни грузов, ни пассажиров, ибо уже задул холодный штормовой ветер. Начались шесть ужасных месяцев, когда по утрам соленые брызги в Английском канале [67] нередко замерзали и превращались в лед. Любой моряк знал, что выйти в такое время туда, где воды Северного моря встречаются и смешиваются с водами Атлантики, — значит напрашиваться на гибель в бурлящей пучине.

В «Селедке», моряцкой таверне на берегу Темзы, Роб встал из-за стола и постучал по нему большой кружкой из-под подогретого сидра.

— Я подыскиваю уютное и чистое жилье до начала весеннего сезона, — объявил он. — Может кто-нибудь из присутствующих здесь указать мне такое?

Коренастый мужчина, похожий на бульдога, внимательно посмотрел на Роба, осушил свою кружку и кивнул головой.

— Я, — сказал он. — В последнем плавании погиб мой брат Пол. А его вдова, именем Бинни Росс, осталась с двумя малышами, их кормить надо. Если ты готов честно заплатить, то она охотно примет тебя, уж я-то знаю.

Роб угостил его еще кружечкой, а потом пошел вместе с ним к стоявшему неподалеку, близ рынка Ист-Чип [68], аккуратненькому домику. Бинни Росс оказалась тоненькой и маленькой, как мышка, совсем молодой женщиной. На худощавом бледном лице выделялись голубые глаза, в которых плескалась тревога. Домик был вполне чистым, только очень уж маленьким.

— У меня есть еще кошка и лошадь, — предупредил Роб.

— Ой, кошку я приму с радостью, — торопливо проговорила хозяйка. Было ясно, что она отчаянно нуждается в деньгах.

— А лошадь на зиму ты можешь устроить, — посоветовал ее деверь. — Тут на улице Темзы есть конюшни Эгльстана.

— Они мне знакомы, — кивнул Роб.

— У нее скоро будут котята, — сказала Бинни Росс, положив кошку на колени и поглаживая.

— Откуда вы знаете? — спросил Роб, уверенный, что она ошибается. Он пока не замечал, чтобы гладкое брюшко округлилось. — Она еще совсем молодая, прошедшим летом только родилась.

Юная хозяйка дома только пожала плечами.

Но она оказалась права — прошло две-три недели, и Мистрис Баффингтон заметна расплелась. Роб скармливал ей лакомые кусочки, покупал продукты для Бинни и ее сынишки. Девочка была совсем крошкой, еще не отнятой от материнской груди. Робу доставляло удовольствие ходить на рынок и покупать еду, он хорошо помнил, каким чудом была для него самого сытная еда после того, как пришлось долго жить впроголодь.

Крошку звали Алдит, а ее братца, которому не исполнилось и двух лет, Эдвином. Каждую ночь Роб слышал, как Бинни плачет. Он и двух недель не прожил в доме, когда она в темноте пришла к нему в постель. Без единого слова легла рядом и обвила Роба своими тонкими руками. Она и потом не проронила ни слова. Он с интересом попробовал ее молоко и нашел, что оно сладкое.

Когда они закончили, она вернулась на свое ложе, а днем ничем не напоминала о том, что произошло между ними.

— Как погиб ваш муж? — спросил Роб, когда Бинни накладывала в тарелки кашу на завтрак.

— Шторм был. Вулф — это его брат, он привел вас сюда, — сказал, что моего Пола смыло волной. Он не умел плавать.

Еще раз она воспользовалась Робом, неистово прижимаясь к нему. Потом как-то вечером в дом пожаловал брат покойного мужа — он, вне всякого сомнения, долго собирался с духом, чтобы поговорить с нею. После этого Вулф стал захаживать каждый день, принося с собой небольшие подарки. Он играл с племянницей и племянником, но было ясно, что на самом деле он ухаживает за их матерью, и вскоре Бинни сказала Робу, что они с Вулфом решили пожениться. Таким образом, дом освобождался, и Роб мог спокойно ожидать весны.

В сильную метель Роб помог Мистрис Баффингтон принести замечательный выводок: беленькую кошечку, точную копию самой мамы, беленького же котенка и еще пару черно-белых котят, которые были похожи, вероятно, на своего родителя. Бинни предложила в качестве услуги утопить всех четверых, но Роб дал им немного подрасти, а потом взял корзину, выстелил ее тряпками и понес по трактирам. Там он поставил желающим не одну кружку и пристроил всех котят.

В марте рабов, выполнявших самую тяжелую и грязную работу в порту, снова перевели на берег, а улицу Темзы заполнили, как и прежде, потоки людей и телег. Склады и корабли ломались от товаров на вывоз.

Роб без конца расспрашивал тех, кому приходилось много путешествовать, и пришел к решению, что свое странствие ему лучше всего начать в Кале.

— Как раз туда направляется наш корабль, — сказал ему Вулф и повел Роба к сходням — показать «Королеву Эмму». Она была далеко не столь величественна, как обещало название, — большое старое деревянное корыто с одной высокой мачтой. Загружали ее слитками олова, добытого в Корнуолле. Вулф повел Роба к хозяину судна, неулыбчивому валлийцу. На вопрос, возьмет ли он пассажира, тот кивнул и назвал цену, показавшуюся

Робу справедливой.

— У меня еще лошадь и повозка, — сказал Роб.

Капитан нахмурился.

— Тебе очень дорого обойдется их перевоз морем. Некоторые путешественники продают повозки и животных по эту сторону канала, а на той стороне покупают себе новых.

Роб обдумал это как следует, но в конце концов решил заплатить за перевоз, хоть это и стоило недешево. Он планировал в пути работать цирюльником-хирургом. Лошадь и красная повозка были ему нужны, а никакой уверенности, что он найдет нечто похожее, у него не было.

В апреле установилась более мягкая погода и стали отчаливать от пристаней первые корабли. «Королева Эмма» подняла якорь с илистого дна Темзы в одиннадцатый день месяца, и Бинни проводила ее, заливаясь горячими слезами. Ветер был прохладный, но не сильный. Роб смотрел, как Вулф и остальные семеро матросов с напряжением тянут канаты, поднимая громадный квадратный парус. Потом парус с резким хлопком развернулся, наполнился ветром, и они с отливом пошли к морю. Большая лодка, груженная металлом и низко сидевшая в воде, вышла из устья Темзы, миновала узкий пролив между Большой землей и островом Танет, проползла вдоль побережья Кента и упрямо пошла под полным парусом через Канал.

Зеленый берег темнел, отдаляясь, Англия подернулась голубоватой дымкой, потом превратилась в фиолетовое пятно, потом море поглотило и это пятно. У Роба не было возможности вынашивать благородные замыслы — его мучила морская болезнь. Вулф, проходя мимо по палубе, остановился и презрительно сплюнул за борт:

— Боже правый! Мы так низко сидим в воде, что не ощущается ни боковой, ни носовой качки, погода тишайшая, а море совершенно спокойное. Так что с тобой творится?

Роб не в силах был ответить ему: он перегнулся через борт, чтобы не испачкать палубу. Отчасти причиной его болезни был страх. Он никогда прежде не выходил в море, и теперь в его голове роились услышанные за много лет рассказы об утопленниках, начиная с мужа и сыновей Эдиты Липтон и заканчивая несчастным Полом Россом, который оставил вдовой Бинни.

Мелькавшая перед глазами маслянистая вода казалась бездонной и непроницаемой для взгляда; там вполне могли жить какие угодно чудовища, и Роб стал уже сожалеть о своем безрассудстве, толкнувшем его на путешествие в этой чуждой стихии. Мало того, ветер усилился, и по морю валами покатались волны. Вскоре он уже совершенно искренне ждал смерти и даже готов был приветствовать ее как избавление. Вулф позвал его и предложил обед, состоявший из лепешки и куска жареной соленой свинины. Бинни, должно быть, призналась, что побывала на его ложе, решил Роб, и теперь будущий муж стремится таким манером ему отомстить. А сил ответить на вызов у него не было.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Семь бесконечных часов длилось это плавание, когда на горизонте появилась новая дымка, вскоре превратившаяся в берег Кале.

Вулф быстро пожелал Робу доброго пути — он был занят парусом. Роб свел по сходням лошадь с повозкой и оказался снова на твердой земле, которая качалась под ним, словно море. Он рассудил, однако, что вряд ли во Франции земля ходит ходуном, иначе ему непременно кто-нибудь рассказал бы о таком чуде. И правда — после нескольких минут ходьбы земля стала вести себя спокойнее. Да, но куда же направиться? Он и понятия не

имел, в какую сторону идти и что делать в ближайшее время. Ударом для него оказался язык: окружающие трещали что-то такое, чего разобрать было решительно невозможно. Наконец Роб остановился, взобрался на повозку и хлопнул в ладоши.

— Нанимаю того, кто говорит на моем языке, — крикнул он.

Вперед вышел узколицый человек с тонкими ногами и торчащими ребрами — от него не приходилось ждать помощи, если надо что-то поднять или перенести. Но этот человек заметил, какое бледное у Роба лицо, и в глазах его загорелся огонек.

— Не поговорить ли нам за стаканчиком успокоительного? Яблочное вино творит чудеса, если надо поставить на место желудок, — проговорил он, и родной английский язык прозвучал для Роба ангельским пением.

* * *

Они завернули в первый же трактир и сели за грубый стол из соснового дерева, стоявший у двери снаружи.

— Шарбонно, — представился француз, перекрикивая царивший на причалах шум. — Луи Шарбонно.

— Роб Джереми Коль.

Когда принесли яблочное вино, они выпили за здоровье друг друга и оказалось, что Шарбонно не лгал: вино согрело желудок и вернуло Роба к жизни.

— Кажется, я и поесть могу, — удивленно сказал он.

Шарбонно, довольный, сделал заказ, и вскоре девушка-подавальщица принесла лепешку с аппетитной корочкой, блюдо мелких зеленых маслин и козий сыр, который даже Цирюльник похвалил бы.

— Сам видишь, почему мне необходима помощь, — с грустью промолвил Роб. — Я ведь даже еды не могу попросить.

— Всю жизнь я был моряком, — улыбнулся Шарбонно. — Совсем еще мальчишкой попал в Лондон на своем первом корабле. Хорошо помню, как страстно мне хотелось услышать родную речь. — И добавил, что половину всего времени на берегу он провел по ту сторону Канала, где люди говорят по-английски.

— А я цирюльник-хирург, путешествую в Персию, хочу купить там редкие лекарства и целебные травы, которые отправлю оттуда в Англию. — Он решил так объяснять людям свое путешествие, дабы избежать ненужных дискуссий — ведь подлинная причина, по которой он стремился попасть в Исфаган, Рассматривалась церковью как преступление.

— Неблизкий путь, — удивленно поднял брови Шарбонно. Роб кивнул.

— Мне нужен проводник, который мог бы также переводить, тогда я смогу давать представления, продавать свои снадобья и лечить больных по пути. За платой не постою.

Шарбонно взял с блюда маслину и положил на нагретый солнцем стол.

— Франция, — сказал он и взял еще маслину. — Пять германских княжеств, которыми правят саксы. — Он брал и брал маслины, пока семь их не легли в ряд. — Богемия, — указал он на третью маслину, — там живут славяне и чехи. За нею лежит земля мадьяр — христианская страна, но там полным-полно конных варваров. Потом идут Балканы, край высоких суровых гор и высоких суровых людей. За ними Фракия, про нее я почти ничего не знаю, кроме того, что это самый предел Европы и там находится Константинополь. И в

конце пути — Персия, куда ты хочешь попасть.

Он задумчиво посмотрел на Роба.

— Мой родной город находится на границе между Францией и германскими землями, и я с детства говорю на языках тевтонов. Таким образом, если ты меня нанимаешь, я провожу тебя до... — Он взял первые две маслины и бросил в рот. — Мы должны расстаться с таким расчетом, чтобы я успел добраться к началу новой зимы до Меца [\[69\]](#).

— По рукам, — облегченно вздохнул Роб.

Потом, пока Шарбонно улыбался ему и заказывал еще вина, Роб торжественно съел остальные маслины из этого ряда, прокладывая себе путь через оставшиеся пять стран.

Франция была не такой однотонно-зеленой, как Англия, но здесь было больше солнца. Небо казалось более высоким, и преобладал синий цвет. Как и на родине Роба, большую часть страны покрывали леса. Это был край удивительно ухоженных крестьянских усадеб, там и сям высились каменные замки, привычные в сельской местности; впрочем, некоторые сеньоры жили в просторных деревянных домах, каких в Англии не встретишь. На пастбищах щипал травку скот, крестьяне сеяли пшеницу. Но встретил Роб и то, что его удивило.

— У вас многие хозяйственные постройки в усадьбах не имеют крыши! — заметил он.

— Здесь дожди идут не так часто, как в Англии, — объяснил Шарбонно. — Некоторые крестьяне обмолачивают зерно на открытых токах.

Шарбонно ехал верхом на крупной смирной лошади, светлосерой, почти белой. Оружие у него, судя по всему, побывало в деле не раз и выглядело ухоженным. Каждый вечер он прежде всего заботился о своем коне, потом чистил и полировал меч и кинжал. И у костра, и в дороге Шарбонно был добрым попутчиком.

Каждую усадьбу окружали сады, стоявшие сейчас в пышном цвету. В нескольких местах Роб делал остановки, желая купить крепкие напитки. Метеглина он нигде не нашел и купил бочку яблочного вина, весьма похожего на то, которого ему довелось отведать в Кале. Как выяснилось, из него получается превосходное Особое Снадобье от Всех Болезней.

Самые лучшие дороги здесь, как и повсюду, были построены в стародавние времена римлянами для переброски своих войск — широкие и удобные, прямые как стрела. Шарбонно говорил о них с любовью:

— Они везде, это целая сеть, которая покрывает весь мир. Если бы ты захотел, то мог бы проехать по таким дорогам до самого Рима.

И все же у столба с указателем на деревню Кодри Роб повернул Лошадь на проселочную дорогу. Шарбонно этого не одобрил:

— Опасно здесь, на лесных тропках.

— Приходится по ним ездить, чтобы делать свое дело. До малых деревушек иначе не доберешься. Я дую в рог, привык уже.

Шарбонно пожал плечами.

* * *

Домики деревни Кодри имели остроконечные крыши, крытые; либо соломой, либо тонкими ветками. Женщины готовили пищу во дворах, где стояли дощатые столы и скамьи у очага, накрытого от солнца грубым навесом. Навес опирался на четыре толстых столба, вытесанных из стволов молодых деревьев. Нельзя было спутать это все с английской деревней, но Роб провел представление так, как привык в Англии.

Шарбонно он вручил барабан и велел бить. Французу это понравилось, а особый интерес в нем проснулся, когда при звуках барабана Лошадь стала вскидываться на дыбы.

— Сегодня представление! Представление! — выкрикивал Роб.

Шарбонно вмиг сообразил, что к чему, и быстро стал переводить все, что говорил Роб.

Робу представление во Франции показалось забавным. Зрители смеялись тем же шуткам, но в другие моменты — возможно, из-за того, что запаздывал перевод. Пока Роб жонглировал, Шарбонно не спускал с него восторженных глаз, а его отрывочные возгласы восхищения раззадоривали толпу, которая то и дело рукоплескала.

Особого Снадобья они продали предостаточно.

Вечером у костра Шарбонно все просил его еще пожонглировать, но Роб отказался.

— Не бойся, тебе еще надоест смотреть, как я это делаю.

— Это поразительно! Так, говоришь, ты еще мальчишкой этому научился?

— Да. — И Роб рассказал, как Цирюльник взял его к себе, когда умерли родители.

— Тебе повезло, — сказал Шарбонно, понимающе кивнув. — Мой отец умер, когда мне шел двенадцатый год, и нас с братом

Этьеном отдали пиратам, юнгами на корабль. — Он вздохнул. — Вот там, друг мой, приходилось туго.

— А мне казалось, ты говорил, что первое плавание у тебя было в Лондон.

— Первое плавание на купеческом корабле, тогда мне было уже семнадцать лет. А до этого я пять лет плывал с пиратами.

— Мой отец помогал оборонять Англию от трех вторжений. Дважды — когда датчане стояли под Лондоном. И один раз — когда пираты напали на Рочестер, — медленно проговорил Роб.

— Ну, мои пираты на Лондон не нападали. Один раз мы высадились в Ромнее, сожгли два дома и забрали корову, которую тут же забили на мясо.

Собеседники посмотрели друг на друга.

— Это плохие люди. Но я был с ними ради того, чтобы выжить.

Роб кивнул:

— А Этьен? Что стало с Этьеном?

— Когда он достаточно подрос, то сбежал от них — назад, в наш родной город, а там поступил в ученики к пекарю. Теперь он уже старик, а хлеб печет отменный.

Роб улыбнулся и пожелал Шарбонно доброй ночи.

* * *

Каждые два-три дня они заезжали на площадь очередной деревни, и все шло своим чередом: похабные песенки, льстившие заказчикам портреты, хмельное снадобье. Шарбонно поначалу переводил шутливые призывы цирюльника-хирурга, но вскоре так освоился, что мог собирать толпу совершенно самостоятельно. Роб работал не покладая рук, подгоняемый сознанием того, что в чужой земле деньги дают защиту, а потому спешил пополнить свою казну.

Июнь стоял сухой и жаркий. Они откусывали крошки той маслины, которая звалась Францией, пересекали ее северные земли и к началу лета оказались недалеко от границы с Германией.

— Мы подъезжаем к Страсбургу, — сообщил однажды утром Шарбонно.

— Давай заедем, повидаем родственников.

— Если заедем, потеряем два дня, — предупредил совестливый Шарбонно, но Роб улыбнулся и пожал плечами: пожилой француз ему нравился.

Город оказался очень красивым; его наводнили мастера, возводившие большой кафедральный собор, который уже сейчас обещал превзойти изяществом широкие улицы и замечательные дома Страсбурга. Они проехали прямо в пекарню, где осыпанный мукой Этьен Шарбонно горячо прижал к груди брата.

Известие об их прибытии быстро разнеслось по семейной цепочке, и в тот же вечер отпраздновать их приезд явились два красавца сына Этьена и три его черноглазые дочери, все с супругами и детишками. Младшая из дочерей, Шарлотта, была пока не замужем и жила в доме отца. Она приготовила роскошный обед — трех гусей, тушеных с морковью и черносливом. Были два сорта свежего хлеба. Круглая лепешка, которую Этьен называл «песым хлебом», несмотря на название, была очень вкусна и состояла из чередующихся слоев пшеничного и ржаного теста.

— Он недорогой, это хлеб для бедняков, — сказал Этьен и предложил Робу отведать более дорогой длинный батон, изготовленный из меслина — муки, содержащей тонко размолотые зерна разных злаков. Робу «песий хлеб» понравился больше.

Вечер прошел весело, Луи и Этьен вдвоем, ко всеобщей радости, переводили Робу все, что говорилось. Дети танцевали, женщины пели, Роб жонглировал, в благодарность за обед, а Этьен играл на дудочке — не хуже, чем пек хлебы. Когда наконец все родственники стали расходиться по домам, каждый на прощание расцеловал обоих путешественников. Шарлотта втягивала живот и гордо выставляла недавно созревшие груди, а ее огромные ласковые глаза призывно и страстно смотрели на Роба. Ложась в тот вечер спать, Роб подумал, какой могла бы стать его жизнь, если бы ему предстояло осесть и жить в кругу такой семьи, да еще и в таком прекрасном городе.

Среди ночи он встал с постели.

— Нужно что-нибудь? — мягко спросил его Этьен. Пекарь сидел в темноте неподалеку от ложа дочери.

— По малой нужде.

— Я с тобой, — вызвался Этьен. Они вышли вдвоем и обрызгали стену сарая. Потом Роб вернулся на свой соломенный тюфяк, а Этьен вновь устроился на стуле, приглядывая за Шарлоттой.

Утром пекарь показал Робу свои большущие печи и дал путешественникам в дорогу целый мешок «песьего хлеба», дважды пропеченного, сухого — так он не испортится, как и те сухари, что берут моряки в дальние плаванья.

А жителям Страсбурга в тот день пришлось ждать, чтобы купить себе лепешек: Этьен закрыл пекарню и немного проводил отъезжающих. Недалеко от его дома старая римская дорога выходила на берег реки Рейн и поворачивала вниз по течению; в нескольких милях отсюда был брод. Братья перегнулись с седел и поцеловались.

— С Богом! — напутствовал Этьен Роба и повернул коня назад, а путники, вздымая брызги, переправились на другой берег. Бурлящая вода была холодной и все еще коричневатой от земли, смытой в реку весенним паводком в верховьях. Подъем на тот берег оказался крутым, и Лошади пришлось изрядно потрудиться, пока она вытянула повозку на сухую землю, принадлежащую тевтонам [\[70\]](#).

Вскоре они оказались в горах, путь их шел через леса, среди высоких елей и пихт. Шарбонно сделался молчалив. Поначалу Роб приписал это нежеланию расставаться с домом и родными, но француз в конце концов недовольно плюнул:

— Не нравятся мне немцы, и в их земле мне не нравится.

— Да ведь ты родился совсем рядом с ними, куда ближе, чем большинство французов!

— Можно всю жизнь прожить у самого моря, — хмуро проговорил Шарбонно, — и все-таки не испытывать любви к акулам.

Робу же эти края показались красивыми. Воздух — прохладный и чистый. Спускаясь с большой горы, они увидели у подножия мужчин и женщин, которые косили сено и сметывали его в стога, совсем как английские крестьяне. Потом поднялись на другую гору, покрытую пастбищами. Там детишки выпасали коров и коз, которых на лето пригнали сюда из деревень в долине. Дорога проходила по гребню горы, и вскоре путники сверху увидели большой замок, сложенный из темно-серого камня. На турнирном дворе всадники бились друг с другом на копьях, наконечники которых были прикрыты мягкими подушечками.

— Этот замок, — снова плюнул Шарбонно, — принадлежит одному злодею, ландграфу [71]здешних мест. Графу Зигберту Справедливые Руки.

— Справедливые Руки? Не похоже, чтобы так называли злодея.

— Он теперь состарился, — сказал Шарбонно. — А прозвище заработал в молодости, когда совершил налет на Бамберг и захватил там две сотни пленников. И приказал: одной сотне отрубить правые руки, а другой — левые.

Они перевели лошадей на легкий галоп и скакали, пока замок не скрылся из виду.

Перед самым полуднем увидели указатель: свернув с римской дороги, можно было попасть в деревню Энтбург, — и решили завернуть туда, дать представление. По проселку они проехали несколько минут и тут же, у поворота, увидели детину, который преградил дорогу, восседая на тощей кляче со слезящимися глазами. Детина был лысый, с толстыми складками жира на шее. Одет он был в кафтан из грубого домотканого сукна, а тело выглядело и чрезмерно толстым, и очень сильным — совсем как у Цирюльника, когда Роб с ним познакомился. Объехать его повозка не могла, но оружие детина не вынимал из ножен, и Роб натянул вожжи; они оба изучающе разглядывали друг друга. Потом лысый что-то сказал.

— Он спрашивает, есть ли у тебя выпивка, — перевел Шарбонно.

— Нет, так и скажи.

— А этот сукин сын не один, — сообщил Шарбонно тем же ровным тоном, и Роб увидел, как из лесу на дорогу выезжают еще двое верховых. Один, молодой, восседал на муле. Когда он подъехал к толстяку, Роб благодаря их сходству догадался, что это отец и сын.

Под третьим всадником было огромное неуклюжее животное, похожее на ломовую лошадь. Этот занял позицию позади повозки, отрезая путь к отступлению. На вид ему было лет тридцать — невысокого роста, худошавый и без левого уха, как Мистрис Баффингтон.

Оба новоприбывших держали обнаженные мечи. Лысый что-то громко сказал Шарбонно.

— Говорит, ты должен сойти с повозки и раздеться. Знай, как только ты это сделаешь, они тебя убьют, — предупредил Шарбонно. — Хорошая одежда стоит дорого, вот они и не хотят пачкать ее кровью.

Роб даже не заметил, когда и как Шарбонно успел вытащить кинжал. Резко выдохнув, старик-француз метнул его с силой, тренированной рукой; клинок сверкнул и вонзился в грудь юноши с обнаженным мечом. Глаза толстяка округлились, но улыбка еще не успела сползти с его губ, когда Роб вскочил на козлах. Сделал один шаг на широкую спину Лошади, оттолкнулся и прыгнул, вышибая противника из седла. Они покатались по земле,

сцепившись и стараясь ухватить другого так, чтобы сломать тому, что удастся. Наконец Робу удалось захватить разбойника сзади локтем под подбородок. Жирный кулак стал отчаянно колотить его в пах, но Роб извернулся и принял эти удары, тяжелые, как удары молота, на бедро. Нога сразу занемела.

Прежде Роб дрался только тогда, когда был пьян и ослеплен яростью. Сейчас же он был трезв, а в голове билась одна ясная и холодная мысль: «Убей!»

Судорожно вздохнув, он поймал свободной рукой свое левое запястье и потянул назад, стараясь задушить противника. Потом передвинул руку на лоб и попытался резко дернуть голову, чтобы сломать хребет.

«Давай, ломайся!» — молил он.

Но шея была короткая, толстая, с большой прослойкой жира и сильными мышцами.

До лица Роба дотянулась рука с длинными черными ногтями. Он повернул голову, но ногти уже расцарапали до крови щеку. Противники сопели и напрягались, колотя друг друга, будто бесстыжие любовники.

Рука снова достала лицо Роба, на этот раз повыше, метя в глаза. Острые ногти вцепились в кожу, и Роб вскрикнул от боли.

Потом над ними возник Шарбонно. Он расчетливо приложил острие меча так, чтобы оно вошло между ребрами, и глубоко вонзил клинок.

Толстяк охнул, словно от удовольствия. Больше он не сопел и не двигался, а лежал мешком. Роб впервые ощутил его запах. Через миг он сумел выбраться из-под тела и сел, прижимая руки к израненному лицу.

Юноша повис на задке мула, грязные босые ноги безнадежно запутались в стремянах. Шарбонно вытащил из тела убитого свой кинжал, вытер. Высвободил ноги мертвеца из грубых веревочных стремян и опустил тело на землю.

— А где третий гад? — еще задыхаясь, спросил Роб. Голос у него против воли заметно дрожал.

— А он удрал, как только понял, что нас не удастся прирезать без шума, — сплюнул Шарбонно.

— Может, к «справедливому» графу, за подкреплением?

Шарбонно отрицательно покачал головой:

— Это не воины ландграфа — так, сброд, головорезы. — Француз обыскал убитых, и было видно, что ему это не впервой. На шее толстяка обнаружился мешочек с монетами. При юноше денег не было, однако на шее висело потускневшее распятие. Оружие было жалким, но Шарбонно все равно забросил его в фургон.

Разбойников они оставили валяться в грязи на дороге, труп лысого лежал ничком в луже крови.

Мула Шарбонно привязал сзади к повозке, а добытую в бою клячу повел в поводу, и так они вернулись на старую римскую дорогу.

Роб поинтересовался, где Шарбонно научился так метать нож, и старик ответил, что этому его в юности обучили пираты.

— Очень полезное умение, когда приходилось драться с проклятыми датчанами и брать на абордаж их корабли. — Немного подумал и добавил не без лукавства: — И когда приходилось драться с проклятыми англичанами и брать на абордаж их корабли. — К этому времени ни его, ни Роба не тревожили старые распри между их странами, а друг в друге они уже не сомневались. Оба усмехнулись шутке.

— А меня научишь?

— Если ты научишь меня жонглировать, — сказал Шарбонно, и Роб охотно согласился. Сделка все равно казалась неравной: французу уже слишком поздно было осваивать новое и хитрое умение. За то недолгое время, что они провели вместе, он научился работать всего с двумя шариками, хотя подбрасывать и ловить их доставляло ему большое удовольствие.

На стороне Роба было преимущество молодости, к тому же Долгие годы жонглирования развили у него силу и точность броска, а также остроту глаза, умение рассчитывать время и чувствовать вес предмета.

— Нужен особый нож. У твоего кинжала лезвие тонкое, и если ты станешь метать его, оно скоро не выдержит или же рукоять сломается, ведь у обычного кинжала основной вес приходится именно на рукоять. У метательного ножа вес сосредоточен в клинке, чтобы при быстром движении запястья он летел острием вперед.

Роб быстро научился метать нож Шарбонно таким образом, чтобы тот летел острием вперед. Сложнее оказалось попадать в избранную мишень, но Роб привык к тому, что во всем нужно долго практиковаться, а потому при каждом удобном случае метал нож, целясь в выбранную на дереве метку.

Они следовали по римским дорогам, заполненным разноязыким людским потоком. Однажды их прижал к обочине кортеж французского кардинала. Прелат проследовал мимо них в сопровождении двухсот конных телохранителей и полутора сотен слуг. На нем были красные туфли и шапка, а под серой парчовой мантией — некогда белая риза, которая теперь от дорожной пыли стала темнее мантии. Поодиночке или небольшими группами шли пилигримы, державшие путь в Иерусалим. Иногда их возглавлял или наставлял опытный паломник, уже побывавший, в Святой земле и гордо носивший взятые оттуда две скрещенные пальмовые ветви — в знак того, что исполнил свой священный долг. С громкими криками и боевым кличем проносились на полном галопе отряды закованных в доспехи рыцарей, чаще всего пьяных, еще чаще задиристых и неизменно стремящихся к славе, добыче и безобразным выходкам. Из паломников наиболее рьяные были одеты во власяницы и ползли до самой Палестины на четвереньках, с окровавленными руками и ногами, они исполняли обет, принесенный Богу или кому-то из святых. Эти, беззащитные и измученные, представляли собою легкую добычу. Большие дороги кишели разбойниками, а власти, призванные поддерживать порядок, относились к своим обязанностям, мягко говоря, без особого рвения. И если удавалось схватить вора или разбойника на месте преступления, путники сами казнили его без суда и всяких проволочек.

Роб держал оружие наготове, под рукой: он не удивился бы, если бы одноухий с целой

конной шайкой догнал их, желая отомстить. Внушительная фигура Роба, сломанный нос и рябое от шрамов лицо должны были отпугивать грабителей, но он с улыбкой думал о том, что лучшая его защита — тщедушный старичок, которого он нанял, потому что тот знал английский.

Провизию они закупили в Аугсбурге, оживленном торговом городе, который был основан еще римским императором Августом в 12 году от Рождества Христова. Аугсбург служил центром торговли между Германией и Италией, и в нем всегда было множество людей, увлеченных одной мыслью — о выгодных сделках. Шарбонно указывал Робу на итальянских купцов, которые выделялись среди прочих туфлями из дорогого материала, с загнутыми длинными носами. Роб уже заметил, что вокруг стало появляться много евреев, но на рынках Аугсбурга он увидел их больше, чем где бы то ни было. Их можно было безошибочно узнать по черным кафтанам и остроконечным кожаным шляпам с узкими полями.

Роб устроил в Аугсбурге представление, однако Снадобья продал не так много, как раньше, быть может, и оттого, что Шарбонно, вынужденный говорить на гортанном языке франков, переводил без особого энтузиазма.

Впрочем, большой роли это не играло, кошель Роба и без того был полон. Но, как бы там ни было, добравшись до Зальцбурга, Шарбонно сказал, что в этом городе они в последний раз дадут представление вместе:

— Через три дня мы выйдем к берегу реки Дунай. Там я расстанусь с тобой и поверну назад, во Францию.

Роб кивнул.

— Дальше тебе проку от меня не будет. За Дунаем Богемия, где люди говорят на языке, которого я не знаю.

— Я охотно оставлю тебя и дальше при себе, независимо от перевода.

Но Шарбонно улыбнулся и покачал головой:

— Пора мне воротиться домой, на этот раз окончательно.

В тот вечер они устроили прощальный ужин и заказали на постоялом дворе местное блюдо: копченое мясо, тушенное с салом, квашеной капустой и мукой. Еда не понравилась, а от густого красного вина оба слегка захмелели. Роб щедро расплатился со стариком. Шарбонно в ответ дал ему последний ценный совет:

— Дальше ты поедешь по опасным краям. Говорят, что в Богемии не отличишь разбойников от наемников какого-нибудь знатного господина. Чтобы покинуть такую страну живым и невредимым, надо путешествовать в большой группе.

Роб пообещал, что непременно присоединится к какой-нибудь многочисленной компании.

Увидели Дунай, и Роб подивился: река оказалась гораздо более могучей, нежели ему представлялось. Течение было сильным, а маслянистая поверхность выглядела угрожающе. Роб знал, что под такой обычно таится коварная глубина. Шарбонно задержался на день дольше, чем собирался. Он настоял на том, чтобы проводить Роба вниз по течению до полузаброшенной деревушки Линц, где паром — сколоченный из бревен плот — переправлял пассажиров и грузы на другой берег через относительно тихий участок широкого водного потока.

— Ну, все, — сказал француз.

— Быть может, когда-нибудь мы снова увидимся.

— Не думаю, — ответил Шарбонно.

Они обнялись.

— Я тебя не забуду, Роб Джереми Коль!

— И я не забуду тебя, Луи Шарбонно!

Роб слез с повозки и пошел договариваться о перевозе, а старик поехал прочь, не забыв взять и тощую гнедую клячу. Перевозчик оказался мрачным увальнем, сильно простуженным и все время слизывавшим сопли с верхней губы. Разговор о плате был трудным: Роб ведь не знал богемского языка и под конец почувствовал, что изрядно переплатил. Когда после тяжелого торга на языке жестов он вернулся к своей повозке, Шарбонно уже скрылся из виду.

На третий день пребывания на богемской земле Робу повстречались пять жирных краснощеких немцев, и он постарался растолковать им, что хотел бы путешествовать вместе с ними. Держался он очень обходительно. Предлагал им золото и обещал, что сможет готовить еду и выполнять другую работу для лагеря, но ни один из них даже не улыбнулся. Только рук не снимали с рукоятей пяти мечей.

— Индюки надутые! — воскликнул Роб в конце концов. Но упрекать этих людей он не мог: их группа была уже достаточно сильной, а он — чужак, который может оказаться опасным. Лошадь вывезла повозку с гор на большое, напоминающее тарелку плато, окруженное кольцом зеленых холмов. Серая земля была разделена на квадраты полей, где трудились мужчины и женщины, возделывая пшеницу, ячмень, рожь и свеклу, но основную часть плато занимал смешанный лес. Ночью Роб услышал невдалеке волчий вой. Было не холодно, однако он поддерживал огонь, а Мистрис Баффингтон мяукала, слыша голоса хищников, и прижималась к Робу.

Он сильно нуждался в Шарбонно, но, как выяснилось, сильнее всего — в его обществе. Теперь же Роб ехал по римской дороге и познавал смысл слова «одиночество», ибо ни с кем из встречных он даже поздороваться не мог.

Через неделю после того, как они с Шарбонно расстались, Роб увидел на дереве у дороги раздетое и изуродованное тело мужчины. Повешенный был субтильного телосложения, похожий на хорька, одного ухо у него отсутствовало.

Роб пожалел, что уже не может сообщить Шарбонно: наконец-то кому-то попался и третий разбойник с большой дороги, напавший тогда на них.

Роб пересек обширное плато и снова углубился в горы. Они были не такими высокими, как те, через которые он перевалил прежде, но скал и завалов там хватало для того, чтобы он не мог двигаться быстро. Еще дважды он пытался присоединиться группам странников, встречавшихся на дороге, но всякий раз ему отказывали. Однажды утром мимо проехала кавалькада всадников, одетых в лохмотья. Они прокричали ему что-то на своем непонятном языке, но он лишь кивнул в знак приветствия и отвернулся — видно было, что это люди лихие и отчаянные. Роб почувствовал, что не долго прожил бы, вздумай он путешествовать вместе с ними.

Прибыв в большой город, отправился в таверну и пришел в полный восторг, когда обнаружил, что трактирщик знает несколько английских слов. У него Роб узнал, что город этот зовется Брюнн ^[72]. Люди, землями которых он проезжал, по большей части принадлежали к племени, называемому чехами. Ему мало что удалось узнать кроме этого, осталось даже непонятным, откуда у этого человека скромный запас английских слов — обмен простыми вопросами и ответами исчерпал познания трактирщика. Выйдя из таверны, Роб обнаружил у задней завесы фургона какого-то человека, который рылся в его вещах.

— Пшел вон, — сказал Роб негромко. Он вытащил было меч из ножен, но человек отпрыгнул проворно от повозки и мигом был таков. Кошель с деньгами по-прежнему благополучно пребывал на своем месте под полом фургона, пропала единственная вещь — холщовый мешок со всякой всячиной для фокусов. Роба немало позабавила мысль о том, как вытянется рожа вора, когда тот откроет мешок.

После этого он стал ежедневно чистить оружие, оставляя на клинках тоненький слой смазки, чтобы они мгновенно выскакивали из ножен. По ночам он спал очень чутко, а то и вовсе не спал, прислушиваясь, не подползает ли кто-нибудь к нему. Роб прекрасно понимал, что ему не на что надеяться, если нападет целая шайка, вроде тех всадников в лохмотьях. Еще девять долгих дней он оставался одиноким и беззащитным, пока в одно прекрасное утро лес не кончился. К своей радости и не без удивления, Роб увидел прямо перед собой маленький поселок, куда вошел большой торговый караван, и в его душе проснулась надежда.

Вокруг шестнадцати домов, составлявших деревню, сгрудилось несколько сотен животных. Роб видел множество лошадей и мулов всевозможной масти и величины, оседланных или же впряженных в не менее разнообразные повозки, тележки, фургоны. Он привязал Лошадь к дереву. Повсюду стояли и сновали люди, и Роб, проходя сквозь толпы, слышал разноязыкий говор, постичь который был не в силах.

— Будьте любезны, — обратился он к мужчине, который был занят серьезным делом — менял в телеге колесо. — Где мне найти мастера караванщика? — Он помог человеку поднять колесо и насадить на ось, но заработал лишь благодарную улыбку и вежливое рукопожатие.

— Кто мастер караванщик? — спросил Роб у следующего. Тот кормил две упряжки крупных волов, на кончики рогов которых были насажены деревянные шарики.

— А, der Meister? Керл ^[73]Фритта, — ответил спрошенный и показал рукой вдоль длинного ряда животных.

После этого дело пошло легче, поскольку имя Керла Фритты было известно всем и каждому. Кого бы Роб ни спросил, все кивали и указывали пальцем дорогу, пока он не вышел наконец к столу, стоявшему на поле рядом с огромной повозкой. В повозку были впряжены шесть гнедых лошадей, отличавшихся невероятными размерами — Роб таких еще не видывал. На столе лежал обнаженный меч, а за столом сидел мужчина с заплетенными в две косички русыми волосами. Он увлеченно Разговаривал с человеком, стоявшим первым в длинном ряду ожидавших. Роб занял место в конце очереди.

— Это Керл Фритта? — спросил он.

— Да, это он и есть, — ответил один из стоявших рядом.

И они в полном восторге уставились друг на друга.

— Так ты англичанин!

— Шотландец, — ответил тот с легким разочарованием. — Рад видеть! Очень рад! — бормотал он, пожимая Робу обе руки. Человек был рослый и широкоплечий, с длинными седыми волосами, чисто выбритый, как принято в Британии. На нем была дорожная одежда из черной материи, грубоватой, но добротной, к тому же ладно скроенной.

— Джеймс Гейки Каллен, — представился он. — Овцевод и торговец шерстью, путешествую вместе с дочерью в Анатолию в поисках лучших баранов и овец на развод.

— Роб Джереми Коль, цирюльник-хирург. Направляюсь в Персию для закупки драгоценных лекарственных средств.

Каллен посмотрел на него едва ли не с нежностью. Очередь продвигалась, но времени на вопросы и ответы хватало, а английские слова звучали для них как музыка.

Каллена сопровождал человек, одетый в грязные штаны и драную серую куртку — как пояснил шотландец, звали человека Шереди, он был нанят в качестве слуги и толмача.

К удивлению Роба, оказалось, что он больше не в Богемии: вот уж два дня, как он, сам того не ведая, пересек границу и находился теперь в венгерских землях. Деревня, столь преображенная их появлением, звалась Вац. Хлеб и сыр можно было купить у местных жителей, но продукты и вообще все необходимое стоило дорого.

Караван сформировался в городе Ульме, в герцогстве Швабском.

— Фритта — немец, — сказал Каллен. — Он не слишком-то старается быть любезным, но желательно с ним ладить: есть достоверные сообщения о том, что разбойники-мадьяры охотятся на всякого одинокого путника и на малочисленные группы, а другого большого каравана поблизости нет.

Слухи о разбойниках были известны, кажется, решительно всем. По мере того как очередь продвигалась к столу, ее пополняли все новые желающие. Сразу за Робом стояли три еврея, которые возбудили у него особый интерес.

— В таком караване неизбежно приходится соседствовать и с порядочными людьми, и со всяким сбродом, — нарочито громко произнес Каллен. Роб наблюдал за троицей в темных кафтанах и кожаных шляпах. Они беседовали друг с другом на языке, не более понятном, чем другие, слышанные Робом. Но ему показалось, что при словах Каллена глаза того, кто стоял к Робу ближе всех, блеснули, словно бы он понял скрытый в этих словах намек. Роб отвел взгляд.

Когда дошли до стола Фритты, Каллен занялся устройством собственных дел, но потом любезно предложил Робу воспользоваться услугами толмача Шереди.

Мастер караванщик, человек искушенный и привыкший беседы такого рода проводить быстро, выяснил его имя, род занятий и место назначения.

— Он желает, чтобы вы поняли: караван не идет в Персию, — объяснил Шереди. — После Константинополя вам придется договариваться с кем-нибудь другим.

Роб кивнул, и немец разразился длинной тирадой.

— Плата, которая причитается с вас мастеру Фритте, равняется двадцати двум английским серебряным пенсам, однако он не хочет их принимать: английскими пенсами будет расплачиваться мой хозяин мастер Каллен, а столь большое количество этих монет не так-то легко сбыть, говорит мастер Фритта. И он спрашивает: можете ли вы заплатить другими монетами, денье? [74]

— Могу.

— Он возьмет с вас двадцать семь денье, — как-то очень уж вкрадчиво проговорил Шереди.

Роб задумался. Денье у него имелись, потому что он продавал Снадобье и во Франции, и в Германии, но справедливый обменный курс был ему совершенно неведом.

— Двадцать три, — прошептал голос прямо за его спиной, так тихо, что Роб засомневался, не показалось ли ему.

— Двадцать три, — твердо произнес Роб. Мастер караванщик одарил его ледяным взглядом, но предложение принял.

— Пропитанием и всем необходимым вы должны обеспечивать себя сами. Если отстанете или принуждены будете выбыть, ждать вас не станут, — продолжал толмач. — Он говорит, что караван выйдет отсюда, имея девяносто пайщиков, а всего более ста двадцати человек. Он требует одного часового на каждые десять пайщиков, так что раз в двенадцать дней вам придется караулить всю ночь.

— Согласен.

— Новички занимают место в хвосте каравана, где много пыли, а путнику опаснее всего. Вы будете следовать за мастером Калленом и его дочерью. Всякий раз, как кто-нибудь выбывает, можете передвинуться вперед на одно место. Все, кто присоединится к каравану впоследствии, будут ехать позади вас.

— Согласен.

— А если вы станете заниматься в караване своим ремеслом, цирюльника-хирурга, то выручку следует делить с мастером Фриттой поровну.

— Не согласен, — тут же возразил Роб, ибо несправедливо было бы отдавать этому немцу половину своего заработка.

Каллен откашлялся. Бросив взгляд на шотландца, Роб заметил тревогу на его лице и вспомнил, что тот рассказывал о разбойниках-мадьярах.

— Предлагай десять, соглашайся на тридцать, — произнес тихий голос за спиной.

— Я согласен отдавать десять процентов заработка, — предложил Роб.

Фритта пробормотал короткое тевтонское слово, которое, как решил Роб, было равнозначно английскому выражению «дерьмо собачье», потом столь же коротко пролаял что-то еще.

— Он говорит, сорок.

— Двадцать, переведи.

Сошлись на тридцати процентах. Поблагодарив Каллена за предоставленного толмача и отойдя от стола, Роб взглянул на трех евреев. Все они были среднего роста, со смуглыми почти до черноты лицами. У того, что стоял сразу за Робом, были мясистый нос и толстые губы, обрамленные густой каштановой бородой, тронутой сединой. Он не посмотрел в

сторону Роба, а шагнул к столу, сосредоточенный, как воин, уже прощупавший оборону противника.

* * *

Новичкам велели занять назначенные им места в караване и располагаться на ночлег здесь. Выйти в путь собирались завтра с рассветом. Роб отыскал свое место между Калленом и евреями, распряг Лошадь и пустил ее щипать травку в нескольких десятках шагов от повозки. Жители Ваца пользовались последней возможностью заработать на неожиданно свалившихся путниках и сбывали тем провизию. Мимо прошел крестьянин, предлагая яйца и желтый сыр, за всё четыре денье — неслыханный грабеж! Вместо платы Роб предложил обмен: отдал три пузырька Особого Снадобья от Всех Болезней и получил свой ужин.

За едой он заметил, что соседи внимательно разглядывают его. На стоянке Шереди натаскал воды, но ужин готовила дочка Каллена. Была она очень высокая, с рыжими волосами. У костра позади Роба расположились пять человек. Закончив ужин, он направился к евреям, которые чистили своих лошадей. У них были добрые лошади и еще два вьючных мула — один, вероятно, вез палатку, которую теперь установили. Молча они наблюдали, как Роб приближается к тому, кто стоял за его спиной во время переговоров с Фриттой.

— Меня зовут Роб Джереми Коль. Хочу поблагодарить вас.

— Не за что, не за что, — сказал человек, убирая щетку со спины коня. — Меня зовут Меир бен Ашер. — Своих спутников он тоже представил. Двое из них стояли рядом, когда Роб увидел их в первый раз: Гершом бен Шмуэль, с шишкой на носу, невысокий, но на вид крепкий, как колода, и Иуда Га-Коген, востроносый, с поджатыми губами, с густой шевелюрой блестящих и черных, как у медведя, волос и такой же бородой. Двое других были моложе годами. Симон бен Га-Леви — худощавый, серьезный, почти взрослый, этакая жердь с едва пробившейся бородкой. А Туви бен Меир — мальчик лет двенадцати, для своего возраста очень высокий, как Роб в свое время.

— Мой сын, — сказал Меир.

Остальные молчали, внимательно разглядывая Роба.

— Вы купцы?

— Когда-то, — кивнув головой, сказал Меир, — наши семьи жили в германском городе Гаммельне. А десять лет назад мы все перебрались в Ангору ^[75], это в Византии. Оттуда путешествуем и на запад, и на восток, продаем, покупаем.

— А что продаете и что покупаете?

— Немножко того, чуточку сего, — пожал плечами Меир.

Роб пришел в восторг от такого ответа. Он часами придумывал, что бы такое рассказывать о себе незнакомым людям, а теперь необходимость в этом вовсе отпала — купцы и сами не слишком-то откровенничали.

— А куда направляетесь *вы*? — спросил юноша по имени Симон, и Роб даже вздрогнул от неожиданности — он думал, что по-английски понимает один Меир.

— В Персию.

— В Персию? Это замечательно! У вас там семья?

— Нет, я еду туда покупать. Одну-другую травку, быть может, еще немного лекарств.

— А-а! — воскликнул Меир. Евреи тут же переглянулись, мигом уловив его намек.

Пора было уходить, и Роб пожелал всем доброй ночи.

Пока он беседовал с евреями, Каллен не сводил с него глаз, и теперь, когда Роб подошел к его костру, сердечности у шотландца заметно поубавилось. Без большого желания он познакомил Роба со своей дочерью Маргарет, хотя сама девушка приветствовала его весьма любезно.

Ее рыжие волосы при ближайшем рассмотрении показались ему привлекательными, захотелось их погладить. Глаза же у нее были холодными и печальными. Высокие округлые скулы казались размером с мужской кулак, а нос и подбородок — правильной формы, но нежными их назвать было нельзя. Лицо и руки испещрены веснушками, что не прибавляло ей красоты, да и не привык Роб к тому, чтобы девушки были такими высокими.

Пока он раздумывал, можно ли назвать Маргарет красавицей, Фритта, проходя мимо, бросил пару фраз Шереди.

— Он желает, чтобы мастер Коль был часовым сегодня ночью, — сказал толмач.

И с наступлением темноты Роб стал обходить свою территорию, которая начиналась от костра Каллена и тянулась на восемь костров позади его собственного.

Совершая обход, он обратил внимание, какие непохожие люди прибились к этому каравану. У крытой телеги женщина с желтыми волосами и оливковой кожей баюкала младенца, а ее муж, сидя на корточках у костра, смазывал упряжь. Двое мужчин у другого костра чистили оружие. Мальчик кормил зерном трех жирных кур, помещенных в грубо сколоченную деревянную клетку. Какой-то бледный мужчина и его подруга-толстуха переругивались на языке, который Роб счел французским.

На третьем круге обхода он увидел, что евреи стоят рядышком и раскачиваются из стороны в сторону, напевая что-то. Роб Догадался, что они молятся перед сном.

Над лесом за деревней показался край огромной белой луны, и Роб почувствовал, что готов горы свернуть — ведь он неожиданно оказался бойцом армии в сто двадцать с лишним человек, а это совсем не то же самое, что путешествовать по чужой негостеприимной стране в одиночку!

Четырежды за ночь он окликал каких-то людей, проходивших мимо, и всякий раз оказывалось, что это один из путников отходит от лагеря, гонимый естественной нуждой.

Перед наступлением утра, когда Роба стал одолевать сон, дочка Каллена выскользнула из отцовской палатки. Она прошла совсем рядом, но Роба не заметила. Он ясно видел ее фигуру, залитую ярким лунным сиянием. Платье казалось черным как ночь, а длинные стопы ног, должно быть, совсем мокрые от росы, — белыми-белыми.

Роб старательно топал, двигаясь в противоположную от девушки сторону, однако издали наблюдал за ней, пока не увидел, что она благополучно возвращается. Только тогда он возобновил обход.

С первым проблеском зари Роб оставил пост и на скорую руку позавтракал лепешками и сыром. Пока он ел, евреи собрались у своей палатки на утреннюю молитву. Они, возможно, будут его раздражать — слишком уж набожны. Все они привязали на лоб маленькие черные коробочки, а кисти рук обвили узкими кожаными ремешками, пока их руки не стали похожи на столбики, поддерживающие навес повозки Роба. Вслед за этим они погрузились в молитву, накрыв головы особыми платками. Роб облегченно вздохнул, когда они закончили с ритуалом.

Лошадь он запряг слишком рано, пришлось ждать остальных. И хотя находившиеся в голове каравана выступили в путь вскоре после рассвета, до Роба очередь дошла лишь тогда,

когда солнце поднялось уже довольно высоко. Каллен ехал впереди на тощем белом коне, за ним — Шереди, слуга, который сидел на неухоженной серой кобылке и вел в поводу трех выючных лошадей. Для чего двум людям три выючных лошади? Дочка восседала на гордом вороном. Роб решил, что ляжки восхитительны и у коня, и у хозяйки, и с радостью последовал за ними.

И потекли дорожные будни. Первые три дня и шотландцы, и евреи вежливо посматривали на него, но близкого общения избегали — возможно, их отпугивало его покрытое шрамами лицо и необычная повозка, испещренная знаками зодиака. Что ж, он никогда не возражал, если его не беспокоят, и оставался наедине со своими мыслями.

Девушка всегда ехала прямо перед ним, и он не мог не смотреть на нее, даже когда разбивали лагерь. У нее, кажется, было два черных платья, и одно она стирала, как только появлялась возможность. Заметно, что к путешествиям она уже привыкла и не жаловалась на неудобства, но и у нее, и у ее отца во всем облике ощущалась затаенная грусть. По одежде Роб заключил, что они носят траур по кому-то из близких.

Иногда девушка тихонько напевала.

На четвертое утро, когда караван стал двигаться медленнее, Маргарет спешила и повела коня в поводу, разминая ноги. Роб, сидя на козлах, увидел, что девушка идет почти вровень с его повозкой, и улыбнулся ей. Глаза у нее были огромные и синие-синие, как ирисы. Изгибы скуластого лица — длинные, чувственные. Губы — крупные, зрелые, как и вся она, но подвижные и выразительные.

— На каком языке эти песни?

— На гаэльском. Это наш язык, шотландский.

— Так я и подумал.

— Ага! Как же сассенак ^[76] может узнать шотландский язык?

— А что такое «сассенак»?

— Так мы называем тех, кто живет к югу от Шотландии.

— Как я понимаю, это словечко — вовсе не похвала.

— Ах, так оно и есть, — призналась девушка и улыбнулась ему.

— Мэри Маргарет! — послышался резкий окрик отца. Она сразу же пошла на зов — дочь, привыкшая повиноваться родителю.

МэриМаргарет?

Она примерно в том возрасте, в каком сейчас должна быть Анна-Мария, грустно подумал Роб. Волосы у его сестры были русые, когда она была маленькой, но рыжий оттенок пробивался...

Эта девушка — *вовсе не* Анна-Мария, сердито одернул он себя. Понимал, что нельзя видеть свою сестру в каждой женщине, которая не стала еще старухой, ведь от таких дум недолго и ума решиться.

Расспрашивать смысла не имело — дочь Джеймса Каллена не интересовала его всерьез. На белом свете полно милых девушек, а от этой он решил держаться подальше.

Зато ее отец явно решил предоставить Робу возможность побеседовать еще раз — потому, наверное, что больше не видел его беседующим с евреями. На пятый вечер пути Джеймс Каллен пришел к его костру с полным кувшином крепкого ячменного напитка. Роб произнес слова приветствия и не отказался от глотка из дружески протянутого кувшина.

— Ты разбираешься в овцах, мастер Коль?

Услышав отрицательный ответ, Каллен просиял — он готов был просветить спутника.

— Есть овцы и... овцы. В Килмарноке, где находятся наследственные владения

Калленов, овечки бывают иногда очень маленькими — пуда четыре, четыре с половиной весом. Мне сказали, что на Востоке можно найти крупнее в два раза, и шерсть у них длинная, а не короткая. И густая, не то что у нашей шотландской скотинки, и такая замечательно тонкая, что и пряжа, и материя, из нее сотканная, так и льются, будто струи дождя...

Каллен поведал, что собирается купить самых лучших баранов и овец на развод, а потом вернуться с ними на родину.

«Это потребует, — подумал Роб, — наличных денег в немалом количестве». Теперь понятно, для чего шотландцу вьючные лошади. Но не мешало бы ему обзавестись и собственной охраной.

— Однако долгое же путешествие ты затеял. А что станет с твоим собственным овечьим хозяйством?

— Я оставил его в надежных руках родичей, которым можно доверять. Нелегко было решиться, да вот... За полгода до того, как уехать из Шотландии, я схоронил свою жену, с которой прожил двадцать два года. — Лицо Каллена исказилось, и он поднес ко рту кувшин, сделал добрый глоток.

«А вот, — подумал Роб, — и причина их грусти». По своей натуре цирюльника-хирурга он не мог не спросить, что же привело к ее смерти.

— У нее, — закашлялся Каллен, — появились наросты в обеих грудях, твердые такие шишки. Она все бледнела и бледнела, слабела с каждым днем, потеряла аппетит и стала ко всему безразличной. В конце концов начались сильные боли. Умерла она не сразу, но гораздо быстрее, чем я мог предполагать. Звали ее Джура. Ну что... Шесть недель я пил без просыпу, да только этим не спасешься. Много лет до того я вел пустые разговоры, что неплохо бы съездить в Анатолию, купить там добрых овец на развод, только не думал, что это получится на деле. А вот теперь решился и поехал.

Он снова протянул Робу кувшин, но не обиделся, когда тот покачал головой.

— Пора идти облегчиться и спать ложиться, — сказал Каллен и смущенно улыбнулся. Он почти опустошил кувшин и, когда попытался встать на ноги, прощаясь, Робу пришлось помочь ему.

— Доброй ночи, мастер Каллен. Приходи снова, будь любезен.

— Доброй ночи, мастер Коль.

Роб смотрел вслед удалявшемуся нетвердым шагом шотландцу и думал о том, что о дочери своей тот ни разу не упомянул.

* * *

На следующий день не повезло агенту французских купцов, по имени Феликс Ру, который следовал в караване тридцать восьмым: его лошадь шарахнулась от барсука и сбросила всадника. Тот буквально грянулся оземь, причем основной удар пришелся на левую руку. Кость переломилась, часть руки косо торчала. Керл Фритта послал за цирюльником-хирургом, и он соединил перелом и наложил тугую повязку. Раненый стонал и кричал от боли. Роб безуспешно пытался объяснить Феликсу Ру: при езде рука будет причинять ему страшную боль, но держаться в седле и ехать дальше с караваном он сможет. В конце концов пришлось позвать Шереди, чтобы растолковать раненому, как управляться с повязкой.

Возвращался к своей повозке Роб в задумчивости. Он согласился несколько раз в неделю лечить больных попутчиков. Толмача Шереди он вознаграждал щедро, и все же нельзя было и дальше пользоваться услугами человека, нанятого Джеймсом Калленом.

Оказавшись у повозки, он увидел Симона бен Га-Леви, который, сидя неподалеку, чинил подпругу седла. Роб подошел к худощавому молодому еврею:

— Ты понимаешь и по-французски, и по-немецки?

Юноша кивнул: он как раз закончил работу и откусывал вощеную нитку. Роб заговорил, а Га-Леви слушал. В итоге он согласился помогать Робу в качестве толмача — времени это требовало не много, а плата обещана щедрая. Роб остался доволен сделкой.

— Как ты выучил столько языков?

— Мы же купцы, возим товары из одной страны в другую. Путешествуем непрестанно, а на рынках многих стран у нас есть родственники. Знание языков — обязательная часть нашего ремесла. Например, юный Туви учит сейчас мандаринский язык [77], а через три года отправится по Великому шелковому пути и будет работать в компании, которой владеет мой дядя. — Молодой человек добавил, что его дядя, Иссахар бен Нахум, возглавляет большую ветвь семьи в Кай-Фэн-Фу [78] и оттуда каждые три года посылает в Персию, в город Мешхед, караваны с шелком, перцем и прочими сказочными товарами Востока. И каждые три года, с самого раннего детства, Симон вместе с другими мужчинами своей семьи отправляется из Ангоры в Мешхед, а затем они сопровождают караван с этими богатствами до самого Восточно-Франкского королевства [79].

Сердце у Роба Джереми екнуло.

— А персидский язык ты знаешь?

— Фарси? Конечно, знаю. — Роб смотрел на него непонимающим взглядом. — Их язык называется фарси.

— А ты научишь меня?

Симон бен Га-Леви призадумался, ибо это было совсем другое дело. На него уйдет много времени.

— Я хорошо заплачу.

— А для чего тебе учить фарси?

— Когда окажусь в Персии, язык мне потребуется.

— Так ты хочешь вести там дела на постоянной основе? Снова и снова возвращаться в Персию, закупать там травы и лекарства, как мы — шелк и специи?

— Может быть. — Роб Джереми пожал плечами не хуже, чем Меир бен Ашер. — Немножко того, чуточку сего.

Симон усмехнулся. Он начал первый урок фарси, рисуя буквы палочкой на земле, но выходило не очень ясно. Роб достал из фургона свои принадлежности для рисования и чистый березовый кругляшок. Симон стал учить его фарси точно так же, как мама много лет назад учила Роба читать на английском языке, начав с алфавита. Персидские буквы состояли из точек и волнистых линий. Господь милосердный! Написанные слова напоминали голубиный помет, или птичьи следы на снегу, или снятую с древесины стружку, или червей, стремящихся к спариванию.

— Этого мне ни за что не осилить, — проговорил Роб с упавшим сердцем.

— Осилишь, — невозмутимо отозвался Симон.

Роб забрал деревяшку с собой в фургон. Поужинал, медленно пережевывая каждый кусок, борясь со своим нетерпением. Потом устроился на козлах и сразу с головой ушел в

учебу.

Они спустились с гор на плоскую равнину, которую рассекала, насколько хватало глаз, прямая как стрела римская дорога. По обеим сторонам дороги лежали поля черной земли. Крестьяне начали убирать урожай зерна и поздних овощей. Лето закончилось. Караван подошел к гигантскому озеру и три дня следовал изгибам его береговой линии, остановившись на одну ночь в прибрежном селении Шиофок, чтобы закупить провизию. Невеликое селение — покосившиеся домишки, расторопные жуликоватые крестьяне, — зато озеро (оно называлось Балатон) было похоже на сказку: вода темная, на вид даже твердая, будто драгоценный камень. Утром, когда Роб ожидал, пока евреи закончат молиться, от воды поднимался легкий белый туман.

Наблюдать за этими евреями было весьма забавно. Странные люди — они раскачивались во время молитвы, и казалось, что Бог жонглирует их головами, которые поднимались и наклонялись не одновременно, а как бы подчиняясь какому-то единому непостижимому ритму. Роб предложил всем вместе искупаться в озере; они поначалу недовольно поморщились — вода была довольно холодной, — но вдруг затараторили на своем языке. Меир что-то сказал, Симон кивнул головой и отошел: он сегодня был часовым. Остальные устремились вместе с Робом к кромке воды, сбросили с себя одежду и стали плескаться на мелководье, визжа, как дети. Туви не очень-то хорошо плавал, просто плескался у берега, Иуда Га-Коген слегка подгрребал руками, а Гершом бен Шмуэль, у которого при дочерна загорелом лице был поразительно белый живот, плыл на спине и вопил какую-то непонятную песню. Меир удивил Роба.

— Это лучше, чем миква! — в восторге закричал он.

— Что такое миква? ^[80] — спросил у него Роб, но Меир глубоко нырнул, а потом поплыл в даль, делая ровные сильные гребки. Роб плыл за ним вслед, думая о том, что охотнее поплавал бы с женщиной. Попытался припомнить женщин, с которыми ему доводилось плавать. Наверное, набралось с полдюжины, и со всеми он предавался любви — или до, или после купания. А несколько раз — прямо в воде...

Он уже пять месяцев не прикасался к женщине, а столь долгого воздержания не было ни разу с тех самых пор, как Эдита Липтон ввела его в мир чувственных наслаждений. Роб отчаянно барахтался в воде, очень даже холодной, пытаясь избавиться от нестерпимого желания.

Обгоняя Меира, Роб шлепнул по воде и хорошенько того обрызгал. Меир стал отплеиваться и кашлять.

— Эй ты, христианин! — шутливо погрозил он Робу.

Роб снова шлепнул по воде, и они схватились друг с другом. Роб был ростом гораздо выше Меира, но тот был *сильным*! Он толкнул Роба под воду, юноша же вцепился пальцами в его бороду и потащил еврея вслед за собой, все глубже и глубже. Они погружались, а тела покрывались словно бы крупичками инея, холодного-холодного, пока Робу не показалось, что его кожа сделана из серебристого льда.

Еще глубже.

Наконец, в один и тот же миг, оба они испугались, что вот так, играючи, утонут. Отпустили друг друга и вынырнули, жадно хватая ртом воздух. Не было ни побежденного, ни

победителя, и они дружно поплыли к берегу. Выбираясь из воды, оба дрожали, ощущая, что наступают осенние холода, и отчаянно втискивали в одежду свои мокрые тела. Меир заметил, что Роб обрезан, и вопросительно взглянул на него.

— Кончик лошадка откусила, — сказал на это Роб.

— Несомненно, кобыла, — с серьезным видом согласился Меир. Он бросил пару слов на своем языке остальным, и те заулыбались Робу. Евреи надевали на голое тело странные одеяния с бахромой. Когда они были голыми, то вели себя как все люди. Одевшись же, снова превратились в чужаков, появилось в них нечто экзотическое. Они заметили, что Роб их разглядывает, но он не спросил, что это за странные одеяния, а объяснять просто так никто не стал.

* * *

Когда озеро осталось далеко позади, пейзаж стал уже не так красивым. Ехали по бесконечной прямой дороге, тянулись миля за милей среди однообразного леса или похожих друг на друга как две капли воды полей — вскоре это наскучило невыносимо. Роб искал спасения в собственных фантазиях, представлял себе, как выглядела эта дорога в первое время после постройки, одна [via \[81\]](#) в обширной сети из тысяч таких же, благодаря которым Рим завоевал весь мир. Сначала, должно быть, шли разведчики, передовой отряд конницы. За ними — полководец на своей колеснице с возницей-рабом, окруженный трубачами: звук рожков создавал атмосферу торжественности и подавал сигналы войскам. Вслед за полководцем — трибуны и легаты, штабные офицеры, верхами. За ними маршировал легион, оцетинившийся колючим лесом копий — десять когорт самых умелых убийц во всей истории, в каждой когорте по шестьсот воинов, и каждую сотню возглавляет центурион. И, наконец, тысячи рабов, которые делают то, что не под силу тягловым животным — тянут торменты, гигантские военные машины, ради которых, собственно, и прокладывались эти дороги: огромные мощные тараны, пробивающие бреши в стенах городов и крепостей; зловещие катапульты, которые обрушивают на противника град стрел; громадные баллисты, пращи богов, из которых вылетают и несутся по воздуху целые каменные валуны или бревна, превращенные в чудовищные стрелы. И в самом хвосте колонн — повозки, груженные *impedimenta*, багажом. Правят повозками жены и дети воинов, продажные девки, торговцы, посыльные, чиновники — муравьи истории, живущие объедками пиршества римлян.

А теперь римские армии превратились в легенды и сны, рассыпались прахом те, кто сопровождал их в походах, давно уж нет правителей, которым служили те чиновники, но дороги остались, нерушимые римские дороги, настолько прямые, что можно уснуть, глядя на них.

* * *

Дочь Каллена снова шла, поравнявшись с его повозкой, а конь ее был привязан к одной из вьючных лошадей.

— Хотите сесть со мной рядом, госпожа? Для разнообразия неплохо прокатиться в повозке.

Она не решалась, но Роб протянул ей руку, она ухватилась и позволила ему втащить ее на козлы.

— Щека у вас зажила просто чудесно, — заметила девушка. Она зарделась, но удержаться от беседы была не в силах. — Остались только легкие шрамики от царапин. Если повезет, они поблекнут.

Роб почувствовал, как краска заливает его собственное лицо. Уж лучше бы она не рассматривала его так пристально.

— А как вы умудрились так пораниться?

— Встретился с разбойниками на большой дороге.

— Я молю Бога, чтобы он охранил нас от такого, — сказала Мэри Каллен с глубоким вздохом и задумчиво посмотрела на Роба. — Поговаривают, что слухи о разбойниках-мадьярах распустил сам керл Фритта, чтобы вселить в путников страх и заставить их присоединиться к каравану.

— Насколько я понимаю, — пожал плечами Роб, — это вполне духе мастера Фритты. А мадьяры кажутся вовсе не такими страшными. — По обе стороны дороги крестьяне убирали овощи.

Наступило молчание. Каждая кочка на дороге подбрасывала повозку, и Роб то и дело касался нежной ягодицы или крепкого бедра девушки, а запах ее тела напоминал слабый терпкий аромат, который издают нагретые солнцем ягодные кустарники Роб, без труда покорявший девушек по всей Англии, почувствовал, как охрип у него голос, когда он попытался снова заговорить:

— А вы всегда носили второе имя Маргарет, мистрис Каллен?

— Всегда, — удивленно взглянула она на него.

— А другого имени не упомяните?

— В детстве отец звал меня Черепашкой, потому что я иногда делала так... — Она медленно моргнула обоими глазами.

Робу не давало покоя желание прикоснуться к ее волосам. Под широкой левой скулой у нее притаился крохотный шрамик; незаметный, если не приглядываться, он несколько не портил лицо. Роб быстро отвел глаза.

Отец, ехавший впереди, повернулся в седле и увидел, что дочь едет в повозке. Каллен снова наблюдал, как Роб несколько раз беседовал с евреями, и когда он позвал Мэри Маргарет, в его голосе ясно слышалось неудовольствие. Она собралась уходить.

— А какое у вас второе имя, мастер Коль?

— Джереми.

Она кивнула с серьезным видом, но в глазах плясали чертики.

— Значит, вас всегда звали Джереми? Вы другого имени не припоминаете?

Одной рукой она подобрала свои юбки и легко, как козочка, соскочила с повозки. Перед глазами Роба мелькнули ее белые ноги, и он хлестнул Лошадь вожжами, рассердившись, что стал для Маргарет объектом насмешек.

* * *

Вечером, после ужина он позвал Симона — проводить второй урок — и обнаружил, что у евреев имеются настоящие книги. В школе при церкви Святого Ботульфа, куда Роб ходил в

детстве, хранились три книги: каноническая Библия и Новый Завет — обе на латыни, и церковный календарь на английском, с перечислением праздников, которые надлежит отмечать по всей Англии согласно королевскому указу. Написаны они были на тонком пергаменте, полученном после особой обработки кожи ягнят, телят или козлят. Каждая буква тщательно выписана от руки — колоссальная работа, из-за чего и книги были так дороги и редки.

У евреев, как показалось Робу, книг было много (позднее он выяснил: семь), а хранили их в коробке из хорошо выделанной кожи.

Симон выбрал из них одну, написанную на фарси, и они посвятили урок знакомству с этой книгой: Симон называл те или иные буквы, а Роб отыскивал их в тексте. Персидский алфавит он выучил быстро и накрепко. Симон его похвалил и прочитал отрывок из книги вслух, чтобы Роб смог уловить мелодику языка. После каждого слова он делал паузу и заставлял Роба повторять.

— Как называется эта книга?

— Это Коран, их Библия, — ответил Симон и перевел прочитанное:

«Слава Аллаху Всевышнему,
Всемиловитому и Всемилосердному;
Он сотворил Все, и Человека тоже.
Человеку отвел Он особое место в Своем Творении.
И удостоил Человека чести быть Орудием Его,
А ради того наделил его даром разума,
И чувства его очистил,
и даровал способность духовного прозрения» [\[82\]](#).

— Каждый день я буду давать тебе по десять персидских слов и выражений, а ты к следующему уроку должен их выучить, — сказал ему Симон.

— Давай мне каждый день по двадцать пять слов, — попросил Роб, зная, что учитель пробудет с ним лишь до Константинополя.

— Ладно, двадцать пять так двадцать пять, — улыбнулся Симон.

На следующий день Роб легко заучил слова, потому что дорога по-прежнему простиралась перед ними прямая как стрела и Лошадь трусила по ней без понукания, с опущенными вожжами, а хозяин тем временем сидел на козлах и занимался учением. Но Роб понял, что упускает еще одну возможность, и после вечернего урока попросил у Меира бен Ашера позволения взять персидскую книгу в свою повозку, чтобы можно было посвятить ей весь ничем не заполненный день путешествия. Меир отказал наотрез:

— Книга всегда должна быть у нас на глазах. Ты можешь читать ее только в нашем присутствии.

— А не может ли Симон ехать в повозке вместе со мной?

Роб почувствовал, что Меир и на это ответит отказом, но тут вмешался сам Симон:

— Я мог бы за это время проверить счетоводные книги.

Меир задумался.

— Этот человек станет настоящим ученым, — заявил Симон. — В нем и сейчас видна неумная жажда знаний.

Евреи посмотрели на Роба как-то по-новому, не так, как раньше. В конце концов Меир кивнул, соглашаясь.

— Можешь взять книгу в свою повозку, — решил он.

* * *

В ту ночь Роб уснул, мечтая, чтобы скорее наступило завтра, а наутро проснулся рано, снедаемый нетерпением, причинявшим почти физическую боль. Ждать было тем труднее, что он видел, как неторопливо готовится к наступающему дню каждый из евреев: Симон отошел за деревья облегчиться после сна, Меир с сыном, зевая, пошли умываться к ручью, потом все раскачивались, бормоча утреннюю молитву, потом Гершом с Иудой подали лепешки и кашу.

Ни один влюбленный никогда не ожидал свою любимую, горя таким нетерпением.

— Ну, давай же, увалень неповоротливый, иудей ленивый! — бормотал Роб себе под нос, в последний раз пробегая глазами заданные на сегодня персидские слова.

Когда наконец появился Симон, он был нагружен персидской книгой, толстым гроссбухом и особой деревянной рамкой, внутри которой тянулись один под другим ряды бусин, нанизанных на тонкие деревянные стержни.

— Что это?

— Абак. Счетное приспособление, очень полезное, когда приходится складывать и вычитать, — объяснил Симон.

Караван отправился в путь, и вскоре стало ясно, что Роб внес весьма дельное предложение: хотя дорога и была относительно ровной, все же колесо повозки нет-нет да и перекатывалось через камни, так что писать было затруднительно. А вот читать было удобно, и они с Симоном погрузились каждый в свою работу, пока тянулись бесконечные мили пути.

Никакого смысла в персидской книге он постичь не мог, но Симон велел Робу читать персидские буквы и слова до тех пор, пока он не почувствует, что способен легко их выговаривать. Один раз ему встретилось выражение из числа выученных: *коч-хомеди*— «ты пришел в добрый час», то есть «добро пожаловать», и Роб искренне обрадовался, словно одержал маленькую победу.

Время от времени он отрывался от книги и созерцал спину Мэри Маргарет Каллен. Она ехала теперь все время рядом с отцом — несомненно, по его настоянию. Роб заметил, как он зыркнул на Симона, когда тот забирался на козлы повозки. Девушка держалась в седле ровно, с гордо поднятой головой, словно всю жизнь ездил верхом.

К полудню Роб выучил сегодняшний список слов.

— Двадцати пяти мало, — сказал он Симону. — Ты должен давать мне больше.

Симон улыбнулся и дал ему еще пятнадцать. Говорил юноша мало, Роб слышал только, как щелкали бусины на абаке, летая под пальцами Симона.

В середине дня Симон что-то недовольно промычал, и Роб догадался, что он обнаружил ошибку в одном из счетов. Без сомнения, в толстом гроссбухе содержались записи о множестве сделок. Роб вдруг осознал, что эти люди возвращаются к своим семьям с прибылью от купеческого каравана, который провели из Персии в Германию. Тогда понятно, отчего они никогда не оставляют без присмотра свой маленький лагерь. Впереди

по порядку движения ехал Каллен, везущий в Анатолию изрядную сумму денег, предназначенных для покупки овец. А позади Роба ехали эти евреи, которые имели при себе, скорее всего, куда больше денег. Если бы разбойники пронюхали о таком жирном куше, с беспокойством подумал Роб, то собрали бы целую армию всевозможного сброда, и даже такой большой караван не смог бы избежать нападения. Но искушения покинуть караван у него не возникло: странствовать в одиночку значило бы напрашиваться на верную смерть. Поэтому Роб выбросил из головы все страхи. Дни текли за днями, а он неизменно сидел на козлах, отпустив вожжи, и не сводил глаз со священной книги ислама, будто заглядывал в вечность.

* * *

Наступало другое время. Погода держалась ясная и теплая, осенние небеса заливала синь, напоминавшая Робу глаза Мэри Каллен, которых на самом деле он почти не видел, потому что она теперь держалась подальше от него. Несомненно, выполняла отцовский приказ.

Симон завершил проверку счетоводных книг, у него теперь не было причины каждый день садиться в повозку и ехать с Робом, однако порядок уже установился и даже Меир перестал тревожиться, что персидская книга находится у Роба. Симон неумоимо натаскивал его, чтобы сделать из Роба настоящего короля купцов.

— Какую основную меру веса используют персы?

— Она называется *ман*, Симон, примерно половина европейского стоуна [\[83\]](#).

— Назови другие меры веса.

— Есть *ратель*, это одна шестая часть мана. *Дирхем* — пятидесятая часть рателя. *Мескаль*, полдирхема. *Дунг* — одна шестая мескаля. И «ячменное зерно» — одна четвертая часть дунга.

— Очень хорошо. Нет, правда хорошо!

Роб, когда его самого не экзаменовали, не мог удержаться от нескончаемого потока вопросов:

— А вот, Симон, скажи, пожалуйста: как назвать деньги?

— *Рас*.

— Будь так добр, Симон... Что значит это выражение в тексте: *сонаб а карет*?

— Заслуга для жизни будущей, иначе говоря, чтобы оказаться в раю.

— Симон...

Тот издавал стон, и Роб понимал, что становится слишком надоедливым. Он умолкал — до тех пор, пока в голове не возникал новый вопрос.

Два раза в неделю они принимали пациентов. Симон переводил, смотрел и слушал. Когда Роб осматривал и лечил больных, тут уж он становился специалистом, а задавать вопросы приходила очередь Симона. Некий франк, торговец скотом, глупо улыбаясь, явился к цирюльнику-хирургу и пожаловался, что под коленями у него болит и кожа стала очень чувствительной. Там образовались твердые шишки. Роб дал ему мазь из овечьего жира с утоляющими боль травами и велел прийти еще раз через две недели, однако уже через неделю франк снова стоял в очереди. На этот раз он сообщил, что такие же шишки образовались и под мышками. Роб дал ему два пузырька особого Снадобья от Всех Болезней

и отослал прочь.

Когда все разошлись, Симон обратился к Робу:

— Что с этим толстяком-франком?

— Быть может, шишки рассосутся. Но не думаю. Полагаю, что шишек у него будет становиться все больше, ибо где-то внутри сидит бубон. А если так, то жить ему остается недолго.

— И ты ничего не можешь сделать? — захолопал глазами Симон.

Роб только покачал головой:

— Я всего лишь невежественный цирюльник-хирург. Возможно, где-нибудь существует великий врачеватель, способный помочь ему.

— А вот я бы не стал этим заниматься, — медленно проговорил Симон, — пока не выучил бы все, что только можно.

Роб посмотрел на него и ничего не сказал. Его неприятно поразило, что этот еврей сумел сразу же и совершенно ясно понять то, до чего он сам дошел так медленно и с таким трудом.

* * *

Ночью Роба грубо потряс за плечо Каллен.

— Поторопись, дружище, ради всего святого, — сказал шотландец. — Женщина кричала где-то недалеко.

— Мэри?

— Нет-нет. Идем!

Безлунная ночь была черна. Сразу за стоянкой евреев кто-то зажег смоляные факелы, и в их свете Роб увидел, что на земле лежит умирающий.

Это был Рейбо, бледный француз, ехавший в караване тремя местами позади Роба. Горло у него было перерезано от уха до уха, а рядом на земле поблескивала большая темная лужа — вытекшая из него жизнь.

— Он сегодня был нашим часовым, — сказал Симон.

Мэри Каллен успокаивала рыдающую женщину, дородную супругу Рейбо, с которой тот непрестанно ссорился. Роб нащупал скользкое разрезанное горло убитого, пальцы вмиг стали мокрыми. Снова послышались горькие причитания рыдающей жены, Рейбо напрягся на мгновение при этих звуках, потом вытянулся и застыл.

Еще через миг всех насторожил дробный стук копыт.

— Это конные разъезды, высланные Фриттой, — послышался тихий голос стоявшего в тени Меира.

Весь караван был уже на ногах, с оружием в руках, но вскоре высланные Фриттой всадники вернулись и сообщили, что никакой большой шайки разбойников поблизости нет. Убийцей мог оказаться вор-одиночка или же высланный разбойниками разведчик. В любом случае этот головорез уже улизнул.

Остаток ночи всем спалось плохо. Утром похоронили Гаспара Рейбо — на обочине старой римской дороги. Керл Фритта поспешно прочитал на немецком молитву за упокой души, после чего все отошли от могилы и стали беспокойно готовиться к продолжению путешествия. Евреи так уложили поклажу вьючных мулов, чтобы та не помешала перевести

животных, если потребуется, в галоп. Роб заметил, что среди поклажи на каждом муле был узкий кожаный мешок, на вид очень тяжелый. Ему подумалось, что о содержимом этих мешков нетрудно догадаться. Симон не пришел в повозку, он ехал верхом подле Меира, готовый и к сражению, и к бегству — смотря по обстоятельствам.

На следующий день они прибыли в Нови-Сад, оживленный город на берегу Дуная. Там они узнали, что тремя днями раньше разбойники напали на семерых монахов-франков, направлявшихся в Святую землю, ограбили их, совершили с ними содомский грех и убили.

Следующие три дня путники держались так, словно на караван вот-вот нападут, но доехали вдоль широкой, искрящейся на солнце реки до самого Белграда без всяких происшествий. Там на рынке купили съестных припасов, среди прочего маленьких кислых красных слив, отменных на вкус, и зеленых маслин, которые Роб съел с большим удовольствием. Ужинал он в таверне, но поданное ему не понравилось: смесь разных сортов жирного мяса, мелко нарубленного и с привкусом прогорклого масла.

Еще в городе Нови-Сад довольно многие покинули караван, еще больше людей осталось в Белграде, зато присоединились и новые путники, так что Каллены, Роб и евреи значительно передвинулись вперед и больше уж не ехали в уязвимом хвосте каравана.

Вскоре после отъезда из Белграда караван оказался среди холмов, а затем среди гор, какие до тех пор им еще не встречались: крутые склоны усеяны валунами, напоминающими оскаленные зубы. На высоких местах резкий ветер заставил путников задуматься о зиме. Если выпадет снег, в этих горах и пропасть недолго.

Теперь Роб уже не мог ехать, отпустив вожжи. На подъемах приходилось легонько подхлестывать Лошадь, а на спусках придерживать. Когда руки заболели от напряжения, а дух стал слабеть, Роб подбадривал себя мыслями о том, что римляне перетасили через этот горный массив с высокими острыми вершинами свои *торменты*. Правда, у римлян были тысячи рабов, которых они не жалели, а у Роба — одна усталая кобылка, править которой требовалось с умением. По вечерам он, отупевший от усталости, добирался до стоянки евреев, и иногда удавалось получить что-то вроде урока. Но Симон больше не ехал с ним в повозке, а Робу в иные дни не удавалось выучить и десяти персидских слов.

Вот когда керл Фритта показал себя в полном блеске! Впервые, за все время путешествия Роб восхищался им: мастер караванщик, казалось, успевал повсюду одновременно, помогал чинить повозки, подбадривал и уговаривал людей, как умелый погонщик подгоняет непонятливую скотину. На дороге то и дело встречались каменные завалы и осыпи. Первого октября потеряли полдня, пока мужчины каравана не разобрали внушительного размера валуны, загородившие путь. Нередки стали теперь и несчастные случаи — Роб за неделю «починил» сломанные руки двух спутников. Лошадь одного купца-норманна понесла, повозка перевернулась, придавив хозяина, и размозжила ему ногу. Пришлось везти его дальше на носилках между двумя лошадьми, пока не встретила по пути крестьянская хижина, хозяева которой согласились ухаживать за раненым. Там его и оставили, и Роб лишь горячо надеялся, что крестьянин не прирежет больного гостя, чтобы завладеть его имуществом, едва скроется из виду караван.

— Мы уже вышли из мадьярских земель. Теперь мы в Болгарии, — однажды утром сообщил Меир.

Для Роба это мало что значило, ведь вокруг были все те же негостеприимные скалы, а на высоте ветер все так же безжалостно хлестал по лицу. По мере того как погода становилась все более суровой, путешественники облачились в разнообразные верхние одежды, скорее теплые, нежели красивые. Вскоре караван походил на сборище диковатого вида людей в пестрых толстых куртках и накидках.

Пасмурным утром выучный мул, шедший за конем Гершо-ма бен Шмуэля, споткнулся и упал. Передние ноги разъехались, потом левая с громким треском сломалась под тяжестью груза. Обреченное животное закричало от боли, почти как человек.

— Помоги ему! — воскликнул Роб. Меир бен Ашер вытащил длинный кинжал и помог мулу единственно возможным способом, перерезав трепещущее горло.

С мертвого мула незамедлительно стали снимать поклажу. Когда дошла очередь до узкого кожаного мешка, Гершому и Иуде пришлось взяться за него вдвоем. Последовала перепалка на их языке. Оставшийся мул был и без того перегружен поклажей, включавшей один из кожаных мешков, и Гершом, как догадался Роб, совершенно справедливо утверждал, что второй такой же мулу уже не снести.

Позади них скопились другие путешественники, громкими криками выражавшие недовольство — им отнюдь не улыбалось отстать от основной колонны. Роб подбежал к евреям:

— Бросьте мешок в мою повозку.

Меир заколебался, потом отрицательно помотал головой:

— Не надо.

— Ну, так и ступайте ко всем чертям! — грубо выкрикнул Роб, рассерженный отказом, который подразумевал недоверие к нему.

Меир что-то сказал, и Симон бегом бросился вслед за Робом.

— Мешок погрузят на мою лошадь. Можно, я поеду в повозке? Только до тех пор, пока мы сможем купить другого мула.

Роб жестом предложил ему садиться, забрался на козлы и сам. Долгое время он ехал, не

произнося ни слова. Для урока фарси не было настроения.

— Ты просто не понимаешь, — обратился к нему Симон. — Меир обязан держать мешки при себе. Это не его собственные деньги. Меньшая часть принадлежит семье, а большая — это деньги пайщиков.

От этих слов на душе у Роба стало легче, но день выдался явно неудачный. Дорога была тяжелой, а присутствие в повозке еще одного человека увеличивало нагрузку на Лошадь, так что она весьма заметно утомилась к тому времени, когда на вершины гор пала тьма и пришлось разбивать лагерь.

Им с Симоном, прежде чем садиться за ужин, надо было еще навестить больных. Сильный ветер буквально гнал их до самой повозки керла Фритты. Ожидала их там горстка людей, и среди них, к удивлению и самого Роба, и Симона, находился Гершом бен Шмуэль. Коренастый силач задрал свой кафтан, развязал штаны, и Роб увидел безобразный багровый нарыв на правой ягодице.

— Скажи ему, пусть наклонится.

Гершом замычал, когда в него вонзилось острие скальпеля. Брызнул желтый гной. Потом больной стонал и ругался на своем языке: Роб давил на нарыв до тех пор, пока не выдавил весь гной и не показалась чистая кровь.

— Он не сможет ехать верхом. Несколько дней не сможет.

— Но он должен ехать! — воскликнул Симон. — Нельзя бросать Гершома!

Роб вздохнул: сегодня евреи действовали ему на нервы.

— Ты можешь сесть на его коня, а его я положу в свой фургон.

Симон согласно кивнул.

Следующим был улыбающийся франк-скотопромышленник. На этот раз новые шишечки появились у него в паху. Те же, что были за коленями и подмышками, увеличились и стали более чувствительными. Франк на вопрос Роба сказал, что они начали причинять ему боль. Роб взял его за обе руки.

— Переведи: он скоро умрет.

— Будь ты проклят! — сверкнул на него глазами Симон.

— Переведи ему: я говорю, что он скоро умрет.

Симон с трудом проглотил слюну и вкрадчиво заговорил по-немецки. Роб наблюдал, как сходит улыбка с широкого глупого лица. Потом франк вырвал руки, которые все еще держал Роб, и поднял правую, сжав ее в кулак размером с небольшой окорок. Он не говорил, а рычал.

— Говорит, что ты распроклятый лжец, чтоб тебя черти забрали, — перевел Симон.

Роб молча ждал, глядя в глаза франку. В конце концов тот плюнул ему под ноги и вышел, пошатываясь.

Дальше Роб продал снадобье двум мужчинам, которых мучил сильный кашель, потом вылечил скулящего мадьяра с вывихнутым пальцем — палец застрял в подпруге, а лошадь пошла вперед.

После всего этого Роб расстался с Симоном, хотелось уйти подальше и от этой повозки, и от этих людей. Путники рассеялись — каждый старался найти укрытие от ветра под каким-нибудь валуном. Роб прошагал за последнюю повозку и увидел Мэри Каллен, которая стояла на скале, возвышавшейся над тропой.

Девушка казалась неземной. Она стояла, обеими руками распахнув полы теплого плаща из дубленой овечьей кожи, запрокинув голову и закрыв глаза; мощный поток ветра,

подобный полноводной реке, обдувал ее всю с головы до ног, а она словно бы омывала и очищала себя в этом неистовом потоке. Плащ надувался, как парус, и гулко хлопал. Черное платье туго обтянуло высокую фигуру, под ним четко вырисовывались тяжелые груди с роскошными сосками, слегка округлый мягкий живот с широким пупком, манящая расселина там, где сходятся тугие бедра. Роб ощутил неожиданный прилив теплоты и нежности — без сомнения, то было наваждение, ибо девушка походила на ведьму. Длинные волосы развевались за спиной, подобные языкам рыжего пламени.

Робу невыносима была мысль о том, что она сейчас откроет глаза и увидит, как он любит ее. Он повернулся и ушел.

Забрался в фургон и мрачно задумался: там было слишком много вещей, некуда поместить Гершому, которому надо лежать на животе. Освободить место можно было только одним способом — выбросить помост. Он вытащил из фургона все три секции и посмотрел на них, вспоминая бесчисленное множество раз, когда они с Цирюльником взбирались на эту импровизированную сцену и устраивали представление для публики. Роб пожал плечами и, подобрав с земли большой камень, разбил помост на щепки для костра. В горшочке тлели угли, и под защитой повозки он быстро развел костер. В сгущающейся темноте Роб сидел на корточках, подкармливая пламя обломками помоста.

Непохоже, чтобы имя Анна-Мария переделали в Мэри Маргарет. И русые волосы девочки, пусть они и отливали немного рыжим цветом, не превратились бы в такую великолепную огненную гриву. Так он убеждал себя, когда Мистрис Баффингтон подошла, мякнула и улеглась рядом с ним, поближе к огню и подальше от пронизывающего ветра.

* * *

Утром двадцать второго октября воздух заполнили твердые белые зернышки, летящие по ветру и колющие обнаженные участки кожи.

— Рановато для этой гадости, — мрачно заметил Роб, обращаясь к Симону, который снова ехал с ним на козлах: Гершом подлечил свою ягодицу и вернулся в седло.

— На Балканах это не рано, — ответил Симон.

Теперь они ехали среди еще более крутых обрывов и высоких вершин, поросших в основном березой, дубом и сосной. Местами склоны были совершенно обнажены, словно некое сердитое божество смело всю растительность с целого участка горы. В изобилии встречались маленькие озерца, образованные водопадами, срывающимися в глубокие ущелья.

Прямо перед Робом маячили фигуры Калленов, отца и дочери, в одинаковых дубленых овечьих плащах и шапках. Их не так-то легко было отличить друг от друга, если бы Роб не знал: крупная фигура на вороном коне — это Мэри.

Снег не ложился на землю, и путникам пока удавалось пробиваться сквозь него вперед и вперед, но не так быстро, как хотелось керлу Фритте. Тот метался вдоль всей колонны, подгоняя людей.

— Христом-Богом клянусь, что-то пугает Фритту! — воскликнул Роб.

Симон бросил на него быстрый настороженный взгляд — Роб давно заметил, что евреи неизменно бросали такие взгляды, когда он поминал в разговоре Христа.

— Он должен привести нас в город Габрово прежде, чем начнутся настоящие снегопады. Через эти горы можно пройти большим перевалом, который так и зовется,

Балканские Врата ^[84], но перевал уже закрыт. Караван будет зимовать в Габрово, недалеко от подъема к перевалу. В этом городе хватает постоянных дворов и домов, где готовы принять пугников. Ни одного Другого города, достаточно большого, чтобы вместить такой караван, как наш, вблизи перевала нет.

Роб кивнул, сразу сообразив, какие преимущества это ему сулит.

— Значит, я всю зиму смогу учить персидский язык.

— Ты не можешь взять книгу, — возразил Симон. — Мы не останемся с караваном в Габрово. Мы отправимся в городок Трявна, неподалеку, там есть евреи.

— Но книга мне нужна. И мне необходимы твои уроки!

Симон только плечами пожал.

Тем же вечером, покормив Лошадь, Роб подошел к костру евреев. Они рассматривали какие-то особенные подковы с шипами. Меир протянул одну Робу:

— Тебе надо заказать такие для своей кобылы. Они не позволяют животному скользить на снегу и льду.

— Нельзя ли мне поехать в Трявну?

Меир переглянулся с Симоном — они, очевидно, уже обсуждали этот вопрос.

— Не в моей власти обещать, что тебе окажут там гостеприимство.

— Кто же имеет такую власть?

— Еврейскую общину там возглавляет очень мудрый человек, *рабейну* ^[85] Шломо бен Элиаху.

— Что значит «рабейну»?

— Ученый человек. На нашем языке значит «наш учитель». Это высший почет.

— Хорошо, а этот Шломо, мудрец этот — он человек надменный, презирающий незнакомцев? Холодный и неприступный?

Меир улыбнулся и покачал головой.

— Тогда разве нельзя мне отправиться к нему и попросить позволения зимовать там, поблизости от вашей книги и уроков Симона?

Меир посмотрел Робу в глаза и не стал делать вид, будто его очень обрадовал такой вопрос. Долго молчал, но когда стало ясно, что Роб упрям и готов ждать ответа, сколько потребуется, Меир вздохнул и снова покачал головой:

— Мы проводим тебя к рабейну.

Габрово оказалось унылым городком с кое-как сбитыми деревянными домишками. Робу уже много месяцев хотелось поесть чего-нибудь, не им самим приготовленного, а вкусного и поданного ему на стол в трактире. Евреи задержались в Габрово, чтобы навестить одного купца — за это время Роб мог зайти на один из трех постоянных дворов. Еда страшно его разочаровала: мясо пересолено в тщетной попытке скрыть запах гниения, лепешка черствая и заплесневелая, с дырками, которые, без сомнения, проточили жучки. Помещение, как и еда, тоже никуда не годилось. Если и на двух других постоянных дворах не лучше, то путников из их каравана ждала нелегкая зима. К тому же каждая свободная комната была буквально забита тюфяками, так что и спать придется буквально локоть к локтю.

Меиру со спутниками не понадобилось и часа, чтобы добраться до Трявны, куда меньшего поселка, чем Габрово. Еврейский квартал — кучка тесно прижавшихся друг к другу, словно для тепла, крытых соломой домиков из поседевших от дождей и снегов досок — отделялся от остальной части поселка голыми виноградниками и коричневыми полями. На полях коровы щипали остатки побитой заморозками травы. Путники свернули в грязноватый общий двор, где мальчишки приняты у них поводыя лошадей.

— Тебе лучше подождать здесь, — сказал Робу Меир.

Ждать пришлось недолго. Вскоре к нему вышел Симон и повел Роба в один из домов, дальше — по темному, пахнувшему яблоками коридору в комнату, где из мебели были лишь стул и стол, заваленный книгами и рукописями. На стуле сидел старик со снежно-белыми волосами и бородой. Был он широкоплечий, плотный, с дряблыми складками на шее. Карие глаза от старости стали водянистыми, однако Роба они сразу пронизали до костей. Никаких вступлений не последовало. Разговор шел, как будто на аудиенции у знатного господина.

— Рабейну сказали о том, что ты держишь путь в Персию и нуждаешься в изучении тамошнего языка ради своего дела, — сказал Симон. — Он же спрашивает: разве для учебы мало той радости, какую приносит само по себе познание нового?

— Иногда учение *приносит* радость, — сказал Роб, обращаясь непосредственно к старику. — Для меня же это прежде всего тяжелый труд. Я изучаю язык персов, ибо надеюсь, что это сможет доставить мне желаемое.

Симон и рабейну затараторили на своем наречии.

— Он спросил, всегда ли ты такой честный. Я ответил, что ты достаточно прямой человек, если можешь сказать умирающему, что он скоро умрет. И рабейну ответил: такой человек достаточно честен.

— Переведи: у меня есть деньги, я заплачу за кров и еду.

— У нас не постоянный двор, — покачал головой мудрец. — Кто живет здесь, тот должен трудиться, — передал Шломо бен Элиаху через Симона. — Если Всемогущий будет милостив к нам, то нынешней зимой цирюльник-хирург здесь не понадобится.

— Мне не обязательно работать цирюльником-хирургом, я готов делать то, что окажется полезным.

Длинные пальцы рабейну поглаживали и скребли его бороду, пока он размышлял. Наконец он объявил свое решение.

— Всякий раз, когда забитая корова будет признана некошерной, — перевел Симон, —

ты станешь отвозить мясо в Габрово и там продавать мяснику-христианину. А по субботам, когда евреи не должны трудиться, ты будешь поддерживать огонь в их очагах.

Роб замаялся. Старый еврей с интересом посмотрел на него, заметив сверкнувший в глазах Роба огонек.

— Что-то не так? — тихо пробормотал Симон.

— Если евреям нельзя трудиться по субботам, не хочет ли он погубить мою душу, поручая эту работу мне?

Раввин, услышав перевод, улыбнулся.

— Он говорит: ему кажется, что ты не очень стремишься сделаться евреем, мастер Коль.

Роб покачал головой.

— В таком случае он совершенно уверен, что ты без всяких опасений можешь трудиться по субботам, ибо их соблюдают лишь евреи. В Трявне ты будешь желанным гостем, говорит он.

Рабейну повел их туда, где будет спать Роб, в дальнюю часть большого коровника.

— В доме учения есть свечи. Но здесь зажигать свечи для чтения нельзя, потому что вокруг сухое сено, — строго предупредил рабейну через Симона и тут же приставил Роба к работе, велел вычистить стойла.

В ту ночь он спал на соломе, а кошка, как лев, охраняла его, устроившись в ногах. Мистрис Баффингтон время от времени покидала Роба, чтобы поугасть какую-нибудь мышку, но неизменно возвращалась. В коровнике было темно и влажно, от больших животных шло приятное тепло, и Роб, как только привык к постоянному мычанию коров и к сладковатому запаху навоза, уснул быстро и умиротворенно.

* * *

Зима пожаловала в Трявну, отстав от Роба всего на три дня. Ночью повалил снег, и в следующие два дня пушистые снежинки, такие большие, что походили на взбитые сливки, плыли и плыли к земле, иногда сменяясь противным мокрым снегом с пронизывающим ветром. Когда снегопад утих, Робу вручили большую деревянную лопату. Надев еврейскую кожаную шляпу, которую нашел на крючке в коровнике, он помогал другим разгрести сугробы перед дверями всех домов. Высоко над поселком сияли на солнце заснеженные вершины величественных гор, а разминка на свежем воздухе наполнила Роба добрыми предчувствиями. Когда снег разгребли, делать больше стало нечего. Теперь можно было идти в дом учения — барак с тонкими стенами, куда заползал холод, а символический огонь не в силах был ему противостоять; огонек был таким жалким, что люди нередко даже забывали подбрасывать в него топливо. Вокруг грубо сколоченных столов сидели евреи и час за часом учили что-то, при этом громко спорили и даже сердито ссорились друг с другом.

Язык, на котором они говорили, сами евреи называли «наречием». Как объяснил Симон, он состоял из смеси древнееврейских и латинских слов, а также из некоторых выражений, позаимствованных в тех странах, где они жили или часто бывали по делам. Такой язык был словно специально создан для спорщиков, и во время учебы они буквально метали слова друг в друга.

— О чем они так спорят? — спросил Меира Роб, замороженный этим зрелищем.

— О том, как понимать закон.

— А где их книги?

— Они книгами не пользуются. Те, кто знает законы, выучили их со слов своих наставников и запомнили на слух. Так испокон веку повелось. Есть, конечно, Писанный Закон, но с ним надо лишь сверяться. А всякий, кто знает Устный Закон, может быть наставником по толкованию законов — как их толковал его наставник. И таких толкований множество, ведь и наставников очень и очень много. Вот они и спорят между собой. И каждый раз, когда спорят, они узнают о законе немного больше.

С самого начала в Травне его стали называть мар Ройвен — так звучало «мастер Роберт» в еврейском произношении. Мар Ройвен Цирюльник-хирург. То, что его называли «мар», как и многое другое, отделяло Роба от остальных — евреи называли друг друга «реб», уважительным обращением, которое подчеркивало ученость, но было ниже по статусу, чем «рабейну». В Травне рабейну был только один.

Странные они были люди, не такие, как он, и по внешнему облику, и по своим обычаям.

— Что у него с волосами? — спросил как-то Меира реб Иоиль Левеки Чабан. У Роба единственного в доме учения, не было пейсов, традиционных для евреев длинных прядей волос, свисающих около ушей.

— Как умеет, так и причесывается. Он же гой ^[86], не такой, как мы, — объяснил Меир.

— Но ведь Симон говорил мне, что этот гой обрезан. Как такое может быть? — вмешался реб Пинхас бен Симеон Молочник.

— Случайность, — пожал плечами Меир. — Я с ним говорил об этом. Здесь нет ничего общего с заветом Авраама ^[87].

Несколько дней на мар Ройвена все таращились. Он тоже, в свою очередь, присматривался к окружающим, не переставая дивиться их странным головным уборам, локонам возле ушей, кустистым бородам, темным одеждам и языческим повадкам. То, как они молились, приковывало внимание Роба — все делали это совершенно по-разному.

Меир надевал свое молитвенное покрывало скромно, не привлекая ничьего внимания. А реб Пинхас разворачивал талес и встряхивал его чуть ли не высокомерно, держал перед собой, растянув за два конца, потом плавным движением рук и рывком запястий набрасывал себе на голову так, чтобы он лег на плечи легко, будто благословение.

Когда реб Пинхас молился, он неистово раскачивался взад-вперед, чтобы показать, с какой горячей верой возносит свои мольбы Всевышнему. Меир, читая молитвы, раскачивался едва-едва. Темп Симона находился где-то посередине, причем при наклонах вперед дрожь пробегала по его телу и голова немного тряслась.

Роб читал свою книгу, изучал ее и самих евреев. Вел он себя так же, как большинство из них, поэтому скоро на него перестали обращать особое внимание. Ежедневно по шесть часов — три часа после утренней молитвы (она называлась *шахарит*) и еще три после вечерней молитвы (*маарив*) — дом учения был переполнен, потому что большинство мужчин занималось учением до начала и после окончания дневной работы, каковая доставляла им средства к существованию. Но между этими оживленными часами в доме было сравнительно тихо, и лишь за одним-двумя столами сидели те, кто занимался исключительно учебой. Роб вскоре стал чувствовать себя среди них как дома, да и на него никто не смотрел. Не обращая внимания на тарабарщину евреев, он изучал персидский Коран и стал наконец заметно преуспевать в этом.

Когда у евреев наступал субботний отдых, Роб поддерживал огонь в их очагах. С того времени, когда расчищали снег, суббота была у него самым активным трудовым днем, но все

же достаточно легким, чтобы после обеда оставалось время на учебу. Еще через два дня он помог реб Или Плотнику вставить новые перекладыны в деревянные стулья. И, кроме этого, никакой другой работы у него не было, только занятия персидским языком, пока к исходу второй недели его жизни в Трявне внучка рабейну, Рахиль, не научила его доить коров. У нее кожа была белая, а волосы черные, заплетенные в две косы, обрамлявшие овал лица; маленький рот с полной нижней губой, как это часто бывает у женщин, крошечная родинка на горле и огромные карие глаза, которых она не сводила с Роба.

Когда они вдвоем были в коровнике, одна глупая корова, вообразившая себя быком, взобралась на другую корову, словно ей было чем войти в такую же самку.

Краска залила сперва шею, а затем и лицо Рахили, однако она улыбнулась и даже негромко засмеялась. Подалась вперед, сидя на табурете для дойки, уткнулась головой в теплый бок коровы, которую доила, и закрыла глаза. Разведя колени и туго натянув юбку, она ухватила соски в низу разбухшего вымени. Пальцы ее проворно сжимались и разжимались, перелетая с соска на сосок. Когда струи молока ударили в подставленное ведро, Рахиль сделала глубокий вдох и выдох. Розовый язычок прошелся по пересохшим губам, глаза открылись и посмотрели на Роба.

* * *

Роб в одиночестве стоял в темном коровнике, сжимая в руках одеяло. Оно сильно пахло Лошадью и было чуть больше, чем молитвенное покрывало. Быстрым движением он набросил одеяло на голову и плечи, будто талес реб Пинхаса. Многократные упражнения позволили ему уверенно набрасывать молитвенное покрывало. Под коровье мычание он встал на колени и стал учиться раскачиваться во время молитвы, неспешно, но целеустремленно. Робу больше нравилось подражать Меиру, нежели более горячему реб Пинхасу и ему подобным.

Но это все было нетрудно. А вот чтобы выучить их язык, странно звучащий и сложный, потребуется очень много времени, тем более что он тратил столько сил на изучение персидского.

Евреи обожали амулеты. На верхней трети правого косяка всякой двери они прибавали гвоздями маленькую трубочку, называемую *мезуза*. Симон говорил ему, что в каждой трубочке хранится туго скрученный пергаментный свиток [88]. На лицевой стороне квадратными ассирийскими буквами были написаны двадцать две строки из книги Второзаконие, из главы 6 — стихи 4—9 и из главы 11 — стихи 13—21. На оборотной стороне выведено слово «шаддаи», т. е. «Всемогущий».

Как заметил Роб за время путешествия, на утренней молитве ежедневно, кроме субботы, каждый взрослый мужчина привязывал к верхней части руки и ко лбу две маленьких кожаных коробочки. Назывались они тфилин [89] и содержали отрывки из священной книги, Торы: коробочка на лбу была ближе к разуму, а та, что на руке — ближе к сердцу.

— Мы так поступаем, выполняя то, что сказано в книге Второзаконие, — объяснял ему Симон. — «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём... и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» [90].

Трудность была в том, что Роб не знал — просто не видел никогда, — каким образом евреи привязывают эти тфилин. И Симона он спросить не мог — было бы странно, что

христианин интересуется подробностями иудейского ритуала. Он пример, но подсчитал, что вокруг руки они обматывают десять витков ремешка, но витки на ладони разглядеть было сложнее — ремешок как-то по-особому пропускался между пальцами.

Стоя в холодном пахучем коровнике, Роб обмотал левую руку веревкой, которая заменяла ему ремешки тфилин, но обмотать ладонь и пальцы выходило у него плохо — ерунда какая-то.

И все же евреи были прирожденными учителями, и всякий новый день Роб узнавал что-нибудь новое. В школе при Церкви Святого Ботульфа священники говорили ему, что ветхозаветного Бога зовут Иегова. Однако, когда он упомянул это имя здесь, Меир отрицательно покачал головой.

— Знай, что для нас Господь Бог наш, да благословен Он будет вовеки, имеет семь имен. Вот это — самое священное. — Обгорелой палочкой из очага он написал на досках пола на фарси и на «наречии» евреев: Яхве. — Это имя никогда не произносят вслух, ибо сущность Всевышнего выразить невозможно. Христиане произносят его неправильно, вот как ты только что. Иегова — это не имя Бога, понятно?

Роб кивнул.

Лежа ночью на своей соломенной постели, он припоминал новые слова и обычаи. Пока сон не одолевал его, повторял про себя фразы, отдельные благословения, жесты, произношение отдельных звуков, то выражение восторга, которое появлялось на лицах во время молитвы, — и все это накапливалось в его мозгу, как в кладовой, ожидая дня, когда может понадобиться.

* * *

— Держись подальше от внучки рабейну, — хмуро сказал Робу Меир.

— Она меня не интересуется. — Прошло уже много дней с тех пор, как они беседовали за дойкой, а больше она поблизости не появлялась.

По правде говоря, Робу накануне ночью приснилась Мэри Каллен, а утром он пробудился и долго еще лежал, как оглу-

шенный, с горящими глазами, пытаюсь припомнить подробности этого сна.

Вот и хорошо, — кивнул ему Меир с прояснившимся лицом. — Одна женщина подметила, что та смотрит на тебя слишком уж пристально, и доложила об этом рабейну. А он попросил меня поговорить с тобой. — Меир приложил к носу указательный палец. — Обменяться одним словом с умным человеком куда лучше, нежели целый год уговаривать дурака.

Роб обеспокоился и встревожился: ему необходимо было и дальше оставаться в Травне, наблюдать еврейские обычаи и учить фарси.

— Мне не нужны хлопоты из-за женщины.

— Само собой разумеется, — вздохнул Меир. — Хлопоты доставляет девушка, ее пора выдавать замуж. Она с детства помолвлена с реб Мешуллумом бен Натаном, внуком реб Баруха бен Давида. Знаешь реб Баруха? Такой высокий, худой. С длинным лицом. И нос у него тонкий, острый. Он в доме учения сидит сразу за очагом.

— А, этот! Знаю. Старик с горящими глазами.

— Глаза горят, потому что в нем пылает любовь к знанию. Если бы рабейну не был

рабейну, то реб Барух был бы рабейну. Они издавна были ярыми соперниками в учении и близкими друзьями. Когда их внуки были еще совсем крошками, они с радостью договорились поженить их, чтобы семьи объединились. А потом между ними произошла страшная ссора, которая положила дружбе конец.

— Из-за чего же они поссорились? — любопытствовал Роб. В Травне он уже достаточно освоился, чтобы и посплетничать немного.

— Они вдвоем забили быка. Ну, ты уже должен понимать, что наши законы *кашрут* [91] — древние и весьма сложные. Они включают правила и комментарии к ним: что и как надо делать, а что и как не надо. Так вот, на одном легком животного обнаружилось маленькое пятнышко. Рабейну привел в пример многие случаи когда такой недостаток объявлялся маловажным и ни в коей мере не мешал считать мясо чистым. Реб Барух привел в пример другие случаи, которые указывали на то, что мясо испорчено таким пятнышком и есть его нельзя. Он настаивал на своей правоте и обиделся на рабейну, который поставил под вопрос его; ученость.

Так они пререкались, пока рабейну не потерял терпения. «Разрубите животное пополам, — велел он. — Я свою половину заберу, а Барух пусть делает, что хочет, со своей».

Когда же он принес полбыка домой, то собирался съесть. А потом поразмыслил и стал сокрушаться: «Как же я стану есть мясо этого животного? Одна его половина лежит у Баруха на свалке, а я съем другую половину?» И решил выбросить свою половину тоже.

С тех пор они все время выступают друг против друга. Если реб Барух говорит «белое», то рабейну говорит «черное», а если рабейну говорит: «Это мясо», то реб Барух возражает: «Это молоко». Когда Рахили было двенадцать с половиной, то есть когда родителям пора уже было всерьез готовиться к свадьбе, их семьи ничего не стали обсуждать, потому что знали: любая встреча закончится ссорой между двумя старцами. А потом юный реб Мешуллум, предполагаемый жених, отправился с отцом и другими мужчинами семьи в свое первое торговое путешествие в дальние края. Они поехали в Марсель с грузом медных чайников и пробыли там чуть ли не год, выгодно все продали и заработали кучу денег. Считая с дорогой, отсутствовали два года, пока прошлым летом не воротились с целым караваном, груженным добротными французскими одеждами. И все равно обе семьи, удерживаемые дедушками, так и не договорились о свадьбе!

Ну, а теперь, — подвел итог Меир, — всем известно, что Рахиль можно спокойно считать *агуной*, брошенной женой. У нее есть сосцы, но она не вскармливает детей, она взрослая женщина, но у нее нет мужа, и все это — сплошной скандал!

Оба согласились в том, что Робу лучше всего не бывать в коровнике, когда идет дойка.

* * *

Хорошо, что Меир с ним поговорил: кто знает, как все обернулось бы, если бы он не дал Робу понять совершенно ясно, что гостеприимство на зиму не включает в себя право пользоваться женщинами? По ночам Роба изводили невыносимые видения длинных ног и тугих бедер, рыжих волос и бледных молодых грудей с подобными вишням сосками. Роб ничуть не сомневался, что у евреев есть молитва, в которой просят прощение за пролитое даром семя (у них на каждый случай были молитвы), но сам он таковой не знал, а потому прикрывал соломой следы своих сновидений и старался отвлекать себя работой.

Дело было нелегкое. Вокруг него все кипело от страсти, поощряемой религией иудеев; они считали, например, особым благословением предаваться любви накануне субботы — возможно, этим объяснялось, отчего они с таким нетерпением ждут окончания недели! Молодые мужчины совершенно свободно обсуждали подобные дела, жалуясь друг другу и охая, если к жене в это время нельзя было прикасаться. Супругам-иудеям запрещалось совокупляться в течение двенадцати дней после начала месячных истечений или семи дней после их окончания — смотря по тому, какой период оказывался длиннее. И воздержание не прекращалось до тех пор, пока жена не совершит ритуала очищения, погрузившись в *микву*.

Миква представляла собой выложенный кирпичом бассейн в общей бане, сооруженный прошедшей весной. Симон растолковал Робу: для того, чтобы миква считалась действительной, она должна наполняться водой из естественного родника или реки. Миква служила не для мытья, а для ритуального очищения. Мылись же евреи у себя в домах, но раз в неделю, накануне субботы, и Роб, и другие мужчины ходили в общую баню. Она состояла из бассейна и огромного жарко пылающего круглого очага, над которым были подвешены котлы с кипящей водой. Купальщики раздевались догола и, окутанные теплым паром, горячо спорили за привилегию поливать воду на рабейну, одновременно задавая многочисленные вопросы:

— *Ши-айла, рабейну, ши-айла!* Вопрос, вопрос!

Шломо бен Элиаху отвечал на каждый вопрос осторожно, подумав хорошенько, пересыпая ответ мудреными примерами и цитатами. Иногда Симон или Меир переводили их Робу с излишними подробностями.

— Рабейну, правда ли, что в Книге Наставлений сказано: всякий человек да отдаст старшего сына своего в серьезное учение на семь лет?

Голый рабейну задумчиво созерцал свой пуп, дергал себя за ухо, почесывал длинными бледными пальцами густую седую бороду.

— Такого *не написано*, дети мои. С одной стороны, — воздел он вверх указательный палец правой руки, — реб Хананиль бен Аши из Лейпцига держался именно *такого* мнения. С другой же, — теперь он устремил вверх палец левой руки, — по мнению рабейну Иосифа бен Элиахима из Яффы, это распространяется лишь на старших сыновей священников и левитов ^[92]. Но, — и тут он выбросил обе ладони по направлению к слушателям, — оба эти мудреца жили много сот лет назад. Мы же теперь живем в более просвещенном мире. И понимаем, что учиться надо не только первородным сыновьям — нельзя же к остальным сыновьям относиться, словно к женщинам. В наши дни принято, что всякий юноша проводит четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый годы жизни за глубоким изучением Талмуда, уделяя этому от двенадцати до пятнадцати часов ежедневно. А уж после те, кто имеет призвание, могут посвятить учению всю жизнь, тогда как остальные могут заняться торговлей и ремеслами, уделяя учению всего шесть часов в день.

Большинство вопросов, которые переводили гостю-христианину, были не таковы, чтобы заставить его сердце трепетать от волнения (а если говорить правду, он порой и слушал-то вполуха). И все же Робу нравилось проводить по пятницам вторую половину дня в бане: никогда еще он не чувствовал себя так свободно в компании других голых мужчин. Возможно, это было как-то связано с тем, что у него обрезана крайняя плоть. Будь он среди своих, его воспроизводительный орган уже давно служил бы объектом косых взглядов, насмешек, вопросов, грубых предположений. Одно дело, если экзотический цветок растет в одиночестве, и совсем другое — когда его окружает целое поле похожих.

В бане евреи не жалели дров, и Робу нравилось сочетание древесного дыма и насыщенного влагой пара, пощипывание кожи от крепкого желтого мыла, за изготовлением которого надзирала дочь рабейну, нравилась старательно отмеренная смесь кипятка с холодной родниковой водой, в результате чего купаться можно было в приятной, почти горячей воде.

Он никогда не окунался в микву, сознавая, что ему это запрещено. Хватало и того, что он плескался в пропаренной бане, наблюдая, как евреи стоически готовятся окунуться в ритуальный резервуар. Бормоча, а то и громко нараспев выкрикивая благословение, сопутствующее этому деянию — сообразно характеру каждого, — они спускались по шести скользким влажным каменным ступеням и окунались в глубокую холодную воду. Когда вода покрывала лицо, отфыркивались или же задерживали дыхание, ибо акт очищения требовал погрузиться так, чтобы на всем теле не осталось ни единого сухого волоска.

Даже если бы Роба пригласили, он ни за что не полез бы в холодную таинственную глубь воды, где они отправляли свой религиозный обряд.

В глубине души он чувствовал: стоит войти в эту непроглядную глубь, и тут же некая сила толкнет его в иной мир, где ведомы все грехи его нечестивого замысла, и тогда змий иудеев вонзят зубы в его плоть, а возможно, и сам Иисус покарает Роба.

Впервые за двадцать один год своей жизни Роб встречал Рождество в такой непривычной обстановке. Цирюльник не растил его особенно набожным христианином, однако на Рождество они всегда ели гуся и пудинг, смаковали студень из свиной головы и говяжьих ножек, пели, поднимали полные чаши, радостно хлопали друг друга по спине — все это вошло в плоть и кровь Роба. А сейчас он был в полном одиночестве, и на него нападала зевота. Не то чтобы евреи злонамеренно избегали его в этот день, просто им не было никакого дела до Иисуса. Разумеется, Роб мог бы выбраться в церковь, но он не стал делать этого. Удивительно, но сам факт того, что никто не поздравил его с Рождеством Христовым, сделал Роба в душе более твердым христианином, чем раньше.

Неделю спустя, на рассвете первого дня лета Господня 1032-го, он лежал на своей соломенной подстилке и размышлял, кем стал теперь и к чему это может его привести. Когда Роб колесил по острову Британия, то привык считать себя опытным и закаленным путешественником, но вот он уже оставил позади куда большее расстояние, чем все дороги родного острова, а впереди простирался еще весь мир, безграничный и совершенно не известный.

Этот день евреи праздновали, но вовсе не потому, что наступил новый год — они отмечали новолуние! С величайшим изумлением Роб узнал, что по их языческому календарю идет середина 4792 года.

Снег в этой стране был чудесный. Роб каждый раз радовался снегопаду, и все давно привыкли к тому, что после вьюги рослый христианин с большой лопатой работает за троих. Другой физической нагрузки у него здесь не было, и если он не расчищал снег, то учил фарси. Теперь он уже настолько освоил этот язык, что мог даже думать по-персидски, правда, медленно. Некоторым евреям, жившим в Трявне, доводилось бывать в Персии, и Роб старался говорить с ними на фарси всякий раз, когда удавалось завязать беседу.

— Произношение, Симон, как ты находишь мое произношение? — то и дело спрашивал он, немало докучая своему наставнику.

— Любой перс, кому охота смеяться, посмеется вдоволь, — ядовито отвечал Симон. — Для них ты все равно *чужеземец*. Или ты ждешь чуда? — Находившиеся в доме учения евреи понимающе переглянулись и улыбнулись тому, какой глупый этот молодой здоровяк-гой.

Ну и пусть себе улыбаются, думал Роб. Сам он изучал их куда с большим интересом, нежели они его. Так, он быстро выяснил, что Меир и его спутники были в Трявне не единственными пришельцами. В доме учения находилось немало других путешественников, которые пережидали здесь суровую балканскую зиму. Роб удивился, когда Меир сказал, что каждый платит не больше одной монеты за пищу и кров, предоставляемые целых три месяца.

— Именно благодаря этому, — объяснил Меир, — мой народ имеет возможность вести торговлю в разных странах. Ты уже сам видел, насколько трудно и опасно путешествовать по миру, и тем не менее любая еврейская община посылает своих купцов в дальние края. И в каждом еврейском поселении, будь то в христианских странах или в мусульманских, всегда примут странника-еврея, накормят и напоят, дадут место в синагоге ему самому и поставят на конюшню его лошадь. Торговцы из каждой общины в это время находятся в разных далеких краях, и там кто-нибудь заботится о них. Кто сегодня хозяин, тот через год сам

будет гостем.

Пришельцы быстро вливались в жизнь местной общины и даже говорить начинали с местным выговором. Так вышло, что однажды в доме учения Роб, беседуя на фарси с одним евреем из Анатолии, по имени Эзра Фарриер (что означало «коновал» на английском и «сплетник» на фарси!), узнал, что завтра состоится напряженный поединок. Рабейну выполнял здесь и функции *шохета* — резника, который забивает животных на мясо для всей общины. Завтра утром он должен забивать двух собственных молодых бычков. Небольшая группа наиболее уважаемых в общине мудрецов выполняет обязанности *машгиахов* — тех, кто следит за соблюдением сложных правил ритуала до мельчайших подробностей. А возглавлять *машгиахов* на этот раз будет не кто иной, как давний друг рабейнуа а ныне его ярый противник — реб Барух бен Давид.

* * *

Вечером Меир дал Робу урок по книге «Левит». Вот каких животных из многих населяющих землю разрешено употреблять в пищу евреям: всякий скот, жующий жвачку и имеющий раздвоенные копыта, — в их числе овец, коров, коз, оленей. А лошади, ослы, верблюды и свиньи — животные трефные, не кошерные.

Из птиц дозволены голуби дикие и домашние, куры, домашние утки и гуси. Мерзостны же среди крылатых тварей орлы, страусы, грифы, коршуны, кукушки, лебеди, аисты, совы, пеликаны, чибисы и летучие мыши.

— В жизни не ел я более нежного мяса, чем у молодого лебедя, от души сдобренного салом, завернутого в соленую свинину и медленно зажаренного на костре!

— Здесь ты такого не получишь, — сказал Меир, брезгливо поморщившись.

Утро выдалось ясное и холодное. После *шахарита*, утренней молитвы, в доме учения почти никого не осталось, ибо множество людей пошло во двор рабейну — смотреть, как пройдет *ихита*, ритуал забоя скота. От их дыхания в тихом морозном воздухе висели клубы пара.

Роб стоял рядом с Симоном. Легкое волнение пробежало по толпе, когда появился реб Барух бен Давид вместе со вторым *машгиахом*, согбенным старцем по имени реб Самсон бен Занвил, на лице которого застыло суровое выражение.

— Он годами старше и реб Баруха, и самого рабейну, но он не такой ученый, — прошептал Симон. — Сейчас он боится оказаться между ними, если начнется спор.

Четверо сыновей рабейну вывели из коровника первое животное — черного быка с широкой спиной и тяжелым крестцом. Бык замычал, вскинул голову и стал рыть землю копытами. Чтобы с ним справиться, потребовалось призвать на помощь кое-кого из зрителей — быка держали на туго натянутых веревках, пока *машгиахи* внимательно осматривали каждую пядь его тела.

— Достаточно малейшей болячки или трещинки на коже, чтобы признать быка не годным в пищу, — сказал Симон.

— А почему?

— Потому что таков закон, — ответил Симон, не без раздражения взглянув на Роба.

В конце концов старцы остались удовлетворены осмотром и быка повели к яслям, наполненным душистым сеном. Рабейну взял в руки длинный нож.

— Обрати внимание на тупой квадратный кончик ножа, — комментировал Симон. — Он специально не заострен, чтобы не оставить царапин на шкуре. Зато сам нож остер как бритва.

Все мерзли на морозе, но пока ничего не происходило.

— Чего они ждут? — шепотом поинтересовался Роб.

— Выжидают подходящее время, — ответил Симон. — В момент смерти животное должно быть совершенно неподвижным, иначе оно некошерное.

Он еще не закончил фразу, а нож уже сверкнул в воздухе. Одним умелым взмахом рабейну перерезал быку глотку от уха до уха, вскрыв сонную артерию. Ударила красная струя, сознание тут же покинуло быка: кровь больше не поступала в его мозг. Большие глаза затуманились, бык упал на колени, а через мгновение был мертв.

В толпе зрителей раздались приглушенные довольные возгласы, однако они быстро стихли: реб Барух взял нож и стал внимательно его осматривать.

Роб видел, что лицо старца напряглось, отражая внутреннюю борьбу.

— Что-нибудь не так? — холодно спросил рабейну.

— Боюсь, что да. — И реб Барух показал крошечный изъян: на середине тщательно заточенного лезвия была еле заметная зазубрина. Старый сморщенный реб Самсон бен Занвил выглядел явно растерянным — он признавал, что сейчас его, второго машгиаха, попросят высказать свое суждение, а этого ему делать не хотелось.

Реб Даниил, старший из сыновей рабейну и отец Рахили возмущенно полез в спор.

— Что это еще за глупости? Всем известно, как тщательно заточены ритуальные ножи рабейну! — воскликнул он, однако его отец поднял руку, заставляя сына замолчать.

Рабейну поднял нож к солнцу и привычным движением прошелся пальцем под острым как бритва лезвием. Он вздохнул, ибо зазубринка там была — недосмотр, в результате которого мясо стало, по закону, не пригодным в пищу.

— Какое счастье, что твои глаза острее этого клинка и по-прежнему охраняют нас, мой старый друг, — тихо проговорил он, и все стоявшие затаив дыхание облегченно вздохнули.

Реб Барух улыбнулся. Он протянул руку и погладил по руке рабейну; оба старика долго смотрели в глаза друг другу.

Потом рабейну отвернулся и позвал мар Ройвена Цирюльника-хирурга. Роб и Симон выступили из толпы и стали внимательно слушать.

— Рабейну просит тебя отвезти тушу этого тrefного быка в Габрово, мяснику-христианину, — перевел Симон.

Роб вывел Лошадь, которая давно уже нуждалась в разминке, запряг ее в местные сани без бортов, куда многочисленные добровольцы загрузили убитого быка. Когда он взял вожжи и направил Лошадь прочь от Трявны, рабейну уже зарезал второго быка предварительно проверенным и одобренным ножом, мясо было признано кошерным, а зрители стали понемногу расходиться.

* * *

Роб медленно ехал в Габрово, испытывая большую радость. Лавку мясника он нашел точно там, где она и должна была находиться по данным ему описаниям — через три дома от самого важного здания в городе, то есть от постоянного двора. Мясник был высоким,

толстым — ходячая реклама своего ремесла. Языковых трудностей не возникло.

— Трявна, — сказал Роб и показал на убитого быка. Румяное жирное лицо мясника расплылось в улыбке.

— А, рабейну, — сказал он и энергично закивал. Снять быка с саней оказалось делом нелегким. Мясник пошел в таверну и вернулся с двумя мужчинами, вызвавшимися помочь. Обвязав тушу веревками, ее, после долгих трудов, удалось стащить на землю.

Симон заранее объяснил, что цена давным-давно согласована, торговаться не о чем. И, когда мясник протянул Робу несколько мелких монеток, стало ясно, почему он так радостно улыбался — ведь ему, почитай, даром досталась целая туша отличной говядины лишь благодаря тому, что на ноже резника оказалась крошечная зазубрина! Роб подумал, что никогда не сможет понять людей, способных без всякой разумной причины выбросить на свалку добрую говядину. Подобная глупость бесила его и заставляла даже испытывать некоторый стыд. Хотелось объяснить мяснику, что сам он христианин, а не один из тех, кто вытворяет такие глупости. Но он мог лишь принять монеты от имени иудейской общины и положить их для сохранности в свой кошель.

Покончив с порученным делом, Роб отправился напрямик в таверну ближайшего постоянного двора. Трактир оказался темным, длинным, узким, скорее похожим не на зал, а на тесный горный проход: низкий потолок совсем почернел от копоти очага, вокруг которого расположились девять или десять мужчин и пили от нечего делать. За маленьким столиком, неподалёку, сидели три женщины, напряженно ожидая, когда их позовут. Пригубив коричневый неочищенный виски, не пришедшийся ему по вкусу, Роб разглядел их. Женщины были явно продажными девками для посетителей таверны. Две были уже явно потасканными, а третья — молодая блондинка с личиком одновременно и невинным, и порочным. Она поняла, почему Роб так ее разглядывает, и улыбнулась ему.

Допив чарку, Роб подошел к их столику.

— Не думаю, что кто-нибудь из вас понимает по-английски, — пробормотал он и не ошибся. Одна из женщин постарше что-то сказала, две другие засмеялись. Но Роб достал монету и протянул ее молодой. Другого языка им и не требовалось. Она опустила монету в карман, встала из-за стола, ни слова не сказав товаркам, и пошла взять свой плащ, висевший на крюке у двери.

Вслед за нею Роб вышел из таверны и на заснеженной улице повстречал Мэри Каллен.

— Здравствуйте! Благополучно ли вы с отцом проводите зиму?

— Зиму мы проводим просто ужасно, — ответила она, и Роб заметил по ее виду, что так оно и есть. Нос у нее покраснел, а на нежной верхней губе вскочила лихорадка. — На постоялом дворе стоит лютый холод, а еда никуда не годится. А вы и правда живете у евреев?

— Правда.

— Как вы можете? — спросила она возмущенно.

Он уже позабыл цвет ее глаз, и теперь они его обезоруживали, словно он случайно увидел на снегу двух сказочно прекрасных птичек.

— Я сплю в теплом коровнике. Отлично питаюсь, — с большим удовольствием сообщил он девушке.

— Отец говорил мне, что евреи издают особый зловонный запах, который на латыни называется *foetor judaicus*. Это потому, что они натирали тело Христа, когда он умер, чесноком.

— Ну, иногда от нас всех не очень хорошо пахнет. Но у них в обычае каждую пятницу погружаться в воду с головы до пят. Думаю, они моются чаще, нежели большинство из нас.

Девушка покраснела, и Роб догадался, что на постоянных дворах в Габрово вода для купания бывает редко и получить ее не легко. Мэри тем временем оглядела женщину, которая терпеливо дожидалась Роба, стоя невдалеке от них.

— Отец говорит: всякий, кто соглашается жить у евреев, уже никогда не станет настоящим человеком.

— Ваш отец показался мне очень хорошим человеком. Однако не исключено, — задумчиво проговорил Роб, — что он просто болван. — И в ту же минуту они одновременно двинулись в противоположные стороны.

Вслед за светловолосой женщиной Роб дошел до ее комнаты, находившейся недалеко от таверны. Там было не прибрано, повсюду валялась грязная женская одежда, и Роб предположил, что она живет здесь вместе с теми двумя. Пока женщина раздевалась, он смотрел на нее.

— Жестоко смотреть на тебя после того, как я видел ту, другую, — произнес он, зная, что она не понимает ни слова из сказанного. — Возможно, она бывает резковата в выражениях, но... Конечно, она не красавица, и все же не так много женщин могут сравниться внешностью с Мэри Каллен.

Женщина улыбнулась Робу.

— Ты еще молодая шлюха, а выглядишь старой, — добавил Роб. В комнате было холодно. Женщина быстро сбросила одежду и забралась под меховые покрывала, спеша согреться. Все же Роб успел разглядеть то, что ему не очень понравилось. Он весьма ценил исходивший от женщин запах мускуса, но от этой воняло кислым, а волосы слиплись, словно любовные соки бесчисленное множество раз высохали на ее теле, не ведавшем омовения в простой чистой воде. Длительное воздержание породило в нем такой голод, что Роб уже готов был наброситься на эту женщину, но беглый взгляд на ее посиневшее от холода тело обнаружил плоть, так часто употребляемую, что у него пропало желание к ней прикоснуться.

— Черт побрал бы эту рыжую ведьму, — сердито проговорил Роб.

Женщина озадаченно смотрела на него.

— Ты ни в чем не виновата, куколка, — сказал он ей, роясь в кошельке. Он заплатил гораздо больше, чем она стоила, даже если бы было за что платить; она схватила монеты и прижала их к телу под меховым покрывалом. Роб даже не начал раздеваться, так что он просто одернул свою одежду, кивнул женщине и вышел на свежий морозный воздух.

* * *

Шел февраль, и Роб почти все время проводил в доме учения, разбирая Коран на персидском языке. Его неизменно поражала неприкрытая враждебность Корана по отношению к христианам и резкое порицание евреев.

— Первыми наставниками Мухаммеда были евреи и христианские монахи-сирийцы, — объяснял ему Симон. — И когда он впервые объявил, что ему явился архангел Гавриил, что сам Бог провозгласил его своим Пророком и поручил основать новую, совершенную религию, то ожидал, что эти старые друзья с ликованием последуют за ним. Но христиане предпочли свою прежнюю религию, а встревоженные евреи, почувствовав угрозу, дружно

присоединились к тем, кто опровергал его учение. До конца дней своих он им этого не забыл и не простил. Говорил и писал о них крайне резко.

Комментарии Симона помогали Робу почувствовать живую душу Корана. Он осилил книгу уже почти до половины и продолжал упорно работать над нею, не забывая, что скоро предстоит возобновить путешествие. А из Константинополя Меир со спутниками и Роб двинутся дальше разными путями, что лишит его и уроков Симона, и — что еще важнее — самой книги. Коран позволял ему приоткрыть завесу над другой культурой, весьма далекой от его собственной, а еврейская община Трявны давала возможность взглянуть и на третий образ жизни. В детстве ему казалось, что Англия и есть весь мир, но теперь он повидал много других народов. В чем-то они были схожи друг с другом, но были между ними и существенные различия.

Происшествие при забое быков примирило рабейну и реб Баруха бен Давида, и две семьи стали незамедлительно обсуждать свадьбу Рахили и молодого реб Мешуллума бен Натана. Весь еврейский квартал Трявны был охвачен бурной деятельностью, а оба старца расхаживали в самом прекрасном расположении духа, нередко вдвоем.

Рабейну подарил Робу старую кожаную шляпу и дал в пользование, для учебы, небольшой свиток из Талмуда. Это собрание иудейских религиозных законов было переведено на язык фарси. Роб обрадовался возможности почитать на фарси новый текст, однако постичь смысл свитка так и не сумел. В этой главе речь шла о запрете носить *шаатнез* ^[93]: хотя евреям дозволялось носить полотняную одежду и одежду из шерсти, закон запрещал им носить одежду из смеси шерсти и льна ^[94], а почему — это осталось Робу непонятным. Те же, к кому он обращался с вопросами, либо сами не знали, либо пожимали плечами и говорили: «Таков закон».

И вот в пятницу, в парилке бани, когда мужчины окружили мудреца, голый Роб собрался наконец с духом.

— Ши-айла, рабейну, ши-айла! — выкрикнул он. «Вопрос! Вопрос!»

Рабейну перестал намыливать свой большой округлый живот, улыбнулся чужаку и что-то сказал.

— Он говорит: «Спрашивай, сын мой», — перевел Симон.

— Вам запрещено есть мясо вместе с молоком. Вам запрещено носить одежду из льна с шерстью. Вам запрещено касаться своих жен половину дней в месяце. Почему так много запретов?

— Дабы не забывать о вере, — ответил рабейну.

— Но отчего же Бог предъявляет такие странные требования к евреям?

— Для того чтобы мы не смешивались с вами, — сказал рабейну, однако в его глазах вспыхнули искорки, смягчая резкость ответа. И тут же Роб едва не задохнулся: Симон вылил ему на голову кувшин воды.

* * *

Во вторую пятницу месяца адар ^[95]Рахиль, внучка рабейну, вышла замуж за внука реб Баруха, Мешуллума, и вся община гуляла на свадьбе.

Рано утром все собрались у дома Даниила бен Шломо, отца невесты. Мешуллум, войдя внутрь, заплатил за невесту щедрый выкуп — пятнадцать золотых монет. Подписали

ктубу— брачный контракт, после чего реб Даниил передал жениху щедрое приданое: вернул выкуп молодым и добавил от себя еще пятнадцать золотых, а также повозку и упряжку лошадей. Натан, отец жениха, подарил счастливым молодоженам двух дойных коров. Когда выходили из дома, сияющая Рахиль прошествовала мимо Роба с таким видом, словно никогда и не замечала его.

Вся община сопровождала молодых в синагогу, где они, стоя под особым навесом, прочитали семь славословий Господу Богу. Мешуллум ногой раздавил хрупкую стеклянную чашу, наглядно показывая, что счастье преходяще и нельзя евреям забывать о разрушении Храма. Затем они были объявлены мужем и женой, и начался пир на весь день. Флейтист, дудочник и барабанщик играли на своих инструментах, а все присутствующие с чувством пели: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». Симон сказал Робу, что это строки из Писания [\[96\]](#). Оба деда от радости распахивали объятия, прищелкивали пальцами, закатывали глаза, запрокидывали головы и пускались в пляс. Свадебный пир затянулся до поздней ночи; Роб объелся мясом и жирными запеканками, да и выпил чересчур много.

Ночью он глубоко задумался, лежа на соломе в теплом коровнике. Кошка примостилась у него в ногах. Вспоминал светловолосую женщину в Габрово все с меньшим и меньшим отвращением и старался отогнать мысли о Мэри Каллен. С завистью думал о тощем юном Мешуллуме, который в эту минуту возлежит с Рахилью, и надеялся, что полученное новобрачным глубокое образование позволит тому в полной мере оценить свалившееся на него счастье.

Пробудился Роб задолго до рассвета и скорее ощутил, чем услышал, что в окружающем мире что-то изменилось. Потом он снова уснул и снова проснулся, и теперь уже ясно различал звуки: капель, бульканье, журчание, все нарастающий гул по мере того, как все новые массы снега и льда таяли и вливались в потоки воды на оживающей земле. Они катились по склонам гор, возвещая приход весны.

Когда у Мэри Каллен умерла мать, отец сказал, что будет скорбеть о Джуре Каллен до конца дней своих. Мэри охотно поддерживала его, одеваясь только в черное и избегая всяческих развлечений, но 18 марта, когда минул ровно год, она сказала отцу, что пора возвращаться к обычному порядку жизни.

— Я буду по-прежнему одеваться в черное, — сказал Джеймс Каллен.

— А я нет, — заявила девушка, и отец кивнул.

Покидая родину, она прихватила с собой отрез светлой шерстяной материи, из шерсти их собственных овец, и теперь стала подробно всех расспрашивать, пока не нашла в Габрово хорошую портниху. Когда она объяснила, чего хочет, женщина согласно закивала, однако сказала, что материю, имевшую неопределенный натуральный цвет, сначала хорошо бы окрасить, а уж потом кроить. Корни растения марены дают красноватый оттенок, но тогда Мэри со своими рыжими волосами будет гореть, словно маяк. Сердцевинкой дуба можно окрасить материю в серый, но девушке серый показался слишком незаметным — ей и без того уж надоели черные одеяния. Кора клена или сумаха дадут желтый цвет с оранжевыми тонами — будет выглядеть слишком легкомысленно. Платье должно быть коричневым.

— Я и так всю жизнь носила одежду, окрашенную ореховой скорлупой — коричневую, — ворчала она, беседуя с отцом.

Назавтра отец принес ей маленький горшочек желтоватой пасты, слегка напоминающей цветом залежавшееся масло.

— Вот тебе краска, жутко дорогая.

— Этот цвет не самый мой любимый, — осторожно ответила Мэри.

Джеймс Каллен улыбнулся:

— Это называется индиго, синяя краска из Индии. Ее разводят в воде, только смотри, чтобы на руки не попало. Когда мокрую материю вынимают из желтого раствора, она на воздухе меняет свой цвет, и потом краска держится крепко.

Получилась материя насыщенного, сочного синего цвета, какого Мэри еще и не видала, а портниха скроила и сшила ей платье и плащ. Девушке очень понравились эти наряды, но она свернула их и отложила до той поры, когда продолжится путешествие. Десятого апреля охотники принесли в Габрово весть, что путь через перевал наконец-то свободен.

Сразу после полудня многие путники, в окрестных селах ожидавшие теплого времени, устремились в Габрово, откуда караван должен двинуться через перевал — Врата Балкан. Желаящие продать путникам продовольствие в дорогу разложили свой товар, а толпа желающих купить кричала и ссорилась за право быть первым.

Мэри пришлось заплатить жене хозяина постоянного двора и долго ее уговаривать, чтобы та — в такое горячее время! — подогрела воды и принесла наверх, в женскую спальню. Сперва Мэри встала на колени у деревянного корыта и вымыла волосы, длинные и густые, как зимний мех у животных, потом села на корточках в тазу и долго терла себя, пока кожа не засияла.

Надела недавно сшитую одежду и вышла посидеть у ворот, расчесывая деревянным гребнем быстро высыхающие на солнце волосы, она смотрела на главную улицу Габрово, где толпились люди и сгрудились повозки. Вдруг показалась большая группа верховых, вдрызг

пьяных, и промчалась галопом через весь городок, не обращая внимания на тот урон, который наносили копыта их боевых скакунов. Чьи-то запряженные лошади испугались, попятнулись, вращая дикими глазами, повозка перевернулась. Мужчины с руганью натягивали поводья коней, пытаются удержать их. Лошади пронзительно ржали. Мэри вбежала в дом, хотя волосы не высохли до конца.

К тому времени, когда появился отец в сопровождении Шереди, своего лакея, Мэри уже собрала и упаковала все их пожитки.

— Кто эти люди, промчавшиеся по городу, будто вихрь?

— Они называют себе христианскими рыцарями, — холодно ответил отец. — Их человек восемьдесят, французы из Нормандии, а путь держат в Палестину как паломники.

— Они люди опасные, госпожа, — предупредил Шереди. — Носят только короткие кольчуги, но в повозках у каждого — полный доспех. Пьют, не просыхая, и... — смущенно отвел глаза, — дурно обращаются с женщинами, кто бы те ни были. Вам, госпожа, нельзя отходить от нас.

Она с серьезным видом поблагодарила Шереди, однако нелепо было думать, что слуга и отец сумеют защитить ее от восьмидесяти пьяных и агрессивных рыцарей. Мэри даже посмеялась бы, когда бы это не было так грустно.

В составе большого каравана потому и путешествовали, что он предоставлял коллективную защиту, и Каллены, не теряя времени, нагрузили вьючных животных и погнали их на большое поле у восточного края города, где собирался весь караван. Проезжая мимо повозки керла Фритты, Мэри увидела, что он уже установил свой походный стол и быстро набирает новых желающих присоединиться к каравану.

Похоже было, будто они возвратились домой — с ними то и дело здоровались те, с кем они познакомились на пути сюда. Каллены отыскивали свое место почти в середине каравана, потому что сзади прибавилось много новых путников.

Мэри все время оглядывалась по сторонам, но только перед самой темнотой появились те, кого она ожидала. Те пятеро евреев, с которыми он покинул караван, возвращались верхами, а позади она разглядела гнедую кобылку. Роб Джереми Коль гнал свою ярко раскрашенную повозку прямо к Мэри, и она вдруг почувствовала, как сильно забилось сердце в груди.

Выглядел он отлично, как и всегда, и был, кажется, рад возвращению. Калленов он приветствовал весело, словно он и Мэри не разошлись сердито после своей предыдущей встречи.

Когда он, позаботившись сперва о лошади, подошел к их костру, Мэри, как добрая соседка, не могла не сказать ему, что местные торговцы почти все уже распродали. Если он не поторопится, то может остаться без провизии.

Он любезно поблагодарил девушку, но сказал, что без всяких трудностей запасся провизией в Травне.

— У вас-то самой достаточно?

— Да, отец успел закупить припасы одним из первых. — Ее обижало, что он ничего не сказал о новом платье и плаще, хотя смотрел на нее долго-долго, как никогда раньше.

— Они точно такого цвета, как ваши глаза, — сказал он наконец.

Мэри приняла это как комплимент, хотя до конца уверена не была.

— Спасибо, — отозвалась она без улыбки и заставила себя отвернуться: приближался отец, и Мэри стала наблюдать, как Шереди разбивает палатку.

Минул следующий день, а караван все не трогался с места; вдоль всей колонны слышалось недовольное ворчание. Отец пошел к Фритте, вернулся и сказал, что мастер караванщик ожидает, пока уедут нормандские рыцари.

— Они творят дурные дела, поэтому мудрый Фритта хочет, чтобы они ехали впереди каравана, а не беспокоили наш тыл.

Но на следующее утро рыцари все еще были здесь, и Фритта решил, что ждал вполне достаточно. Он подал сигнал — караван двинулся на последний этап пути, к Константинополю; мало-помалу общее движение докатилось и до Калленов.

Осенью они следовали за одним молодым франком с женой и двумя детьми. Эта франкская семья зимовала где-то недалеко от Габрово, и они определенно говорили, что намерены дальше двигаться с караваном, однако сейчас их не было видно. Мэри не сомневалась, что произошло нечто ужасное, и молила Бога смилостивиться над ними. Теперь она ехала позади двух толстых братьев-французов, которые еще раньше рассказывали отцу, что мечтают заработать целое состояние на продаже турецких ковров и иных ценных вещей. Они все время жевали чеснок для укрепления здоровья и нередко оборачивались и глупо таращились на прелести Мэри. Тут ей пришло в голову, что цирюльник-хирург, едущий на повозке сзади, тоже, наверное, разглядывает ее, и время от времени Мэри нарочно вертела бедрами больше, чем того требовала езда в седле.

Гигантской змеей караван вскоре вполз на перевал, который служил проходом в высоких горах. Дорога петляла, ниже шли крутые обрывы, а в самом низу поблескивала река, вздувшаяся после таяния снегов, преграждавших им путь всю зиму.

По другую сторону глубокого ущелья шли предгорья, постепенно сменявшиеся пологими холмами и равниной. Ночь путники провели на широкой равнине, поросшей густым кустарником. На следующий день двинулись дальше к югу, и стало ясно, что Балканские Врата разделяют две области с совершенно разным климатом: по эту сторону перевала воздух был гораздо теплее и с каждым часом пути теплел все заметнее. Заночевали они у Деревни Горня, разбив лагерь, с разрешения крестьян, среди сливовых садов. Хозяева продавали желающим огневую сливовую настойку, зеленый лук, напиток из кислого молока — такой густой, что его приходилось есть ложкой. Рано утром, когда еще не снялись со стоянки, Мэри услышала отдаленные раскаты грома. Шум быстро нарастал, и вскоре в нем можно было различить выкрики мужчин.

Выйдя из палатки, Мэри увидела белую кошечку, которая покинула повозку цирюльника-хирурга и теперь стояла, замерев, на дороге. Французские рыцари пронеслись мимо галопом, как демоны в страшном сне, туча пыли закрыла кошечку, но Мэри успела все же заметить, что натворили копыта первых коней. Своего крика Мэри не услышала, но отчетливо помнила, что бросилась на дорогу, когда туча пыли еще не успела осесть.

Мистрис Баффингтон не была больше белой. Кошечку буквально втоптали в дорожную пыль. Мэри подняла изломанное тельце несчастного животного, и только тут заметила, что он вышел из повозки и стоит рядом.

— Вы испачкаете кровью новое платье, — резко сказал Роб, но лицо его было искажено болью.

Он забрал кошечку, взял с собой лопату и ушел из лагеря. Когда вернулся, Мэри не стала

подходить к нему, но издали заметила, что глаза у него покраснели. Закопать мертвое животное — не то же самое, что похоронить человека, но Мэри не удивилась тому, что он способен плакать по кошке. Несмотря на высокий рост и немалую физическую силу, он был мягким, ранимым человеком, это-то и притягивало Мэри к нему.

Следующие несколько дней она не докучала Робу. Караван не шел дальше на юг, а повернул снова на восток, но солнце припекало с каждым днем все сильнее. Мэри уже стало ясно, что она зря потратилась в Габрово на новое платье: погода была слишком теплой, чтобы носить шерстяные одежды. Она перерыла свои запасы летних нарядов, нашла кое-что светлое, но эти платья были слишком праздничными, в дороге они не годились — слишком быстро изнасятся. Она остановилась на полотняном белье и грубом, похожем на мешок, рабочем платье, которое, чтобы сделать его понаряднее, перевязала шнурком на талии. На голову надела широкополую кожаную шляпу, хотя нос и щеки все равно уже покрылись веснушками.

Однажды утром она сошла с седла и продолжила путь пешком, чтобы, по обыкновению, размяться. Он улыбнулся ей:

— Забирайтесь в мою повозку, поедем вместе.

Мэри без споров взобралась на козлы. На этот раз она не испытывала никакой неловкости, ей радостно было сидеть с ним рядом.

Роб покопался под сиденьем и вытащил собственную кожаную шляпу, но такого фасона, какой носили евреи.

— Где вы это раздобыли?

— В Трявне мне дал ее священник.

Тут они увидели, как кисло смотрит на Роба ее отец, и дружно расхохотались.

— Удивляюсь, что он позволяет вам ехать со мной.

— А я его убедила, что от вас никакого вреда нет.

Они доверительно посмотрели друг другу в глаза. Его лицо было красиво, несмотря на прискорбно сломанный нос. Мэри сообразила, что сколь бесстрастным ни выглядело бы его лицо, все чувства отражались в глазах — глубоких, внимательных и почему-то казавшихся старше, чем он сам. В этих глазах девушка видела бездну одиночества, не меньшего, чем ее собственное. Интересно, сколько ему лет. Двадцать один? Двадцать два?

Мэри вздрогнула, отвлекаясь от своих мыслей: он говорил что-то о возделанном крестьянами плато, по которому пролегал их путь.

— ...главным образом фруктовые деревья и пшеницу. Зимы здесь, должно быть, короткие и мягкие, ведь пшеница уже вон как подросла, — говорил Роб, но девушке не хотелось упускать то чувство близости, которое появилось в первые минуты.

— В тот день в Габрово я на вас очень рассердилась.

Другой на его месте стал бы возражать или улыбнулся, но он ничего не сказал.

— Из-за той славянки. Как вы только могли с ней пойти? На нее я тоже рассердилась.

— Не стоит зря сердиться ни на меня, ни на нее. Она была такая жалкая, я даже не стал ложиться с нею. Увидел вас, и это мне все испортило, — сказал он бесхитростно.

Мэри и не сомневалась, что он скажет ей правду, и в ее душе цветком распустилось чувство нежности и торжества.

Вот теперь можно было поговорить и о пустяках: о пролегающей впереди дороге, о том, как погонять животных, чтобы те не слишком утомлялись, о том, как трудно раздобыть хворост, чтобы приготовить пищу. Всю вторую половину дня они сидели рядышком и

негромко говорили обо всем на свете, кроме белой кошечки и себя самих — а его глаза и без слов говорили ей многое.

Мэри все видела и понимала. По нескольким причинам это ее очень пугало, и все же она нигде больше не хотела бы оказаться в это время, только сидеть вот так рядом с ним на неудобной, покачивающейся повозке, под палящим солнцем. И лишь когда отец наконец властно позвал ее к себе, она подчинилась, но весьма неохотно.

* * *

Время от времени им встречались пасущиеся недалеко от дороги стада овец, в большинстве своем очень неприглядных, хотя ее отец непременно останавливался и внимательно осматривал их, а потом в сопровождении Шереди отправлялся поговорить с владельцами стад. Пастухи в один голос утверждали: чтобы отыскать действительно отличных овец, надо ехать далеко, до самой Анатолии.

К началу мая они были в одной неделе пути от Турции [\[97\]](#), и Джеймс Каллен даже не скрывал своих надежд и волнений. Его дочь тем временем переживала свои собственные надежды и волнения, но она всеми силами старалась скрывать их от отца. Возможность послать улыбку или бросить взгляд в сторону цирюльника-хирурга имела всегда, однако Мэри иной раз принуждала себя не подходить к нему два дня подряд: боялась, что если отец догадается о ее чувствах, то прикажет ей держаться подальше от Роба Коля.

Как-то вечером, когда она чистила посуду после ужина, Роб пришел к их костру. Вежливо кивнул ей и направился прямо к отцу, держа на виду флягу крепкого вина как символ мира и дружбы.

— Присаживайся, — неохотно предложил отец. Но после первой чарки он стал дружелюбнее — несомненно, потому, что было приятно посидеть в компании, поговорить на английском языке, да и трудно было не поддаться обаянию Роба Джереми Коля. Прошло совсем немного времени, и Джеймс Каллен уже рассказывал гостю, что их ожидает дальше:

— Мне все говорят о восточной породе овец, поджарых, с узкой спиной, зато хвост и задние ноги у них такие жирные, что на запасах жира скотинка может долго жить во время бескормицы. У их ягнят руно шелковистое, с необычным, редко встречающимся блеском. Подожди, дружище, сейчас я тебе сам покажу! — Он скрылся в палатке и тут же вернулся с барашковой шапкой в руках. Серое руно было в тугих мелких завитках.

— Высшее качество, — сказал он с жаром. — Таким курчавым руно бывает только до пятого дня жизни ягненка, а потом еще два месяца оно остается волнистым.

Роб внимательно рассмотрел шапку и согласился: шкурка просто замечательная.

— О, так *и есть!* — подхватил Каллен и водрузил шапку себе на голову. Мэри и Роб засмеялись — вечер был теплый, а барашковая шапка нужна, когда стоят морозы. Каллен отнес шапку в палатку, они все втроем сели у костра, и отец позволил Мэри отхлебнуть раз другой из его кружки. Не так-то легко оказалось проглотить крепкое вино, зато после этого мир стал казаться уютнее.

Раскат грома потряс побагровевшее небо, ярко сверкнула молния и на несколько долгих мгновений осветила их. Мэри успела разглядеть жесткие черты лица Роба, но глаза с открытым и незащитным взглядом остались в тени.

— Удивительный край, — заметил ее отец. — То и дело гром и молния, а дождя ни

капли. Я вот хорошо помню то утро, Мэри Маргарет, когда ты родилась. Тогда тоже гремел гром и сверкала молния, но шел еще и добрый шотландский ливень — так лило, будто разверзлись хляби небесные, а само небо едва не касалось земли.

— Наверное, это было в Килмарноке, — подался вперед Роб, — там, где ваше хозяйство?

— Да нет, не там, а в Солткотсе. Ее мать была из семьи Тедде-ров из Солткотса. Я привез Джуру в родительский дом, потому что ей, когда она затяжелела, очень не хватало матери. Нас там холили и лелеяли не одну неделю, вот мы и задержались, а уж пришло время рожать. Начались схватки, и вышло так, что Мэри Маргарет родилась не в Килмарноке, как все порядочные Каллены, а в доме дедушки Теддера на берегу Ферт-оф-Клайд [\[98\]](#).

— Отец, — смущенно вставила Мэри, — мастеру Колю ничуть не интересно, в какой день я родилась.

— Напротив! — воскликнул Роб и стал забрасывать ее отца вопросами, внимательно выслушивая обстоятельные ответы.

Она же сидела и молила Бога, чтобы снова не вспыхнула молния: Мэри вовсе не хотелось, чтобы отец увидел, как пальцы цирюльника-хирурга гладят ее обнаженную до локтя руку. Прикосновение было легким, как перышко, но Мэри вся задрожала от смятения, словно ей вдруг открылось будущее или воздух сделался холодным.

* * *

Одиннадцатого мая караван вышел на западный берег реки Арда [\[99\]](#), и керл Фритта решил не сниматься с лагеря весь день — пусть отремонтируют повозки да закупят у местных крестьян провизию. Отец Мэри взял с собой Шереди и наемного проводника и переправился на другой берег — так ему не терпелось, словно мальчишке, поскорее отыскать жирнохвостых овец.

Час спустя Мэри и Роб, вдвоем усевшись на ее вороного без седла, отъехали подальше от шума и суеты лагеря. Когда проезжали мимо палатки евреев, Мэри заметила, как жадно смотрит на них тощий юноша — то был Симон, учитель Роба. Он улыбнулся и ткнул в бок одного из своих товарищей, показывая на Роба, едущего с девушкой.

Впрочем, ей дела до этого не было. У Мэри кружилась голова — должно быть, от сильной жары; солнце с самого утра действительно палило немилосердно. Руками девушка обхватила Роба, чтобы не упасть с лошади, закрыла глаза и привалилась головой к его широкой спине.

Недалеко от лагеря они встретили двух невеселых крестьян — те подгоняли ослика, нагруженного хворостом. Крестьяне уставились на них, но на приветствие не ответили. Должно быть, шли они издалека, здесь поблизости деревьев не было, только поля и поля. На них никто сейчас не работал — время посева давно прошло, а до жатвы было еще далеко.

Когда доехали до ручья, Роб привязал коня к ветвям куста, они с Мэри разулись и спустились к ослепительно сверкающей под лучами солнца воде. По обеим сторонам ручья, в котором отражались их фигуры, раскинулось пшеничное поле, и Роб показал ей, как высокие колоски затеняют почву — там царит манящая прохлада и полумрак.

— Иди сюда, — позвал он. — Здесь как в пещере, — и заполз в пшеницу, словно

большой ребенок.

Мэри последовала за ним с некоторым колебанием. Где-то Рядом прошуршало среди созревающих колосьев что-то жи-вое, девушка вздрогнула от неожиданности.

— Это просто маленькая мышка, она сама испугалась и убежала, — сказал Роб. Он потянул Мэри к себе, в прохладу, испещренную маленькими пятнышками света. Оба внимательно вглядывались друг в друга.

— Я не хочу этого, Роб.

— Значит, и не будешь, Мэри, — отозвался он, хотя по глазам она видела, что он заставил себя дать такой ответ против желания.

— Не мог бы ты просто поцеловать меня, а? — робко попросила она.

Так их первая близость обернулась неуклюжим прохладным поцелуем — а он и не мог быть иным из-за ее внутренней напряженности.

— А остальное мне не нравится. Понимаешь, я уже пробовала, — выпалила Мэри, и миг, которого она так страшилась, остался позади.

— Так у тебя, значит, имеется опыт?

— Только один раз, с кузенком в Килмарноке. Он сделал мне страшно больно.

Роб стал нежно целовать ее глаза, нос, она же тем временем боролась со своими сомнениями. В конце-то концов, *кто это* такой? Стивена Теддера она знала сизмальства, он был и двоюродным братом, и другом, и он причинил ей ужасную боль. А потом еще покатывался со смеху, глядя на нее, будто так уж забавно, что она ему это позволила — все равно что не протестовала, если бы он толкнул ее и она села бы задом в грязную лужу.

Пока Мэри одолевали эти невеселые мысли, англичанин начал целовать ее по-другому. Его язык теперь поглаживал ее губы изнутри. Неприятным это ей не показалось, она даже попыталась подражать ему, и тогда он засосал ее язык! Но стоило ему расстегнуть ей корсаж, как Мэри снова задрожала.

— Я только хочу их поцеловать, — настойчиво сказал Роб, и Мэри пережила необычное ощущение, глядя сверху на его лицо, потянувшееся к ее соскам. Она не могла не признать — с немалым удовлетворением, — что груди у нее полные, но высокие и тугие, уже изрядно порозовевшие. Его шероховатый ЯЗЫК прошелся по границе окружающего сосок ореола, который сразу покрылся пупырышками. Язык двигался сужающимися кругами, и вот уже он прижался к затвердевшему розовому сосочку, потом Роб обхватил сосок губами, будто младенец, не переставая все время поглаживать внутреннюю сторону ее бедер. Но когда рука добралась до холмика, Мэри напряглась и застыла. Она почувствовала, как плотно сомкнулись мышцы на бедрах и в низу живота, она вся была как натянутая струна, страх переполнял ее, пока Роб не убрал руку.

Он развязал свою одежду, взял Мэри за руку и сделал ей подарок. Ей и раньше приходилось видеть это у мужчин — мельком, случайно, когда она вдруг натыкалась на отца или кого-то из работников, мочившихся за кустом. И даже в такие мгновения она успевала увидеть больше, чем в тот раз со Стивеном Теддером, так что по-настоящему она ничего и не *видела*, и теперь не могла удержаться от искушения — внимательно рассмотрела Роба. Мэри не ожидала, что у него окажется такой... *толстый*, она подумала об этом с укором, словно в том была его вина. Набравшись смелости, потянула за кожицу — Роб дернулся, а она тихонько рассмеялась. Презабавнейшая штукавина!

Они ласкали друг друга, и Мэри понемногу успокоилась, даже сама отважилась проникнуть языком в его рот. Вскоре их тела стали теплыми, мягкими, влажными, и не было

ничего особенного в том, что его рука погладила ее ягодицы, тугие и округлые, а затем снова скользнула между ног, чтобы вдоволь там наиграться.

Она только не знала, куда девать собственные руки. Положила палец ему между губами, ощутила слюну, потрогала зубы, язык, но потом Роб отдернул голову и снова стал посасывать ее груди, покрывать поцелуями живот и бедра. Он проник в нее сперва одним пальцем, затем двумя, теребя маленькую горошину, ускоряя круговые движения.

— Ах! — слабо выдохнула Мэри и подняла колени.

Но вместо мученичества, к которому она мысленно уже приготовилась, почувствовала теплоту его дыхания. Его язык рыбкой скользнул в ее влажную глубину, между мохнатыми складками, касаться которых она и сама-то стыдилась! «Как я смогу теперь смотреть в глаза этому мужчине?» — спрашивала себя Мэри. Впрочем, очень скоро этот вопрос отпал, просто сам собой улетучился: она уже дрожала и извивалась самым греховным образом, закрыв глаза и приоткрыв рот.

Она еще не пришла до конца в себя, когда Роб осторожно вошел в нее. Теперь они слились в одно целое, и он стал продолжением ее тесного и теплого естества, нежного, как шелк. Боли она не чувствовала, ее только слегка распирало внутри, но стало гораздо легче, когда он начал двигаться. Чуть погодя остановился.

— Так хорошо?

— Да, — ответила она, и Роб возобновил движения.

Мэри обнаружила, что двигает бедрами ему навстречу. А он уже не мог больше сдерживаться и стал двигаться все быстрее, со все большим размахом, резче и резче. Она хотела было подбодрить его, но сквозь ресницы увидела, как он запрокинул голову и выгнулся, входя в нее очень глубоко.

Как необычно и удивительно было ощутить сотрясающую его крупную дрожь, услышать его тихое рычание, которое выражало, кажется, величайшее облегчение, когда он излился в нее!

Потом они долго лежали без движения среди высоких, в рост человека, колосьев. Они не разжимали объятий, одна длинная нога Мэри была заброшена на него, оба медленно остывали, покрытые потом.

— Тебе это может со временем понравиться, — сказал наконец Роб. — Как пиво из солода.

Мэри сердито ущипнула его за руку. Однако задумалась над его словами.

— А почемунаам это нравится? — задала она вопрос. — Я вот наблюдала за лошадьми — отчего это нравится животным?

Роб выглядел пораженным до крайности. Много лет спустя она поймет, что этот вопрос выделил ее из ряда всех иных женщин, каких он знал. Сейчас она лишь чувствовала, как он изучающе смотрит на нее.

Мэри не могла произнести этого вслух, но в душе уже почувствовала, что и Роб для нее выделился среди всех мужчин на свете. Она догадывалась, что он обошелся с нею необычайно ласково — всего до конца она еще не в силах была постичь, могла только сравнивать с испытанной раньше ужасной грубостью.

— Ты больше думал обо мне, чем о себе, — проговорила она.

— От этого я не пострадал, — откликнулся Роб.

Она погладила его лицо, задержала руку, а он поцеловал ее ладонь.

— Большинство мужчин... вообще людей... вовсе не такие, как ты. Я точно знаю.

— А тебе надо забыть о своем проклятом кузене из Килмарнока, — сказал он.

У Роба появились пациенты из числа новичков. Его немало позабавило то, что они рассказали: когда керл Фритта предлагал им место в караване, он хвастал, что лечением здесь занимается искусный цирюльник-хирург.

Особенно поднималось у него настроение при виде тех, кого он лечил на первом этапе пути, ведь прежде ему никогда не доводилось заботиться о здоровье кого бы то ни было столь долгое время.

Ему рассказали, что высокий франк-скототорговец, вечно улыбающийся — тот, кого он лечил от бубона, — умер от своей болезни в Габрово еще в середине зимы. Роб знал, что так оно и будет, он сам сказал тому человеку, что его ожидает, и все-таки новость его опечалила.

— Что вознаграждает меня, — признался он Мэри, — это повреждения, с которыми я умею справляться. Сломанная кость, зияющая рана, всякое повреждение, когда я точно знаю, что надо делать для выздоровления больного. А вот загадочные болезни это настоящее проклятие. Болезни, о которых мне вообще ничего не ведомо, даже меньше, чем самому больному. Или такие заболевания, которые неизвестно откуда берутся и не имеют никакого разумного объяснения. Как и чем их лечить — непонятно. Ах, Мэри, я так мало знаю, вообще ничего не знаю по сути, но ведь этим людям не к кому больше обратиться.

Она старалась утешить его, даже не понимая до конца всего, что он говорил. Со своей стороны, она получила от него немалое утешение. Однажды ночью она пришла к нему, вся в крови, корчась от судорог, и рассказала о своей матери. В один прекрасный весенний день у Джуры Каллен начался обычный месячный цикл, потом открылось кровотечение, потом кровь хлынула струей. Когда она умерла, Мэри от горя не в силах была даже плакать, но теперь каждый месяц, когда начинались истечения, она ожидала, что это приведет ее к смерти.

— Тихо! Это были не просто месячные, там было много чего другого. И ты отлично знаешь, что это было, — сказал ей Роб, держа теплую, успокаивающую руку на ее животе и утешая Мэри поцелуями.

Прошло несколько дней, они вместе ехали в повозке, и Роб вдруг заговорил — неожиданно для себя самого — о том, чего раньше никому не рассказывал: о смерти родителей, о том, как разобрали детей и как он потерял их следы. Она плакала навзрыд, отворачиваясь на козлах, чтобы не заметил отец.

— Как я тебя люблю! — прошептала Мэри.

— Я люблю тебя, — медленно выговорил Роб и сам удивился — этих слов он никому еще не говорил.

— Я ни за что не хочу расставаться с тобой, — сказала она.

После этого она в дороге часто оборачивалась на седле своего вороного и смотрела на Роба. У них появился свой тайный знак — пальцы правой руки прикладывались к губам, будто смахиваешь букашку или вытираешь приставшую пыль.

Джеймс Каллен по-прежнему искал забвения на доньшке бутылки, и Мэри порой приходила к Робу, когда отец напивался и засыпал крепким сном. Роб пытался отговорить ее от этих затей: часовые обыкновенно нервничали на посту, и передвигаться по лагерю ночами было небезопасно. Но она оказалась женщиной упрямой и приходила вопреки его

предостережениям, а Роба ее приход всегда радовал.

Она схватывала все на лету. Очень скоро они узнали все привычки и все недостатки друг друга, словно с детства росли вместе. То, что оба были такими высокими, тоже поддерживало атмосферу какого-то чуда. Не раз, когда они предавались любви, Робу приходило на ум сравнение со сказочными зверями-великанами, которые спариваются, порождая гром. По-своему для него все это было столь же в новинку, как и для Мэри. Женщин у него было множество, но прежде он не испытывал к ним любви; теперь же он хотел лишь доставить удовольствие ей.

Думая об этом, Роб тревожился и терял способность соображать, не понимая, что с ним произошло за такое короткое время.

* * *

Они все дальше заходили в глубь Европейской части Турции, в край, который звался Фракией. Пшеничные нивы сменились холмистыми равнинами, густо поросшими травой; появились и стада овец.

— Отец возвращается к жизни, — сказала Мэри Робу.

Как только караван приближался к очередной отаре, Джеймс Каллен в сопровождении незаменимого Шереди галопом несся туда и беседовал с пастухами. Смуглокожие мужчины с длинными крючковатыми палками были одеты в рубахи с длинными рукавами и просторные штаны, перевязанные под коленом.

Как-то вечером Каллен пришел к Робу в гости один, без Мэри.

— Я не потерплю, чтобы ты считал меня слепцом.

— Я такого и не думал, — ответил Роб с почтительностью в голосе.

— Дай-ка я расскажу тебе о своей дочке. Она училась. Она и латынь знает.

— Моя матушка тоже знала латынь. Кое-чему и меня научила.

— Мэри хорошо обучена латыни. А в чужих краях это важно, ведь на латыни можно говорить с чиновниками и священниками. Я посылал ее учиться к монахиням в Уолкирке. Они приняли ее, потому что рассчитывали заманить в свой орден, но я был настороже. Языки ее не особенно увлекали, но я сказал, что латынь она выучить обязана, и она потрудилась на славу. Я ведь уже тогда мечтал отправиться на Восток за отличными овцами.

— А сможешь доставить их домой живыми? — с сомнением спросил Роб.

— Сумею. С овцами я ловко управляюсь, — гордо заявил Каллен. — Всегда это было только мечтой, но когда умерла жена, я решил отправиться в путь. Родичи сказали, что я просто бегу, потому что потерял разум от горя, но дело здесь не только в этом.

Повисло тягостное молчание.

— А ты бывал в Шотландии, парень? — спросил наконец Каллен.

Роб покачал головой:

— Дальше, чем северная Англия и горы Чевиот, не заезжал.

— Ну, это не далеко от границы, — хмыкнул Каллен, — но еще очень далеко от *настоящей* Шотландии. Шотландия находится, видишь ли, выше, и скалы там куда круче. В горах полноводные реки — рыбой так и кишат, и для пастбищ остается вдоволь воды. Наше хозяйство находится среди крутых холмов, очень обширное хозяйство. И стада многочисленные.

Каллен помолчал, словно старательно подбирая слова.

— Кто возьмет Мэри в жены, тот и получит все это хозяйство, но он должен быть человеком достойным, — сказал наконец шотландец и наклонился ближе к Робу. — Через четыре дня мы прибудем в город Бабаэски. Там мы с дочерью покинем караван. Отправимся дальше на юг, в город Малкара, там большой рынок скота, и я думаю, можно купить овец. А после — на Анатолийское плоскогорье, на него я возлагаю самые большие надежды. Я бы не стал возражать, если бы ты захотел присоединиться к нам. — Каллен вздохнул и посмотрел Робу в глаза. — Ты силен и здоров. И смелости тебе не занимать, иначе не отважился бы забраться в такую даль ради прибыли и ради того, чтобы продвинуться в этом мире немного выше. Ты не тот, кого я сам бы для нее выбрал, но она хочет только тебя. Я же люблю ее и желаю ей только счастья. У меня, кроме нее, нет никого.

— Мастер Каллен... — начал Роб, но овцевод остановил его.

— Это дело такое, что его нельзя ни предложить, ни решить вот так сразу. Тебе, дружище, надо подумать хорошенько, как я думал.

Роб учтиво поблагодарил его, словно тот предложил ему яблоко или сладость, и с тем Каллен ушел восвояси.

Роб провел ночь без сна, глядя в звездное небо. Не такой уж он был дурак, чтобы не понять: девушка ему попала редкостная. И, что совсем непостижимо, любит его. Другая такая ему в жизни не встретится.

А еще ведь и земля. Боже праведный, земля!

Ему сейчас предложили такую жизнь, о какой его отцу и мечтать не приходилось, да и дедам-прадедам тоже. Будет постоянная работа и твердая прибыль, уважение и связанные с тем обязанности. Будет хозяйство, которое можно оставить в наследство сыновьям. Совсем другая жизнь, не похожая на все, что он знал доселе, была ему предложена — любящая женщина, от которой он и сам потерял голову, обеспеченное будущее, положение одного из немногих, кто владеет землей.

Всю ночь он беспокойно ворочался с боку на бок.

* * *

Назавтра Мэри пришла с отцовской бритвой и стала подстригать Робу волосы.

— Возле ушей не надо.

— Да ведь именно там ты весь зарос! И почему ты не бреешься? Из-за щетины у тебя вид диковатый.

— Пусть еще отрастут, потом подрежу. — Он снял с шеи покрывало. — Ты знаешь, что твой отец беседовал со мной?

— Ну, конечно, ведь он сперва поговорил со мной.

— Я не поеду с вами в Малкару, Мэри.

Только губы и руки выдавали ее чувства. Руки вроде бы спокойно лежали на коленях, но сжали бритву с такой силой, что побелели костяшки пальцев, туго натянув кожу.

— Ты догонишь нас в другом месте?

— Нет, — ответил Роб. Этот ответ дался ему нелегко. Он не привык откровенно беседовать с женщинами. — Я еду в Персию, Мэри.

— А я тебе не нужна!

В ее голосе было столько растерянности и уныния, что Роб лишь сейчас осознал, насколько неподготовлена она была к такому повороту событий.

— Ты нужна мне, но я думал и так, и этак — ничего не получается.

— Но почему? Что мешает? Ты что, женат уже?

— Да нет. Но я держу путь в Исфаган, в Персию. И не для того, чтобы разбогатеть на торговле, как говорил тебе раньше, а ради изучения медицины.

На ее лице отразилось недоумение: что значит какая-то медицина по сравнению с именем Калленов?

— Я должен стать настоящим врачом. — Роб понимал, что эта причина звучит для неё неубедительно. Он даже испытал своего рода смущение, словно признался в каком-то пороке или слабости. Но объяснять ничего не пытался — это было слишком сложно, он и сам не все до конца понимал.

— Твое ремесло заставляет тебя страдать. Ты сам не раз говорил мне, жаловался, как болит душа от такой работы.

— Она болит в первую очередь от моего невежества и неспособности делать свое дело хорошо. А в Исфагане я могу научиться как помочь тем, кого сейчас не в силах вылечить.

— Но разве я не могу быть там с тобой? Отец может отправиться с нами и купить овец там. — В голосе Мэри была такая мольба, а в глазах такая надежда, что Робу пришлось сделать немалое усилие над собой, чтобы не начать утешать ее.

Он объяснил, что церковь запрещает христианам учиться в исламских академиях, признался, как замыслил обойти запрет. Когда до Мэри дошел смысл его рассказа, она побледнела, как полотно:

— Да ведь ты рискуешь навеки погубить свою душу!

— Я не верю, что душа моя изменится подобно внешности.

— Еврей! — Она в задумчивости старательно вытерла бритву о полотно и спрятала в кожаный футляр.

— Верно. Так что, сама понимаешь, это мне предстоит сделать в одиночку.

— Я одно понимаю — ты сошел с ума! Я даже закрыла глаза на то, что ничего током о тебе не знаю. Не сомневаюсь, что тебе приходилось расставаться со множеством женщин. Ну, скажи, разве не так?

— То совсем другое дело. — Он хотел объяснить ей разницу, но Мэри не дала ему и рта раскрыть. Роб увидел всю глубину нанесенной им раны.

— А ты не боишься, что я скажу отцу, что ты просто поиграл мною и бросил? Тогда он наймет людей, чтобы тебя убили. Не боишься, что я пойду к первому священнику и расскажу ему, куда и для чего направился христианин, издевающийся над установлениями святой матери-церкви?

— Тебе я рассказал всю правду. Я никогда не смог бы причинить тебе смерть или же предать тебя. Не сомневаюсь, что и ты ко мне относишься точно так же.

— Я не стану ждать какого-то врача, — отрезала Мэри и отвернулась.

Он молча кивнул, проклиная себя за ту горечь, которой при этом наполнились ее глаза.

Весь день он смотрел, как она едет чуть впереди, гордо выпрямившись в седле. К нему она не оборачивалась. А вечером видел, как Мэри и мастер Каллен серьезно и очень долго беседовали у своего костра. Несомненно, она сказала отцу лишь то, что сама передумала выходить замуж — судя по тому, как чуть позже Каллен бросил на Роба насмешливый взгляд, в котором читалось и торжество, и облегчение. Каллен посоветовался о чем-то с

Шереди, и в наступающих сумерках лакей привел к костру двух мужчин. По одежде и лицам Роб счел их турками.

Потом он догадался, что это, должно быть, проводники — проснувшись утром, Калленов он уже не увидел.

Как было заведено в караване, все ехавшие за ними передвинулись на одно место вперед. И теперь Роб видел впереди не ее вороного, а двух толстых братьев-французов.

Он испытывал чувство вины и грусть, но одновременно с этим и облегчение — ведь Роб не задумывался о женитьбе и не чувствовал себя готовым к ней. Он напряженно раздумывал: вызвано ли его решение только истинной преданностью медицине или же он просто проявил слабость, трусость и бежал от уз брака, как поступил бы в подобном случае Цирюльник?

В конце концов пришел к заключению, что здесь сыграли роль обе причины. «Дурень, мечтатель несчастный, — с отвращением сказал он самому себе. — Придет день, когда ты станешь старым, усталым, будешь нуждаться в любви, и тогда, без сомнения, найдешь себе какую-нибудь неряху, злую на язык».

На него навалилось одиночество, и он страстно желал, чтобы с ним снова оказалась Мистрис Баффингтон. Старался не думать о том, что разрушил своими руками, сидел сгорбившись на козлах и неприязненно разглядывал толстозадых до неприличия братьев-французов.

* * *

Вот так он целую неделю чувствовал себя, словно после смерти кого-то из близких. Караван достиг города Бабаэски, и чувство вины и горя у Роба усилилось, потому что он вспомнил: именно здесь они вместе должны были покинуть караван, отправиться вслед за ее отцом и начать новую жизнь. Правда, мысль о Джеймсе Каллене заставила Роба радоваться своему одиночеству. Он хорошо понимал, что с таким свекром, как этот шотландец, поладить было бы очень трудно.

И все же выбросить из головы Мэри он не мог.

Лишь еще через два дня он начал понемногу отходить от своих печальных мыслей. Они ехали по равнине с разбросанными там и сям холмами, покрытыми густой травой, и вдруг где-то вдали послышались звуки, они плыли навстречу каравану.

Звуки напомнили Робу ангельское пение (как он его представлял), они все приближались, и вот он впервые увидел цепочку верблюдов.

Каждый верблюд был увешан колокольчиками, и те мелодично звенели при каждом движении, а шли эти животные странным, раскачивающимся шагом.

Верблюды оказались крупнее, чем Роб их себе представлял — выше человека и длиннее лошади. Забавные морды казались одновременно и торжественными, и зловещими, ноздри широко раздувались, шлепали большие мягкие губы; над влажными глазами, наполовину спрятанными за длинными ресницами, нависали толстые веки. Эти ресницы придавали верблюдам удивительное сходство с женщинами. Они были соединены друг с другом веревками и нагружены огромными охапками ячменных колосьев, пристроенных между двумя горбами.

Поверх охапок колосьев на каждом седьмом или восьмом верблюде восседал погонщик

— тощий, смуглый, одетый лишь в тюрбан и потертую набедренную повязку. Время от времени кто-нибудь из погонщиков подгонял животных возгласами «чок! чок!», однако неторопливые твари, по всей видимости, не обращали на эти команды ни малейшего внимания. Постепенно верблюды заполнили всю холмистую равнину. Роб насчитал почти три сотни, пока последний верблюд не превратился в крошечную точку, а восхитительный перезвон колокольчиков не замер вдали окончательно.

Этот несомненный признак близости Востока заставил путников поторопиться, и вскоре они оказались на узком перешейке. Роб, правда, не видел моря, но Симон сказал, что к югу от них сейчас Мраморное море, а к северу — великое Черное море. В воздухе чувствовался сильный запах соли, который напомнил Робу о родине и невольно стал подгонять его.

На следующий день после полудня караван поднялся на возвышенность, и перед Робом раскинулся Константинополь — город его мечты.

Оборонительный ров был очень широк. Копыта коней и мулов каравана цокали по подъемному мосту, а внизу, в глубокой зеленой воде, Роб видел сазанов чуть ли не с поросенка величиной. На внутреннем берегу рва высился земляной вал, а шагах в двенадцати вздымалась мощная городская стена из темного камня, высотой, наверное, локтей в шестьдесят ^[100]. По верху стены от башни до башни расхаживали часовые.

Еще двадцать пять шагов, и перед ними выросла вторая стена, такая же, как и первая! Да, Константинополь был крепостью с четырьмя оборонительными обводами.

Караван миновал двое ворот, обрамленных величественными порталами. Огромные ворота внутренней стены имели три арки, там же стояли бронзовые статуи человека — вероятно, одного из древних правителей, — и нескольких совершенно удивительных животных. Звери выглядели могучими, массивными, огромные висячие уши гневно топорщились кверху, сзади свешивались маленькие хвостики, зато прямо из морд росли хвосты куда более длинные и толстые.

Роб натянул вожжи, останавливая Лошадь, чтобы получше разглядеть изваяния, но позади закричал Симон, а Туви недовольно застонал.

— Давай же, шевели задницей, *инглиц*, — крикнул Робу Меир.

— Что это за звери?

— Слоны. А ты никогда слонов не видел, чужеземец несчастный?

Роб отрицательно покачал головой, изгибаясь на козлах, пока проезжал мимо изваяний, чтобы разглядеть их как следует. Так и вышло, что первые встреченные им слоны были величиной с собаку, застывшие в металле, покрытом патиной пяти веков.

Керл Фритта направил их к караван-сараяю — огромному перевалочному двору — через который в город попадали и путешественники, и грузы. Он представлял собой громадную утрамбованную площадку со складами для хранения всевозможных товаров, загонами для животных и гостевыми домами для путников. Фритта был опытным проводником. Он провел своих подопечных мимо гомонящих толп к ряду ханов ^[101] — рукотворных пещер, выкопанных в склонах соседних холмов, чтобы укрывать караваны от солнца и непогоды. Путники, в большинстве своем, задерживались в караван-сараяе на один-два дня: приходили в себя с дороги, чинили повозки или меняли лошадей на верблюдов, — а затем по старой римской дороге двигались на юг, в Иерусалим.

— Мы уедем отсюда через несколько часов, — сообщил Меир. — Мы теперь в десяти днях пути от своего дома, от Ангоры, нам не терпится освободиться от груза лежащей на нас ответственности.

— А я, думаю, немного задержусь здесь.

— Ну, когда надумаешь уезжать, найди караван-башни — так здесь называют главного начальника караванов. Зовут его Зеви. В молодости он был погонщиком, потом мастером караванщиком — водил верблюжьи караваны по всем дорогам. Он понимает путешественников, к тому же, — гордо добавил Симон, — он еврей, хороший человек. Он позаботится, чтобы ты путешествовал в полной безопасности.

Роб пожал руки им всем по очереди.

Прощай, толстый Гершом, которому я резал зад.

Прощай, остроносый чернобородый Иуда.

Будь здоров, юный друг Туви.

Спасибо тебе, Меир.

И тебе, Симон — спасибо, спасибо, спасибо!

Роб с сожалением прощался с ними, ибо они были к нему добры. Прощаться было еще тяжелее потому, что он лишался теперь книги, познакомившей его с языком персов.

И вот он уже один едет по Константинополю, необъятному городу — наверное, даже больше Лондона. Если смотреть издали, то кажется, что город плывет в прозрачном теплом воздухе, окруженный стенами из темно-синего камня, всеми оттенками синего неба сверху, а Мраморного моря — с юга. При взгляде же изнутри Константинополь представал городом, наполненным каменными церквями, высившимися над узкими улочками. Улочки были запружены толпами верховых на ослах, конях и верблюдах, хватало и портшезов, тележек и повозок всевозможных видов и типов. Мускулистые носильщики в одинаковых просторных одеждах из грубой коричневой ткани переносили невероятные тяжести на спинах или на подносах, водруженных на голову вместо шляп.

На широкой площади Роб остановил повозку, разглядывая одинокую фигуру, установленную на высокой порфировой колонне и озирающую оттуда город. Из надписи, сделанной на латыни, он узнал, что это сам Константин Великий. Монахи и священники, преподававшие при церкви Святого Ботульфа в Лондоне, подробно познакомили его когда-то с деяниями человека, которого изображала статуя. Церковники очень расхваливали Константина, ведь это он первым из римских императоров принял христианство. Действительно, его обращение в веру знаменовало собой возникновение полноценной христианской церкви. А затем он силой оружия захватил у греков большой город Византий [102] и сделал его своим — Константинополем, градом Константина, и город стал жемчужиной христианства на Востоке, городом соборов.

Роб выехал из торговой части города со множеством церквей и оказался в кварталах узеньких деревянных домишек, лепившихся тесно друг к другу. Над улицами нависали вторые этажи, которые, казалось, перенеслись сюда из какого-нибудь английского города. Константинополь был разноплеменным и разноязыким, как и подобает городу, находящемуся на границе двух частей света. Роб проехал через греческий квартал, мимо армянского рынка, еврейского квартала, и вдруг, вместо сменявших друг друга непостижимых диалектов, услышал слова, произнесенные на фарси.

Он тут же расспросил прохожих и отыскал конюшню, хозяином которой был некто по имени Гиз. Конюшня была хорошая, а Роб, прежде чем уйти оттуда, позаботился о том, чтобы Лошадь имела всего в достатке. Она славно на него поработала, и теперь вполне заслужила полный отдых и вдоволь отборного зерна. Гиз указал Робу на свой собственный дом, стоявший у верхнего края Лестницы трехсот двадцати девяти ступеней — там сдавалась внаем комната.

Взбираться пришлось высоко, но, как оказалось, не напрасно: комната была светлой, чистой, а в окошко задувал соленый морской бриз.

Отсюда он смотрел сверху на гиацинтовый Босфор, по которому были разбросаны, словно нежные цветы, паруса плывущих кораблей. На противоположном берегу, где-то в полумиле отсюда, виднелись купола и высокие, похожие на копы минареты. Роб понял, отчего Константинополь окружен и рвом, и валом, и двумя стенами. Власть креста заканчивалась чуть не за порогом этого дома, и в оборонительных сооружениях находился

немалый гарнизон, дабы защитить христианский мир от мусульманского. А на той стороне пролива начиналась власть полумесяца [\[103\]](#).

Роб стоял у окна и вглядывался в Азию, в глубь которой ему предстояло проникнуть совсем скоро.

В ту ночь Робу приснилась Мэри. Проснулся он в прескверном настроении и сразу ушел из комнаты. За площадью, носившей наименование Форум Августа, он отыскивал общественные бани. Быстро окунулся в холодную воду, а потом устроился, словно Цезарь, в горячей воде тепидариума [\[104\]](#), намыливаясь, вдыхая пар. Покончив с купанием, Роб выбрался из бассейна, окунулся напоследок в холодную воду, насухо вытерся полотенцем и, покрасневший и повеселевший, ощутил немалый голод. На еврейском рынке он купил зажаренных до коричневой корочки рыбок и большую кисть черного винограда. Насыщаясь этой едой на ходу, Роб стал отыскивать то, что ему было нужно.

Во многих маленьких лавочках рынка он видел короткое полотняное белье, какое в Травне носили все евреи. На маленьких курточках — плетеные украшения, называемые *цицит* [\[105\]](#). Симон в свое время объяснил Робу: благодаря этим *циците* евреи выполняют библейскую заповедь о том, что всю жизнь следует носить кисти на краях одежд [\[106\]](#).

Роб нашел одного торговца-еврея, говорившего по-персидски. Это был трясущийся от старости человек с печально опущенными уголками рта, кафтан у него был испачкан оставшимися от завтрака жирными пятнами, но в глазах Роба от этого человека исходила угроза разоблачения.

— Это подарок для друга, он как раз моего роста, — пробормотал Роб. Старик, заинтересованный в том, чтобы продать, почти не обратил внимания на его слова. Наконец Роб подобрал себе белье — достаточно большого размера и с кисточками.

Однако он не осмелился покупать все нужное сразу. Вместо этого пошел на конюшню — проверить, хорошо ли смотрят за его Лошадью.

— У тебя очень хорошая повозка, — сказал ему Гиз.

— Хорошая.

— Я не прочь был бы ее купить.

— Она не продается.

— Приличная повозка, — пожал плечами Гиз, — хотя мне придется покрасить ее. Но, увы, лошадка такая бедненькая. Ей не хватает норова. Нет гордого блеска в глазах. Ты только выиграешь, если сумеешь сбыть с рук эту скотину.

Роб сразу понял, что разговорами о повозке Гиз лишь отвлекает его внимание, маскирует свой интерес к Лошади.

— Я и ее не продаю.

И все же Роб с трудом подавил улыбку: такая неуклюжая попытка обвести вокруг пальца — и кого? Его, для которого подобное умение было неотъемлемой частью ремесла!

Повозка стояла совсем рядом, и Роб, забавляясь, сделал несложные приготовления, пока хозяин занимался конем в одном из стойл.

Р-раз — и он вынул из левого глаза Гиза серебряную монету.

— О Аллах!

А Роб заставил деревянный шарик исчезнуть после того, как накрыл его платком. Потом платок стал менять цвет: сначала он был зеленым, потом синим, потом коричневым.

— Во имя Пророка...

Роб вытянул изо рта алую ленту и преподнес хозяину конюшни так галантно, словно тот был девушкой в самом соку. Гиз, колеблясь между восхищением и страхом перед джиннами неверного, склонился все же в пользу восхищения. Так часть дня приятно прошла за фокусами и жонглированием, а когда Роб уходил, он уже мог бы продать Гизу все, что угодно.

* * *

К ужину ему подали флягу коричневого горячительного напитка, слишком крепкого, слишком густого и слишком большое количество. За соседним столиком сидел священник, и Роб угостил этим напитком его.

Здесь священники носили длинные развевающиеся сутаны и высокие матерчатые шапки цилиндрической формы с узенькими жесткими полями. У этого священника ряса была отменно чистой, однако на шапке видны были жирные следы, оставшиеся там после долгих лет службы. Сам же священник был румяным человеком средних лет, с глазами навывкате, охотником поговорить с европейцем и попрактиковаться в западных языках. Английского он не знал и попытался заговорить с Робом на норманнском и франкском. В конце концов он, хотя и без воодушевления, согласился беседовать на фарси. Был он греком и звался отцом Тамасом.

При виде напитка священник весьма оживился и стал пить большими глотками.

— Собираешься ли ты осесть в Константинополе, мастер Коль?

— Нет, я через несколько дней отправляюсь на Восток в надежде приобрести лекарственные травы, а потом повезу их к себе в Англию.

Священник понимающе кивнул. Лучше всего отправляться на Восток, не мешкая, сказал он, ибо Господь так предустановил, что разразится однажды справедливая война между Единственной Истинной Церковью и дикарями-мусульманами.

— А ты посетил собор Святой Софии? — поинтересовался отец Тамас и был ошеломлен, когда Роб с улыбкой покачал головой. — Но, друг мой, это необходимо сделать — непременно, пока ты не уехал! Это ведь чудо света среди всех церквей! Собор воздвигли по повелению самого Константина, и когда этот достойнейший император впервые вошел туда, он упал на колени и воскликнул: «Поистине, этим храмом я превзошел Соломона!» И не случайно, — продолжал священник, — что глава церкви имеет местопребывание поблизости от осиянного благодатью собора Святой Софии.

Роб посмотрел на него с большим удивлением.

— Так значит, папа Иоанн переехал жить из Рима в Константинополь?

Отец Тамас внимательно всмотрелся в Роба. Когда грек-священник убедился, что тот не насмешничает, он выдавил ледяную улыбку:

— Иоанн XIX остается патриархом христианской церкви в Риме. Но здесь, в Константинополе, пребывает патриарх Алексей IV, и он есть единственный наш пастырь.

* * *

Под воздействием крепкого вина и морского воздуха Роб в ту ночь спал без сновидений.

На следующее утро он вновь позволил себе роскошь и отправился в бани Августа, а затем, купив на улице лепешку и свежих слив на завтрак, пошел на еврейский базар. Вещи на рынке выбирал тщательно, ибо заранее обдумал все, что ему необходимо завести. В Травне он заметил, что у нескольких евреев были полотняные молитвенные покрывала, однако те люди, кого он уважал больше всего, пользовались шерстяными. Роб и себе купил шерстяное — четырехугольную накидку с кистями по углам, такими же, как и на купленном накануне белье.

Чувствуя себя весьма неловко, купил и набор филактерий — кожаных ремешков, которые положено привязывать на лоб и обматывать вокруг кисти во время утренней молитвы.

Роб не покупал двух разных вещей у одного торговца. Молодой купец с землистым цветом лицом и щербатым ртом мог похвастать особенно широким выбором кафтанов. На фарси он не говорил, но вполне хватило и языка жестов. Ни один из кафтанов не подходил Робу по росту, однако купец сделал ему знак подождать, а сам побежал в лавчонку купца, вчера продавшего Робу цицит. У того были кафтаны большего размера, и через несколько минут Роб купил себе целых два.

Выйдя с базара с полным мешком покупок, он пошел по улице, на которой еще не был. Вскоре он увидел церковь столь величественного вида, что это мог быть только собор Святой Софии. Пройдя через огромные двери, окованные медью, Роб оказался внутри обширнейшего пространства изумительных пропорций. Каждый столб плавно перетекал в арку, арки в свод, а своды — в купол, вознесенный на такую высоту, что снизу казался меньше, нежели был на самом деле. Просторный центральный неф освещали тысячи лампад; их фитили, плавая в масле, горели чистым ясным светом, который сиял ярче, чем в других церквях, к которым привык Роб. Иконы в окладах из золота, стены из драгоценного мрамора — на вкус англичанина, слишком много позолоты и сияющей меди. Патриарха здесь не было, но у алтаря Роб увидел священников в богатых парчовых ризах. Один из них помахивал кадиллом, они служили обедню, однако находились так далеко от Роба, что он не слышал ни запаха ладана, ни латинских слов.

В центральном нефу людей почти не было, поэтому Роб присел на одну из множества пустых мраморных скамей сзади, в полутьме, под виднеющейся в свете лампад фигурой, корчащейся в муках на кресте. Он не сомневался, что всевидящие глаза пронцают его душу и содержимое холщового мешка. Роба не воспитывали в особом благочестии, но сам он, отважившись на преднамеренный бунт, испытывал в душе горячее религиозное чувство. Он не сомневался, что и в собор вошел именно ради такого мига. Роб поднялся и молча встал во весь рост, выдерживая устремленный на него с распятия взгляд. Перед тем как уйти, он заговорил.

— Мне нужно так поступить. Но я не отрекаюсь от Тебя, — вот что он сказал.

* * *

Однако же, взобравшись по множеству каменных ступеней и оказавшись снова в своей комнате, он уже не чувствовал себя так уверенно.

Роб водрузил на стол квадратик отполированной стали, который служил ему зеркалом для бритья, поднес нож к волосам, длинными прядями свисавшим над ушами, и старательно

подрезал до тех пор, пока не осталось то, что называется пейсами — церемониальными локонами.

Потом разделся и, робея, натянул цицит. В это мгновение Роб не удивился бы, если б его поразил гром. Так и казалось, что плетеные кисточки сами поползли по его телу. Надевать длинный черный кафтан было уже не так страшно. Всего лишь верхняя одежда, никак не связанная с их Богом.

Вот бородка оставалась реденькой, тут спорить не приходилось. Пейсы он уложил так, чтобы они свободно свисали из-под похожей на колокол еврейской шляпы. Кожаная шляпа оказалась очень кстати — заметно, какая она старая, как долго ею пользуются.

И все же, покинув комнату и выйдя снова на улицу, он сознавал, что все это — чистое безумие. Ничего из его затей не получится. Так и ждал, что всякий, кто только ни взглянет на него, станет покатываться со смеху.

«А ведь мне нужно придумать имя», — спохватился Роб.

Негоже называться Ройвеном Цирюльником-хирургом, как его звали в Трявне. Дабы преобразование выглядело правдоподобным, нельзя брать искаженное еврейскими произношением его имени, за которым скрывался *гой*.

Иессей...

Это имя запомнилось ему с тех пор, как мама читала вслух Библию. Доброе имя, с которым не стыдно жить. Имя, которое носил отец царя Давида.

Для отчества он выбрал Беньямин — в честь Беньямина Мерлина, который показал ему, пусть и непреднамеренно, каким может быть настоящий лекарь.

Он станет всем говорить, что происходит из Лидса, решил Роб, потому что хорошо запомнил дома, в которых жили тамошние евреи, а о самом городе и его окрестностях мог рассказать в мельчайших подробностях, если возникнет в том нужда.

Он подавил желание повернуться и бежать прочь со всех ног — к нему приближались три священника, и среди них Роб с ужасом узнал своего вчерашнего сотрапезника, отца Тамаса.

Вся троица прошествовала мимо неспешным шагом, погруженная в глубокомысленную беседу Роб заставил себя подойти к ним ближе.

— Мир вам, — сказал он, поравнявшись с ними.

Один из священников-греков скользнул по еврею полным отвращения взглядом, затем вернулся к разговору со спутниками, так и не ответив на приветствие.

Когда они прошли, Иессей бен Беньямин из Лидса расплылся в улыбке. Свой путь он продолжил уже спокойнее и с заметной уверенностью, прижимая ладонь к правой щеке, как шествовал, бывало, по Трявне рабейну, если погружался в задумчивость.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИСФАГАН



Придя в середине дня в караван-сарай, он, невзирая на все изменения своей внешности, все еще чувствовал себя Робом Джереми Колем. Составлялся большой караван в Иерусалим, и на огромном дворе бурлила жизнь: сновали туда-сюда погонщики с груженными верблюдами и ослиами, какие-то люди оттаскивали повозки, чтобы они не выбивались из общего ряда, в опасной близости мелькали копыта гарцующих под всадниками коней, животные ревели и ржали от возмущения, а доведенные до бешенства люди громкими голосами ругали скотину и друг друга. Единственное затененное место, с северной стороны складов, захватил себе отряд рыцарей-норманнов; они спешили, расположились поудобнее и пьяными голосами орали оскорбления в адрес прохожих. Роб не был уверен, те ли это самые, что убили Мистрис Баффингтон, но вполне могло быть и так, потому он с отвращением обошел их стороной.

Роб присел на тук молитвенных ковриков и стал наблюдать за главным начальником караванов. Караван-баши был плечистым турецким евреем в черном тюрбане, напыленном на замасленные волосы, в которых еще можно было разглядеть намек на их прежний рыжий цвет. Симон говорил, что этот человек, именем Зеви, совершенно незаменим, если надо организовать спокойное и безопасное путешествие. Неудивительно, что перед ним все трепетали.

— Чтоб тебе не знать радости! — гремел Зеви на какого-то бестолкового погонщика. — Проваливай с этого места, глупец! Уведи отсюда свою скотину — разве не отведено ей место после той, что принадлежит черноморским купцам? И что, я тебе уже не говорил этого целых два раза? А ты все равно не способен даже запомнить место, которое отведено тебе в караване, о сын шакала!

Робу казалось, что Зеви был во всех местах одновременно: он улаживал споры между купцами и перевозившими товары приказчиками, советовался с мастером караванщиком о выборе наилучшего маршрута, проверял документы на груз.

Пока Роб сидел, созерцая происходящее, к нему бочком подошел какой-то перс, невысокий человек, такой худой, что у него даже щеки запали. По крошкам, приставшим к бороде, можно было заключить, что на завтрак у него сегодня была просяная каша. На голове красовался грязно-оранжевый тюрбан, по размеру слишком маленький.

— Куда путь держишь, иудей?

— Надеюсь скоро отправиться в Исфаган.

— А, в Персию! Тебе нужен проводник, эфенди? [\[107\]](#) Я ведь родом из города Кум, оттуда рукой подать до Исфагана, а на пути мне известны каждый камешек и каждый кустик.

Роб помолчал в нерешительности.

— Всякий другой поведет тебя кружным путем, трудным, вдоль побережья. Потом надо будет перевалить через Персидские горы [\[108\]](#). А все потому, что они страшатся короткого пути через Большую Соляную пустыню. Я же могу провести тебя через пустыню от колодца к колодцу, и разбойников мы минуем.

Роб испытывал сильное искушение согласиться, памятуя, как хорошо послужил ему Шарбонно, однако в этом человеке была какая-то скрытность, неискренность, и в конце концов Роб покачал головой.

— Если ты передумаешь, господин, — сказал перс, пожав плечами, — я готов служить проводником, тебе недорого это станет.

Мгновение спустя один из высокородных паломников-норманнов, проходя мимо тюка, на котором сидел Роб, споткнулся и рухнул на юношу.

— Ах ты, тварь! — вскричал он и плюнул. — Еврей проклятый!

Роб вскочил, кровь прилила к лицу. Он видел, что норманн уже тянется к мечу.

И тут между ними оказался Зеви.

— Тысяча извинений, господин мой, тысяча извинений! С этим парнем я сам разберусь. — И отогнал Роба подальше, толкая его перед собой.

Когда они остались вдвоем, он услышал, как Зеви тараторит что-то, и покачал головой.

— Я не слишком-то понимаю наречие. И не нуждался в вашей помощи, когда столкнулся с французом, — проговорил Роб, с трудом подыскивая слова на фарси.

— Вот как? Да он бы убил тебя, бычок молодой!

— Ну, это уж мое дело.

— Ну, не скажи. Там, где полным-полно мусульман и пьяных христиан, убить одного еврея все равно что съесть один финик. Они перерезали бы множество наших, так что дело было как раз мое! — Зеви сердито посмотрел на Роба. — Интересно, что это за яхуд [\[109\]](#), который говорит на фарси, как верблюд, на своем языке не говорит вообще, да еще и лезет в драку? Как зовут тебя и откуда ты родом?

— Я — Иессей, сын Беньямина. Еврей из города Лидса.

— А где, черт побери, находится этот Лидс?

— В Англии.

— Так ты *инглиц*! — воскликнул Зеви. — В жизни не встречал еще еврея, который был бы инглиц.

— Нас мало, и живем мы далеко друг от друга. Там нет настоящих общин. Нет ни рабейну, ни шохета, ни машгиаха. Нет синагог, нет домов учения, вот нам почти и не приходится слышать наречия. Потому-то я так плохо его знаю.

— Худо растить детей в таком краю, где они не чувствуют своего Бога, не слышат своего родного языка, — вздохнул Зеви. — Вообще часто это нелегко — быть евреем.

Роб спросил, известно ли Зеви о каком-нибудь большом, хорошо защищенном караване, направляющемся в Исфаган, и тот покачал головой.

— Тут ко мне подходил один проводник, — сказал Роб.

— Дерьмовый такой перс с маленьким тюрбаном и грязной бородашкой? — хмыкнул Зеви. — Этот заведет тебя прямо в руки к злодеям. И бросят тебя в пустыне с перерезанной глоткой, и оберут до нитки. Нет, — сказал он решительно. — Тебе лучше идти с караваном наших. — Он надолго задумался. — Реб Лонцано! — воскликнул он наконец.

— Реб Лонцано?

— Да, — кивнул Зеви. — Возможно, именно реб Лонцано подойдет лучше всего. — Тут неподалеку возникла ссора между погонщиками, кто-то позвал Зеви. Караван-баши скорчил недовольную мину: — Вот уж сыновья верблюдов, шакалы хворые! У меня сейчас совсем нет времени. Приходи, когда отправится в путь этот караван. Приходи ко мне в контору попозже, ближе к вечеру. Увидишь — сторожка за главным домом для странников. Тогда все, наверное, и решим.

Вернувшись через несколько часов, Роб застал Зеви в сторожке, которая служила тому пристанищем в караван-сараяе. Вместе с ним сидели еще три еврея.

— Лонцано бен Эзра, — представил Зеви.

Реб Лонцано, мужчина средних лет, старший из троих, явно был и главным среди них. У него были каштановые волосы и борода, еще не посеребренные сединой, однако молодым он не выглядел — слишком изборождено морщинами лицо, слишком серьезно смотрят глаза.

Остальные — Лейб бен Коген и Арье Аскари — были на вид лет на десять моложе Лонцано. Лейб — высокий и худой как жердь, Арье — коренастый, широкоплечий. У обоих загорелые обветренные лица постранствовавших по белу свету купцов, но сейчас эти лица ничего не выражали: они ждали, что скажет о вновь пришедшем реб Лонцано.

— Это торговцы, направляются они к себе в Маскат, за Персидским заливом, — объяснил Зеви и обернулся к Лонцано. — Вот, — сказал он, — этот несчастный воспитывался как гой, в далекой христианской стране, и совсем ничего не знает. Надо показать ему, что евреи всегда позаботятся о других евреях.

— А что за дело у тебя в Исфагане, Иессей бен Беньямин? — задал вопрос реб Лонцано.

— Я еду туда учиться, чтобы стать лекарем.

— Ага, медресе [\[110\]](#) в Исфагане, — кивнул Лонцано. — Там изучает медицину двоюродный брат реб Арье, реб Мирдин Аскари.

Роб жадно подался вперед, хотел было задать несколько вопросов, но реб Лонцано не желал уклоняться от темы.

— Ты платежеспособен, сможешь уплатить свою долю расходов на путешествие?

— Да, смогу.

— Готов трудиться вместе со всеми в пути и выполнять необходимые обязанности?

— С великой охотой. А чем вы торгуете, реб Лонцано?

Лонцано нахмурился. Он явно рассчитывал, что спрашивать будет он, а не его.

— Жемчугом, — нехотя выговорил он.

— И сколь же велик караван, с которым вы отправляетесь?

Лонцано позволил себе легкий намек на улыбку, уголки губ чуть-чуть дрогнули:

— *Мы сами* есть караван, с которым мы путешествуем.

Роб, пораженный этим ответом, повернулся к Зеви:

— Как же могут три человека обеспечить мне защиту от бандитов и прочих опасностей?

— Послушай, — сказал ему Зеви. — Это вот евреи, которые *всегда* путешествуют. Они хорошо знают, когда можно рискнуть, а когда нет. Когда нужно переждать. Куда можно обратиться за защитой или за помощью, в каких бы краях они ни оказались. — Он обернулся к Лонцано. — Ну, что скажешь, друг? Возьмешь ты его с собой или нет?

Реб Лонцано взглянул на двух своих спутников. Те хранили молчание, и лица их все так же ничего не выражали, но все же что-то он уловил, потому что посмотрел снова на Роба и кивнул головой:

— Хорошо, милости просим в нашу компанию. В путь отправляемся завтра на рассвете с Босфорской пристани.

— Я буду там с повозкой и лошастью.

— Без лошади и без повозки, — отрезал Лонцано. — Мы поплывем по Черному морю

на лодке, избегая таким образом долгого и опасного пути по суше.

— Если они соглашаются взять тебя с собой, — сказал Зеви, положив руку Робу на колено, — это для тебя самое лучшее. А повозку и лошадь продай.

Роб подумал и кивнул.

— Мазл! [111] — негромко воскликнул довольный Зеви и разлил по чашам красное турецкое вино, дабы скрепить достигнутую договоренность.

* * *

Из караван-сарая Роб поспешил на конюшню. Гиз, увидев его, открыл рот от изумления:

— Так ты яхуд?

— Яхуд.

Гиз боязливо кивнул, словно убедился в том, что этот колдун — джинн и может обернуться, кем захочет.

— Я передумал, продам я тебе повозку.

Перс закинул удочку, назвав цену во много раз меньше стоимости повозки.

— Нет, тебе придется заплатить настоящую цену.

— Тогда оставь свою разваливающуюся колымагу себе. Вот если захочешь продать лошадь...

— Лошадь я тебе дарю.

Гиз прищурился, стараясь понять, в чем здесь подвох.

— За повозку ты должен дать настоящую цену, а лошадь я даю тебе в подарок.

Роб подошел к Лошади и в последний раз погладил ее морду, молча поблагодарил за верную службу.

— Запомни и не забывай: эта лошадка работает охотно, но кормить ее надо вволю, чистить вовремя, чтобы не было никаких язв. Если к моему возвращению она будет вполне здорова, то и у тебя все будет идти хорошо. Но если станешь ее обижать...

Он пронизал Гиза взглядом, а хозяин конюшни побелел и опустил глаза:

— Я с ней стану хорошо обходиться. Очень хорошо, правда!

* * *

Много лет повозка была единственным домом Роба. И последним, что осталось от Цирюльника.

Почти все ее содержимое тоже надо было оставить, это входило в сделку с Гизом. Роб забрал свои хирургические инструменты и запас целебных трав. Маленькую деревянную коробочку с крышкой — для кузнечиков. Оружие. Немного вещей.

Ему казалось, что он все сделал правильно, однако уверенности поубавилось, когда рано утром он тащил холщовый мешок на спине по темным улицам. К Босфорской пристани он пришел, едва начало сереть, и реб Лонцано кисло поглядел на груз, давивший на плечи Роба.

На противоположный берег Босфора они переправились в *теймиле* — узкой лодчонке с низкими бортами. Она была выдолблена из цельного ствола, просмолена и оснащена одной парой весел. Гребцом был заспанный юноша. На том берегу они высадились в Ускюдаре

[112], поселке из сплошных лачуг, сгрудившихся у самого берега, сразу за причалами, где стояло множество лодок и кораблей разной величины. К огорчению Роба, выяснилось, что им предстоит целый час шагать пешком до небольшого залива, где ожидает суденышко, на котором они и пойдут через Босфор и дальше, вдоль черноморского берега. Он вскинул на плечи объемистую поклажу и последовал за тремя своими спутниками.

Вскоре он поравнялся с Лонцано.

— Зеви мне рассказывал, что у тебя произошло с норманном в караван-сарае. В будущем ты должен обуздывать себя, чтобы нам всем не оказаться в опасности.

— Будет исполнено, реб Лонцано.

Через некоторое время он тяжело вздохнул и перебросил поклажу на другое плечо.

— Тебе тяжело, инглиц?

Роб покачал головой. Мешок натирал плечо, соленый пот заливал глаза, и Роб вспомнил слова Зеви и невольно улыбнулся.

— Нелегко быть евреем, — сказал он.

* * *

Наконец они добрались до укромного залива. Роб увидел покачивающееся на волнах широкое приземистое грузовое судно, имевшее мачту с тремя парусами — одним большим и двумя маленькими.

— Что это за корабль? — спросил он у реб Арье.

— Кизбой [113]. Добрый кораблик.

— Поднимайтесь! — крикнул капитан, которого звали Илия. Это был светловолосый грек с загорелым бесхитростным лицом и щербатым ртом, который сиял улыбкой. Роб подумал, что в делах этот парень не слишком разборчив: погрузки на корабль уже ожидали девять бритоголовых пугал без бровей и ресниц.

— Дервиши, — недовольно процедил Лонцано, — нищие мусульманские монахи.

Накидки их давно превратились в сплошные лохмотья, поясами служили обмотанные вокруг талии веревки, с которых у каждого свешивались миска и ремешок. В центре лба у всех была темная круглая отметина, похожая на мозоль. Позднее реб Лонцано объяснил Робу, что такое называется *забиба* [114] и бывает у всех ревностных мусульман, которые молятся по пять раз в день, всякий раз часто кланяясь и касаясь лбом земли.

Один из дервишей — вероятно, старший — прижал руку к сердцу и поклонился евреям:

— Салам!

— Салам алейкум! — поклонился, не оставшись в долгу, и Лонцано.

— Поднимайтесь, поднимайтесь, — звал их грек, и все поспешили в приятную свежесть прибоа, где два матроса, юноши в набедренных повязках, помогли им взобраться по веревочным лестницам-трапам на мелко сидящее судно. Там не было ни палубы, ни надстройки, просто все вокруг было завалено грузом: досками, кувшинами смолы, мешками соли. Поскольку Илия настаивал, чтобы проход по центру оставался свободным — иначе команда не сможет управлять парусами, — для пассажиров места почти не оставалось. Сложив свои мешки и сумы, евреи и мусульмане оказались прижаты друг к другу, как сельди в бочке.

Едва успели поднять оба якоря, как дервиши завопили. Их предводитель — его звали

Дедех, уже немолодой, судя по виду, и на лбу, помимо забибы, имевший еще три темных отметины (похоже, от ожогов), — запрокинул голову и закричал, глядя в небеса: «Алла-а-а-экбе-е-е-р!» [115] Вопль, казалось, пронесся над всем морем.

— Ля-илля-илля-ля! — хором завопило все сборище его учеников. — Алла-а-экбе-е-ер!

Кизбой отчалил от берега, поймал ветер, захлопали и натянулись паруса, и судно взяло курс на восток.

* * *

Роб был зажат между реб Лонцано и тощим молодым дервишем, у которого на лбу была только одна метка. Молодой мусульманин сразу ему улыбнулся и, порывшись в своей суме, извлек оттуда четыре обкусанных ломтя лепешки, которые и роздал евреям.

— Поблагодарите его от меня, — сказал Роб. — Я не хочу лепешку.

— Мы обязательно должны съесть, — возразил Лонцано. — Иначе они смертельно обидятся.

— Ее испекли из доброй муки, — произнес дервиш на чистом фарси. — Это по-настоящему замечательный хлеб.

Лонцано сердито блеснул на Роба глазами, явно раздраженный тем, что Роб не может говорить на их наречии. Молодой дервиш внимательно смотрел, как они едят лепешку, вкусом напоминавшую затвердевший пот.

— Меня зовут Мелек абу Исхак, — представился он.

— А меня — Иессей бен Беньямин.

Дервиш кивнул и закрыл глаза. Вскоре он уже похрапывал, что Роб счел признаком мудрости, ибо путешествие на кизбое было на редкость скучным. Казалось, ни море, ни пейзаж на берегу не меняются ни капли.

Но подумать было над чем. Когда он спросил Илию, отчего они так прижимаются к берегу, грек улыбнулся.

— Они не смогут нагрянуть и захватить нас на мелководе, — объяснил он. Роб посмотрел в том направлении, куда указывал палец капитана, и увидел в морской дали крошечные белые облачка — наполненные ветром паруса большого корабля.

— Пираты, — сказал грек. — Они надеются, вдруг ветер отнесет нас в открытое море. Тогда они смогут нас убить, а мой груз и ваши деньги забрать себе.

Солнце поднималось все выше, и вскоре на кораблике было не продохнуть от вони невымытых тел. Правда, большей частью ее уносил прочь налетающий с моря бриз, но стоило ему чуть стихнуть, смрад становился невыносимым. Роб понял, что запах исходит от дервишей, и попытался отодвинуться от Меле-ка абу Исхака, но отодвигаться было некуда. И все же путешествие с мусульманами имело свои преимущества: пять раз на день Илия направлял суденышко к самому берегу, чтобы дать возможность дервишам помолиться, и они простирались на земле, обратившись лицом к Мекке. Эти передышки давали возможность евреям быстро перекусить на берегу или найти подходящее укрытие за кустами и песчаными дюнами и отправить естественные надобности.

Англичанин давно уже загорел на долгом пути, но теперь ощущал, что солнце и морская соль превращают его кожу в дубленую шкуру. Когда спускалась ночь, наступала благословенная прохлада, однако во сне все путники падали друг на друга Роб оказывался

под тяжким грузом шумно сопящего Мелека справа и забывшегося сном Лонцано слева. Когда терпеть уже не было сил, он пускал в ход локти, а в ответ на него сыпались горячие проклятия с обеих сторон.

Молились евреи на корабле. Роб каждое утро, как и остальные, доставал свои тфилин, обматывая кожаный ремешок вокруг левой руки — в этом он уже натренировался с помощью веревки, в Трявне, в коровнике. Ремешок пропускал между пальцами через один, низко наклоняясь при этом и уповая на то, что никто не заметит, как неумело он это делает, не соображая что к чему.

Между молитвами на берегу Дедех подвигал своих дервишей молиться в море.

— Бог велик! Бог велик! Бог велик! Бог велик! Свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога! Свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога! Свидетельствую, что Мухаммед — Пророк Божий! Свидетельствую, что Мухаммед — Пророк Божий! [\[116\]](#)

Эти дервиши принадлежали к ордену Сельмана, брадоброя Пророка [\[117\]](#), и дали обет жить в бедности и благочестии, рассказал Робу Мелек. Лохмотья, в которые они одеты, символизируют отказ от мирских благ. Стирать лохмотья значило бы попирать веру — так Робу стал ясен источник вони. Обритие всех волос на теле символизировало устранение завесы между Аллахом и его слугами. Чаши, носимые на веревочных поясах, были знаком глубочайшего колодца благочестивых размышлений, а ремешок призван отгонять шайтана (дьявола). Ожоги на лбу служили покаянию, а хлеб они давали встречным в память того, как Дже-браил (архангел Гавриил) в раю приносил хлеб Адаму.

Сейчас они совершали паломничество к святым могилам в Мекке.

— А почему вы обвязываете себе руки кожаными ремешками по утрам? — спросил Мелек Роба.

— Так заповедал Господь Бог, — ответил Роб и поведал Мелеку, как изложена эта заповедь в книге «Второзаконие».

— А почему вы покрываете плечи во время молитвы платками — правда, не каждый раз?

Роб знал ответы всего на несколько простых вопросов: наблюдая за евреями Трявны, он приобрел лишь поверхностные знания об их обрядах. И теперь пытался скрыть, как сложно ему выдерживать эти расспросы.

— Поступаем так, ибо Всемогущий — да будет Он благословен! — повелел нам так поступать, — торжественно проговорил он, и Мелек с улыбкой кивнул.

Отвернувшись от дервиша, Роб заметил, что реб Лонцано внимательно наблюдает за ним из-под опущенных век.

Первые два дня прошли спокойно и беззаботно, однако на третий ветер стал крепчать, вздымая высокие волны. Илия мастерски вел кизбой, держась вдали и от пиратов, и от гремящей полосы прибоя. На закате солнца в кроваво-красных морских волнах возникли обтекаемые черные тени, они кружили вокруг судна, ныряли под него. Роб задрожал, испытывая немалый страх, но Илия со смехом сказал, что это дельфины — твари безобидные и любящие порезвиться.

К рассвету волны стали круче, корабль словно съезжал с них, как с холмов, а к Робу, словно старинный приятель, вернулась морская болезнь. Его так рвало, что это оказалось заразительным для остальных, даже для закаленных моряков. Вскоре весь кораблик был переполнен несчастными людьми, которые тяжело дышали и молились на разных языках, чтобы Бог положил конец их страданиям. Когда стало совсем невмоготу, Роб попросил бросить его на берегу, но реб Лонцано решительно покачал головой.

— Илия больше не станет причаливать к берегу и давать мусульманам возможность молиться — здесь бродят племена туркоманов [\[118\]](#), — сказал он. — Всех чужаков, кого не убивают, они обращают в рабство. В каждом из их шатров есть хотя бы один или два таких несчастных, влачащих жалкое существование, закованных на всю жизнь в цепи.

Лонцано рассказал далее о своем двоюродном брате: тот вместе с двумя сильными сыновьями хотел было провести караван, груженный пшеницей, до самой Персии.

— Их схватили кочевники. Связали, закопали по самую шею в их же собственную пшеницу и оставили умирать с голоду — не лучшая смерть. А в конце туркоманы продали их изможденные тела нам, чтобы мы могли их похоронить по нашим обычаям.

Роб остался на борту корабля и провел там четыре невыносимых дня, показавшихся ему тяжелыми годами.

Через семь дней после выхода из Константинополя Илия направил кизбой в крошечную бухту, по берегам которой жались друг к другу примерно сорок домиков: немного шатких деревянных построек, большинство же — просто глинобитные лачуги. Порт выглядел неприветливо, только не для Роба, который и впоследствии вспоминал поселок Ризе только с благодарностью.

— Иншалла! Иншалла! [\[119\]](#) — в один голос воскликнули дервиши, как только кораблик коснулся причала. Реб Лонцано также вознес хвалу Всевышнему. Роб, загоревший чуть не до черноты, исхудавший, с ввалившимся животом, прыгнул на сушу и осторожно пошел по качающейся тверди подальше от ненавистного моря.

* * *

Дедех поклонился в сторону Лонцано, Мелек похлопал глазами, глядя на Роба, и дервиши пошли своей дорогой.

— Идемте! — сказал своим Лонцано. Евреи побрели, тяжело переставляя ноги, словно знали, что их ожидает. Ризе был убогим поселком. Желтые псы выскакивали на улицу и лаяли на прохожих. Они проходили мимо хихикающих ребятишек с воспаленными глазами;

женщина неопрятного вида что-то готовила на костре, двое мужчин дремали в тени рядышком, словно любовники. Один старик плюнул, глядя на приезжих.

— Главный доход они получают от продажи верховых и вьючных животных тем, кто приплывает на кораблях и направляется дальше через горы, — сказал Лонцано. — Лейб превосходно разбирается в лошадях, он их и купит нам всем.

Поэтому Роб отдал деньги Лейбу. Вскоре они подошли к хижине, рядом с которой находился большой загон с ослами и мулами. У хозяина было бельмо на глазу, а на левой руке не хватало мизинца и безымянного пальца, причем тот, кто их ампутировал, грубо выполнил свою работу. Но оставшиеся обрубки позволяли человеку удерживать недоуздки, подводя животных к Лейбу для осмотра.

Лейб не торговался и не суетился. Часто казалось, что он почти и не смотрит ни на ослов, ни на мулов. Иногда же задерживался, внимательно оглядывая зубы, глаза, бабки и копыта. Он сказал, что купит только одного мула, и продавец задохнулся от возмущения.

— Этого недостаточно! — сердито воскликнул он, но когда Лейб, пожав плечами, повернулся уходить, мрачный хозяин остановил его и взял деньги за мула.

У другого барышника они купили трех животных. Третий долго смотрел на уже купленных ими животных, медленно кивнул и отделил от своего стада тех, которых они могли купить.

— Они же знают, у кого какой табун, вот он и видит, что Лейб берет только самых лучших, — прокомментировал Арье. Вскоре у всех четверых путников было по крепкому, выносливому верховому ослику да еще сильный вьючный мул на всех.

* * *

По словам Лонцано, до Исфагана оставалось немного, всего месяц пути, и Робу это известие прибавило сил. За день они пересекли прибрежную равнину, потом три дня ехали по предгорьям. Потом пошли невысокие горы. Робу нравились горы, но в здешних было слишком сухо, повсюду вздымались скалистые пики, почти лишенные растительности.

— Здесь почти не бывает воды, — сказал ему Лонцано. — Весной вода буйствует, затопляет и крушит все вокруг, а потом наступает сушь. Если и встретится озеро, то вода в нем чаще всего соленая, но мы знаем, где отыскать пресную.

Утром они помолились, после чего Арье плюнул и с отвращением посмотрел на Роба:

— Ты совсем дурак, ничего не знаешь. Гой ты пустоголовый, а не еврей!

— Это у *тебя* голова пустая, а ведешь ты себя как свинья, — стал выговаривать ему Лонцано.

— Да ведь он не умеет даже повязать тфиллин, как надо, — с негодованием пробормотал Арье.

— Он воспитывался среди чужаков, и если он чего-то не знает, то у нас есть возможность научить его. И научу его обычаям его народа я, реб Лонцано бен Эзра Га-Леви из Маската.

Лонцано показал Робу, как нужно правильно накладывать филактерии. Кожаный ремешок три раза обвивался выше локтя, образуя букву *шин*, потом семь раз ниже локтя, потом тянулся через ладонь и обвивался вокруг пальцев, образуя еще две буквы древнееврейского алфавита, *далети йюд*. Таким образом получалось слово «шаддай», одно из

семи неизреченных имен Бога.

Повязывая ремешок, следовало читать молитвы, в том числе отрывок из книги пророка Осии, глава 2, стихи 21—22:

«И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа» [\[120\]](#).

Повторяя слова, Роб задрожал — ведь он обещал Иисусу остаться верным христианином, пусть и принявшим внешнее обличье иудея. Потом вдруг сообразил, что Иисус и сам был евреем и за время своей жизни, несомненно, повязывал филактерии тысячи раз, читая эти же самые молитвы. Тяжелый груз упал с души Роба, страхи рассеялись, и он повторял слова молитвы вслед за Лонцано, а ремешок врезался в руку, заставляя ее багроветь. Это было интересно: значит, тугая перевязка удерживала кровь между пальцами. А откуда же, задумался Роб, притекает кровь и куда она денется из руки после того, как он снимет сдавливающую повязку?

— И вот еще что, — продолжил Лонцано, когда они сняли филактерии. — Ты не должен упускать возможность спрашивать наставлений у Бога, пусть и не знаешь нашего языка. Сказано: если кто не способен прочесть предписанных молитв, тот пусть хотя бы думает о Всевышнем. Это тоже считается молитвой.

* * *

Они представляли собой не очень-то внушительное зрелище: если ты не коротышка, то верхом на осле смотришься не слишком браво. Роб едва не касался пятками земли, однако ослик прекрасно справлялся с тяжелым всадником — это было выносливое животное, способное проходить с таким грузом немалые расстояния. Ослик отлично подходил для бесконечных подъемов и спусков по горным тропам.

Робу не нравилось, что их предводитель слишком торопится. Лонцано без конца подгонял своего осла, нахлестывая его бока прутиком, обломанным с колючего куста.

— Куда мы так торопимся? — не выдержал Роб, но Лонцано даже не взглянул в его сторону. Ответил Робу Лейб:

— Здесь поблизости живут нехорошие люди. Они убивают всякого проезжего, а уж евреев просто ненавидят.

Весь маршрут они держали в голове, Роб же и понятия о нем не имел. Случись что с тремя его спутниками, навряд ли он сумел бы уцелеть в этих мрачных и неприветливых горах. Тропа то резко вздымалась вверх, то круто обрывалась вниз, петляя между нависающими над ней темными вершинами восточной Турции. На пятый день пути, ближе к вечеру, они подъехали к речушке, прихотливо извивавшейся среди скалистых берегов.

— Река Корух, — сказал Арье.

У Роба фляга была уже почти пуста, однако едва он поспешил к реке, как Арье отрицательно покачал головой.

— Она же соленая, — язвительно сказал он, как будто Роб мог знать об этом заранее. Все четверо продолжили свой путь.

Уже в сумерках свернули за выступ очередной скалы и увидели мальчика, который пас

коз. Увидев их, он бросился наутек.

— Может, догнать? — предложил Роб. — Вдруг он побежал предупредить разбойников?

На этот раз реб Лонцано посмотрел на Роба и улыбнулся. Тревоги на его лице больше не было.

— Это еврейский мальчик. Мы подъезжаем к Бейбурту.

В деревушке не насчитывалось и сотни жителей, из них примерно треть составляли евреи. Жили они за мощной высокой стеной, врезавшейся в склон горы. Когда путники подъехали к воротам, те были уже открыты. За ними ворота сразу затворили и заперли, и, спешившись, Роб со спутниками оказался под защитой гостеприимного еврейского квартала.

— *Шалом*, — приветствовал их, ничуть не удивившись гостям, бейбуртский рабейну. Он был невысокого роста — отлично смотрелся бы верхом на осле. У него была густая широкая борода, а уголки рта задумчиво опущены.

— *Шалом алейхем*, — ответил ему Лонцано.

Роб еще в Трявне узнал об установленном среди евреев обычае привечать путешественников, но сейчас он впервые испытал его действие на себе. Мальчишки сразу увели их ослов и мула — почистить, покормить, поставить в стойла. Другие ребяташки собрали фляги путников — вымыть и наполнить свежей пресной водой из деревенского колодца. Женщины принесли влажные полотенца, чтобы гости могли обтереть дорожную пыль с лица и рук, а потом их повели за стол, где ожидали свежие лепешки, похлебка, вино. После обеда они проследовали с мужчинами деревни в синагогу на вечернюю молитву — маарив. Помолвившись, сели побеседовать с рабейну и несколькими уважаемыми членами общины.

— Твое лицо мне знакомо, разве не так? — обратился рабейну к Лонцано.

— Мне уже приходилось пользоваться гостеприимством в вашем селе. Шесть лет назад я был здесь с братом Авраамом и нашим блаженной памяти отцом, Эзрой бен Лавелем. Отец покинул нас четыре года назад: случайно порезал руку, порез воспалился и отравил его кровь. Такова была воля Всевышнего.

— Да почиет он с миром, — произнес рабейну, кивнув, и тяжело вздохнул.

Седой еврей, почесав подбородок, вступил в беседу:

— А меня ты часом не припоминаешь? Йоселе бен Самуил из Бейбурта. Я гостил у твоей семьи в Маскате, весной как раз тому было десять лет. Привозил груз медного колчедана, в нашем караване было сорок три верблюда. И твой дядюшка... Иссахар? Он помог мне продать руду плавильщику и закупить груз морских губок на обратную дорогу, я их потом с большой выгодой продал.

— Дядя Иеиль, — улыбнулся Лонцано. — Иеиль бен Ис-сахар.

— Точно, Иеиль! Его звали Иеиль. Он в добром здравии?

— Когда я уезжал из Маската, он был вполне здоров.

— Ладно, — вмешался рабейну. — На дороге в Эрзерум бесчинствуют разбойники-турки, чтоб их чума забрала, чтоб их на каждом шагу преследовали сплошные несчастья! Они убивают путников, назначают за них выкуп, какой им вздумается. Вам надо обойти их стороной, по узкой тропе, что ведет через самые высокие горы. С дороги вы не собьетесь — вас проводит один из наших юношей.

Вот почему на следующее утро их ослы вскоре после выезда из Бейбурта свернули с проезжей дороги и зашагали по каменистой тропке, местами сужавшейся до двух-трех шагов,

а дальше разверзались глубокие пропасти. Проводник не покинул их пока они снова не выбрались на проезжую дорогу.

Следующую ночь они провели уже в Каракозе, где проживало чуть больше десятка еврейских семей — процветающие купцы, находившиеся под покровительством сильного и воинственного местного вождя Али уль-Хамида. Замок Хамида выстроенный в форме семиугольника, смотрел на город с вершины горы. Он чем-то напоминал боевой корабль, перенесенный на сушу и лишенный мачт. Воду в крепость доставляли на ослах из города, а там емкости всегда были полны до краев на случай осады. В обмен на защиту со стороны Хамида евреи Каракоза заботились о том, чтобы закрома крепости были полны проса и риса. Робу и трем его спутникам не довелось увидеть самого Хамида, но уезжали из Каракоза они с радостью, не желая оставаться там, где безопасность зависела от каприза одного сильного правителя.

Они теперь ехали по таким краям, где путь был труден и полон опасностей, но отлаженная еврейская система действовала отлично. Каждый вечер они пополняли запасы пресной воды, получали добрую еду и кров, а также советы относительно предстоящего отрезка пути. Лицо Лонцано заметно посветлело, морщины разгладились.

К вечеру пятницы они оказались в крошечной горной деревушке Игдир, где провели весь следующий день в маленьких каменных домиках местных евреев, дабы не совершать пути в субботу. В Игдире выращивали фрукты, и путники с благодарностью отведали черных вишен и сушеной айвы. Теперь даже Арье выглядел благодушным, а Лейб держал себя с Робом очень учтиво и научил его тайному языку знаков, на котором купцы-евреи на Востоке ведут переговоры между собой, не вступая в беседу.

— Всё говорят жесты, — объяснял Лейб. — Распрямленный палец значит «десять», согнутый — «пять». Если охватить палец так, чтобы виднелся лишь кончик — «один», раскрытая ладонь символизирует «сто», а кулак — «тысяча».

В то утро, когда покинули Игдир, они с Лейбом ехали рядом, молча торгуясь на языке жестов, заключая сделки на несуществующие грузы товаров, продавая друг другу пряности и золото, даже целые государства, чтобы скоротать время в дороге. Тропа была трудная, заваленная обломками скал.

— Мы уже недалеко от Арарата, — сообщил Арье.

Роб окинул взглядом возвышающиеся вокруг недоступные вершины и голую сухую землю.

— Интересно, о чем думал Ной, когда покидал свой ковчег? — проговорил он. Арье лишь пожал плечами.

В следующем городе, Назике, им пришлось задержаться. Еврейская община там — восемьдесят четыре человека — занимала длинное узкое ущелье, турок же было раз в тридцать больше.

— В городе готовятся к турецкой свадьбе, — сказал им рабейну, тощий сгорбленный старик с решительностью во взоре — Они уже начали праздновать и пришли в сильное возбуждение, нехорошее. Мы не осмеливаемся выходить за пределы квартала.

Четыре дня хозяева продержали путников, не выпуская их из своего квартала. Еды было в достатке, а колодец полон чистой воды. Евреи Назика были люди вежливые и обходительные. Солнце пекло немилосердно, однако гости спали в прохладном каменном сарае на чистой соломе. Из города до слуха Роба доносились отзвуки потасовок и пьяного веселья, треск ломаемой мебели, а один раз на еврейский квартал с той стороны стены

обрушился град камней, но никто, по счастью, не пострадал.

По прошествии четырех дней все стихло. Один из сыновей рабейну отважился выйти за ворота и выяснил, что турки после долгого и неистового веселья утомились и утомонились. На следующее утро Роб со своими тремя спутниками с радостью выехал из Назика.

Дальше им предстоял переход через края, где еврейских по селений не существовало, негде было искать и защиты. На чет вертое утро после выезда из Назика они выбрались на плато, на котором раскинулся огромный водоем, окруженный по всему периметру широкой полосой потрескавшейся белой глины. Путники спешили.

— Это Урмия [\[121\]](#), — сказал Робу Лонцано, — мелкое соленое озеро. По весне реки с гор приносят в него разнообразные минералы, но из озера не вытекает ни одной реки, так что летнее солнце выпивает из него воду и оставляет одну соль по берегам. Возьми щепотку соли, попробуй на вкус.

Роб осторожно последовал совету и тут же поморщился. Лонцано широко улыбнулся:

— Ты попробовал Персию.

Робу потребовалась долгая минута, чтобы понять смысл сказанного.

— Так мы в Персии?

— Да. Это граница.

Роб был разочарован. Так долго путешествовать... ради вот этого? Лонцано уловил его настроение.

— Не горюй, тебя непременно очарует Исфаган, это я твердо обещаю. А теперь давай снова в седло — нам еще не один день ехать.

Но Роб, прежде чем продолжать путь, помочился в озеро Урмия, добавив в персидскую соль английское Особое Снадобье «для особых пациентов».

Арье не скрывал враждебности к Робу. В присутствии Лонцано и Лейба он следил за тем, что говорит, но когда этих двоих поблизости не было, говорил Робу всякие гадости. Правда, даже в разговоре с двумя другими он не отличался особой учтивостью.

Роб был выше, тяжелее и сильнее. И у него иной раз так и чесались руки поколотить Арье. Но Лонцано все видел и замечал.

— Не обращай на него внимания, — посоветовал он Робу.

— Арье — он... — Роб не знал, как на фарси «ублюдок».

— Арье даже дома был не самым приветливым, а к долгим странствиям у него душа не лежит. Когда мы уезжали из Маската, он был женат меньше года, у него только что родился сын и ему вовсе не хотелось уезжать. Вот он с тех пор и мрачный такой. — Лонцано вздохнул. — Что ж, у нас у всех есть семьи, и часто бывает очень нелегко странствовать вдали от дома, особенно по субботам и праздникам.

— А давно вы уже не были в Маскате? — поинтересовался Роб.

— Вот уж двадцать семь месяцев.

— Но если жизнь купца столь трудна и одинока, отчего же вы ведете такую жизнь?

— А как еще выжить еврею? — ответил Лонцано, глядя Робу в глаза.

* * *

Они по дуге обогнули северо-восточный берег озера Урмия и теперь снова оказались среди высоких скалистых гор. В Тебризе и Такестане ночевали в еврейских кварталах. Роб не увидел большой разницы между этими городами и теми поселками, через которые они проезжали в Турции. Угрюмые горные поселки, построенные на каменистой почве; жители дремлют в тени, а у общинного колодца бродят не привязанные козы. Похож на предыдущие был и городок Кашан, но там на воротах красовался лев.

Настоящий огромный лев.

— Это зверь знаменитый, от носа до кончика хвоста в нем сорок пять пядей ^[122], — гордо поведал Лонцано, словно это был его собственный лев. — Его добыл двадцать лет тому назад Абдалла-шах, отец нынешнего правителя. Лев в течение семи лет терроризировал стада скота, пока Абдалла не выследил его наконец и не убил. В годовщину той охоты в Кашане ежегодно устраивается празднество.

Теперь у льва вместо глаз были сушеные абрикосы, а вместо языка — полоска красного войлока, Арье же насмешливо заметил, что набит он тряпьем и сухой травой. Бесчисленные поколения мошкары местами проели некогда роскошную шерсть до голой кожи, однако ноги зверя были подобны столбам, а зубы оставались настоящими — огромные и острые, как наконечники копий. Роб потрогал, и по спине у него пробежал холодок.

— Не хотелось бы мне с ним повстречаться.

Арье высокомерно усмехнулся:

— Большинству людей за всю жизнь так и не удастся увидеть льва.

Рабейну Кашана оказался плотным мужчиной с песочного цвета волосами и бородой.

Звали его Давид бен Саули Учитель. Лонцано сказал, что этот человек — известный богослов, хотя годами еще молод. Это был первый виденный Робом рабейну, носивший тюрбан вместо традиционной еврейской кожаной шляпы. Когда он заговорил с ними, на лице Лонцано снова залегли морщины озабоченности и тревоги.

— Небезопасно ехать на юг обычной дорогой через горы, — предупредил рабейну. — Там на пути стоит многочисленный отряд сельджуков.

— Кто такие сельджуки? — спросил Роб.

— Кочевой народ, живущий в шатрах, а не в городах, — ответил Лонцано. — Убийцы, бесстрашные воины. Они совершают налеты на земли по обе стороны границы между Персией и Турцией.

— Нельзя вам идти через горы, — сокрушенно повторил рабейну. — Воины-сельджуки куда хуже разбойников.

Лонцано посмотрел на Роба, Лейба и Арье.

— Тогда мы должны выбирать одно из двух. Можно остаться в Кашане и переждать, пока улягутся эти хлопоты с сельджуками, а на это уйдут месяцы, быть может, и целый год. Либо же мы обойдем горы и сельджуков — через пустыню, потом лесами. Я через эту пустыню, Дешт-и-Кевир, не ходил, но бывал в других пустынях и знаю, как там страшно. — Он повернулся к рабейну. — Можно ее пересечь?

— Вам не придется пересекать всю Дешт-и-Кевир, упаси Господи, — медленно проговорил рабейну. — Только краешек вам надо будет пересечь, три дня пути — сперва на восток, потом на юг. Да, иногда мы вынуждены ходить и там. Мы вам расскажем, куда и как надо идти.

Четверо путников переглянулись. Наконец Лейб, самый немногословный из них, прервал тяжкое молчание.

— Я не хочу ждать здесь целый год, — сказал он от имени всех.

* * *

Перед выездом из Кашана они купили четыре вместительных меха из козих шкур — для воды. Наполненные мехи оказались очень тяжелыми.

— Неужто нам на три дня нужно столько воды? — недоумевал Роб.

— Всякое может случиться. В пустыне мы можем пробыть и дольше, — ответил ему Лонцано. — А ведь животных тоже надо поить — у нас будут в Дешт-и-Кевир ослы и мулы, а не верблюды.

Проводник из Кашана на старой белой лошади доехал с ними до того места, где от тракта ответвлялась едва заметная тропка. Дешт-и-Кевир началась с гряды земляных холмов, преодолеть которые было куда легче, чем горы. Поначалу ехали довольно быстро, и настроение у путников стало подниматься. Ландшафт вокруг менялся так постепенно, что они ничего и не замечали, однако к полудню, когда солнце пекло нещадно, они оказались в море глубокого мелкого песка, в котором то и дело вязли копыта животных. Все спешили, люди и животные побрели вперед с одинаковым трудом.

Робу этот океан песка, простиравшийся повсюду, насколько хватало глаз, казался сном. Иногда песок образовывал холмы, подобные столь пугавшим Роба морским волнам в бурю, в иных местах песок расстилался ровно, похожий на гладь озера, подернутую легкой рябью от

западного ветра. Никакой жизни здесь он не замечал: ни птиц в воздухе, ни жучков-червячков на земле, — но во второй половине дня путники набрали на выбеленные солнцем кости, сваленные в кучу, будто хворост для очага перед какой-нибудь хижиной в Англии. Лонцано объяснил Робу, что кочевые племена собирают останки людей и животных и сваливают в кучи, чтобы иметь ориентиры в пустыне. Такое упоминание о людях, для которых подобное место было родным домом, наводило страх. Путешественники старались успокоить животных, отлично сознавая, что ржание осла разносится в этой тишине и в безветрии далеко-далеко.

Пустыня была соляная. Время от времени они пробирались по пескам между разбросанных там и сям луж с коркой соли, как на берегах озера Урмия. После шести часов такого пути все были обессилены. Добрели до небольшого песчаного холма, который далеко отбрасывал тень от заходящего солнца, и сгрудились в этом колодце относительной прохлады — люди вперемешку с животными. Передохнув час в тени, пошли дальше и шли до самого заката.

— А может, лучше идти по ночам, а днем, по жаре, отсыпаться? — предложил Роб.

— Нет, — тут же возразил ему Лонцано. — Когда-то в молодости я шел по пустыне Дешт-и-Лут с отцом, двумя дядьями и четырьмя двоюродными братьями. Да почиют с миром ушедшие! Дешт-и-Лут — пустыня соляная, как и эта. Мы решили идти по ночам, и вскоре начались неприятности. Летом, по жаре, солевые озерца и болотца, образовавшиеся в дождливый сезон, быстро высыхают, местами оставляя на поверхности корку соли. Мы обнаружили, что корка не выдерживает тяжести людей и животных, а под нею может оказаться крепкий солевой раствор или зыбучие пески. Нет, по ночам идти слишком опасно.

На вопросы о том, что еще он испытал в юности в пустыне Дешт-и-Лут, Лонцано отвечать не пожелал, да Роб и не настаивал, поняв, что лучше всего эту тему не развивать.

Стемнело, они опустились на соленый песок — кто сел, кто лег. В пустыне, где днем они жарились на солнце, ночью стало холодно. Хворост собрать было негде, да они и не отважились бы развести костер, чтобы их не заметили чужие недобрые глаза. Роб так устал, что, несмотря на все неудобства, вскоре уснул глубоким сном и пробудился с первыми лучами зари.

Его поразило, как запасы воды, казавшиеся в Кашане столь внушительными, резко уменьшились в этих сухих и диких краях. Себя он ограничил скупыми глотками за завтраком, оставив большую часть для осла и мула. Им он наливал воду в кожаную шляпу и держал, пока они пили, а потом радовался влажной шляпе, которая холодила голову под палящими лучами солнца.

В тот день они с трудом, упорно продвигались вперед. Когда солнце достигло зенита, Лонцано стал нараспев читать стих из Писания: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня вошла над тобою» [\[123\]](#). Остальные подхватывали друг за другом, и так они шли некоторое время, славя Бога пересохшими глотками. Но вот они умолкли.

— Скачут всадники! — закричал Лейб.

Далеко на юге они увидели тучу пыли, словно оттуда шла целая армия. Роб с испугом подумал, что это те самые жители пустыни, которые складывают ориентиры из костей. Но по мере приближения стало видно, что это только туча песка.

Когда раскаленный ветер пустыни налетел на них, ослы и мулы, повинувшись мудрому инстинкту, уже успели развернуться к нему спиной. Роб, как сумел, скорчился за животными, а над ними ревел ветер. Первые порывы были подобны жару у больного, ветер

нес с собой соль и песок, и они жгли кожу, словно раскаленный пепел. Ветер все усиливался, нестерпимо давил, а люди и животные держались, стараясь переждать бурю, которая вжимала их в землю, заносила слоем песка с солью толщиной в два пальца.

* * *

В ту ночь ему снова приснилась Мэри Каллен. Они сидели рядом, и Роб испытывал полный покой. Лицо у нее было счастливое, и он знал, что причина ее счастья в нем, и это наполняло его самого радостью. Мэри начала вышивку и непонятно как и почему вдруг превратилась в маму, а Роб ощутил прилив теплоты и чувство защищенности, которого не знал с тех пор, как ему было девять лет.

Потом он проснулся, откашлялся и попытался отплеваться от песка, только слюны почти не было. Рот и уши забились песком и солью, а когда он встал и сделал несколько шагов, то ощутил, как больно натирает кожу песок, забившийся между ягодицами.

Они встречали уже третье утро в пустыне. Рабейну Давид бен Саули наставлял Лонцано: идти надо два дня на восток, а на третий день — к югу. До сих пор они шли в том направлении, которое Лонцано считал востоком, теперь же повернули, как считал Лонцано, на юг.

Роб никогда не умел отличить восток и юг, север и запад. Он мысленно задавал себе вопрос: а что, если Лонцано ошибся с этим востоком или с югом, что, если указания кашанского рабейну были не совсем точными?

Тот уголок Дешт-и-Кевир, который они собирались пересечь, напоминал залив в бескрайнем океане. Сама же пустыня была огромной, им ее всю не пройти.

И что же, если они не переправляются через заливчик, а направляются прямо в глубь пустыни, в самое сердце Дешт-и-Кевир?

В таком случае надеяться им не на что.

Робу пришло в голову: а может, это еврейский Бог требует его в жертву — в наказание за устроенный им маскарад? Но ведь Арье, хотя и не вызывал симпатии, не был таким уж злым, а Лонцано и Лейб — вполне достойные люди. Казалось странным, что Бог хочет уничтожить их всех ради того, чтобы наказать одного грешника-гоя.

Не один Роб поддавался приступам отчаяния. Лонцано, видя общее угрюмое настроение, попытался снова подбодрить их пением гимнов. Но кроме голоса самого Лонцано ничей больше не подхватил святые слова, и Лонцано в конце концов умолк.

Роб аккуратно налил воду в шляпу и напоил обоих своих животных. В кожаном мехе оставалась совсем мало воды — наверное, на шесть глотков хватит. Роб рассудил: если они выходят из Дешт-и-Кевир, то запас воды уже не играет роли, а если двинутся в глубь пустыни, то эта капля его не спасет.

Поэтому он решил допить воду. Заставил себя пить не торопясь, маленькими глотками, но все равно вода закончилась очень быстро.

Как только в мехе ничего не осталось, он стал страдать от жажды сильнее прежнего. Казалось, что выпитая вода жжет его изнутри, а к этому добавилась ужасная головная боль.

Он усилием воли заставлял себя двигаться дальше, но ноги начинали заплетаться. «Я не в силах идти», — с ужасом понял Роб.

Лонцано начал громко хлопать в ладоши.

— Ай, ди-ди-ди-ди-ди-ди, ай, ди-ди, ди, ди! — напевал он, пританцовывая, потряхивая головой, кружась, взмахивая руками, поднимая колени в такт пению.

— Замолчи, дурак! — закричал Лейб. В его глазах блеснули сердитые слезы. Но через мгновение он скривился и запел вместе с Лонцано, хлопая в ладоши, скачками двигаясь вслед за предводителем. К ним присоединился Роб. И даже всегда мрачный Арье.

— Ай, ди-ди-ди-ди-ди-ди, ай, ди-ди, ди, ди!

Они пели пересохшими губами и приплясывали на занемевших ногах. Наконец все утихло и перестали дико скакать, но теперь они могли идти дальше, подтягивая к одной занемевшей ноге другую, не допуская и мысли о том, что и впрямь заблудились.

Вскоре после полудня они услышали гром. Он долго перекатывался где-то вдаль, потом на них упали несколько капель дождя, а затем они увидели газель и пару диких ослов.

Их собственные животные вдруг зашагали бойчее. Ослы и мулы быстрее передвигали ноги, а потом по собственной воле перешли на рысь, уже почуяв запах того, чего еще не видели глаза. Люди вскочили в седла и верхом миновали последнюю границу песков, по которым так тяжело брели три дня.

* * *

Перед ними лежала равнина, вблизи поросшая редкими кустиками, но становившаяся чем дальше, тем зеленее. До сумерек они вышли к пруду; берега его поросли камышом, у самой воды носились ласточки. Арье попробовал воду и кивнул:

— Можно пить.

— Только нельзя животным пить сразу много, иначе им худо будет, — предупредил Лейб.

Путники осторожно напоили ослов и мулов, привязали к деревьям, потом напились сами, сорвали с себя одежды и легли в воду.

— А когда были в Дешт-и-Лут, вы потеряли кого-нибудь? — спросил Роб.

— Погиб мой двоюродный брат Кальман, — ответил Лонцано. — Ему было двадцать два года.

— Провалился сквозь корку соли?

— Нет. Он перестал подчиняться порядкам и выпил весь свой запас воды. А потом умер от жажды.

— Да почиет он с миром, — сказал Лейб.

— А как видно, что человек умирает от жажды?

— Не желаю вспоминать об этом, — с явной обидой отозвался Лонцано.

— Я спрашиваю не из любопытства, а потому, что собираюсь стать лекарем, — объяснил Роб, почувствовав на себе неприязненный взгляд Арье.

Лонцано помолчал, потом кивнул:

— Двоюродный брат мой Кальман от жары потерял голову и пил, сколько хотелось, пока у него не закончилась вода. А мы заплутали в пустыне, и каждый старательно берег воду. Делиться с другими никому не позволялось. Через некоторое время его стало тошнить, но жидкости-то не было, нечем было рвать. Язык у него совсем почернел, а небо стало белесого цвета. Он стал бредить, ему казалось, что он дома у матери. Губы потрескались и сморщились, обнажая зубы, на лице появилось что-то вроде волчьего оскала. Дышать было

тяжело — то пыхтел, то хрипел. В ту ночь я под покровом темноты нарушил запрет: смочил тряпочку и просунул ему между зубами, только было уже поздно. Без воды он прожил всего два дня.

Полежали молча в коричневой воде.

— Ай, ди-ди-ди-ди-ди, ай, ди-ди, ди, ди! — пропел наконец Роб, посмотрел в глаза Лонцано, и они улыбнулись друг другу.

На щеку Лейба присел комар, тот хлопнул себя с силой.

— По-моему, животных можно поить еще, — сказал он. Они вылезли из воды и занялись ослами и мулами.

* * *

На следующее утро, прямо на заре, все снова были в седлах. К немалому удовольствию Роба, они теперь без конца проезжали маленькие озера в оправе чудесных зеленых лугов. Озёра приводили Роба в восторг. Трава вокруг них, благоухающая нежным ароматом, росла по колено высокому мужчине. В траве прыгали тысячи кузнечиков и сверчков, хватало и крошечных мошек, укусы которых жгли кожу, оставляя на них ранки, которые отчаянно чесались. Еще несколько дней назад он бы обрадовался, увидев любое насекомое, теперь же не обращал внимания на больших, сверкающих на солнце луговых бабочек, то и дело колотя себя по укушенным местам и призывая кары небесные на комаров и мошек.

— О Боже, это еще что? — воскликнул Арье. Роб проследил за его пальцем и увидел поднимающуюся на востоке громадную тучу. С нарастающей тревогой он смотрел, как она приближается, потому что очень уж это походило на тучу в пустыне, исхлеставшую их горячим ветром.

Из этой тучи, однако, был безошибочно слышен стук копыт, словно на них неслась целая армия.

— Сельджуки? — прошептал Роб. Никто ему не ответил.

Побледнев, они напряженно ожидали, а туча пыли все приближалась, грохот копыт становился оглушающим. Когда оставалось шагов пятьдесят, раздался резкий удар копыт, словно тысяча умелых всадников одновременно сдержала своих скакунов по приказу командира.

Роб поначалу ничего не мог разглядеть. Потом пыль поредела, и он увидел диких ослов в неисчислимом количестве, крепких и здоровых, выстроившихся ровными рядами. С большим любопытством ослы вглядывались в людей, а те удивленно смотрели на них.

— Э-ге-гей! — закричал Лонцано. Все стадо развернулось и помчалось на север, оставив им память о многоликости жизни.

Потом им встречались стада ослов поменьше, огромные стада газелей, которые иногда паслись рядом с ослами. Видно было, что на них редко охотятся, ибо на людей они почти не обращали внимания. Зато дикие свиньи, водившиеся здесь в изобилии, выглядели угрожающе. Время от времени Роб замечал щетинистую дикую свинью или кабана с его острыми клыками, а уж слышно их было все время — животные с громким хрюканьем и сопением пробирались в кустах или выкапывали что-то среди высокой травы.

Теперь, стоило Лонцано начать, путники дружно подхватывали песни — это предупреждало свиней об их приближении, благодаря чему те не пугались внезапной

встречи и не нападали. У Роба мурашки бегали по коже, а длинные ноги, свешивающиеся по бокам невысокого ослика, задевали траву и казались такими незащищенными. Однако кабаны уступали дорогу громогласным людям и не причиняли им никакого вреда.

Дорогу пересек стремительный ручей, похожий на большую рукотворную канаву; поросшие диким укропом берега его обрывались почти отвесно, и как путники ни искали, поднимаясь вверх по ручью и спускаясь ниже по течению, все не могли отыскать места для переправы. В конце концов просто погнали животных в воду. Труднее всего было выбраться на противоположный берег: копыта мулов и ослов скользили в густой зелени, и животные сползали назад. Воздух звенел от ругательств, благоухал ароматом раздавленной копытами травы, но переправа отняла немало времени. За ручьем начинался лес. Путники въехали в него по дороге, так похожей на изъезженные Робом в родной Англии. Здесь, правда, места были девственные, в отличие от английских лесов. Кроны деревьев переплетались высоко вверху, не позволяя лучам солнца проникать сквозь свою завесу, но все же подлесок был густым и зеленым и кишел живыми существами. Роб узнал оленя, кроликов, дикобраза, а на ветвях деревьев ворковали голуби и какие-то птицы, которых Роб счел разновидностью куропатки.

Вот такая дорога Робу была вполне по вкусу. Подумав об этом, он задался вопросом: а как отреагировали бы евреи, если бы он затрубил в саксонский рог?

За поворотом лесной дороги Роб возглавил маленький караван (они менялись по очереди), и тут его ослик шарахнулся в сторону. Над головой, на толстом суку, приготовилась к прыжку дикая кошка.

Осел попятился, а шедший за ним мул уловил запах и громко заржал. Вполне возможно, что пантера почувствовала обуревавший его ужас. Пока Роб тянулся за оружием, зверь, казавшийся ему чудовищем, прыгнул.

Стрела — длинная, тяжелая и пущенная со страшной силой, вонзилась в правый глаз зверя.

Большущие когти царапнули несчастного ослика, а пантера свалилась на Роба, выбив его из седла. Миг, и он распростерся на земле, задыхаясь под тяжестью туши пантеры. Громадная кошка упала поперек его тела, и он видел в какой-нибудь пяди от своего лица ее хвост и бедра, отметив лоснящуюся черную шерсть, тусклое отверстие под хвостом и чуть-чуть не дотянувшуюся до лица огромную правую заднюю лапу — подушечки лап были тоже неправдоподобно большими, словно опухшими. Пантера недавно ухитрилась как-то лишиться когтя на втором из четырех пальцев — рана была совсем свежей, все еще кровоточила. Это напомнило Робу о том, что с противоположной стороны находятся глаза, а вовсе не сушеные абрикосы, и язык, сделанный отнюдь не из красного войлока.

Из лесу вышли люди. Их господин, не выпуская из рук большого лука, остановился перед путешественниками. Одет он был в простой красный плащ из ситца, подбитого ватой, грубые штаны, сапоги из недубленной кожи, а голову покрывал небрежно повязанный тюрбан. На вид ему было лет сорок — крепко сбитый, с горделивой осанкой; черная короткая борода, орлиный нос, а в глазах, которые следили за тем, как его загонщики стаскивают с Роба убитую пантеру, еще не погас охотничий азарт.

Роб не без труда поднялся на ноги, весь дрожа, стараясь справиться со сводившей живот судорогой.

— Догоните проклятого осла! — потребовал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Ни евреи, ни персы его не поняли, потому что фразу он произнес по-английски. Как бы то ни

было, осел и сам вернулся, испугавшись незнакомого леса, где могли таиться и другие опасности. Теперь животное стояло рядом с хозяином и тоже дрожало.

Лонцано подошел к Робу и пробормотал что-то, узнав охотника. Затем все пали на колени и простерлись ниц. Этот ритуал назывался, как позднее объяснили Робу, *рави земин*, то есть «лицом на землю». Лонцано без церемоний повалил Роба и, прижав руку к его затылку, удостоверился, что голова Роба склонена, как подобает.

Эта сцена наглядного воспитания привлекла внимание охотника. Роб услышал его шаги, а затем увидел сапоги из недубленной кожи, остановившиеся в полшаге от его низко склоненной головы.

— Вот большая мертвая пантера, а вот большой невоспитанный *зимми*, — произнес он с улыбкой, и сапоги зашагали прочь.

Охотник и его слуги, несшие добычу, удалились, не сказав ни слова более, а распростершиеся на земле путники через некоторое время встали на ноги.

— Ты не ранен? — осведомился Лонцано.

— Ничуть не бывало. — Кафтан был разорван, но сам Роб остался невредим. — А кто это был?

— Ала ад-Даула, шахиншах [\[124\]](#). Царь царей.

Роб уставился на дорогу, по которой уехали охотники.

— А что такое «зимми»?

— Это значит «человек Книги». Здесь так называют евреев [\[125\]](#), — растолковал Лонцано.

Пути Роба и трех евреев разошлись через два дня, в Купайе, поселочке из дюжины покосившихся домиков на перекрестке дорог. Крюк, который они дали через Дешг-и-Кевир, завел их чуть дальше к востоку, чем надо, однако Робу остался лишь день пути на запад, в Исфаган, а его спутникам предстояли еще три недели нелегкого пути на юг, затем переправа через Ормузский пролив — и лишь после этого они окажутся дома.

Роб признавал, что без этой троицы и без еврейских поселений, предоставлявших им убежище в пути, он ни за что не попал бы в Персию.

— Ступай с Богом, реб Иессей бен Беньямин! — воскликнул Лейб, и они сердечно обнялись.

— И ты, друг, ступай с Богом!

Даже вечно кислый Арье изобразил кривую улыбку — несомненно, он радовался этому расставанию не меньше самого Роба.

— Когда поступишь в школу лекарей, обязательно передай привет от нас родичу Арье, реб Мирдину Аскарю, — сказал Лонцано.

— Передам. — Он взял Лонцано за обе руки. — Спасибо вам, реб Лонцано бен Эзра.

— Для человека, который почти не наш, — улыбнулся Лонцано, — ты был отличным спутником и вел себя достойно. Ступай с миром, инглиц!

— Ступайте и вы с миром!

Не переставая желать друг другу доброго пути, они разъехались разными дорогами. Роб ехал верхом на муле: после нападения пантеры он перенес поклажу на бедного перепуганного ослика и теперь вел его в поводу. В итоге он продвигался вперед медленнее, однако в душе нарастало возбуждение и ему хотелось проделать последний отрезок пути не спеша, наслаждаясь путешествием.

Оно и к лучшему, что он не спешил, ибо на дороге было весьма оживленное движение. Роб услышал столь приятный для его ушей звук и вскоре поравнялся с караваном звеневших колокольчиками верблюдов, нагруженных огромными двойными корзинами риса. Роб пристроился в самом хвосте каравана, наслаждаясь музыкой перезвона.

Местность понемногу повышалась; лес кончился, открылось широкое плато. Там, где хватало воды, созревал на полях рис, цвел опийный мак, но поля отделялись друг от друга сухими россыпями камней и скалами. Потом плато сменилось холмами белого известняка, а солнечные лучи и тени окрашивали их в разнообразные цвета. В нескольких местах в холмах виднелись глубокие выемки — следы регулярной добычи камня.

Незадолго до наступления вечера мул вывез его на очередной холм, и глазам Роба внизу предстали маленькая речная долина и — двадцать месяцев спустя после выезда из Лондона! — город Исфаган.

Первое и самое глубокое впечатление: слепящая белизна, кое-где тронутая густой синевой. Город был роскошным, изобилующим куполами и плавными обводами зданий и улиц. Сверкали на солнце огромные купола мечетей, вздымались ввысь рядом с ними минареты, подобные направленным в небо копьям, зеленели открытые пространства садов, поднимались над прочими деревьями старые кипарисы и могучие платаны. Южная часть города была окрашена в теплый розовый цвет — там солнечные лучи играли не на плитах

известняка, а на песчаных холмах.

Вот теперь медлить было нельзя. «Э-ге-гей!» — подбодрил Роб мула и ударил пятками по бокам. Они вышли из цепи верблюжьего каравана и стали обгонять его; ослик цокал копытами вслед за мулом.

За четверть мили до города проезжий тракт перешел в великолепную дорогу, мощеную камнем — то была первая мощеная дорога, которую Роб увидел после Константинополя. Она была невероятно широкой, разделенной рядами высоких ухоженных платанов на четыре идущие рядом полосы. Замечательная дорога пересекала речку по арочному мосту, который был на деле плотиной, а за ней находилось водохранилище. Рядом с табличкой, возвещавшей, что река называется Заянде (Река Жизни), плавали и плескались голые смуглокожие ребяташки.

Дорога привела Роба к мощной каменной стене и невиданным еще городским воротам с высокой и широкой аркой.

За стеной возвышались просторные дома богачей — с террасами, фруктовыми садами, виноградниками. Повсюду были видны стрельчатые арки, они обрамляли двери домов, окна, ворота садов. Дальше, за кварталом богачей, высились мечети и большие здания со сводчатыми куполами — белыми, закругленными, с маленькими шпилями на верхушке. Казалось, строившие их архитекторы помешаны на женских грудях. Нетрудно было понять, на что пошел известняк, взятый из каменоломен в холмах: вокруг сплошной белый камень, украшенный синей плиткой, геометрические узоры которой сплетались в строки из Корана:

Нет бога, кроме Аллаха Всемилостивого.

Сражайтесь за истинную веру.

Горе тем, кто не усерден в своих молитвах.

По улицам толпами ходили мужчины в тюрбанах, но женщин не было видно. Роб проехал по обширной площади, чуть позже, где-то через полмили, миновал еще одну такую же. Он с удовольствием впитывал в себя звуки и запахи. Здесь по всему безошибочно угадывался *minicirium* ^[126], большой густонаселенный город, как Лондон его детства, и Робу почему-то казалось несомненным, что ехать через этот город на северном берегу Реки Жизни следует неспешно.

С минаретов понеслись мужские голоса — одни далекие, еле слышные, другие близкие, ясно слышные, — призывавшие правоверных на молитву. Всякое движение на улицах прекратилось: люди обращались лицом, кажется, на юго-запад — в сторону Мекки. Все мужчины города падали на колени, гладили землю раскрытыми ладонями, низко кланялись, всякий раз касаясь лбом камней мостовых.

Роб из уважения остановился и спешил.

Когда молитва окончилась, он подошел к человеку средних лет, проворно сворачивавшему молитвенный коврик, который он достал из своей телеги, запряженной волами. Роб поинтересовался, как ему отыскать еврейский квартал.

— А! Он называется Яхуддией. Поезжай дальше прямо, по улице Йездигерда, пока не доедешь до еврейского рынка. В дальнем конце рынка будут ворота с аркой, за ними ты и найдешь ваш квартал. Мимо не проедешь, зимми!

Рынок был заставлен рядами лавочек, где можно было купить мебель, лампы и масло, лепешки, сласти, пахнувшие медом и пряностями, одежду, всевозможные предметы обихода, овощи и фрукты, рыбу, кур — как ошипанных и выпотрошенных, так и живых, кудахчущих... Иными словами, все, что необходимо в земной жизни. Увидел Роб и выставленные на

продажу молитвенные покрывала, одежду с кисточками, филиakterии. В лавке писца сидел, склоняясь над чернильницей и перьями, старик с морщинистым лицом, а рядом, в палатке с отдернутым пологом, — гадалка. По тому, что в некоторых лавках торговали женщины, а другие, придерживая за ручки тяжелые корзины, совершали покупки на переполненном рынке, Роб понял: он уже в еврейском квартале. На женщинах были просторные черные платья, головы покрыты полотняными платками. Встретились три-четыре женщины, закрывавших лица вуалями, на манер мусульманок, но у подавляющего большинства лица были открыты. У мужчин одежда была такая же, как и у Роба, только бороды густые, кустистые.

Роб ехал медленным шагом, наслаждаясь тем, что видел и слышал. Миновал двух мужчин, горячо, словно заклятые враги, споривших о цене на пару башмаков. Многие перекрикивались, обмениваясь шутками; чтобы тебя расслышали, приходилось кричать.

На дальнем конце рынка он проехал через ворота с аркой и стал пробираться по узким тесным переулкам, затем по неровному спиральному спуску въехал в нижний и более обширный район лачуг, построенных как попало; отделявшие группы домов крошечные проулочки были проложены без всякого порядка. Многие дома стояли рядышком, стена к стене, но там и сям были разбросаны и отдельно стоящие дома, окруженные небольшими садами. Хотя по английским меркам такие дома выглядели очень скромно, здесь, на фоне соседних хибар, они казались замками.

Исфаган был старым городом, но Яхуддийе выглядел еще более древним. От извилистых улочек отходили переулки. Жилые дома и синагоги построены из камня или старинного кирпича, который выцвел до светло-розового. Мимо Роба прошли дети, гнавшие перед собой козу. На углах улиц стояли группы людей, они беседовали, смеялись. Приближалось время ужина, из домов тянуло запахами стряпни, у Роба даже слюнки потекли.

Он ехал по кварталу, пока не нашел конюшню, где смог поставить осла и мула и договориться, чтобы за ними как следует ходили. Прежде чем уйти, Роб снова очистил царапины от когтей пантеры, оставшиеся на боку осла. Царапины уже благополучно заживали.

Недалеко от конюшни отыскался и постоянный двор. Хозяином был высокий старик с приятной улыбкой и сгорбленной спиной, именем Залман Меньшой.

— А почему «меньшой»? — не удержался от вопроса Роб.

— В моей родной деревне Разан у меня был дядя, Залман Большой. Известный богослов — объяснил старик.

Роб попросил постелить ему тюфяк в углу просторной общей спальни.

— Ужинать будешь?

Еда выглядела соблазнительно: маленькие кусочки мяса, поджаренные на вертеле, с жирным гарниром из риса (Залман назвал это «плов») и маленькими, почерневшими на огне луковичками.

— А это кошерная пища? — предусмотрительно спросил Роб.

— А как же иначе! Кошерная, можешь есть безбоязненно. После мяса Залман подал медовые коврижки и приятное питье под названием шербет.

— Ты приехал из дальних краев, — заметил старик.

— Из Европы.

— Из Европы. Ах!

— А как вы догадались?

— По тому, как ты говоришь, — улыбнулся хозяин и, увидев, как вытянулось лицо Роба, добавил: — Ты научишься говорить лучше, не сомневаюсь. Как, интересно, живется евреям в Европе?

Роб не знал, что на это сказать, но потом вспомнил о словах Зеви:

— Евреем быть нелегко.

Залман грустно кивнул.

— А как живется евреям в Исфагане?

— Ой, здесь неплохо. Коран учит людей поносить нас, поэтому иногда нас дразнят разными словами. Но они к нам привыкли, а мы к ним. В Исфагане евреи жили испокон веку, — рассказывал Залман. — Этот город основал Навуходоносор ^[127], который, согласно легенде, поселил здесь пленных евреев — после того, как завоевал Иудею и разрушил Иерусалим. А через девятьсот лет после того шах Йездигерд ^[128] влюбился в местную еврейку, именем Шушан-Духт, и сделал ее царицей. Она сумела облегчить положение своего народа, поэтому здесь стало селиться все больше евреев.

Роб подумал, что более удачной маски ему было и не придумать: раз он изучил обычаи евреев, то сумеет смешаться с ними, как муравей в муравейнике.

После ужина он пошел со стариком в Дом мира, одну из нескольких десятков здешних синагог. То было квадратное здание, сложенное из камня в стародавние времена, трещины уж давно поросли нежным коричневым мхом, хотя никакой сырости не ощущалось. Вместо окон в синагоге были лишь узенькие амбразуры, а дверь такая низкая, что Робу, проходя, пришлось нагнуться. Внутри вел неосвещенный коридор, а в молитвенном помещении лампы освещали лишь столбы, уходившие вверх — крыша находилась так высоко, что ее снизу было и не видно. Мужчины сидели в главной части, а женщины молились в маленьком боковом приделе, отделенном от главной части барьером. Роб нашел, что в синагоге легче творить маарив, чем в пути, в компании всего трех евреев. Здесь был *хазан* ^[129], который читал молитву, а все собравшиеся бормотали или пели кому как нравилось, поэтому Роб стал раскачиваться вместе со всеми, уже не так смущаясь незнанием древнееврейского языка и тем, что не всегда поспевал за молитвами.

На обратном пути Залман проницательно посмотрел на Роба и улыбнулся:

— Может быть, тебе, в твои-то годы, хочется развлечений, а? По ночам здесь кипит жизнь на *майданах*, площадях в мусульманской части города. Там есть женщины и вино, музыка и увеселения — такие, что ты и не представляешь, реб Иессей.

Роб, однако, покачал головой.

— Мне хотелось бы туда пойти, но как-нибудь в другой раз, — ответил он старику. — Сегодня мне нужно сохранить голову свежей, ибо завтра мне предстоит уладить дело великой важности.

* * *

В ту ночь он так и не смог уснуть, лишь ворочался с боку на бок, размышляя, такой ли человек Ибн Сина, с которым легко договориться.

Утром Роб отыскал общественные бани — строение из кирпича, возведенное вокруг природного теплого источника. Едким мылом и чистым холстом оттер въевшуюся за время долгого пути грязь, а когда подсохли волосы, он вынул свой хирургический нож и подрезал

бороду, глядя на свое отражение в полированном квадратике стали. Борода стала гуще, и Роб подумал, что теперь он выглядит настоящим евреем.

Он нарядился в лучший из своих двух кафтанов. Надев кожаную шляпу ровно, вышел на улицу и попросил человека с высохшими конечностями указать ему путь к школе лекарей.

— Тебе нужна медресе, то место, где учат? Она рядом с больницей, — ответил нищий. — Это на улице Али, поблизости от Пятничной мечети в центре города. — Получив монетку, хромым благословил потомков Роба до десятого колена.

Идти пришлось долго. У Роба была возможность заметить, что Исфаган — город-труженик. Он повсюду видел людей, занятых различными ремеслами: башмачников и кузнецов, горшечников и колесников, стеклодувов и портных. Миновал несколько базаров, где продавались все мыслимые товары. Наконец он Добрался до Пятничной мечети — массивного каменного строения с великолепным минаретом, над которым вились птицы. Дальше лежал очередной рынок с преобладанием книжных лавок и маленьких харчевен, а еще дальше он увидел медресе.

По внешнему периметру школы, среди все новых и новых книжных лавок, призванных удовлетворять любознательность учащихся, стояли длинные приземистые здания, где эти учащиеся жили. Вокруг резвились и играли детишки. Везде можно было увидеть молодых мужчин, в большинстве своем украшенных зелеными тюрбанами. Здания медресе были выстроены из блоков белого известняка, по образцу большинства мечетей. Стояли они довольно далеко друг от друга, а пространство между ними заполняли сады. Под большим каштаном, с ветвей которого свисали колючие нераскрывшиеся плоды, шесть молодых людей сидели, поджав под себя ноги, и внимали белобородому человеку в небесно-голубом тюрбане.

Роб подошел ближе к ним.

— ...силлогизмы Сократа, — говорил наставник. — Это суждение надлежит с точки зрения логики считать верным, ибо верны и два других суждения. Например, из того факта, что, во-первых, все люди смертны, а во-вторых, что Сократ — человек, с непреложностью следует заключить, что, в-третьих, Сократ смертен.

Роб поморщился и пошел дальше, испытывая легкие сомнения: здесь было много такого, чего он не знал, слишком много непонятного.

Остановился он перед очень старым зданием с пристроенной к нему мечетью и прекрасным минаретом. Спросил учащегося в зеленом тюрбане, в каком из этих зданий учат медицине.

— В третьем отсюда. Вот здесь изучают богословие. В соседнем — законы ислама. А вон в том изучают медицину, — и указал на белокаменное здание с куполом. Оно было так похоже на преобладающий в Исфагане тип построек, что Роб впоследствии всегда называл его не иначе, как Большое Вымя. Рядом с ним стояло большое одноэтажное здание, табличка на котором сообщала, что это *маристан* — «помещение для недужных». Роб заинтересовался и вместо того, чтобы войти в медресе, поднялся по трем мраморным ступеням маристана и прошел через двери из кованого узорчатого железа.

Он попал в центральный двор с бассейном, где плавали разноцветные рыбки. Под фруктовыми деревьями стояли скамьи. От двора, подобно лучам, расходились коридоры, каждый из которых вел в большую комнату. Все они были заполнены людьми. Роб никогда не видел такого количества больных и увечных, собранных в одном месте, и какое-то время он бродил по двору, дивясь увиденному.

Пациенты собирались группами по роду болезни: вот длинная комната, заполненная мужчинами с переломами костей; вот те, у кого лихорадка; а вот здесь (Роб сморщил нос) явно собрались пациенты, которых мучит понос или иные расстройства пищеварения. Но даже в этой комнате воздух был не такой тяжелый, каким вполне мог быть — большие окна пропускали потоки воздуха, а натянутая на них легкая сетка задерживала насекомых. Роб заметил, что вверху и внизу оконных отверстий сделаны пазы — значит, на зиму можно вставлять ставни.

Стены были чисто выбелены, а полы — каменные, их легко мыть, к тому же благодаря камню в помещении прохладно, когда снаружи стоит жара.

В каждой комнате даже бил свой фонтанчик!

Роб остановился перед закрытой дверью, на которой висела табличка: *дар ульт-марафтан*, то есть «приют тех, кого необходимо содержать в цепях». Отворив дверь, он увидел трех обнаженных мужчин с бритыми головами и связанными руками; надетые на людей железные ошейники были прикованы к высоко расположенному окну. Двое скорчились — то ли спали, то ли были без чувств, а третий смотрел перед собой, он завыл позвериному, а по запавшим щекам текли слезы.

— Извини, — ласковым тоном проговорил Роб и закрыл дверь в комнату помешанных.

Он вошел в зал, где находились пациенты хирургов, и не без труда подавил желание задержаться у каждой циновки, заглянуть под перевязки, осмотреть культы тех, у кого что-нибудь было удалено, и раны остальных.

Только подумать — каждый день встречаться со столькими интересными пациентами и учиться у великих людей! «Это все равно, — подумал он, — что провести все детство и юность в Дешт-и-Кевир, а потом обнаружить, что тебе принадлежит целый оазис».

Табличку на следующей двери Роб не понял — запас персидских слов был слишком ограничен, — но отворив дверь, сразу догадался, что здесь лечат заболевания и повреждения глаз. Невдалеке отчитывали плотного служителя, и тот дрожал перед начальством.

— Ошибка вышла, господин Карим Гарун, — оправдывался он. — Мне казалось, вы велели снять повязки у Эсведа Омара.

— Ишак ты безмозглый, — с отвращением произнес мастер. Был он молодой и худощавый, но с развитой мускулатурой, а на голове его Роб не без удивления увидел зеленый тюрбан учащегося — держался этот человек так уверенно, словно был хозяином по крайней мере этой части больницы. Черты его лица были отнюдь не женственны, но утонченны и аристократичны, такого красивого мужчину Роб до сих пор еще не встречал. Черные волосы казались шелковыми, а в глубоко посаженных карих глазах полыхал гнев. — Это твоя ошибка, Руми. Я тебе велел снять повязку у Куру Йезиди, а вовсе не у Эсведа Омара. Устад Джузджани ^[130]самолично удалял катаракту Эсведа Омара, а мне приказал следить, чтобы повязку на глазах не трогали пять дней. Я передал это распоряжение тебе, а ты нарушил его, жук навозный! И теперь, если зрение Эсведа Омара будет хоть чуть-чуть затуманено и гнев аль-Джузджани падет на мою голову, я твою толстую задницу нарежу ломтями, как жареного барашка! — Тут он заметил Роба, который стоял и смотрел как зачарованный, и недовольно обратился к нему. — А тебе-то что нужно?

— Поговорить с Ибн Синой о зачислении в школу медиков.

— Поговоришь. Однако князь лекарей не назначил тебе встречу?

— Нет.

— Тогда ступай в соседнее здание, поднимись на второй этаж и поговори с хаджи

[131] Давутом Хосейном, заместителем управителя школы. Управитель же — Ротун ибн Наср, дальний родственник самого шаха, один из его военачальников. Он получил эту должность в знак почета, но в школе никогда не появляется. Всем руководит хаджи Давут Хосейн, вот с ним тебе и надо говорить. — После этого учащийся, которого звали Карим Гарун, снова грозно повернулся к служителю: — Так ты собираешься менять повязку на глазах Куру Йезиди, о подобный кучке грязи под копытом верблюда?

* * *

По крайней мере часть учащихся проживала в Большом Вымени — это можно было заключить из того, что вдоль затененного коридора первого этажа шел ряд дверей маленьких келий. Через открытую дверь у самой лестницы Роб увидел двух человек, которые, как ему показалось, резали лежавшего на столе желтого пса — вероятно, мертвого.

Поднявшись на второй этаж, он попросил человека в зеленом тюрбане проводить его к хаджи и оказался наконец в кабинете Давута Хосейна.

Заместитель управителя был невысоким тщедушным человечком, еще не старым, с выражением сознания собственной важности на лице. Одет он был в рубаху из дорогой серой материи и белый тюрбан, положенный тому, кто совершил путешествие в Мекку. Глаза — маленькие, черные, а забиба на лбу свидетельствовала о его набожности.

Обменявшись традиционными приветствиями, перешли к делу. Роб высказал свою просьбу, и хаджи пристально взгляделся в него:

— Так ты говоришь, что приехал из Англии? Это в Европе? ... И в какой же части Европы?

— На севере.

— На севере Европы... Сколько времени тебе понадобилось чтобы добраться к нам?

— Меньше двух лет, хаджи.

— Два года! Это достойно удивления. Твой отец, должно быть, тоже лекарь, учился в нашей школе?

— Отец? Нет, хаджи.

— Хм-м-м. Ну, может быть, дядя?

— Нет-нет, я в нашей семье буду первым лекарем.

— Здесь, — нахмурился хаджи, — учатся потомки многих поколений лекарей. У тебя есть рекомендательные письма, зимми?

— Нет, господин Хосейн. — Роб почувствовал, как в душе нарастают страх и растерянность. — Я цирюльник-хирург, получил некоторую подготовку...

— Так у тебя нет отзывов от кого-либо из наших знаменитых выпускников? — переспросил пораженный Хосейн.

— Нет.

— Мы не принимаем на учебу первого встречного!

— Но у меня ведь не минутный каприз. Я проехал невероятное расстояние, ибо преисполнен решимости обучиться медицине. Я выучил ваш язык.

— Слабенько, должен сказать, — хмыкнул хаджи. — Мы не просто обучаем медицине. Мы не ремесленников выпускаем, а людей по-настоящему образованных и воспитанных. Наряду с медициной наши учащиеся изучают богословие, философию, математику, физику,

астрологию и юриспруденцию. И лишь потом, став всесторонне образованными учеными, духовно развитыми людьми, они могут выбирать, какому виду деятельности посвятить себя: преподаванию, медицине или законоведению.

Роб, упав духом, ждал продолжения.

— Думаю, ты меня вполне понимаешь. Тебя невозможно зачислить.

Он уже почти два года понимал.

И отвернулся от Мэри Каллен.

Он истекал потом под палящим солнцем, замерзал среди льдов и снегов, его хлестали бури и дожди. Он прошел через соляную пустыню и предательский лес. Был подобен муравью, упорно преодолевающему одну гору за другой.

— Я не уйду, пока не поговорю с Ибн Синой, — твердо сказал Роб.

Хаджи Давут Хосейн открыл было рот, но увидел, как Роб смотрит на него. И тут же закрыл рот. Побледнев, он кивнул.

— Будь любезен, подожди здесь, — сказал хаджи и вышел из кабинета.

Роб остался сидеть.

* * *

Через недолгое время явились четыре воина. Ростом они все были ниже Роба, но мускулистые. У каждого была короткая тяжелая дубинка. Один, рябой, все время постукивал дубинкой по мясистой ладони.

— Как зовут тебя, еврей? — спросил рябой, пока без грубости.

— Иессей бен Беньямин.

— Хаджи сказал, ты чужеземец, из Европы?

— Да, из Англии. Это очень далеко отсюда.

Воин кивнул.

— Разве ты не отказался уйти, как просил тебя хаджи?

— Отказался, правда. Но...

— Теперь пора уходить, еврей. Вместе с нами.

— Я не уйду, пока не поговорю с Ибн Синой.

Старший из воинов взмахнул дубинкой.

«Только не по носу!» — мысленно взмолился Роб.

Но кровь потекла сразу, все четверо умели пользоваться дубинками так, чтобы достичь наилучших результатов с наименьшей затратой сил. Они тесно обступили Роба, чтобы он не мог Размахнуться сам.

— Чтоб вас черт побрал! — выкрикнул он по-английски. Слов они, конечно, не поняли, но смысл уловили безошибочно, и удары посыпались сильнее. Одна дубинка врезалась повыше виска, и он вдруг ощутил тошноту и головокружение. Робу очень хотелось, чтобы его хоть вырвало в кабинете хаджи, но сильная боль забивала все остальное.

Воины свое дело знали. Когда он уже не представлял никакой угрозы, они отложили дубинки и пустили в ход кулаки.

Потом его вывели из школы — воины поддерживали его с обеих сторон под руки. Снаружи были привязаны четыре больших гнедых коня; воины поехали верхом, а Роб, спотыкаясь, бежал между двумя конями. Как только он падал (а это случалось три раза),

один из воинов спешивался и пинал его под ребра, пока Роб не поднимался на ноги. Путь казался бесконечным, но на деле они лишь выехали за двор медресе и остановились у невзрачного кирпичного дома — здесь, как позднее узнал Роб, помещался один из низших шариатских [\[132\]](#) судов. Внутри стоял только деревянный стол, а за ним восседал человек с грозным взглядом, кустистыми бровями и широкой бородой. На плечи была наброшена черная накидка, чем-то походившая на кафтан Роба. Занят он был тем, что разрезал надвое дыню.

Четверка воинов подвела Роба к столу и почтительно застыла, пока судья грязным ногтем выковыривал из дыни семечки в подставленную глиняную чашку. Затем он разрезал дыню на ломтики и не спеша съел. Когда ничего не осталось, судья вытер сперва руки, а затем и нож о свою мантию, обратил лицо к Мекке и возблагодарил Аллаха за ниспосланную пищу.

Покончив с этим, вздохнул и посмотрел на воинов.

— Это безумный еврей из Европы, который возмутил общественное спокойствие, о муфтий [\[133\]](#), — объяснил дело рябой воин. — Взят по жалобе хаджи Давута Хосейна, каковому он угрожал насильственными действиями.

Муфтий кивнул и выковырял из зубов застрявший там кусочек дыни. Потом взглянул на Роба:

— Ты не мусульманин, а обвиняет тебя мусульманин. Слова неверного не могут приниматься как свидетельство против правоверного. Есть ли мусульманин, который сможет выступить в твою защиту?

Роб попытался выговорить что-нибудь, но язык не повиновался, а от усилий даже подогнулись колени. Солдаты пинками заставили его распрямиться.

— Почему ты ведешь себя как собака? А, ладно. В конце концов, это неверный, не знающий наших порядков. Следовательно, он заслуживает снисхождения. Вы передадите его под надзор *калантара* [\[134\]](#), пусть посидит в *каркане*, — распорядился муфтий, обращаясь к воинам.

Таким образом, словарный запас Роба обогатился еще двумя персидскими словами, и он размышлял о них, пока воины выволакивали его из здания суда и снова гнали между своими конями. Одно из слов он разгадал правильно. *Калантар*, которого он полагал тюремщиком, отвечал за наказание осужденных злодеев.

Когда они остановились у большой и мрачной тюрьмы, Роб подумал, что *каркан* — точно тюрьма. Они вошли внутрь, и рябой воин передал Роба двум стражникам, которые потащили осужденного между камерами жуткого вида, донельзя сырими и зловонными, но в конце концов из тьмы подземелья, лишённого окон, вынырнули на сияющий под ярким солнцем внутренний двор. Там выстроились два ряда колодок, в которые были закованы несчастные; одни стонали, другие были уже без чувств. Стражники провели Роба вдоль ряда, пока не отыскали свободных колодок, и один из них открыл приспособление ключом.

— Засунь в каркан голову и правую руку, — скомандовал он.

От испуга Роб инстинктивно шарахнулся назад, но стражники были по-своему правы, истолковав это как неповиновение.

Его били, пока не упал, а потом стали пинать ногами, как прежде воины. Роб ничего не мог поделать, он только свернулся в клубок, защищая пах, и закрыл руками голову.

Покончив с укрощением строптивого узника, они стали толкать и тащить его, как мешок, и в конце концов проделали шею и правую руку Роба в каркан. Затем с грохотом

опустили верхнюю половинку колодок и замкнули шпилькой. После этого они оставили узника, почти лишившегося чувств, беспомощного и потерявшего надежду, жариться на солнцепеке.

Право, странно были устроены эти колодки: деревянные прямоугольник и два квадрата соединены между собою в треугольник, середина которого удерживала голову Роба таким образом, что его скорчившееся тело едва не висело. Правая рука, которой обычно едят, была помещена в конец более длинного сегмента, а деревянный наручник удерживал его запястье — находясь в каркане, наказанный лишался еды. Левая рука, которой можно вытирать пот и слезы, оставалась свободной — калантар был человеком просвещенным.

Временами Роб приходил в чувство и смотрел на длинный двойной ряд колодок, в каждой паре которых кто-нибудь отбывал наказание. В поле зрения, на другом конце двора, находилась большая деревянная колода.

Один раз ему пригрезились люди и демоны в черных одеяниях. Некий человек подошел к колоде и положил на нее правую руку. Один из демонов взмахнул мечом — длиннее и тяжелее английского — и отсек руку у запястья. В это время вторая фигура в черном возносила молитву.

Это видение снова и снова посещало его на полуденной жаре. Потом произошло нечто новое. Человек встал на колени и откинул голову так, что шея легла на колоду, а взор устремился в небо. Роб испугался, что беднягу обезглавят, но тому лишь отрезали язык.

Когда Роб пришел в себя снова, то не увидел ни людей, ни демонов, но и сама колода, и земля вокруг нее были покрыты пятнами свежей крови, каких во сне не бывает.

Больно было дышать. Его избили, как никогда в жизни, и он не был уверен, что все кости остались целы. Роб повис на каркане и слабо заплакал, стараясь делать это бесшумно и надеясь, что никто не заметит.

Наконец, он попытался облегчить свои страдания разговором с соседями, которых едва мог видеть, слегка повернув голову. Как он убедился, это требовало такого усилия, какого не станешь делать часто — кожа на шее больно терлась о крепко державшее его дерево колодок. Слева находился мужчина, избитый до потери сознания; он не шевелился. Юноша справа с интересом рассматривал Роба, но он был то ли немым, то ли невероятно тупым, то ли не понимал ломаный фарси Роба. Прошло несколько часов, и стражник заметил, что человек, прикованный слева от Роба, уже умер. Его унесли, а на его место поставили нового.

К середине дня у Роба распух язык; казалось, он заполнил собой весь рот. Роб не испытывал потребности отправить естественные надобности, ибо все отходы уже высосало из тела беспощадное солнце. Временами ему казалось, что он снова в пустыне, и в минуты просветления ему отчетливо вспоминалось, что рассказывал Лонцано о смерти от жажды: распухший язык, почерневшие десны, ложная убежденность в том, что находишься где-то в другом месте.

Роб снова повернул голову и встретился глазами с новым соседом. Вгляделись друг в друга, Роб увидел распухшее лицо и расквашенные губы.

— Нет ли здесь кого-то, к кому можно воззвать о милосердии? — прошептал он.

Сосед не сразу ответил — возможно, его смутил акцент Роба.

— Есть Аллах, — сказал он наконец. Его самого понять было не так-то легко из-за разбитых губ.

— Но здесь — никого?

— Ты чужеземец, зимми?

— Да.

— Ты, — обратился человек свою ненависть на Роба, — был у муллы, чужеземец. Святой человек назначил тебе наказание. — После этого он отвернулся и, по-видимому, потерял к Робу всякий интерес.

Закат солнца принес настоящее блаженство. Вечерняя прохлада вселяла чуть ли не радость. Тело Роба онемело, боли в мышцах он уже не чувствовал — может, умирал?

Ночью сосед заговорил с ним снова:

— Есть еще шах, о зимми-чужеземец.

Роб молча ждал продолжения.

— Вчера, в день наших страданий, была среда, *чахар шанбе*. Сегодня *пандж шанбе*. Каждую неделю, по утрам пандж шанбе, дабы очистить душу свою перед святым днем *джума*, днем отдыха от трудов [\[135\]](#), шах Ала ад-Даула принимает всякого, кто явится к нему в Зал с колоннами и повергнет к подножию трона жалобу на несправедливость.

Роб почувствовал, как в его душе шевельнулась слабая надежда.

— Принимает всякого?

— Всякого. Даже узник вправе потребовать, чтобы ему позволили представить свое дело на суд шаха.

— Нельзя этого делать! — возопил голос из темноты. Роб не мог различить, из которого каркана раздается этот голос.

— Выкинь эту мысль из головы, — продолжал тот же голос. — Ведь шах почти никогда не изменяет решений и приговоров муфтия. А муллы жадно ждут возвращения тех, кто пустой болтовней отнимает драгоценное время шаха. Вот тогда-то отрезают языки и вспарывают животы, и об этом хорошо ведает тот шайтан, тот злобный сын свиньи и пса, который дает тебе ложный совет. Свои надежды ты должен возлагать на одного лишь Аллаха, а не на шаха Ала.

Человек, прикованный рядом, ехидно рассмеялся, будто его уличили в забавном розыгрыше.

— Нет никакой надежды, — произнес голос из темноты.

Сосед Роба смеялся, пока не стал кашлять и хрипеть. А отдышавшись, снова обратился к Робу злым голосом:

— Да, ищи себе надежду в раю.

Больше они не обменялись ни словом.

* * *

Через сутки после того, как Роба заключили в каркан, он был освобожден. Попытался встать на ноги, но не устоял и лежал, страдая, пока кровь возвращалась в его мышцы.

— Проваливай, — сказал наконец стражник и пнул его ногой.

Роб с большим трудом приподнялся и, хромя, поспешил прочь из тюрьмы. Дошел до большой площади, где росли платаны и журчал фонтан, стал пить и никак не мог напиться, утоляя невыносимую жажду. Потом сунул под струю голову и так стоял, пока не зазвенело в ушах. Тюремная вонь частично ушла.

Улицы Исфагана были запружены народом, прохожие оборачивались и глазели на него.

Маленький толстяк-торговец отгонял опухом мух от тележки, в которую был запряжен ослик; на тележке стояла жаровня, на ней горшок, и в нем что-то варилось. Исходивший от кушанья аромат вызвал у Роба такую слабость, что он даже испугался. Однако развязав свой кошель, он нашел там вместо денег, которых хватило бы не на один месяц, одну-единственную мелкую монетку.

Пока он был без сознания, его обворовали. Он мрачно выругался, так и не зная, кто же вор — то ли рябой воин, то ли тюремный стражник. Мелкая монетка была издевательством, жестокой шуткой вора, а быть может, следствием извращенного религиозного понятия о милостыне. Роб протянул монетку торговцу, и тот отмерил ему небольшую порцию плова с жирным рисом. Плов был острый, с небольшим количеством бобов, а Роб ел слишком жадно — вероятно, его тело переутомилось от лишений, пребывания в каркане и перегрева на солнце.

Как бы то ни было, но он почти сразу же изверг содержимое желудка в уличную пыль. Шея кровоточила в тех местах, где ее сжимал каркан, а перед глазами пульсировали разноцветные круги. Роб передвинулся в тень под платаном и постоял там, вспоминая зеленую Англию, свою собственную лошадь, повозку, под настилом которой хранились деньги, и Мистрис Баффингтон, сидевшую рядом и скрашивавшую его одиночество.

Людей на улицах все прибавлялось, по ним тек нескончаемый людской поток, и двигались все в одном направлении.

— Куда это все спешат? — спросил Роб у торговца.

— На прием у шаха, — ответил тот, косясь на побитого еврея в порванной одежде. Роб отошел.

«Ну, а что? — подумал он вдруг. — Выбирать-то все равно не приходится».

И он пошел вместе со всеми по улице Али и Фатимы, пересек широкую, из четырех параллельных дорожек, улицу Тысячи Садов, свернул на ослепительно чистый бульвар, носивший имя Врата Рая. В толпе шли молодые, и старики, и люди среднего возраста, хаджи в белых тюрбанах, учащиеся в зеленых, муллы, нищие, здоровые и увечные, одетые в лохмотья и изодранные тюрбаны всевозможных расцветок. Молодые отцы с младенцами на руках, носильщики с паланкинами, верховые на конях и ослах. Роб обнаружил, что идет вслед за большой группой евреев в темных кафтанах. Он так и пристроился позади них, как отбившийся от стаи неоперившийся птенец.

Прошли через небольшую искусственную рощу, дававшую немного прохлады — деревьев в Исфагане было не так много, — а затем, не выходя за пределы города, оказались среди обширных полей и стад пасущихся коз и овец — королевский дворец отделялся таким образом от остального города. Вот подошли к зеленой лужайке, по бокам которой, словно портал, высились две огромные каменные колонны. Когда показалось первое здание царского двора, Роб решил, что это и есть дворец, потому что он был больше королевских палат в Лондоне. Но дальше пошли все новые и новые здания, ничуть не меньшие, построенные из камня и кирпича. Многие с башенками и затейливыми крыльчками; при каждом террасы и большие сады. Толпа проходила мимо виноградников, конюшен, двух скаковых полей, фруктовых садов и увитых зеленью беседок такой красоты, что Робу хотелось выйти из толпы и побродить среди этого ароматного великолепия. Правда, он не сомневался, что посторонним бродить там запрещено.

И вот возникло здание столь величественное и в то же время столь изящное, что дух захватывало, даже не верилось, что такое бывает. Крыши сплошь в форме грудей, пояс

укреплений, на которых расхаживали стражи в сверкающих шлемах, со сверкающими щитами. Над головами стражей трепетали на легком ветерке длинные разноцветные флажки.

Роб ухватил за рукав шедшего впереди широкоплечего еврея, из-под рубашки которого проглядывало белье с кисточками.

— Как называется эта крепость?

— Да ты что! Это же Райский Дворец, жилище шаха! — Человек посмотрел на Роба встревоженно: — Да ты, друг, весь в крови.

— Пустяки, просто несчастный случай.

Людской поток двигался теперь по длинной аллее, ведущей к дворцу;—когда подошли ближе, Роб увидел, что главный дворец окружен широким рвом. Мост через ров был поднят, однако по эту сторону рва, рядом с площадкой, служившей парадным входом, начинался длинный крытый коридор, и толпа вливалась в его двери.

Внутри оказался зал раза в два поменьше собора Святой Софии в Константинополе. Полы выложены мрамором. Стены и высокие потолки каменные, с продуманно расположенными отверстиями, так что мягкий дневной свет заливал все помещение. Это и был Зал с колоннами — у всех стен высились каменные колонны, покрытые искусной резьбой, с желобками по всей высоте. Основания колонн были вырезаны в форме ног и лап всевозможных животных.

Когда Роб вошел, зал был наполовину заполнен, а за ним входили все новые и новые посетители, прижимая Роба к группе евреев. По всей длине зала были оставлены свободные проходы, огражденные веревками. Роб стоял и смотрел, с проснувшимся интересом вбирая новые впечатления. Проведенное в каркане время заставило его осознать и твердо запомнить, что он здесь чужеземец. То, что он считает естественным, персам может показаться странным и даже угрожающим, а сама жизнь его, как он уже понял, может зависеть от того, насколько правильно он сумеет понять их мысли и поступки.

Роб заметил, что люди знатные, облаченные в расшитые штаны и рубахи, шелковые тюрбаны и атласные башмаки, въезжали в зал верхом через отдельный вход. Каждого из них примерно за сто пятьдесят шагов до трона останавливали слуги шаха; получив монетку, они уводили под уздцы коня, а прибывший шел дальше пешком среди бедняков.

В толпе начали сновать мелкие чиновники в серых одеяниях и тюрбанах. Они спрашивали имена тех, кто явился с прошениями, и Роб пробился к проходу, старательно, по буквам, назвал свое имя одному из чиновников, который записал сказанное на удивительно тонком, невесомом листе пергамента.

Высокий человек поднялся на возвышение в дальнем конце зала, где был установлен большой трон. Робу издали было плохо видно, но он понял, что это не шах — человек сел на малый трон, стоявший ниже и справа от царского.

— Это кто? — спросил Роб у того еврея, с которым ему уже довелось беседовать.

— Великий визирь, святой имам ^[136]Мирза-абу-ль-Кандраси, — ответил тот с явным беспокойством: от него не укрылось, что Роб явился с прошением.

Шах Ала ад-Даула твердым шагом поднялся на возвышение, отстегнул с пояса меч, положил на пол, а затем воссел на трон. Все, кто находился в Зале Колонн, простерлись ниц, а имам

Кандраси в это время призывал благословение Аллаха на тех, кто пришел искать справедливости у Льва Персии.

Разбор дел начался незамедлительно. Хотя в зале воцарилась полнейшая тишина, Роб не мог ясно слышать ни просителей, ни слова восседающего на троне. Однако то, что говорилось у трона, тут же повторяли громкими голосами глашатаи, расставленные в ключевых точках зала, и таким образом каждое слово доносилось без малейшего искажения до сведения всех присутствующих.

Первое дело касалось двух пастухов с обветренными лицами. Они явились из деревни Ардистан, прошагав два дня до Исфага-на, дабы представить на рассмотрение шаха свой спор. Спорили они, и весьма горячо, о том, кому из них принадлежит новорожденный козленок. Один был владельцем козы, долгое время считавшейся яловой и не способной к рождению козлят. Другой спорщик утверждал, что подготовил козу к успешному спариванию, и вследствие этого добивался права на половину козленка.

— Прибегал ли ты к волшебству? — спросил его имам.

— О достойнейший, я всего лишь пощекотал ее перышком и разгорячил, — ответил спрошенный, и вся толпа в зале разразилась хохотом, притопывая ногами. Через мгновение имам возвестил, что шах решает это дело в пользу того, кто умеет пользоваться перышком.

Для большинства присутствующих все происходящее было развлечением. Шах хранил молчание. Вполне возможно, что он сообщал свои решения имаму какими-то знаками, однако казалось, что все решения исходят от самого Кандраси, который не щадил глупцов.

Школьный учитель сурового вида, с умощенными волосами и безукоризненно подстриженной бородой, одетый в вышитую и разукрашенную рубаху, которая прилична только человеку очень богатому, поверг к ступеням трона прошение об открытии новой школы в городе Наине.

— А разве в этом городе не существуют уже две школы? — едко спросил имам Кандраси.

— Те школы никуда не годны, о достойнейший из достойных, и учат в них люди невежественные, — без запинки выговорил учитель. По толпе пробежал приглушенный ропот недовольства.

Учитель продолжал зачитывать свое прошение, в котором предлагалось назначить управляющего означенной новой школой — с таким подробным описанием совершенно ненужных требований, к оному лицу предъявляемых, и всевозможных мелочей, что в толпе явственно раздались смешки: стало понятно, что под такие требования сможет подойти только сам проситель.

— Довольно, — перебил чтение имам Кандраси. — Прошение твое лукаво и направлено к собственной выгоде, а потому оскорбительно для великого шаха. Пусть калантар отсчитает этому человеку двадцать ударов палкой, и да будет доволен этим Аллах!

Появились воины, размахивающие дубинками, при виде которых у Роба заныли все синяки, и учителя, громко взывающего о милосердии, увели прочь.

Следующее дело трудно было назвать развлечением: два аристократа, одетых в богатые шелковые наряды, немного разошлись во мнениях по вопросу о владении выпасами. Это вызвало обсуждение, которое велось тихими голосами, со ссылками на старинные договоры, заключенные давно почившими предками, и казалось, что дискуссии не будет конца. Зрители тем временем зевали и шепотом жаловались друг другу на духоту в переполненном помещении и на то, как болят затекшие ноги. Когда наконец было оглашено решение, оно не вызвало ни малейшего интереса.

— Пусть выйдет вперед Иессей бен Беньямин, еврей из Англии, — выкрикнул один из

глашатаев.

Имя повисло в воздухе и пошло эхом гулять по залу, повторяемое снова и снова. Роб прохромал к длинному, устланному ковром проходу, остро ощущая, какой на нем грязный и рваный кафтан и какая потертая старая кожаная шляпа — под стать избитому лицу.

Наконец он добрался до трона и трижды простерся ниц, как делали бывшие здесь до него — это он заметил.

Выпрямившись, увидел имама в черном одеянии, приличествующем духовенству; острый нос, как топорик, торчал на надменном лице, обрамленном седой, со стальным отливом, бородой.

На шахе был белый тюрбан, свидетельствовавший о паломничестве в Мекку, но в складках тюрбана была укреплена маленькая золотая корона. Одеяние на нем было тоже белое, из гладкой, будто светившейся материи, затканной голубыми и золотыми нитями. Нижняя часть ног была обернута синим, а остроносые туфли — голубые, затканые кроваво-красным. Взгляд у него был отсутствующий, невидящий — воплощение рассеянности и скуки.

— Ты англизи, — заметил имам, — единственный сейчас англизи, единственный европеец в нашей стране. Что привело тебя в Персию?

— Поиски истины.

— Так ты хочешь приобщиться к истинной вере? — поинтересовался имам не без сочувствия.

— Нет, ибо мы уже согласны в том, что нет Бога, кроме Него, Всемилосердного, — отвечал Роб, вспоминая с благодарностью долгие часы, которые посвятил его обучению Симон Га-Леви, начитанный купец. — Сказано в Коране: «Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться... У вас — ваша вера, и у меня — моя вера!» [1371](#)

И тут же мысленно напомнил себе, что следует говорить кратко. Без всякого красноречия, простыми словами он поведал, как оказался в джунглях западной Персии и как на него бросился дикий зверь. Робу показалось, что шах начал прислушиваться.

— Там, где я родился, не живут пантеры. Я не имел оружия и не знал, как сражаться с таким зверем.

Далее Роб рассказал, как ему спас жизнь шах Ала ад-Даула, охотник на грозных хищников, прославленный подобно своему отцу Абдалла-шаху, победителю Кашанского льва. Те из зрителей, кто стоял ближе к трону, стали одобрительными возгласами выражать восхищение своим повелителем. И волна одобрения катилась дальше по залу по мере того, как глашатаи передавали эту повесть тем, кто стоял далеко от трона и не мог слышать сам.

Кандраси сидел совершенно невозмутимо, но Робу показалось, что имам не очень-то доволен этим рассказом, как и живым откликом толпы.

— Теперь поспеши, англизи, — холодно сказал он. — Объяви, что за прошение повергаешь ты к стопам единственного истинного повелителя.

— Поскольку, — проговорил Роб, набрав полную грудь воздуха, — сказано также: кто спас жизнь другого, тот отвечает за эту жизнь, то я и прошу у великого шаха помощи в том, чтобы жизнь моя приносила как можно больше пользы. — И он кратко рассказал о своей тщетной попытке добиться зачисления в школу лекарей Ибн Сины.

История о пантере теперь уже достигла самых отдаленных, уголков зала, и он весь сотряснулся от мерных притопываний.

Нет сомнения в том, что шах Ала успел привыкнуть к страху и повиновению своих подданных, но его давненько не приветствовали так искренне, от души. Судя по выражению лица, эти приветствия звучали для него сладчайшей музыкой.

— Ха! — Единственный истинный повелитель подался вперед, глаза его сияли, и Роб понял, что шах запомнил его в том происшествии с пантерой.

Мгновение шах смотрел Робу в глаза, потом повернулся к имаму и впервые с начала большого приема заговорил.

— Жалуем этому иудею *калаат*, — изрек шах.

Все вокруг почему-то засмеялись.

— Ступай за мной, — сказал Робу седовласый начальник воинов. Ему уж не много лет оставалось до старости, но пока он выглядел здоровым и очень сильным человеком. На голове был невысокий шлем из начищенного до блеска металла, под кожаным дублетом — коричневая рубаха воина, на ногах сандалии с кожаными ремешками. О его заслугах красноречиво

говорили раны: на обеих мускулистых загорелых руках белели шрамы от залеченных сабельных ударов, левое ухо расплющено, а рот был постоянно скривлен из-за старого проникающего ранения пониже правой скулы.

— Меня зовут Хуф, — представился он. — Капитан Ворот [\[138\]](#). В мои обязанности входят и такие, как ты. — Он взглянул на растертую до крови шею Роба и улыбнулся: — Каркан?

— Он самый.

— Да, каркан — это такая штука... — с восхищением протянул Хуф.

Они вышли из Зала с колоннами и направились к конюшням. Сейчас по длинному зеленому полю скакали всадники, мчались друг на друга, кружили, размахивали длинными палками, похожими на пастушьи, только изогнутыми наоборот, но никто не валился с седел.

— Они что, пытаются попасть друг в друга?

— Они стараются попасть в мяч. Это конное поло, игра всадников. — Хуф внимательно посмотрел на Роба. — Ты очень многого не знаешь. Хотя бы знаешь, что такое калаат?

Роб отрицательно покачал головой.

— В стародавние времена, если царь Персии хотел оказать кому-нибудь милость, он снимал часть собственного одеяния — калаат — и дарил в знак своего благорасположения. И на протяжении многих веков этот обычай сохранился, дошел до нас как символ благоволения повелителя. Только теперь «царский наряд» включает денежные доходы, полное одеяние, дом и коня.

— Так я, значит, разбогател? — пролепетал Роб.

Хуф хмыкнул, посмотрев на него, как на дурачка.

— Калаат — это редкая честь, но размер вознаграждения меняется весьма значительно, смотря по обстоятельствам. Скажем, послу государства, которое было близким союзником Персии в войне, пожаловали бы богатейшие одежды, дворец, почти не уступающий блеском Райскому Дворцу, и замечательного скакуна с уздечкой и чепраком, усаженными драгоценными камнями. Но ты ведь не посол...

Позади конюшен находился загон, в котором бурлило море лошадей. Цирюльник некогда говаривал: лошадь надо выбирать такую, чтобы голова у нее была, как у принцессы, а зад — как у толстой шлюхи. Роб увидел серую кобылу, которая идеально подходила под такое описание; у нее в глазах было что-то королевское.

— Можно мне получить вон ту кобылу? — попросил он, показывая пальцем. Хуф не снизошел до ответа, что такая лошадь приличествует принцу, но кривая улыбка на его обезображенном лице была очень красноречивой. Капитан Ворот отвязал оседланного коня и взлетел в седло. Он врезался в бушующее море конских тел, ловко отделил от табуна вполне приличного, но несколько унылого гнедого мерина с сильными короткими ногами и крепкими плечами.

— Во всей Персии племенных лошадей разводит один только шах Ала, вот его тавро. — Хуф показал Робу выжженное на бедре коня клеймо в форме тюльпана. — Такую лошадь можно обменять на другую, носящую это же тавро, но продавать нельзя. Если лошадь падет, вырежи кусок шкуры с тавром, и я дам тебе другую лошадь.

Затем Хуф передал ему кошель, в котором монет было меньше, чем Роб мог за один раз заработать на продаже Особого Снадобья. Потом Капитан Ворот долго рылся на ближайшем складе, пока не отыскал годное седло из воинских запасов. Выданная им Робу одежда также была добротной, но простой. Роб получил: просторные штаны, стягивавшиеся на поясе шнуром; полотняные подколеники, надевавшиеся на каждую ногу поверх штанов, подобно медицинским повязкам от колена до щиколотки; просторную рубаху, называющуюся *хамизаи* закрывающую фигуру до колена; блузу, которую называли *дурра*; два плаща — короткий, легкий, и длинный, отороченный овчиной, на теплое и холодное время года; наконец, суживающийся кверху колпак под тюрбан (*калансува*) и сам тюрбан коричневого цвета.

— А у вас есть зеленый?

— Этот лучше. Зеленый — из тяжелой грубой материи, носят его учащиеся и последние бедняки.

— И все же мне хочется зеленый, — настаивал Роб, и Хуф дал ему зеленый тюрбан, сопроводив тот укоризненным взглядом. Капитан крикнул, чтобы привели его коня, и прихлебатели со всех ног кинулись услужить ему. Привели чистокровного арабского жеребца, похожего на ту серую кобылу, которая приглянулась Робу. Всю дорогу до Яхуддией Роб трусил на простом гнедом мерине, придерживая холщовый мешок с полученными обновлениями и держась позади Хуфа, словно оруженосец. Долго они петляли по узким улицам еврейского квартала, пока Хуф не остановился у маленького домика из старого темно-красного кирпича. Была там и крошечная конюшня — навес на четырех столбах, и скромный садик, из которого Робу подмигнула ящерица, тут же скрывшаяся в щели старой каменной ограды. Четыре неухоженных абрикосовых дерева отбрасывали тень на кусты с колючками, которые надо будет срубить. В доме оказались три комнаты — одна с земляным полом, в двух других пол из тех же красных кирпичей, что и стены; кирпичи выщерблены ногами многих поколений жильцов. В углу комнаты с земляным полом лежала высохшая мумия мышки, а в воздухе ощущался слабый запах разложения.

— Это твой дом, — сказал Хуф. Затем кивнул и удалился.

Не успел еще затихнуть вдали цокот копыт его жеребца, как у Роба подкосились ноги. Он опустился на земляной пол, позволил себе растянуться на спине и затихнуть, как та мышка.

Проспал он восемнадцать часов кряду. Когда проснулся, все тело затекло и болело, как у старика с потерявшими гибкость суставами. Он сел на полу в тихом доме и смотрел, как плавают пылинки в солнечном свете, проникающем сквозь дымоходное отверстие в крыше. Дом требовал ремонта: глина, которой обмазаны стены изнутри, потрескалась, один подоконник отвалился, — зато со дня смерти родителей это было первое жилье, в котором он был полным хозяином.

В сарайчике стоял его мерин — к ужасу Роба, не напоенный, голодный и все еще оседланный. Он быстренько расседлал коня, принес ему в шляпе воды из общественного колодца, а затем поспешил в конюшни, где находились его мул и осел. Купил деревянные ведра, просяную солому, корзину овса, погрузил на осла и доставил к себе домой.

Позабывшись о животных, достал из мешка новую одежду и пошел к баням, завернув по пути на постоянный двор Залмана Меньшого.

— Вот, пришел за вещами, — сказал он старику.

— Они в целости и сохранности, хотя я и оплакивал тебя — ведь минули две ночи, а ты так и не вернулся. — Залман взглянул на него с испугом. — Тут все говорят о зимми-чужеземце, еврее из Европы, который отправился на большой прием и удостоился калаата от шаха Персии.

Роб молча кивнул.

— Так это действительно был ты? — шепотом уточнил Залман.

— С тех пор как вы кормили меня в последний раз, я ничего больше не ел. — Роб тяжело опустился на скамью.

Залман не промедлил и минуты, еда тотчас появилась на столе. Роб сначала осторожно испытал свой желудок, съев только кусок лепешки и выпив козьего молока, но затем, не ощущая ничего иного, кроме голода, дополнил обед четырьмя вареными яйцами, лепешкой, небольшой головкой плотного сыра и миской плова. В его члены стала возвращаться прежняя сила.

Потом он долго отмокал в бане, врачуя синяки. Надев же новый наряд, ощутил себя в нем каким-то чужим, хотя и не столь чужим, как тогда, когда впервые надел еврейский кафтан. Подколенники он приладил не без труда, однако намотать тюрбан было невозможно без совета знающих людей, поэтому на время Роб оставил на голове привычную кожаную шляпу.

Оказавшись дома, он выбросил дохлую мышь и задумался над своим положением. Имелся скромный достаток, но ведь не об этом просил он шаха. Роба стали мучить смутные предчувствия недоброго, но тут его размышления были прерваны появлением Хуфа. Все так же угрюмо тот развернул свиток тонкого пергамента и стал читать вслух.

«Во имя АЛЛАХА!

Указ Царя Вселенной, Высокого и Могучего Повелителя, благородство и прочие достоинства коего не имеют себе равных, Обладателя многих высших титулов, Неколебимого Основания Царства, блистающего Великодушием, Великолепием и непревзойденной Щедростью Льва Персии, затмевающего своим Блеском всех прочих Государей в Мире. Губернатору, Правителю и прочим Царским Чиновникам Города Исфагана — местопребывания Нашего Царственного Престола, а также средоточия Наук и Искусства Врачевания. Да будет им всем ведомо, что Иессей сын Бенъямина, еврей, Цирюльник-Хирург из Бэрода Лидса в Англии, прибыл в наше Государство, наилучшим образом управляемое и благоденствующее в сравнении со всеми прочими на Земле,

достопауное прибежище всех угнетаемых, и получил Возможность и Высокое Счастье удостоиться Лицеэрения Нашего Лучезарного Царского Величества и повергнуть свою униженную мольбу о помощи к Стопам истинного Наместника, пребывающего в Раю истинного Пророка. Да будет им ведомо также, что Иессей сын Беньямина из Лидса удостоился Нашей Царской Милости и Благоволения, в знак чего одарен Царским Нарядом с Почестями и Привилегиями, почему Всем надлежит выказывать ему должное почтение. Знайте и ведайте с тем вместе, что сей Указ влечет суровые Кары для ослушников, и нет иного наказания для неповинующихся ему, кроме Смертной Казни. Дано в третий Пандж Ш а н б е ^[139]Месяца Раджаба ^[140]именем Его Царского Величества Благочестивым Паломником, совершившим поклонение исполненным Высшего Благородства Святыням, Главным Советником, Попечителем Дворца Женщин Высочайшего Повелителя Имамом Мирзой-абу-ль-Кандраси, Визирем. *И пусть каждый упоает на Помощь Аллаха, Высокого, Великого, во всех своих Земных Делах».*

* * *

— Но что же о школе? — не удержался и спросил Роб хриплым голосом.

— Школа — это не по моей части, — ответствовал Капитан Ворот и ускакал столь же поспешно, как и прибыл.

Недолгое время спустя два носильщика атлетического сложения доставили к дверям Роба паланкин, в котором находились хаджи Давут Хосейн и большой запас ягод инжира — залог сладкого будущего, ожидающего хозяина этого дома.

Вдвоем они сели прямо на землю в крошечном садике под сенью неухоженных абрикосовых деревьев, среди ползающих муравьев и летающих пчел, и занялись ягодами инжира.

— А эти абрикосовые деревья все-таки замечательные, — глубокомысленно заметил хаджи, критически оглядев садик. И пустился в долгие и подробные рассуждения, как можно вернуть всю прелесть четырем абрикосам, разумно прививая, старательно поливая, а равно удобряя почву конским навозом.

Наконец Хосейн умолк.

— Что-то еще? — пробормотал Роб.

— Мне выпала честь передать тебе привет и поздравления почтеннейшего Абу Али аль-Хусейна ибн Абдаллы ибн Сины.

С хаджи градом лил пот, он так побледнел, что на лбу стала резко выделяться забиба. Робу стало жаль его, но не настолько, чтобы не смаковать эти мгновения — они были слаще и роскошнее, нежели пьянящий аромат абрикосов, усыпавших землю под деревьями. Хосейн передавал Иессею сыну Беньямина приглашение вступить в число учащихся медресе и изучать искусство врачевания в маристане, где он сможет постоянно удовлетворять свое горячее желание сделаться искусным лекарем.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ В МАРИСТАНЕ



Первое студенческое утро Роба выдалось очень жарким, предвещая трудный день. Он старательно облачился в новые одежды, но решил, что подколенники можно не надевать — и без того слишком жарко. Безуспешно сражался с зеленым тюрбаном, пытаясь разгадать непостижимую тайну — как намотать его. Наконец, дал какому-то юноше монетку, и тот показал, как продеть складки ткани, чтобы они туго обернулись вокруг калансувы, а потом аккуратно надеть тюрбан на голову. Но Хуф не обманул его, когда говорил, что дешевая ткань тяжеловесна. Зеленый тюрбан весил чуть ли не полпуда, и Роб в конце концов снял с головы непривычный груз, надел свою кожаную шляпу — какое облегчение!

Благодаря этому его стало легко узнать. Когда он приблизился к Большому Вымени, там стояла и беседовала группа юношей в зеленых тюрбанах.

— А вот и твой еврей, Карим! — воскликнул один из них...

Сидевший на ступеньках человек поднялся, подошел к нему, и Роб узнал красивого рослого учащегося, который во время его первого посещения отчитывал служителя больницы.

— Меня зовут Карим Гарун. А ты — Иессей бен Беньямин.

— Точно.

— Хаджи поручил мне показать тебе школу и больницу и ответить на твои вопросы.

— Ты еще пожалеешь, что не остался в каркане, иудей! — крикнул кто-то, и все рассмеялись.

— Не думаю, — улыбнулся Роб. Ему стало ясно, что вся школа уже прослышала о еврее из Европы, который попал в тюрьму, а затем добился зачисления в школу лекарей по велению самого шаха.

Начали они с маристана, однако Карим шагал слишком быстро, пояснения давал неохотно и торопливо. Ему, несомненно, не терпелось покончить с неприятным поручением как можно скорее. Робу все же удалось выяснить, что больница подразделяется на мужскую и женскую половины. У мужчин сиделками были служители-мужчины, у женщин и сиделками, и санитарями-носильщиками были женщины. Из мужчин приближаться к женщинам могли лишь лекари и мужья пациентов.

Хирургии были отведены две комнаты, а также длинное помещение с низким потолком, там на бесконечных рядах полок стояли флаконы и кувшины с аккуратными наклейками.

— Это *хазанат уль-шараф*, «сокровищница лекарств», — пояснил Карим. — По понедельникам и четвергам лекари проводят в школе практические занятия. После осмотра пациентов и назначений аптекари готовят прописанные лекарями целебные средства. Аптекари в маристане добросовестны и соблюдают точность рецепта до последней капли, до зернышка. А в городе большинство аптекарей — негодяи-торгаши: они продадут тебе бутылку мочи и еще поклянутся, что это розовая вода.

По соседству, в здании школы, Карим показал Робу комнаты для осмотра больных, залы для лекций и лаборатории, кухню и общую столовую, а также просторную баню, которой пользовались и преподаватели, и учащиеся.

— У нас сорок восемь лекарей и хирургов, однако не все они читают лекции. Учащихся-медиков, считая с тобой, двадцать семь. И каждый проходит обучение последовательно у

нескольких разных лекарей. Обучение у каждого лекаря длится по-разному, в зависимости от успехов учащегося, и продолжительность обучения в школе тоже разная. Тебе велят готовиться к устному испытанию тогда, когда преподаватели, чтоб шайтан подстелил им свой хвост, решат, что ты к этому готов. Если сдашь успешно, тебя станут величать хакимом [141]. Ну, а если провалишься, то останешься учащимся и должен будешь заслужить вторую попытку.

— А давно ли ты здесь?

Карим бросил на Роба сердитый взгляд, и тот понял, что такой вопрос задавать не следовало.

— Семь лет. Я дважды проходил испытание. В прошлом году провалился на вопросах по философии. А вторая попытка была три недели назад, когда я недостаточно четко ответил на вопросы по законоведению. Да какое мне дело до истории логики или судебных прецедентов? Я уже сейчас хороший лекарь! — Он горько вздохнул. — Ты ведь должен посещать занятия не только по медицине, но и по праву, богословию и философии. Когда и что слушать — выбираешь сам. Лучше всего прослушивать одну и ту же лекцию несколько раз, — неохотно признался он, — потому что некоторые преподаватели относятся к тебе на экзамене более снисходительно, если привыкли видеть тебя на занятиях.

Посещение утренних лекций по каждому предмету обязательно для всех учащихся медресе. А во второй половине дня те, кто изучает право, готовят краткие выписки по сути судебных дел или же посещают суды; будущие богословы спешат в мечети, будущие философы читают книги или пишут, а медики работают в больнице лекарскими помощниками. Как раз во второй половине дня лекари приходят в больницу, их сопровождают учащиеся. Последним разрешено осматривать больных и высказывать предложения о способах лечения. Лекари задают уйму поучительных вопросов. Это великолепная возможность учиться или же, — он кисло улыбнулся, — показать себя законченным тупицей.

Роб всматривался в красивое, но несчастное лицо Карима. Семь лет, подумал он, опешив, а впереди — ничего, кроме неясных перспектив. А ведь этот человек, несомненно, приступил к изучению медицины, имея куда лучшую подготовку, чем Роб с его отрывочными знаниями!

Но страхи и грусть его рассеялись, когда они вошли в библиотеку, которая здесь называлась Домом Мудрости. Роб никогда и не предполагал, что в одном месте может быть собрано столько книг! Некоторые манускрипты были написаны на настоящем пергаменте из кожи, но большинство — на тонких листках, подобно указу о его калаате.

— А пергамент в Персии неважный, — заметил он.

— Это вообще не пергамент, — хмыкнул Карим. — Это называется бумага, изобретение людей с раскосыми глазами, которые живут к востоку отсюда, а они — неверные, но очень умные. У вас в Европе нет бумаги?

— Я ее там никогда не видел.

— Бумага — это всего лишь старые тряпки, размолотые в массу, смазанные животным клеем и пропущенные через пресс. Она недорога и доступна даже учащимся.

Дом Мудрости поразил и ошеломил Роба как ничто иное, виденное им до сих пор. Он бесшумно ходил по залу, прикасался к книгам, запоминал имена авторов, из коих раньше слышал всего несколько.

Гиппократ, Диоскорид, Ардиген, Руф Эфесский, бессмертный Гален... Орибазий.

Филагрий, Александр Тралльский, Павел Эгинский...

— Сколько же здесь всего книг?

— Медресе принадлежит почти сто тысяч книг, — гордо ответил Карим и улыбнулся, увидев в глазах Роба недоверие. —

Большинство из них было переведено на фарси в Багдаде. В университете Багдада есть специальное отделение, которое готовит переводчиков, и там книги переводят и переписывают на бумаге — на всех языках Восточного Халифата. В Багдаде огромный университет, в библиотеке которого имеется шестьсот тысяч книг. Там более шести тысяч учащихся, известнейшие преподаватели. Но в нашем маленьком медресе есть нечто такое, чего у них там нет.

— И что же это? — спросил Роб, а Карим подвел его к стене Дома Мудрости, где на всех полках стояли труды одного-единственного автора.

— Вот кто.

* * *

В тот день в маристане Роб впервые увидел человека, которого персы величали Князем медиков. На первый взгляд Ибн Сина вызывал разочарование. Красный тюрбан лекаря на нем выщел и повязан был небрежно, а дурра — простенькая, поношенная. Невысокий, начинающий лысеть, с крупным, покрытым синими прожилками носом, под белой бородой проглядывают первые складки. Короче говоря, он выглядел как обычный стареющий араб, пока Роб не заметил его пронизательных карих глаз — печальных и всевидящих, суровых и удивительно живых — и сразу поверил, что Ибн Сина способен прозреть то, что недоступно взору простого смертного.

Роб оказался одним из семи учащихся, которые вместе с четырьмя лекарями сопровождали Ибн Сину, когда тот совершал обход больницы. В тот день главный лекарь остановился возле циновки, на которой лежал изможденный человек с обтянутыми кожей конечностями.

— Кто из учащихся отвечает за это отделение?

— Я, господин, Мирдин Аскари.

Ага, так вот двоюродный брат Арье, сказал себе Роб, с интересом поглядывая на смуглого молодого еврея с выдающейся вперед нижней челюстью и квадратными белыми зубами — это делало его симпатичным, придавало ему какой-то домашний вид, как у умной лошади.

— Расскажи нам о нем, Аскари, — кивнул Ибн Сина в сторону больного.

— Это Амаль Рахин, погонщик верблюдов, который обратился в больницу три недели назад с жалобами на сильную боль в нижней части спины. Поначалу мы подозревали, что он повредил хребет в пьяной драке, однако вскоре боль распространилась на правое яичко и правое бедро.

— А что моча? — спросил Ибн Сина.

— До третьего дня была прозрачной. Светло-желтого цвета. Утром третьего дня в моче появилась кровь, а днем вышли шесть мочевых камней — четыре подобных песчинкам, а два — камешки размером с небольшую горошину каждый. После того боли не возобновлялись, моча прозрачная, но пищи он не принимает.

— А чем ты пробовал его кормить? — нахмурился Ибн Сина.

— Обычными блюдами. — Учащийся выглядел растерянным. — Несколько сортов плова. Куриные яйца. Баранина, лук, лепешки... Он даже не прикасается к еде. Кишки его перестали работать, пульс бьется еле слышно, а сам он слабеет с каждым днем.

Ибн Сина кивнул и посмотрел на всех.

— Что же за болезнь его мучит?

Тут набрался храбрости другой лекарский помощник:

— Я полагаю, господин, что у него перепутались кишки, они не пропускают пищу дальше по телу. Он это чувствует и не позволяет себе брать в рот еду.

— Благодарю тебя, Фадиль ибн Парвиз, — вежливо ответил Ибн Сина, — однако при таком повреждении больной будет есть, хотя и извергнет съеденное. — Он подождал. Других мнений не последовало, и главный лекарь подошел к человеку, лежащему на циновке.

— Амаль, — обратился он к больному, — я Хусейн-Лекарь, сын Абдаллы, сына аль-Хасана, сына Ала, сына Сины. А эти люди — мои друзья, и они станут твоими друзьями. Откуда ты родом?

— Из деревни Шайни, господин, — прошептал больной.

— Ах, так ты из области Фарс! Там я провел счастливые дни. А финики в оазисе Шайни — крупные, сладкие, правда ведь?

На глазах Ала выступили слезы, он молча кивнул.

— Аскари, ступай принеси нашему другу фиников и миску теплого молока.

Через короткое время это было принесено, и лекари вместе с учащимися наблюдали, как больной стал жадно есть финики.

— Ты не спеши, Амаль. Помедленнее, друг мой, — предупредил его Ибн Сина. — Аскари, ты проследишь за тем, чтобы нашему другу давали подобную пищу.

— Слушаюсь, господин, — ответил молодой еврей, когда они уже двинулись дальше.

— Следует запомнить, что это касается всех больных, находящихся на нашем попечении. Они обращаются к нам, но не становятся нами. Очень часто они едят не то же самое, что едим мы. Если лев приходит в коровник, он не притронется к сену.

Жители пустыни питаются в основном творогом и различными блюдами из кислого молока. Живущие в Дар-уль-Маразе едят рис и высушенную пищу. Хорасанцы признают только похлебки, заправленные мукой. Индийцы предпочитают горох, бобы, растительное масло и острые приправы. Люди, живущие за Оксом [\[142\]](#), пьют вино и едят мясо, в особенности конину. А в Фарсе и Аравии питаются в первую очередь финиками. Бедуины привыкли к мясу, верблюжьему молоку и саранче. Те же, кто живет в Гургане [\[143\]](#), грузины, армяне и европейцы любят запивать еду хмельными напитками, а едят они мясо коров и свиней.

Ибн Сина сурово взглянул на обступивших его лекарей и учащихся:

— Мы вселяем в них страх, молодые господа. Нередко мы не в силах спасти их, а иной раз наше лечение их убивает. Так давайте хоть не будем морить их голодом.

И Князь лекарей удалился, сложив руки за спиной.

На следующее утро Роб пришел в медресе слушать свою первую лекцию. Она проходила в маленьком амфитеатре с каменными скамьями. Роб волновался, пришел слишком рано и теперь сидел в одиночестве в четвертом ряду. Потом вошли сразу пять или шесть учащихся.

Поначалу они не обратили на Роба ни малейшего внимания. Из их разговора он узнал, что один лекарский помощник, Фадиль ибн Парвиз, отмечен преподавателями: он будет держать экзамен на звание лекаря, и остальные поддразнивали его не без зависти.

— Так тебе, Фадиль, до экзамена осталась одна неделя? — уточнил толстенный коротышка. — Ну, думаю, у тебя от страха моча станет зеленой!

— Закрой пасть, толстый Аббас Сефи, морда ты еврейская, христианин необрезанный! Уж тебе-то нечего бояться экзамена — ты пробудешь в учении даже дольше, чем Карим Гарун, — парировал Фадиль, и все засмеялись.

— Салам, а это кто тут у нас? — Фадиль заметил Роба. — Как тебя зовут, зимми?

— Иессей бен Беньямин.

— А! Знаменитый узник! Еврейский цирюльник-хирург, удостоившийся шахского калаата. Ну, скоро ты увидишь: чтобы стать лекарем, одного шахского указа мало.

Зал понемногу наполнялся. По каменным ступеням поднимался, высматривая свободное место, Мирдин Аскари. Фадиль окликнул его:

— Аскари! Тут появился еще один иудей, который мечтает сделаться лекарем. Скоро вас станет больше, чем нас.

Аскари холодно смотрел поверх голов, обращая на Фадила внимания не больше, чем на жужжащее насекомое.

Вошел лектор, и всякие разговоры смолкли. Преподавателя философии, с выражением беспокойства на лице, звали Саид Сади.

Роб сразу же получил начальное представление о том, за что именно взялся, когда возмечтал изучить медицину: Саид оглядел зал и заметил незнакомое лицо.

— Вот ты, зимми — как твое имя?

— Иессей бен Беньямин.

— Скажи же нам, Иессей бен Беньямин, как Аристотель описал соотношение тела и духа.

Роб молча покачал головой.

— Это написано в его сочинении «О душе», — нетерпеливо подсказал лектор.

— Мне незнакомо это сочинение. Я никогда не читал Аристотеля.

Саид Сади бросил на Роба озабоченный взгляд.

— Ты должен сразу же взяться за него, — велел он.

Роб мало что понял из лекции Саида Сади. Когда она закончилась и зал опустел, Роб подошел к Мирдину Аскари.

— Я принес тебе привет и наилучшие пожелания от трех жителей Маската: реб Лонцано бен Эзры, реб Лейба бен Когена и твоего двоюродного брата, реб Арье Аскари.

— А! Успешной ли была их поездка?

— Полагаю, успешной.

— Это хорошо, — кивнул Мирдин. — А ты еврей из Европы, слышал о тебе. Что ж. Исфаган покажется тебе странным городом, но здесь большинство учащихся — приезжие. — Далее он сообщил, что среди учащихся четырнадцать мусульман из разных стран Восточного халифата [\[144\]](#), семь мусульман из Западного халифата [\[145\]](#) и еще пять евреев с Востока.

— Значит, я только шестой учащийся-еврей? А после слов Фадила ибн Парвиза мне показалось, что нас гораздо больше.

— Ой, этот Фадил! На вкус Фадила, один учащийся-еврей уже слишком много. Он ведь коренной исфаганец, а они считают Персию единственной на свете цивилизованной страной ислам — единственной верой. Когда мусульмане ссорятся, то называют друг друга евреями и христианами. А если они в хорошем настроении, то считают самой смешной шуткой назвать другого мусульманина «зимми».

— Тебя это очень злит? — спросил Роб, кивая головой: ему вспомнилось, как все рассмеялись, когда шах назвал его иудеем.

— Это заставляет меня шевелить мозгами и быть усидчивым. Чтобы я смог улыбнуться, когда оставлю мусульман в медресе далеко позади. — Мирдин с любопытством посмотрел на Роба. — Говорят, ты был цирюльником-хирургом. Правда?

— Правда.

— Я бы не стал об этом распространяться, — осторожно проговорил Мирдин. — Персидские лекари считают, что цирюльники-хирурги...

— Не заслуживают их восхищения?

— Да, их не очень-то любят.

— Меня мало волнует, кого они любят. Не собираюсь просить прощения за то, что я — это я.

Ему показалось, что в глазах Мирдина промелькнула искорка одобрения, однако она — если просто не померещилась Робу — тут же исчезла.

— Я тоже, — сказал Мирдин, сдержанно кивнул и вышел из лекционного зала.

* * *

Занятие по исламскому богословию — вел его толстый мулла по имени Абу-ль-Бакр — оказалось не многим лучше лекции по философии. Коран подразделяется на сто четырнадцать глав, называемых сурами. Суры сильно различаются по объему: от нескольких строк до сотен стихов, — и к вящему огорчению Роба выяснилось, что он не сможет окончить медресе, пока не выучит наизусть наиболее важные суры.

На следующей лекции искусный хирург Абу Убейд аль-Джуджани велел Робу прочитать «Десять рассуждений о глазе» Хунейна [\[146\]](#). Аль-Джуджани, крепыш невысокого роста и устрашающего вида, смотрел на учащихся не мигая, а повадками напоминал поднятого из спячки медведя. Количество учебных заданий стремительно росло, от этого Роба стал прошибать холодный пот, но лекция Джуджани его заинтересовала. Преподаватель рассказывал о помутнении глаза, которое поражало многих людей, лишая их зрения.

— Полагают, что подобную слепоту вызывает испорченная телесная жидкость, просачивающаяся в глаз, — говорил аль-Джуджани. — По этой причине древние персидские лекари называли болезнь «назул-и-аб», то есть «сход воды», а позднее название было искажено и превратилось в «болезнь водопада», или «катаракту» [\[147\]](#).

Хирург далее сказал, что катаракта чаще всего начинается с маленького пятнышка на хрусталике, которое почти не мешает человеку видеть, но затем постепенно растет, пока весь хрусталик не становится молочно-белым, что приводит к слепоте.

Роб внимательно смотрел, как аль-Джузджани надсекает глаза мертвой кошки. Вскоре между учащимися прошли ассистенты врачевателя и раздали всем трупы животных, чтобы будущие лекари могли попробовать проделать ту же операцию на дохлых собаках, кошках и даже курах. Робу досталась пегая дворняжка с застывшим взглядом, спутанной шерстью и без передних лап. Руки дрожали, у Роба не было ясного представления о том, что надо делать, но ему придало смелости воспоминание о том, как Мерлин избавил от слепоты Эдгара Торна — ведь этой операции Мерлина научили здесь, в этой самой Школе, возможно, даже в этом самом зале.

Вдруг над ним склонился аль-Джузджани, всматриваясь в глаз мертвого пса.

— Приложи иглу к тому месту, которое собираешься надсекать, и оставь там отметку, — резко проговорил преподаватель. — затем двигай иглу к внешнему углу глаза, на одном уровне, чуть-чуть выше зрачка. От этого катаракта провалится ниже. Если оперируешь на правом глазе, держи иглу в левой, и наоборот.

Роб выполнял эти указания, думая о тех мужчинах и женщинах, которые на протяжении многих лет оказывались у него за занавесом — их глаза помутнели, а он ничем не мог им помочь.

Ко всем чертям Аристотеля с Кораном! Вот для чего он проделал долгий путь в Персию, возбужденно повторял про себя Роб.

* * *

В тот день группа учащихся — и Роб в их числе — шла по маристану вслед за аль-Джузджани, будто пономари в свите епископа. Аль-Джузджани навещал своих пациентов, наставлял учащихся, объяснял, задавал им вопросы. Сам он тем временем менял повязки и снимал швы. Роб убедился, что это хирург весьма искусный и сведущий в различных операциях. Те, кому он сделал прежде операцию, теперь выздоравливали после катаракты, ампутации раздавленной руки, удаления опухолей, круговых сечений; затягивалась рана на лице у мальчика, который проткнул острой палкой щеку.

Когда аль-Джузджани закончил свою работу, Роб снова обошел больницу, на этот раз вслед за хакимом Джалаль-ад-Дином, костоправом, пациенты которого были спутаны сложными переплетениями веревок, сцепок, противовесов и блоков. Роб взирал на эти приспособления в молчаливом почтении.

Он с беспокойством ожидал, что его вызовут помочь или спросят о чем-нибудь, однако ни тот, ни другой лекарь его, казалось, и не замечали. Когда Джалаль покончил с делами, Роб помог санитарам покормить больных и прибрать в помещении.

А когда в больнице все было сделано, он отправился на поиски нужных книг. Коран в изобилии имелся в библиотеке медресе, там же он нашел и сочинение «О душе». Однако единственный экземпляр «Десяти рассуждений о глазе» Хунейна, как выяснилось, уже взял кто-то другой, и еще с полдюжины учащихся записались в очередь на книгу прежде Роба.

Хранителем Дома Мудрости был добродушный человек, именем Юсуф аль-Джамал, каллиграф, который свободное время проводил с пером и чернилами, переписывая дополнительные экземпляры книг, купленных в Багдаде.

— Ты слишком долго ждал. «Десять рассуждений о глазе» ты теперь сможешь получить лишь через несколько недель, — объяснил он Робу. — Когда преподаватель советует какою-

нибудь книгу, ты должен сразу же поспешить ко мне, иначе тебя опередят другие.

Роб хмуро кивнул. Домой он понес две книги, а по пути остановился на еврейском рынке — купить лампу и масло у худощавой женщины с волевым подбородком и серыми глазами.

— Ты европеец?

— Да.

— Так мы же соседи, — просияла она. — Я Гинда, жена Высокого Исаака, мы живем в трех домах к северу от тебя. Приходи к нам в гости обязательно.

Роб поблагодарил ее и улыбнулся. На душе у него стало теплее.

— Для тебя — по самой низкой цене. Самая лучшая цена для еврея, который сумел из царя выудить калаат!

На постоялом дворе Залмана Меньшого он поужинал пловом, однако огорчился, когда Залман привел еще двух соседей познакомиться с евреем, который удостоился калаата. Соседи были плотные молодые люди, каменотесы — Хофни и Шмуэль бнай Хиви, сыновья вдовы Нитки Повитухи, которая жила в конце его улицы. Братья хлопали Роба по спине, желали ему всех благ, пытались угостить вином.

— Поведай нам о калаате, расскажи о Европе! — вскричал Хофни.

Робу хотелось подружиться с ними, однако он предпочел уединиться в своем домике. Покормив и почистив животных,

сел в садике и стал читать Аристотеля, что оказалось совсем не просто. Смысл сочинения ускользал от него, и Роб остро чувствовал свое невежество.

Стемнело, и он перебрался под крышу дома, зажег лампу и занялся Кораном. Ему показалось, что суры расположены по величине, причем самые длинные шли первыми. Но которые же суры самые важные, те, что нужно заучить? Ни малейшего представления об этом он не имел. А еще было так много вступительных абзацев — *онитоже* важны?

Роб ощутил отчаяние и понял, что нужно с чего-то начать.

«Слава Аллаху Всевышнему, Всемилостивому и Всемилосердному; Он сотворил Все, и Человека тоже...»

Он читал и перечитывал каждый абзац, но не успел запечатлеть в памяти и нескольких стихов, как отяжелевшие веки его сомкнулись. Так и не раздевшись, он уснул прямо на освещенном лампой земляном полу, будто человек, стремящийся сбежать от горькой и утомительной яви.

Каждое утро на рассвете лучи восходящего солнца, отражаясь от черепичных крыш неимоверно покосившихся домишек Яхуддиейе, проникали в узкое окно комнаты Роба и будили его. С зарей улицы начинали заполняться народом, мужчины спешили в синагоги на молитву, женщины торопились разложить товары на столиках рынка или же, наоборот, купить пораньше все самое свежее и лучшее.

В соседнем доме к северу от Роба жил башмачник, именем Яков бен Раши, с женой Наомой и дочерью Лией. В доме к югу обитали лепешечник Мика Галеви, его жена Юдифь и трое детей — все девочки. Роб всего несколько дней прожил в Яхуддиейе, как Мика прислал к нему Юдифь с круглой плоской лепешкой на завтрак, еще горячей и хрустящей, прямо из печи.

И куда бы ни шел Роб по Яхуддиейе, у всех находилось доброе слово для еврея-чужеземца, который удостоился калаата.

Менее приветливо к нему относились в медресе, где учащиеся-мусульмане никогда не называли его по имени, а только «зимми», получая от этого немалое удовольствие. Даже учащиеся-евреи называли его «Европеец».

Опыт цирюльника-хирурга, пусть и не приносил всеобщего признания, все же весьма пригодился в маристане — хватило трех дней, чтобы все увидели: он умеет делать перевязки, кровопускания, сращивать несложные переломы костей, и в этом не уступает выпускникам школы. Его освободили от обязанности выносить нечистоты, поручив дела, непосредственно связанные с уходом за больными, и от этого жизнь стала казаться ему вполне сносной.

* * *

Когда Роб спросил Абу-ль-Бакра, которые из ста четырнадцати сур Корана самые важные, то не получил вразумительного ответа.

— Они все важны, — сказал жирный мулла. — Один богослов считает более важными одни, другой — другие.

— Но ведь я не смогу окончить медресе, если не заучу наизусть самые важные суры! Если вы мне их не назовете, то как же я их узнаю?

— А! — сказал на это преподаватель богословия. — Ты должен читать Коран, а Аллах (во веки славен Он!) откроет их тебе.

Роб чувствовал, как учение Мухаммеда давит на него тяжким грузом, а Аллах непрестанно наблюдает за каждым его шагом. В медресе, куда ни повернись, ислам был повсюду. На каждом занятии присутствовал мулла, следя, чтобы никто не умалил величия и славы Аллаха (велик Он и могуч!).

Первое для Роба занятие, которое вел Ибн Сина, было посвящено анатомии. Вскрывали и исследовали большую свинью, запрещенную мусульманам к употреблению в пищу, но дозволенную для изучения.

— Свинья представляет собой особенно удачный объект для рассмотрения анатомии,

ибо ее внутренние органы одинаковы с человеческими, — сказал Ибн Сина, ловко снимая шкуру.

У свиньи оказалось множество разнообразных опухолей.

— Вот эти гладкие наросты не причиняют, похоже, никакого вреда. Но некоторые росли так быстро... Вот, посмотрите, — Ибн Сина приподнял тяжелую тушу так, чтобы ученикам было лучше видно. — Эти комья плоти срослись друг с другом, словно части головки цветной капусты. Опухоли, похожие на такую головку, смертельны.

— Бывают ли они у людей? — спросил Роб.

— Этого мы не знаем.

— А выяснить разве нельзя?

Теперь притих весь зал. Учащиеся испытывали отвращение к чужеземцу, неверному шайтану, а ассистенты преподавателя насторожились. Мулла, который забил свинью, оторвался от молитвенной книги.

— Написано, — осторожно ответил Ибн Сина, — что мертвые восстанут, их приветствует Пророк (да возрадуется ему Аллах и да благословит!) и они будут жить снова. А до того дня нельзя калечить их тела.

Роб помедлил мгновение и кивнул. Мулла вернулся к своей молитве, а Ибн Сина продолжил лекцию по анатомии.

* * *

Во второй половине дня в маристане появился хаким Фадиль ибн Парвиз в красном тюрбане лекаря. Он успешно прошел устное испытание, и теперь принимал поздравления учащихся-медиков. У Роба не было никаких причин симпатизировать Фадиллю, но он все равно был рад и взволнован — ведь он сам, как и другие учащиеся, в один прекрасный день мог добиться такого же успеха.

В тот день обход больных совершали Фадиль и аль-Джуз-джани. За ними следовали Роб и другие: Аббас Сефи, Омар Ни-вахенд, Сулейман аль-Джамал, Сабит ибн Курра. В последнюю минуту к лекарям присоединился Ибн Сина, и Роб сразу почувствовал, как все вокруг заволновались — так неизменно случалось в присутствии главного лекаря.

Вскоре они пришли в отделение, где находились больные, страдающие опухолями. На ближайшей к входу циновке неподвижно лежал человек с застывшим взглядом; лекари остановились в некотором отдалении.

— Иессей бен Беньямин, — вызвал аль-Джузджани, — расскажи нам об этом человеке.

— Его зовут Исмаил Газали. Возраста своего он не знает, говорит, что родился в Хуре, когда там были необычно большие весенние паводки. Мне сказали, что такое было тридцать четыре года назад.

Аль-Джузджани одобрительно кивнул.

— У него опухоли на шее, под мышками и в паху, причиняющие ему сильные боли. Отец больного умер от похожей болезни, когда Исмаил Газали был еще ребенком. Ему очень больно мочиться. Когда это все же удается, выходящая жидкость имеет темно-желтый цвет с цилиндрами, похожими на тонкие красные нити. Он способен съесть не больше нескольких ложек каши, иначе его рвет, поэтому его кормят понемногу, но часто, как только можно.

— Ты делал ему сегодня кровопускание? — спросил аль-Джузджани.

— Нет, хахим.

— Отчего же?

— Нет нужды причинять ему боль и дальше. — Возможно, если бы Роб не думал так много о свинье и не гадал, не пожирают ли тело Исмаила Газали наросты, имеющие вид головки цветной капусты, то не загнал бы себя сам в ловушку. — Наступит ночь, и он умрет.

Аль-Джуджани уставился на Роба во все глаза.

— Почему ты так думаешь? — задал вопрос Ибн Сина.

Все взгляды устремились на Роба, но он отлично понимал, что никаких пояснений давать нельзя.

— Просто знаю, — ответил он, помедлив, и Фадиль, позабыв о своем новом звании, открыл рот от удивления.

Лицо аль-Джуджани побагровело от гнева, но Ибн Сина поднял руку, взглянул на других лекарей и дал знак, что пора продолжать обход.

Это происшествие лишило Роба всех радужных надежд. Вечером он не смог заставить себя заниматься. Он ошибся, поступив в школу, твердил себе Роб. Невозможно дать ему то, чего у него нет — быть может, пора признать, что ему не суждено сделаться лекарем.

И все же утром он пошел в медресе и посетил три лекции, а во второй половине дня заставил себя сопровождать аль-Джуджани в обходе больных. Когда они только начали, Ибн Сина, к полному отчаянию Роба, присоединился к ним, как и вчера.

Пришли в опухолевое отделение — на ближайшей к входу циновке лежал совсем юный пациент, подросток.

— А где Исмаил Газали? — спросил служителя аль-Джуджани.

— Его ночью призвал к себе Аллах, о хахим.

Аль-Джуджани ничего на это не сказал. В продолжение обхода он обдавал Роба ледяным презрением, как и надлежало держаться с чужаком-зимми, которого осенила удачная догадка.

По окончании обхода, однако, когда все разошлись, Роб почувствовал на плече чью-то руку, обернулся и встретился с приводящим в трепет взглядом старого лекаря.

— Приходи разделить со мною вечернюю трапезу, — сказал ему Ибн Сина.

* * *

Взволнованный, преисполненный надежд и ожиданий, Роб вечером, руководствуясь указаниями главного лекаря, проехал на гнедом мерине по улице Тысячи Садов до переуллка, в котором стоял дом Ибн Сины. Дом оказался громадным, обнесенным стеной каменным особняком с двумя башнями, его окружали поднимавшиеся террасами фруктовые сады и виноградники. Ибн Сина тоже удостоился «царского одеяния», но ему шах пожаловал калаат, когда лекарь был уже знаменит, пользовался всеобщим уважением, а потому и дар был истинно царским.

Привратник, предупрежденный хозяином, сразу впустил Роба и принял повод его коня. Дорожка от ворот к дому была посыпана таким мелким камнем, что шаги по ней звучали, как шепот. Когда Роб подошел к дому, отворилась боковая дверца и оттуда вышла женщина, молодая и стройная. Одета она была в красный бархатный плащ, расширившийся от талии, с усыпанной блестками каймой; под плащом — свободная полотняная рубаха с выбитым

узором из желтых цветов. Роста она была маленького, но шла с величием и плавностью царицы. Украшенные бисером браслеты на щиколотках плотно перехватывали алые шаровары с шерстяными кисточками, свисавшими до точеных босых пяток. Дочь Ибн Сины (если это и вправду была дочь) пристально взгляделась в Роба жгучими черными глазами, испытывая не меньшее любопытство, чем он сам, затем отвернула закрытое вуалью ^[148]лицо от мужчины, как и велит мусульманская вера.

Позади двигалась огромная фигура в тюрбане, похожая на кошмарный сон. Евнух не отпускал украшенной самоцветами рукояти кинжала, заткнутого за пояс, и не спускал с Роба мрачного, настороженного взгляда, пока не убедился, что его подопечная благополучно скрылась за стеной сада.

Роб все смотрел им вслед, когда неслышно повернулась на хорошо смазанных петлях парадная дверь, целиком вытесанная из глыбы камня, и слуга пригласил его в просторный вестибюль, дышавший прохладой.

— А, это ты, молодой друг! Добро пожаловать в мой дом!

Вслед за Ибн Синой Роб прошел по анфиладе больших комнат; покрытые плиткой стены были украшены ткаными занавесами разных оттенков земли и неба. На каменных полах — толстые, как подстилка из дерна, ковры. В середине дома находился внутренний дворик с садом, там и был накрыт стол — подле плещущего фонтана.

Роб чувствовал себя не в своей тарелке, ведь никогда прежде ему не помогал усаживаться на свое место слуга. Другой слуга принес глиняное блюдо с плоскими лепешками, а Ибн Сина не музыкально прокричал нараспев положенную в исламе молитву.

— Желаешь ли ты прочесть свою благодарственную молитву? — вежливо предложил он гостю.

Роб разломил одну лепешку и, успев уже привыкнуть к иудейским застольным молитвам, прочитал наизусть: «Благословен Ты вовек, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам хлеб от земли».

— Аминь, — заключил Ибн Сина.

Пища была простая, но отменного качества: нарезанные огурцы с мятой, густое кислое молоко, легкий плов, приготовленный из нежирного мяса молодого барашка и курятины, компот из вишен и абрикосов, да еще освежающий шербет из фруктовых соков.

По завершении трапезы раб с кольцом в носу принес мокрые полотенца, которыми они вытерли руки и лицо, пока другие рабы убрали со стола и зажигали дымные факелы, чтобы отгонять насекомых.

Появилось блюдо фисташек; гость и хозяин разгрызали крепкими зубами скорлупу орехов и дружно жевали.

— Ну, а теперь, — Ибн Сина подался вперед, и в его удивительных глазах, умевших выражать столь многое одновременно, вспыхнули при свете факелов яркие искорки пристального интереса, — давай поговорим о тех причинах, которые позволили тебе предвидеть смерть Исмаила Газали.

Роб поведал, как в возрасте девяти лет он взял за руки маму и ему открылось, что она умирает. Как таким же образом узнал о неизбежной близкой смерти отца. Описал он и другие случаи, происшедшие с тех пор: когда иной раз он брал руку больного и его пронизывали ужас и боль снизошедшего откровения.

Ибн Сина терпеливо расспрашивал, а Роб описывал каждый случай, роясь в памяти и стараясь не упустить ни единой детали. Постепенно с лица старого лекаря ушло выражение

настороженности.

— Покажи мне, что именно ты делаешь.

Роб взял Ибн Сину за руки, заглянул ему в глаза, через недолгое время улыбнулся.

— Вам пока не приходится страшиться смерти.

— И тебе тоже, — тихо сказал великий врачеватель.

Прошло мгновение, прежде чем Роб осмыслил сказанное.

«Господи Иисусе Христе!» — пронеслось у него в голове.

— Так значит, вы тоже способны это чувствовать, да, господин главный лекарь?

— Не так, как чувствуешь ты, — покачал головой Ибн Сина. — Я просто чувствую в глубине души твердую уверенность, что-то говорит мне, умрет больной или нет. За долгие годы я беседовал с другими лекарями, у которых есть такой же дар предвидения, и нас таких куда больше, нежели ты можешь себе представить. Но никогда еще я не встречал человека, у которого этот дар проявлялся бы сильнее, чем у тебя. Это налагает большую ответственность, и чтобы нести ее, ты обязан стать отличным врачевателем.

Эти слова вернули Роба с небес на землю, и он грустно вздохнул.

— В конце концов, из меня может вообще не получиться лекарь, потому что я совсем не разбираюсь в науках. Ваших учащихся-мусульман всю жизнь заставляли стремиться к классическому образованию, а... а других учащихся-евреев приучили много заниматься в Домах учения. Теперь в университете они наращивают уже полученные знания, а у меня основой служат два года изучения грамоты и море невежества.

— Значит, ты должен наращивать свои знания упорнее и быстрее, чем другие, — сказал Ибн Сина без малейшего сочувствия.

— Но в школе требуют слишком много! — Отчаяние придало Робу смелости. — Есть предметы, которые меня не интересуют, они мне не потребуются: философия, Коран...

— Ты впадаешь в распространенное заблуждение, — с упреком возразил старик. — Как ты можешь отвергать философию, если даже не учил ее? Наука и медицина рассказывают нам о теле, философия учит понимать разум и душу, а лекарю все это необходимо, как необходимы пища и воздух. Что же до богословия, то я выучил Коран наизусть к десяти годам. Конечно, это моя вера, не твоя, но вреда тебе Коран не принесет. Да если бы надо было выучить десять Коранов, это была бы невысокая цена за то, чтобы получить познания в медицине.

У тебя живой ум, мы видим, как быстро ты схватываешь новый для тебя язык. Мы можем с уверенностью судить о том, что ты подаешь надежды и во многих других отношениях. Только не бойся привыкнуть к учению, сделать его частью своего существа, такой же привычной, как дыхание. Тебе необходимо расширить границы своего разума, чтобы он смог вместить в себя все, что мы способны дать.

Роб молча, напряженно слушал.

— Я наделен своим даром, не уступающим твоему, Иессей бен Беньямин. Я способен распознать человека, в котором таится врачеватель, и в тебе я чувствую потребность лечить людей — такую сильную, что она жжет тебя. Но одной потребности еще мало. Лекарю нельзя назначить шахским указом, и это счастье, ибо и без того слишком много невежд среди лекарей. Поэтому и существует наша школа, отделяющая зерна от плевел. И если мы видим достойного учащегося, то заставляем его проходить более суровые испытания. Если же таковые тебе не по плечу, тогда забудь о нас, становись снова цирюльником-хирургом и продавай свои шарлатанские мази...

— Снадобье, — поправил Роб, и глаза его блеснули.

— Значит, свое шарлатанское снадобье. А звание хакима необходимо заслужить. И если ты к нему стремишься, то должен изнурять себя во имя учебы, изо всех сил стараться не отставать от других учащихся, а затем и превзойти их. Ты должен учиться с таким жаром, какой бывает только у святых — или проклятых.

Роб сделал глубокий вдох, не отводя горящих глаз от Ибн Силы, и сказал себе: не для того проехал он полсвета, чтобы потерпеть поражение. Он поднялся и стал прощаться, и вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль:

— А у вас есть «Десять рассуждений о глазе» Хунейна, господин главный лекарь?

Вот теперь Ибн Сина улыбнулся.

— Есть, — сказал он и поспешил в свою библиотеку за книгой для ученика.

Рано утром, когда Роб собирался на занятия, к нему явились три воина. Он весь сжался и приготовился к худшему, однако на этот раз воины были предельно почтительны, а дубинки оставались за поясом. Старший из них, у которого на завтрак, судя по запаху, был зеленый лук, низко поклонился:

— Нас послали известить тебя, господин, что завтра после Второй молитвы состоится официальный прием при дворе. Приглашены все удостоенные калаата.

Так вышло, что на следующее утро Роб снова оказался под сводчатой позолоченной крышей Зала с колоннами.

На этот раз толпы зрителей здесь не было, и Роб сожалел об этом, потому что шахиншах блистал великолепием. На нем были тюрбан, ниспадающая складками богатая рубаха, остроносые пурпурные туфли, алые шаровары и подколенники, голову венчала тяжелая золотая корона искусной работы. Как всегда, на маленьком троне близ шаха восседал его визирь, имам Мирза-абу-ль-Кандраси, облаченный в черные одеяния духовного лица.

Удостоенные калаата стояли поодаль от тронов, как наблюдатели. Роб не увидел среди них Ибн Сины и вообще не нашел ни одного знакомого лица, исключая только Хуфа, Капитана Ворот.

Весь пол вокруг трона Ала ад-Даула был устлан коврами, в которых сверкали многочисленные шелковые и золотые нити. На подушках по обе стороны трона, лицом к шаху, восседало множество людей в богатых одеждах.

Роб подошел к Хуфу и тронул его за руку.

— Кто это? — спросил он шепотом.

Хуф неодобрительно покосился на чужеземца-иудея, но ответил спокойно, по давно укоренившейся привычке:

— Империя подразделяется на четырнадцать провинций, в коих насчитывается пятьсот сорок четыре города, управляемых из столицы: центры провинций, укрепленные города, крепости. А эти люди — мирзы, ханы, султаны и бейлербеи, которые управляют подвластными шаху княжествами.

Должно быть, церемония вот-вот начнется, потому что Хуф поспешил прочь и занял пост у дверей зала.

Первым из череды послов в зал въехал посланник Армении. Это был не старый еще человек, с черными волосами и бородой, но в остальном его высокое положение подчеркивалось цветом седины: ехал он на серой кобыле, одет был в серую шелковую блузу, отделанную серебристыми лисьими хвостами. В ста пятидесяти шагах от трона его остановил Хуф, помог послу спешиться и проводил к трону, где посол облобызал стопы шаха.

Выполнив этот церемониал, он преподнес шаху щедрые дары от своего повелителя. Среди прочего там были: огромная лампа из горного хрусталя, девять небольших хрустальных зеркал, оправленных в золото, двести локтей пурпурной материи, двадцать флаконов тонких благовоний, пятьдесят соболей. Ала, явно не очень заинтересовавшийся дарами, приветствовал представителя Армении при своем дворе и просил его передать своему благороднейшему повелителю благодарность за присланные подарки.

Следующим в зал въехал посол Хазарского кагана. Его встретил Хуф, и церемония повторилась заново. Единственное отличие состояло в том, что повелитель хазар прислал в дар трех чистокровных арабских коней и опутанного цепями неприрученного львенка, который от страха испачкал расшитый шелками и золотом ковер.

Зал замер, ожидая, как поведет себя шах. Ала не нахмурил брови и не улыбнулся, он просто подождал, пока рабы и слуги не убрали с глаз оскорбляющее царственный взор вещество, дары и самого хазарского посла. Царедворцы сидели на подушках у ног шаха, словно высеченные из камня статуи, не сводя глаз с царя царей. Они были лишь тенями, послушно повторяющими движения самого шаха. Наконец, последовал незаметный для непосвященных знак, все успокоились, и в зале, верхом на огненно-рыжем коне, появился новый посол.

Роб продолжал стоять с почтительностью во взоре, однако в мыслях он удалился от двора и стал повторять заданное в школе. Четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. Качества, определяемые осязанием: холод, жар, сухость, влага. Темпераменты: сангвинический, флегматический, холерический, меланхолический. Свойства организма: природные, животные, обеспечивающие жизнь.

Он представил себе отдельные части глаза, как они перечислены у Хунейна, вспомнил названия семи трав и целебных составов, каковые считаются полезными против озноба, и восемнадцати — против лихорадки, даже повторил несколько раз первые девять аятов третьей суры Корана, имеющей название «Семья Имрана».

Роб стал уже испытывать удовольствие от такого занятия, когда его размышления вдруг резко прервали: Хуф ввязался в сердитый спор с величественного вида белобородым старцем верхом на кауром жеребце.

— Меня представляют последним, потому что я турок-сельджук, это умышленное оскорбление моего народа!

— Но ведь всегда кто-нибудь должен быть последним, О сиятельный Хадад-хан. Сегодня это выпало тебе, — спокойно возразил ему Капитан Ворот.

Разъяренный сверх меры сельджук попытался было двинуть рослого боевого коня мимо Хуфа и подъехать к самому трону.

Поседевший в боях старый воин сделал вид, что виновник дерзости — конь, а не всадник. «Тпру!» — воскликнул Хуф, ухватил коня за узду и несколько раз наотмашь ударил животное по носу дубинкой. Конь заржал и попятился.

Каурым занялись воины, а Хуф без лишних церемоний помог Хадад-хану спешиться и провел его к трону. Сельджук неохотно пал ниц, сразу же встал и дрожащим голосом передал привет от своего государя, Тогрул-бека, но без каких-либо даров.

Шах Ала не удостоил его ни словом, лишь небрежным мановением царской длани позволил послу удалиться. На этом церемониальный прием завершился. Роб подумал, как скучно при дворе, если не считать происшествий с послом сельджуков и с непочтительным львенком.

* * *

Для Роба было бы огромным удовольствием сделать свой домик в Яхуддиейе более уютным, чем он достался ему от шаха, и работы было всего на несколько дней, но теперь он

дорожил каждым часом. Поэтому и подоконники оставались неприбитыми, и трещины в стенах незаделанными, и абрикосовые деревья непривитыми, а садик совсем зарос сорной травой.

У Гинды, торговки с еврейского рынка, Роб купил три мезузы — небольшие деревянные трубки, содержавшие свитки пергамента с отрывками из Писания. Это было необходимой частью его маскировки. Мезузы он прикрепил к притолокам справа на дверях каждой комнаты, не меньше чем на ширину ладони от верха — так, он помнил, прикрепляли мезузы жители Травны.

Он объяснил плотнику-индусу, чего хочет, и нарисовал на земле подобие чертежа. Ремесленник без труда изготовил для Роба стол из грубо оструганной древесины оливковых деревьев, а из сосны — стул в европейском стиле. У медника была куплена кое-какая кухонная утварь. В остальном же он уделял дому так мало внимания, будто жил в пещере.

Близилась зима. Днем еще было жарко, но по ночам в окна задувал более чем прохладный ветер, предупреждая о смене времен года. На армянском рынке Роб отыскал несколько овчин и, ложась спать, с удовольствием заворачивался в них.

В пятницу вечером сосед Яков бен Раши, башмачник, уговорил Роба прийти в гости на ужин перед субботой. Дом у него был скромный, но уютный, и поначалу Роб искренне радовался гостеприимству. Наома, жена хозяина, закрыла лицо и прочла благословение над свечами. Пышущая здоровьем дочка, Лия, подала добрый ужин: речную рыбу, тушеную птицу, плов, вино. Лия старалась держать глаза скромно потупленными, но несколько раз улыбнулась Робу. Она уже вошла в возраст, и отец дважды во время ужина осторожно упоминал о немалом приданом. Хозяев весьма разочаровало то, что Роб поблагодарил их и почти сразу после ужина ушел к себе, чтобы засесть за книги.

Жизнь его приобрела размеренность. Всем учащимся медресе предписывалось неукоснительно соблюдать религиозные обряды, но евреям было позволено посещать свои молельные дома, так что каждое утро Роб отправлялся в синагогу «Дом мира». Древнееврейский язык молитв постепенно стал привычным, хотя большинство молитв оставались непонятным набором бессмысленных звуков. Все же чтение молитв нараспев и мерное раскачивание успокаивали его в начале дня.

Утро было занято лекциями по философии и богословию, которые Роб посещал с угрюмой сосредоточенностью, и множеству медицинских дисциплин.

Он теперь лучше освоил язык фарси, но случалось, что во время лекций был вынужден спрашивать значение того или иного слова либо фигуры речи. Иногда другие учащиеся объясняли ему, но чаще всего отмалчивались.

Однажды утром Саид Сади, преподаватель философии, упомянул о *гаштагдафтаран*. Роб наклонился к сидевшему рядом Аббасу Сефи и спросил, что значит это слово. Но толстый будущий медик лишь бросил на Роба недовольный взгляд и молча покачал головой.

Тут Роб почувствовал, что его толкают в спину. Повернувшись, он увидел сидящего позади и чуть выше Карима Гаруна. Карим улыбнулся ему.

— Это разряд древних писцов, — прошептал он. — Они вели записи по истории астрологии и старинной персидской науки. — И Карим указал Робу на свободное место рядом с ним.

Роб пересел. С тех пор он всегда осматривался в зале перед лекцией, и если Карим присутствовал, они сидели рядом.

Лучшим временем дня были, конечно, послеобеденные часы, когда он работал в маристане. Еще лучше стало на третий месяц учебы, когда наступила очередь Роба осматривать поступающих больных. Процесс приема в больницу поразил его своей сложностью. Что и как следует делать, ему объяснил аль-Джуджани:

— Слушай внимательно, ибо это важное дело.

— Повинуюсь, хахим. — Роб давно уже привык внимательно выслушивать все, что говорит аль-Джуджани, так как почти с самого начала понял, что после Ибн Сины это лучший лекарь в маристане. Многие рассказывали, что большую часть жизни аль-Джуджани был ассистентом и ближайшим помощником Ибн Сины, хотя если сам аль-Джуджани что-то говорил, то всегда от своего собственного имени.

— Ты должен кратко записать всю историю больного и при первой же возможности обсудить все подробности со старшим врачом.

Каждого больного расспрашивали о роде занятий, привычках, подверженности заразным заболеваниям, о жалобах на грудь, желудок, мочеиспускание. Потом его раздевали и придирчиво изучали физическое состояние, в том числе рассматривали слюну, рвоту, мочу и кал, оценивали пульс, а по теплоте кожи пытались определить наличие лихорадки.

Аль-Джуджани показал Робу, как одновременно ощупывать предплечья и плечи пациента обеими руками, потом так же — обе ноги, затем бока. Таким образом, любой недостаток, опухоль, всякое отклонение от нормы легко выявить путем сравнения с нормальной конечностью или частью тела. Показал, как наносить по телу пациента короткие, резкие удары кончиками пальцев: если звук будет необычным, это может позволить выявить заболевание. Многие из этого было для Роба новым и странным, но к порядку первичного осмотра он быстро привык и не считал это слишком трудным — уже ведь не первый год осматривал пациентов.

А трудное время начиналось для Роба вечером, когда он возвращался в Яхуддиейе, в свой дом — вот тогда разгоралась битва между потребностью учиться и потребностью спать. Аристотель оказался мудрым старым греком, и Роб сам увидел: если содержание книги тебя захватывает, то учение превращается из повинности в удовольствие. Это открытие сыграло решающую роль, благодаря ему Роб смог работать в полную силу, ведь Саид Сади очень скоро задал ему прочитать множество книг — от Платона до Гераклита. А аль-Джуджани — мимоходом, словно просил подбросить дровишек в огонь, — попросил прочитать двенадцать книг, касающихся медицины, из «Естественной истории» Плиния и добавил: «Это подготовка к тому, чтобы в следующем году прочитать всего Галена»!

И все время требовалось заучивать тексты Корана. Чем больше втискивал их Роб в свою память, тем меньше они ему нравились. Коран был официальным сборником проповедей Пророка, а смысл того, чему учил Мухаммед, не менялся годами. Книга была переполнена повторами и многочисленными выпадами против иудеев и христиан.

Но Роб, стиснув зубы, трудился. Осла и мула он продал, чтобы не отвлекаться на кормление и уход за ними. Пищу проглатывал быстро, без всякого удовольствия, а на развлечения у него попросту не было ни минуты времени. Каждую ночь он читал, пока веки не смыкались сами собой, поэтому Роб приучил себя заправлять лампу малым количеством масла — тогда она сама угасала вскоре после того, как он засыпал за столом, уронив голову

на руки. Теперь он понимал, для чего Бог дал ему такое большое сильное тело и острое зрение: стремясь сделаться ученым, он доходил до предела человеческих возможностей.

* * *

Но однажды вечером, почувствовав, что заниматься он больше не в силах, что ему остро требуется немного развеяться, Роб покинул свой домик в Яхуддиейе и окунулся в ночную жизнь майдана [\[149\]](#).

Он привык видеть большие городские площади в дневное время — разжаренные солнцем открытые пространства, по краям которых, в относительной тени, пробирались немногочисленные прохожие, а кто-то сидел и дремал. Зато ночью, как выяснилось, на этих площадях кипела жизнь. Там бурно веселились многочисленные толпы простых персов.

Казалось, что говорят и смеются все одновременно, и шум стоял посильнее, чем на нескольких таких ярмарках, как в Гластонбери. Несколько напевающих песни жонглеров работали с пятью шариками каждый, весело, умело, Робу даже захотелось к ним присоединиться. Схватывались между собой мускулистые борцы, блестели натертые животным жиром тела (так противнику труднее было ухватиться). Зрители громко подавали советы и заключали пари. Непристойную пьеску показывали кукольники, подпрыгивали и переворачивались в воздухе акробаты, разносчики наперебой предлагали, пользуясь моментом, всевозможные блюда.

Роб остановился у освещенной факелом книжной лавки и выбрал книгу; это оказался сборник рисунков. На всех была изображена одна и та же пара, мужчина и женщина, но каждый раз менялась поза, в которой они предавались любви. Такие позы Робу никогда и во сне не снились.

— Все шестьдесят четыре рисунка, господин, — сообщил торговец.

Роб и понятия не имел, почему шестьдесят четыре и что это значит. Ему было известно, что законы ислама запрещают изображать подобие человека, ибо сказано в Коране: Аллах (славен Он вовеки!) — единственный творец жизни. Но занятую книгу Роб все же купил. Потом направился туда, где продавали освежающие напитки (и где стоял неумолчный гам), спросил себе вина.

— Вина не подаем. Здесь чайхана, чай подаем, — ответил ему женоподобный подавальщик. — Можно заказать чай, можно шербет, можно розовую воду, кипяченную с кардамоном.

— А что такое чай?

— Превосходный напиток. Кажется, его привозят из Индии. А может быть, он поступает к нам по Великому шелковому пути.

Роб заказал чай и блюдо со сладями.

— У нас есть отдельное помещение. Не желаете мальчика?

— Нет.

Напиток оказался очень горячим, янтарного цвета, не кислым и не сладким, но терпким. Роб не мог сразу решить, нравится ему или нет, зато сласти были отменные. Сверху, с окружающих майдан сводчатых галерей, полилась протяжная мелодия. Роб посмотрел в ту сторону — музыканты играли на сияющих начищенной медью трубах длиной в пять локтей [\[150\]](#). Он сидел в тускло освещенной чайхане, рассматривал толпу и пил чай

чашку за чашкой, пока сказитель не начал историю о Джамшиде, четвертом из легендарных царей-героев. Мифология привлекала Роба ничуть не больше, чем мужеложство, а потому он расплатился с подавальщиком и стал проталкиваться через толпу, оказавшись в конце концов на самом краю майдана. Немного постоял, разглядывая запряженные мулами повозки, которые медленно кружили по площади — Роб уже слышал о них от других учащихся медресе. Затем остановил один экипаж, отлично ухоженный, с нарисованной на дверце лилией.

Внутри было темно. Женщина пошевелилась лишь тогда, когда мулы снова тронулись с места. Вскоре Роб уже достаточно хорошо мог рассмотреть, что женщина толста, а по возрасту

вполне годится ему в матери. Пока они занимались делом, он оценил ее: то была честная шлюха. Она не пыталась разыгрывать фальшивую страсть или делать вид, что получает великое удовольствие, но ублажала клиента нежно и умело.

Потом женщина потянула за шнурок, сообщая, что дело кончено, и сидевший на козлах сводник остановил повозку.

— Отвезите меня в Яхуддийе, — попросил Роб. — Я заплачу за ее время.

Они дружески лежали в покачивающейся колымаге.

— Как тебя зовут? — поинтересовался Роб.

— Лорна. — Хорошо выученная, она не спросила его имени.

— А я Иессей бен Беньямин.

— Рада познакомиться, зимми, — застенчиво отозвалась женщина и потрогала напряженные мышцы его плеча. — Почему они напоминают большие узлы на канатах? Чего ты боишься, такой большой и сильный?

— Боюсь, что я скорее вол, а мне надо быть волком, — ответил он, улыбаясь в темноте.

— Вот уж не вол, в этом я сама убедилась, — сухо возразила она. — А какое у тебя ремесло?

— Учусь в маристане, хочу стать лекарем.

— А! Как Князь медиков. Моя двоюродная сестра служит поварихой у его первой жены с тех самых пор, как Ибн Сина живет в Исфагане.

— А ты знаешь, как зовут его дочь? — спросил Роб после минутного размышления.

— Никакой дочери нет, у Ибн Сины вообще нет детей. У него две жены: Реза Благочестивая, старая и больная, и Деспина Безобразная, молодая и красивая, но Аллах (славен он вовеки!) ни одну из них не благословил потомством.

— Понятно, — сказал Роб.

Прежде чем они прибыли в Яхуддийе, он еще раз, со всеми удобствами, воспользовался ее услугами. Потом указал вознице путь к своему дому и щедро заплатил за то, что оказался у себя, смог зажечь лампу и встретиться со своими лучшими друзьями и злейшими врагами — книгами.

Роб жил в большом городе, все время среди людей, но жизнь его была одинока. Каждое утро он встречал с другими учащимися и лишь к вечеру расставался с ними. Ему было известно, что Карим, Аббас и некоторые другие живут в кельях в самом медресе, а Мирдин и остальные учащиеся-евреи, как он полагал, должны жить где-то в Яхуддийе, но Роб совершенно не интересовался, какую жизнь они ведут за стенами школы и больницы. Ему казалось, что она должна быть похожей на ту, какую вел он сам — наполненной книгами, учебой. Роб не чувствовал себя одиноким, на это у него просто не было времени.

На приеме пациентов, поступающих в больницу, он провел двенадцать недель, а затем получил новое задание, совсем ему не по душе. Дело в том, что будущие медики по очереди дежурили в исламских судах в те дни, когда калантар приводил в исполнение судебные приговоры.

У Роба все внутри перевернулось, когда он впервые пришел в тюрьму и прошел мимо карканов.

Стражник проводил его в темницу, на полу которой метался и стонал узник. Правой руки у него не было, синяя тряпица привязана к обрубку веревкой из волокон конопли, а выше тряпицы предплечье чудовищно распухло.

— Ты слышишь меня? Я зовусь Иессей.

— Да, благородный господин, — пробормотал несчастный.

— Как твое имя?

— Меня зовут Джахель.

— Джахель, давно ли тебе отрубили руку?

Человек растерянно замотал головой.

— Тому две недели, — подсказал стражник.

Роб, сняв тряпицу, обнаружил, что рука под ней обложена конским навозом. Еще будучи цирюльником-хирургом, он часто видел, что навоз используют для заживления ран. Знал и то, что польза от этого бывает редко, скорее уж вред. Роб очистил рану.

Ближе к локтю руку перехватывала еще одна веревка. Из-за того, что рука распухла, веревка глубоко врезалась в тело и плоть стала чернеть. Роб перерезал веревку и медленно, тщательно промыл обрубок. Растер его мазью из смеси смолы сандалового дерева и розового масла, сверху наложил вместо навоза камфару, а затем покинул темницу. Джахель продолжал стонать, но ему стало легче.

И это еще было самым легким для Роба, ибо далее его повели из темниц на тюремный двор, где как раз приступали к исполнению наказаний.

Все было очень похоже на то, что Роб видел, когда сам был закован в колодки, разве что пребывание в каркане позволяло ему время от времени проваливаться в беспамятство и таким образом избегать зрелища. Теперь же он столбом застыл среди мулл, которые читали нараспев молитвы, пока мускулистый стражник заносил огромную кривую саблю. Наказуемый был осужден по обвинению в подстрекательстве к измене и бунту. Его заставили встать на колени и прижаться щекой к плахе.

— Я предан шаху! Я целую прах под его стопами! — вопил стоящий на коленях человек, тщетно пытаясь избежать назначенной казни, но никто не откликнулся на его мольбы, а

сабля уже свистнула в воздухе. Удар был нанесен умелой рукой, голова с выкаченными от отчаяния и ужаса глазами покатила по земле и замерла у каркана.

Останки унесли, затем вспороли живот молодому человеку, который был пойман во время прелюбодеяния с чужой женой. На этот раз палач достал из ножен длинный тонкий кинжал и провел им слева направо, сделав глубокий разрез, отчего кишки сластолюбца вывалились наружу.

По счастью, в тот день не казнили убийц — их бы четвертовали, а останки бросили на съедение псам и грифам-стервятникам. Услуги Роба потребовались после малых наказаний.

Вор, которому отрубали руку, совсем молоденький, почти мальчишка, от страха и боли перепачкал себя испражнениями. К услугам Роба был кувшин горячей смолы, однако сила удара была такова, что рана сама закрылась, и лекарскому помощнику оставалось лишь промыть и перевязать ее.

Куда больше ему пришлось повозиться с рыдающей толстухой, которая была вторично уличена в оскорблении Корана, за что ей полагалось вырезать язык. Из рта, откуда вылетали хрип и вопли, полилась красная струя, пока Робу не удалось пережать кровеносный сосуд.

В душе Роба загорелась жаркая ненависть к исламскому правосудию и судам имама Кандраси.

* * *

— Вот один из самых важных для вас инструментов, — торжественно объявил Ибн Сина своим ученикам. В руках он держал стеклянный сосуд для мочи, который имел латинское название *matula* ^[151]. Сосуд имел форму колокола с широким изогнутым носиком, куда поступала моча. Ибн Сина сам научил стеклодува изготавливать такие для лекарей и учащихся.

Роб знал, что, если в моче присутствуют кровь или гной, это свидетельствует о неблагополучии больного. Но ведь Ибн Сина уже две недели читал им лекции только о моче!

Жидкая она или густая? Описывал и обсуждал тонкие оттенки запаха. Не было ли в ней напоминающих патоку слабых следов сахара? Или запаха мела, говорящего о возможном наличии камней? Не было ли кислого вкуса, характерного для чахотки? А может быть, просто запаха трав, говорящего лишь ⁰ том, что пациент недавно ел спаржу?

Выходила ли моча обильно — а значит, тело избавляется через это от болезни, или же скудно — это говорит о внутреннем жаре, который высушивает телесные жидкости.

Что же касается цвета, то Ибн Сина учил их смотреть на мочу глазами художника, различающего в палитре тонкие оттенки. Двадцать один цвет: от совершенно прозрачного до желтого, коричневатого-желтого, красного и темно-коричневого, и далее до черного, что показывает различные сочетания *contenta*, то есть не растворившихся составляющих.

«Отчего столько шума из-за каких-то отходов?» — устало спрашивал себя Роб.

— А почему моча имеет такую важность? — задал он вопрос лектору.

Ибн Сина улыбнулся.

— Ибо она исходит изнутри, где происходят важные события. — Мастер-врачеватель прочел им подборку изречений Галена, которые указывали, что органами, отделяющими мочу, являются почки.

«Всякий мясник ведаёт это — просто потому, что ежедневно видит расположение почек и канальцев (называемых мочеточниками), идущих от каждой почки к мочевому пузырю. А изучив эту анатомию, он заключает, какой цели они служат и в чем состоит их предназначение».

После этой лекции Роб был очень сердит. Лекарям нет нужды советоваться с мясниками или изучать на мертвых овцах и свиньях, как устроен человек. Если так уж важно на самом деле знать, что происходит у мужчин и женщин внутри, *почему не заглянуть внутрь самих мужчин и женщин?* Ведь от мулл Кандраси можно запросто избавиться без всякого ущерба для них самих — когда они, скажем, удаляются к своим женам или на веселую попойку. Отчего же лекари не отваживаются нарушить запреты этих святош и благодаря тому обрести знание? Никто же и не заикается о нанесении необратимых увечий человеческому телу, если шариатский суд приказывает отсечь человеку голову, руку, вырезать язык или вспороть живот!

* * *

На следующий день рано утром у дверей домика в Яхуддиейе остановили свою запряженную мулом и нагруженную всякой снедью тележку два воина из дворцовой стражи, которой командовал Хуф. Они приехали за Робом.

— Его величество сегодня отправляется в гости, господин, и желает, чтобы ты сопровождал его, — сказал один из них.

«Что на этот раз?» — мысленно спросил себя Роб.

— Капитан Ворот просит тебя поторопиться. — Воин деликатно откашлялся. — Может быть, господину стоит надеть свой лучший наряд?

— Лучший наряд уже на мне, — ответил на это Роб, и воины усадили его в тележку на мешки риса, после чего торопливо отправились в путь.

Из города они выезжали в длинной чередё вельмож, ехавших верхом или сидящих в паланкинах, и множества всевозможных повозок с провиантом и различными припасами. Роб, хотя и устроился по-домашнему на своем насесте, чувствовал себя царственной особой — ему еще не доводилось путешествовать по дорогам, только что посыпанным гравием и политым водой. Одна сторона дороги — по ней, как сказали воины, поедет сам шах — была усыпана цветами.

Закончилось путешествие у дома Ротуна ибн Насра, главнокомандующего войсками, дальнего родственника шаха Ала, почетного управителя медресе.

— Это вот он, — один из воинов показал пальцем на радостного толстяка, осанистого и на вид добродушного.

Ему принадлежало довольно обширное поместье. Торжество Должно было начаться в заботливо ухоженном огромном саду, посреди которого журчали струи большого мраморного фонтана. Вокруг бассейна были расстелены шелковые покрывала, расшитые золотом, поверх них разложены в изобилии богато вышитые подушки. Повсюду сновали слуги, разносившие подносы со сладостями, печеньем, ароматными винами, сдобренными специями, и ароматной водой. У одной из стен сада евнух с обнаженным мечом стоял на страже Третьих Врат, которые вели в гарем хозяина. По мусульманским законам один только хозяин и мог входить в жилище женщин, а всякий мужчина, нарушивший этот закон,

карался испариванием живота, поэтому Роб был рад оказаться подальше от Третьих Врат. Воины ясно дали понять, что ему не следует разгружать тележку или вообще выполнять какую бы то ни было работу, и Роб перешел из сада на примыкающий просторный двор, переполненный конями, знатью, рабами, слугами и целой армией акробатов, жонглеров, певцов и музыкантов, которые, как показалось Робу, репетировали все одновременно.

Здесь была собрана элита четвероногих. На расстоянии двадцати шагов друг от друга были привязаны двенадцать благороднейших арабских жеребцов, каких только Робу доводилось видеть. Гордые, нетерпеливо бьющие копытами, они косили карими глазами, в которых светилась отвага. Сбрую коней стоило рассмотреть пристальнее: у четырех уздечки были украшены изумрудами, у двух рубинами, у трех алмазами, а еще у трех разнообразными самоцветами, которых Роб даже не знал. Кони были покрыты свисающими чуть не до земли попонами из парчи, усаженной жемчугом, а привязи из шелковых и золотых нитей продеты в кольца, прикрепленные к вбитым в землю толстым золотым столбикам.

В тридцати шагах от коней помещались дикие звери: два льва, тигр и леопард, — замечательные образчики своих пород. Каждый зверь лежал на отдельной алой подстилке, привязанный таким же манером, как и лошади, а перед ним стояла золотая миска с водой.

Чуть поодаль, в загоне, сбились в кучку шесть антилоп с прямыми как стрела рогами (что отличало их от английских оленей и ланей). Они встревоженно смотрели на хищников, а те в ответ сонно моргали.

Роб, однако, недолго разглядывал всех этих животных и совсем не обратил внимания на гладиаторов, борцов, лучников и прочих — он протолкался сквозь их толпу к замеченному им большому зверю, который сразу приковал все его внимание. И вот Роб оказался на расстоянии вытянутой руки от первого увиденного им живого слона.

Зверь оказался куда мощнее, чем представлял себе Роб, намного превосходя размерами те бронзовые статуи, которые ему довелось увидеть в Константинополе. Ростом слон был раза в полтора выше очень высокого человека. Его четыре ноги напоминали массивные колонны и заканчивались абсолютно круглыми ступнями. Морщинистая кожа, казалось, была великовата зверю, а цвет имела серый, с большими розовыми пятнами, словно наросты мха на скале. Выгнутая дугой спина поднималась еще выше, чем плечи и бедра, а похожий на канат хвост заканчивался растрепанной щетинистой кисточкой. Красноватые глазки казались маленькими по сравнению с огромной головой, но на деле были не меньше, чем у лошади. На крутом лбу выделялись два небольших бугорка, будто там безуспешно пытались пробиться рога. Уши, которыми слон слегка помахивал, были величиной со щит воина каждое, но самым необычным в этом животном был его нос, который и длиной и толщиной далеко превосходил хвост.

Присматривал за слонем низкорослый щуплый индеец в серой блузе с белым поясом, в белом тюрбане и таких же штанах. На вопрос Роба он отвечал, что зовут его Харша и что он махаут, то есть погонщик слонов. Этот — личный боевой слон шаха, на котором Ала восседает в битвах, зовут его Зи — сокращенно от Зи-уль-Карнейн, то есть «двурогий», в честь двух грозного вида изогнутых костей, выступавших из верхней челюсти страшилища на длину роста Роба.

— Когда мы отправляемся на битву, — гордо поведал индеец, — на Зи надевают специально для него сделанную кольчугу, а к бивням привязывают остро заточенные мечи. Он обучен наступать, и когда его величество мчится в битву на трубящем боевом слоне, от этих звуков и его вида у врагов кровь стынет в жилах.

Махаут без конца подгонял слуг, подносящих ведра воды. Ее переливали в большой золотой сосуд, а слон набирал воду носом и пускал струей себе в рот!

Роб не отходил от слона до тех самых пор, пока грохот барабанов и цимбалов не возвестил о прибытии шаха. Тогда вслед за другими гостями он возвратился в сад.

Шах Ала был в простой белой одежде, в отличие от гостей, которые нарядились, как на парадный прием во дворце. Повелитель кивком ответил на традиционный *рави земин*, после чего занял свое место у бассейна, в вычурном кресле, приподнятом над подушками для гостей.

Увеселения открыли фехтовальщики, которые наносили удары кривыми саблями с такой силой и изяществом, что все присутствующие затаили дыхание, замороженные тем, как сталь ударялась о сталь; круги боевого упражнения были так же строго регламентированы, как фигуры в танце. Роб заметил, что кривая сабля легче английского меча, но тяжелее французского. От поединщиков требовалось большое искусство при колющем ударе, а при рубке — сильные плечи и запястья. Жалко, что это выступление скоро подошло к концу.

Акробаты-фокусники разыграли великолепное, полное трюков представление. Они посадили в землю зернышко, полили его и накрыли куском ткани. Стена кувыркающихся тел заслонила его от зрителей, привлекла их внимание каскадом трюков, а тем временем один из фокусников быстро сдернул ткань, воткнул в землю покрытую листьями веточку и снова накрыл тканью. Роб — он внимательно наблюдал за происходящим — отлично заметил и то, как отвлекалось внимание зрителей, и то, как был проделан сам фокус. Его очень позабавило, как бурно аплодировали зрители, когда в конце ткань сняли, а под нею оказалось «волшебное выросшее дерево».

Когда начались схватки борцов, шах Ала стал проявлять беспокойство.

— Лук! — потребовал он.

Принесли лук, и шах стал натягивать его, отпускать тетиву и снова натягивать, показывая придворным, как легко он сгибает тяжелое боевое оружие. Сидевшие поближе вполголоса вскрикивали от восхищения его силой, остальные же воспользовались передышкой и стали беседовать. Тут Роб понял, почему удостоился приглашения: он, европеец, был тоже своего рода диковинкой, и его, наряду с артистами и зверями, показывали гостям. Персы засыпали его вопросами:

— А у вас тоже есть шах в вашей стране... как она называется?

— Англия. Да, у нас король. Его зовут Канут.

— А мужчины в вашей стране — воины, наездники? — с любопытством спросил один старичок с мудрым взглядом.

— Да, да, великие воины и отличные наездники.

— А что погода, климат какой?

Он ответил, что там гораздо холоднее и более влажно, чем здесь.

— А едят что?

— Совсем не то, что вы здесь, пряностей гораздо меньше. И плова у нас нет.

Это их поразило.

— Нет плова! — возмущенно повторил старик.

Роба тесно обступили, но не из приязни, а из любопытства, и внутри их круга он чувствовал себя одиноким.

— По коням! — нетерпеливо вскричал шах, вставая из кресла. Толпа устремилась вслед

за ним к находившемуся рядом полю, забыв о борцах, которые все еще сопели, обхватив друг друга.

— Поло! Поло! — закричал кто-то, и все захлопали в ладоши.

— Что ж, сыграем, — согласился шах и отобрал трех человек в свою команду и четырех — в противную.

Лошадки, которых конюхи вывели на поле, были крепкими пони, по крайней мере на пядь ниже гордых белых жеребцов. Когда все были в седлах, игрокам раздали длинные гибкие клюшки с крючком на конце.

На противоположных краях длинного поля стояло по паре каменных столбов, шагах в восьми друг от друга. Обе команды галопом помчались к своим столбам и выстроились перед ними в линию. Игроки замерли лицом друг к другу, как две армии, готовые к сражению. Один из военачальников, которому выпало быть судьей, отошел к краю поля и вбросил в центр деревянный шар размером с эксмутское яблоко [\[152\]](#).

Зрители закричали, лошади бешеным галопом устремились навстречу друг другу, всадники завопили, размахивая клюшками

«Боже мой! — мысленно воскликнул перепуганный Роб. — Тише, тише!» Три лошади столкнулись, раздался леденящий душу звук, одна из них упала и покатилась по земле, а ее всадник вылетел из седла. Шах размахнулся клюшкой и громко шлепнул по деревянному шару, лошади устремились вслед за шаром, перепыхивая траву гулкими ударами копыт.

Упавшая лошадь пронзительно ржала, пытаясь встать на ногу с порванными поджилками. Несколько конюхов выбежали на поле; лошади перерезали горло и уволокли прочь раньше, чем всадник успел встать на ноги. Он держался за левую руку и усмехался сквозь плотно стиснутые зубы. Роб решил, что рука, вероятно, сломана, и приблизился к пострадавшему.

— Помочь?

— А ты лекарь?

— Я цирюльник-хирург, сейчас учусь в маристане.

Благородный господин скривился от удивления и презрения.

— Нет-нет, надо позвать аль-Джуджани, — ответил он и ушел, опираясь на слуг.

В игру сразу вступил новый всадник. Все восемь участников явно позабыли, что это игра, а не настоящее сражение. Они нещадно колотили лошадей, направляя их на противников, а в попытках попасть по шару и загнать его между столбов едва не попадали по своим соперникам и их лошадям. Даже их собственные лошади могли попасть под удар их же клюшки — шах, например, не раз наносил удар по шару совсем рядом с летящими копытами и чуть пониже брюха своего пони.

Шаху не давали никаких поблажек. Те самые люди, которых, несомненно, казнили бы за один косой взгляд на их лучезарного повелителя, сейчас, казалось, изо всех сил стараются его искалечить. Из отрывистых реплик и шепотков зрителей Роб сделал вывод, что они были бы, пожалуй, даже довольны, если бы Ада ад-Даула получил хороший удар клюшкой, а то и был сброшен с седла.

Однако этого не случилось. Как и все остальные, шах носился по полю сломя голову, но с потрясающим искусством, от которого у Роба замирало сердце, он управлял конем, лишь слегка сжимая его бока коленями, без помощи рук, крепко державших клюшку. При всем том Ала держался в седле уверенно, прочно, так, словно они с конем составляли одно целое. С таким искусством наездника Роб до сих пор не встречался. Со смущением, от которого ему

сделалось жарко, он подумал о старике, который спрашивал об английских конниках и в ответ получил заверения в их высоком мастерстве.

Кони были настоящим чудом — они с поразительной скоростью мчались повсюду за шаром, но при необходимости легко разворачивались и летели галопом в противоположном направлении. Нередко только это чутье позволяло и лошадям, и их всадникам не врезаться в каменные столбы.

Все поле заволочло густым облаком пыли, а зрители надсаживались в крике. Когда кто-нибудь забивал шар между столбов, грохотали барабаны, взхлеб звенели цимбалы, и вот наступил момент, когда на счету команды шаха было пять забитых шаров против трех у команды соперников. Игра окончилась. Когда шах Ала спешился, глаза у него блестели от удовольствия — два ша-Ра он забил сам. Коней увели, а в центр поля, чтобы отпраздновать победу, вывели двух молодых бычков. На них спустили двух львов. Но борьба оказалась на удивление несправедливой: не успели отпустить львов с привязи, как слуги, которые вывели бычков, тут же сами повалили их на колени и размозжили головы топорами. Большим кошкам позволили терзать еще трепещущую плоть.

Роб догадался, отчего потребовалось вмешательство людей. Ведь шаха Ала называли Львом Персии. Какой был бы конфуз, какое дурное предзнаменование, если бы по несчастной случайности во время развлечения шаха простой бык одержал бы верх над символом непреборимой мощи Царя Царей!

* * *

В саду, под напевы дудок, раскачивались и плясали четыре женщины с закрытыми лицами. Тем временем поэт воспевал в стихах гурий — юных чувственных дев, обитающих в раю.

Придаться к танцовщицам не смог бы и имам Кандраси, хотя нет-нет, да и угадывались изгиб бедер или колыхание груди под легкой тканью их просторных черных одежд. Обнаженными оставались только руки, непрестанно взлетающие и изгибавшиеся во всех направлениях, и стопы ног, натертые красной хной — на эти стопы жадно глазели собравшиеся здесь знатные господа: они думали о других покрашенных хной местах, скрытых под черными одеждами.

Шах Ала поднялся из кресла и пошел прочь от сидящих вокруг бассейна, мимо евнуха с обнаженным мечом, прямо в гарем.

Подошел Хуф, Капитан Ворот, и вместе с евнухом стал охранять Третьи Врата. Из всех присутствующих никто, кроме Роба, не стал бросать удивленные взгляды вслед шаху. Блестящая беседа сделалась более оживленной. Поблизости военачальник Ротун ибн Наср, развлекавший царя хозяин, господин в своем доме, преувеличенно громко хохотал над собственными шутками, будто Ала ад-Даула и не прошествовал сию минуту в его гарем на глазах всех придворных.

«Интересно, полагается ли так поступать Могущественнейшему Повелителю Вселенной?» — подумал Роб не без удивления.

* * *

Через час шах возвратился в самом благостном расположении духа. Хуф исчез со своего поста у Третьих Врат, незаметно подал кому-то знак, и началось пиршество.

На расстеленных штуках кумской [153] парчи были расставлены тончайшие белые блюда. Подали лепешки четырех различных видов, одиннадцать сортов плова в серебряных мисках — таких больших, что и одной хватило бы, чтобы утолить голод всех собравшихся. В каждой миске рис различался по цвету и вкусу, в зависимости от того, был ли он приготовлен с шафраном или сахаром, перцем или корицей, гвоздикой или ревенем, или же с соком граната, или с лимонным, мандариновым, апельсиновым соком. На четырех громадных подносах лежало по двенадцать тушек птицы, на двух — тушеные филейные части антилоп, на одном подносе горкой громоздились куски вареной баранины, а на четырех других — по целому ягненку, зажаренному на вертеле. Мясо было нежным, сочным, с хрустящей корочкой.

Цирюльник, Цирюльник, ах, как жаль, что тебя здесь нет!

Для человека, которого подобный знаток научил ценить любовно и умело приготовленную еду, Роб в последние месяцы слишком уж часто жевал что попадет, наспех, мало, лишь бы побольше времени выкроить на учебу. Сейчас же он только вздыхал и с наслаждением отдавал должное каждому блюду.

Тени удлиннились, легли сумерками. Рабы укрепили светильники на роговых панцирях живых черепах, зажгли. Из кухни принесли на длинных шестах четыре котла невероятных размеров. В одном были взбитые куриные яйца, в другом — густой прозрачный травяной отвар, третий был наполнен мелко крошеным мясом, острым от обилия специй, а в четвертом находились белые пластины жареной рыбы незнакомого Робу вида — мясо белое, слоистое, как у камбалы, но по нежности напоминающее форель.

Сумерки сменила ночная тьма, послышались голоса ночных птиц. Из других звуков доносились только приглушенное бормотание, отрыжка, чавканье. Время от времени какая-нибудь из черепах вздыхала и ворочалась, и тогда колебалось и мигало пламя укрепленного на ее спине светильника, как дрожит на водной ряби лунный свет.

Пиршество продолжалось.

Подали блюдо зимнего салата из выдержанных в рассоле корней и трав, большую миску летнего салата, в котором были листья латука и еще много какой-то горькой, наперченной зелени — ее Роб раньше не пробовал.

Перед каждым гостем поставили глубокие чаши и наполнили кисло-сладким шербетом. Затем слуги внесли мехи с вином и кубки, печенье, варенные в меду орехи и соленые семечки.

Роб сидел в одиночестве и потягивал тонкие вина; никто не обращался к нему, он тоже не пытался ни с кем заговорить, а лишь смотрел и слушал все происходящее с тем же интересом, с каким отведывал новые блюда.

Мехи опустели, вместо них тут же принесли полные — этот поток лился из неисчерпаемых запасов самого шаха. Гости вставали с подушек, отходили в сторону облегчиться или вырвать. Некоторые уже напились до бесчувствия.

Черепахи поползли друг к другу — возможно, их тревожили люди, — свет переместился в один уголок, погрузив остальную часть сада во тьму. Мальчик-евнух запел высоким красивым голосом под аккомпанемент лиры — о воинах, о любви. Он не обращал внимания на то, что сидевшие рядом двое мужчин затеяли драку.

— Ты, дырка продажной девки! — пьяно мычал один.

— Морда ты еврейская! — не остался в долгу второй.

Они схватились и стали тузить друг друга; их разняли и утащили прочь.

Вскоре и самого шаха стало тошнить, потом он впал в беспамятство; его почтительно унесли в карету.

Роб после этого улизнул. Луна не светила, и дорогу из поместья Ротуна ибн Насра в город отыскать было нелегко. Жестокая необходимость заставила его идти по той стороне дороги, которая предназначалась для шаха. Один раз он остановился и долго мочился на цветы, которыми была усыпана эта сторона дороги.

Его обгоняли всадники и конные экипажи, но никто не предложил подвезти, так что дорога до Исфагана отняла не один час. Страж у городских ворот уже привык к потоку людей, которые возвращались с шахского праздника, он лишь устало махнул Робу рукой.

Пройдя полгорода, Роб остановился, присел на низкую стену, ограждавшую чей-то сад, и подивился Исфагану, где многое было запрещено Кораном и тем не менее спокойно совершалось людьми. Мужчине позволено иметь четырех жен, и все же многие мужчины готовы рисковать жизнью, лишь бы переспать с чужой, а шах Ала, не скрываясь, берет любую, какую только пожелает. Пророк ясно указал, что употребление вина греховно, и запретил его, и все же вся Персия охотно пьет вино, а немалая часть жителей напивается сверх всякой меры, у шаха же хранятся огромные запасы этого греховного напитка.

Так, размышляя о непостижимых загадках Персии, Роб на заплетающихся ногах добрался до своего дома, когда небо уже приобретало жемчужный оттенок, а с минарета Пятничной мечети лился сладкий голос муэдзина.

Ибн Сина привык к мрачным пророчествам благочестивого имама Кандраси. Тот не мог управлять шахом, но его советникам говорил не раз, и все резче и резче, что употребление вина и распутство навлекут кару той силы, что выше всякого трона.

В предвидении этого визирь повсюду собирал сведения и сообщал придворным явные предвестия того, что Аллах (велик Он и могуч!) гневается на грешников, расплодившихся на земле.

Путешественники, прошедшие по Великому шелковому пути, принесли весть о катастрофических землетрясениях и тле- -творных туманах в той части Китая, которая омывается водами рек Цзян и Хоай [\[154\]](#). В Индии за засушливым годом последовали обильные весенние ливни, однако богатый созревающий урожай пожрали тучи саранчи. Страшные бури обрушивались на побережье Аравийского моря, вызывая наводнения, из-за чего Утонуло множество людей, а в Египте начался голод, ибо разлив Нила не достиг обычной отметки. В одном горном королевстве в Гималаях открылась дымящаяся гора и выплюнула целую реку расплавленного камня. Два муллы из Наина донесли, что во сне им явились демоны. А ровно за месяц до великого поста Рамадан [\[155\]](#) произошло частичное затмение солнца, а потом весь небосвод словно запылал. Странные огни на небе наблюдались и после этого.

Худшее же предзнаменование гнева Аллаха узрели астрологи. С великим трепетом они сообщили, что через два месяца предстоит великое сочетание трех главных планет: Сатурна, Юпитера и Марса, — в созвездии Водолея. Астрологи спорили о точном дне, на который придется это событие, однако были целиком согласны в том, что оно сулит грозные беды. Даже Ибн Сина был обеспокоен такими известиями, ибо знал, что еще Аристотель писал об угрозе, исходящей от сочетания Марса и Юпитера.

Поэтому, когда однажды ясным и недобрым утром Ибн Си-ну призвал к себе Кандраси и сообщил, что в Ширазе, крупнейшем городе провинции Аншан, разразился мор, лекарь воспринял это как неизбежное.

— Какой именно мор?

— «Черная смерть», — ответил имам.

Ибн Сина сделался белым как полотно и мог лишь надеяться, что имам ошибся — ведь Персию «черная смерть» не посещала уже триста лет! Но ум его начал работать, решая задачу.

— Необходимо сегодня же направить воинов по Пути пряностей, дабы они поворачивали назад все караваны и всех путников, идущих с юга. А в Аншан нам следует послать медицинский отряд.

— Не так-то много налогов поступает к нам из Аншана, скривил губы имам, но Ибн Сина решительно покачал головой.

— В наших собственных интересах не допустить распространения болезни, потому что «черная смерть» легко распространяется повсюду.

К тому времени, когда Ибн Сина вернулся к себе домой, он уже решил, что не может послать в Шираз группу коллег-лекарей: если чума придет в Исфаган, они все потребуются здесь. Придется послать одного лекаря и группу лекарских помощников.

Нужно использовать эти чрезвычайные обстоятельства, решил он, чтобы закалить самых лучших и самых сильных. После некоторого размышления Ибн Сина взял перо, чернила, бумагу и написал:

Хаким Фадиль ибн Парвиз, начальник

Сулейман аль-Джамал, учащийся третьего года

Иессей бен Бенъямин, учащийся первого года

Мирдин Аскари, учащийся второго года

В отряд надо включить и кое-кого из самых слабых учеников, чтобы дать им единственную, самим Аллахом ниспосланную возможность исправить неутешительные учебные результаты и двигаться дальше, к получению звания лекаря. Поэтому он добавил в список еще несколько имен:

Омар Нивахенд, учащийся третьего года

Аббас Сефи, учащийся третьего года

Ала Рашид, учащийся первого года

Карим Гарун, учащийся седьмого года

Когда все восемь молодых людей собрались и выслушали главного лекаря, который отправлял их в Аншан бороться с «черной смертью», они не в силах были смотреть ни на него, ни друг на друга — так велико было их замешательство.

— Вы должны иметь при себе оружие, — сказал им Ибн Си-на. — Невозможно предвидеть, как поведут себя люди там, где свирепствует чума.

Раздался тяжкий вздох дрожащего Ала Рашида. Этому пухлощекому юноше с нежными глазами было всего шестнадцать лет, он отчаянно скучал по своей семье, живущей в Хамадане днем и ночью рыдал от тоски и не мог заставить себя заниматься науками.

Роб усилием воли заставил себя внимательно слушать, что говорит Ибн Сина.

— ...Мы не можем объяснить вам, как бороться с этой болезнью, потому что на нашем веку она ни разу не появлялась. Но у нас есть книга, составленная триста лет тому назад лекарями, которые в разных местностях пережили эпидемии чумы. Эту книгу мы вам дадим. Нет сомнения в том, что она содержит много размышлений и рекомендаций, не представляющих большой ценности, но там может встретиться и такое, что вам пригодится. — Ибн Сина потербил бороду. — Некоторые утверждают, что «черная смерть» вызывается заражением воздуха вследствие гнилостных испарений. Чтобы бороться с этим, я полагаю, вы должны разводить огромные костры из поленьев ароматических деревьев, и находиться эти костры должны не вдалеке как от больных, так и от здоровых. Здоровым надлежит обмываться вином или уксусом и разбрызгивать уксус в жилищах, а также вдыхать камфару или иное летучее вещество.

Вам, ухаживающим за больными, также следует все это соблюдать. Когда приближаетесь к больным, закрывайте нос губкой, смоченной в уксусе; воду перед тем, как пить, непременно кипятите, дабы очистить ее и отделить все вредные примеси. К тому же надо ежедневно тщательно чистить ногти, ибо сказано в Коране, что под ногтями прячется шайтан. — Ибн Сина откашлялся. — Те, кто переживет чуму, не должны сразу возвращаться в Исфаган, дабы не занести заразу сюда. Вы отправитесь в дом, что стоит у Скалы Ибрагима, это в одном дне пути к востоку от города Наина и в трех днях к востоку отсюда. Там вы месяц будете отдыхать и лишь после этого вернетесь в Исфаган. Это понятно?

Все кивнули.

— Понятно, господин, — дрожащим голосом ответил за всех Хаким Фадиль ибн Парвиз

как старший в отряде. Юный Ала молча всхлипывал. На красивом лице Карима Гаруна лежала тень дурных предчувствий. Наконец заговорил Мирдин Аскари:

— У меня жена и дети... Я должен сделать необходимые распоряжения. Чтобы быть уверенным: они будут обеспечены, если...

Ибн Сина кивнул в ответ:

— Те из вас, у кого есть свои семьи, имеют всего несколько часов, чтобы сделать все необходимые распоряжения.

Роб даже не знал, что Мирдин женат и имеет детей. Его товарищ-еврей был скрытен, ни от кого не зависел, уверенный в своих силах как на лекциях, так и в маристане. Но сейчас он беззвучно молился, только чуть шевелились побелевшие губы.

Роб Джереми не меньше других был напуган предстоящей поездкой, из которой вполне можно было и не вернуться, однако старался собрать все свое мужество. «По крайней мере, — утешал он себя, — в таком случае больше не придется выполнять обязанности тюремного лекаря».

— Еще одно, — сказал Ибн Сина, глядя на них, как отец на сыновей. — Вы обязаны вести подробные записи для тех, кому придется бороться с такой же эпидемией в будущем. И оставить эти записи там, где их отыщут, случись что с вами.

* * *

На следующее утро, едва первые лучи солнца окрасили багрянцем верхушки деревьев, копыта их коней простучали по мосту через Реку Жизни. Каждый из восьмерых сидел на добром коне, а в поводу вел либо вьючную лошадь, либо мула.

Через недолгое время Роб предложил Фадилю, чтобы один человек скакал впереди как дозорный, а другой ехал бы позади, отстав от остальных, для охраны тыла. Молодой хаким сделал вид, что обдумывает это предложение, а потом прокричал соответствующий приказ.

Зато вечером он сразу согласился на предложение Роба вставлять сменяющихся по очереди часовых, как это было

заведено в караване керла Фритты. Сидя вокруг костра, в котором горели ветки боярышника, они по очереди то оживлялись, то впадали в уныние.

— Думаю я, что Гален высказал самую мудрую мысль, когда рассуждал о том, как лучше всего поступить лекарю во время эпидемии чумы, — мрачно сказал Сулейман аль-Джамал. — А сказал Гален, что лекарю надлежит бежать от чумы, дабы иметь возможность лечить людей в другое время. Именно так он сам и поступил.

— А мне кажется, что еще лучше сказал великий врачеватель ар-Рази [\[156\]](#), — сказал Карим и процитировал:

Три кратких слова могут от чумы спасти.

Ты «быстро, долго, далеко» запомнить постарайся.

Скорей беги, спеши подальше ноги унести,

Подольше выжди и попозже возвращайся.

Смеялись они, слушая это, чересчур громко.

Первым на часах стоял Сулейман. И не стоило на следующее утро, когда они проснулись, сильно удивляться тому, что ночью он сбежал, прихватив своих лошадей.

Но их это поразило и преисполнило печали. Когда вечером они снова разбили лагерь, Фадиль назначил часовым Мирди-на Аскарри, и этот не подвел. Сторож он был хороший.

Но на третью ночь часовым в лагере был Омар Нивахенд. Этот последовал примеру Сулеймана и ночью бежал, не забыв и лошадей.

Как только обнаружилось второе дезертирство, Фадиль созвал всех на совет.

— Нет греха в том, чтобы испугаться «черной смерти», — обратился он к товарищам, — иначе всякий из нас был бы навеки проклят. Не грех и бежать, если вы согласны с Галеном и Разесом, хотя лично я согласен с Ибн Синой в том, что лекарю приличнее бороться с эпидемией, нежели бежать от нее со всех ног.

Грех в том, чтобы оставить своих товарищей без охраны. А еще хуже по-воровски забрать с собой вьючное животное с запасом лекарств, в которых нуждаются больные и умирающие. — Он заглянул в глаза каждому. — Итак, я говорю: если кто еще желает покинуть нас, пусть уходит сейчас. Клянусь честью, что ему будет позволено уйти без всякого стыда или осуждения.

Слышно было, как дышит каждый. Вперед никто не выступил.

Заговорил Роб:

— Да, всякий может свободно уйти. Но если он уйдет, оставив нас без охраны, если возьмет с собой припасы, необходимые пациентам, к которым мы едем, то я говорю: мы должны догнать его и убить!

Снова воцарилось молчание.

— Согласен, — сказал Мирдин Аскарри, облизнув пересохшие губы.

— И я, — сказал Фадиль.

— Я тоже согласен, — проговорил Аббас Сефи.

— Я тоже, — прошептал Ала.

— И я! — громко заключил Карим.

И каждый знал: это не пустое обещание, это торжественная клятва.

* * *

Через две ночи наступила очередь Роба дежурить. Лагерь они разбили в каменистом узком ущелье, где в лунном свете высокие скалы казались страшными чудовищами. Ночь в одиночестве была долгой, но Робу выпала возможность подумать о тех грустных вещах, которые в иное время ему удавалось прогонять из своих мыслей. Он вспоминал своих братьев и сестру и всех тех, кого уже не было на свете. Долгими были его думы о женщине, которую он упустил, как песок сквозь пальцы.

Перед рассветом он стоял в тени большой скалы, недалеко от спящих, и вдруг понял, что кто-то один из них не спит и, кажется, собирается удрать.

По лагерю тенью проскользнул Карим Гарун, осторожно, стараясь не разбудить спящих. Отойдя подальше, он легким шагом побежал по дороге и вскоре скрылся из виду.

Что ж, Гарун не бросил лагерь без охраны, не взял ничего из запасов, поэтому Роб и не пытался остановить его. Но чувствовал он горькое разочарование, потому что ему начинал нравиться этот красивый насмешник, который уже столько лет провел в медресе.

Не прошло и часа, как Роб вытащил из ножен меч, заслышав приближающиеся в сером предрассветном сумраке гулкие и быстрые шаги. Он поднялся во весь рост и столкнулся с Каримом, который остановился в шаге от него; Карим увидел обнаженный меч, и у него челюсть отвисла. Грудь тяжело вздымалась, а лицо и блуза были мокры от пота.

— Я видел, как ты уходил. Думал, ты решил бежать.

— Я и бежал, — ответил, задыхаясь, Карим. — Убежал... и прибежал назад. Люблю пробежаться, — проговорил он и улыбнулся, когда Роб спрятал меч.

Карим бегал каждое утро, возвращаясь в лагерь взмокшим. Аббас Сефи рассказывал смешные истории, пел непристойные песенки, умел и жестоко передразнивать других, подражая голосам и жестам. Хаким Фадиль был отличным борцом, и по вечерам в лагере начальник повергал их всех по очереди наземь. Правда, с Робом и Каримом ему приходилось повозиться. Мир-дин был лучшим среди них поваром, он с радостью взял на себя обязанность готовить ужин. Юный Ала, в ком текла кровь бедуинов, был потрясающим наездником и ничего так не любил, как ехать впереди дозорным, далеко обгоняя товарищей. Вскоре его глаза блестели уже не от слез, а от воодушевления, и его юношеская энергия всем пришлась по душе.

Им приятно было чувствовать, как растет их дружба, и дорога была бы даже удовольствием, если бы только в лагере и на привалах хаким Фадиль не читал им главы из «Книги Чумы», переданной Ибн Синой. В ней содержались сотни предположений сделанных различными известными лекарями, и каждый считал, что именно ему ведомо, как бороться с чумой. Некто Ламна из Каира категорически настаивал: единственный действенный способ заключается в том, чтобы дать больному испить собственной мочи, причем лекарь в это время должен читать строго определенные молитвы Аллаху (да славится имя Его!).

Аль-Хаджар из Багдада предлагал во время эпидемий сосать вяжущий сок граната или сливы, а Ибн Мутилла из Иерусалима настойчиво советовал есть чечевицу, индийский горох, семечки тыквы и красную глину. Советов и рекомендаций было так много, что для растерянных медиков отряда они не представляли никакой ценности. Ибн Сина написал для них дополнение к этой книге, перечислив те меры, какие сам он считал разумными: разводить костры, дающие едкий дым, обмывать стены известковой водой, разбрызгивать уксус, давать больным пить фруктовые соки. В конце концов молодые медики согласились в том, что надо следовать образу действий, предписанному Учителем, оставив все прочие советы без внимания.

На восьмой день пути, на полднемном привале, Фадиль прочитал им из книги, что во время «черной смерти» в Каире из каждых пяти лекарей, бравшихся врачевать больных, четверо и сами умирали от этой болезни. Когда они двинулись снова в путь, всеми владела тихая грусть, словно им прочитали уже подписанный приговор.

Следующим утром въехали в деревушку, которая называлась Нардиз, как сказали им жители, и находилась она уже в провинции Аншан. Крестьяне с почтением отнеслись к ним, когда хаким Фадиль объявил, что они лекари из Исфагана, посланные шахом Ала ад-Даулой помочь страдающим от чумы.

— У нас здесь нет мора, хаким, — с благодарностью сказал староста деревни. — До нас, правда, доходили слухи о том, что в Ширазе люди страдают и умирают.

Теперь они были все время настороже, но, проезжая одну деревню за другой, всюду видели только здоровых людей. В горной долине Накш-и-Рустам [\[157\]](#) им встретились

огромные гробницы, высеченные в скалах — там покоились четыре поколения персидских царей. Дарий Великий, Ксеркс, Артаксеркс и Дарий II спали над этой продуваемой ветрами долиной вот уже пятнадцать столетий, в течение которых шли войны, бушевали эпидемии, появлялись и уходили в небытие бесчисленные завоеватели. Пока четверо мусульман творили Вторую молитву, Роб и Мирдин стояли перед одной из гробниц, с благоговением читая надпись:

Я— Ксеркс, великий царь, царь царей.

Государь стран, населенных многими народами,

Повелитель необъятной Вселенной,

Сын царя Дария, Ахеменида.

Они миновали обширные руины — всюду обломки колонн с глубокими желобками, все усыпано битым камнем. Карим сказал Робу, что это Персеполис, разрушенный Александром Македонским за девятьсот лет до рождения Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует!).

Невдалеке от древних развалин обнаружили крестьянский дом. Стояла тишина, только блеяли несколько овец, щипавших траву за домом, и этот мирный звук разносился в чистом воздухе, пронизанном солнечным светом. Под деревом сидел пастух. Казалось, он молча наблюдает за проезжими, но когда они подъехали ближе, то увидели, что он мертв.

Хаким оставался, как и все, в седле, не в силах оторвать взгляда от мертвеца. Раз Фадиль не сумел распорядиться, то Роб спешил и осмотрел покойника, тело которого посинело и успело уже заоченеть. Он умер давно, закрывать глаза было поздно, а какой-то зверь порвал зубами и когтями ноги и отъел правую руку. Блуза покойного на груди и животе почернела от крови. Роб вытащил свой нож, разрезал одежду; никаких признаков чумы, но в области сердца большая колотая рана — судя по размеру, от меча.

— Осмотрите дом, — велел Роб.

Дом был покинут обитателями. Дальше, на поле, обнаружили останки нескольких сотен зарезанных овец, большинство костей уже были дочиستا обглоданы волками. Все поле было сильно истоптано — ясно, что здесь побывал большой отряд и пробыл достаточно долго, чтобы убить пастуха и забрать много мяса.

Фадиль, с остекленевшими глазами, не мог ничего ни подсказать, ни приказать.

Роб уложил пастуха на бок, они забросали тело камнями и большими валунами, чтобы останки не достались диким зверям. Затем медики поспешно покинули это место.

Наконец, показалась прекрасная усадьба, роскошный особняк в окружении заботливо возделанных полей. Усадьба тоже выглядела покинутой, но медики все же сошли с седел.

Карим настойчиво и громко забарабанил в дверь, и через некоторое время посередине ее отворилось маленькое смотровое окошко, показался чей-то глаз.

— Уходите.

— Мы — медицинский отряд из Исфагана, направляемся в Шираз.

— А я — Исмаил-купец. Честно скажу вам, что мало кто в Ширазе остался в живых. Несколько недель назад в Аншан вторглось войско турок-сельджуков. Многим из нас удалось бежать до их прихода, забрав с собой женщин, детей и скот; Укрылись за стенами Шираза. Сельджуки нас осадили. Но среди них уже гуляла «черная смерть», и через несколько дней им пришлось убраться отсюда. Однако прежде, чем уйти, они с помощью катапульты забросили в переполненный беженцами город тела двух своих воинов, умерших от чумы. Только сельджуки ушли, как мы поспешили вынести эти два тела за ворота и сжечь,

но было уже поздно, «черная смерть» поразила и нас.

— И что, страшный мор? — обрел наконец дар речи хаким Фадиль.

— Да страшнее и представить нельзя, — ответил голос из-за двери. — Кое-кто оказался невосприимчивым к болезни, как я, например — благодарение Аллаху (безгранично Его милосердие!), но большинство тех, кто был в городе, или уже умерло, или умирает.

— А что стало с ширазскими лекарями? — задал вопрос Роб.

— В городе оставалось два цирюльника-хирурга да четверо лекарей, остальные бежали, едва сельджуки сняли осаду. Оба цирюльника и два лекаря пытались помочь больным, пока сами не умерли, весьма скоро. Еще одного лекаря болезнь скосила сразу, и к тому часу, когда я сам покинул город (а с того и двух дней еще не минуло), заботиться обо всех больных приходилось единственному оставшемуся лекарю.

— Похоже, без нас в Ширазе никак не обойтись, — сделал вывод Карим.

— Дом у меня большой и чистый, — продолжал человек из-за двери. — Здесь запасено много еды и вина, уксуса и извести, немало и всяких целебных трав, чтобы отвратить болезни. Вам я открою двери дома, ведь с лекарями и мне спокойнее. А пройдет недолгое время, моровая язва исчерпает себя, тогда мы с обоюдной выгодой можем войти в Шираз. Кто из вас останется здесь со мною, в безопасности?

Последовало молчание.

— Я, — хрипло выговорил Фадиль.

— Не делай этого, хаким, — возразил ему Роб.

— Ты ведь наш начальник и единственный среди нас лекарь, — поддержал Карим.

— Я войду в твой дом, купец, — повторил Фадиль, словно не слыша товарищей.

— Я тоже войду в дом, — решил Аббас Сефи.

Оба они спрыгнули с коней. За дверью было слышно, как медленно отодвигается тяжелый засов. В щели мелькнуло бледное лицо, обрамленное бородой, но приотворилась дверь лишь на столько, чтобы двое мужчин могли проскользнуть внутрь, потом дверь снова захлопнули и заложили на засов.

Оставшиеся снаружи чувствовали себя так, будто их покинули одних посреди морской глади. Карим переглянулся с Робом.

— Быть может, они и правы, — пробормотал он. Мирдин промолчал, на его встревоженном лице отражались противоречивые чувства. Юный Ала был готов снова расплакаться.

— «Книга Чумы»! — воскликнул Роб, припомнив, что Фадиль всегда носил ее в чехле на лямке, переброшенной плечо. Он подбежал к двери и заколотил в нее.

— Ступай прочь, — отозвался голос Фадила, в котором слышался страх: он явно боялся, что, если откроет дверь, остальные набросятся на него.

— Послушай, ты, навоз верблюжий, — крикнул ему охваченный гневом Роб. — Если не вернешь нам «Книгу Чумы», которую дал Ибн Сина, мы соберем достаточно поленьев и хвороста и обложим ими стены этого дома. И я с большим удовольствием сам его подожгу, лекарь ты дерьмовый!

Через миг снова послышался скрип отодвигаемого засова. Дверь приотворилась, оттуда вылетела книга и упала в пыль к их ногам. Роб подобрал ее и вскочил в седло. Когда они отъехали, ярость в нем поутихла, потому что какая-то часть его существа очень хотела оказаться вместе с Фадилем и Аббасом Сефи под надежной защитой купеческого дома.

Роб долго ехал, прежде чем решил обернуться в седле. Мирдин Аскари и Карим Гарун

далеко отстали, но понемногу нагоняли его, а юный Ала Рашид, позади всех, вел в поводу выючную лошадь Фадиля и мула Аббаса Сефи.

Дорога без единого поворота шла по заболоченной равнине, потом запетляла среди цепи голых скал и гор, которая тянулась целых два дня пути. На третье утро они, наконец, стали спускаться к Ширазу и еще издалека увидели поднимающийся к небу дым. Приблизившись, разглядели людей, которые сжигали покойников за пределами городских стен. Дальше, за Ширазом, виднелись крутые склоны знаменитого ущелья Тенг-и-Алла-Акбар, то есть Ущелья «Велик Аллах». Роб заметил, как кружат над ущельем большие черные птицы, и уверился в том, что отряд нашел очаг эпидемии.

В город они въехали через ворота, никем не охранявшиеся.

— Так что же, сельджуки и в самом городе побывали? — удивленно спросил Карим, глядя на разоренные улицы Шираза. Город был красиво спланирован и застроен домами из розоватого камня, многие были окружены садами. Однако сейчас повсюду торчали свежие пни, указывая, где недавно росли высокие деревья, роскошная зелень которых давала прохожим густую тень. Даже кусты роз из садов пошли на растопку погребальных костров.

Медики, будто во сне, ехали по совершенно пустым улицам.

Наконец они заметили одного человека, который, спотыкаясь, брел по улице. Но стоило его окликнуть, двинуться навстречу, и человек тут же спрятался где-то за домами.

Вскоре удалось отыскать другого прохожего. На этот раз они успели окружить его, тесня крупами своих коней, не давая удрать. Роб Джереми вытащил из ножен меч.

— Отвечай, и мы не причиним тебе вреда. Где лекари?

Человек был сильно испуган. Ко рту и носу он прижимал какой-то сверточек, вероятно, с ароматическими травами.

— У калантара, — проговорил он, задыхаясь, и махнул рукой вдоль улицы.

По дороге им встретилась похоронная телега. Два плечистых сборщика трупов, лица которых были закутаны даже плотнее, чем у женщин, остановились подобрать трупик ребенка, которой лежал на обочине. На телеге лежали три других тела — одного мужчины и двух женщин.

В канцелярии правителя города Роб и его товарищи представились: медицинский отряд из Исфагана. Крепкий человек, похожий на воина, и дряхлый старик ответили им удивленными взглядами. У обоих были запавшие щеки и воспаленные глаза, говорившие о долгой бессоннице.

— Я — Дебид Хафиз, калантар города Шираза, — сказал тот, что помоложе. — А это — хаким Исфари Санджар, единственный оставшийся у нас лекарь.

— А почему улицы у вас безлюдны? — поинтересовался Карим.

— Нас здесь жило четырнадцать тысяч душ, — ответил Хафиз. — С приходом сельджуков в пределы городских стен стекло в поисках защиты еще четыре тысячи беженцев из окрестностей. А когда появилась «черная смерть», третья часть всех, кто находился тогда в Ширазе, бежала из города. В их числе, — сказал калантар с горечью, — все богачи и все высокие чиновники, охотно предоставив калантару и его стражникам охранять их имущество. Умерло почти шесть тысяч. Те же, кого болезнь пока не коснулась, попрятались в домах и возносят молитвы Аллаху (милосердие коего бесконечно!), чтобы Он сохранил им жизнь и здоровье.

— Чем вы лечите их, хаким? — спросил Карим.

— От «черной смерти» нет лекарств, — сказал старый врач. — Лекарь способен лишь принести небольшое облегчение умирающим.

— Мы пока еще не лекари, а лишь лекарские помощники, — объяснил Роб, — посланные к вам нашим учителем и господином Ибн Синой. Мы будем исполнять ваши распоряжения.

— Никаких распоряжений я вам не дам, поступайте, как сами найдете нужным, — прямо ответил на это хаким Исфари Санджар и махнул рукой. — Могу дать только совет. Если хотите остаться в живых, как я, ешьте на завтрак каждый день поджаренный кусочек лепешки, вымоченный в уксусе или вине. А разговаривая с кем бы то ни было, всякий раз сделайте сперва глоток вина, — добавил он, и Роб сообразил: то, что ему сперва показалось признаками старческой дряхлости, на самом деле говорило о сильном опьянении.

ЗАПИСКИ ИСФАГАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА

Если эти краткие заметки будут найдены после нашей смерти, то нашедшего ожидает щедрое вознаграждение, когда он доставит их Абу Ала аль-Хусейну ибн Абдалле ибн Сине, главному лекарю маристана в Ис-фагане.

Написано в 19-й день месяца раби-уль-авваль, в 413 год Хиджры [\[158\]](#).

Мы в Ширазе уже четыре дня, в продолжение которых умерло 243 человека. Заболевание начинается с небольшого жара, затем прибавляется головная боль, иногда сильная. Жар становится особенно сильным непосредственно перед появлением болезненных шишек в паху, под мышками или за ухом, каковые шишки называют обычно бубонами. Такие бубоны упомянуты и в «Книге Чумы». Так, хаким Ибн аль-Хатыб из Андалусии говорит, что происходят они от шайтана и всегда имеют форму змея. Наблюдаемые же здесь такой формы не имеют, они круглые и набухшие, подобные опухолям. По размеру некоторые могут сравниться со сливой, но в большинстве своем не больше чечевичного боба. Часто наблюдается кровавая рвота, каковая есть несомненный признак неизбежной близкой смерти. Большинство больных умирает через два дня после появления бубона или даже раньше. У немногих счастливых бубон лопается. Когда такое случается, из тела больного вроде бы выходит тлетворная жидкость, и тогда он выздоравливает.

(Подписано)

Иессей бен Беньямин, лекарский помощник

Больница для жертв чумы, как они узнали, была устроена в тюрьме, откуда освободили всех узников. Она была забита мертвыми, умирающими, недавно заболевшими — столько народу, что облегчить чьи-либо страдания было просто невозможно. Воздух, наполненный криками и стонами, был тяжелым от запахов кровавой рвоты, немых тел и испражнений.

Роб, посоветовавшись с тремя остальными, отправился к калантару и попросил позволения использовать цитадель, в которой раньше размещался воинский гарнизон. Получив позволение, он стал переходить от одного пациента в тюрьме к другому, беря каждого за руки и оценивая их состояние.

То, что он узнавал, чаще всего было неутешительным: чаша жизни превращалась в

решето, через дыры которого жизнь утекала из больного.

Тех, кто был близок к смерти, относили в цитадель. Поскольку они составляли высокий процент всех заболевших, это позволяло оказывать помощь тем, у кого еще оставалась надежда выжить, и ухаживать за ними в условиях относительной чистоты и меньшей скученности.

В Персии стояла зима, по ночам холодно, днем довольно тепло. На вершинах гор ослепительно сияли снега, и лекарским помощникам по утрам приходилось набрасывать на плечи плащи из овчины. Над ущельем вилось все больше стервятников.

— Ваши люди сбрасывают тела в ущелье вместо того, чтобы сжигать, — упрекнул Роб калантара.

Хафиз согласно кивнул.

— Я запретил так поступать, однако думаю, что ты прав.

Дров мало.

— Всех умерших обязательно надо сжигать. Без исключений, — твердо заявил Роб, потому что на этом безоговорочно настаивал Ибн Сина. — А вы должны сделать все, чтобы этот приказ выполнялся.

В тот же день отрубили головы трем из тех, кто сбрасывал тела в ущелье, и казнь усилила царивший вокруг дух смерти. Роб не этого добивался, однако Хафиз был возмущен:

— Где моим людям брать дрова? Мы уже все деревья срубили.

— Пусть стражники рубят деревья в горах.

— Если они туда пойдут, то уж назад не вернуться.

Тогда Роб поручил юному Ала пройти с солдатами по брошенным домам. Дома в большинстве были каменными, но там были деревянные двери, деревянные ставни, мощные потолочные балки. Ала подгонял людей, те выламывали и рубили, и за стенами города снова запылали костры.

Медики пытались было следовать совету Ибн Сины — дышать через смоченные уксусом губки, — но это тормозило работу, и вскоре они отказались от такой предосторожности. Следуя совету хакима Исфари Санджара, каждое утро давились вымоченным в уксусе поджаренным куском лепешки и пили вино в немалом количестве. Иной раз к ночи напивались не хуже старого хакима.

Вот так, под хмельком, Мирдин поведал им о своей жене Фаре и маленьких сынишках Давиде и Иссахаре, которые ожидали его благополучного возвращения в Исфаган. С грустью вспоминал он отцовский дом на берегу Аравийского моря — отец и братья исходили все побережье, скупая жемчуг.

— Ты мне нравишься, — сказал он Робу. — Как только ты можешь дружить с Арье, моим негодным двоюродным братом?

Роб теперь только понял причину первоначальной холодности Мирдина к нему.

— Я дружу с Арье? Вовсе я ему не друг. Свинья твой Арье!

— Это таки правда. Что свинья, то свинья! — воскликнул Мирдин, и они оба дружно расхохотались.

Красавец Карим рассказывал бесконечные истории о своих любовных победах и клялся, что найдет юному Ала, как только они вернутся в Исфаган, самую соблазнительную пару сисек во всем

Восточном халифате. Каждое утро Карим совершал свои пробежки — даже здесь, в этом городе смерти. Иной раз он насмешками добивался от товарищей того, что они бегали

вместе с ним, проносясь толпой по пустынным улицам мимо опустевших домов, мимо домов, где в страхе замерли еще не заболевшие, мимо домов, у порога которых лежали трупы в ожидании похоронной телеги. Бежали прочь от вида страшной действительности. Не только вино туманило им головы. Сами молодые и здоровые, они со всех сторон были окружены смертью, вот и пытались скрыть свой страх, делая вид, будто сами бессмертны и неуязвимы.

ЗАПИСКИ ИСФАГАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА

Написано в 28-й день месяца раби-уль-авваль, в 413 год Хиджры.

Представляется, что кровопускание, применение банок, а равно слабительного не приносит заметного результата. Интересна взаимосвязь бубонов со смертностью от этого мора, ибо по-прежнему остается справедливым отмеченное ранее: если бубон лопаются или же постепенно источают свое содержимое, зеленого цвета и неприятного запаха, больной чаще всего выздоравливает.

Вполне вероятно, что многие умирают от невероятно сильного жара, который поедает содержащийся в их теле жир. Но если бубон лопается, жар сразу же резко понижается и наступает период постепенного выздоровления.

Поняв это из наблюдений, мы стараемся помочь бубонам созреть, дабы они могли лопнуть. Для этой цели применяем горчичные припарки и луковицы лилий; припарки из ягод инжира и вареного лука, растертого и сдобренного сливочным маслом; также и многие вытягивающие пластыри. Иногда мы рассекаем бубоны и лечим, как язвы, однако успех невелик. Сплошь

и рядом эти шишки, отчасти под влиянием болезни, отчасти же вследствие слишком энергичных вытяжек, так затвердевают, что вскрыть их не удастся никаким инструментом. Такие мы пытались прижечь едкими веществами, однако результатов это не приносит. Многие больные умерли в страшных мучениях от наших попыток, некоторые в самый момент вскрытия бубона, так что нас можно обвинить в том, что мы подвергали этих несчастных пыткам, даже и до смерти. И все же некоторых удается спасти. Вполне могло стать, что они выжили бы, даже если нас вообще здесь бы не было, и все же нас весьма утешает вера в то, что хотя бы немногим мы сумели помочь.

(Подписано)

Иессей бен Беньямин, лекарский помощник

— Ах вы, грязные сборщики костей! — завопил некий мужчина. Двое слуг, не церемонясь, повергли его на пол чумной лечебницы и тут же удрали — несомненно, торопясь разграбить его имущество. Подобное воровство было распространено во время чумы, и казалось, что болезнь разъедает людские души так же стремительно, как и тела. Обезумевшие от страха родители бросали без присмотра детишек, если у тех появлялись бубоны. Как раз в то утро обезглавили за мародерство трех мужчин и женщину, а с одного стражника содрали кожу за то, что он овладел умирающей. Карим, водивший вооружившихся ведрами с известковой водой стражников по домам, где побывала чума и которые требовалось поэтому очистить, рассказывал, что насмотрелся за эти дни всех мыслимых грехов. Он сам был свидетелем такой невероятной распушенности, что совершенно

уверился: многие отчаянно цепляются за жизнь лишь в силу неистовства плоти.

Перед самым полуднем явился белый как полотно, трясущийся от страха воин — посланник калантара, который сам никогда не входил в чумную лечебницу. Он вызвал Роба и Мирдина на улицу, где их ожидал Хафиз — калантар нюхал щедро посыпанное специями яблоко, что должно было предотвратить заболевание.

— Да будет вам ведомо, — сообщил он с победным видом, — что количество смертей, зарегистрированных вчера, снизилось до тридцати семи!

Этому действительно стоило порадоваться, ведь в самый страшный день разгара эпидемии, на ее третьей неделе, умерло сразу 268 человек.

Хафиз уточнил, что, по его подсчетам, Шираз потерял 801 мужчину, 502 женщины, 3193 ребенка, 566 рабов, 1417 рабынь, одного христианина-сирийца и 32 еврея. Роб понимающе переглянулся с Мирдином: от них не укрылось, что калантар перечислил жертв чумы в порядке их ценности.

По улице к ним шел Ала, но с пареньком что-то было неладно: он едва не прошел мимо, не заметив товарищей, если бы Роб громко не окликнул его.

Роб подошел ближе и заметил, каким странным взглядом смотрит Ала. Тогда он пощупал лоб и ощутил знакомый сильный жар, от которого самого Роба продрал мороз по коже.

«Ах ты, Господи!»

— Ала! — ласково позвал он. — Пойдем сразу внутрь, в лечебницу.

* * *

Они повидали за эти дни много смертей, однако смотреть, с какой быстротой болезнь пожирает Ала Рашида, было так мучительно, словно боль терзала их самих — Роба, Карима, Мирдина.

Время от времени Ала весь сжимался, словно что-то жалило его в живот. Боль заставляла его часто корчиться в судорогах, неестественно выгибая спину. Они обмыли больного уксусом, и поначалу, казалось, были основания для надежды — на ощупь тело стало чуть теплым. Однако лихорадка лишь собиралась с силами, и когда она пришла снова, то жар поднялся выше, чем в первый раз. У Ала растрескались губы, глаза дико вращались.

Его стоны почти не были слышны в общем хоре раздававшихся повсюду воплей, но три лекарских помощника четко различали стоны Ала, ибо волею судеб они четверо стали как бы одной семьей.

Наступила ночь, они поочередно дежурили у постели Ала.

Роб перед рассветом подошел сменить Мирдина. Юноша метался на смятой циновке, затуманенные глаза его никого не узнавали; от жара он заметно исхудал, резко заострились черты миловидного ребяческого лица; ясно выступили высокие скулы и нос, напоминающий клюв орла — характерные черты бедуина, каким он мог бы со временем стать.

Роб взял Ала за руки и ощутил, как из юноши вытекает жизненная сила.

Не в силах ничем помочь, он время от времени клал пальцы на запястье Ала и слушал, как бьется пульс, слабый и прерывистый, словно трепетание крыльев раненой птички.

Когда на смену Робу пришел Карим, Ала уже покинул их. Они теперь не могли вообразить, будто бессмертны и неуязвимы. Не подлежало сомнению, что скоро болезнь

поразит еще кого-то из них, и вот тогда они поняли, что такое настоящий страх.

* * *

Они проводили тело Ала на костер, и каждый помолился по-своему, пока огонь пожирал тело.

Но в то утро они заметили и перелом в ходе эпидемии: в лечебницу доставляли гораздо меньше новых больных. Еще через три дня калантар, едва сдерживая ликование, сообщил, что накануне число умерших составило лишь одиннадцать человек.

Роб, гуляя вокруг лечебницы, обратил внимание на множество дохлых и умирающих крыс и заметил при этом удивительную вещь: грызунов, несомненно, поразила чума — у них у всех были крошечные, но хорошо видные бубоны. Выбрав одну, только что умершую (еще теплое мохнатое тельце кишело блохами), он положил ее на плоский камень и вскрыл ножом, так аккуратно, словно ему через плечо заглядывал сам аль-Джуджани или иной преподаватель анатомии.

ЗАПИСКИ ИСФАГАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА

Написано в 5-й день месяца раби-ас-сани [\[159\]](#), в 413 год Хиджры.

От мора погибали не только люди, но и различные животные. До нас дошли сведения о том, что от этой самой болезни в Аншане умирали лошади, коровы, овцы, верблюды, собаки, кошки и птицы.

Представляют интерес данные о вскрытии крыс, погибших от чумы. Внешние признаки болезни совпадают с теми, какие наблюдаются у людей: выпученные глаза, сведенные судорогой мышцы, разинутый рот с вывалившимся почерневшим языком, бубоны в паху или же за ушами.

Вскрытие крыс позволило выяснить, почему удаление бубона хирургическим путем не дает положительного результата. Похоже, что опухший бубон имеет глубокие корни, напоминающие корни моркови. После удаления самого бубона эти корни сохраняются в теле жертвы и продолжают разрушать организм.

Вскрыв крысам живот, я обнаружил, что нижний отдел желудка и верхняя часть кишечника у всех шести крыс обесцвечены и покрыты налетом зеленой желчи. Нижняя часть кишечника вся в многочисленных мелких пятнышках. Печень у всех шести высохла и сморщилась, а у четырех из них и сердце сократилось в объеме.

У одной крысы желудок как бы отслаивался изнутри.

Происходит ли то же самое и во внутренних органах пораженного заболеванием человека?

Лекарский помощник Карим Гарун сказал, что у Галена написано: внутренняя анатомия человека точно совпадает с анатомией свиней и крупных обезьян, однако не похожа на строение крыс.

Таким образом, мы до сих пор не знаем причин, вызывающих смерть больных чумой людей, и можно, увы, не сомневаться, что эти причины кроются внутри тела, а следовательно, недоступны нашему наблюдению.

(подписано)

Иессей бен Беньямин, лекарский помощник

Двумя днями позднее, работая в лечебнице, Роб ощутил какое-то беспокойство, тяжесть, слабость в ногах. Ему трудно было дышать, что-то жгло его изнутри, словно он объелся острых блюд, хотя ничего подобного не ел.

Он работал весь день, но неприятные ощущения не проходили, а нарастали. Роб изо всех сил пытался не обращать внимания до тех пор, пока не взглянул в лицо очередного больного — воспаленное от жара, искаженное от боли, а ярко блестящие глаза едва не выскакивают из орбит — и не почувствовал, что сам выглядит сейчас точно так же.

Роб пошел к Мирдину и Кариму.

В их глазах он прочитал ответ на свой вопрос.

Но прежде, чем позволить им уложить его на циновку, Роб настоял, чтобы принесли «Книгу Чумы» и его записки, и передал их Мирдину.

— Если из вас двоих никому не суждено уцелеть, следует оставить это рядом с телом последнего, чтобы их нашли и отправили Ибн Сине.

— Хорошо, Иессей, — ответил ему Карим.

Роб успокоился. С его плеч спал тяжкий груз: худшее уже случилось, и это освободило его из мрачной темницы страха.

— Один из нас будет находиться с тобой, — сказал добрый, искренне огорченный Мирдин.

— Нет, здесь слишком многие нуждаются в вашей помощи. — Но почувствовал, что они, насупившись, не отрывают от него глаз.

Роб был преисполнен решимости пронаблюдать каждую стадию заболевания, хорошенько запомнить, но продержался лишь до тех пор, пока не начался сильный жар и головная боль, такая резкая, что к нему буквально невозможно стало прикоснуться — боль отдавалась во всем теле. Тяжелые покрывала раздражали его, и Роб сбросил их. Потом его сморил сон.

Ему снилось, что он сидит и беседует с Диком Бьюкерелом, давно почившим главой отцовского цеха плотников. Очнувшись, Роб ощутил, как нарастает жар, а внутри все бушует и неистовствует.

Ночью, когда он то приходил в себя, то впадал в беспамятство, ему снились более страшные сны: он сражался с медведем, который становился все тоньше и выше ростом, пока не превратился в Черного Рыцаря, а рядом стояли все, кого скосила чума, они наблюдали за отчаянной схваткой, в которой ни один из противников не мог положить на лопатки другого.

Утром его разбудили стражники, которые выносили свой печальный груз, чтобы нагрузить похоронные телеги. Как лекарский помощник он давно привык к этому зрелищу, но с точки зрения больного оно теперь виделось ему по-другому. Сердце бешено колотилось, в ушах стоял слабый звон. Руки и ноги стали еще тяжелее, чем прежде, когда он еще не слег, а внутри тела пылал настоящий огонь.

— Воды.

Мирдин поспешил принести ему воду, но Роб, поворачиваясь на бок, задохнулся от вспышки боли. Роб не сразу решился посмотреть туда, откуда исходила боль. Наконец

отвернул одежду, и они с Мирдином обменялись испуганными взглядами: в левой подмышечной впадине вспух отвратительный бубон синевато-багрового цвета.

— Ты не станешь резать его! — Он схватил Мирдина за запястье. — И едкими веществами прижигать не нужно. Обещаешь?

Мирдин вырвал руку и толкнул Роба назад, на циновку.

— Обещаю, Иессей, — ласково сказал он и поспешил за Каримом.

Мирдин и Карим вдвоем завели Роба руку за голову и привязали к столбику, оставив бубон открытым. Подогрели розовую воду и смачивали в ней тряпицы, добросовестно меняя припарки, когда те остывали.

Роб испытывал такой жар, как никогда прежде, ни ребенком, ни взрослым, а боль во всем теле сосредоточилась теперь в бубоне, пока разум его не затуманился от мучений и не явились видения.

Он искал прохлады в тени пшеничного поля, целовал ее, прикасался к ее губам, покрывал поцелуями лицо, рыжие волосы, нависавшие над ним подобно густому туману...

Роб слышал, как Карим читает молитвы на фарси, а Мирдин на древнееврейском. Когда Мирдин дошел до молитвы *Шма*, Роб стал повторять за ним: «Услышь, о Израиль, что Господь есть наш Бог, и Господь Один. И возлюби Господа Бога всем сердцем своим...»

Ему стало страшно, что он умрет с еврейской молитвой на устах, и Роб отчаянно пытался вспомнить какую-нибудь христианскую. На ум ему пришел только псалом, который в детстве, когда он учился, пели священники:

Jesus Christus natus est.

Jesus Christus crucifixus est.

Jesus Christus sepultus est.

Amen [\[160\]](#).

На полу возле его циновки сидел Сэмюэл, брат — без сомнения, явился, чтобы указать душе Роба дорогу на тот свет. Выглядел Сэмюэл по-прежнему, даже на лице было все то же насмешливое выражение, словно он собирался дразниться. Что же ему сказать-то? Роб ведь вырос, стал взрослым, а Сэмюэл так и остался мальчишкой, каким был при жизни.

А боль все росла и росла. Она становилась невыносимой.

— Ну, пошли, Сэмюэл! — воскликнул он. — Идем отсюда, давай!

Но Сэмюэл молча сидел и смотрел на него.

И вдруг под мышкой сладко заныло, боль уменьшилась, облегчение наступило так резко, что показалось новой мукой. Роб не мог позволить себе пустой надежды и усилием воли заставил себя ждать, пока кто-нибудь не подойдет.

После ожидания, показавшегося бесконечным, Роб почувствовал, что над ним склоняется Карим:

— Мирдин! Мирдин! Возблагодарим Аллаха — бубон вскрылся!

Над ним склонились уже два улыбающихся лица — одно смуглое, красивое, другое такое доброе, какое бывает только у святых.

— Я вставлю туда тампон, пусть все вытянет, — сказал Мирдин, и оба врача некоторое время были слишком заняты, чтобы возносить благодарственные молитвы.

У Роба было такое чувство, будто он проплыл по бушующему жестокими штормами морю, а теперь мирно покачивается на ласковых волнах тихой заводи.

Процесс выздоровления протекал быстро и гладко, как он сам наблюдал у выживших пациентов. Была, конечно, слабость, Руки и ноги дрожали, что естественно после сильного жара. Но к нему вернулась ясность ума, прошлое и настоящее больше не перемешивались перед его внутренним взором.

Роб очень переживал, что не может хоть чем-то помочь товарищам, но они сами, заботясь о нем, и слышать ничего не желали, не позволяли ему подниматься с циновки.

— Для тебя смысл жизни в том, чтобы заниматься врачеванием, — заметил проницательный Карим. — Я и раньше это видел, потому и не возражал, когда ты захватил в свои руки начальствование нашим маленьким отрядом.

Роб хотел было возразить, но тут же закрыл рот — Карим говорил правду.

— Я очень рассердился, когда начальником назначили Фадиля ибн Парвиза, — продолжал Карим. — Он очень хорошо отвечает на испытаниях, и преподаватели о нем высокого мнения, но для настоящей работы с больными он — сущее бедствие. Кроме того, он начал учиться на два года позже меня, и вот — стал хакимом, а я все еще лекарский помощник.

— Но тогда как же ты можешь соглашаться с моим руководством, если я даже и полного года еще не проучился?

— Ты — другое дело. На тебя это не распространяется, потому что ты предан делу врачевания, как раб.

— Я смотрел на тебя все эти недели, все это тяжелое время, — улыбнулся ему Роб. — Разве тобой не владеет тот же хозяин, что и мною?

— Нет, — спокойно ответил Карим. — Ты только пойми правильно: я хочу стать самым лучшим лекарем. Но желание разбогатеть у меня по крайней мере не слабее. А ты не слишком стремишься к богатству, а, Иессей?

Роб покачал головой.

— Мальчишкой я рос в селе Карш, это в провинции Хамадан. И Абдалла-шах, отец Алашаха, повел через наши края большое войско, чтобы прогнать шайки турок-сельджуков. Куда бы ни пришло это войско, там оставалось одно разорение, как после саранчи. Они забирали себе урожай и скотину, забирали пищу, от которой зависело выживание людей их собственного народа. Войско пошло дальше, а мы остались умирать с голоду.

Мне было тогда пять лет. Мать схватила новорожденную сестренку за ноги и разбила ей голову о камень. Говорят, что многие тогда и людоедством занимались, я этому вполне верю.

Первым умер мой отец, вслед за ним и мать. Я целый год провел на улице среди нищих и сам попрошайничал. Потом меня взял к себе Заки Омар, друг отца. Он был знаменитым силачом.

Он обучил меня грамоте и научил бегать. И девять лет бесстыдно пользовался моей задницей.

Карим на минуту умолк, наступила тишина, нарушаемая только тихими стонами больных по всему помещению.

— Когда он умер, мне исполнилось пятнадцать. Его родственники прогнали меня прочь, однако он успел договориться, чтобы я поступил в медресе, и я, впервые вольный как птица, отправился в Исфаган. Вот тогда я и решил, что, когда у меня будут свои сыновья, они

должны быть надежно защищены, а этого можно достичь только богатством.

Роб подумал, что в детстве они, живя на разных концах Земли, пережили одинаковые трагедии. Если бы ему чуть меньше повезло, если бы Цирюльник оказался чуть иным человеком...

Их беседу прервал приход Мирдина, который сел прямо на пол по другую сторону циновки, напротив Карима.

— Вчера в Ширазе никто не умер.

— О Аллах! — вскричал Карим.

— *Ни единый человек не умер!*

Роб сжал им обоим руки, потом Карим и Мирдин тоже обменялись рукопожатиями. Им не хотелось ни смеяться, ни плакать, они чувствовали себя, как старики, которые прожили всю жизнь бок о бок. Чувствуя это единение, они просто сидели и смотрели друг на друга, бесконечно наслаждаясь сознанием того, что выжили.

* * *

Прошло еще десять дней, прежде чем друзья объявили, что Роб окреп достаточно и может собираться в дорогу. Весть о том, что мор закончился, распространилась повсюду. Много лет минует, прежде чем в Ширазе снова зазеленеют деревья, но люди начинали возвращаться к своим очагам, некоторые везли с собой строительный лес. Друзья миновали дом, где плотники навешивали новые ставни на окна, а потом другие дома, где устанавливались новые двери.

Им было приятно оставить Шираз за спиной и повернуть на север, к Исфагану. Ехали неторопливо. Когда добрались до усадьбы Исмаила-купца, все спешили и постучали в дверь, однако никто им не отворил. Мирдин принюхался и сморщил нос.

— Где-то поблизости покойники, — тихо проговорил он.

Они вошли внутрь и обнаружили разложившиеся трупы самого купца и хакима Фадила. Следов Аббаса Сефи не было видно — он, конечно же, удрал из «безопасного пристанища», едва увидел, как болезнь поразила двух других.

Так им выпало исполнить последний долг перед тем, как окончательно покинуть край, переживший чуму. Они прочитали молитвы и сожгли оба тела, соорудив большой погребальный костер из обломков роскошной мебели купца.

Покидал Исфаган медицинский отряд из восьми человек, возвращались же туда из Шираза всего трое.

Когда Роб вернулся в Исфаган, город, полный совершенно здоровых людей, показался ему каким-то непривычным. Кто-то смеялся, кто-то ссорился. Робу странно было наблюдать все это, находиться среди них — мир для него словно перевернулся вверх тормашками.

Когда Ибн Сина выслушал их доклад о дезертирах и умерших, он огорчился, но не удивился. Жадно взял из рук Роба записки отряда. За тот месяц, что три лекарских помощника провели в домике у Скалы Ибрагима, перестраховываясь, чтобы не занести чуму в Исфаган, Роб много написал, завершив подробный отчет о проделанной ими в Ширазе работе.

В отчете он прямо указал, что два других учащих спасли ему жизнь, и описал все это с теплотой и чувством благодарности.

— Карим тоже? — напрямик спросил Ибн Сина, когда они с Робом остались наедине.

Роб замялся — ему казалось неловким давать оценку товарищу-учащемуся. Но все же он сделал глубокий вдох и ответил на вопрос:

— Вполне возможно, что ему не везет с ответами на испытаниях, но уже сейчас он отличный лекарь, спокойный и решительный в трудных обстоятельствах, очень заботливый по отношению к тем, кто страдает от болезней.

Ибн Сину, казалось, такой ответ обрадовал:

— Ну, а теперь отправляйся в Райский дворец и доложи обо всем Ала-шаху. Царю не терпится узнать подробности того, как сельджуки осаждали Шираз.

* * *

Зима шла к концу, но еще держалась, и во дворце было холодно. Тяжелые сапоги Хуфа стучали по каменным плитам темных коридоров, Роб следовал за ним.

Ала-шах восседал за огромным столом в одиночестве.

— Явился Иессей бен Беньямин, о великий повелитель, — доложил Хуф, шагнул в сторону, и Роб простерся ниц перед шахом.

— Можешь посидеть со мной, зимми. Только натяни скатерть на колени, — распорядился шах. Роб подчинился, и его ожидал приятный сюрприз: под столом на полу была решетка, через нее проходил приятный теплый воздух, нагретый жаровнями на нижнем этаже.

Роб знал, что на повелителя нельзя смотреть ни слишком долго, ни слишком пристально, однако уже успел заметить, что на базарах не зря болтают о распутстве шаха, который совсем не знает удержу. Глаза Ала ад-Даулы горели волчьим огнем, а щеки на тонком, орлином лице обвисли — несомненно, в результате частого неумеренного употребления вина.

Перед шахом на столе лежала доска, разделенная на чередующиеся темные и светлые квадраты и уставленная костяными фигурками искусной резьбы. Рядом стояли кувшин вина и чаши. Ала-шах наполнил обе чаши, быстро осушил свою.

— Пей, пей, ты сейчас станешь у меня веселым евреем. — Красные глаза шаха смотрели

на Роба повелительно.

— Я покорно прошу великодушного позволения не пить. Меня вино не веселит, о великий повелитель, меня оно делает мрачным и драчливым, а потому мне не дано наслаждаться им, как дано людям более счастливым.

Теперь он завладел вниманием шаха.

— А я вот после него просыпаюсь каждое утро с сильной болью за глазами, и руки у меня дрожат. Ты же лекарь — скажи, как от этого лечиться?

— Пить меньше вина, о пресветлый государь, и больше ездить верхом по свежему и чистому воздуху Персии.

Острые глаза впелись в его лицо, выискивая дерзкую насмешку, но не нашли ее.

— Тогда, зимми, ты должен сопровождать меня в поездках.

— Как прикажет великий повелитель.

Ала махнул рукой, показывая, что с этим все ясно.

— Давай теперь поговорим о сельджуках в Ширазе. Поведай мне все без утайки.

Роб старательно, в подробностях припоминал все, что ему было известно о вторгшемся в Аншан войске. Шах слушал внимательно. Наконец он кивнул:

— Наши враги, живущие к северо-западу, окружили нас и стремятся закрепиться на юго-востоке нашего государства. Если бы им удалось захватить и удержать Аншан, то Исфаган стал бы лакомой добычей, зажатой между хищными челюстями сельджуков. — Он хлопнул по столу ладонью. — Да будет вовеки благословен Аллах, пославший на них чуму! Теперь, когда они появятся снова, мы будем готовы их встретить.

Шах передвинул большую доску с квадратами так, что она оказалась между ним и Робом.

— Тебе знакома эта игра?

— Нет, государь.

— А мы ею занимаемся издревле. Когда проигрываешь, это называется *шахтранг*, то есть «страдания царя». Но чаще ее называют «шахской игрой», ибо она связана с искусством войны. — Ала довольно улыбнулся. — Я научу тебя игре царей, зимми.

Он протянул Робу одну из фигурок слонов и дал ощутить ее удивительную гладкость.

— Они вырезаны из слоновьего бивня. Видишь, набор фигур у нас обоих одинаковый. Царь стоит в центре, рядом — его верный спутник, полководец. По обе стороны от них стоят слоны, отбрасывая к ступеням трона приятные тени цвета индиго. За слонами стоят два верблюда, а верхом на них — закаленные в боях воины. Затем идут кони с всадниками, всегда готовые устремиться в битву. На каждом же конце боевого построения *рух*, то есть воин, подносит ко рту сложенные ковшиком руки — он пьет кровь врагов. В передней линии идут пешие воины, чей долг — помогать в бою остальным силам. Если пехотинцу удастся прорваться на другой край поля битвы, такой герой помещается рядом с шахом, подобно полководцу.

Храбрый полководец во время сражения никогда не отдаляется от царя больше, чем на одну клетку. Могучие слоны могут двигаться сразу на три клетки вперед и видеть поле битвы на полчаса пешей ходьбы. Верблюд, сопя и топя копытами, тоже перескакивает на три клетки — вот так и так. Кони перескакивают на три клетки, но одну обязательно пропускают. И во все стороны могут парить несущие смерть *рухи*, пересекая все поле битвы.

Храбрый полководец во время сражения никогда не отдаляется от царя больше, чем на одну клетку. Могучие слоны могут двигаться сразу на три клетки вперед и видеть поле битвы

на полчаса пешей ходьбы. Верблюд, сопя и топая копытами, тоже перескакивает на три клетки — вот так и так. Кони перескакивают на три клетки, но одну обязательно пропускают. И во все стороны могут парить несущие смерть *рухи*, пересекая все поле битвы.

Каждая фигура движется в пределах своих возможностей, Делая один положенный ей ход, ни больше, ни меньше. Если в бою кто-либо приближается к царю, то громко восклицает: «Уступи дорогу, о шах!», — и тогда царь должен перейти со своей клетки на другую. Если силы противника: царь, конь, рух, полководец, слон или же пехотинцы, — заступают ему дорогу, то он должен осмотреться на все четыре стороны, вглядываясь во все. И коль случится ему увидеть, что войско его опрокинуто и рассеяно, дорогу к отступлению преграждают река или глубокий ров, а враг стоит слева и справа, впереди и позади, то царь умрет от голода и жажды, ибо такую судьбу уготовили вечно кружащиеся небеса тому, кто в войне потерпел поражение. — Ала налил себе еще вина, осушил чашу и, насупившись, поглядел на Роба. — Ты все понял?

— Кажется, понял, государь, — осторожно ответил тот.

— Тогда сыграем!

Роб допускал ошибки, иной раз двигая фигуру не так, как ей полагалось, и шах каждый раз сердито поправлял его. Игра продолжалась не долго: войска Роба были быстро уничтожены, а его царь захвачен в плен.

— Еще! — приказал довольный Ала-шах.

Вторая партия завершилась почти так же быстро, но теперь Роб уже начинал понимать, что шах предвидит его ходы: шах устраивал засады его войскам и завлекал их в ловушку, как бывает на настоящей войне.

Когда доиграли вторую партию, Ала-шах мановением руки отпустил Роба:

— Искушенный игрок может несколько дней оттягивать свое поражение, — сказал он на прощание, — а кто выигрывает в шахской игре, тот способен править миром. Но ты показал себя неплохо для первого раза. А уж пережить *шахтранг* тебе и вовсе не зазорно — в конце концов, ты всего-навсего еврей.

* * *

Как приятно было снова очутиться в своем домике в Яхуддиейе, окунуться снова в будни маристана и лекционных залов!

К великому удовольствию Роба, его больше не посылали работать хирургом в тюрьме. Вместо этого им с Мирдином велели поучиться врачеванию переломов под руководством хакима Джалал-уд-Дина. Тощий угрюмый Джалал выглядел типичным представителем высшего круга уважаемых и процветающих исфаганских лекарей. Однако в некоторых отношениях он заметно отличался от других лекарей города.

Так это ты — Иессей Цирюльник-хирург, о котором я столько слышал? — спросил он, когда Роб явился к нему и представился.

— Да, господин лекарь.

— Я не разделяю распространенного пренебрежения к цирюльникам-хирургам. Среди них много воров и мошенников, это правда, но попадают и люди честные и неглупые. Прежде чем сделаться лекарем, я принадлежал к другой профессии, презираемой персидскими медиками — я был странствующим костоправом. И теперь, сделавшись

хакимом, я остался тем же самым человеком, что и прежде. Но тебе, пусть я и не презираю тебя как цирюльника, придется много потрудиться, если ты хочешь завоевать мое уважение. А если ты его не заслужишь, европеец, я пинками прогоню тебя с моей службы.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

И Робу, и Мирдину нравилось много трудиться. Джалал славился как мастер лечить кости, он изобрел немало шин с подкладками и всевозможных приспособлений для растяжки. Он показывал ученикам, как пользоваться кончиками пальцев, словно глазами, способными проникнуть сквозь покров усеянной кровоподтеками и разможенной плоти. Так можно наглядно представить себе характер повреждений и определить наилучшую тактику лечения. Особое мастерство Джалал являл, когда нужно было сложить в единое целое мозаику отщепленных кусочков кости и поместить их туда, где природа сама поможет им срастись, снова стать одной костью.

— Похоже, у него необычайный интерес к преступлениям, — сказал вполголоса Мирдин, когда они всего несколько дней проработали ассистентами у Джамала. Мирдин говорил правду, Роб и сам заметил, как пространно лекарь рассуждал об одном убийце, который на этой самой неделе покаялся в своих грехах перед судом имама Кандраси.

Некий Фахр-и-Айн, пастух, сознался, что два года тому назад он принудил к содомскому греху, а затем убил своего товарища-пастуха, именем Кифти аль-Улла, труп жертвы закопал же в неглубокой могиле за стенами города. Преступник был осужден и вскоре казнен четвертованием.

Прошло несколько дней, Роб и Мирдин явились к своему наставнику, и Джалал сообщил им, что сегодня останки жертвы будут извлечены из временной могилы и похоронены на кладбище. Молитвы добрых мусульман могут теперь сделать так что его душа попадет в рай.

— Идемте, — позвал учеников Джалал. — Такая возможность предоставляется нечасто. Сегодня мы поработаем гробокопателями.

Он не сказал им, кого именно сумел подкупить, но вскоре и оба ученика, и сам лекарь, ведя в поводу груженого мула, сопровождаемые муллой и стражником калантара, подошли к уединенному холму — на него указал властям ныне покойный Фахр-и-Айн.

— Осторожно! — предупредил Джалал, когда ученики взяли за заступы.

Наконец, они дошли до костей руки, а вскоре открыли и весь скелет, разложив кости Кифти аль-Уллы на приготовленном одеяле.

— Пора нам перекусить, — объявил Джалал и повел осла в тень подальше от могилы. В мешке, который вез ослик, обнаружили жареная птица, обильная порция плова, крупные финики из пустыни, медовые лепешки и кувшин шербета. Стражник и мулла жадно набросились на угощение, Джалал же с учениками предоставили им возможность сытно пообедать, а потом, разумеется, вздремнуть.

Втроем они поспешили назад к скелету. Земля сделала свое дело: кости очистились от плоти, разве что осталось пятно засохшей крови в том месте на груди, куда вошел кинжал Фах-ра. Они все встали на колени, склонились над костями, что-то бормоча и уже не сознавая, что эти останки были когда-то человеком по имени Кифти.

— Обратите внимание на бедро, — сказал им Джалал. — Это самые крупные и самые крепкие кости во всем теле. Разве те-перь не очевидно, отчего так нелегко вылечить перелом, если он происходит в костях бедра?

Посчитайте ребра, их двенадцать пар. Видите, они образуют клетку? И она защищает

сердце и легкие, разве не удивительно?

«Изучать кости человека — совсем не то же, что изучать овечьи», — подумал Роб. Но этим вопрос не исчерпывался.

— А приходилось вам видеть сердце и легкие человека? — спросил он Джалала.

— Нет. Но Гален утверждает, что они очень похожи на свиные. А свиные мы все видели.

— А вдруг они не так похожи?

— Похожи, похожи, — сердито отозвался Джалал. — Давайте не будем упускать такую замечательную возможность поучиться, ибо скоро те двое возвратятся. Заметили, как верхние семь пар ребер прикрепляются к груди гибким соединительным материалом?

Три следующие соединены общей тканью, а две нижние пары вообще не соединяются с передней частью тела. Ну, разве Аллах (велика его мощь!) не самый премудрый изобретатель, а, зимми? Разве не чудесна та основа, на которой соорудил Он тело созданных им людей?

Так, сидя на корточках под палящими лучами солнца, они устроили пир знаний, проходя урок анатомии на останках убитого человека.

* * *

Позднее Роб с Мирдином долго отмокали в банях медресе, смывая с себя память о кладбище и разминая мышцы, затекшие от непривычного труда могильщиков. Здесь-то и отыскал их Карим, и Роб по лицу друга сразу догадался, что что-то стряслось.

— Меня должны подвергнуть повторному испытанию.

— Но ведь ты сам об этом мечтал!

Карим бросил взгляд на двух преподавателей, которые беседовали в дальнем конце бани, и понизил голос.

— Я просто боюсь. Я уж почти потерял надежду на повторные испытания. Ведь для меня это уже в третий раз, и если я снова провалюсь — все, тогда конец всему. — Он хмуро посмотрел на друзей. — А так я хоть лекарским помощником работаю.

— Это испытание ты пройдешь играючи, — подбодрил его Мирдин.

Карим молча отмахнулся от его легкомысленного тона.

— Вопросов по медицине я не боюсь, меня беспокоят вопросы по философии и праву.

— А когда испытание? — поинтересовался Роб.

— Через шесть недель.

— Значит, у нас есть еще время в запасе.

— Я займусь с тобой философией, — ненавязчиво поддержал Мирдин. — А правом займешься с Иессеем.

Роб про себя заворчал, он вовсе не считал себя знатоком законов. Но ведь они с Каримом вместе прошли через эпидемию чумы, да и в детстве пережили схожие трагедии. Значит, надо помочь.

— Сегодня вечером и начнем, — сказал Роб и потянулся за полотенцем.

— Я никогда не слыхивал, чтобы тот, кто проучился целых семь лет, получил потом звание лекаря, — честно признался Карим, не скрывая от друзей охватившего его страха. Это была уже новая ступень взаимного доверия.

- Ты пройдешь испытание успешно, — твердо сказал Мирдин, а Роб согласно кивнул.
- У меня нет другого выхода, — откликнулся Карим.

Вот уже две недели подряд Ибн Сина приглашал Роба к обеду.

— Ух ты, у нашего Учителя появился любимчик! — поддевал Роба Мирдин, однако в его улыбке сквозила не зависть, а гордость.

— Хорошо, что он проявляет такой интерес к Робу, — рассудил Карим. — Аль-Джуджани пользовался покровительством Ибн Сины с той поры, когда они оба были еще молоды, и аль-Джуджани стал великим врачом.

Роб хмурился — ему даже с товарищами не хотелось делиться тем, что он испытывал. Невозможно было описать словами, что значит в продолжение целого вечера быть единственным слушателем мудреца Ибн Сины. Однажды они посвятили вечер беседе о небесных телах — собственно, говорил Ибн Сина, а Роб слушал. В другой вечер Ибн Сина много часов подряд рассуждал об идеях греческих философов. Он знал очень много и излагал мысли без малейшего усилия!

Робу, в противоположность Ибн Сине, приходилось старательно готовиться к каждому занятию с Каримом. Он уже решил, что эти шесть недель не станет посещать никаких иных лекций, кроме законовения, а в Доме мудрости взял несколько книг по праву и судопроизводству. Натаскивать Карима в области права отнюдь не значило совершать бескорыстное благодеяние со стороны Роба, он ведь и сам до сих пор этой областью наук пренебрегал. И, помогая Кариму, он сам готовился к тому дню, когда наступит его черед мучиться на испытаниях.

В исламе существуют две ветви права: *фикх*, или теория права, и *гиариат* ^[161], то есть божественные законы, открытые человеку Аллахом. Если добавить к этому еще и *сунну* ^[162] — истину и справедливость, явленные на примере жизни и изречений Пророка Мухаммеда, — то в результате получалась многогранная и исключительно разветвленная система знаний, перед которой может опустить руки любой адепт науки.

Карим честно пытался все это постичь, однако видно было, чего ему стоят эти попытки. — Здесь слишком много всего, — жаловался он. Его напряжение очень бросалось в глаза. Впервые за семь лет (исключая только то время, когда они в Ширазе боролись с эпидемией чумы) он не ходил в маристан каждый день, а без ежедневного ухода за больными, как он сам признавался Робу, Карим чувствовал себя не в своей тарелке.

Каждое утро, прежде чем заниматься правом с Робом, а потом философией с Мирдином, Карим, едва небо начинало сереть, отправлялся на пробежки. Однажды Роб попытался составить ему компанию, но быстро отстал: Карим мчался вперед так, словно пытался убежать от собственных страхов. Несколько раз Роб настигал его, оседлав своего гнедого мерина. Карим проносился по просыпающемуся городу, мимо усмехающихся часовых у главных ворот, затем по мосту через Реку Жизни, а дальше бежал по полям и лугам. Робу казалось, что он вообще бежит, не разбирая дороги, ничего не соображая. Только мелькали пятки да ритмично поднимались и опускались ноги, что не требовало напряжения мысли, убаюкивало, успокаивало Карима, словно настоль *хюинг*, сонной травы, — его давали в маристане безнадежным больным, которых мучили сильные боли. Роба тревожило, что его друг ежедневно расходует так много сил.

— Эти пробежки отнимают у Карима уйму сил, — жаловался он Мирдину, — а ему

надо сохранить энергию для учебы.

— Ты не прав, — сказал на это умница Мирдин, сморщив нос и потрогав свою лошадиную челюсть. — Если он не будет бегать, то, я думаю, не сможет справиться с большими нагрузками на разум. — Робу хватило мудрости не спорить, потому что он не сомневался: здравый смысл Мирдина ничуть не уступает его учености.

* * *

Однажды утром Роба позвали к Ибн Сине. Верхом на гнедом он ехал по улице Тысячи Садов, пока не добрался до пыльного переулка, ведущего к роскошному особняку Учителя. Привратник принял повод коня, а когда Роб дошел до каменной двери. Ибн Сина уже ждал его.

— Заболела моя жена. Я был бы благодарен, если бы ты осмотрел ее.

Роб поклонился, недоумевая — у Ибн Сины с избытком хватало опытных и знаменитых коллег, которые были бы только польщены, если бы он поручил свою жену их заботам. Все же он безропотно последовал за Учителем к лестнице, напоминавшей раковину улитки изнутри, и оказался в северной башне.

На циновке лежала старуха, чей затуманенный взор не заметил их. Ибн Сина опустился на колени рядом с ней.

— Реза, — позвал он негромко.

Губы у старухи были сухие, растрескавшиеся. Муж смочил небольшую тряпицу в розовой воде и промокнул ей губы и все лицо. Ибн Сина накопил за свою жизнь огромный опыт, как устроить больного поудобнее, облегчить страдания, однако ни чистые, только что надетые одежды, ни ароматные струйки дыма, вытекавшие из курильниц с ладаном, не могли заглушить тяжелый запах, порожденный болезнью.

Кости, казалось, вот-вот прорвут прозрачную кожу. Лицо больной было восковым, редкие волосы — совсем седыми. Да, ее муж — величайший на свете врачеватель, но сама она была старухой, умиравшей от болезни костей. На туго обтянутых кожей руках и нижней части ног виднелись бубоны, стопы и щиколотки распухли от скопившейся в них жидкости. Правое бедро сильно увеличилось в размерах, и Роб не сомневался: если бы можно было приподнять ее покрывало, то обнаружилось бы много опухолевых новообразований, поразивших внешние части ее тела, как поразили они кишечник — последнее он понял по запаху.

Но Ибн Сина, ясно, позвал его не затем, чтобы подтвердить очевидный и страшный диагноз. Теперь Роб сообразил, что от него требуется. Он взял обе хрупкие, высохшие руки больной в свои и ласково заговорил с ней. Подержал их дольше, чем ему требовалось, заглянул в глаза, на миг прояснившиеся.

— Дауд? — прошептала она, крепче сжимая руки Роба.

— Так звали ее брата, давно умершего, — сказал Ибн Сина в ответ на вопросительный взгляд Роба.

Глаза больной вновь затуманились, пальцы, сжимавшие руки Роба, ослабли. Роб бережно положил ее руки на циновку, и они с Учителем вышли из башни.

— Сколько ей осталось?

— Не много, хаким-баша [\[163\]](#). Думаю, всего несколько дней. — Роб чувствовал себя

очень неловко: муж больной был намного старше годами и выше по положению, утешать его было бессмысленно. — Неужто ей совсем ничем невозможно помочь?

— Мне осталось только, — Ибн Сина скривил рот в горькой усмешке, — доказывать свою любовь к ней все более и более крепкими настояями. — Он проводил ученика до дверей, поблагодарил и возвратился назад, к умирающей жене.

— Господин! — окликнул Роба чей-то голос. Обернувшись, он увидел громадного евнуха, охранявшего вторую жену. — Будь так любезен, ступай за мной.

Они прошли через дверь в стене сада, такую маленькую, что обоим пришлось согнуться, и оказались в другом саду, примыкавшем к южной башне.

— А в чем дело-то? — грубовато поинтересовался Роб.

Евнух не ответил. Что-то наверху привлекло внимание Роба, и он поднял глаза. Сквозь маленькое окошко на него смотрело закутанное в покрывало лицо. Глаза их встретились, потом женщина отвела взгляд, взметнулись покрывала, и окошко опустело.

Роб обернулся к рабу. Евнух слегка улыбнулся и пожал плечами:

— Она велела мне привести тебя сюда, господин. Очень хотела посмотреть.

* * *

Возможно, в ту ночь она и приснилась бы Робу, да только времени у него не было. Он зубрил законы о владении имуществом, и когда лампа уже почти догорела, услышал, как по улице цокают копыта, потом замирают вроде бы у его порога.

Раздался стук в дверь. Роб подумал о грабителях и потянулся за мечом. Для гостей время слишком позднее.

— Кто там?

— Вазиф, господин.

Никакого Вазифа Роб не знал, но голос показался ему знакомым. Не опуская меча, он отворил дверь и увидел, что не ошибся. Перед ним, держа в поводу осла, стоял тот самый евнух.

— Тебя прислал хаким?

— Нет, господин. Она прислала меня, ибо желает, чтобы ты пришел.

Роб не знал, что ответить. Вышколенный евнух не посмел улыбнуться, но в его печальных глазах, от которых не укрылось замешательство зимми, вспыхнули искорки.

— Подожди, — грубо бросил ему Роб, захлопывая дверь.

Наскоро ополоснув лицо, он вышел за порог, вскочил на неоседланного гнедого и поехал по темным улицам вслед за громадным рабом, который босыми пятками вспахивал уличную пыль, возвышаясь на несчастном ослике. Они миновали один за другим дома, где жители мирно спали, свернули в переулок, где пыль была гуще и заглушала топот копыт, затем выехали в поле, примыкавшее к стене особняка Ибн Сины.

Через ворота в стене добрались до двери южной башни. Евнух отворил эту дверь и склонился, показывая, что дальше Роб пойдет один.

Все происходило почти так, как в посещавших его сто раз мечтах, когда он лежал в одиночестве и не было кому утолить его страсть. Темный каменный переход был близнецом лестницы в северной башне, он завивался подобно гигантской морской раковине, а вынырнув из него наверху, Роб очутился в гареме.

Горел светильник, и Роб увидел, что на устланной подушками циновке его ожидает она, персиянка, приготовившаяся к ночи любви. Ладони, стопы ног и лобок накрашены хной и блестят от масла. Груды его разочаровали — они были чуть больше, чем у мальчиков.

Роб снял покрывало с ее лица.

Волосы черные, также обильно смазанные маслом и туго обернутые косами вокруг головы. По пути он воображал себе запретные черты царицы Савской или Клеопатры, но с удивлением обнаружил вместо того очень привлекательную юную женщину с дрожащими губами, которые она непрестанно облизывала розовым язычком. Лицо, напоминавшее по форме сердечко, очень красивое, милое, с остреньким подбородком и коротким прямым носом. В тонкую правую ноздрю было продето маленькое металлическое кольцо — как раз такое, что туда мог пройти мизинец Роба.

Роб уже достаточно долго прожил в этой стране, и вид открытого женского лица волновал его кровь сильнее, чем выбритое тело.

— А почему тебя называют Деспиной Безобразной?

— Так распорядился Ибн Сина. Чтобы меня не сглазили, — объяснила она, пока Роб устраивался на циновке рядом с нею.

* * *

Наутро Роб с Каримом снова занялись фикхом, на этот раз законами о браке и разводе.

— Кто определяет условия брака?

— Брачный контракт составляет муж и представляет его жене, он же вписывает в контракт и *махр*, размер приданого.

— Сколько требуется свидетелей?

— Не знаю. Два, кажется?

— Верно, два. У кого в гареме больше прав — у второй жены или у четвертой?

— Права у всех жен одинаковы.

Они обратились к законам о разводе и его основаниям: бездетность, сварливый нрав, супружеская неверность.

По шариату за неверность полагалось побивать камнями, однако еще два столетия назад этот закон перестали применять. Все же уличенную в неверности жену человека богатого и знатного могли и ныне казнить обезглавливанием у калантара в тюрьме, но жен бедняков чаще всего жестоко секли палка

ми, и затем муж мог развестись с такой женой, а мог и не разводиться, как сам пожелает.

Шариат шел у Карима легче — он ведь воспитывался в семье правоверных и знал правила благочестия. Загвоздка была в фик-хе. Законов было так много, регламентировали они такое количество разных вопросов, что запомнить их все было просто невозможно, это Карим понимал. Роб поразмыслил над этим.

— Если ты не можешь вспомнить точную формулировку из фикха, тогда обратись к шариату или сунне. Ведь все законы основаны на проповедях и писаниях [\[164\]](#) Мухаммеда. Значит, если ты не знаешь законоположения, обратись к религии или к жизни Пророка — возможно, преподавателей это удовлетворит. — Роб вздохнул. — По крайней мере стоит попробовать. А пока станем молиться и пытаться запомнить из фикха столько законов,

сколько удастся.

На следующий день Роб в больнице сопровождал аль-Джузджани по всем комнатам и остановился вместе со всеми у циновки, на которой лежал худой маленький мальчик, именем Билал. Рядом с ним сидел крестьянин с покорным, терпеливым взглядом.

— Рези, — заметил аль-Джузджани. — Вот вам пример того, как рези в животе высасывают душу. Сколько ему лет?

Крестьянин, и испуганный, и польщенный тем, что к нему обратились, ответил, склонив голову:

— Ему пошла девятая весна, благородный господин.

— Давно ли болен?

— Две недели. От такой же боли в боку умерли два его дяди и мой отец. Боль страшная. Приходит и утихает, потом снова. Но три дня назад боль пришла и больше не уходит.

Служитель робко обратился к аль-Джузджани, желая, без сомнения, чтобы они побыстрее закончили с мальчиком и продолжили обход. Он доложил, что кормят ребенка только шербетами из сладких фруктов.

— Все остальное, что бы он ни проглотил, тут же исторгает, тем или иным путем.

Аль-Джузджани кивнул.

— Осмотри его, Иессей.

Роб стащил с мальчика одеяло. Под подбородком у Билала был шрам, давно уже заживший и никак не связанный с нынешним заболеванием. Роб положил руку на исхудавшую щечку мальчика, Билал попытался пошевелиться, но ему не хватило на это сил. Роб похлопал его по плечу:

— Горячий.

Медленно прощупал пальцами все тело. Когда дошел до живота, мальчик вскрикнул от боли.

— Низ живота мягкий слева, но очень твердый справа.

— Это Аллах хотел защитить больное место, — отозвался аль-Джузджани.

Роб как можно осторожнее прошелся пальцами по животу, определив границы больного участка — от пупка через всю правую половину живота — и жалея, что каждым касанием причиняет ребенку боль. Потом повернул Билала, и все увидели, что задний проход красный и воспаленный.

Накрыв мальчика одеялом, Роб взял его маленькие руки в свои и услышал, как Черный Рыцарь снова хохочет над ним.

— Он умрет, о благородный господин?

— Да, — ответил Роб, и крестьянин молча кивнул.

Никто не улыбнулся, когда он высказал свое мнение. С тех пор как они вернулись из Шираза, Карим и Мирдин рассказывали кое о чем другим, и их рассказы передавались из уст в уста. Роб заметил, что никто уже не позволял себе насмеяться над ним, если он осмеливался предсказать чью-то смерть.

— Элий Корнелий Цельс описал боль в боку в своих трудах, кои необходимо прочитать, — наставительно произнес хаким аль-Джузджани и перешел к следующей циновке.

Когда завершился осмотр последнего пациента, Роб отправился в Дом мудрости и попросил библиотекаря Юсуфа аль-Джамала помочь отыскать, что писал римлянин о боли в боку. Он был восхищен, когда узнал, что Цельс вскрывал мертвецов, дабы продвинуться в своих познаниях. И все же об этом конкретном заболевании известно было не так уж много.

Цельс описал его как расстройство толстого кишечника в области слепой кишки, сопровождающееся бурным воспалением и острой болью в правой части живота.

Роб, дочитав до конца, пошел снова туда, где лежал Билал. Отец уже ушел. Над мальчиком навис, как огромный ворон, суровый мулла, читавший стихи из Корана, а Билал тем временем сердито рассматривал его черные одежды.

Роб так передвинул циновку, чтобы мальчик не видел муллу. На низком столике служитель оставил три круглых, как шары, персидских граната — их полагалось съесть на ужин. Роб взял их и стал подбрасывать по одному, пока они не образовали непрерывный круг — из одной руки в другую через голову. Вспомним доброе старое время, Билал. Роб давно уже не жонглировал, отвык, но всего с тремя гранатами он справлялся без труда и теперь. Он даже проделывал с гранатами всякие хитрости.

У мальчика глаза от восхищения стали такими же круглыми, как гранаты.

— Чего нам не хватает? Напева!

Персидских песен он не знал, а требовалось что-нибудь бодрое. И из уст Роба вырвалась старая непристойная песенка, которую некогда напевал Цирюльник:

Взглядом ты меня раз приласкала,
Нежно руками потом обнимала,
Буду тебя я вертеть, тормошить,
Поздно, милашка, пощады просить.

Не очень-то уместная песенка у постели умирающего мальчика, но суровый мулла, недоверчиво взиравший на выходки Роба, своими молитвами придавал торжественность моменту, а Роб вносил нотку жизнерадостности. К тому же слов все равно никто здесь не понимал, так что о нарушении приличий и речи не было. Он долго развлекал Билала, как умел, а потом по телу мальчика прошла последняя судорога, заставив его выгнуться дугой. Роб, все еще напевая, увидел, как гаснет биение жилки на шее.

Он закрыл Билалу глаза, вытер ему нос, распрямил выгнувшееся тело и обмыл его. Потом причесал мальчика и аккуратно подвязал тряпицей нижнюю челюсть.

Мулла по-прежнему сидел со скрещенными ногами, нараспев читая Коран. Глаза его метали молнии — он мог молиться и испытывать ненависть одновременно. Он, конечно же, подаст жалобу на зимми, который совершал святотатство, но из этой жалобы, сказал себе Роб, не будет видно, что перед самой смертью Билал улыбнулся.

* * *

Четыре ночи в неделю евнух Вазиф приезжал за Робом, и тот до раннего утра гостил в башне гарема.

Они давали друг другу уроки языка.

— Это пенис.

— Нет, — смеялась она. — У тебя *лингам*. А это моя *йони*.

Она утверждала, что они отлично подходят друг другу.

— Мужчина подобен либо зайцу, либо быку, либо коню. Ты подобен быку. Женщина же

подобна либо лани, либо кобыле, либо слонихе. Я подобна лани, и это хорошо. Трудновато было бы зайцу доставить удовольствие слонихе, — вполне серьезно рассуждала она.

Она учила его, он учился, будто снова вернулся в детство, когда еще ничего не знал о любви. Она проделывала такое, что Роб видел только на картинках в книге, купленной на майдане, и кое-что такое, чего в той книге не было. Она показала ему *киширанираку*, «объятия молока и воды», любимую позу супруги индусского бога Индры. И *аупариштаку*, слияние ртов.

Поначалу Роб был заинтригован и получал большое удовольствие, когда они проходили одну новую позу за другой: «поворот кругом», «стук в дверь», «радости кузнеца». Он, правда, рассердился, когда она попыталась научить его, какие звуки приличествует издавать в финале вместо его обычного рычания: лучше восклицать «сут!» или «плат!».

— Вы что же, не способны просто отдаваться наслаждению, предаваться любви, как все люди? Все время думать, что надо сказать, — это еще хуже, чем зубрить фикх!

— Ну, когда выучишь, тогда и удовольствия почувствуешь больше, — ответила она с обидой. Роба не тронул упрек, прозвучавший в ее тоне. Кроме того, он решил, что ему больше нравится, когда женщина помнит свое место.

— А старика тебе, значит, не хватает?

— Когда-то хватало, даже с избытком. Его любовная сила была удивительно велика. Он обожал и выпивку, и женщин, а когда случалось настроение, он и со змеей справлялся. С *самкой* змеи, — уточнила Деспина, улыбнулась, а в глазах блестели слезы. — Но вот уже два года, как он не ложится со мною. Перестал, когда тяжело заболела она.

Деспина поведала, что всю свою жизнь принадлежала Ибн Сине. Ее родители были оба рабами Ибн Сины: мать индианка, а отец перс, доверенный слуга в течение многих лет. Мать умерла, когда Деспине было шесть лет. А после смерти отца, когда ей исполнилось двенадцать, старый лекарь женился на ней, но так и не освободил из рабства.

Роб потрогал пальцем колечко в носу, символ ее рабского положения.

— Почему же не освободил?

— Потому что так я под двойной защитой — и как вторая жена, и как его собственность.

— А что, если он сейчас придет? — Роб подумал о том, что сюда ведет единственная лестница.

— Внизу стоит Вазиф, он его отвлечет. К тому же мой супруг сидит у ложа Резы и не выпускает ее руку.

Роб посмотрел на Деспину, кивнул и ощутил, как в нем исподволь проросло чувство вины. Ему нравилась эта маленькая красивая женщина с оливковой кожей, крошечными грудями, круглым животиком и жаркими губами. Ему было жаль ее, заключенную в этой тюрьме со всеми удобствами. Он знал уже порядки в мусульманских странах и понимал, что она почти всегда заперта в пределах дома и сада, а потому ни в чем ее не винил. Но он успел крепко полюбить старика в потрепанной одежде, с большим носом и поразительным умом.

— Я останусь твоим другом. — Роб поднялся и стал одеваться.

Она была далеко не глупышкой и с любопытством за ним наблюдала.

— Ты же проводил здесь почти каждую ночь, наполнял меня до краев. Если я пришлю Вазифа через две недели, ты придешь.

Роб поцеловал ее в нос чуть повыше кольца. А потом ехал на гнедом домой и все

размышлял, не сваял ли дурака.

Прошло одиннадцать ночей, и Вазиф постучал в его дверь.

Деспина почти угадала — искушение было слишком велико, его так и подмывало кивнуть в ответ. Прежний Роб Джереми поспешил бы закрепить свой успех, чтобы потом до конца дней хвастать гулякам во всех тавернах, как он хаживал к молодой женошке, пока ее муженек-старичок сидел дома, но в другой комнате.

Роб покачал головой.

— Передай ей, что я больше не смогу приходить.

Глаза Вазифа блеснули под огромными, выкрашенными в черный цвет веками, он усмехнулся и наградил робкого еврея презрительным взглядом. Потом погнал ослика назад.

* * *

Реза Благочестивая умерла на третье утро после этого происшествия, когда муэдзины во всем городе сзывали правоверных на Первую молитву — человеку благочестивому и пристало окончить земную жизнь в такое время. В медресе и в маристане все говорили о том, как Ибн Сина своими руками готовил тело жены к погребению, и о самих похоронах, очень скромных — супруг позвал на них лишь нескольких мулл, возносивших молитвы. Ни в школе, ни в больнице Ибн Сина не появлялся, и никто не знал, где он.

Через неделю после смерти Резы, вечером, Роб увидел на майдане аль-Джуджани, который предавался винопитию.

— Присядь, зимми, — позвал его аль-Джуджани и махнул рукой подавальщику, чтобы принес еще вина.

— Хаким, а что с главным врачом?

— Он считает, — ответил преподаватель, словно не расслышав вопроса, — что ты не такой, как другие. Что ты отличаешься от всех остальных учащихся, — сказал он недовольным голосом.

Не будь Роб всего лишь учащимся медресе, не будь аль-Джуджани великим аль-Джуджани, Роб решил бы, что собеседник ему завидует.

— Ну, а если ты не такой уж особенный, зимми, то не станешь сбрасывать со счетов и меня. — Аль-Джуджани не сводил с него взгляда блестящих глаз, и Роб быстро сообразил, что почтенный хирург сильно пьян. Принесли вино, и оба они погрузились в молчание.

— Мне было всего семнадцать, когда мы повстречались в Гургандже [\[165\]](#). Ибн Сина не намного старше меня, но великий Аллах! — смотреть на него было все равно, что прямо на солнце. Мой отец заключил договор: Ибн Сина станет учить меня медицине, я же буду у него слугой за все. — Аль-Джуджани машинально отхлебнул еще вина. — Я заботился о нем. Он учил меня математике по «Альмагесту» вместо обычного учебника. И я записал под его диктовку несколько книг, в том числе первую часть «Канона врачебной науки» [\[166\]](#), по пятьдесят страниц сразу, в те золотые дни.

Когда он уехал из Гурганджа, я последовал за ним, и мы побывали во многих местах. В Хамадане тамошний эмир сделал его своим визирем, но тут взбунтовалось войско, Ибн Сина оказался за решеткой. Поначалу его собирались убить, но, в конце концов, выпустили на свободу. Ему всегда везло, сукину сыну!

Потом эмир стал мучиться от колик в животе, и Ибн Сина вылечил его. Эмир вторично

назначил его визирем!

Я всегда был рядом с ним, будь он лекарем, узником или визирем. Он стал мне не только хозяином, но и другом. Каждый вечер у него в доме собирались ученики, я читал вслух, по очереди с другими, главы из его труда «Врачевание», а кто-нибудь другой читал «Канон». Реза неизменно заботилась о том, чтобы мы ели сытно и вкусно. Закончив с уроками, мы пили вино, оно лилось рекой, а потом уходили и отыскивали себе женщин. Он из всей компании был самым веселым, а работал играючи. Ах, какие ему доставались девки — загляденье, да еще и в великом множестве! Наверное, он и ублажал их замечательно — ведь и все остальное он делал лучше, чем большинство других. Реза обо всем этом знала, но она сильно любила его, несмотря ни на что.

А теперь, — аль-Джуджани отвел взгляд, — она лежит в могиле, а он чахнет от тоски. Даже старых друзей прогоняет, бродит в одиночестве по всему городу и раздает милостыню нищим.

— Хаким... — мягко обратился к нему Роб.

Аль-Джуджани вопросительно посмотрел на него.

— Проводить вас домой, хаким?

— Чужеземец! Я хочу, чтобы ты ушел.

Роб кивнул, поблагодарил его за угощение и пошел своей дорогой.

* * *

Роб выждал еще неделю, а потом поехал к Ибн Сине среди бела дня. Бросил поводья коня привратнику.

Ибн Сина сидел в одиночестве. В его глазах была умиротворенность. Роб присел с ним рядом, устроился поудобнее. Они то беседовали, то замолкали.

— Вы уже были лекарем, когда женились на ней, Учитель.

— Я в шестнадцать лет стал хакимом. А поженились мы, когда мне было десять — в тот год я выучил наизусть весь Коран, в тот год занялся изучением целебных трав.

Роб посмотрел на него с удивлением и почтением.

— Когда мне было столько же, я изо всех сил учился, чтобы стать факиром и цирюльником-хирургом. — И он поведал Ибн Сине, как его, мальчишку-сироту, взял к себе в ученики Цирюльник.

— А каким ремеслом занимался твой отец?

— Он был плотником.

— Я слышал о европейских ремесленных цехах. А еще я слышал, — медленно проговорил Ибн Сина, — что в Европе очень мало евреев, и в цеха их не допускают.

«Он все знает», — с отчаянием подумал Роб и только пробормотал: — Ну, иногда кое-кого принимают.

Взгляд Ибн Сины, казалось, пронизывает его насквозь, не причиняя боли. А Роб не мог отделаться от ощущения, даже уверенности, что Учитель разоблачил его.

— Ты так горячо стремишься постичь искусство врачевания, да и все науки.

— Да, Учитель.

Ибн Сина вздохнул, кивнул головой и отвел взгляд от Роба.

Нет, подумал с облегчением Роб, должно быть, он зря испугался — вскоре они

заговорили на другие темы. Ибн Сина стал вспоминать, как еще ребенком впервые увидел Резу.

— Она родом из Бухары, на четыре года старше меня. Наши отцы были оба сборщиками налогов, и они по-дружески договорились о свадьбе, разве что ее дед немного поупрямился: мой отец-де исмаилит, курит гашиш на святой молитве. И все же нас довольно быстро поженили. Всю жизнь она была мне верна- — Старик перевел взгляд снова на Роба. — А в тебе все так же горит огонь. К чему ты стремишься?

— Я хочу стать хорошим лекарем, — ответил Роб и про себя Добавил: «Таким, как ты, единственный и неповторимый». Впрочем, подумал он, Ибн Сина и без того поймет, что он хотел сказать.

— Ты уже сейчас стал целителем. А что до хорошего... — Старик пожал плечами. — Чтобы стать настоящим врачом, ты должен разгадать загадку, на которую нет ответа.

— Каков же вопрос? — спросил Роб, заинтересовавшись.

Но старик лишь печально улыбнулся:

— Возможно, когда-нибудь ты и сам о нем догадаешься. Он входит в загадку.

В день испытания Карима Роб с особой энергией и тщательностью делал все обычные дела, стараясь отвлечься от дум о том, что сейчас происходит в зале торжественных церемоний, который примыкал к Дому мудрости. Он прекрасно понимал, что вскоре такое же испытание предстоит и ему.

Они с Мирдином уговорили доброго библиотекаря Юсуфа аль-Джамала быть их союзником и разведчиком. Юсуф выполнял свои обязанности в библиотеке и мог одновременно наблюдать, что происходит на испытании. За дверью в ожидании свежих новостей дежурил Мирдин, тут же передававший все услышанное Робу.

— Сейчас Саид Сади задает вопросы по философии, — сообщил Мирдину Юсуф и поспешил снова к себе. Что ж, пока неплохо: философ задает трудные вопросы, но он не станет лезть из кожи вон, лишь бы провалить кандидата на звание лекаря.

А потом новости пошли одна хуже другой.

Вопросы по праву будет задавать Надир Бух, не терпящий возражений законовед с бородой лопатой — это он провалил Карима на предыдущем испытании! По богословию спрашивать будет мулла Абу-ль-Бакр, а вопросы по врачебной деятельности станет задавать сам Князь лекарей.

Роб надеялся, что раздел хирургии возьмет на себя Джалал, однако Джалал оставался в больнице, как обычно, ухаживая за больными. Наконец, вбежал Мирдин со свежей новостью: прибыл последний из ученых, проводящих испытания, это Ибн ан-Натели, которого никто из них толком и не знал.

Роб сосредоточился на своей работе: он помогал Джалалу накладывать на вывихнутое плечо пациента растяжку — хитрую систему из переплетения веревок, придуманную самим Джалалом. Больной, один из дворцовых стражей, который пострадал во время игры в поло (его столкнули с седла), застыл после этого, похожий на спутанного со всех сторон пойманного зверя, а глаза у него даже выпучились от внезапного прекращения боли.

— Ну вот, — бодро сказал Джалал. — Теперь ты будешь не одну неделю лежать, а утомительные воинские обязанности пусть несут пока другие. — Он велел Робу дать больному лекарства, способствующие сокращению мышц, и распорядиться, чтобы пациента кормили кислой пищей, пока они не удостоверятся, что у стража не развилось воспаление и нет большого кровоподтека.

Последнее, что Роб сделал — забинтовал плечо полосами ткани, не слишком туго, но достаточно, чтобы ограничить подвижность руки. Закончив с этим, он поспешил в Дом мудрости, где пытался читать Цельса, стараясь в то же время расслышать, что происходит в зале испытаний. Увы, до него доносились лишь неясные отголоски. В конце концов Роб все это бросил и пошел ждать на ступенях школы лекарей. Скоро и Мирдин к нему присоединился.

— Все еще не закончили!

— Надеюсь, не слишком затянут, — отозвался Мирдин. — Карим не тот человек, который сможет выдерживать вопросы слишком долго.

— Ты понимаешь, я не уверен, что он вообще может справиться с любым устным испытанием. Сегодня утром его рвало целый час.

Сидя рядом на ступенях, они поговорили еще о нескольких больных, потом умолкли. Роб сердито фыркнул, Мирдин тяжело вздохнул.

Прошло еще время, показавшееся им неправдоподобно долгим, и Роб, наконец, вскочил на ноги:

— Идет!

Карим направлялся к ним, пробираясь между группками учащихся.

— А по лицу ты можешь сказать, как дела? — поинтересовался Мирдин.

Робу это не удалось, но не успел еще Карим подойти, как до них донесся его зычный голос:

— Эй, ученики, вы должны называть меня «хаким»!

Они опрометью бросились вниз по ступеням.

Все трое обнимались, плясали, шутливо тузили друг друга. Проходивший мимо хаджи Давут Хосейн посмотрел на них и даже побледнел от возмущения: где видано, чтобы учащиеся его медресе вели себя столь неподобающим образом?

А остаток дня и весь вечер они провели так, что это запомнилось им на всю оставшуюся жизнь.

— Идемте ко мне, надо закусить и передохнуть, — сказал Мирдин. Он впервые приглашал их в свой дом. Впервые они приоткрывали друг другу свою личную жизнь.

Мирдин снимал две комнаты в домике рядом с синагогой «Дом Сиона» — в противоположном от Роба конце квартала Яхуддией. Семья у него оказалась на удивление милой: жена Фара, застенчивая, невысокая, черноволосая, с низкими бедрами и спокойным, внимательным взглядом, и щекастые сыновья, Давид и Иссахар, не отпускавшие ни на минуту подол матери. Фара поставила на стол сладкие лепешки и вино — явно заранее готовилась к торжеству. Пропустив по несколько стаканчиков, трое друзей отправились дальше и нашли лавку портного — нужно было пошить для нового хакима положенные его ремеслу черные одежды.

— Таковую ночь надо провести на майдане! — воскликнул Роб. К вечеру они оказались в харчевне, выходящей окнами на огромную городскую площадь. Ели изысканные блюда персидской кухни, снова и снова заказывали вино с ароматом мускуса, хотя Карим в нем вряд ли нуждался: его пьянило новое звание.

Со вниманием повторили снова все вопросы, заданные на испытании, и все ответы на них.

— Ибн Сина задавал очень много вопросов по лекарскому деду. «Каковы, о соискатель, многообразные показатели заболеваний, обнаруживаемые в поте пациентов?.. Очень хорошо, господин Карим, полный и всесторонний ответ... А какие общие симптомы позволяют нам делать выводы о состоянии больного? Давайте теперь обсудим правила гигиены для путника на суше, а затем — для того, кто путешествует по морю». Было очень похоже, что он вполне сознает, насколько я силен в медицине и насколько слаб во всем остальном.

Саид Сади велел мне обсудить с разных сторон идею Платона о том, что все люди стремятся к счастью. Большое спасибо тебе, Мирдин, что этот вопрос мы изучили досконально. Я отвечал подробно, многократно ссылаясь на указания Пророка о том, что счастье — это награда Аллаха человеку за покорность и искренние молитвы. Так одной опасности удалось избежать.

— А что же Надир Бух? — нетерпеливо спросил Роб.

— А, законовед. — Карим даже содрогнулся. — Он попросил рассказать из фикха то, что касается наказания преступников. Я уже ничего не соображал. Поэтому ответил, что всякое наказание основано на том, что писал Пророк Мухаммед (да пребудет над ним благословение Аллаха!). А он говорил, что в этой жизни мы все непосредственно зависим друг от друга, но в конечном итоге можем полагаться на одного Аллаха — и ныне, и всегда. Время отделяет добрые деяния чистых душ от зла, содеянного душами мятежными. Всякий, кто уклоняется с пути истинного, не избегнет наказания, всякий же правоверный будет находиться в полнейшей согласии с Вышней Волей Аллаха, на которой основывается и фикх. Таким образом, душа всецело направляется Аллахом, который и наказывает всех грешников.

— И какой во всем этом *смысл*? — Роб смотрел на друга в полном недоумении.

— Сейчас я уж и сам не скажу. Да и тогда не смог бы объяснить. Я видел, как Надир Бух пережевывает плов моего ответа в напрасных поисках мяса, которого там не было. Он уже открыл было рот, чтобы попросить разъяснений или же задать новые вопросы — а в этом случае я бы пропал, — но тут Ибн Сина попросил меня подробно описать одну из телесных жидкостей, кровь. Я же отвечал его собственными словами, как он сам написал в двух своих трудах по этому вопросу. И больше *никто ни о чем не спрашивал!*

Все трое смеялись до слез, а потом пили еще и еще.

Когда же пить сил не осталось, вышли на улицу, пошатываясь, и остановили запряженную осликом повозку с лилией на дверцах. Роб примостился на козлах рядом со сводником, Мирдин уснул, положив голову на колени толстой девки, именем Лорна, а Карим прислонился головой к ее груди, напевая песни о любви.

Спокойные глаза Фары округлились от тревоги, когда ее мужа наполовину ввели, наполовину внесли в комнату.

— Он болен?

— Напился, как и мы, — объяснил ей Роб, после чего они с Каримом вернулись в повозку. Та доставила их в его домик в Яхуддиейе, и они с Каримом упали на пол, едва переступив порог, и уснули не раздеваясь. Ночью Роба разбудили негромкие повторяющиеся звуки и, прислушавшись, он догадался, что Карим плачет.

На рассвете Роб снова пробудился, на этот раз оттого, что поднялся его гость. Роб застонал. «Не стоило так напиваться», — с опозданием подумал он.

— Извини, что разбудил. Мне надо на пробежку.

— Пробежку? Даже в такое утро, как сегодня? И после такой ночи?

— Мне нужно подготовиться к *чатыру*.

— А что это такое?

— Состязание бегунов. — И Карим выскользнул из дома. «Шлеп-шлеп-шлеп», — послышался и вскоре замер в отдалении звук его быстрых шагов.

Роб лежал на полу и прислушивался к лаю дворовых собак, которым сопровождалось быстрое продвижение только что по-явившегося в мире нового лекаря. Подобно джинну, он вихрем проносился по узким улочкам Яхуддиейе.

— Чатыр — традиционное персидское состязание, оно проводится ежегодно, начиная с глубокой древности, — рассказывал Робу Карим. — И происходит оно на праздник окончания Рамадана, месяца поста. Первоначально — а было это в такую седую старину, что никто уж и не помнит имени царя, первым повелевшего его проводить, — на этом состязании отбирались чатыры, царские гонцы-сороходы. Но прошло много столетий, и за это время в Исфаган стали неизменно стекаться лучшие бегуны Персии, да и других стран, так что состязание само по себе стало праздником.

Маршрут забега начинается от ворот Райского дворца и петляет по улицам Исфагана на расстояние десяти с половиной римских миль [\[167\]](#), завершаясь у ряда столбов во дворе того же дворца. На столбах висят связки стрел, по двенадцать в каждой, и всякому бегуну назначена своя связка. Бегун, достигнув столбов, вынимает из нее стрелу, кладет в колчан на спине, а затем возвращается на новый круг. По традиции забег начинается с призывом к Первой молитве. Нелегко вынести его. Если день выдается жаркий и душный, то победителем объявляют бегуна, сумевшего продержаться дольше всех. Если же погода стоит прохладная, то многим удастся пробежать все двенадцать этапов — 126 римских миль [\[168\]](#), заканчивая бег, как правило, вскоре после окончания Пятой молитвы. Ходят слухи, что в старые времена бегуны показывали время получше, но теперь большинству бегунов требуется приблизительно четырнадцать часов.

— Никто из ныне живущих не упомнит, чтобы бегун завершил состязание меньше, чем за тринадцать часов, — говорил Карим. — Ала-шах объявил: кому удастся уложиться в двенадцать часов или меньше, тот будет пожалован щедрым калаатом. Кроме того, такой победитель получит награду в пятьсот золотых и почетное назначение на должность начальника царских сороходов, а она приносит немалый доход.

— Так ты поэтому выбиваешься из сил, бегаешь всякий день? Думаешь, что сумеешь победить в забеге?

Карим лишь усмехнулся и пожал плечами:

— Выиграть чатыр мечтает каждый бегун. И мне, конечно, хотелось бы выиграть забег и заслужить калаат. Только одно можно считать лучшим, чем быть лекарем — это быть *богатым* лекарем в Исфагане!

* * *

Воздух в городе стал другим — ни холодным, ни жарким, очень влажным. Казалось, он целует кожу Роба, когда тот выходит за порог дома. Все вокруг расцвело, а Река Жизни днем и ночью ревела и бурлила от потоков стаявшего снега. В Лондоне стоял туманный апрель, а в Исфагане шел месяц шабан, мягче и ласковее, чем английский май. Неужоженные абрикосовые деревья в крошечном садике покрылись пышными белыми цветами — поразительная красота! И вот, однажды утром, к дверям Роба подъехал Хуф. Начальник дворцовой стражи забрал Роба с собой, объявив, что шах Ала желает, чтобы он сегодня сопровождал повелителя на верховой прогулке.

Роб с опаской относился к тому, чтобы провести столько времени в обществе капризного шаха с его изменчивым настроением. Но его удивило, что шах до сих пор помнит свое обещание брать его на загородные прогулки.

В конюшнях Райского дворца ему велели подождать. Ждать пришлось долго, но вот появился Ала-шах, сопровождаемый такой многочисленной свитой, что Роб своим глазам не сразу поверил.

— Ну что, зимми?

— Приветствую великого властелина!

Он хотел пасть ниц, но шах нетерпеливо отмахнулся рукой, и они сразу же вскочили на коней.

Поскакали далеко за город, в холмы. Шах сидел на белом чистокровном арабском жеребце, легконогом и удивительно грациозном, который едва не летел, чуть касаясь земли копытами. Роб ехал позади. Немного времени спустя шах перешел на легкий галоп и мановением руки подозвал Роба.

— Ты замечательный лекарь, раз посоветовал такое лечение, Иессей. А то я уж начал задыхаться в ядовитой атмосфере своего двора. Ну, разве же это не удовольствие — быть вдалеке от всех?

— Истинно так, о повелитель.

Прошло несколько мгновений, и Роб украдкой оглянулся. Далеко отстав от них, позади скакал чуть ли не весь двор: Хуф со своими воинами, не спускающими глаз с повелителя, конюшие с запасными скакунами и вьючными лошадьми в поводу, повозки, которые звенели и гремели, продвигаясь по бездорожью.

— А хочешь покататься на более резвом скакуне?

— Щедрость великого государя пропала бы даром, — улыбнулся Роб. — Этот конь, о пресветлый властелин, как раз по моим силам. — Он и вправду уже давно привязался к гнедому мерину.

— Сразу видно, что ты не перс, — хмыкнул шах. — Ни один из моих подданных ни за что не откажется пересесть на лучшего коня. У нас в Персии искусство наездника — самое главное, а младенцы мужского пола появляются на свет с седлом между ног. — И он с силой ударил своего арабского жеребца пятками по бокам. Животное совершило гигантский прыжок, а шах обернулся в седле и спустил тетиву своего невероятного лука; огромная стрела не попала в цель, шах зашелся в хохоте.

— А ты слышал легенду, связанную с этим приемом?

— Нет, государь. Но я видел, как всадники проделывали это на вашем празднике.

— Верно, мы часто так делаем, и кое-кто сумел достичь в этом большого искусства. Называется такой прием парфянским выстрелом. Тысячу сто лет назад парфяне были одним из народов, населяющих нашу страну. Жили они к востоку от Мидии, в их: краю было много крутых высоких гор и вселяющая еще больший страх пустыня, Дешт-и-Кевир.

— Мне знакома эта пустыня. Я пересек часть ее, чтобы попасть в вашу страну.

— Раз так, то ты понимаешь, какими должны быть люди, живущие в тех местах, — сказал Ала, натянув узду своего скакуна и держась рядом с гнедым меринком. — Тогда шла борьба за господство в Риме. Одним из претендентов на власть был стареющий Красс, правивший Сирией. Ему необходима была громкая военная победа, чтобы сравняться доблестью с соперниками, Цезарем и Помпеем, а то и превзойти их. Вот он и решил сразиться с парфянами.

Парфянское войско, вчетверо меньшее, чем грозные легионы Красса, вел полководец по имени Сурен. Большинство его воинов были лучниками на быстрых низкорослых персидских конях, но было и немного катафрактов ^[169] — закованных в доспехи конников, потрясающих длинными смертоносными копьями.

Легионы Красса устремились прямо на войско Сурена, которое отступило в Дешт-и-Кевир. Красс же вместо того, чтобы повернуть на север, в Армению, бросился за ними в погоню, углубляясь в пустыню все дальше. И тут произошло нечто, потрясающее воображение.

Катафракты атаковали римлян прежде, чем те успели построиться своим классическим квадратом для обороны. После первой же атаки копьеносцы отступили, а вперед выступили лучники. У них были персидские луки — такие, как у меня, мощнее римских. Их стрелы пробивали щиты римлян, нагрудники и наколенники; особенно же удивило римлян, что парфяне точно попадали в цель, отступая — они стреляли через плечо.

— Парфянский выстрел! — воскликнул Роб.

— Да, парфянский выстрел. Сперва римляне держались стойко, полагая, что стрелы скоро иссякнут. Но Сурен вез запас стрел на вьючных верблюдах, а римляне не могли вести привычный для них рукопашный бой. Красс послал своего сына с небольшим отрядом, чтобы совершить отвлекающий маневр. Голову сына ему вернули, нанизанную на острие персидского копья. Под покровом ночи римляне бежали — они-то, самое сильное войско во всем мире! Спаслось десять тысяч под предводительством Кассия, будущего убийцы Цезаря. Другие десять тысяч были захвачены в плен. А еще двадцать тысяч, в их числе и сам Красс, погибли. Потери парфян были незначительны. И с тех самых пор каждый персидский мальчик упражняется в искусстве стрелять по-парфянски.

Ала рванул жеребца вперед и снова попробовал этот прием; на сей раз он даже закричал от удовольствия — стрела глубоко вошла в ствол дерева. Шах воздел свой лук к небу, подавая свите знак приблизиться.

Им тут же принесли толстый ковер, развернули, а вокруг него воины стражи проворно установили царский шатер. Вскоре, пока шаха развлекали три музыканта, наигрывавшие на цимбалах, слуги внесли блюда и кувшины.

Шах сел и махнул рукой Робу, чтобы тот разделил его трапезу. Подали грудки нескольких видов диких птиц, искусно запеченные со всевозможными специями, острый плов, лепешки, Дыни (в продолжение зимы их, должно быть, хранили где-то в пещерах), вино трех сортов. Роб уплетал все с большим аппетитом, тогда как шах Ала лишь отведал блюда, налегая на вино всех трех сортов.

Потом Ала пожелал сыграть в шахскую игру — им тотчас принесли доску с уже расставленными фигурами. Роб помнил ходы каждой фигуры, но все равно шаху не составило труда обыграть его три раза кряду, хотя царь и приказал подать еще вина, быстро осушив и новый запас.

— Кандраси задумал добиться строгого соблюдения закона о запрете вина, — поведал Ала-шах.

Роб промолчал, не зная, что ответить, чтобы не рассердить шаха.

— Хочешь, я расскажу тебе о Кандраси, зимми? Ему все видится так: наш престол существует в первую очередь для того, чтобы карать отступающих от заповедей Корана. В такой точке зрения заключена большая ошибка! Престол существует для того, чтобы расширить пределы государства, сделать его могучим и непобедимым, а вовсе не для того,

чтобы наказывать крестьян за мелкие грешки. Однако имам считает себя карающей десницей Аллаха! Ему мало того, что он, мулла маленькой мечети в Мидии, был вознесен до положения визиря шахиншаха. Он дальний родич Аббасидов ^[170], в его жилах течет кровь багдадских халифов. Мечтает в один прекрасный день сделаться властелином в Исфагане, нанося моим кулаком удары по всем, кто хоть на волос отступает от заповедей.

На это Роб не мог ответить уже не потому, что трудно было подобрать подходящие слова, а потому, что его сковал ужас. Развязанный вином шахский язык подвергал Роба величайшей опасности: если Ала, протрезвев, станет сожалеть о сказанном, ему не составит ни малейшего труда тихо избавиться от нежелательного свидетеля.

Впрочем, шах не выказывал ни малейшего неудовольствия. Ему подали запечатанный кувшин вина, он же бросил кувшин на руки Робу и повел его назад, к лошадям. У шаха не было желания охотиться; они просто лениво трусили рысцей, а солнце все припекало, и вскоре оба изрядно утомились, хотя утомление было приятным. Холмы вокруг пестрели яркими цветами — красными, желтыми, белыми чашечками на толстых стеблях. Таких цветов Роб не встречал на равнинах Англии. Шах и сам не знал, как они называются, только сказал, что вырастают они не из семян, а из луковиц — как обычный лук.

— Я веду тебя в такое место, которое ты никогда никому не должен показывать, — предупредил его Ала и повел Роба за собой. Наконец они оказались у заросшего папоротниками входа в пещеру. Стоило войти, и они ощутили неприятный запах, похожий на запах тухлых яиц; было тепло, а небольшой водоем с коричневой водой окаймляли серые валуны, густо покрытые пурпурными лишайниками. Ала стал быстро раздеваться.

— Ну, не мешкай, глупый зимми, раздевайся поскорее!

Роб, взволнованный, неохотно повиновался. Ему пришло в голову: а не принадлежит ли шах к тем, кому мужчины нравятся больше женщин? Однако Ала-шах уже окунулся в воду и рассматривал Роба — оценивающе, но без малейших признаков похоти.

— Принеси-ка вина! А мужское достоинство у тебя не выдающееся, европеец.

Роб почел за благо промолчать о том, что его орган длиннее и толще, чем у царя. Однако шах оказался более проницательным, чем полагал Роб.

— Мне нужды нет походить на жеребца, — с усмешкой сказал он. — Ведь мне принадлежит любая женщина, какую я пожелаю. Ты, наверное, не знаешь, но я никогда не беру одну и ту же женщину дважды. Поэтому и в гости к каждому придворному я хожу всего один раз, разве что хозяин возьмет себе новую жену.

Роб опасливо погрузился в горячую воду, насыщенную запахом растворенных в ней минералов, а Ала-шах тем временем откупорил кувшин вина, долго пил, потом блаженно откинулся и закрыл глаза. Пот градом катился у него по лбу и щекам, пока небольшая часть тела, оставшаяся над водой, не сделалась такой же мокрой, как и та, что парилась в бассейне. Роб внимательно смотрел на шаха, пытаясь понять, каково это — обладать верховной властью.

— А когда ты утратил невинность? — спросил Ала-шах, не открывая глаз.

Роб рассказал ему о некой английской вдове, которая пустила его в свою постель.

— Мне тогда тоже было двенадцать. Отец приказал своей сестре всякую ночь приходить ко мне на ложе. Так у нас принято воспитывать принцев, и это очень разумно. Тетушка обучала меня заботливо и ласково, она была мне почти как мать. Много лет потом мне казалось, что с каждым разом из меня выходило по целой чаше парного молока, а внутри было сладко, как от засахаренных фруктов. — Некоторое время оба сосредоточенно

молчали и наслаждались ванной. — Я желаю стать царем царей, европеец.

— Но ведь ты уже царь царей!

— Это просто титул, слова. — Теперь шах открыл глаза и смотрел своими карими глазами, не мигая, в глаза Робу. — Ксеркс, Александр, Кир, Дарий. Все великие цари, и если кто из них не родился в Персии, то умер, владея персидской короной. Великие цари, повелевавшие великими империями.

А теперь империи нет. В Исфагане — да, я царь. К западу Тогрул-бек повелевает многочисленными племенами турок-сельджуков. На востоке царствует над гористым краем Газни султан Махмуд [\[171\]](#), а дальше лежит Индия, которой правят больше двух десятков раджей. Правда, угрожать они могут только друг другу. Немногие властители, с которыми приходится считаться, — это Махмуд, Тогрул-бек и я. Когда я проезжаю по стране, ханы и бейлербеи, правящие городами и крепостями, спешат за стены, дабы приветствовать меня своими дарами и льстивыми словами покорности.

Я, однако, нисколько не сомневаюсь, что эти же самые ханы и бейлербеи станут точно так же приветствовать хоть Махмуда, хоть Тогрул-бека, если те явятся во главе своих войск.

Когда-то, в седой древности, было такое же время — маленькие царства и их цари, сражавшиеся за власть над огромной империей. И, наконец, остались из них только двое. Ардашир и Ардеван сошлись в поединке на глазах своих войск, замерших в ожидании. Посреди пустыни два великих воина, в полном боевом доспехе, кружили, стремясь поразить противника. Закончилось все тем, что Ардеван истек кровью, а Ардашир стал первым шахиншахом... А тебе разве не хотелось бы стать царем царей?

Роб покачал головой.

— Мне хочется лишь стать врачом.

На лице шаха без труда читалось удивление.

— Это что-то новое! За всю жизнь я не встречал человека, который не попытался бы польстить мне, коль выпала такая возможность. Но ты не захочешь поменяться местами с царем, мне это ведомо. Я ведь расспрашивал о тебе. Мне сказали, что как лекарский ученик ты заметно выделяешься среди других. И от тебя ждут великих дел, когда ты станешь хакимом. Мне потребуются люди, способные на великие деяния, только не старайся чрезмерно мне угождать.

Чтобы уморить Кандраси, я использую свою царскую власть, не остановлюсь и перед коварством. С целью сохранить власть над Персией всем царям приходилось воевать. И я пошлю свое войско против других царей, скрещу с ними мечи. Прежде чем истечет срок моей жизни, я добьюсь того, что Персия снова станет великой империей, а я сам — настоящим шахиншахом. — Он ухватил Роба за руку. — Станешь ли ты мне другом, Иессей бен Бенъямин?

Роб понял, что искусный охотник усыпил его бдительность и загнал в ловушку: Алашаху его преданность была нужна для достижения собственных целей. И проделано все было расчетливо, с дальним прицелом. Несомненно, этот царь был далеко не только пьяницей и развратником.

Робу очень не хотелось впутываться в политические интриги. Он уже жалел, что поехал нынче утром на загородную прогулку. Но он хорошо помнил и свои долги.

— Я предан тебе без остатка, великий государь, — сказал он, беря за руку шаха.

Ала удовлетворенно кивнул. Снова откинул голову, погружаясь в горячее озеро, почесал грудь.

— Уговор. А как тебе здесь нравится, в моем укромном уголке?

— Это серный источник, государь — ясно, как день.

Шах Ала был не такой человек, чтобы от удивления у него отвисла челюсть. Он лишь открыл глаза и улыбнулся.

— Если захочешь, зимми, — лениво вымолвил он, — можешь привести сюда женщину.

* * *

— Мне все это не нравится, — заявил Мирдин, когда Роб рассказал о своей загородной прогулке с шахом Ала. — Он капризен и очень опасен.

— Для тебя это открывает отличные возможности, — высказал свое мнение Карим.

— Я к ним не стремлюсь.

Но, к счастью, дни шли за днями, а шах его больше не вызывал. Роб остро ощущал, как сильно нуждается в друзьях, которые не сидят на троне, а потому проводил много времени в обществе Мирдина и Карима.

Карим привыкал к новой жизни молодого хакима. Он, как и раньше, работал в маристане, разве только теперь получал скромную плату от аль-Джуджани за ежедневный осмотр хирургических больных и уход за ними. Имея в своем распоряжении больше свободного времени и чуть больше денег, он частенько ходил на майдан и в дома разврата.

— Пойдем со мной, — звал он Роба. — Я приведу тебя к девке, у которой волосы черны, как вороново крыло, а на ощупь мягче шелка.

Роб в ответ улыбнулся и покачал головой.

— Ну, а какую ты хочешь?

— Такую, у которой волосы красны, как огонь.

— Такие здесь не попадают, — усмехнулся Карим.

— Вам обоим надо жениться, — спокойно посоветовал Мирдин, но ни один его не поддержал. Роб все силы отдавал учебе. Карим продолжал в одиночестве посещать женщин, и его любовные подвиги служили сотrudникам больницы пищей для веселья. Роб же, зная историю Карима, не сомневался, что за красивым лицом и фигурой атлета скрывается одинокий мальчик, который ищет в женской любви забвения своих печальных воспоминаний.

Карим теперь стал бегать еще больше — по утрам и перед сном, каждый день. Готовился к состязаниям он старательно, не щадя себя, и не только бегал. Он показал Робу и Мирдину, как управляться с кривой персидской саблей, более тяжелой, чем привычный Робу меч. Она требовала сильных и ловких рук. Карим заставил их упражняться, держа в каждой руке по тяжелому камню, поднимать и опускать их, одновременно поворачивая то перед собой, то за спиною, чтобы развить в запястьях силу и проворство.

Мирдин был не очень-то хорошим атлетом, фехтовальщик из него не получался. Но к собственной неуклюжести он относился с улыбкой, а сила его разума была так велика, что умение фехтовать рядом с нею мало что значило.

С наступлением темноты Карим их покидал. Он вдруг перестал приглашать Роба в веселые дома — признался, что у него начался роман с замужней женщиной, в которую он страстно влюбился. Зато Мирдин все чаще и настойчивее приглашал Роба на ужин к себе, в комнаты близ «Дома Сиона».

Однажды Роб с удивлением заметил, что на крышке большого сундука у Мирдина изображено такое же разделенное на клетки поле, какое он до сих пор видел всего два раза.

— Это у тебя шахская игра?

— Да. А тебе она знакома? В моей семье испокон веку в нее играют.

Фигуры у Мирдина были деревянные, но игра — та самая, в которую Роб играл с Алашахом. Разница состояла в том, что Мирдин не стремился сразу же разбить противника наголову, а стал учить Роба. Вскоре под его заботливым руководством Роб начал схватывать смысл тонких комбинаций.

В доме у Мирдина он был свидетелем тихих семейных радостей. Как-то вечером, поужинав овощным пловом, который приготовила Фара, Роб пошел вместе с Мирдином пожелать спокойной ночи шестилетнему Иссахару.

— Авва [\[172\]](#), видит меня сейчас Отец наш Небесный?

— Конечно, Иссахар. Он всегда видит тебя.

— Почему же тогда я Его не вижу?

— Он недоступен взгляду.

Щечки у мальчика были пухлые, смуглые, а глаза смотрели; серьезно. Зубы и челюсть уже немного великоваты — будет некрасивым, как и отец, но таким же милым.

— Но если Его нельзя видеть, откуда же Он знает, как сам. выглядит?

Роб улыбнулся. «Устами младенцев...» — подумалось ему. Что ж, ответь, о Мирдин, знаток обычного и письменного права, мастер шахской игры, философ и целитель...

Мирдина вопрос не смутил.

— В Торе сказано, что Он сотворил человека по своему образу и подобию. Значит, стоит Ему взглянуть на тебя, и Он видит свое отражение. — Мирдин поцеловал сынишку. — Доброй ночи, Иссахар.

— Доброй ночи, авва. Доброй ночи, Иессей.

— Крепкого сна тебе, Иссахар, — сказал Роб, поцеловал мальчика и вслед за другом вышел из спальни комнаты,

Из Анатолии пришел большой караван. Один погонщик явился в маристан с целой корзиной сушеных ягод инжира — для еврея по имени Иессей. Юноша, Сади, был младшим сыном Де-бида Хафиза, калантара города Шираза, а инжир — дар в знак признательности и любви его отца к исфаганцам, что боролись с эпидемией чумы.

Роб сидел вместе с Сади, выпил чаю, поел отборного инжира, крупного и сочного, полного кристалликов сахара. Сади купил ягоды в Мидьяте у погонщика, который вез их из самого Измира через всю Турцию. Теперь юноша собирался дальше на восток, в Шираз. Путешествия и приключения захватили его без остатка, и он был очень горд, когда целитель-зимми попросил отвезти в Шираз подарок — исфаганские вина — его достойному отцу Дебиду Хафизу.

Прибывающие караваны служили единственным источником новостей, поэтому Роб подробно расспрашивал юношу.

Когда караван покидал Шираз, ни малейших признаков чумы там уже не было. Шайки сельджуков видели один раз в горах к востоку от Мидии, но они, кажется, были немногочисленны, даже на караван не осмелились напасть (да будет славен Аллах!). Жителей Газни поразила странная болезнь — сыпь, вызывающая нестерпимый зуд. Начальник каравана не пожелал там останавливаться, дабы погонщики не возлегли с местными женщинами и не подхватили эту болезнь. В Хамадане чумы не было, зато пришлый христианин занес туда европейскую лихорадку и местные муллы воспретили жителям всякое общение с этими неверными шайтанами.

— А каковы признаки этой болезни?

Сади ибн Дебид не знал, что на это ответить, он ведь был не лекарь и не забивал себе голову подобными вещами. Единственное, что он помнил — к этому европейцу не приближался никто, кроме его дочери.

— Так у этого христианина есть дочь?

Сади не смог описать внешность ни самого христианина, ни его дочери, только сказал, что их обоих видел Буди Торговец Верблюдами, шедший в караване.

Роб вместе с Сади отправился искать этого верблюжьего торговца. Тот оказался человеком искушенным, с хитрым взглядом, и постоянно сплевывал красную слюну, а десны его почернели от постоянного жевания бетеля [\[173\]](#).

Сначала Буди сказал, что почти и не помнит тех христиан, но Роб освежил его память монетой. Тогда торговец припомнил, что видел их в пяти днях пути к западу отсюда, всего полдня от города Датур. Отец средних лет, с длинными седыми волосами, но совсем без бороды. Одет он был в иноземные одежды, черные, как одеяния мулл. Женщина молодая, высокого роста, а волосы у нее интересного цвета — чуть светлее хны.

— И что же, этот европеец показался тебе тяжело больным? — спросил Роб в смятении.

— Не знаю, господин, — вежливо улыбнулся Буди. — Болел он.

— А слуги с ними были?

— Не видел, чтобы им кто-нибудь прислуживал.

Наемники, несомненно, сбежали, подумал Роб.

— Как тебе показалось, еды у нее было достаточно?

— Я сам дал ей корзину бобов, господин, и три больших лепешки.

Теперь Роб не сводил с него взгляда, от которого Буди стало не по себе.

— За что же ты дал ей столько еды?

Торговец пожал плечами. Он обернулся, порывлся в своем мешке и вытащил оттуда кинжал. На любом персидском рынке можно было без труда отыскать кинжалы куда затейливее, но этот окончательно рассеял все сомнения: в последний раз Роб видел его на поясе Джеймса Гейки Каллена.

* * *

Он понимал, что, если скажет Кариму и Мирдину, те поедут вместе с ним, а ему хотелось ехать туда одному. Поэтому он просто передал им несколько слов через Юсуфа аль-Джамала.

— Скажите, что меня вызвали по личному делу. Все объясню, когда вернусь, — попросил он библиотекаря.

Из прочих поставил в известность только Джалала.

— Должен на время уехать? Зачем?

— Для меня это очень важно, тут речь идет о женщине...

— Тогда конечно, — хмыкнул Джалал. Костоправ ворчал до тех пор, покуда не убедился, что в его клинике остается еще достаточно помощников, можно обойтись пока и без Роба. Только тогда он кивнул в знак согласия.

На следующее утро Роб выехал в путь. Дорога перед ним лежала долгая, а поспешность только ухудшала дело, но все же ему удавалось подгонять и подгонять гнедого: перед глазами Роба все время стояла женщина, одна среди чужих людей в чужой стране, да еще с больным отцом.

Стояло лето, вешние воды успели испариться под лучами палящего солнца, так что Роб с головы до ног покрылся соленой пылью Персии, набившейся вскоре и в седельные сумки. Соль была в еде, тонкой пленкой покрывала питье. Повсюду он видел потемневшие от жара полевые цветы, но люди все-таки упорно возделывали каменистую почву, отводя скудную влагу по арыкам для орошения виноградников и финиковых пальм, как делали их предки тысячи лет.

Роб скакал с мрачной сосредоточенностью, никто не напал на него, не задержал в пути, и вот в сумерках четвертого дня он миновал город Датур. В темноте пришлось остановиться, однако следующий рассвет застал его уже на дороге. Ближе к полудню в деревне Гуши он повстречал одного купца. Тот взял протянутую монету, попробовал на зуб, после чего сказал, что о христианах знают все вокруг. Они живут в доме за вад [\[174\]](#) Ахмада, ехать надо прямо на запад, совсем недалеко. Найти пересохшую речку Робу никак не удавалось, но вот показались на дороге два пастуха со стадом коз, старик и мальчик. На вопрос о том, где тут христиане, старик только плюнул.

Роб вытащил меч. В нем вскипала давно забытая слепая ярость. Старик это сразу почувствовал, не сводя глаз с широкого лезвия, поднял руку и указал направление.

Роб поскакал туда. Когда он был уже далеко, пастух-подросток вложил камень в свою пращу и метнул ему вслед. Роб слышал, как камень стукнул о валун за его спиной.

Пересохшая речка открылась как-то неожиданно. Старое русло почти все время

оставалось сухим, но во время весенних паводков наполнялось водой: в затененных местах еще и сейчас видна была зелень травы. Он ехал вдоль русла изрядное время, пока не увидел хижину, сложенную из камня и глины. Мэри была во дворе, кипятила воду для стирки. Увидев Роба, она тут же метнулась прочь, как дикая лань, скрылась в доме. Пока он спрыгивал с седла, она успела подтащить к двери что-то тяжелое.

— Мэри! — негромко позвал он.

— Это ты?

— Я.

Последовало молчание, потом скрип отодвигаемого в сторону валуна. Дверь приоткрылась — сперва чуть-чуть, потом пошире.

Роб сообразил, что она никогда не видела его с бородой и в персидском наряде, хотя еврейская кожаная шляпа была ей памятна.

Мэри держала в руках отцовский меч. На лице ясно читались следы пережитого: оно исхудало, на нем резко выделялись огромные глаза, крупные скулы и длинный тонкий нос. На губах были язвочки — как помнил Роб, они появлялись всегда, когда она переутомлялась. Щеки сплошь покрыты золой, только слезы от дыма очага прочертили на них две дорожки. Но вот она моргнула, и Роб узнал прежнюю здравомыслящую Мэри.

— Прошу тебя, помоги ему. — Она провела Роба в дом.

* * *

Стоило ему увидеть Джеймса Каллена, как Роб упал духом. Овчар при смерти, не было нужды брать его за руки, чтобы это понять. Мэри, должно быть, тоже это понимала, но смотрела на Роба так, словно ждала, что он исцелит отца одним прикосновением.

Внутренности Каллена распространяли зловоние по всему дому.

— У него был понос?

Она кивнула и безжизненным голосом поведала все подробности. Лихорадка началась уже давно — сначала рвота и страшная боль в животе, справа. Мэри старательно ухаживала за больным. Через некоторое время жар спал и отец, к ее великой радости, начал выздоравливать. Прошло несколько недель, ему становилось все лучше, он уже почти выздоровел, а потом все повторилось опять, только с более острыми признаками.

Лицо у Каллена было землистого цвета, в глазах — пустота. Пульс едва прощупывался. Его постоянно бросало то в жар, то в холод, к тому же мучили рвота и понос.

— Слуги испугались, что это чума, и сбежали, — сказала Мэри.

— Нет, это не чума. — Рвота не имела черного цвета, да и на теле нигде не было бубонов. Правда, утешало это слабо. Живот справа затвердел, как доска. Когда Роб слегка надавил, Каллен, который был, казалось, без чувств, завопил.

Роб понял, с чем имеет дело. В последний раз, столкнувшись с этой болезнью, он жонглировал и пел, чтобы больной мальчик, умирая, не испытывал страха.

— Это болезнь толстой кишки. Иногда называется «боль в боку». Яд зародился у него в кишках и распространился по всему телу.

— А отчего это?

Роб покачал головой.

— Может быть, спутались кишки или же что-то мешало проходить пище. — Обоим

было понятно, что его невежество не дает повода для какой бы то ни было надежды.

Он все же изрядно потрудился над Джеймсом Калленом, пробуя все, что могло хоть как-то помочь. Роб ставил ему клистиры из ромашкового чая с молоком, а когда это не дало результата, то дал больному несколько раз ревеня с солью. Прикладывал к животу нагретые мешочки с песком, уже понимая, что все совершенно бесполезно.

Роб не отходил от ложа шотландца. Ему хотелось отослать Мэри в соседнюю комнату, чтобы она хоть немного отдохнула, ведь она слишком долго отказывала себе в этом, но он понимал, что развязка уже близка. Потом у нее будет много времени на отдых

В середине ночи Каллен вздрогнул и встрепенулся.

— Не волнуйся, папочка, все хорошо, — прошептала Мэри, растирая ему руки, и в это мгновение душа его отлетела — так тихо, так легко, что ни Мэри, ни Роб не почувствовали сразу, что ее отец не пребывает более на этом свете.

* * *

Мэри перестала брить отца за несколько дней до смерти, и теперь пришлось сбривать седую бородку. Роб расчесал ему волосы и держал тело, пока Мэри, не пролив ни слезинки, обмывала покойника.

— Я рада, что могу это сделать, — сказала она. — Когда умерла мать, мне не позволили помочь.

На правом бедре у Каллена был большой шрам.

— Он получил эту рану, охотясь на дикого кабана, засевшего в кустах. Мне тогда было одиннадцать лет. Ему всю зиму пришлось сидеть дома. На святки мы вместе готовили ясли для младенца Христа, вот с тех пор я и стала понимать отца.

Когда они подготовили покойника, Роб принес еще воды из протекавшего поблизости ручья и подогрел ее на очаге. Пока Мэри мылась, он выкопал могилу, что оказалось чертовски нелегко — почва была каменистая, а подходящего инструмента у него не было. Под конец он копал мечом Каллена, а вместо рычага использовал большую заостренную ветку. Копал и голыми руками. Докопал могилу, потом связал поясом покойного две палки крест-накрест.

Мэри надела то черное платье, в котором Роб впервые ее увидел. Он вынес тело, завернутое в шерстяное одеяло, которое отец и дочь везли из дому, — такое красивое и теплое, что Робу стало жаль класть это одеяло в могилу.

Нужно было бы прочитать святую погребальную мессу, но Роб не мог прочесть даже простую заупокойную молитву, не доверяя полузабытой латыни. Ему вспомнился псалом, которому научила его мама.

Господь— пастырь мой. Не будет у меня нужды ни в чем.

На пастбищах травянистых Он укладывает меня, на воды тихие приводит меня.

Душу мою оживляет, ведет меня путями справедливости ради имени Своего. Даже если иду долиной тьмы— не устрашусь зла, ибо Ты со мной; посох Твой и опора Твоя— они успокоят меня.

Ты готовишь стол предо мной в виду врагов моих, умащаешь голову мою

елеем, чаша моя полна.

Пусть только благо и милость сопровождают меня все дни жизни моей, чтобы пребывать мне в доме Господнем долгие годы [175].

Он забросал могилу землей и приладил крест. Потом Роб ушел, а Мэри осталась стоять на коленях, закрыв глаза. Губы шевелились, шепча что-то, слышное только ей самой.

Он дал Мэри возможность побыть одной в доме. Она ему говорила, что отпустила обеих лошадей — свою и отцову — попастьись на скудной траве вади, вот Роб и поехал отыскивать животных.

Увидел, что Каллены успели соорудить загончик, огородив его колючими ветками. Внутри оказались кости четырех овец, вероятно, убитых и съеденных хищниками. Каллен, несомненно, купил гораздо больше овец, да остальных украли люди.

Вот безумный шотландец! Ему ни за что не удалось бы пригнать отару в свою далекую Шотландию. А теперь вот он и сам туда не доберется, дочь же его осталась одна в чужой стране.

В конце небольшой каменистой лощины Роб нашел останки белой лошади Каллена. Она, наверное, сломала ногу и стала для хищников легкой добычей. Кости были уже почти дочиста обглоданы, Роб узнал работу шакалов. Он вернулся к могиле и обложил ее тяжелыми плоскими камнями, которые не позволят назойливым хищникам докопаться до тела.

Вороной Мэри обнаружился на противоположном краю лощины, куда бежал подальше от шакалов. Нетрудно оказалось набросить на него узду — конь сам, похоже, спешил оказаться в безопасности, за которую заплатил своей свободой.

Возвратившись в дом, он нашел Мэри успокоившейся, только щеки ее покрывала бледность.

— Что бы я только делала, если бы не ты?

Роб улыбнулся, вспомнив забаррикадированную дверь и меч в руке.

— Делала бы что нужно.

Мэри крепко держала себя в руках.

— Я бы хотела возвратиться с тобой в Исфаган.

— И я этого хочу. — Сердце у него часто забилося, но ее следующие слова отрезвили его:

— Там есть караван-сарай?

— Есть. Всегда переполненный.

— Значит, я отправлюсь с хорошо охраняемым караваном, который будет держать путь на запад. И доберусь до какого-нибудь порта, где можно купить место на корабле домой.

Роб подошел к девушке и взял ее за руки — он впервые коснулся ее за все это время. Пальцы у Мэри огрубели от работы, стали совсем не такими, как у женщин в гаремах, но Робу не хотелось выпускать их из своих рук.

— Мэри, я сделал страшную ошибку, я не могу снова потерять тебя.

Она смотрела на него пристально, ожидая продолжения.

— Поедем со мной в Исфаган, только жить там давай вместе.

Было бы куда легче, если б не пришлось виновато рассказывать ей об Иессее бен Беньямине, о необходимости скрывать свое истинное лицо.

Словно какая-то искра пробежала между ними через пальцы, но в глазах девушки Роб

увидел гнев и что-то похожее на ужас.

— Слишком много лжи, — сказала она тихо. Вырвала свои руки и вышла за порог дома.

Роб выглянул и увидел, как она все дальше уходит от дома по каменистому ложу вади.

Отсутствовала Мэри долго, Роб уже стал волноваться, но вот она вернулась.

— Объясни мне, почему ради этого ты считаешь нужным так много обманывать.

Роб заставил себя выразить это словами, взял на себя такой труд, потому что хотел получить эту девушку и знал, что по справедливости она заслужила только правду.

— Это не зависит от меня. Как будто Бог сказал мне: «Я допустил ошибки, творя людей, и теперь поручаю тебе трудиться, дабы исправить мои ошибки». Не то чтобы я так желал. Это само позвало меня за собой.

Она испугалась того, что он сказал.

— Но это ведь богохульство — считать себя способным исправить ошибки Бога?

— Нет, нет, — мягко возразил Роб. — Умелый врачеватель лишь орудие в Его руках.

Тогда Мэри кивнула, и теперь ему показалось, что в ее глазах блеснула искорка понимания, даже некоторой зависти.

— Но мне придется вечно делить тебя с какой-нибудь любовницей.

«Каким-то образом почуяла Деспину», — пронеслась в голове Роба глупая мысль.

— Мне нужна ты одна, — сказал он.

— Да нет, тебе нужна работа, она всегда будет на первом месте, семья уж потом, все остальное потом. Но я так сильно полюбила тебя, Роб! Я хочу стать твоей женой.

Он обнял Мэри.

— Каллены женятся только в церкви, — проговорила она, Уткнувшись в его плечо.

— Даже если бы мы нашли в Персии христианского священника, он не стал бы венчать христианку и иудея. Придется ска-зать людям, что мы поженились в Константинополе. Когда я выучусь на лекаря, мы вернемся в Англию и там обвенчаемся, как положено.

— А до того? — уныло спросила она.

— Только венчание между собой. — Роб взял обе ее руки в свои. Они посмотрели друг на друга.

— Но ведь даже между собой должны быть произнесены какие-то слова, — настаивала Мэри.

— Мэри Каллен, я беру тебя себе в жены, — произнес Роб охрипшим от волнения голосом. — Обещаю заботиться о тебе и защищать тебя, тебе принадлежит моя любовь. — Робу стало неловко, что он не нашел лучших слов, но волнение его было велико, язык повиновался с трудом.

— Роберт Джереми Коль, я беру тебя себе в мужа, — четко выговорила она. — Обещаю идти туда, куда ты пойдешь, и неизменно делать все ради твоего блага. Моя любовь принадлежит тебе с того мига, когда я впервые увидела тебя.

Она крепко, до боли, сжала его руки, и Роб ощутил, как бурлит в ней, пульсируя, жизненная сила. Он прекрасно понимал, что свежая могила за порогом делает всякую радость сейчас неуместной, но все же испытывал мощный прилив чувств. Произнесенные ими клятвы, подумал он, гораздо лучше многих слышанных им в церкви.

Пожитки Мэри Роб упаковал и погрузил на своего гнедого, сама она ехала верхом на вороном. Каждое утро Роб менял коней местами, перегружая тюк то на одного, то на другого. В редких случаях, когда дорога шла ровная и гладкая, они ехали вместе на одном коне, но большей частью Мэри ехала в седле, а Роб шел пешком, ведя коня в поводу. Из-за этого продвигались они медленно, но спешить-то им было некуда.

Она стала молчаливее, чем помнилось Робу, а сам он к ней не приставал с разговорами, уважая ее скорбь. На вторую ночь их пути в Исфаган они разбили лагерь на полянке в придорожных кустах. Робу не спалось, и тут он услышал, как Мэри наконец расплакалась.

— Если ты берешься исправлять ошибки самого Бога, почему же ты не смог спасти отца?

— Я еще слишком мало знаю.

Слезы копились слишком долго, и теперь Мэри уже не могла их остановить. Роб обнял ее, прижал к себе. Она положила голову ему на плечо, а он стал покрывать поцелуями ее залитое слезами лицо и добрался наконец до губ, нежных, ждущих его губ, вкуса которых он так и не забыл. Роб погладил ее спину, свою любимую ямку в самом низу позвоночника, а потом поцелуи стали крепче, он ощутил ее язык и стал приподнимать на ней белье. Мэри заплакала сильнее, но не сопротивлялась его ласкам, готовая принять его в себя.

Какова бы ни была страсть Роба, ее пересиливали уважение к этой женщине и глубокая благодарность к ней. Их слияние стало нежным, ласковым покачиванием, оба они двигались едва-едва. Так повторялось снова, и снова, и снова, пока Роб не достиг тончайшего наслаждения. Стремясь утешить, он сам нашел исцеление, стремясь утешить, обрел утешение у нее. Но надо было принести облегчение и Мэри, и Роб помог ей, пользуясь пальцами.

Потом они еще долго лежали обнявшись и нежно беседовали. Роб рассказывал ей об Исфагане и Яхуддией, о медресе и больнице при ней, об Ибн Сине. А еще о своих друзьях — мусульманине и еврее, Мирдине и Кариме.

— У них есть жены?

— У Мирдина жена, а у Карима просто уйма женщин.

Уснули они крепко обнявшись.

С первыми робкими проблесками зари Роба разбудили скрип седел, неторопливый перестук копыт по дорожной пыли, чей-то хриплый кашель, разговоры всадников.

Роб обернулся и выглянул в просвет между кустами, за которыми они укрывались от чужих глаз. Мимо проезжало множество всадников. Лица свирепые, кривые сабли такие же, как у воинов шаха Ала, но луки другие, короче персидских. Одеты они были в изодранные рубахи, а тюрбаны, некогда белые, потемнели от пота и грязи. Исходивший от них смрад достиг спрятавшегося за кустами Роба, который с замиранием сердца ждал, когда одна из их лошадей заржет и выдаст их или же когда один из проезжающих бросит взгляд за кусты и увидит его самого и спящую рядом женщину.

Мелькнуло знакомое лицо — Роб узнал Хадад-хана, несдержанного сельджукского посла ко двору шаха Ала ад-Даулы.

Так, стало быть, сельджуки. А рядом с седовласым Хадад-ханом появился другой всадник, тоже знакомый Робу — мулла по имени Муса ибн Аббас, доверенный помощник имама Мирзы-абу-ль-Кандраси, персидского визиря.

Роб увидел затем шестерых других мулл, а воинов верхами насчитал девяносто шесть. Совершенно неизвестно, сколько их проехало здесь, пока он спал.

Ни его лошадь, ни вороной Мэри не заржали, не подали голоса, пока не проехал последний сельджук. Роб только тогда смог перевести дух, слушая, как затихают вдали голоса сельджуков и стук копыт их коней.

Он поцелуем разбудил свою жену, затем они, не теряя времени, свернули свой немудреный лагерь и отправились дальше в путь, ибо Роб увидел причину для того, чтобы спешить.

— Женился? — Карим посмотрел на Роба и усмехнулся.

— У тебя жена! Вот уж не думал, что ты последуешь моему совету! — воскликнул сияющий Мирдин. — А кто тебе ее сосватал?

— Никто. То есть, — поспешно исправил себя Роб, — был брачный договор еще больше года назад, но в силу он вступил только сейчас.

— И как же ее зовут? — поинтересовался Карим.

— Мэри Каллен. Она шотландка. Я повстречал ее и ее отца в караване на бесконечном пути сюда. — Роб рассказал друзьям кое-что о Джеймсе Каллене, о его болезни и смерти.

— Шотландка, — проговорил Мирдин, который слушал Роба вполуха. — Значит, она из Европы?

— Да, ее родина лежит к северу от моей родной страны.

— Она христианка?

Роб молча кивнул.

— Я должен увидеть эту женщину из Европы, — горячо сказал Карим. — А красивая она?

— Она необыкновенно прекрасна! — вырвалось у Роба, и Карим расхохотался. — Нет, я хочу, чтобы ты сам оценил. — Роб повернулся к Мирдину, приглашая и его, но друг уже повернулся и ушел.

* * *

Робу не очень-то хотелось докладывать шаху о том, что увидел в дороге, однако он понимал, что присягнул на верность и другого выбора у него нет. Он пришел во дворец и объявил, что должен увидеться с шахом. Хуф в ответ мрачно усмехнулся.

— В чем состоит твое дело?

Роб молча покачал головой, и Капитан Ворот бросил на него взгляд, тяжелый, как камень. Все же Хуф велел подождать, а сам отправился доложить шаху Ала, что зимми-чужеземец Иессей просит аудиенции. Вскоре старый воин уже вводил Роба в покои властелина.

От Ала сильно пахло вином, но он с вполне трезвым видом выслушал рассказ Роба о том, что его визирь отправил своих самых благочестивых помощников, дабы те встретили и проводили в глубь страны отряд врагов шаха.

— Никаких сообщений о нападениях на жителей Хамадана мы не получали, — задумчиво проговорил Ала ад-Даула. — Этот отряд сельджуков пришел не для грабежа и разбоя, значит, они сговаривались об измене. — Полуприкрыв глаза веками, он пристально разглядывал Роба. — Кому ты уже говорил об этом?

— Ни единому человеку, о повелитель.

— Пусть так и будет.

Не продолжая разговора, Ала поставил на стол между ними доску для шахской игры. Его заметно обрадовало то, что теперь в лице Роба он встретился с более подготовленным

противником, нежели до сих пор.

— А-а, зимми, ты становишься искусным и коварным, как перс!

Робу некоторое время удавалось сдерживать натиск фигур шаха. Шах в конце концов, как и всегда, стер в порошок силы Роба — *шахтранг*. Оба, однако, согласились в том, что их игра приобрела новый характер — она теперь больше походила на борьбу. Роб мог бы продержаться даже чуть дольше, если бы не так спешил возвратиться к молодой жене.

* * *

Мэри до сих пор еще не видала такого красивого города, как Исфаган. Возможно, ее восторг был так велик еще и потому, что здесь она была вместе с Робом. Домик в Яхуддией очень ей понравился, пусть еврейский квартал и выглядел весьма блекло. Дом, в котором они с отцом остановились на берегу вади в Хамадане, был побольше, но этот надежнее построен.

По ее настоянию Роб купил известь и несколько самых простых инструментов, и Мэри пообещала, что приведет дом в порядок, пока Роб будет отсутствовать, в первый же день. Персидское лето набрало сил, совсем скоро черное, с длинными рукавами, траурное платье Мэри насквозь промокло от пота.

Незадолго до полудня в их дверь постучал такой красавец, каких Мэри и не встречала. Он поставил на землю корзину с черными сливами и, освободив руки, дотронулся до рыжих волос Мэри, немало ее этим напугав. Он улыбнулся, придя в восхищение, на загорелом лице блеснули ослепительно белые зубы. Потом долго говорил — похоже, очень красноречиво и любезно, с большим жаром, но говорил-то на фарси!

— Мне очень жаль, — пробормотала Мэри.

— А! — Он мгновенно все понял и приложил руку к сердцу. — Карим.

— Вот как! — Весь страх у Мэри сразу прошел, теперь она была польщена. — Значит, вы друг моего мужа. Он рассказывал мне о вас.

Гость просиял и, не обращая внимания на возражения Мэри, которых он все равно не понимал, повел ее к стулу. Усевшись, она принялась за сладкие сливы, а гость тем временем развел известь с песком и водой в нужной пропорции и наложил раствор на три трещины, пересекавшие стены дома изнутри. Затем поправил подоконник. Мэри, несколько не стыдясь, даже позволила ему помочь, когда выкорчевывала толстые цепкие колючие кусты в садике.

Карим засиделся в гостях, пока не вернулся Роб. Тогда Мэри настояла, чтобы он поужинал с ними. Пришлось подождать, пока стемнеет: шел месяц рамадан, девятый месяц года, месяц великого поста.

— Карим мне понравился, — сказала она Робу, когда гость ушел. — А когда я познакомлюсь со вторым, Мирдином?

Роб поцеловал жену и покачал головой.

— Не знаю.

* * *

Рамадан показался Мэри весьма своеобразным месяцем. Роб, для которого это был уже второй рамадан в Исфагане, объяснял ей, что время это довольно безрадостное. Считается, что его следует проводить в посте и молитвах. Но ведь у всех на уме была прежде всего еда! Мусульманам запрещалось принимать какую бы то ни было пищу или жидкость от рассвета до захода солнца. С базаров и улиц исчезли продавцы съестного, а майдан весь месяц по ночам погружался в темноту и безмолвие, но друзья и родственники собирались по ночам, чтобы поесть и укрепить свои силы для следующего постного дня.

— В прошлом году мы во время рамадана были в Анатолии, — сказала Мэри с тоской в голосе. — Отец купил у одного пастуха ягнят и устроил пир для наших слуг-мусульман.

— Мы тоже можем устроить праздничный обед в честь окончания рамадана.

— Хорошо бы, только я ведь в трауре, — напомнила Мэри.

Ее и в самом деле раздирали противоречивые чувства: по временам охватывала такая скорбь, что Мэри испытывала почти физическую боль от постигшей ее утраты; но проходило немного времени, и она ликовала, сознавая себя самой счастливой из замужних женщин.

В те немногие разы, когда она отваживалась выходить из дому, ей казалось, что встречные смотрят на нее враждебно. Ее траурное платье вполне походило на повседневные одежды, женщин Яхуддийе, но непокрытые рыжие волосы явственно выдавали в ней уроженку Европы. Мэри попыталась было надеть свою дорожную шляпу с широкими полями, но женщины все равно показывали на нее пальцами, а враждебности ничуть не убавилось.

При других обстоятельствах она, возможно, чувствовала бы себя страшно одинокой, ведь среди огромного бурлящего города могла общаться с одним лишь человеком. Но сейчас она испытывала не одиночество, а чувство полного уединения, словно бы в целом мире не осталось никого, кроме нее и ее мужа.

На протяжении всего унылого месяца рамадана их навещал один только Карим Гарун. Несколько раз Мэри видела, как молодой лекарь-перс бежит, мчитя по улицам. От этого зрелища у нее дух захватывало — будто она наблюдала за диким оленем. Роб рассказал ей о грядущем состязании бегунов, чатыре — он должен состояться в первый из трех дней Байрама, праздника окончания долгого поста.

— Я пообещал прислуживать Кариму, когда он будет участвовать в состязании.

— Ты один?

— Со мной будет Мирдин, но Кариму, скорее всего, **потребуется** услуги нас обоих. — В голосе Роба послышалась некоторая неуверенность; он опасался, не расценит ли жена его участие в празднестве как неуважение к памяти ее отца.

— В таком случае, ты должен ему помочь, — твердо **ответила** Мэри.

— Состязание само по себе — не празднество. И нет **оснований** не смотреть его даже тем, кто носит траур.

По мере приближения Байрама Мэри обдумывала это и в конце концов решила, что муж прав. Она пойдет смотреть чатыр.

* * *

Ранним утром первого числа месяца шавваля на город опустился густой туман. Кариму это дало основание надеяться, что день будет хорошим, подходящим для бега. Спал он

накануне плохо, тревожно, но успокаивал себя тем, что другие, должно быть, провели ночь не лучше — пытались, как и он, отвлечься от мыслей о предстоящем состязании.

Карим встал с постели, приготовил себе большой горшок гороха с рисом, посыпал этот простенький плов семечками сельдерея, скрупулезно отмерив их количество. Съел он больше, чем хотелось, забросил в себя топливо, словно дрова в огонь, после чего вернулся на свою циновку и отдыхал в ожидании, когда подействует семя сельдерея. Чтобы сохранить разум незамутненным, прочитал молитву:

О Аллах, дай мне силы лететь сегодня
и укрепи мои ноги!
И пусть грудь моя станет подобна меху,
которым раздувают горн,
а бедра и колени пусть уподобятся
могучим деревьям!
Сохрани разум мой ясным, а чувства — острыми,
и глаза мои пусть не отрываются от Тебя!

О победе он не молил Аллаха. Когда он был совсем еще мальчишкой, Заки Омар сказал ему: «Всякий желтоухий пес, воображающий себя бегуном, молится о своей победе. Как же быть Аллаху? Лучше всего молить Его, чтобы даровал быстроту ногам, выносливость, а уж с их помощью победить или проиграть — ответственность за то и другое будет лежать только на тебе одном».

Почувствовав позывы, встал и пошел к ведру, долго сидел на корточках, с удовлетворением опорожняя кишечник. Количество семян сельдерея он рассчитал правильно: окончив свое дело, он почувствовал легкость, но не ослабел. И судорога посреди забега ему сегодня не грозит.

Он нагрел воду и при свете свечи вымылся в тазу, быстро растерся досуха — туман принес не только тьму, но и ощутимую прохладу. Потом Карим смазал все тело оливковым маслом — от солнечных лучей. Дважды натер маслом те места, где потертости могли вызвать боль: соски, подмышки, пах и детородный орган, между ягодицами. В последнюю очередь занялся стопами ног, особенно старательно смазывая кончики пальцев.

Надел полотняную набедренную повязку, полотняную рубаху, легкие кожаные туфли для скороходов, залихватскую шапочку с пером. На шею повесил колчан для стрел и амулет на счастье в холщовой мешочке. Набросил на плечи плащ, чтобы пока не замерзнуть. И сразу вышел из дому.

Поначалу он шагал медленно, постепенно убыстряя шаг, ощущая, как разогреваются и теряют утреннюю скованность каждая мышца и каждый сустав. Сейчас на улицах людей почти еще не было. Никто не обратил внимания на Карима, когда он зашел за кусты, нервничая, и еще раз быстро помочился. Но к тому времени, когда он дошел до места начала забегов — подъемного моста Райского дворца, — там уже собралась немалая толпа из нескольких сот зрителей. Карим медленно пробирался между ними, пока не нашел в условленном месте, почти в конце толпы, Мирдина, а вскоре там же к ним присоединился и Иессей бен Беньямин.

Друзья Карима натянуто поздоровались друг с другом. Карим видел, что между ними

произошло что-то неладное, но сразу выбросил это из головы. Сейчас нужно думать только о состязании!

Иессей улыбнулся ему и вопросительно прикоснулся к маленькому мешочку на шее.

— Это мне на удачу, — объяснил Карим. — Любимая подарила. — Однако ему не следовало разговаривать перед забегом, этого нельзя делать. Он быстро взглянул на Иессея и на Мир-дина, улыбнулся каждому, показывая, что не хочет их обидеть, потом закрыл глаза и снова очистил разум от всего постороннего, отстранился от окружающего его гомона и гогота толпы. Труднее было отвлечься от запахов растительного масла и животного жира, разгоряченных тел и мокрых от пота одежд.

Карим прочел молитву.

Когда он снова открыл глаза, туман стал перламутровым. Вглядываясь в него, можно было рассмотреть абсолютно круглый красный диск солнца. Воздух тоже стал другим, душным, и Карим с острой горечью понял, что его ждет беспощадно жаркий день.

Что ж, тут ничего не поделаешь. Иншалла!

Он сбросил плащ и отдал Иессею.

— Да пребудет с тобою Бог, — проговорил побледневший Мирдин.

— Беги с Богом, Карим, — пожелал Иессей.

Он ничего им не ответил. Кругом воцарилась полная тишина. И участники состязания, и зрители не сводили глаз с ближайшего минарета Пятничной мечети — Карим разглядел, как на минарете появилась крошечная фигурка в черных одеждах.

Еще миг, и привычный призыв к Первой молитве долетел до их слуха. Карим простерся ниц лицом на юго-запад, в направлении Мекки.

Молитва окончилась, и вот уже все завопили что есть сил — и бегуны, и зрители. Рев стоял пугающий, по телу Карима даже пробежала дрожь. Одни своими криками подбадривали участников, другие взывали к Аллаху, многие просто выли, как воины, в исступлении бросающиеся на стену вражеской крепости.

Спиной Карим мог только уловить отголоски продвижения бегунов, но по опыту он знал, как некоторые прорываются в первый ряд внезапно, расталкивая всех локтями и молотя кулаками, не заботясь о том, какие повреждения причиняют и кого топчут ногами. В опасности были даже те, кто быстро встал на ноги после молитвы, потому что в водовороте человеческих тел руки вздымались и попадали кому-нибудь в лицо, туфли наносили удары по ногам, и не одна лодыжка бывала вывихнута в толчее.

Поэтому-то Карим и оставался в конце толпы, терпеливо, с отвращением пережидая одну волну бегунов за другой, пока те пробивались вперед, оглушая его своим ревом.

Но вот побежал и он. Чатыр начался, и Карим бежал в самом хвосте растянувшихся великанской змеей участников состязания.

* * *

Бежал он очень медленно. Много времени уйдет, чтобы одолеть первые пять с четвертью миль, но так он рассчитал заранее. В противном случае надо было бы занять место в первом ряду толпы, а затем — при условии, что его не покалечат в сутолоке — рвануться вперед на такой скорости, чтобы твердо держаться впереди всех прочих. Но такой вариант отобрал бы с самого начала слишком много сил. Карим выбрал более надежный.

Участники чатыра пробежали через Врата Рая и свернули налево. Теперь им предстояло бежать больше мили по улице Тысячи садов, которая то понижалась, то поднималась: в начале первого этапа забега приходилось преодолевать длинный пологий холм, а вслед за ним — более короткий, но крутой. Дальше путь бегунов лежал направо, по улице Поборников веры, простиравшейся в длину всего на четверть мили. Но на повороте улица шла резко вниз, и на обратном пути преодолевать подъем было нелегко. Снова свернули влево, на улицу Али и Фатимы, и бежали по ней до самого медресе.

В черед бегунов кого только не было! Среди молодых аристократов считалось хорошим тоном пробежать половину одного этапа, и вот плечом к плечу с бегунами в лохмотьях бежали юноши в шелковых летних нарядах. Карим упорно держался позади — это пока еще было не состязание, а просто бегущая толпа, переполненная радостью от того, что закончился рамадан. Впрочем, Карим поступал разумно: от медленного бега все телесные жидкости постепенно разогревались и начинали течь живее.

На пути встречались зрители, но время было слишком раннее, густая толпа заполнит все обочины значительно позднее.

Состязание — дело долгое. Пробегая мимо медресе, Карим сразу же посмотрел на длинную крышу одноэтажного маристана. Женщина, которая дала ему амулет (то была прядь ее волос в маленьком мешочке), сказала, что муж договорился там о месте для нее, чтобы она смогла наблюдать чатыр. Пока же ее там не было, но на улице перед самой больницей стояли двое из числа мужчин-сиделок и громко выкрикивали: «Хаким! Хаким!» Карим на бегу помахал им рукой, понимая, что разочарует их, следуя в самом хвосте забега.

Участники состязания пробежали зигзагами по территории медресе и продолжили свой путь к майдану в центре города, где уже были разбиты два громадных открытых шатра. Один, устланный коврами и разукрашенный парчой, предназначался для придворной знати; там столы были уставлены изысканными яствами и всевозможными винами. В другом шатре, для бегунов низкого рождения, предлагались бесплатные лепешки, плов и шербет; манил он, однако, ничуть не меньше первого. Здесь, у шатров, состязание избавлялось от доброй половины своих участников — с радостными криками те набрасывались на питье и закуски.

Карим, в числе многих других, пробежал мимо палаток, не останавливаясь. Они обогнули по широкой дуге каменные столбы, служившие воротами для игры в конное поло, и прежней дорогой побежали обратно, к Райскому дворцу.

Теперь бегунов стало заметно меньше, к тому же по пути они растянулись, и Карим уже мог без помех выбрать нужный темп.

Перед ним был выбор из нескольких вариантов тактики. Некоторые достигали успеха, не уступая первенства на ранних этапах состязания, обеспечивая себе на утренней прохладе запас, на котором можно было держаться потом. Но когда-то давно Заки Омар учил его: чтобы успешно одолеть такую длинную дорогу, нужно правильно выбрать темп — такой, чтобы исчерпать последнюю каплю сил к самому концу состязания, — и придерживаться этого темпа во что бы то ни стало. Карим был способен выбрать такой идеальный темп и держать его, как упорно идущая рысью лошадь. В римской миле тысяча шагов, по пяти длин стопы в каждом, но Карим, пробегая милю, делал пример, но тысячу двести шагов, каждый чуть больше четырех стоп. Спину он держал идеально прямо, голова высоко вскинута, и эти стук-стук-стук его ног по земле, в избранном им темпе, звучали словно голос старого друга.

На такой скорости он уже начал обходить некоторых бегунов, хотя отлично знал, что

большинство из них не участвует в состязании всерьез. Карим возвратился к воротам дворца, двигаясь легко, без лишнего напряжения, и переложил в свой колчан первую стрелу.

Мирдин протянул ему целебную мазь от солнечных ожогов, от которой Карим пока отказался, и воду, которую он выпил с благодарностью, но экономно.

— Ты идешь сорок вторым, — сообщил ему Иессей. Карим кивнул и побежал дальше.

* * *

Теперь уже полностью рассвело. Солнце поднялось пока невысоко, но припекало, ясно указывая, что день предстоит очень жаркий. Что ж, этого нужно было ожидать. Иногда Аллах мог смилиться над бегунами, но чаще всего чатыр проходил под горячим персидским солнцем, превращаясь в тяжелое испытание. Заки Омар достиг своих лучших результатов, заняв в чатыре второе место дважды: когда Кариму было двенадцать лет и четырнадцать. Ему до сих пор помнился тот ужас, который он испытывал, глядя на исчерпавшего последние силы Заки с побагровевшим лицом и едва не выскакивающими из орбит глазами. Заки держался долго, бежал далеко, на пределе своих возможностей, но в каждом чатыре находился один-единственный бегун, который был способен продержаться чуть дольше и пробежать чуть больше.

Карим нахмурился и прогнал эту мысль из памяти.

Преодолеть холмы ему показалось нисколько не труднее, чем на первом этапе забега, и он взбежал на них не задумываясь. Зрителей повсюду стало больше — стояло чудесное летнее утро, а у исфаганцев был праздник. Большинство лавок было закрыто, и вдоль всей дороги стояли или сидели группами люди: армяне отдельно, индийцы отдельно, евреи отдельно, члены ученых корпораций и религиозные деятели тоже держались в кругу своих.

Когда Карим снова подбежал к лечебнице и снова не увидел женщину, которая обещала быть там, он ощутил разочарование. Возможно, однако, что ей не разрешил прийти муж.

Перед медресе собралась целая толпа зрителей, они махали Кариму руками и подбадривали его громкими возгласами.

Добежали до майдана. Там уже веселились вовсю, все равно что вечером в четверг. Музыканты, жонглеры, фехтовальщики, акробаты, танцовщицы, факиры — все старались развлечь зрителей, а бегуны, на которых почти не обратили внимания, обежали площадь по краю.

Кариму стали встречаться выдохшиеся участники состязания — они лежали или сидели на обочинах.

Перекладывая в колчан вторую стрелу, он снова отказался от настойчиво предложенной Мирдином мази. В глубине души он со стыдом признавал, что делает это по одной причине: кожа после мази не очень хорошо смотрится, а ему хотелось показаться возлюбленной в лучшем виде. Да все равно, он сможет получить мазь, когда пожелает — они уговорились заранее, что Иессей, начиная с этого этапа, будет сопровождать его на своем гнедом. Карим хорошо себя изучил. Близилось время первого серьезного испытания его духа, ибо до сих пор он всегда чувствовал себя опустошенным, пробежав двадцать пять римских миль.

Трудности возникли примерно так, как он ожидал. Поднимаясь на холм по улице Тысячи садов, он почувствовал, что натер правую пятку. Невозможно пробежать такое большое расстояние и совсем не повредить ног, так что нужно просто не обращать на это

никакого внимания, но вскоре добавилась еще и боль в правом боку. Она пульсировала, нарастала, пока он не начал судорожно вздыхать от боли всякий раз, когда правая нога касалась земли.

Карим махнул рукой, подозвал Иессея. У того за седлом был мех с водой, однако теплая водичка, отдающая кожей козла, не очень-то облегчила его страдания.

Но вот он приблизился к медресе и сразу углядел на крыше больницы ту женщину, которую уже давно высматривал. Ему показалось, что все боли и тревоги разом отступили, оставили его.

* * *

Роб неотступно следовал за Каримом, словно верный оруженосец за рыцарем. Когда приблизились к маристану, он увидел Мэри, они ласково улыбнулись друг другу. В своем черном траурном одеянии она была бы незаметна в толпе, если бы не лицо: на нем не было ни румян, ни притираний, но оно было открыто, а лица всех прочих женщин вокруг скрывались за тяжелыми черными покрывалами, какие и положено носить на улице. И все, кто был на крыше, держались подальше от его жены, словно опасались, как бы она не развратила их своими европейскими манерами.

Женщин сопровождали рабы. Роб узнал евнуха Вазифа, который стоял позади маленькой фигурки, закутанной в бесформенные черные одежды. Лицо ее скрывала вуаль из конского волоса, но он не мог не заметить глаза Деспины и направление ее взгляда.

Проследив это направление до фигуры Карима, Роб увидел и то, отчего у него сперло дыхание в груди: Карим тоже отыскал Деспину и не сводил с нее глаз. Пробегая мимо нее, он поднял руку и прикоснулся к висящей на шее ладанке.

Робу показалось, что такую открытую демонстрацию чувств должны были заметить все вокруг, но гомон толпы, подбадривающей бегунов, ни капельки не изменился. Проезжая у стен медресе, Роб старался отыскать взглядом среди зрителей Ибн Сину, но того нигде не было видно.

* * *

Карим убегал от боли в боку до тех пор, пока она не пошла на убыль и не исчезла совсем, а на натертую ногу он просто не обращал внимания. Начала сказываться усталость, вдоль всей дороги люди на запряженных осликами телегах подбирали бегунов, которые не в силах были состязаться дальше.

На этот раз, перекладывая в свой колчан третью стрелу, Карим позволил Мирдину натереть его мазью из розового масла, масла мускатного ореха и корицы. От масел его смуглая кожа сделалась желтой, но мазь защищала от палящего солнца. Иессей разминал ему ноги, а Мирдин тем временем втирал бальзам, потом поднес к пересохшим губам друга чашу и заставил выпить больше, чем тот хотел.

— Я не желаю, чтобы мне вдруг захотелось мочиться! — пытался возражать Карим.

— Ты слишком сильно потеешь, мочиться не придется.

Он понимал, что Мирдин прав, и выпил все. Через миг он снова рванулся с места и

бежал, бежал...

Пробегая в этот раз мимо школы, Карим понимал, что его возлюбленная видит призрак, покрытый желтым жиром, плавающим на солнце, размытым струйками пота, присыпанным дорожной пылью.

Солнце стояло уже высоко и палило нещадно. Земля так раскалилась, что пекла подошвы даже сквозь кожаные туфли. Вдоль всего пути стояли мужчины, протягивавшие бегунам сосуды с водой, и Карим порой приостанавливался, чтобы хорошенько смочить голову, а потом уносился прочь, без единого слова благодарности или благословения.

После того как он забрал четвертую стрелу, Иессей на время исчез, а затем появился снова, уже на вороном коне своей жены. Гнедого он, без сомнения, оставил пить воду и отдыхать в тени и прохладе. Мирдин все стоял у столбов с колчанами стрел и, как они договаривались, внимательно наблюдал за другими бегунами.

По-прежнему Кариму встречались на пути те, кто не выдержал и упал. Кто-то стоял, согнувшись пополам, посреди дороги и пытался рвать, хотя рвать было совершенно нечем. Прихрамывающий индеец остановился и сбросил туфли с ног; потом пробежал с десятков шагов, оставляя на земле кровавые следы, остановился окончательно и стал спокойно ожидать, когда подъедет тележка.

Когда он в пятый раз миновал маристан, Деспины на крыше уже не было. Быть может, он испугал ее своим видом? Ну, теперь не важно, он уже видел ее здесь; время от времени он поднимал руку, прикасался к маленькому мешочку с прядью ее густых черных волос — Карим сам, своими руками срезал эту прядь.

Местами колеса телег, ноги бегунов и копыта лошадей и ослов тех, кто помогал бегунам, вздымали такую тучу пыли, что она забивала ноздри и глотку и вызывала кашель. Карим стал постепенно закрывать свое сознание, удаляться от окружающего, пока не замкнулся почти полностью, ни о чем не думая, позволяя телу делать то, к чему оно привыкло за многие и многие дни подготовки.

Неожиданно, резко, как хлопок бича, прозвучал призыв ко Второй молитве.

Все, кто был на улицах — и бегуны, и зрители — простерлись ниц лицом в сторону Мекки. Карим лежал, его сотрясала дрожь — тело все не могло поверить, что от него пока не требуют никаких усилий, пусть и на краткое время. Хотелось снять туфли, но он понимал, что потом не сумеет надеть их снова на распухшие натруженные ноги. Еще мгновение не шевелился, когда молитва уже окончилась.

— Сколько?

— Восемнадцать, — ответил ему Иессей. — Вот теперь началось настоящее состязание.

Карим поднялся и заставил себя бежать дальше, сквозь сплошную завесу жары. Но он понимал, что настоящее состязание еще и не начиналось.

Теперь взбираться на холмы оказалось куда труднее, чем поутру, но Карим твердо придерживался взятого темпа. Сейчас было хуже всего: раскаленное солнце прямо над головой, а настоящее состязание все еще впереди. Он снова подумал о Заки и понял, что если только не умрет, то будет бежать и бежать, пока не добьется хотя бы второго места.

До сей поры ему недоставало опыта, а в следующем году его тело, возможно, станет слишком старым для такого тяжелого испытания. Значит, все решится именно сегодня.

Эта мысль помогла ему глубже заглянуть в себя и отыскать там новые силы. Некоторые соперники тоже искали, но не нашли ничего. Опуская в колчан шестую стрелу, он спросил Мирдина:

— Сколько?

— Бегунов осталось шестеро, — ответил Мирдин, сам удивляясь этому факту. Карим кивнул ему и побежал дальше.

Вот теперь это состязание.

* * *

Он увидел впереди трех соперников, двое из которых ему были знакомы. Карим понемногу обгонял низенького, хорошо сложенного индийца. Впереди, шагах в восьмидесяти, бежал юноша. Карим не знал его по имени, но узнал в лицо — тот был воином дворцовой стражи. Далеко впереди, но все же достаточно близко, чтобы можно было разглядеть лицо, был бегун известный, житель Хамадана по имени аль-Гарат.

Индиец бежал все тише, но стоило Кариму поравняться с ним, как тот прибавил ходу. Так они и побежали дальше, нога в ногу. Кожа у индийца была совсем темная, почти черная, и на ней выделялись, блестели под солнцем длинные плоские мышцы.

У Заки была очень темная кожа — большое преимущество, когда бежишь под прямыми лучами летнего солнца. Вот Каримовой коже требовался желтый бальзам, она была цвета светлой выделанной шкуры. Заки всегда говорил, что кто-то из женщин в роду Карима переспал со светлокожим греком — воином Александра Македонского, вот и результат. Карим считал, что это похоже на правду. Греческие вторжения в старину происходили не раз, он и сам знал немало светлокожих мужчин-персов и женщин, у которых груди были белы как снег.

Откуда-то выскочила пятнистая собачонка и с громким лаем увязалась за ними.

Они пробегали по улице Тысячи садов; многие зрители протягивали им ломтики дыни и чаши шербета, но Карим, опасаясь судорог, ничего не принимал. Воду он взял, налил в шапочку и водрузил ту на голову. Почувствовал огромное облегчение, только шапочка с поразительной быстротой снова высохла на солнце. Индиец схватил ломтик зеленой дыни и торопливо глотал на ходу, потом бросил корку, не глядя, через плечо.

Оставаясь вместе, они обошли молодого воина. Тот уже выбыл из состязания: у него в колчане было лишь пять стрел, он отставал на целый этап. На его рубашке спереди виднелись две темно-красные полосы от растертых до крови сосков груди. При каждом новом шаге колени у него заметно дрожали — ясно, что долго он уже не продержится.

Индиец взглянул на Карима и блеснул белозубой улыбкой. Карима огорчило, что бежит индиец легко, а лицо у него настороженное, но не слишком напряженное. Интуиция бегуна подсказывала, что соперник выносливее Карима, а утомился меньше. А может быть, и бежит быстрее, если уж на то пошло. Преследовавшая их собачонка вдруг вильнула и перебежала дорогу прямо перед ними. Карим подпрыгнул, чтобы не споткнуться о собаку, почувствовал ногами комок теплого меха, а псина врезалась прямо в ноги индийцу, и тот упал.

Карим обернулся посмотреть на него. Индиец поднялся было, но тут же снова сел на землю. Правая стопа торчала под каким-то невероятным углом, и соперник недоверчиво разглядывал ногу — он никак не мог взять в толк, что для него состязание закончилось.

— Беги! — крикнул Кариму Иессей. — Я позабочусь о нем, а ты беги! — Карим сосредоточился и побежал так, будто вся сила индийца перешла в него самого, будто это Аллах говорил с ним голосом зимми. Карим начал думать, что сегодня, может быть, и есть

Почти весь этот этап он шел позади аль-Гарата. Один раз, на улице Поборников веры, он подошел совсем близко к этому сопернику, и тот обернулся через плечо. Когда Карим жил в Хамадане, они знали друг друга; по глазам аль-Гарата он понял, что тот его тоже узнал, но в этих глазах было и привычное презрение: «А-а, так это мальчишка для удовольствий Заки Омара!»

Аль-Гарат прибавил ходу и вскоре снова опередил Карима на двести шагов.

Карим положил в колчан седьмую стрелу, а Мирдин, подавая воду и вновь намазывая его желтой мазью, рассказывал о соперниках:

— Ты бежишь четвертым. Первым идет некий афганец, имени его я не знаю. Вторым — бегун из Рея, зовут его Мадави. За ними — аль-Гарат и ты.

Целый этап и еще половину Карим шел позади аль-Гарата, словно знал свое место, но мысли его порой убегали далеко вперед, к тем двоим, которых и видно не было — настолько они его опережали. Афганец бегал в Газни по тропам на таких высоких горах, что даже воздух там истончается. Знающие люди говорили, что когда такие бегут по долине, они совсем не устают. А о Мадави из Рея он слышал, что это отличный бегун.

Однако, спускаясь с короткого крутого холма на улице Тысячи садов, Карим увидел на обочине дороги оцепеневшего бегуна. Тот держался руками за правый бок и плакал. Карим вслед за аль-Гаратом пробежал мимо, но Иессей вскоре сообщил ему, что это и был Мадави.

У Карима снова стал ощутимо побаливать правый бок, болели и обе ступни. Призыв к Третьей молитве настиг его в самом начале девятого этапа. Третья молитва — как раз то время, которое тревожило Карима: солнце клонилось все ниже, он опасался, что мышцы его начнут деревенеть. Но жара ничуть не спала, она давила на тело тяжелым одеялом, пока он лежал и молился, а когда поднялся и снова побежал, с него по-прежнему градом лил пот.

Бежал он все в том же темпе, но ему показалось, что он обходит аль-Гарата, словно бы хамаданец и не бежал, а просто прогуливался. Когда они поравнялись, аль-Гарат попытался снова вырваться вперед, но очень скоро его дыхание стало шумным и прерывистым, он зашатался. Его одолела жара. Карим как лекарь знал, что человек может даже умереть, если случается что-то вроде солнечной болезни — кожа высыхает, лицо краснеет, — однако лицо аль-Гарата было бледным и мокрым. Тем не менее Карим остановился, когда его соперник стал спотыкаться и, наконец, замер на месте.

У аль-Гарата еще оставалось достаточно презрения во взгляде, но ему хотелось, чтобы победителем стал перс.

— Давай, беги, ублюдок!

Карим охотно расстался с ним.

Глядя с высоты первого спуска на лежащий внизу прямой отрезок пути, он заметил маленькую фигурку, поднимающуюся на длинный холм в отдалении. В этот момент афганец упал, поднялся и снова побежал. Вскоре он свернул на улицу Поборников веры и скрылся из виду. Кариму было очень трудно держать себя в узде, но он продолжал бежать в прежнем темпе и не видел соперника впереди, пока не достиг улицы Али и Фатимы.

Теперь афганец был гораздо ближе. Он снова упал, снова поднялся и побежал —

неровно, рывками. Быть может, он и привыкк тонкому воздуху, которым трудно дышать, однако же в горах Газни прохладно, и тут исфаганская жара играла на руку Кариму, который неуклонно сокращал разрыв.

Пробегая мимо маристана, он уже не видел и не слышал знакомых ему людей, ибо все внимание Карима было поглощено соперником впереди.

Карим настиг его после четвертого падения, которое оказалось последним. Афганцу принесли воды, прикладывали к телу мокрые полотенца, а он, коренастый крепыш, широкий в плечах, темнокожий, лежал на земле и хватал воздух, как вытщенная из воды рыба. Когда Карим пробежал мимо, афганец слегка скосил спокойные карие глаза и посмотрел ему вслед.

Эта победа, впрочем, принесла ему больше страданий, чем радости, ибо теперь необходимо было сделать выбор. В состязании сегодня победил он; но хватит ли ему сил и дерзости, чтобы попытаться добиться шахского калаата? «Царские одежды», пятьсот золотых и чисто номинальная, но хорошо оплачиваемая должность начальника царских скороходов полагались любому, кто пробежит все двенадцать этапов — 126 римских миль — меньше, чем за двенадцать часов.

Обегая вокруг майдана, Карим оказался лицом к солнцу и внимательно всмотрелся. Он бежал весь день, покрыв девяносто пять миль. Достаточно. У него все болит, больно даже повернуться, чтобы вынуть из колчана и вернуть девять стрел. Можно взять денежную награду, а потом присоединиться к остальным бегунам, которые плещутся сейчас в Реке Жизни. Ему было необходимо искупаться в их зависти, их восхищении, да и в самой реке — уж он-то больше всех заслужил право погрузиться в ее прохладные зеленые воды.

Солнце понемногу катилось к горизонту. Сколько времени оставалось у Карима? А сколько сил сохранило еще его тело? И угодно ли это Аллаху? Времени, должно быть, совсем мало, ему не успеть пробежать еще тридцать одну милю прежде, чем прозвучит призыв к Четвертой молитве, возвещающий о том, что солнце село.

Но он знал и другое: полная победа позволит прогнать Заки Омара из снов, которые порой мучают его по ночам, и сделает это надежнее, чем его попытки переспать со всеми женщинами на свете.

Так получилось, что он не подошел к шатру судей чатыра, а положил в колчан новую стрелу и побежал на десятый этап. Покрытая белой пылью дорога перед ним была пустынна, теперь Карим состязался лишь с темным джинном — призраком человека, которому хотел стать сыном и который вместо этого сделал его своим наложником.

* * *

Состязание, по сути, закончилось: остался только один бегун, он и был победителем, — и зрители стали расходиться. Но теперь вдоль всего пути они собирались снова, потому что увидели, как Карим продолжает бег в одиночку, и поняли, что он старается добиться шахского калаата.

Все они давно разбирались в тонкостях ежегодного чатыра и знали, какова награда за целый день бега под палящими лучами солнца. Поэтому толпа выражала свою симпатию таким оглушительным хриплым ревом, что Карима, казалось, несло на его волне. Этот забег принес ему едва ли не удовольствие. Возле больницы он заметил в толпе лица, сияющие от гордости за него: аль-Джуджани, служителя Руми, библиотекаря Юсуфа, хаджи Давута

Хосейна, даже самого Ибн Сину. Как только он заметил старика, глаза Карима сами метнулись к крыше больницы. Она снова была там, и он понял, что, когда они окажутся наедине, она-то и станет главной его наградой.

Но на второй половине этапа он стал испытывать самые серьезные за все время трудности. Он часто принимал воду, которую ему протягивали, и выливал себе на голову, но от утомления стал менее внимательным и часть воды попала в левую туфлю. Мокрая обувь тут же стала обдирать воспаленную кожу с натруженной ноги. Возможно, это повлияло на его шаг, и вскоре судорога скрутила сухожилие под правым коленом.

Что еще хуже — когда он добежал вновь до Врат Рая, оказалось, что солнце опустилось ниже, чем он предполагал. Оно повисло прямо над холмами, и Карим, начиная новый этап — он молил Аллаха, чтобы этот оказался предпоследним, — быстро терял силы, испытывал страх, что времени уже не хватит, и в целом был охвачен самой черной тоской.

Но горожан охватила какая-то странная лихорадка — каждый из них стал на миг Каримом Гаруном. Даже женщины подбадривали его пронзительными криками, когда он пробегал мимо. Мужчины давали тысячи клятв, восхваляли его, призывали милость Аллаха, молили о помощи Пророка и двенадцать праведных имамов-мучеников.

Люди, загодя узнав о его приближении по крикам стоящих ближе, поливали улицы перед самым его появлением, посыпали его дорогу цветами, бежали рядом с ним, обмахивая веерами или брызгая ароматной водой ему в лицо, на руки и ноги.

Карим почувствовал, как их энергия переходит в его кровь и плоть, зажигает его огнем. Шаг его стал ровнее и тверже.

Ноги поднимались и опускались, и снова, и снова, и снова. Он по-прежнему придерживался своего темпа, только теперь не пытался загнать подальше боль. Наоборот, он сосредотачивался на боли в боку, в ступнях, в мышцах ног, пытаясь таким образом рассеять одолевающую его усталость.

Когда он забирал себе одиннадцатую стрелу, солнце уже садилось за холмы, виднелся край размером с полмонеты.

И в сгущающихся тенях он вышел на последний этап, вверх по первому короткому склону, потом вниз по крутому спуску на улицу Тысячи садов, по ровному участку, потом снова вверх по длинному подъему. Сердце гулко стучало. Достигнув улицы Али и Фатимы, он вылил себе на голову воду и даже не почувствовал ее.

Он бежал, а боль все нарастала. Пробегая мимо школы, он даже не отыскивал взглядом товарищей — его слишком заботило то, что конечности утрачивали чувствительность.

И все же стопы, которых он не чувствовал, продолжали подниматься и опускаться — стук-стук-стук, — толкая тело все вперед и вперед.

На майдане в этот раз никто не смотрел на акробатов и фокусников, но Карим никого не видел, не слышал рева толпы. Он бежал один в своем мире молчания, бежал навстречу завершению угасающего дня.

Когда он вновь появился на улице Тысячи садов, то увидел на дальних холмах бесформенный багровый отсвет заходящего солнца. Кариму казалось, что сам он движется медленно, слишком медленно, по ровному участку, снова вверх — вверх по последнему холму!

Он буквально слетел вниз — то был самый опасный момент: если потерявшие чувствительность ноги подведут его и споткнутся, если он упадет, то уже просто не сможет подняться.

Вот он повернул и пробежал через Врата Рая. Солнца уже не видно. Теперь ему казалось, что неясные силуэты людей плывут над землей, молча побуждая его бежать и бежать. Но внутренним взором он ясно видел, как мулла ступает на узкую спиральную лестницу минарета, поднимается к маленькой площадке на высокой башне и ждет, пока не умрет последний солнечный лучик.

В распоряжении Карима оставались мгновения.

Он пытался заставить свои будто бы мертвые ноги делать более размашистые шаги, изо всех сил ускоряя свой темп, ввевшийся за целый день во все его существо.

Чуть впереди какой-то маленький мальчик, стоявший рядом с отцом, выбежал на дорогу и замер, глядя на мчащегося к нему великана.

Карим подхватил мальчика, не останавливаясь, посадил себе на плечи, и от рева тысячной толпы содрогнулась земля. Когда он с мальчиком на плечах добежал до столбов, там его уже ждал Ала ад-Даула. Карим взял двенадцатую стрелу, и шах Персии снял с себя тюрбан, надел на голову Карима, а на свою водрузил шапочку с пером, в которой тот бежал.

Бурное ликование толпы прервал призыв муэдзинов, прозвучавший со всех минаретов города. Все повернулись лицом в сторону Мекки и погрузились в молитву. Мальш, которого Карим так и держал, захныкал, и Карим отпустил его. Окончилась молитва, он поднялся, и тут сам царь и высшие придворные набросились на победителя, как навязчивые собачонки. А вокруг стояли и кричали от восторга простые люди, каждый старался протиснуться вперед и прикоснуться к нему. Кариму Гаруну вдруг показалось, что неожиданно-негаданно он стал повелителем Персии.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПОЛЕВОЙ ХИРУРГ



— Почему они меня так не любят? — спрашивала Роба Мэри.

— Не знаю. — Сам факт он отрицать не пытался: его жена была далеко не глупа. Когда к их порогу прибрела едва научившаяся ходить младшая дочь Галеви, то ее мать Юдифь (которая больше не приносила свежих лепешек в подарок еврею-чужестранцу) мигом подбежала и молча забрала дочку, словно хотела уберечь ее от чумы. Роб повел Мэри на еврейский рынок и там обнаружил, что никто больше не улыбается ему как еврею, заслужившему калаат, и торговка Гинда больше не считает его своим любимым покупателем. Встретившиеся им другие соседи, Наома и ее дородная дочь Лия, отвернулись, не здороваясь, словно бы и не намекал ему некогда башмачник Яаков бен Раши, что Иессей может стать членом его семьи.

Куда бы ни пошел в Яхуддиейе сам Роб, повсюду группы оживленно беседующих людей, завидев его, умолкали и смотрели на него настороженно. Он видел, как они многозначительно толкали друг друга локтями в бок, видел горящую ненависть в случайном взгляде; даже проклятия нет-нет да и срывались с губ старого реб Ашера Якоби Обрезателя. То была злость на одного из своих, того, кто осмелился вкусить запретный плод.

Роб утешал себя тем, что ему все равно. В конце концов, какое дело ему до жителей еврейского квартала?

Но Мирдин Аскарри тоже как-то изменился. Роб и представить себе не мог, что тот станет его чуждаться. Уже столько дней ему не хватало по утрам улыбки Мирдина, обнажавшей крупные зубы, не хватало тепла его дружбы. Мирдин неизменно здоровался с ним, причем лицо у него сразу застывало, и сразу же отходил подальше.

Наконец Роб захватил Мирдина врасплох, когда тот прилег в тени под каштаном во дворе медресе, читая последний, двадцатый том трудов Разеса.

— Хороший лекарь был Разес! Его «Аль-Хави»^[176] охватывает все области лекарского искусства! — как-то смущенно проговорил Мирдин.

— Я прочитал двенадцать томов, скоро доберусь и до остальных. — Роб пристально посмотрел на Мирдина. — Разве это плохо, что я нашел женщину, которую смог полюбить?

— Как ты мог взять жену из чужаков? — удивленно взглянул на него Мирдин.

— Мирдин, она сокровище!

— «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче ея речь ее»^[177]. Она же из гоев, Иессей! Глупец! Мы — народ, который рассеян по свету и окружен врагами, нам приходится бороться за выживание. И всякий раз, когда кто-то женится на женщине другой веры, это значит, что прерывается его род среди нас, мы лишаемся его потомства. И коль ты этого не понимаешь, ты не такой человек, каким я тебя считал. Я не желаю водить с тобой дружбу.

Вот как! Роб ошибался — жители еврейского квартала играли немалую роль в его жизни, ведь они по доброй воле приняли его в свою среду. Этот же человек играл самую важную роль, ибо подарил ему свою дружбу, а друзей у Роба было не так много, чтобы ими разбрасываться.

— Я действительно *не такой* человек, каким ты меня считал. — Роб испытывал настоятельную потребность выговориться, он ни минуты не сомневался, что этот человек его не предаст. — И женился я не на женщине чужой для меня веры.

— Да она ведь христианка!

— Именно.

У Мирдина кровь отлила от лица.

— Это что, глупая шутка?

Роб ничего на это не ответил, и тогда Мирдин встал с земли и бережно подобрал книгу.

— Извращенец! Окажись это правдой — если ты, конечно, не лишился рассудка, — ты рискуешь не одной лишь своей головой! Ты и меня ставишь под удар. Почитай фикх — там написано, что, говоря мне такие вещи, ты делаешь меня соучастником преступления, если только я не донесу на тебя. — Он зло сплюнул. — Сын лукавого! Ты ставишь под удар и моих детей! Я проклинаяю тот день, когда мы встретились. — Мирдин торопливо зашагал прочь.

Но дни проходили за днями, а люди калантара не приходили за Робом. Значит, Мирдин не побежал доносить.

В больнице же женитьба Роба не создала ему никаких трудностей. Среди тех, кто работал в маристане, пошли слухи, что он взял в жены христианку, но на него и так смотрели как на человека не **обычного**: чужеземец, еврей, который сидел в тюрьме, а потом по **лучилкалаат**. И на этот необычный брачный союз посмотрели как на очередное его чудачество. Если не считать этого, то в мусуль **манском** обществе, где человеку разрешалось иметь четырех жен, **появление** у кого-то новой жены не вызывало особого интереса.

И все же он всей душой ощущал потерю Мирдина. Карима он сейчас тоже почти не видел: молодой хаким стал вращаться в среде придворной знати, его днем и ночью приглашали то на один прием, то на другой. После чатыра имя Карима было у всех на устах.

Так вышло, что Роб остался один со своей женой, как и она с ним. Жизнь вдвоем заладилась у них с самого начала. Как раз ее рук и не хватало его дому, теперь там стало куда теплее и уютнее. Охваченный любовью, он проводил с Мэри каждую свободную минуту, а когда они бывали порознь, Роб все время вспоминал ее влажную розовую плоть, нежную линию носа, живые умные глаза.

Они ездили за город, на холмы, и предавались любви в потайном гроте шаха Ала, где был серный источник. Дома он оставил на видном месте книгу со старинными индийскими рисунками, а когда попробовал некоторые позы, изображенные на них, то убедился, что Мэри вдумчиво изучила книгу. Одни позы доставляли им большое удовольствие, другие заставляли их веселиться. Они частенько заливисто хохотали, занимаясь любовными играми на спальном циновке. Но Роб неизменно оставался ученым.

— Отчего у тебя так много влаги? Ты словно колодец, который засасывает меня.

В ответ жена ткнула его локтем в ребра.

Однако собственная любознательность ее вовсе не смущала:

— Мне так нравится, когда он у тебя маленький — мягкий, слабый, а на ощупь напоминает атлас. Отчего он меняется? У меня когда-то была нянюшка, так вот она говорила, что он становится таким длинным, тяжелым и плотным потому, что наполняется воздухом. А что ты об этом думаешь?

Роб отрицательно покачал головой:

— Только не воздухом. Его наполняет кровь из артерий. Видел я одного повешенного, у которого твердый член так переполнился кровью, что стал походить цветом на лосося.

— Но ведь я не вешала *тебя*, Роберт Джереми Коль!

— Это связано с обонянием и зрением. Как-то раз я совершал утомительное

путешествие, мой конь уже и копыта переставлял с большим трудом. Но вот он почуял носом кобылу, мы еще ее не увидели, а его орган и все мышцы стали твердыми как дерево, и помчался он к ней так резво, что мне пришлось крепко натягивать узду!

Роб так любил жену! Она стоила любых жертв. Но сердце у него гулко забилося, когда однажды вечером на пороге возникла знакомая фигура и кивнула в знак приветствия.

— Входи, Мирдин!

Мэри, которую Роб представил гостю, с любопытством на него поглядывала. Однако поставила на стол вино, сладкие коржики и почти сразу оставила их вдвоем — пошла кормить животных. У нее была острая интуиция, которую Роб уже не раз имел возможность оценить.

— Так ты и вправду христианин?

Роб кивнул.

— Я могу отвезти тебя в один дальний городок в провинции Парс, там рабейну — мой дальний родственник. И если ты попросишь, чтобы ученый человек обратил тебя в нашу веру, он, возможно, и согласится. Тогда у тебя не будет причины лгать и вводить всех в заблуждение.

Роб внимательно посмотрел на него и отрицательно покачал головой.

— Если бы ты был негодяем, — тяжело вздохнул Мирдин, — ты бы сразу согласился. Но ты человек честный и верный, да и лекарь необыкновенный. Вот поэтому я и не могу отвернуться от тебя.

— Спасибо!

— Иессей бен Беньямин — это не твое имя?

— Да. На самом деле меня зовут...

Но Мирдин резко замотал головой и поднял руку:

— То, другое имя не должно звучать в нашей беседе. Ты остаешься Иессеем бен Беньямином. — Он окинул Роба оценивающим взглядом. — Ты ведь прижился в Яхуддиейе. Да, иной раз ты говоришь и делаешь не то, что нужно по нашим обычаям.

Я себе это объяснял тем, что твой отец — европейский еврей, отступник, который уклонился с нашего прямого пути и не позаботился передать сыну наследие предков.

Но ты должен все время быть начеку, чтобы не допустить роковой ошибки. Если тебя раскроют, то твой обман повлечет ужасный приговор шариатского суда. Несомненно, тебя казнят. Но если тебя схватят, это может поставить под угрозу всех живущих здесь евреев. Пусть они не виноваты в твоём обмане — в Персии никого не удивишь тем, что наказывают и невиновных.

— А ты уверен, что хочешь быть замешанным в таком рискованном предприятии? — тихо спросил его Роб.

— Ты знаешь, я все обдумал. Я твой друг и им останусь.

— Это меня радует.

Мирдин кивнул.

— Но я потребую с тебя плату.

Роб молча ждал продолжения.

— Ты обязан понять, за кого себя выдаешь. Быть евреем — это куда больше, чем просто носить кафтан и стричь бороду на определенный манер.

— И как же мне достичь такого понимания?

— Ты должен непременно выучить заповеди Господни.

— Ну, десять заповедей я знаю! — Агнесса Коль научила им всех своих детей.

Но Мирдин покачал головой:

— Эти десять — лишь небольшая часть законов, которые записаны в Торе. Всего же в ней шестьсот тринадцать заповедей. Вот их ты и должен будешь выучить, а заодно и Талмуд — комментарии, поясняющие каждый закон. Лишь после этого ты сумеешь разглядеть душу моего народа.

— Мирдин, да ведь это еще хуже фикха! Меня и так уже учеба с головой поглотила, — в отчаянии проговорил Роб.

Глаза Мирдина сверкнули.

— Такова цена, — повторил он.

Роб понял, что он совершенно серьезен.

— Чтоб тебя! — вздохнул он. — Я согласен.

И теперь Мирдин улыбнулся, впервые за все время. Налил себе немного вина и, не обращая внимания на европейский стол и стулья, опустился на пол, сел, скрестив ноги.

— Итак, начнем. Первая заповедь: «Плодись и размножайся».

Роб подумал о том, сколь приятно ему видеть теплое, такое милое лицо Мирдина в своем домике.

— Это я стараюсь выполнять, Мирдин, — сказал он, улыбаясь другу. — Тут уж я стараюсь изо всех сил!

— Имя у нее — Мария, как у матери Иешуа, — сказал Мирдин жене, обращаясь к ней на своем наречии.

— Ее зовут Фара, — по-английски представил Роб жену друга.

Жены двух друзей внимательно разглядывали друг друга.

Мирдин привел к ним в гости свою жену и обоих смуглых мальчиков, Давида и Иссахара. Женщины, не зная языка, не могли общаться между собой, и тем не менее вскоре переговаривались, используя хихиканье, жесты, вращение глазами и возгласы разочарования. Фара стала подругой Мэри, скорее всего, по желанию своего мужа, однако вскоре обе женщины, ни в чем одна на другую не похожие, прониклись друг к дружке симпатией.

Фара научила Мэри, как надо закалывать ее длинные рыжие волосы и покрывать их платком, прежде чем выходить из дому. Некоторые еврейки прятали лица за покрывалами на манер мусульманок, но большинство ограничивалось тем, что закрывало волосы. Такой нехитрый прием позволил Мэри не выделяться среди других. Фара сводила ее на базар и показала лавочки, где продукты были свежими, а мясо отменным, указала и тех торговцев, у кого делать покупки не следует. Объяснила Фара и то, как выбирать кошерное мясо, вымачивая и засаливая его, дабы удалить избыток крови. Еще показала, как готовить: мясо, размолотый в порошок стручковый перец, чеснок, лавровый лист и соль кладут в глиняный горшочек, потом обкладывают его горячими угольями, накрывают и оставляют на всю долгую субботу медленно тушиться, отчего мясо становится сочным, нежным. Получается блюдо, называемое *шопент* — оно стало любимым кушаньем Роба.

— Ах, как бы мне хотелось поговорить с ней по-настоящему, и ей кое-что рассказать, и у нее кое-что узнать! — говорила Мэри Робу.

— Я дам тебе уроки по их наречию.

Но Мэри не желала учить языки — ни евреев, ни персов.

— Я не так быстро схватываю иноземные слова, как ты, — отговаривалась она. — Я и английский-то не один год учила, а над латынью трудилась, словно рабыня. Разве мы еще не скоро отправимся в те края, где говорят на моем родном гаэльском?

— Когда придет время, — отвечал Роб, но ничего конкретного не обещал.

* * *

Мирдин взял на себя задачу снова сделать Иессея бен Беньямина своим в квартале Яхуддией.

— Со времен царя Соломона — да нет, даже раньше! — евреи находили себе жен среди чужаков, и однако же оставались своими среди евреев. Но всегда эти мужчины ясно показывали, что хранят верность своему народу. И доказывали это всем образом жизни.

По предложению Мирдина они стали дважды в день молиться вместе в Яхуддией — утренний шахарит они совершали в маленькой синагоге «Дом мира», которая очень нравилась Робу, а в конце дня приходили на маарив в «Дом Сиона» неподалеку от жилья Мирдина. Роб не считал это слишком утомительным. Покачивание и созерцание неизменно

успокаивали его, как и ритмичный напев молитв. По мере того как он все больше привыкал к еврейскому наречию, Роб стал забывать, что поначалу приходил в синагогу лишь затем, чтобы не выделяться среди окружающих. Ему даже стало иногда казаться, что его мысли достигают сознания Бога. Молился он не как еврей Иессеи и не как христианин Роб, а просто как человек, взыскующий спокойствия и понимания жизни. Иной раз общение с Богом происходило во время молитвы, а бывало и так, что это приходило, когда он держал в руках памятку своего детства. Случалось, что вокруг все бормотали святые слова, такие древние, что их вполне мог произносить на молитве и сын плотника из Иудеи, а Роб взывал к одному из маминых святых заступников или же молился Иисусу и Богоматери.

Постепенно на него все реже бросали сердитые взгляды, а потом и вовсе перестали. Шли месяцы, и жители Яхуддией привыкли к тому, что рослый английский еврей держит в руках душистый лимон и размахивает пальмовыми ветвями в синагоге «Дом мира» во время *суккота*, праздника урожая, постится вместе со всеми на *Йом Кипур*, танцует в длинной процессии, которая следует за Ковчегом Завета, празднуя день, когда Бог дал своему народу Тору. Яков бен Раши поведал Мирдину: совершенно ясно, что Иессей бен Беньямин стремится искупить свой непродуманный поступок — женитьбу на женщине из чужаков.

Мирдин, впрочем, был проницателен, он хорошо понимал разницу между маскировочной окраской и настоящей душевной преданностью.

— Прощу тебя только об одном, — говаривал он Робу, — никогда не будь десятым.

Роб Джереми его понял. Если верующие евреи собирались на общую молитву, *миньян*, требовалось не менее десяти мужчин ^[178]. И было бы ужасно обманывать их ради того, чтобы создать иллюзию такой десятки. Роб дал обещание, не задумываясь, и сдерживал его неукоснительно.

Почти каждый день им с Мирдином удавалось выкроить время, чтобы заучивать заповеди. Книгами при этом они не пользовались, Мирдин знал все правила как устный закон.

В этом случае, по понятиям иудаизма, молитва считается коллективной, а не индивидуальной.

— Все согласны в том, что из Торы можно извлечь шестьсот тринадцать заповедей, — объяснял он. — Но в том, что касается конкретных путей их постижения, мнения расходятся. Один знаток может считать некое правило самостоятельной заповедью, другой же считает это правило продолжением предшествующего закона. Я передаю тебе шестьсот тринадцать заповедей в том виде, как они издавна передаются из поколения в поколение в моей семье. Меня научил им мой отец, реб Мулька Аскар из Маската.

Далее Мирдин сказал, что 248 *мицвот* ^[179] — предписывающие. Например, указание о том, что иудею надлежит заботиться о вдовах и сиротах. Остальные 365 — запрещающие, например, правило, что иудей не должен брать взятки.

Учить мицвот с Мирдином было заметно веселее, чем заниматься собственно учебными предметами — испытание-то здесь проходить не придется! Робу нравилось сидеть за чашей вина и постигать еврейские законы, а вскоре он обнаружил, что благодаря этим занятиям ему стало легче учить и мусульманский фикх.

Роб теперь трудился как никогда много, но дни свои проводил с наслаждением. Он понимал, что ему живется в Исфагане куда легче, нежели Мэри. Пусть в конце дня он спешил к ней — каждое утро он все равно уходил от нее в маристан и в медресе и тоже спешил туда, хотя и с несколько иными чувствами. В тот год они проходили Галена, и Роб

погрузился в изучение анатомических особенностей, которые не видны при осмотре больного. Он узнавал различия между артериями и венами, особенности пульса, работу сердца, напоминающего постоянно сжимающийся и разжимающийся кулак, прогоняющий кровь по всему телу: сжимается — систола, разжимается, вновь впуская в себя кровь — диастола.

Окончился период его ученичества у Джалала, и от растяжек, шин и веревок костоправа Роб перешел к набору инструментов хирурга — он теперь был учеником аль-Джузджани.

— Он меня недолюбливает, — жаловался Роб Кариму, проведенному больше года в ученичестве у аль-Джузджани. — Он ничего мне не разрешает делать, только чистить и затачивать инструменты.

— Он начинает так с любым учеником, — успокоил Карим. — Не стоит огорчаться из-за этого.

Ну да, Кариму теперь легко было говорить о терпении. В его калаат входил и большой красивый дом, так что теперь Карим оттуда уходил навещать своих больных — большей частью придворных. В среде знати стало модным позволить себе упомянуть в разговоре между делом, что лечит его не кто иной, как персидский герой-атлет, Карим — победитель чатыра. Пациентов он приобретал с такой быстротой, что вполне преуспевал бы и без денежной награды за победу, и без ежегодного содержания, которое назначил ему шах. Карим цвел, щеголяя в дорогом наряде, а приходя в дом Роба, приносил с собой богатые подарки: изысканные яства и вина, а однажды принес даже хамаданский напольный ковер с густым и толстым ворсом — свадебный подарок. Он заигрывал с Мэри взглядом и говорил ей откровенные комплименты на фарси. Мэри объявила, что не понимает языка и рада тому, но вскоре она привязалась к Кариму и относилась к нему как к брату-сорванцу.

Роб полагал, что в больнице к Кариму отнесутся более сдержанно. Куда там! Все учащиеся толпились вокруг него, когда он занимался лечением больных, и слушали, как наимудрейшего из всех мудрецов. Роб не мог не согласиться, когда Мирдин Аскарри сказал с усмешкой, что лучший способ стать прославленным лекарем — это добиться победы в чатыре.

* * *

Иногда аль-Джузджани отвлекал Роба от работы вопросами о том, как называется инструмент, который он чистит; для чего тот предназначен. Инструментов здесь было несравненно больше, чем Роб имел, когда был цирюльником-хирургом — каждый инструмент для особой операции. И он чистил и затачивал закругленные бистури [\[180\]](#), изогнутые бистури, скальпели, пилы для костей, ушные кюретки [\[181\]](#), зонды, ножики для вскрытия цист, сверла для удаления чужеродных тел из костей...

В конце концов он понял смысл метода обучения у аль-Джузджани, потому что по прошествии двух недель, когда Роб уже начал помогать учителю в операционной комнате маристана, лекарю стоило лишь отрывисто пробормотать название инструмента, и он сразу мог отыскать и подать ему нужный.

Два других ученика уже несколько месяцев помогали аль-Джузджани в операционной. Им позволялось самостоятельно выполнять несложные операции, причем их учитель неизменно сопровождал это своими едкими комментариями и подробными критическими

замечаниями.

Потребовалось десять недель ассистирования и наблюдения за работой мастера, прежде чем Робу было впервые позволено резать самому — под наблюдением преподавателя. Случилось так, что надо было ампутировать указательный палец одному носильщику, рука которого угодила под копыто верблюда.

Наблюдая за аль-Джуджани, Роб учился. Лекарь всегда накладывал жгут из тонкого кожаного ремешка, подобно тому, как делают при кровопускании, предварительно наполняя вену кровью. Роб ловко наложил такой жгут и, не колеблясь, произвел ампутацию, потому что такую операцию ему случалось не раз делать за годы работы цирюльником-хирургом. Правда, тогда ему вечно мешало кровотечение, и теперь он восхищался техникой аль-Джуджани — она позволяла оставить нужный лоскут кожи и аккуратно закрыть культю, не вытирая ее поминутно: вытекала едва ли капелька крови.

Аль-Джуджани, хмурый, как всегда, пристально наблюдал за его работой. Когда Роб закончил операцию, хирург молча повернулся и ушел. Он не сказал ни слова похвалы, однако и не ругал, не указал на способ, каким можно было бы сделать операцию лучше. Вытирая стол после операции, Роб не мог не испытывать радость — он одержал пусть маленькую, но победу.

Если царь царей и принимал какие-то меры по ограничению власти своего визиря после разоблачений, сделанных Робом, внешне это не было заметно. Напротив, муллы Кандраси так и шныряли повсюду, с небывалым усердием наблюдая, чтобы жители Исфагана соответствовали представлениям имама о том, каким должен быть образцовый мусульманин, чтящий Коран.

Шах уже семь месяцев не вызывал Роба к себе. Тот, впрочем, и не огорчился: все его внимание поглощали жена и учеба, ни на что другое просто не оставалось времени.

Но однажды утром за ним, как и в прошлые разы, явились дворцовые стражи, весьма переполошив Мэри.

— Шах желает, чтобы сегодня ты сопровождал его на прогулке.

— Не тревожься, все хорошо, — успокоил он жену и отправился вслед за воинами. В больших конюшнях за Райским дворцом он встретил и Мирдина Аскари, без кровинки в лице. Посовещавшись, они пришли к выводу, что за этим приглашением стоит Карим, который со времени своей громкой победы сделался любимым наперником шаха.

Так оно и оказалось. Когда в конюшнях появился шах, сразу же за повелителем следовал Карим. С улыбкой во все лицо он прошагал за шахом к своим друзьям.

Правда, улыбка его стала менее уверенной, когда шах склонился над Мирдином Аскари, который, простершись ниц, бормотал что-то на своем наречии.

— А ну-ка говори на фарси и объясни нам, что ты там хотел сказать, — резко бросил Ала ад-Даула.

— Это благословение, государь. Евреи произносят его, когда видят царя, — не без труда выговорил Мирдин. — «Благословен Ты, Господь Бог Израилев, царь Вселенной, давший от славы своей всякой плоти и человеку».

— Зимми произносят благодарственную молитву, когда видят своего шаха? — спросил Ала, пораженный и довольный этим.

Роб уже знал, что эту *брохублагочестивые* иудеи произносят, увидев любого царя, но ни он сам, ни Мирдин отнюдь не собирались разьяснять эту тонкость шаху. Так что Ала в отличном расположении духа вскочил на своего белого коня, и вслед за ним три друга выехали на загородную прогулку.

— Мне докладывали, что ты взял себе жену родом из Европы, — окликнул шах Роба, сгорбившегося в седле.

— Истинно так, о великий повелитель.

— Еще говорили, что волосы у нее цвета хны.

— И это правда, о могучий владыка.

— Волосы у женщин должны быть черными.

Роб не собирался спорить с царем, ни к чему это. Он был доволен и тем, что его женщину Ала ценит невысоко.

Этот день был весьма похож на предыдущую прогулку Роба с шахом, разве что теперь можно было делить царского внимания с двумя друзьями. Поэтому Робу приходилось меньше напрягаться и он мог получать больше удовольствия, чем в прошлый раз. Ала весьма обрадовался, обнаружив у Мирдина глубокие познания в истории Персии; пока они

медленно ехали, направляясь к холмам, шах и Мирдин вели беседу о разграблении Персеполя Александром Македонским в седой древности. Как перс Ала от души порицал это деяние, как воинственный завоеватель он от души восхищался Александром. Незадолго до полудня Ала ад-Даула, выбрав тенистый уголок, поупражнялся с Каримом в бою на кривых саблях. Пока они кружили, а их сабли звенели, скрещиваясь, Роб с Мирдином вполголоса беседовали о перевязке кровеносных сосудов, обсуждая сравнительные достоинства шелка, полотняных ниток (которые, как они оба согласились, слишком недолговечны), конского волоса и человеческого волоса — последнему отдавал бесспорное предпочтение сам Ибн Сина. В полдень последовал обильный обед с возлияниями под сенью царского шатра, а затем все трое по очереди проиграли повелителю в шахскую игру, хотя Мирдин сражался доблестно и один раз едва не выиграл партию, отчего Ала наслаждался своей победой в полной мере.

Потом они по-дружески плескались в потайном гроте Ала ад-Даулы, давая отдых телу в теплой воде маленького озера, дух же их поддерживали бесконечные чаши превосходного вина.

Карим с наслаждением перекачивал вино на языке, прежде чем проглотить, потом одарил шаха улыбкой:

— Я ведь в детстве был попрошайкой, нищим. Не рассказывал я об этом, о великий повелитель?

Ала улыбнулся Кариму в ответ и отрицательно покачал головой.

— И вот мальчик-попрошайка теперь пьет вино царя царей.

— Правда. А я выбрал себе в друзья мальчишку-попрошайку и парочку евреев! — Ала хохотал громче и искреннее, чем его трое спутников. — У меня есть виды на начальника моих скороходов, виды возвышенные и благородные. А этого зимми я давно уж полюбил, — проговорил шах, дружески похлопывая Роба по плечу с видом слегка пьяного человека. — Теперь вот и другой зимми оказался вроде бы превосходным человеком, которого следует отличить. Когда закончишь медресе, ты должен остаться в Исфагане, Мирдин Аскари, ты станешь моим придворным лекарем.

Мирдин покраснел, испытывая замешательство:

— Ты оказываешь мне великую честь, о повелитель! И я умоляю тебя не прогневаться, но прошу как милости позволить мне, когда я сделаюсь хакимом, возвратиться домой, в края, раскинувшиеся на берегах великого морского залива. Отец мой стар и болен, а я стану первым в нашей семье лекарем, и вот я хотел бы, чтобы он перед смертью увидел, как я возвратился в лоно семьи.

Ала рассеянно кивнул.

— И чем же живет эта семья на берегу великого залива?

— Мужчины нашего рода всегда, насколько простирается память поколений, ездили и ходили вдоль всего побережья и скупали у ныряльщиков жемчуг, о могучий властелин.

— Жемчуг! Это дело хорошее, ибо отличный жемчуг я всегда покупаю. Ты можешь принести большую выгоду и удачу своим сородичам, зимми. Скажи им, пусть отыщут и доставят мне самую большую жемчужину без малейшего изъяна, а я куплю ее, и семья твоя весьма обогатится.

Возвращаясь домой, они все покачивались в седлах от выпитого. Ала изо всех сил старался сидеть прямо, а к ним обращался очень ласково — что могло быстро выветриться из его головы после неизбежного отрезвления, а могло и остаться. Когда добрались до

царских конюшен и вокруг столпились, расталкивая друг друга, служители и прихлебатели, шах решил щегольнуть своим великодушием.

— Мы — четверо друзей! — громко воскликнул он, и половина всего двора ясно расслышала его слова. — Просто четыре добрых человека, четыре друга!

* * *

Эти слова быстро подхватили и, повторенные тысячами уст, они вмиг облетели весь город, как и все сплетни, касавшиеся шаха.

— С некоторыми друзьями нужно быть очень осмотрительным, — предостерег Роба Ибн Сина.

Разговор происходил утром, примерно через неделю после памятной прогулки. Встретились они на приеме, который устроил в честь шаха Фатх Али, богач, торговая компания которого поставляла вина в Райский дворец и в дома большинства придворных. Роб обрадовался, встретив здесь Ибн Сину. После женитьбы Роба главный врач, со свойственной ему деликатностью, крайне редко приглашал его к себе по вечерам. Теперь же они прошли мимо Карима, окруженного толпой знатных почитателей, и Робу вдруг подумалось, что его друг не только объект поклонения, но и пленник.

Необходимость их присутствия на этом торжестве диктовалась тем, что каждый из них в свое время удостоился калаата, но

Роба шахские забавы тяготили. Несколько расходясь в мелочах, все эти приемы были до ужаса похожи друг на друга в главном. Помимо всего прочего Робу еще было жаль пропадающего времени, которого ему вечно не хватало.

— Я бы с большей радостью работал в маристане, там мое место, — так и сказал он Ибн Сине.

Учитель бросил на него предостерегающий взгляд. Они вдвоем прогуливались по поместью виноторговца, наслаждаясь кратковременной свободой, ибо всего минуту-другую назад шах Ала отправился в гарем хозяина.

— Ты всегда должен помнить: общаться с шахом — далеко не то же самое, что водить компанию с простыми смертными, — говорил ему Ибн Сина. — Царь не таков, как ты или я. Он небрежно взмахнет рукой — и с плеч такого, как мы, слетит голова. А то шевельнет пальцем — и кому-то сохранят жизнь. Ему принадлежит полная власть, и ни одному человеку не дано ей противиться. А от этого даже самые лучшие повелители слегка теряют голову.

— Я сам никогда не стремлюсь находиться в обществе шаха, — пожал плечами Роб. — И не имею ни малейшего желания вмешиваться в политику.

Ибн Сина кивнул головой, одобряя сказанное.

— Вот что важно знать о владыках Востока: им нравится отбирать себе врачей, словно визирей, они чувствуют, что лекари уже как-то отличены Аллахом. Я по себе знаю, сколь притягательно подобное назначение, я в полной мере испил хмеля из чаши власти. Когда я был моложе, то дважды принимал на себя должность визиря в Хамадане. Это оказалось куда опаснее, нежели заниматься врачеванием. После первого опыта я едва избег казни. Меня бросили в подземную тюрьму, которая называлась Фардаджан, и там я мучился многие месяцы. А когда Меня выпустили, я уже понимал, что даже на должности визиря в Хамадане

мне спокойно не жить. Вместе с семьей и аль-Джужджани перебрался в Исфаган, с тех пор здесь и живу под покровительством шаха Ала.

Они повернули и направились обратно, в сад, где и происходило торжество.

— Счастье для Персии, что Ала ад-Даула позволяет великим лекарям невозбранно заниматься своим делом.

Ибн Сина улыбнулся.

— Это входит в его планы. Он хочет прославиться как великий царь, покровитель искусств и наук, — сдержанно произнес Учитель. — Будучи еще совсем молодым, он страстно мечтал создать могучую империю. Теперь же хочет и дальше расширять ее, пытаясь пожрать своих врагов, пока те не сожрали его самого.

— Сельджуков.

— О, будь я визирем в Исфагане, этих я опасался бы более всех прочих, — ответил Ибн Сина. — Но Ала-шах пристальнее всего смотрит на Махмуда Газневи, потому что оба они из одного теста. Ала четыре раза вторгнулся в Индию и захватил там двадцать восемь боевых слонов. Махмуд ближе к этому источнику сокровищ, он совершал набеги на Индию чаще и захватил более пятидесяти боевых слонов. Ала ему завидует и побаивается. И если Ала хочет осуществить свою мечту, то ему прежде всего необходимо избавиться от Махмуда.

Ибн Сина остановился и положил руку Робу на плечо.

— Ты должен быть очень осторожен. Знающие люди утверждают, что дни Кандраси на должности визиря сочтены. А займет его место молодой лекарь.

Роб ничего на это не сказал, но вдруг вспомнил, что говорил шах: у него связаны с Каримом «высокие и благородные замыслы».

— Если это так, то Кандраси нанесет беспощадные удары по всякому, кого сочтет другом или сторонником своего соперника. Не стремиться к высоким должностям самому — этого еще мало. Когда лекарю приходится иметь дело с сильными мира сего, он должен научиться гнуться и клониться, иначе ему не выжить.

Роб сомневался, что это у него хорошо получится — гнуться и клониться.

— Только не слишком занимай этим свои мысли, — сказал ему Ибн Сина. — Ала-шах меняет свои намерения часто и круто, так что нельзя заранее точно предвидеть, что и как он станет делать.

Они пошли дальше и возвратились в сад как раз перед тем, как предмет их разговора вернулся туда же из гарема Фатха Али. Выглядел он отдохнувшим, а расположение духа у него было отличное.

Прошло немного времени, и Робу пришла в голову мысль: а принимал ли Ибн Сина у себя в доме своего государя и покровителя? Он подошел к Хуфу и задал этот вопрос.

Седой Капитан Ворот прищурился, напрягая память, потом кивнул:

— Несколько лет тому назад.

Ясно, что первая жена великого лекаря, старая Реза Благочестивая, не могла интересоваться шаха Ала, а потому можно быть вполне уверенным, что он осуществил свои права властелина в отношении Деспины. Роб представил себе, как шах взбирается по винтовой лестнице в каменной башне, а Хуф сторожит у входа.

Потом ложится на хрупкую и чувственную молодую женщину.

Захваченный этим мысленным зрелищем, Роб внимательнее присмотрелся к трем мужчинам, каждого из которых окружала восхищенная толпа льстивых придворных. Вокруг шаха толпилась обычная свита лизоблюдов. Ибн Сина, серьезный и сосредоточенный,

отвечал на вопросы тех, которые выглядели людьми учеными. Карима, как обычно, почти не было видно за спинами восторженных почитателей, стремившихся поговорить с ним, прикоснуться к краю его одежды, насладиться волнующим моментом и присутствием обожаемого кумира.

Эта Персия, похоже, хотела из каждого мужчины по очереди сделать рогоносца.

* * *

С хирургическими инструментами Роб обращался правильно и вполне естественно, будто они были частью его собственного тела. Аль-Джуджани уделял ему все больше и больше своего драгоценного времени, с необыкновенным терпением показывал до последней мелочи, как проводить каждую процедуру. У персов были свои методы, позволявшие обездвижить больного и сделать его нечувствительным к боли. Если несколько дней вымачивать коноплю в ячменном отваре, а потом дать больному выпить настой, то больной сохраняет сознание, но перестает чувствовать боль. Роб две недели провел у мастеров-аптекарей в *хазанат аш-шараф*, постигая искусство изготовления таких сложных напитков, которые погружали больного в сон. Предсказать точно действие этих напитков было трудно, им невозможно было управлять, но достаточно часто они позволяли хирургу проводить операцию, не слыша стонов и воплей пациента и не опасаясь его невольных содроганий.

Впрочем, рецепты снадобий казались Робу скорее колдовскими, чем лекарскими.

Возьми мясо овцы. Освободи его от жира и нарежь кусками, складывая те горкой вокруг и поверх доброго количества сваренных на медленном огне семян белены. Положи все это в глиняный горшочек, а сверху покрой конским навозом и держи так, пока не заведутся черви. Затем помести червей в стеклянный сосуд и жди, покуда они не засохнут. Когда потребуется, возьми их две части, а одну часть — порошка опиума и положи больному в ноздри.

Опиум получали из сока восточного цветка, мака. Его выращивали на полях близ Исфагана, однако спрос далеко опережал предложение, ибо он требовался не только врачевателям, его использовали в своих церемониях и молитвах мусульмане-исмаилиты. Поэтому опиум ввозили из Турции и из Газни именно он служил основой всех болеутоляющих средств.

Возьми чистого опиума и мускатного ореха. Смели и прожарь их вместе да оставь вымачиваться в выдержанном вине сорок дней. Не забывай все время выставлять бутылку на солнце. Скоро получишь пасту. Если из нее сделать пилюлю и дать кому-либо, тот человек сразу лишится сознания и всех чувств.

По большей части пользовались другим рецептом, которому отдавал предпочтение сам Ибн Сина:

Возьми в равных частях белены, опиума, молочая и семян лакричника. Смели каждое по отдельности, а затем смешай все вместе в ступке. Бери этой смеси

понемногу и добавляй в еду, и кто это съест, тот сразу же уснет крепким сном.

Хотя Роб и подозревал, что аль-Джуджани не нравятся его отношения с Ибн Синой, вскоре он уже часто и помногу пользовался всеми хирургическими инструментами. Остальные ученики аль-Джуджани считали, что новичку перепадает слишком много лучшей работы, и хмурились, выражая свою зависть недовольным ворчанием и мелкими пакостями. Роб на это не обращал внимания, потому что он теперь познавал куда больше, чем полагал вообще возможным. Пришел день, когда он завершил — впервые самостоятельно! — операцию, которая поражала его в хирургии более всего прочего: снял катаракту с глаз, потерявших из-за нее способность видеть. Роб пытался благодарить аль-Джуджани, однако хирург сразу пресек его излияния:

— У тебя есть умение резать плоть, а оно дается не каждому. Мои же детальные поучения небескорыстны: ты выполняешь много работы.

Это была правда: день за днем Роб проводил ампутации, сшивал и лечил всевозможные раны, делал проколы в животе, чтобы снять давление скопившейся в брюшной полости жидкости, Удалял шишечки геморроя, вырезал участки варикозных вен...

— Мне думается, тебе слишком уж нравится резать, — заметил пронизательный Мирдин, когда они сидели однажды в его доме за шахской игрой. В соседней комнате Мэри укладывала спать его сыновей, напевая им колыбельную на гаэльском языке шотландцев, а Фара прислушивалась к незнакомому напеву.

— Хирургия притягивает меня, — признался Роб. В последнее время он стал подумывать о том, чтобы после получения звания хакима сделаться хирургом. В Англии их считали ниже лекарей по положению, но в Персии хирурги имели специальное название — *устад* — и пользовались равными с другими лекарями почетом и доходами. Однако были у него и свои сомнения.

— Поскольку речь идет о хирургии как таковой, она меня вполне устраивает. Но ведь мы ограничиваемся операциями лишь на внешней стороне кожных покровов. То, что находится внутри тела, — загадка, описанная в книгах, которым уже тысяча лет! О внутреннем строении человеческого тела мы почти ничего не знаем.

— Ну, так оно и должно быть, — примирительно сказал Мирдин и взял на доске руха Роба одним из своих пехотинцев. — И христиане, и иудеи, и мусульмане согласны в том, что осквернять человеческое тело есть грех.

— Я говорю не об осквернении, а о хирургии. О рассечении тела. Древние не связывали руки своей науке понятием греха, и теперь все то немногое, что мы знаем, — это сведения, почерпнутые у греков древних времен, ибо у них была свобода вскрывать и изучать тело. Они рассекали мертвецов и всматривались во внутреннее устройство организма. В те давно минувшие дни блеск этих ученых озарил на миг все искусство врачевания, а затем мир снова погрузился во тьму. — Он слишком отвлекся и понес урон в игре: Мирдин быстро забрал у него второго руха, да еще и одного из верблюдов.

— Мне кажется, — проговорил Роб после долгого раздумья, — что в течение всех этих долгих веков мрака и невежества тайно вспыхивали маленькие костры знания.

Теперь и Мирдин отвлекся от доски.

— Были люди достаточно сильные, чтобы отважиться тайком препарировать мертвые тела. Те, кто пренебрег запретом священников, дабы выполнить свой долг перед Богом в качестве лекарей.

— Боже правый! — Мирдин смотрел на него широко открытыми глазами. — Да ведь с ними поступят, как с колдунами и ведьмами!

— Конечно, они не могли делиться своими знаниями, но по крайней мере сами их приобретали.

Мирдин уже выглядел весьма встревоженным. Роб посмотрел на него и улыбнулся.

— Да нет, я этого делать не стану, — мягко сказал он другу. — Мне хватает хлопот притворяться евреем. Да и маловато у меня нужной для такого дела смелости.

— Мы должны быть благодарны и за те немногие откровения, которые Бог нам ниспослал, — сухо проговорил Мирдин. Он изрядно переволновался и стал играть из рук вон плохо, быстро потеряв слона и двух лошадей. Только Роб еще не научился закреплять успех. Мирдин же вскоре хладнокровно собрал свои силы и через какой-нибудь десяток ходов, к вящему огорчению Роба, снова привел противника к шахтрангу, отчаянию царя.

Кроме Фары у Мэри не было подруг, но ей хватало и Фары. Они уже привыкли часами сидеть вдвоем и беседовать, причем в таких беседах напрочь отсутствовала привычная для человеческого общения форма вопросов и ответов. Иногда говорила Мэри, а Фара прислушивалась к потоку слов на непонятном ей гаэльском, потом сама Фара говорила на наречии евреев, и очередь не понимать наступала для Мэри.

Но, как ни странно, слова не играли для них большой роли. Роль играли те чувства, которые при этом отражались на лице, выразительные жесты, тон речи, наконец, тайны, которыми делились друг с другом их глаза.

Таким путем они раскрывали свои чувства, и для Мэри было в этом свое преимущество: она ведь говорила о таких вещах, которые не стала бы обсуждать с женщиной, столь недолго ей знакомой. Она говорила о той боли, какую принесла ей потеря отца; о том, как ей одиноко, как не хватает торжественной христианской мессы; о том, какое горькое разочарование ее постигло, когда однажды утром она пробудилась от сна о той молодой и красивой женщине, какой была когда-то Джура Каллен, и поняла, что лежит в маленьком домике в Яхудийе, а потом к ней пришло, подобно прикосновению отвратительной холодной твари, осознание того, что ее мать умерла давным-давно. Еще она говорила о том, о чем не стала бы упоминать, сколь бы долго они ни дружили с Фарой: как сильно она любит мужа — так, что иногда ее даже охватывает непроизвольная дрожь; как по временам желание может нахлынуть на нее такой мощной теплой волной, что она впервые стала понимать разгоряченных кобылиц; как она теперь не может взглянуть на барана, взбирающегося на овцу, без того, чтобы не вспомнить, как ее собственные руки и ноги обвиваются вокруг Роба, не вспомнить вкус его языка у нее во рту, запах его сильного теплого тела, волшебное горячее увеличение мужа, вследствие чего они становятся одним телом и оба стараются сделать так, чтобы он достиг самых глубин ее естества.

Мэри не знала, говорит ли ей Фара о таком, но глаза и уши подсказывали, что временами супруга Мирдина делится с ней вещами важными и сугубо личными. И двух этих женщин, совершенно не похожих, связали узы любви и настоящего уважения, узы дружбы.

Как-то утром Мирдин расхохотался и радостно хлопнул Роба по плечу:

— Ты исполнил-таки заповедь плодиться и размножаться. Она ждет ребенка, барашек ты европейский!

— Не может быть!

— Да-да, — твердо заявил Мирдин. — Сам убедишься. Фара в таких делах никогда не ошибается.

Прошло еще два дня, и после завтрака Мэри побледнела и тут же все вырвала, так что Робу пришлось долго мыть и скрести утрамбованный земляной пол и посыпать его свежим песком. На этой неделе рвота одолевала ее постоянно, а когда не наступили и ежемесячные истечения, никаких сомнений не осталось. Впрочем, удивляться тут было нечему, ведь любви они предавались часто и самозабвенно. Правда, Мэри уже давно беспокоилась, что Бог, наверное, не одобряет их союза.

Обычно месячные она переносила с трудом, с сильной болью, и только радовалась, когда они прекратились, однако постоянная тошнота была немногим лучше. Роб

поддерживал ей голову и помогал потом умыться, а о будущем ребенке думал с удовольствием и в то же время с каким-то дурным предчувствием, взволнованно гадая о том, что за человек вырастет из его семени. Теперь он раздевал жену с еще большим пылом, чем прежде: ученый в нем ликовал при возможности заметить происходящие перемены, все в мельчайших подробностях: ее соски расширились и приобрели багровый оттенок, груди сделались полнее, стал слегка округляться живот, а выражение лица изменилось оттого, что губы и нос немного опухли. Он настаивал, чтобы она ложилась на живот: тогда он мог наблюдать, как накапливается в бедрах и ягодицах жир, как слегка утолщаются ноги. Поначалу Мэри нравилось такое внимание, но постепенно она стала терять терпение.

— Пальцы на ногах, — стонала она. — Что у меня с пальцами?

Роб внимательнейшим образом осмотрел ее ступни и объявил, что пальцы остались такими, какими и были.

* * *

Хирургия потеряла для Роба очарование из-за большого числа кастраций.

Превращение мужчин в евнухов было здесь делом совершенно обычным, проводилась кастрация двух типов. Красивые мужчины, отобранные для охраны входа в гаремы, где им не приходилось тесно общаться с женщинами, лишались только половых желез. В качестве прислуги для гарема ценились безобразные мужчины. Даже платили особые надбавки к цене за такие уродства, как сильно сломанный или от природы некрасивый нос, безобразные толстые губы, черные и кривые зубы. Таких мужчин следовало, кроме того, полностью лишить возможности вести половую жизнь, а потому им удаляли все половые органы и они были вынуждены носить при себе перо для того, чтобы выводить из организма скопившуюся влагу.

Часто кастрации подвергали совсем юных мальчиков. Иной раз их посылали на выучку в школу евнухов в Багдаде, там обучали петь и играть на различных музыкальных инструментах либо старательно натаскивали в искусстве вести дела, покупать всевозможные товары и управлять хозяйством. Такие становились исключительно ценными слугами, важной частью имущества хозяина, как раб-евнух Ибн Сины Вазиф.

Техника операции была отработана раз и навсегда. То, что подлежало ампутации, хирург брал в левую руку. В правой он держал остро наточенную бритву и отсекал надлежащую часть быстро, потому что скорость здесь играла большую роль. На кровоточащую рану немедленно накладывали повязку с теплой золой, и мужчина переставал быть мужчиной.

Аль-Джуджани просветил Роба: если кастрация проводилась в качестве наказания за преступление, то золу прикладывали не всегда, иной раз давая наказанному истечь кровью.

Однажды вечером Роб вернулся домой, посмотрел на жену и постарался отвлечься от мыслей о том, что никто из прооперированных им мужчин и мальчиков уже никогда не сможет наполнить женщину плодом жизни. Он положил руку на живот Мэри, еще не слишком заметно увеличившийся.

— Скоро он станет похож на зеленую дыню, — пошутила Мэри.

— Я хочу посмотреть, как он станет похож на спелый арбуз.

Он ходил в Дом Мудрости и читал там все, что мог, о развитии плода в утробе. Ибн

Сина писал, например, что после того, как утроба приемлет в себя семя, жизнь проходит три стадии развития. По мнению Князя лекарей, на первой стадии один сгусток семени постепенно превращается в крошечное сердце; затем появляется другой сгусток, из которого образуется печень; на третьей же стадии формируются все остальные главные органы.

— А я обнаружила здесь церковь, — сказала ему Мэри.

— Христианскую церковь?

Она кивнула, и Роб был поражен ее открытием. Он и не подозревал, что в Исфагане может быть церковь.

За неделю до этого Мэри вместе с Фарой ходила на армянский базар, покупала пшеничную муку. Они по ошибке свернули в узкий переулок, провонявший мочой, и вдруг оказались перед церковью архангела Михаила.

— Восточные католики? [\[182\]](#)

Мэри снова кивнула.

— Это маленькая, темная церквушка, посещает ее горстка самых бедных работников-армян. Ее потому и терпят, что маленькая и не представляет никакой угрозы для ислама. — Она потом еще дважды возвращалась к церкви в одиночестве и завидовала входившим в нее оборванным армянам.

— Служба, конечно, проводится на их языке. Мы не смогли бы даже ответить на положенные вопросы.

— Но у них есть причастие. И Христос на алтаре.

— Если бы мы пошли туда, моя жизнь оказалась бы в опасности. Ходи с Фарой в синагогу, а мысленно молись по-своему. Я, когда нахожусь в синагоге, молюсь Иисусу и святым угодникам.

Мэри вскинула глаза, и Роб впервые увидел в них огонек упрямства.

— Чтобы молиться, мне не требуется разрешение от евреев! — запальчиво воскликнула она.

* * *

Мирдин согласился с Робом, что не стоит выбирать хирургию в качестве основной специальности.

— Дело ведь не только в кастрации, хотя она ужасна сама по себе. В тех городах, где нет учащихся-медиков, которые могли бы обслуживать шариатские суды, именно хирургу вменяется в обязанность ухаживать за заключенными в темницах после перенесенного ими наказания. Лучше использовать полученные нами знания и умения для борьбы с болезнями и болью, нежели вечно обрабатывать культы и обрубки того, что должно было быть нормальными, здоровыми конечностями и органами тела.

Они сидели под лучами недавно взошедшего солнышка на каменных ступенях медресе. Мирдин вздохнул, когда Роб рассказал ему о том, как Мэри тоскует по церкви.

— Когда вы наедине, читай вместе с нею свои молитвы. А как только сможешь, увези ее к своему народу.

Роб кивнул, задумчиво глядя на друга. Мирдин возненавидел его, когда счел евреем, изменившим своей вере. Но с тех пор, как узнал, что Роб сам из чужаков, он показал всю глубину своей дружбы.

— Аты задумывался когда-нибудь, — медленно проговорил Роб, — о том, что всякая вера не сомневается, что Бог лишь на ее стороне? Мы, вы, мусульмане — все утверждают, что только их вера истинная. А не может быть, что все три наши религии заблуждаются?

— Возможно, все три по-своему правы, — ответил на это Мирдин.

Роба охватило чувство нежности к другу. Мирдин скоро станет врачом и вернется к своим родственникам в Маскат, и Роб тоже отправится восвояси, став хакимом. Они уж точно никогда больше не свидятся. И, заглянув в глаза друга, понял, что Мирдин думает о том же самом.

— А в раю мы не увидимся?

Мирдин грустно взглянул на него:

— Я непременно встречу тебя в раю. Клянусь!

— И я клянусь, — улыбнулся Роб.

Они крепко пожали друг другу руки.

— По моим представлениям, жизнь отделяется от рая рекой, — сказал Мирдин. — И если через эту реку переброшено много мостов, велика ли для Бога разница, по которому из них пришел к Нему человек?

— Думаю, что невелика, — согласился Роб.

Друзья тепло расстались и поспешили каждый по своим делам.

Роб в хирургическом отделении сидел вместе с двумя другими учениками и слушал аль-Джуджани, а тот говорил об особой деликатности предстоящей операции. Он не стал раскрывать имя больной, дабы не ставить под угрозу ее репутацию, но объяснил, что это близкая родственница человека известного и могущественного, страдает же она раком груди.

С учетом серьезности заболевания было дозволено пренебречь религиозным запретом, называемым *аврат*: согласно ему никто, кроме мужа, не может созерцать тело женщины от шеи до колен. Врачеватели могут нарушить этот запрет, чтобы произвести операцию.

Женщину уже накормили опиатами, напоили вином и принесли в операционную комнату в бессознательном состоянии. Сложения она была полного, а из-под покрывала на голове выбивались седоватые пряди волос. Покрывало было наброшено свободно, все тело полностью одето, обнажены только груди — очень большие, мягкие, дряблые. Стало быть, больная уже не молода.

Аль-Джуджани велел каждому из учеников по очереди осторожно ощупать обе железы, чтобы знать, как выглядит опухоль груди. Собственно, ее было видно и без всякого пальпирования — хорошо заметный выступ на левой груди, длиною с большой палец Роба и в три раза толще.

Роб наблюдал с большим интересом, он прежде никогда не видел, чтобы разрезали грудь человека. Аль-Джуджани вонзил нож в податливую плоть, кровь полилась потоком. Хирург вел разрез значительно ниже основания опухоли, желая захватить ее целиком. Женщина стонала, и врач работал быстро, он стремился закончить операцию прежде, чем больная очнется.

Роб увидел, что внутри груди помещаются мышцы, ячеистая серая плоть, сгустки желтого жира, как у начиняемого фаршем цыпленка. Ясно были заметны несколько розовых млечных протоков, которые сбегались к соску, словно рукава реки, соединяющиеся в устье. Должно быть, хирург задел один из протоков: из соска выступила капля красноватой жидкости, вроде розового молока.

Аль-Джуджани удалил опухоль и быстро зашивал рану. Робу показалось бы, что хирург

нервничает, если бы такое было вообще возможно.

Она не иначе как родственница самого шаха, решил он. Возможно, тетушка. Не исключено, та самая, о которой Ала рассказывал ему в гроте — тетушка, посвятившая юного принца в тайны половой жизни.

Как только грудь зашили, стонущую и уже почти очнувшуюся пациентку сразу унесли из операционной. Аль-Джуджани тяжело вздохнул:

— От этого нет лечения. В конце концов рак убьет ее, мы же можем лишь попытаться замедлить его продвижение. — Он увидел за дверью операционной Ибн Сину и поспешил с докладом о проведенной операции, а ученики тем временем приводили операционную в порядок.

Вскоре Ибн Сина вошел в комнату, сказал Робу несколько слов, на прощание похлопал по плечу.

Сказанное главным врачом ошеломило Роба. Он вышел из операционной и отправился в *хазанат аш-шараф*, где работал сейчас Мирдин. Встретились они в коридоре близ святилища аптекарей, и Роб увидел на лице друга отражение всех тех чувств, которые испытывал сейчас он сам.

— Тебя тоже?

Мирдин кивнул.

— Через две недели?

— Да. — Роб даже на губах ощущал привкус страха. — Я не готов к испытанию, Мирдин! Ты провел здесь четыре года, а я только три. Я еще не готов.

Мирдин улыбнулся, позабыв о собственных страхах.

— Готов ты, готов. Ты же был цирюльником-хирургом, да и все, кто учил тебя здесь, уже знают, чего ты стоишь. У нас же целых две недели, чтобы вместе подготовиться, а уж потом будем проходить испытание.

Ибн Сина родился в крошечном поселке Афшана близ деревни Хармейтан, а вскоре после его рождения семья переехала в ближайший город, Бухару. Он был совсем еще маленьким, когда отец, сборщик налогов, договорился с учителем Корана и учителем литературы, чтобы они занимались с мальчиком, и к десяти годам он уже выучил весь Коран и отлично ориентировался в мусульманской культуре. Встретился отцу и ученый торговец овощами, некий Махмуд Математик — этот обучил мальчика индийскому счету и алгебре. И не успел подросток сбрить первый пушок с губ, как уже получил звание законника, а затем углубился в геометрию и труды Евклида. Учителя упрашивали отца разрешить одаренному юноше посвятить свою жизнь наукам.

Изучать медицину он начал в одиннадцать лет, а к шестнадцати уже читал лекции медикам, старшим по возрасту, сам же посвящал почти все время практике законника. Всю жизнь он будет и правоведом, и философом, но быстро заметит: хотя персидское общество его времени относилось с почтением к людям, сведущим в этих областях знания, для каждого человека не было более важной заботы, чем собственное благосостояние и главный вопрос — будет ли человек жить или умрет. Еще молодости Ибн Сина служил многим правителям, которые направляли его гений на укрепление своего здоровья. Он написал десятки томов работ по праву и философии — достаточно, чтобы принести ему почетнейшее прозвище Второго Учителя (первым считался сам Пророк Мухаммед), но подлинную славу и поклонение снискал себе в качестве Князя лекарей. Эта слава следовала за ним повсюду, куда бы он ни приезжал.

Исфаган, где он мигом взлетел с положения беженца до должности хаким-баши, главного лекаря, был городом, где с избытком хватало лекарей, а еще больше таких, кто сам объявлял себя целителем. Среди всех них мало было тех, кто обладал бы столь обширными и разносторонними познаниями или такой силой ума, какие отмечали Ибн Сину уже в начале его лекарской практики, а значит, как он понял, необходимо было найти способ определять, кто может заниматься врачеванием, а кто нет. В Багдаде уже больше ста лет проводились испытания для тех, кто желал получить звание лекаря, и Ибн Сина сумел убедить сообщество лекарей Исфагана, что признавать или отвергать лекарей следует после испытания при медресе. Сам он стал главным испытателем по лечебным вопросам.

Ибн Сина считался наиболее выдающимся врачевателем и в Восточном, и в Западном халифатах, однако Исфаган как средоточие наук не пользовался таким уважением, как более крупные и знаменитые города. При академии в Толедо был свой Дом науки, в Багдадском университете имела школа переводчиков, Каир гордился медициной, славные традиции которой уходили корнями в глубь многих столетий. И в каждом из названных центров была великолепная и прославленная библиотека. В отличие от всего этого в Исфагане существовало маленькое медресе, а библиотека целиком зависела от щедрости куда более крупного и богатого Багдадского университета. Ма-ристан являл собою лишь бледную копию громадной больницы «Азули» в Багдаде. Восполнить недостаток величия и блеска учебного заведения предстояло Ибн Сине собственным присутствием.

Ибн Сина сознавался в грехе гордыни. Когда его репутация достигла таких высот, что он стал выше критики, Учитель начал пристрастно относиться к положению тех лекарей,

которых сам воспитал.

В восьмой день месяца шавваль караван, пришедший из Багдада, доставил ему письмо от тамошнего главного лекаря Ибн Сабура Якута. Ибн Сабур собирался приехать в Исфаган и посетить маристан в первой половине месяца зулькада. Ибн Сине приходилось встречаться с Ибн Сабуром раньше, он уже привык стойко переносить снисходительный тон багдадского соперника и его постоянные сравнения в пользу своего заведения.

Пусть медики в Багдаде пользовались большими привилегиями, пусть на их подготовку затрачивались немалые средства, но испытания там, как знал Ибн Сина, зачастую проводились весьма поверхностно. А у него в маристане были сейчас два учащихся, которые не уступят никому из самых лучших, каких он только повидал. И он сразу сообразил, как оповестить сообщество лекарей Багдада о том, каких медиков он готовит здесь, в Исфагане.

Так и получилось, что в связи с приездом в маристан Ибн Сабура Якута к испытаниям был призван Иессей бен Беньямин и Мирдин Аскар — теперь выяснится, получают они звание хакимов или же будут отвергнуты.

* * *

Ибн Сабур Якут выглядел точно таким же, каким Ибн Сина помнил его. Глаза под пушистыми ресницами смотрели несколько надменно — следствие тех успехов, которых он достиг в своей жизни. Седины в волосах прибавилось со времени их последней встречи в Хамадане двенадцать лет назад. Одет он был в пышные, богато расшитые дорогие цветные одежды, подчеркивавшие его высокое положение и процветание — однако их искусный покррой не в силах был скрыть, насколько раздался достойнейший лекарь в талии, если сравнивать с годами его молодости. С улыбкой на устах он обошел медресе и маристан, в подчеркнуто добром расположении духа, вздыхая и рассуждая о том, какая это, должно быть, роскошь — справляться с трудностями в таком небольшом масштабе.

Казалось, именитый гость весьма обрадовался, когда его пригласили принять участие в испытаниях, коим должны подвергнуться два учащихся-медика.

Научное сообщество Исфагана во многом уступало более знаменитым центрам, однако блестящих имен среди знатоков каждой науки хватало для того, чтобы Ибн Сина смог отобрать в число тех, кому предстоит проводить испытание, ученых, которые пользовались уважением и в Каире, и в Толедо. Вопросы по хирургии станет задавать аль-Джужджани, богословием займется имам Пятничной мечети Юсуф Джамали. Муса ибн Аббас, мулла из ближайшего окружения имама Мирзы-абу-ль-Кандраси, визиря Персии, будет проверять знание права и судебной практики. На себя Ибн Сина взял философию, а вопросы лекарского искусства отдал багдадскому гостю, причем тонко намекнул тому, чтобы он задавал самые каверзные вопросы.

То, что оба кандидата в лекари оказались евреями, Ибн Сину совершенно не тревожило. Олухи попадались, разумеется, и среди иудеев, однако по опыту он знал, что самые умные из зимми, посвятившие себя медицине, уже прошли полдороги к успеху: любознательность, умение находить аргументы в споре, неустанные поиски истины и доказательств входили в их религиозное воспитание, впитались в их плоть и кровь в домах учения задолго до того, как они стали изучать лекарское искусство.

Мирдина Аскар вызвали на испытание первым. Его располагающее к себе лицо с

выступающей челюстью было внимательным, но спокойным. Когда Муса ибн Аббас задал вопрос о законах, регулирующих имущественные отношения, он отвечал без чрезмерного красноречия, но полно и подробно, приводя примеры и ссылаясь на прецеденты из фикха и шариата.

Юсуф Джамали в своем вопросе смешал вопросы права и богословия, и позы остальных преподавателей стали весьма напряженными, однако все сомнения относительно трудности этого вопроса для неверного отпали, когда Мирдин стал отвечать с присущей ему глубиной. Он приводил в качестве аргументов примеры из жизни Мухаммеда и записанные мысли Пророка, признавал, где это было уместно, наличие расхождений в законах и общественном устройстве между исламом и своей собственной верой, в иных же случаях вплетал в ответ изречения из Торы в поддержку Корана или, наоборот, подкреплял Кораном то, что сказано в Торе. Ибн Сина подумалось, что Мирдин пользуется своим разумом, словно острым мечом: отбивает удары, делает обманные движения, выпады и набирает очки, будто его ум действительно выкован из холодной стали. Познания Мирдина были столь многогранны, что преподаватели — пусть каждый из них в той или иной степени обладал нужной начитанностью, — были, тем не менее, поражены открывшимся им умом и не могли сдержать своего восхищения.

Когда настала очередь Ибн Сабура, он стал спускать вопрос за вопросом, словно меткие стрелы с тетивы языка. Ответы неизменно следовали без промедления, но они не выражали мнения самого Мирдина Аскари. То были цитаты из трудов Ибн Сины и Разеса, Галена и Гиппократов, а один раз Мирдин процитировал положения из труда «О слабых лихорадках», написанного Ибн Сабуром Якутом. Багдадский лекарь, слушая свои собственные слова, изо всех сил старался сохранить на лице невозмутимое выражение.

Вопросов задавали гораздо больше, чем обыкновенно на испытаниях, но вот настал момент, когда испытуемый умолк, посмотрел на преподавателей, а новых вопросов с их стороны не последовало. Ибн Сина ласково разрешил Мирдину удалиться и велел вызвать Иессея бен Беньямина.

Нечто неуловимо изменилось в настроениях присутствующих, когда в зал вошел новый кандидат на звание лекаря — такой высокий и широкоплечий, являющий зримый контраст с пожилыми аскетичного вида преподавателями. Кожу его продубило солнце Запада и Востока, широко посаженные карие глаза смотрели сосредоточенно и невинно, а сломанный в драке нос придавал ему сходство не столько с лекарем, сколько с воином-копьемосцем. Огромные руки с широкими ладонями, казалось, предназначены для того, чтобы сгибать подковы, однако Ибн Сина знал, как ласково они умеют прикасаться к лицам, горящим в лихорадке, как твердо направляют нож, вонзающийся в кровоточащую плоть. Этот кандидат уже давным-давно душою был лекарь.

Ибн Сина умышленно вызвал на испытание первым Мирдина — так легче было подготовить следующий акт драмы, а кроме того, Иессей бен Беньямин заметно отличался от других учащихся, к которым привыкли сидящие здесь маститые ученые. Он обладал качествами, которые на теоретическом испытании выявить невозможно. За три года он усвоил громадный объем учебного материала, но не имел такой глубокой учености, как Мирдин. Однако даже сейчас, сильно взволнованный, он производил впечатление решительным и уверенным видом.

Он не отрывал взгляда от Мусы ибн Аббаса и нервничал сильнее, чем Мирдин Аскари, даже уголки рта побелели. Помощник имама Кандраси заметил этот взгляд, едва ли не

вызывающий, и задал вопрос политического свойства, даже не пытаясь скрыть таящихся в нем опасностей:

— Кто по праву должен владеть царством: мечеть или дворец?

Роб отвечал не так быстро и уверенно, как Мирдин.

— Это ясно написано в Коране, — на фарси он по-прежнему говорил с акцентом. — Во второй суре Аллах говорит: «Я поставлю своего наместника на Земле»^[183]. А в тридцать восьмой суре главная забота шаха указана такими словами: «Дауд, Мы сделали тебя Нашим наместником на земле. Так суди же между людьми справедливо, по Нашим законам, а не следуй за своими пристрастиями, а то они собьют тебя с прямого пути Аллаха»^[184]. Следовательно, всякое царство принадлежит Аллаху.

Такой ответ, отдавая всю власть Богу, позволял избежать выбора между шахом Ала и имамом Кандраси, это был хороший, мудрый ответ. Мулла и не спорил.

Ибн Сабур предложил испытуемому описать различие между оспой и корью.

Роб привел отрывок из труда Разеса, озаглавленного «Различение болезней». Он подчеркнул, что первыми симптомами оспы являются жар и боли в спине, тогда как при кори жар очень силен и ярко выражено помрачение рассудка. Прочитировал он и труд Ибн Сины, словно бы и не сидел здесь сам великий лекарь; в четвертой книге его «Канона» отмечено, что при кори сыпь появляется сразу и очень бурно, тогда как при оспе она появляется постепенно, пятнышко за пятнышком.

Отвечал Роб спокойно и уверенно, совершенно не пытаясь вплести в свой ответ упоминание о собственном опыте борьбы с чумой, как непременно сделал бы человек с мелкой душонкой. Ибн Сина знал, что Роб достоин звания лекаря — из всех присутствующих только он сам и аль-Джуджани знали, сколько напряженнейшего труда вложил Роб в учебу за эти три года.

— А как ты поступишь, если тебе придется лечить осколочный перелом коленной чашечки? — задал вопрос аль-Джуджани.

— Если нога осталась прямой, то ее надо обездвижить, наложив с обеих сторон жесткие шины. Если же она искривилась, то хаким Джалал-уд-Дин изобрел способ наложения шин, который одинаково хорошо подходит и для колена, и для раздробленного или вывихнутого локтя. — Рядом с гостем из Багдада на столе лежали бумага, перо и чернила; испытуемый потянулся к ним. — Я могу нарисовать, чтобы вы видели, как следует накладывать шины.

Ибн Сина пришел в ужас. Этот зимми, хоть он и европеец, не может не знать, что всякий, кто изображает подобие человека, целиком или по частям, обречен гореть в геенне огненной. Для правоверного мусульманина грех и богохульство даже мельком взглянуть на такой рисунок. А учитывая присутствие здесь муллы и имама, такой рисовальщик, передразнивающий Аллаха и искушающий добрых мусульман воссозданием подобия человека, должен отправиться напрямиком в шариатский суд и никогда не станет хакимом.

На лицах сидящих отразились самые разнообразные переживания. Аль-Джуджани испытывал глубочайшее сожаление, на губах Ибн Сабура играла чуть заметная ухмылка, имам был взволнован, а мулла уже пришел в сильнейшее негодование.

Перо то и дело окуналось в чернила, летало по бумаге. Штрихи возникали быстро, и через миг исправлять что-либо было поздно — рисунок готов. Роб протянул его Ибн Сабуру, и багдадец внимательно рассмотрел рисунок. Он явно не верил собственным глазам. Потом передал листок бумаги хирургу, и аль-Джуджани не смог сдержать улыбки.

Прошло немало времени, пока рисунок попал к Ибн Сине, а когда он им завладел, то

увидел на рисунке... ветку дерева! Несомненно, согнувшаяся абрикосовая ветвь, ибо листики на ней тоже были нарисованы. Узел привоя хитро обозначал поврежденный коленный сустав, было хорошо видно, как концы шин закреплены веревками ниже и выше этого узла.

Дальнейших вопросов о наложении шин не последовало.

Ибн Сина посмотрел на Иессея, тщательно скрывая свое облегчение и свою симпатию к юноше. А вот взгляд на лицо гостя из Багдада доставил ему истинное удовольствие.

Откинувшись на спинку стула, Ибн Сина стал задавать своему ученику самые тонкие вопросы по философии, какие только мог придумать — он не сомневался, что исфаганский маристан может позволить себе еще немного похвастать своими воспитанниками.

* * *

Роб задрожал, когда в одном из испытателей узнал Мусу ибн Аббаса, того помощника визиря, который тайком встречался с посланником сельджуков. Но быстро сообразил, что сам-то он остался тогда незамеченным, стало быть, и присутствие муллы на испытании никакой особой угрозы для него не таило.

Когда окончилось испытание, он сразу же отправился в то крыло маристана, где помещались хирургические больные: они с Мирдином заранее согласились, что просто сидеть вдвоем и ожидать, как решится их судьба, было бы невыносимо. Время лучше всего проходит за работой, и Роб занялся делами: осматривал больных, менял перевязки, снимал швы.

Время шло, никаких новостей не было.

Но вот в хирургическом отделении появился Джалал-уд-Дин — значит, почтенные испытатели уже разошлись. Робу очень хотелось спросить, знает ли Джалал, что они там решили, но он никак не мог собраться с духом. Джалал поздоровался с ним, как обычно, и ничем не показал, что понимает переживания ученика.

Накануне днем они вместе работали над неким пастухом, на которого напал бык. Предплечье несчастного, угодившее под копыто животного, переломилось, как веточка ивы, сразу в двух местах; бык еще и поддел свою жертву рогами прежде, чем другим пастухам удалось его отвлечь.

Роб обрезал и сшил разmozженные мышцы плеча и предплечья, а Джалал сложил осколки костей и наложил шины. Теперь они осмотрели больного, и Джалал остался недоволен тем, что толстый слой перевязок мешает шинам.

— Что, разве нельзя снять повязки?

— Еще слишком рано, — ответил Роб, озадаченный вопросом: ведь Джалал и сам знал ответ не хуже его.

Джалал пожал плечами, приветливо взглянул на Роба и улыбнулся.

— Пусть будет так, как ты сказал, хаким, — проговорил он и вышел из комнаты.

Вот Роб и узнал то, что хотел. У него так сильно закружилась голова, что какое-то время он просто стоял и боялся пошевелиться.

Вскоре неотложные дела потребовали его внимания. Надо было осмотреть еще четырех больных, и Роб вновь занялся работой, заставляя себя проявлять заботу, как надлежит настоящему лекарю, и его разум сосредоточивался на каждом, освещая его ярко и четко, словно солнечные лучи, пропущенные через линзу.

Но когда он закончил работать с последним пациентом, то уж Позволил чувствам захватить себя без остатка — такой полной и чистой радости он еще не испытывал. Пошатываясь, как пьяный, он поспешил с радостной вестью домой, к своей Мэри.

Роб получил звание хакима за шесть дней до своего двадцать четвертого дня рождения, и празднование длилось больше недели. К его радости, Мирдин не стал предлагать, чтобы они отправились отмечать получение лекарского звания на майдан. Не вдаваясь в излишние рассуждения, Роб чувствовал, что наступившие в их жизни перемены слишком серьезны, чтобы отметить их одним вечером безудержных возлияний. Вместо этого обе семьи встретились в жилище супругов Аскари и разделили вечернюю трапезу.

Роб и Мирдин вместе пошли снимать мерки на черные одеяния и колпаки хакимов, критически оглядывая друг друга.

— Ты теперь сразу поедешь к себе в Маскат? — спросил друга Роб.

— Нет, я задержусь здесь на несколько месяцев — мне нужно еще кое-чему научиться в *хазанат аш-шараф*. А ты? Скоро отправишься в Европу?

— Мэри беременна, ей сейчас небезопасно пускаться в дальний путь. Лучше мы подождем, пока ребенок родится и достаточно окрепнет, чтобы выдержать такое путешествие. — Он улыбнулся Мирдину. — Вся твоя семья соберется на праздник, когда к ней вернется ее первый лекарь. А ты уже дал им знать, что шах желает купить у них самую большую жемчужину?

Мирдин отрицательно покачал головой:

— Мои родственники объезжают деревни ловцов жемчуга и скупают мелкие зерна. Потом продают их, отмеряя мерной чашкой, купцам, а те перепродают, чтобы этими жемчугами расшивали одежды. Покупку крупных жемчужин моей семье, пожалуй, не осилить — нужны очень большие деньги. Да и захотят ли они иметь дело с шахом? Цари редко проявляют желание платить справедливую цену за крупные жемчужины, которые им так нравятся. Что касается меня, я предпочитаю думать, что Ала уже позабыл, каким «великим благодеянием» решил осчастливить моих родственников.

— Мои придворные вчера вечером спрашивали о тебе, им тебя не хватало, — сказал шах Ала.

— Я лечил тяжело больную женщину, — ответил Карим.

По правде говоря, он ходил к Деспине. Им обоим приходилось нелегко. Ему впервые за пять ночей удалось вырваться на свидание, сбежав от капризных почитателей-придворных, и он наслаждался каждым мгном, проведенным с Деспиной.

— У меня при дворе есть больные, которым требуется твоя мудрая помощь, — сказал шах недовольным тоном.

— Слушаю, о великий государь!

Ала давно и ясно дал понять, что Карим пользуется его благоволением, однако самому Кариму изрядно надоели члены знатных семей, которые то и дело являлись к нему с вымышленными болезнями. Ему не хватало кипения жизни, работы в маристане, где он мог проявить себя как настоящий лекарь, а не как украшение двора.

И все же всякий раз, когда стражи приветствовали его при въезде в Райский дворец, самолюбие Карима расцветало. Он снова и снова думал, как поразился бы Заки Омар, видя своего мальчишку на прогулке верхом вместе с персидским царем.

— ...Я строю великие планы, Карим, — говорил ему между тем шах. — Грядут великие

события.

— Да почиет на них благосклонная улыбка Аллаха!

— Позови своих друзей, этих двух евреев, пусть явятся к нам. Я буду говорить с вами троими.

— Будет исполнено, о великий государь!

* * *

Утром, на третий день после этого разговора, Мирдина и Роба позвали на верховую прогулку с шахом. Это предоставило им возможность повидать Карима, который в последнее время почти неотлучно находился при шахе. Во дворе близ дворцовых конюшен три лекаря обсудили прошедшие испытания, что доставило удовольствие Кариму, а когда явился шах, все вскочили в седла и вслед за повелителем выехали из города.

Прогулка шла уже знакомым порядком, разве что сегодня они долго упражнялись в стрельбе по-парфянски. Только у шаха и Карима это получалось, да и то не каждый раз. Потом плотно пообедали, говорили только о пустяках, пока все четверо не погрузились, потягивая вино, в горячую воду пещерного озера.

Вот тогда Ала и сообщил им, что через пять дней он сам поведет большой отряд воинов из Исфагана в далекий поход.

— И куда же, о повелитель? — спросил Роб.

— На питомники боевых слонов в юго-западной Индии.

— Государь, а можно мне сопровождать тебя? — сразу спросил Карим с загоревшимися глазами.

— Я надеюсь, что вы поедете втроем, — ответил Ала.

Шах еще долго говорил, посвящая их в свои сокровенные замыслы, что было весьма лестно. Сельджуки к западу от Персии явно готовились к войне. Султан Махмуд в Газни тоже не знал удержу, и с ним придется столкнуться в ближайшее время. Для Ала-шаха пришло время укрепить свое войско. Лазутчики сообщили ему, что в Мансуре ^[185]имеется множество боевых слонов, а охраняет их слабый гарнизон. Налет на этот город послужил бы войскам отличной боевой разминкой, и что еще важнее — позволил бы шаху заполучить бесценных животных. Покрытые кольчугами, они были грозным оружием на поле битвы и могли предрешить ее исход.

— Есть у меня и другая цель, — признался им Ала-шах. Он потянулся за лежавшими у края бассейна ножнами и вынул кинжал. Клинок был изготовлен из непривычной голубоватой стали, покрытой узором мелких завитков.

— Такой металл изготавливают только в Индии. Он не похож на все то, что есть у нас. Лезвие здесь острее, чем у клинков нашей стали, и тупится оно не так быстро. К тому же сталь очень прочная, твердая, она разрубает обычные клинки. Вот мы и поищем мечи, сделанные из этой голубой стали — войско, вооруженное такими мечами, всегда будет одерживать победы. — Он передал кинжал по кругу, чтобы каждый мог сам оценить остроту закаленного клинка.

— Ты отправишься с нами? — спросил он Роба.

Они оба прекрасно понимали, что никакая это не просьба, а повеление шаха. Договор вступал в силу, пришло время Робу платить свои долги.

— Обязательно отправлюсь, государь! — Он старался, чтобы в голосе была заметна радость. Голова у него кружилась, отнюдь не только от вина, а сердце забилось часто-часто.

— А ты, зимми? — На этот раз шах обращался к Мирдину.

— Великий владыка дал мне позволение возвратиться к моей семье в Маскат, — ответил побледневший Мирдин.

— Позволение! Конечно, я дал тебе позволение. Теперь тебе самому решать, станешь ты сопровождать нас или нет, — сказал Ала деревянным голосом.

Карим поспешил схватить мех и наполнить все кубки вином.

— Поедем в Индию, Мирдин!

— Но ведь я не воин, — с трудом выговорил Мирдин и посмотрел на Роба.

— Отправляйся с нами, Мирдин, — словно со стороны услышал Роб свой голос. — Мы выучили едва ли треть всех заповедей. А в пути сможем вместе этим заниматься.

— Нам потребуются хирурги, — добавил Карим. — Да и кроме того, неужто Иессей — единственный встретившийся мне еврей, который готов сражаться в бою?

Он просто по-дружески подтрунивал над Мирдином, но у того глаза немного потемнели.

— Ты не прав, Карим. Ты слишком много выпил и поглупел, — вступился Роб.

— Я поеду, — сказал Мирдин, и все приветствовали его дружными криками.

— Вы только представьте, — удовлетворенно сказал Ала ад-Даула, — четверо друзей вместе отправляются в поход на Индию!

* * *

В тот день Роб заглянул к Нитке Повитухе. Это была суровая худая женщина, еще не старая, с острым носом на желтоватом лице и быстрыми, похожими на виноградинки глазами. Она равнодушно предложила ему выпить и закусить и выслушала то, ради чего он пришел. Ей он объяснил только одно: ему надо уехать. По лицу Нитки было понятно, что с этим ей приходится сталкиваться то и дело: муж путешествует, а жена остается дома и страдает в одиночку.

— Видела я твою жену. Рыжая такая, из ненаших.

— Верно. Она христианка, из Европы.

Нитка некоторое время размышляла и, наконец, пришла к определенному решению:

— Ну ладно. Я позабочусь о ней, когда настанет время. Если будут осложнения, то первые недели даже поживу в твоём доме.

— Спасибо! — Роб протянул ей монеты, четыре золотые, одну серебряную. — Этого хватит?

— Этого хватит.

Потом Роб покинул Яхуддиейе и отправился незванным в гости к Ибн Сине.

Главный лекарь поздоровался с ним и, нахмурившись, выслушал.

— А что, если ты погибнешь в Индии? Мой родной брат Али погиб, участвуя в похожем набеге. Возможно, такая мысль не приходила тебе в голову — ты молод, силен и видишь впереди только жизнь. А что, если тебя заберет смерть?

— Я оставил своей жене деньги. Немного из них — мои, остальное она унаследовала от своего отца, — честно признался Роб. — Если я погибну, согласны ли вы помочь ей

добраться с ребенком домой?

Ибн Сина кивнул.

— Ты должен побеспокоиться о том, чтобы такая услуга от меня не потребовалась. —

Он улыбнулся. — А ты задумывался о той загадке, которую я тебе загадал?

Роб стоял и дивился тому, что этот могучий ум все еще может забавляться детскими играми.

— Нет, господин главный лекарь.

— Ну, это не важно. Если будет на то воля Аллаха, у тебя еще будет вдоволь времени, чтобы отгадать загадку. — И снова другим тоном, отрывисто велел: — А теперь садись поближе, хаким. Думаю, самое время поговорить немного подробнее о том, как лечить раны.

* * *

Жене Роб сообщил о предстоящем отъезде, когда они уже лежали в постели. Объяснил ей, что выбора у него не было: он поклялся отплатить шаху Ала за заботу, да и в поход отправлялся, собственно, по царскому велению.

— Тут и говорить не о чем: ни я, ни Мирдин не бросились бы в такую безумную авантюру, будь на то наша воля.

Роб не стал вдаваться в подробности того, что может при этом случиться. Он только сказал Мэри, что договорился с Ниткой и та поможет при родах, а Ибн Сина согласился помочь ей, если возникнут какие другие затруднения.

Мэри, должно быть, пришла в ужас, но оставила это при себе. Ему показалось, что в ее голосе слышатся сердитые нотки, когда она его расспрашивала, но это могло просто показаться: он чувствовал за собой вину. Где-то в глубине души его очень обрадовала возможность побывать с войском в походе, осуществить детские мечты.

Ночью он легонько коснулся рукой ее живота, почувствовал теплую плоть, которая вздымалась, уже можно было заметить глазом, как округлился живот.

— Может случиться так, что ты не увидишь, как хотел, когда он станет размером со спелый арбуз, — сказала Мэри в темноте.

— Ну-у, до той-то поры я уж точно вернусь! — ответил Роб.

Приближался день отъезда, и Мэри все сильнее замыкалась в себе, снова превратившись в ту суровую одинокую женщину, готовую яростно защищать умирающего отца в домике у вади Ахмеда.

Когда Робу пришло время уезжать из дома, Мэри стояла во дворе, вытирая своего вороного. Она поцеловала мужа, не пролив ни слезинки — рослая женщина с раздавшейся талией, которая теперь держалась так, будто устала и никак не могла отдохнуть.

Отряд не годился для серьезных битв, но для такого набега, в какой они собрались, был даже слишком велик — шестьсот опытных воинов, кони и верблюды, да еще двадцать четыре боевых слона. Как только Роб явился на сборный пункт на майдане, Хуф тут же отобрал у него гнедого мерина.

— Коня вернут тебе, когда мы возвратимся в Исфаган. А в походе мы ездим только на скакунах, специально обученных не пугаться запаха слонов.

Гнедой оказался в табуне, которому предстояло возвратиться в царские конюшни, а Робу дали неопрятного вида серую верблюдицу, которая, не переставая жевать жвачку, окинула его равнодушным взглядом; беспрестанно шевелились ее резиновые губы, челюсти двигались в противоположных направлениях. Роба верблюдица повергла в ужас, Мирдин от души веселился.

Самому Мирдину достался коричневый верблюд, но он всю жизнь ездил на верблюдах и теперь научил Роба, как нужно натягивать и отпускать узду, как выкрикивать резкие, лающие команды, чтобы одногорбый дромадер согнул передние ноги и опустился на колени, а затем подогнул задние ноги и лег на землю. Тогда наездник садился в скошенное седло (так, что ноги его свисали на один бок верблюда), дергал за узду, выкрикивал новую команду — и верблюд поднимался, повторяя все движения в обратном порядке.

В отряде было двести пятьдесят пехотинцев, двести конных, сто пятьдесят воинов на верблюдах. Вскоре прибыл шах Ала во всем блеске своего величия. Его боевой слон почти на два локтя возвышался над всеми прочими. На грозных бивнях сверкали золотые кольца. Прямо на голове его гордо восседал махаут и направлял путь слона, сжимая пятками его шею за ушами. Шах, выпрямившись, сидел на устланной подушками огороженной платформе, помещавшейся на выгнутой дугой спине. Он великолепно выглядел в наряде из синего шелка и красном тюрбане. Народ встретил его громкими приветственными кликами. Впрочем, некоторые могли приветствовать и героя чатыра, поскольку Карим верхом на нетерпеливом арабском жеребце, косившем налитыми кровью глазами, ехал сразу же за царским слоном.

Хуф хриплым голосом выкрикнул команду, и его конь пошел рысью вслед за царским слоном и скакуном Карима, потом потянулись цепью остальные слоны, вскоре скрывшиеся с площади. За ними последовала конница, а потом и верблюды. Затем шли сотни выючных ослов с подрезанными ноздрями — чтобы вдыхать больше воздуха во время тяжелой работы. Замыкали шествие пехотинцы.

Роб снова оказался почти в хвосте походной колонны, в трех ее четвертях от головы — наверное, такое место навсегда закреплено за ним, если он путешествует в составе большого каравана. Это означало, что им с Мирдином придется мириться с вечными тучами пыли. Предвидя такой поворот событий, каждый из них загодя сменил свой тюрбан на кожаную еврейскую шляпу, которая лучше защищала и от солнца, и от пыли.

Робу тревожно было на верблюдице. Когда она опустилась на колени и Роб поместился на ней всем своим немалым весом, верблюдица громко заржала, потом поднялась на ноги, беспрестанно сопя и вздыхая. Езда была совершенно непривычной: Роб возвышался над землей значительно больше, чем при обычной верховой езде; он то кланялся, то откидывался, то покачивался из стороны в сторону, а сидеть было жестко, ибо под седлом у

верблюдицы было меньше жира и плоти, чем у коня. Когда они проезжали по мосту через Реку Жизни, Мирдин оглянулся на Роба и усмехнулся.

— Ты еще привыкнешь и полюбишь ее! — прокричал он.

* * *

Полюбить верблюдицу Роб так и не сумел. Всякий раз, как ей представлялась такая возможность, она плевалась длинными, как веревки, сгустками слюны, пыталась даже кусаться, так что Робу пришлось связать ей челюсти. Когда он был на земле, она норовила лягнуть его задними ногами, точно заупрямившийся мул. Животное очень скоро стало раздражать Роба в любом положении.

Но ему нравилось ехать в окружении воинов — легко было представить, что это древнеримская когорта, и Робу нравилось воображать себя воином легиона, несшего повсюду свое понимание цивилизации. Правда, в конце каждого дня все очарование рассеивалось, когда они останавливались на отдых. Это вовсе не походило на аккуратный римский военный лагерь. Шах располагался в своем шатре, сидя на мягких коврах и слушая музыкантов, а вокруг, ловя его малейшие желания, суеилось множество поваров и прочей прислуги. Все остальные выбирали себе место на земле и ложились, закутавшись в одежду. В воздухе постоянно витал смрад от навоза и человеческих экскрементов, а когда подходили к ручью, то он становился невыносимо грязным еще прежде, чем они уходили дальше.

По вечерам, лежа в темноте на твердой земле, Мирдин продолжал учить Роба заповедям Бога евреев. Привычное занятие — преподавание и учение — помогало им забыть о неудобствах и дурных предчувствиях. Они изучали заповеди десятками, быстро продвигаясь вперед, и Роб отметил для себя, что военный поход — прекрасное время для учебы. Ровный голос Мир-дина и его ученые речи вселяли уверенность в том, что их ждут впереди более радостные дни.

Взятых с собой запасов еды хватило на неделю, а потом, как и было предусмотрено, провиант закончился. Сто пехотинцев были назначены фуражирами и двинулись впереди основного отряда. Они умело прочесывали все встречные деревни, и всякий день воины возвращались в лагерь, гоня перед собою стада коз или овец, неся кудахчущих кур или нагружившись иной снедью. Самое лучшее отбирали для шаха, а остальное распределяли между всеми, и каждый вечер на сотне костров что-нибудь варилось или жарилось. Ели воины досыта.

Каждый раз, когда войско останавливалось на ночлег, проводился медицинский осмотр. Он происходил так, что из царского шатра все было видно, и это должно было охладить пыл симулянтов, но очередь к лекарям все равно выстраивалась длинная. Как-то вечером к ним подошел Карим.

— Ты что, поработать хочешь? Нам помощь очень даже не помешает, — сказал ему Роб.

— Мне запрещено. Я должен оставаться все время при шахе.

— А! — только и сказал Мирдин.

Карим криво усмехнулся:

— Вам, может быть, добавить еды?

— Нам и так хватает, — ответил Мирдин.

— Я могу раздобыть все, что вы захотите. Чтобы добраться до слоновьих питомников

Мансуры, потребуется не один месяц. Можно сделать так, что в походе вы будете иметь все удобства, какие только возможно.

Робу вспомнился рассказ Карима о том, как войско, проходя через провинцию Хамадан, навлекло голодную смерть на его родителей. И подумал о том, скольким младенцам теперь, после прохода их отряда, разобьют голову о камни, чтобы спасти их от голодной смерти.

Потом он устыдился вражды, которую испытал к своему другу — Карим ведь не виноват в том, что они двинулись в поход на Индию.

— У меня есть одна просьба. В каждом лагере необходимо рыть канавы со всех четырех сторон, чтобы использовать их вместо уборных.

Карим согласно кивнул.

Его предложение было без проволочек претворено в жизнь с оглашением того, что этот порядок вводится по настоянию хирургов. Любви к ним это не прибавило — теперь каждый вечер усталым воинам приказывали еще и рыть канавы, а когда кто-нибудь просыпался ночью от колик в животе, то ему приходилось бродить, спотыкаясь, в потемках и отыскивать ближайшую канаву. Нарушителям, если их ловили, полагались удары палкой. Но вон в лагере поубавилось, а по утрам, снимаясь с лагеря, не приходилось смотреть под ноги, чтобы ненароком не ступить в кучу дерьма.

В большинстве своем воины смотрели на хирургов со скрытой неприязнью. От их глаз не укрылось, что Мирдин явился в отряд вообще без оружия, и Хуфу пришлось, ворча, выдать ему неуклюжий кривой меч, какие носили воины шахской стражи. Впрочем, Мирдин постоянно забывал надевать его на пояс. Кожаные шляпы также выделяли хирургов из всех прочих, как и их обыкновение вставать на заре и отходить от лагеря. Там они набрасывали на себя молитвенные покрывала, распевали свои молитвы и повязывали на руки кожаные ремешки. Мирдин тоже не переставал удивляться:

— Слушай, здесь же нет больше евреев, никто к тебе не присматривается. Отчего же ты молишься со мной? — Роб в ответ пожал плечами, и Мирдин хмыкнул: — Думаю, что отчасти ты все-таки стал евреем.

— Да нет. — И Роб поведал Мирдину, как в тот день, когда стал выдавать себя за еврея, он пошел в собор Святой Софии в Константинополе и пообещал Иисусу, что никогда не отречется от Него.

Мирдин перестал усмехаться и кивнул. У них обоих хватило ума не развивать эту тему. Они ясно сознавали, что есть такие вопросы, по которым они никогда не придут к согласию, потому что воспитывались на разных представлениях о Боге и человеческой душе, но оба охотно избегали ловушек и продолжали дружить как люди мыслящие, лекари, а теперь еще и как два воина-новобранца.

* * *

Когда они дошли до Шираза, предупрежденный заранее калантар встретил шаха у стен города, ведя за собою караван вьючных животных, нагруженных всевозможной провизией. Эта добровольная дань спасла округу Шираза от произвольного разграбления фуражирами отряда. Простершись перед шахом и выразив ему свое почтение и преданность, калантар затем обнялся с Робом, Мирдином и Каримом. Они посидели вместе, выпили вина и вспомнили дни, когда здесь свирепствовала чума.

Роб и Мирдин проводили калантара до самых городских ворот. На обратном пути их соблазнил ровный, гладкий участок дороги, в крови заиграло выпитое вино, и они погнали своих верблюдов галопом. Для Роба это стало настоящим откровением: от неуклюжей, переваливающейся походки верблюдицы и следа не осталось. Когда она побежала, шаги удлинились настолько, что превратились в стремительные прыжки, уносившие вперед и ее саму, и ее наездника. Она буквально стелилась в воздухе, и от этого дух захватывало. Роб легко удерживался в седле и испытывал самые разнообразные чувства. Он плыл в воздухе, он порхал, он становился ветром.

Теперь ему стало понятно, почему персидские евреи изобрели специальное название для этой породы, распространенной здесь — *джемала сарка*, то есть «летучие верблюды».

Серая верблюдица самозабвенно неслась вперед, и Роб впервые ощутил симпатию к ней.

— Давай, куколка! Вперед, моя девочка! — выкрикивал он, пока они мчались во весь дух к лагерю.

Мирдин на своем верблюде выиграл их соревнование, но Роб все равно пришел в отличное настроение. Он попросил у ма-хаутов добавочную порцию корма и дал своей верблюдице, а она укусила его за руку. Кожу не прокусила, но на месте укуса образовался большой багровый синяк, который еще долго болел. Тогда-то он и дал ей подходящее имя — Сука.

Недалеко за Ширазом они вышли на Путь пряностей и долго следовали по нему, потом, избегая углубляться в горы, свернули к берегу Ормузского пролива. Шла зима, но воздух над Персидским заливом был теплый, насыщенный запахом моря. Нередко после дневного марша, на привале, воины вместе со своими животными окунались в теплые соленые волны и грелись на горячем прибрежном песке, а часовые тем временем нервно высматривали, не появятся ли где акулы. Люди, встречавшиеся им теперь, могли быть с равным вероятием как персами, так и белуджами или неграми. То были рыбаки, а в оазисах, разбросанных вдоль песчаного побережья, крестьяне, которые выращивали финики и гранаты. Жилищами им служили шатры либо обмазанные глиной каменные дома с плоскими кровлями. То там, то здесь отряд переходил через сухие русла вади, где люди ютились в семейных пещерах. Роб подумал, что это очень скудные края, зато Мирдин, заметно повеселев и оживившись, жадно смотрел вокруг своими добрыми глазами. Когда дошли до рыбацкой деревушки Тиз, Мирдин взял Роба за руку и подвел к самой кромке воды.

— Вон там, на той стороне, — воскликнул он, протягивая руку к лазурным водам залива, — это Маскат. Отсюда лодка могла бы доставить нас в дом моего отца за три-четыре часа.

Да, они были, считай, рядом, однако на следующее утро лагерь свернули, и отряд направился дальше, с каждым шагом отдаляясь от дома семьи Аскарри.

За пределами Персии они оказались почти через месяц после выхода из Исфагана. В походной колонне были произведены перестановки. Ала-шах приказал, чтобы по ночам лагерь охраняло тройное кольцо часовых, а каждое утро всем воинам

сообщали новый пароль. Всякий, кто попытался бы проникнуть в лагерь, не зная пароля, должен был быть убит на месте.

Ступив на чужую землю Синда, воины дали волю своему желанию пограбить. Однажды воины-фуражиры пригнали в лагерь толпу женщин, так же, как пригоняли скот. Шах сказал, что разрешает им привести женщин в лагерь только на эту ночь, впредь же так не поступать. Шести сотням воинов и без того трудно подобраться к Мансуре незамеченными, и шах не желал, чтобы из-за женщин слухи об его приближении летели впереди отряда.

Предстояла ночь безудержного разгула. Они увидели, как Карим тщательно выбирает из женщин четверых.

— Четверо-то ему зачем? — удивился Роб.

— А он не для себя, — откликнулся Мирдин.

Так оно и было: вскоре они увидели, как Карим ведет женщин в царский шатер.

— Для того ли мы так старались, чтобы он успешно прошел испытание и сделался лекарем? — с горечью спросил Мирдин.

Роб ничего не ответил.

Остальные воины передавали женщин друг другу, определяя очередность жребием. Они стояли группками, наблюдали, подбадривали возгласами тех, чья очередь подошла. Часовых освободили от службы на это время, чтобы и они могли получить свою долю общего развлечения.

Роб с Мирдином сидели в сторонке, попивая из меха кислое вино. Какое-то время они

пытались заниматься учебой, но время было явно не подходящим для заповедей Господних.

— Ты уже обучил меня более чем четырёмстам заповедям, — Удивленно заметил Роб.
— Скоро мы выучим их все.

— Да я же только перечисляю их. Есть мудрецы, которые посвящают всю жизнь тому, чтобы разобраться в комментариях к одной-единственной заповеди.

Ночь наполнялась воплями и пьяными возгласами.

Роб много лет держал себя в узде и избегал обилия крепких напитков, но сейчас он был одинок, а его потребность в женщине нисколько не уменьшилась из-за тех безобразий, что творились вокруг, и он все пил и пил.

Вскоре им овладела слепая ярость. Мирдин, пораженный тем, что его добрый и здравомыслящий друг стал вдруг таким, не давал повода излить эту ярость. Проходивший мимо воин нечаянно толкнул Роба и стал бы мишенью его буйного гнева, но Мирдин вмешался, успокоил Роба, утихомирил, нянчился с ним, как с непослушным ребенком, и в конце концов уложил спать.

Наутро, когда Роб проснулся, женщин в лагере уже не было, а ему пришлось расплачиваться за собственную глупость — он покачивался на верблюде, а голова раскалывалась от боли. Мирдин, никогда не устававший постигать новое, усугублял состояние Роба, дотошно расспрашивая его об ощущениях. Наконец он отошел, уже лучше понимая ту истину, что для некоторых вино служит скорее ядом и колдовским зельем.

Мирдин не подумал взять с собой в боевой поход оружие, зато не забыл захватить шахскую игру. Она оказалась как нельзя кстати, и каждый вечер они играли до темноты. Теперь их сражения стали сложными, равными, а несколько раз, когда улыбалась удача, Роб даже выигрывал. За шахматной доской он и поделился своими тревогами о Мэри.

— Да все у нее хорошо, в том и сомневаться не приходится, — бодро ответил ему Мирдин. — Фара всегда говорит, что рожать детей женщины научились давным-давно.

Роб вслух подумал, кто родится — мальчик или девочка?

— А сколько времени она еще отдавалась тебе после того, как прекратились месячные?

Роб вместо ответа пожал плечами.

— У аль-Хабиба написано: если общение между супругами продолжается от одного до пяти дней после прекращения истечения кровей, то родится мальчик. Если с пятого по восьмой день — то девочка. — Мирдин смущенно умолк, и Роб знал почему. У аль-Хабиба дальше написано: если сношения между супругами продолжались и после пятнадцатого дня, то дитя вполне может оказаться гермафродитом.

— А еще аль-Хабиб пишет, что у кареглазых отцов рождаются мальчики, а у голубоглазых — девочки. Однако же я происхожу из страны, где у большинства жителей глаза голубые, а у них всегда рождалось много мальчиков, — сердито сказал Роб.

— Ну, аль-Хабиб ведь писал о нормальных людях, какие живут в странах Востока, — возразил Мирдин.

В иные вечера вместо занятия шахской игрой они повторяли поучения Ибн Сины о лечении боевых ранений, а то пересматривали запасы лекарств или удостоверились в своей способности работать хирургами. И хорошо делали, потому что однажды вечером их пригласили в шатер шаха — разделить царскую трапезу и ответить на его вопросы о своих приготовлениях. Был там и Карим, который поздоровался с ними весьма смущенно. Вскоре стало ясно, что ему поручено расспросить их и вынести суждение об их способностях.

Слуги принесли воду и полотенца, чтобы они могли вымыть руки перед едой. Ала

погрузил руки в искусно украшенную золотую вазу и вытер их о светло-голубые льняные полотенца, на которых золотом были вышиты изречения из Корана.

— Поведайте нам, как вы станете лечить резаные раны, — попросил Карим.

Роб сказал то, чему научил его Ибн Сина: следует вскипятить масло и залить в рану, пока оно горячо — это предотвращает нагноение и разгоняет вредные жидкости.

Карим согласно кивнул.

Ала-шах слушал их с бледным лицом. Он сразу же отдал твердое приказание: если он сам получит смертельное ранение, то они должны дать ему побольше снотворного для облегчения боли — тотчас после того, как мулла прочитает над ним последнюю молитву.

Еда была немудреной по царским понятиям: жаренная на вертеле птица и собранная по пути летняя зелень, — однако приготовлено все это было куда лучше, чем то, к чему привыкли Роб и Мирдин, да и подавалось на тарелках. Затем три музыканта услаждали их слух игрой на цимбалах, а Мирдин тем временем сражался с шахом в шахскую игру, но вскоре признал свое поражение.

В целом приглашение к шаху было приятно, ибо оно внесло разнообразие в их скучные будни. И все же Роб не без радости покидал царский шатер. Он не завидовал Кариму, который теперь часто ехал на слоне по кличке Зи, на одной платформе с шахом.

Но слоны не потеряли для Роба своей притягательности, он всякий раз при возможности внимательно рассматривал их. Некоторые были нагружены горами стальных доспехов, подобных тем, какие носили воины. Пятеро слонов несли на себе двадцать запасных махаутов — Ала-шах взял с собой этот «багаж» в честолюбивой надежде, что на обратном пути у них будет работа, они станут вести слонов, захваченных в Мансуре. Все махауты были индийцами, захваченными в прежних набегах, но обращались с ними очень ласково, а награждали щедро, с учетом их ценности, поэтому шах не сомневался в их верности.

О своем пропитании слоны заботились сами. В конце дня низкорослые темнокожие махауты вели их покормиться, и слоны ели вдоволь травы, листьев, небольших веточек и коры деревьев. Нередко они добывали пищу, с поразительной легкостью валя наземь деревья.

Однажды вечером слоны спугнули с деревьев шумно галдевшую толпу похожих на людей мохнатых существ с хвостами. Роб по книгам знал, что это обезьяны. После того случая они видели обезьян ежедневно, а еще — разнообразных птиц в ярком оперении, иногда и змею, ползущую по земле или скользящую в ветвях дерева. Харша, махаут шаха, сказал Робу, что некоторые змеи смертельно опасны.

— Если кого укусили, то нужно взять нож, вскрыть место укуса и отсосать весь яд, часто сплевывая. Потом следует убить небольшого зверька и привязать к ране его печень, чтобы она вытянула остатки яда. — Индиец особо предупредил, что у того, кто отсасывает яд, не должно быть во рту ни малейшей ранки или больного зуба: — А иначе яд войдет туда, и он не доживет до вечера.

Они проезжали мимо будд — огромных статуй сидящих богов. Некоторые воины бросали на них тревожные взгляды, посмеивались, однако никто не осквернял статуй. Хоть они и убеждали себя, что единственный истинный Бог — Аллах, в этих древних фигурах таилась непонятная скрытая угроза. Воины, глядя на них, осознавали, как далеко зашли от родного дома. Роб бросил взгляд на уходящие ввысь статуи каменных идолов и отогнал от себя страхи, мысленно прочитав «Отче наш» из Евангелия от Матфея. Мирдин в тот вечер

тоже, вероятно, отгонял от себя страхи, навешанные чужими богами — он с особым жаром провел с Робом урок по заповедям.

В тот вечер они дошли до пятьсот двадцать четвертой заповеди, которая содержала не совсем понятное указание: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погребти его в тот же день...» [\[186\]](#)

Мирдин посоветовал Робу хорошенько запомнить эти слова.

— В силу этой заповеди мы и не изучаем мертвое человеческое тело, как поступали язычники-греки.

У Роба мурашки побежали по спине, и он, приподнявшись, сел.

— Из этой заповеди люди ученые и знатоки закона выводят три правила. Во-первых, если с таким уважением следует относиться к телу казненного преступника [\[187\]](#), то понятно, что тело почтенного гражданина необходимо тем более предать погребению в земле безотлагательно, не подвергая ни позору, ни поруганию. Во-вторых, всякий, кто оставляет мертвых не погребенными до следующего утра, повинен в нарушении Божьего запрета. В-третьих же, тело надлежит предать земле целым и неразрезанным, ибо если хоть малейшая часть плоти осталась не погребенной, то и погребения в целом все равно что не было.

— Так вот откуда вся эта напасть! — с удивлением сказал Роб. — Раз закон запрещает оставлять тело убийцы не погребенным, значит, и христиане, и иудеи, и мусульмане лишают лекарей возможности изучать то, что тем надлежит излечивать!

— Такова заповедь Божья, — сурово напомнил ему Мирдин.

Роб снова лег на спину и уставился в темное небо. Рядом с ними громко храпел какой-то пехотинец, а чуть дальше кто-то отхаркивался и сплевывал. В сотый раз Роб спрашивал себя, что делает он среди всех этих людей.

— Мне кажется, что ваш обычай проявляет неуважение к покойникам. Как можно быстрее закопать, лишь бы глаза не мозолили...

— Мы действительно не слишком причитаем над телом. После похорон мы чтим память о покойном обрядом *шива*— скорбящие семь дней не выходят из своего дома, предаваясь горю и молитвам.

Раздражение у Роба все нарастало, и вскоре он почувствовал такую же ярость, как после обильной выпивки.

— В этом смысла не много. А заповедь основана на невежестве.

— Ты не смеешь говорить, что слово, исходящее от Бога, есть невежество!

— Да я говорю не о Божьем слове, а о том, как люди его истолковали. Так вот и держат народ в темноте и невежестве уже тысячу лет.

Мирдин с минуту молчал.

— Твое одобрение здесь не требуется, — сказал он наконец. — А равно ни твоя мудрость, ни чувство приличия. Наше соглашение касалось лишь того, что ты должен изучить заповеди Божьи.

— Да, выучить их я согласился. Но я не соглашался закрыть свой разум или же воздерживаться от собственных суждений.

На этот раз Мирдин не ответил ничего.

Еще через два дня они наконец вышли к берегам великой реки Инд. В нескольких милях к северу был удобный мелкий брод, но махауты предупредили, что тот брод нередко стерегут воины, а потому отряд двинулся на юг — там, тоже в нескольких милях, был другой брод, более глубокий, но все же позволявший перейти на ту сторону. Хуф выделил группу воинов для сооружения плотов. Кто умел плавать, те плыли к противоположному берегу вместе с животными. Не умевшие плавать перебирались на плотках, отталкиваясь шестами. Некоторые слоны шли по дну реки, погрузившись в воду так, что только хобот оставался над нею, позволяя им дышать! Когда же река стала слишком глубокой даже для них, слоны поплыли не хуже лошадей.

На том берегу отряд собрался снова и двинулся опять на север, в направлении Мансуры, далеко обходя тот брод, где стояли часовые.

Карим вызвал Роба и Мирдина к шаху, и некоторое время они ехали вместе с Ала ад-Даулой на спине слона Зи. Мир с этой высоты выглядел совсем по-другому, поэтому Роб не без труда сосредоточивался на словах шаха.

Соглядатаи Ала доставили ему в Исфаган весть о том, что Мансуру охраняет слабый гарнизон. Старый раджа того края, превосходный полководец, недавно умер, а сыновья его, по слухам, были никудышными воинами, вот у них и не хватало войск для охраны городов.

— Теперь мне необходимо выслать вперед лазутчиков и подтвердить эти сведения, — сказал им Ала. — Поедете на это дело вы, ибо сдается мне, что два купца-зимми смогут проехать в Мансуру, ни у кого не вызывая никаких подозрений.

Роб подавил желание взглянуть при этих словах на Мир-Дина.

— Смотрите вокруг очень внимательно — вблизи селения могут быть слоновьи ямы-ловушки. Здесьние люди иной раз изготавливают деревянные рамы, утыканые железными остриями, и закапывают их в неглубокие канавы за стенами городка. Такие ямы — погибель для слонов, и нам необходимо точно знать, не пользуются ли они такими сейчас. Только зная это, мы можем пустить в дело своих боевых слонов.

Роб кивнул: когда едешь верхом на слоне, все на свете представляется возможным.

— Будет сделано, о великий государь, — сказал он.

* * *

Отряд разбил лагерь, в котором воинам предстояло ожидать возвращения лазутчиков. Роб и Мирдин оставили своих верблюдов — те были боевыми, приученными быстро бегать, а не перевозить грузы — и пересели на осликов. Так они и выехали из лагеря.

Стояло свежее раннее утро, ярко светило солнце. В перестойном лесу ошалело перекрикивались птицы, целая стая обезьян, сидя на дереве, бранила проезжающих.

— Хотелось бы мне вскрыть обезьяну.

Мирдин все еще сердился на него, а в поручении лазутчика видел еще меньше удовольствия, чем в заботах воина.

— А для чего? — спросил он.

— Для чего же еще, как не для того, чтобы выяснить все, что можно! — воскликнул Роб. — Препарировал же Гален тех больших обезьян, что водятся в краю берберов!

— Но мне казалось, что ты решил стать лекарем.

— А это и есть работа для лекаря!

— Нет уж, это работа для прозектора. Вот я буду *лекарями* все свое время посвящу заботе о жителях Маската, когда они станут нуждаться в заботе — это и есть работа для лекаря. А ты никак не можешь решить, кем стать: то ли хирургом, то ли прозектором, то ли лекарем, то ли... повитухой с яйцами! Ты хочешь всего сразу!

Роб улыбнулся другу, но продолжать разговор не стал. Ему, собственно, нечего было возразить — то, в чем обвинял его Мирдин, в значительной мере было правдой.

Какое-то время они ехали молча. Дважды им встречались индийцы — крестьянин, который брел по колена в грязи придорожной оросительной канавы, а потом двое, шагавшие с шестом на плечах; с шеста свешивалась огромная корзина, полная желтых слив. Эти двое поздоровались с ними на языке, которого не понимали ни сам Роб, ни Мирдин, так что ответить они могли лишь улыбками. Роб лишь надеялся, что эти двое не дойдут до персидского лагеря — теперь всякий столкнувшийся с отрядом набега быстро становился либо рабом, либо покойником.

Но вот из-за поворота дороги показались сразу шесть человек на осликах, и Мирдин впервые за долгое время улыбнулся Робу — на этих путешественниках были запыленные кожаные шляпы, как у них с Робом, и черные кафтаны, носившие на себе следы долгого и нелегкого пути.

— *Шалом!* — прокричал Роб, когда они почти поравнялись.

— *Шалом алейхем!* Рады встрече!

Старший из них представился — Хиллель Нафтали, торговец пряностями из Ахваза. Это был добродушный человек с улыбчивым лицом, с родимым пятном цвета бледной клубники во всю левую щеку. Казалось, он готов посвятить целый день тому, чтобы представить своих спутников и поведать их родословную. Один из спутников был родной брат, именем Ари, другой был сыном, а остальные трое — зятьями Хиллеля. С отцом Мирдина он не был знаком, но о семье Аскарри, торговцах жемчугом из Маската, слышал. Так они и называли друг другу то одно имя, то другое, пока не дошли до четвероюродного брата Нафтали, с которым Мирдину довелось когда-то встречаться. Обе стороны остались удовлетворены — нашлись общие знакомые.

— А вы с севера едете? — поинтересовался Мирдин.

— Ездили в Мултан. Так, одно небольшое дельце, — проговорил Нафтали с таким удовольствием, что было ясно: сделка крупная и выгодная. — А вы куда путь держите?

— В Мансуру. Дела, знаете ли — немного того, немножко этого, — ответил Роб, и собеседники с уважением закивали. — Вам хорошо знакома Мансура?

— Очень даже хорошо. Да мы ведь минувшую ночь провели там, у Эзры бен Хусика, который торгует перцем. Весьма достойный человек, принимает всегда с большим радушием.

— Стало быть, вы и гарнизон тамошний видели? — спросил Роб.

— Гарнизон? — Нафтали посмотрел на них озадаченно.

— Сколько в Мансуре размещено воинов? — тихо спросил Мирдин.

До Нафтали стал доходить смысл вопроса, и он в испуге отпрянул.

— Мы в такие вещи не вмешиваемся, — произнес он чуть слышно, почти шепотом.

Они отправились своей дорогой — через минуту, понял Роб, будет уже поздно. Пора преподать им урок доверия.

— Вам не стоит ехать слишком далеко по этой дороге, если хотите остаться живыми. И в Мансуру вам возвращаться нельзя.

Побледнев, они дружно уставились на него.

— Так куда же нам ехать? — растерянно спросил Нафтали.

— Уведите животных с дороги и спрячьтесь в лесу. И не высовывайтесь очень долго — пока не услышите, как мимо проходит великое множество воинов. Когда они пройдут все, выходите на эту дорогу и гоните что есть духу в Ахваз.

— Мы вам признательны, — уныло отозвался Нафтали.

— А нам безопасно ли приближаться к Мансуре? — спросил его Мирдин.

Торговец пряностями кивнул:

— Здесь привыкли к торговцам-евреям.

Робу этого было мало. Он вспомнил о языке жестов, которому Лейб обучил его еще на пути в Исфаган, о тех тайных знаках, которыми обменивались еврейские купцы на Востоке, чтобы вести дела без разговоров. Он протянул вперед руку и повернул: «Сколько?»

Нафтали пристально посмотрел на него. Положил правую руку на левый локоть — сотни. Потом показал все пять пальцев. Согнул большой палец левой, остальные тоже раскрыл и положил на правый локоть. Но Робу надо было удостовериться, что он понял правильно.

— Девять сотен воинов?

Нафтали кивнул.

— Шалом, — сказал он язвительно, но без враждебности.

— Да пребудет мир над вами, — отозвался Роб.

* * *

Лес закончился, впереди показалась Мансура. Поселок лежал в маленькой долине у подножия холма с каменистыми склонами. С высоты им были видны и воины, и расположение всего гарнизона: казармы, плацы, загоны для лошадей, слоновники. Роб с Мирдином внимательно разглядели, где что находится, и запечатлели в своей памяти.

И сам поселок, и его военный гарнизон помещались за общей оградой из вбитых в землю плотными рядами бревен с заостренными верхушками, чтобы труднее было перелезть.

Когда они подъехали к этой стене, Роб хлестнул своего осла палкой и под смех и крики местной детворы погнал осла вдоль внешней стороны стены. Мирдин поехал ему навстречу с другой стороны — несомненно, затем, чтобы перехватить упрямое животное.

Слоновых ям они нигде не обнаружили.

Времени даром они терять не стали, а сразу же повернули на запад и вскоре добрались до своего лагеря.

Паролем на тот день было слово *махди*, то есть «спаситель». Они трижды повторили его, минуя линии часовых, после чего Хуф провел их пред очи повелителя.

Ала нахмурился, когда услышал о девяти сотнях воинов — по донесениям своих соглядатаев он ожидал встретить в Мансуре куда меньше защитников. Но решимость его не поколебалась.

— Если мы сумеем напасть на них неожиданно, преимущество будет все равно на нашей стороне.

Роб и Мирдин, рисуя палочками на земле, указали все особенности укреплений и

расположение слоновников. Шах внимательно слушал и выработывал план сражения.

Все следующее утро воины приводили в порядок оружие и снаряжение, смазывали маслом сбрую, тщательно затачивали клинки.

Слонам налили по ведру вина.

— Не слишком много, но достаточно для того, чтобы они разозлились и годились для сражения, — объяснил Харша Робу, тот изумленно кивнул. — Вином их поят только перед битвой.

Животные, казалось, все это понимают. Они беспокойно двигались из стороны в сторону, и махаутам приходилось держать ухо востро, пока они распаковывали кольчуги, набрасывали их на слонов и закрепляли. На бивни надели особые мечи — длинные, тяжелые, с гнездами вместо рукоятей. Теперь к виду грубой силы слонов добавилась еще и зловещая способность сеять вокруг смерть.

Шах приказал построить весь отряд, и воины нервно засуетились. Двинулись они по Пути пряностей, медленно-медленно, потому что весь расчет строился на том, чтобы дойти до Мансуры в нужное время — Ала-шах настаивал, чтобы это произошло в самом конце дня. Шли без единого слова. По пути встретили нескольких неудачливых жителей. Их тотчас хватили, связывали и оставляли под охраной пехотинцев, чтобы не могли поднять тревогу. Дошли до того места, где Роб и Мир-дин расстались с купцами из Ахваза, и Роб подумал о тех, кто сейчас прячется в лесу поблизости, прислушиваясь к стуку копыт, топоту марширующих ног, к тихому позвякиванию слоновьих кольчуг.

Из лесу вышли уже в сумерках, и под покровом наступающей темноты Ала развернул свои войска на вершине холма. Позади слонов — а на каждом сидело спиной к спине по четыре лучника — выстроились вооруженные мечами воины верхом на верблюдах и конях, а за всадниками шли пехотинцы с копьями и кривыми саблями.

По знаку шаха вперед двинулись два слона, не покрытых боевыми доспехами, с одними махаутами на спине. Стоявшее на вершине холма войско наблюдало за тем, как они неторопливо спускаются в сером свете гаснущего мирного дня. Дальше виднелись костры, на которых женщины поселка готовили ужин.

Слоны дошли до стены из кольев и низко опустили головы.

Шах поднял руку.

Слоны шагнули вперед. Послышался громкий треск, глухие удары кольев о землю — стена рухнула. Теперь шах махнул рукой, и персидские воины устремились к поселку.

Слоны резво бежали вниз по склону. Позади верблюды и кони ускорили шаг, пока не перешли на галоп. Из поселка донеслись первые слабые крики.

Роб вытянул из ножен меч и погонял им Суку, ударяя плащом по бокам. Впрочем, ее и не требовалось подгонять. Поначалу был слышен лишь быстрый перестук копыт и перезвон кольчуг, потом из шести сотен глоток вырвался боевой клич персов, к нему присоединились рев верблюдов, ржание коней, трубные звуки слонов, пронзительные, страшные.

У Роба встали дыбом волосы на загривке, и он, ревя подобно животным, ворвался в Мансуру вместе с войском шаха Ала.

Перед глазами Роба мелькали обрывки событий, словно он рассматривал серию картинок. Верблюдица на полной скорости проскочила через разбитые в щепы обломки бывшей стены. Он скакал по поселку, жители в неопишемом страхе со всех ног разбежались в разные стороны, и это наполняло Роба удивительным ощущением собственной неуязвимости. Он одновременно чувствовал свою непобедимую силу и острый стыд, как тогда, когда много лет назад дразнил старика-еврея в таверне.

Добравшись до расположения воинского гарнизона, Роб застал битву в самом разгаре. Индийцы сражались в пешем строю, но они хорошо знали слонов и умели нападать на них. Пехотинцы с длинными пиками норовили попасть слону в глаз. Роб видел, как им удалось проделать это с одним из не защищенных доспехами слонов — из тех, кто свалил стену. Махаута на нем уже не было, его, без сомнения, убили, а слон лишился обоих глаз. Слепший, он беспомощно стоял и дрожал, издавая жалобные крики.

Роб оказался лицом к лицу со смуглым воином, увидел, как тот заносит меч, как летит вперед клинок. Потом он не мог вспомнить, как решил использовать свой широкий меч наподобие более узких французских клинков. Роб просто выбросил меч острием вперед, и оно вонзилось в горло индийцу. Тот повалился на землю, а Роб повернулся к новому противнику, пытавшемуся достать его с другого бока верблюдицы, и стал рубить наотмашь.

У некоторых индийцев были боевые топоры и кривые сабли, они пытались рубить слонам хоботы и подобные бревнам ноги, но тут борьба была неравной. Слоны шли в атаку, их уши от злобы были широко развернуты, как надутые ветром паруса. Загнув хоботы внутрь и укрыв их между смертоносных, вооруженных мечами бивней, они бросались вперед, будто галеры, идущие на таран, рывками устремлялись на группы индийцев и многих повергали наземь. Гиганты вздымали свои ноги, словно в каком-то диком танце, и с силой, сотрясая землю, втапывали в нее упавших. Кто попадал под такой удар, от того оставалось мокрое место, как от раздавленной грозди винограда.

Вокруг Роба, рубившего налево и направо, разверзся ад леденящих душу звуков: трубный глас слонов, вопли, крики, проклятия, выкрики команд, стоны умирающих.

Зи, самый крупный из слонов, к тому же в царском уборе, привлекал к себе больше всего вражеских воинов. Роб увидел Хуфа, который стоял и сражался, прикрывая шаха. Своего коня он потерял в бою. Он вращал над головой тяжелый меч и выкрикивал проклятия и оскорбления в адрес неприятеля, а Ала, восседая на слоне, непрерывно пускал стрелы из своего громадного лука.

Битва бушевала, воины яростно выполняли свою работу, захваченные серьезным делом — убийством друг друга.

Гонясь на верблюде за вражеским копейщиком, который струсил и пустился в бегство, Роб встретил Мирдина. Тот шел пешком, меч висел у него на поясе, и было видно, что Мирдин так и не пускал его в дело. На руках он нес раненого, выносил того из боя, не обращая внимания ни на что постороннее.

Это зрелище было подобно ледяному душу. Роб похлопал глазами, натянул узду верблюдицы и соскользнул с седла раньше, чем Сука успела по-настоящему опуститься на колени. Он подбежал к Мирдину и помог нести раненого, лицо которого уже посерело от

потери крови: тот был ранен в шею.

С этой минуты Роб забыл об убийствах и принялся за работу лекаря.

* * *

Два хирурга присмотрели в поселке дом и, пока продолжался бой, сносили туда раненых по одному. Пока они только и могли, что подбирать упавших — все их запасы были нагружены на добрую полудюжину осликов, которых сейчас попробуй отыщи. Поэтому у них не было под рукой ни опиума, ни растительного масла, ни большущих связок чистой материи. Если она была нужна для того, чтобы остановить кровь, хирурги отрезали полосы от одежды убитых.

Бой вскоре превратился в резню. Индийцы были захвачены врасплох, и если примерно половина воинов успела отыскать свое оружие, то остальные отбивались от нападающих палками и камнями. Этих без труда убивали, но другие дрались отчаянно, отлично понимая: если они сложат оружие, их ждет позорная казнь или же жизнь рабов, а то и евнухов в Персии.

Уже спустилась ночная тьма, а кровопролитие все не утихало. Роб взял в одну руку меч, в другую факел и пошел в ближайший дом. Там были хозяева: тощий низенький мужчина, его жена и двое маленьких детей. К Робу повернулись четыре смуглых лица, четыре пары глаз не отрывались от его меча.

— Уходите, пока никто вас не видит, — сказал Роб мужчине. — Пока еще есть время.

Но фарси они не понимали, и хозяин произнес что-то на своем непонятном языке. Роб подошел к двери и указал во тьму, на дальний лес, потом вернулся к обитателям и жестами погнал их прочь из дома.

Мужчина понял, кивнул. Вид у него был крайне испуганный — наверное, в лесу водились хищники. Но он собрал семью и все они быстро выскользнули за дверь.

Роб нашел в этом доме светильники, а в других отыскал масло и тряпки и отнес все это к раненым.

Уже поздно ночью, когда резня прекратилась, персы добились раненых врагов и приступили к грабежу и насилиям. Роб с Мирди-ном и горсткой воинов обходили с факелами в руках поле недавнего побоища. Мертвых и умирающих они не трогали, а искали только персов, которых еще можно было спасти. Мирдин вскоре обнаружил двух драгоценных ослов с их припасами, и хирурги при свете ламп стали обрабатывать раны горячим маслом, зашивать их и перевязывать. Четирем раненым они ампутировали сильно поврежденные конечности, однако из этих выжил только один. Так хирурги и работали всю ту страшную ночь напролет.

Пациентов у них оказалось тридцать один, а когда над поселком забрезжил серый рассвет, отыскивали еще семерых — страдающих от ран, но живых.

После Первой молитвы Хуф передал им приказ шаха: прежде чем продолжать лечить раненых воинов, хирурги должны позаботиться о пяти раненых слонах. У трех слонов были глубокие порезы на ногах, одному стрела пронзила ухо, а пятому отрубили хобот. По совету Роба этого слона и того, который потерял оба глаза, добились копьями.

Позавтракав пловом, махауты отправились в слоновники Мансуры и стали отбирать животных. Они ласково разговаривали со слонами, а в разные стороны поворачивали их,

покалывая за ушами острыми палками с крюком, *анкусами* [188].

— Ну-ну, папаша!

— Повернись-ка, доченька. А ты, сынок, стой спокойно! Покажите мне, детки, что вы умеете делать.

— Опустись, матушка, на колени. Разреши мне покататься на твоей голове, красавица [189].

С такими ласковыми возгласами махауты отделяли уже обученных животных от тех, которые оставались полудикими. С собой в Исфаган они могли забрать только тех, кто приучен слушаться человека и будет повиноваться в походе, а полудиких отпустят и позволят им вернуться в свои леса.

К голосам махаутов прибавился другой громкий звук — жужжание: мясные мухи уже почуяли трупный запах. Вскоре настанет жаркий день, и смрад делается невыносимым. Погибли семьдесят три перса. Из индийцев остались в живых только сто три человека, сдавшиеся в плен. Шах Ала предложил им стать носильщиками в его войске, и они охотно, с явным облегчением, согласились: через несколько лет им, возможно, станут достаточно доверять, и они станут воинами, сражающимися за Персию, а быть воинами куда лучше, нежели евнухами. Сейчас они уже были заняты делом — копали общую могилу для погибших персов.

Мирдин взглянул на Роба. «*Это хуже, чем я опасался*», — говорили его глаза. Роб был с ним согласен, однако его утешало то, что все уже позади и скоро они возвратятся домой.

К ним подошел Карим, поговорить. Хуф, поведал он, убил индийского командира, но тот прежде едва не перерубил огромный меч Хуфа, выкованный из более мягкой стали. Карим принес меч Хуфа, чтобы они увидели, насколько глубоко врезался в лезвие индийский клинок. Захваченный у индийца меч был изготовлен из драгоценной стали с завитками, теперь он висел на поясе шаха Ала. Шах лично наблюдал за допросом пленных, пока не дознался: меч был выкован мастером по имени Дхан Вангалил в Кау-замби, деревне в трех дневных переходах к северу от Мансуры.

— Повелитель принял решение совершить набег на Каузам-би, — заключил свой рассказ Карим.

Они захватят там индийского мастера и заберут с собой в Исфаган, где он станет изготавливать оружие из такой волнистой стали, и это поможет шаху завоевать соседей и восстановить великую и обширную Персию, какой она была в древние времена.

* * *

Легко было это сказать, да не так легко оказалось на деле.

Каузамби — деревня на западном берегу Инда; на четырех пыльных улочках сгрудились несколько десятков шатких бамбуковых хижин, но каждая улочка вела к военному гарнизону. Персам и в этот раз удалось незаметно подкрасться к деревне, тихонько пробравшись через лес, прижимавший ее к речному берегу. Когда индийские воины поняли, что подверглись нападению противника, они уподобились стае испуганных обезьян и кинулись врассыпную наутек, в заросли.

Ала был очень доволен, считая, что благодаря трусости врагов добился самой легкой из всех своих побед. Не теряя времени, он приставил меч к горлу первого попавшегося ему

крестьянина и приказал перепуганному жителю деревни провести воинов к Дхану Вангалилу. Мастер-оружейник оказался жилистым человеком со спокойным взглядом, седыми волосами и белой бородой, которая частично скрывала его лицо, выглядевшее все еще молодо. Вангалил охотно согласился отправиться в Исфаган и служить там шаху Ала, но сказал, что предпочтет умереть, если ему не будет позволено взять с собой жену, двух сыновей и дочь, а также всевозможные припасы, необходимые для изготовления волнистой стали, включая немалый штабель квадратных болванок из твердой индийской стали.

Шах согласился на все условия, не колеблясь. Но уходить сразу было нельзя: группы разведчиков, разосланных по ближайшей округе, вернулись с тревожными вестями. Индийский отряд не только не бежал прочь, но напротив, засел в лесу и вдоль дороги, готовый напасть на всех, кто будет выходить из Каузамби.

Ала понимал, что индийцы не смогут держать их в осаде долго. Во-первых, как и в Мансуре, эти воины в засаде были плохо вооружены. Во-вторых, питаться им придется лишь дикими лесными плодами. Шахские военачальники сказали повелителю, что бежавшие, несомненно, посланы за подкреплением. Впрочем, ближайший более или менее крупный гарнизон, насколько было известно персам, находился в Сехване, на расстоянии шести дневных переходов отсюда.

— Ступайте в лес и очистите его от врагов, — приказал Ала ад-Даула.

Пятьсот персидских воинов были разбиты на десять боевых групп по пятьдесят человек в каждой, все пешие. Они вышли из деревни и стали прочесывать лес в поисках врагов, будто охотились на диких кабанов. Когда же они встретились с индийцами лицом к лицу, завязался бой — ожесточенный, кровопролитный, долгий.

Ала-шах приказал забирать из лесу всех убитых, дабы враг не мог их сосчитать и получить представление о том, насколько уменьшились его собственные силы. Погибших персов уложили на пыльной улице Каузамби, пока пленные, взятые в Мансуре, рыли общую могилу.

Первым из лесу, в самом начале схватки, принесли тело Капитана Ворот. Хуф был убит индийской стрелой, попавшей ему в спину. Человеком он был суровым, неулыбчивым, но и несгибаемым, живой легендой. По шрамам на его теле можно было прочесть историю жестоких сражений, в которых он участвовал при двух шахах. И весь тот день персидские воины шли и шли проститься с ним.

Гибель Хуфа вызвала в них холодную ярость, и на сей раз они не брали пленных, убивая даже тех индийцев, кто сам складывал оружие перед ними. Но и им самим пришлось столкнуться с отчаянием загнанных в угол людей, которые знали, что пощады ждать не приходится. Бой превратился в отвратительную резню: летели стрелы с зазубренными наконечниками, острые клинки сверкали в руках людей, которым нечего было терять, и они, вопя что есть мочи, только кололи и рубили.

Дважды в день раненых сносили на поляну в лесу, и один из хирургов под надежной охраной оказывал им первую помощь, затем пациентов несли в деревню. Схватки в лесу продолжались три дня. Из тридцати восьми раненых в Мансуре одиннадцать умерли еще до того, как персы ушли отсюда, еще шестнадцать не вынесли последующего марша на Каузамби. А к одиннадцати, оставшимся на попечении Мирдина и Роба, за эти три дня лесных боев прибавились еще тридцать шесть новых раненых. Убито здесь было сорок семь персов.

Мирдин произвел еще одну ампутацию, а Роб три, причем в одном случае ему пришлось

лишь затянуть лоскутом кожи аккуратный обрубок — индийский меч отсек руку начисто чуть ниже локтя. Поначалу они лечили раны так, как учил Ибн Сина: кипятили масло и еще горячим заливали его в рану, чтобы не допустить нагноения. Но в последний день утром у Роба вышло все масло, и он вспомнил, как Цирюльник в свое время лечил рваные раны метеглином. Роб взял мех крепкого вина и стал промывать им раны, прежде чем перевязывать.

В то утро последние схватки завязались сразу с рассветом. Через два-три часа появилась новая группа раненых, и носильщики доставили кого-то, с ног до головы закутанного в захваченное у индийцев одеяло.

— Сюда — только раненых, — резко бросил Роб.

Но они все равно положили тело и стояли над ним, неуверенно чего-то ожидая. Роб вдруг заметил, что на убитом башмаки Мирдина.

— Был бы он простым воином, мы положили бы его там, на улице, — произнес один из носильщиков. — Но он хаким, вот мы и принесли его к хакиму.

Носильщики рассказали: они уже возвращались в деревню, когда из кустов неожиданно выскочил индеец с топором в руках. Ударить он успел одного только Мирдина, после чего его самого зарубили. Роб поблагодарил носильщиков, и они ушли.

Отвернул одеяло с лица и убедился, что это и вправду Мирдин. Лицо было искажено гримасой боли и казалось удивленным, каким-то милым и капризным.

Роб закрыл добрые глаза друга и туго подвязал ему выдающиеся вперед челюсти. Он ни о чем не думал, двигаясь, словно пьяный. Время от времени он уходил, чтобы утешать умирающих и заботиться о раненых, но снова и снова возвращался к другу, садился рядом. Один раз он поцеловал его в холодные губы, но Роб не верил, что Мирдин это почувствует. То же самое он ощутил и тогда, когда попробовал взять друга за руку. Мирдина больше не было на этом свете.

Оставалось надеяться, что он прошел по одному из своих мостов.

Роб оставил его и попытался отвлечься лихорадочной работой. Принесли воина с искалеченной правой рукой, и Роб провел последнюю за этот поход ампутацию, отрезав руку чуть выше запястья. Когда он в полдень вернулся к Мирдину, над тем уже вились мухи.

Роб откинул одеяло совсем и увидел, что вражеский топор разрубил Мирдину грудь. Роб наклонился над огромной раной и смог руками раздвинуть ее края.

Он перестал чувствовать и запах смерти, витавший в шатре, и запах раздавленной травы под ногами. В его ушах перестали звучать стоны раненых, гудение мух, отдаленные крики и звон оружия. Он забыл о том, что друг его умер, забыл о давившем душу горе.

Впервые в жизни он смог заглянуть внутрь человеческого тела и дотронуться рукой до сердца.

Роб обмыл тело Мирдина, подстриг ногти, расчесал ему волосы и завернул друга в молитвенное покрывало, с которого, по обычаю, срезал половинку одной из кисточек.

Потом пошел, вызвал Карима, и тот, услышав новость, заморгал, словно его ударили по лицу.

— Я не хочу, чтобы его закопали в общей могиле, — сказал Роб. — Не сомневаюсь, что его родственники приедут сюда и увезут тело к себе в Маскат, чтобы похоронить среди своих, в освященной земле.

Место для могилы они выбрали прямо перед огромным валуном, таким тяжелым, что даже слоны не могли его пошевелить. Тщательно заметили место, отмерив шаги от валуна до края ближайшей дороги. Карим воспользовался своими привилегиями, раздобыл пергамент, перо и чернила, и, когда могила была вырыта, Роб старательно нарисовал карту. Потом он перерисует ее набело и отправит в Маскат. Если не будет неоспоримых свидетельств, что Мирдин умер, то Фара будет считаться *агуной*, то есть брошенной женой, и ей ни за что не позволят снова выйти замуж. Таков был закон, которому научил его Мирдин.

— Ала захочет присутствовать при этом, — сказал Роб.

Он видел, как Карим приблизился к шаху. Тот пил вино со своими военачальниками, греясь в лучах одержанной славной победы. Он с минуту слушал Карима, потом нетерпеливо отмахнулся от него. Роб ощутил прилив ненависти, он вспомнил, как в гроте шах говорил Мирдину: «Мы — *четверо друзей*».

Карим вернулся и с пылающим от стыда лицом сказал, что они могут продолжать свое дело. Он с трудом пробормотал несколько отрывков из мусульманской молитвы, и они стали засыпать могилу землей. Роб даже не пытался молиться: Мирдин заслуживал того, чтобы скорбные голоса пропели над ним погребальную песнь, *хашикават*, а затем прочитали *кадиш* — заупокойную молитву. Но кадиш надлежит читать десяти евреям, а он христианин, который лишь выдает себя за еврея, и он молча, в оцепенении стоял, пока земля покрывала тело его друга.

* * *

После полудня персам уже некого стало убивать — индийцев в лесу они больше не находили. Дорога из Каузамби была свободна. Ала назначил новым Капитаном Ворота ветерана с тяжелым взглядом, по имени Фархад, и военачальник тут же стал громко выкрикивать команды, стараясь собрать наличные силы и выступить в поход.

Под крики всеобщего ликования Ала подвел итоги. Он сумел захватить индийского мастера-оружейника. В Мансуре он потерял двух боевых слонов, зато захватил там двадцать восемь новых. Кроме того, уже здесь, в Каузамби, махауты обнаружили четырех молодых и здоровых слонов. Это были тягловые животные, не привыкшие к битве, но все равно достаточно ценные. Индийскими лошадками, грязными и низкорослыми, персы брезговали, однако в Мансуре они нашли небольшое стадо отличных быстроногих верблюдов, а в Каузамби — десятки вьючных верблюдов. Шах сиял, перечисляя успехи своего набега.

Из шестисот воинов, вышедших с ним из Исфагана, погибли сто двадцать, а Роб отвечал за сорок семь раненых. У многих из этого числа раны были тяжелые, в походе они неизбежно умрут, но не оставлять же их в разграбленной деревне. Как только придут индийские подкрепления, любой перс будет немедленно убит.

Роб послал воинов по домам, чтобы они собрали коврики и одеяла. Привязывая к ним шесты, сооружали носилки. Когда на рассвете следующего дня они покидали деревню, эти носилки несли пленные индийцы.

Понадобились три с половиной трудных, напряженных дневных перехода, пока они дошли до такого места, где реку можно было перейти вброд, не вступая в бой с противником. В самом начале переправы вода увлекла за собой двух воинов, и они захлебнулись. На середине Инда глубина невелика, но течение быстрое, поэтому махауты повели своих слонов выше по течению, и те живой стеной ослабляли напор воды. Так стало видно еще одно преимущество этих ценных животных.

Тяжело раненные умирали первыми — те, у кого пробита стрелой грудь или распорот саблей живот. И тот воин, раненный в шею. За один только день Роб потерял шестерых. Через пятнадцать дней они пришли в Белуджистан. Там разбили лагерь, и Роб разместил раненых под навесом без стен. Найдя Фархада, он попросил аудиенции у шаха, однако Фархад не очень-то спешил — он весь был преисполнен гордости и сознания своей важности. К счастью, разговор услышал Карим и сразу повел Роба в царский шатер.

— У меня из раненых остался двадцать один человек. Им необходимо лежать спокойно на одном месте, иначе они тоже умрут, о великий повелитель.

— Я не могу ждать, пока они поправятся, — ответил шах. Ему не терпелось вступить победителем в Исфаган.

— Я прошу позволения остаться здесь и ухаживать за ними.

Шах удивленно посмотрел на него.

— Но я не позволю Кариму остаться здесь как хакиму. Он должен вернуться со мной вместе.

Роб согласно кивнул.

Ему дали пятнадцать пленных индийцев и двадцать семь вооруженных персидских воинов, чтобы нести носилки, а также двух махаутов и всех пятерых раненых слонов, чтобы они продолжали получать помощь лекаря. Карим распорядился, чтобы разгрузили и оставили несколько мешков риса. Наутро лагерь снова поспешно свернули, основная часть отряда двинулась в путь, и когда последний воин скрылся из виду, Роб остался с ранеными и горсткой воинов в непривычной тишине. Это одновременно и радовало его, и тревожило.

* * *

Отдых пошел его пациентам на пользу. Они лежали в тени, среди зелени, их не беспокоила бесконечная тряска при движении по дорогам. Двое умерли в первый день, еще один — на четвертый, но остальные изо всех сил цеплялись за жизнь, и решение Роба остановиться в Белуджистане спасло им жизнь.

Воины охраны поначалу были недовольны выпавшим им жребием. Все другие участники набега вот-вот вернутся в Исфаган, будут там в безопасности и наслаждаться лаврами победы, а вот им выпало по-прежнему рисковать собой, да еще и выполнять

грязную работу. Два воина из числа оставленных Робу улизнули на вторую ночь, больше их не видели. Безоружные индийцы удрасть не пытались, как, впрочем, и остальные воины-персы. Профессиональные солдаты, они довольно быстро сообразили, что в следующем походе раненым может оказаться любой из них, и почувствовали благодарность к хакиму, который готов подвергать риску себя, чтобы помочь таким же простым воинам, как они сами.

Каждое утро Роб высылал из лагеря небольшие группы охотников. Те возвращались со скромной добычей, которую разделявали и тушили вместе с оставленным Каримом рисом, и на его глазах раненые набирались сил.

Слонов он лечил, как и людей, регулярно меняя повязки и промывая раны вином. Огромные звери стояли спокойно, терпели боль, которую он им причинял, словно понимали, что делает он это ради их же пользы. Люди были не менее терпеливы, чем животные, хотя некоторые раны гноились и Роб был вынужден разрезать швы и снова вскрывать начавшую заживать плоть, чтобы очистить раны от гноя, промыть их вином, а затем снова зашить.

Для себя он отметил странный факт: почти во всех случаях, когда он обрабатывал раны кипящим маслом, те воспалялись, опухали и переполнялись гноем. Многие из таких раненых уже умерли, тогда как у тех, кого он лечил, когда масло уже кончилось, нагноений не отмечалось, и все они выжили. Он стал вести записи, полагая, что даже одно это наблюдение придавало смысл его участию в набеге на Индию. У него и вино уже заканчивалось, но он недаром в свое время изготавливал Особое Снадобье от Всех Болезней — благодаря этому он знал теперь: где есть крестьяне, там найдутся и бочки крепких напитков. По пути они купят еще вина.

Наконец, по прошествии трех недель, они покинули лагерь вокруг навеса. Четверо выздоравливающих достаточно окрепли и могли ехать верхом, так что двенадцать воинов остались без носилок и могли подменять носильщиков, позволяя то одним, то другим передохнуть. Роб увел их с Пути пряностей при первой возможности и повел кружной дорогой. Такой маневр почти на неделю удлинял их путешествие, что воинов не радовало. Но Роб не собирался рисковать, повторяя со своим малым караваном путь шахского отряда — мимо деревень, ограбленных царскими фуражирами, умирающих с голоду и преисполненных ненависти к воинам.

Три слона все еще прихрамывали, грузами их не стали навьючивать, а Роб ехал на спине слона, у которого было лишь несколько неглубоких царапин на хоботе. Роб был очень доволен, что покинул седло Суки, и рад был бы никогда в жизни больше не садиться на верблюда. На широкой спине слона, напротив, было удобно, надежно, да и вид открывался просто царский.

Но легкость путешествия предоставляла ему неограниченные возможности для размышлений, и он на каждом шагу вспоминал Мирдина. Случавшиеся в пути происшествя: вдруг одновременно в воздух поднялись тысячи птиц, вот солнце садится, и небо будто вспыхивает ярким пламенем, вот один из слонов неосторожно ступил на краешек глубокой канавы, обрушил его, а потом присел, как ребенок, и съехал вниз по образовавшемуся склону, — все эти мелочи Роб замечал, но они его не развлекали.

«Иисусе, — думал он, — или Шаддаи, или Аллах, как бы Тебя ни называли. Отчего ты допускаешь такое расточительство?»

Цари посылали в битвы простых людей, и некоторые из уцелевших были

малодостойными людьми, а некоторые так просто негодяями, с горечью думал Роб. Однако Бог допустил, чтобы погиб тот единственный, у кого были задатки святого и такой разум, которому завидует и какой желает иметь всякий ученый. Мирдин всю жизнь посвятил бы тому, чтобы лечить людей и служить им.

С тех пор как он похоронил Цирюльника, ни одна смерть не взволновала Роба так сильно, до глубины души, и он до самого Исфагана ехал мрачный и преисполненный отчаяния.

К городу они подошли уже перед наступлением вечера, и тот выглядел точно таким, каким Роб увидел его впервые: белые здания с наброшенным на них покрывалом синих теней, а крыши отсвечивают розовым из-за окружающих город песчаных холмов. Они проехали напрямик в маристан, где он передал восемнадцать раненых на попечение других лекарей.

Затем они направились на конюшни Райского дворца, и там роб освободился от ответственности за животных, воинов и рабов.

Покончив с этим, он попросил вернуть ему гнедого. Находившийся поблизости Фархад, новый Капитан Ворот, услышал и приказал конюху не тратить время на поиски одной конкретной лошади в бурлящем табуне.

— Приведи хакиму другого скакуна.

— Хуф сказал, что я получу назад своего коня. — Не все же должно теперь измениться, сказал себе Роб.

— Хуфа нет.

— И тем не менее. — К немалому удивлению Роба, и в его голосе, и в глазах появилась упрямая решимость. Он побывал в пекле боев, они стояли ему поперек горла, но теперь ему хотелось с кем-нибудь драться, накопившаяся злость требовала выхода. — Я хочу получить своего коня.

Фархад разбирался в людях и ясно почувствовал в тоне хакима вызов. Препираясь с этим зимми, выигрывал он мало, а вот потерять мог весьма многое. Поэтому он пожал плечами и отвернулся.

Роб вместе с конюхом изъездил весь загон. К тому времени, когда они увидели гнедого мерина, ему уже было стыдно за свою грубость с Фархадом. Они отделили гнедого от табуна и оседлали, а Фархад смотрел и не скрывал своего презрения: вот за это неполноценное животное зимми готов был ссориться с ним?

Но, как бы то ни было, гнедой охотно потрусил рысью в сумерках к кварталу Яхуддийе.

* * *

Услышав, как заволновались животные, Мэри взяла отцовский меч, лампу и отворила дверь, ведущую из жилого дома на конюшню.

Он возвратился домой.

Гнедой был уже расседлан, и Роб как раз заводил его в стойло. Вот он обернулся, и Мэри увидела, как сильно он похудел. Сейчас он был в точности похож на того худощавого вспыльчивого юношу, с которым она познакомилась в караване керла Фритты. В три шага Роб подскочил к ней, обнял, не говоря ни слова, потом провел рукой по плоскому животу.

— Прошло благополучно?

Она слабо рассмеялась, усталая и измученная. Всего на пять дней опоздал Роб и не слышал ее отчаянных криков и воплей.

— Твой сын два дня выходил на свет.

— Сын...

Роб погладил ее по щеке своей большой рукой. При этом прикосновении Мэри даже задрожала от невероятного облегчения и едва не пролила из лампы масло, так что пламя заметалось. Пока Роба не было, Мэри держалась твердо и сурово, женщина, одетая в кожаные доспехи, но какая это великая роскошь — снова опираться на мужа и сознавать, что кто-то тебя защищает и умеет все делать.

Она отложила меч и взяла Роба за руку, повела в дом, к высланной мягким одеялом люльке, где спал младенец.

И вдруг Мэри увидела маленького круглолицего человечка глазами мужа: крошечные черточки красного личика, набухшие от усилий при родах, темный пушок на голове. Ее даже немного раздражало, что Роб такой — сразу не поймешь, то ли он разочарован, то ли ничего не сообщает от радости. Но вот он взглянул на жену, и огромная радость на его лице смешалась с душевной болью.

— А как Фара?

— Карим приходил. Он ей все рассказал. Я вместе с нею соблюдала *шиву*, все семь дней. А потом она забрала Давида и Иссахара и присоединилась к каравану, выступавшему в Маскат. С Божьей помощью, они сейчас должны уже быть в кругу родственников.

— Тебе трудно без нее придется.

— Ей еще труднее, — с глубокой грустью ответила Мэри.

Младенец тихонько захныкал, Роб вынул его из люльки и дал сыну свой мизинец, которым тот жадно завладел.

Мэри была одета в свободное платье с тесьмой, стягивающей горловину — его сшила ей Фара. Она развязала тесемку и спустила платье ниже своих полных грудей, потом забрала у Роба малыша, стала его кормить, а Роб прилег на циновку рядом с ними. Повернул голову, прильнул к свободной груди, и вскоре Мэри почувствовала, что щека у него мокра.

Она никогда не видела, чтобы плакал ее отец, да и вообще мужчина, и сотрясавшие тело Роба рыдания испугали ее.

— Милый мой, милый Роб, — пробормотала она.

Свободной рукой она инстинктивно направляла его голову, пока рот не оказался на ее соске. Сосал Роб далеко не так настойчиво, как его сын, но когда он потянул молоко и сделал глоток, Мэри одновременно очень растрогалась и развеселилась: наконец-то *ее* телесная жидкость вошла внутрь *него*. Мимоходом она подумала о Фаре и, не без ощущения вины, возблагодарила Пресвятую Деву за то, что ее муж вернулся живым и невредимым. Две пары губ — одна крошечная, а другая очень большая и такая знакомая — наполнили ее душу теплом и лаской. Наверное, то было особое благословение Богоматери или кого-то из святых, творящих чудеса, но на недолгое время они все трое слились в одно целое.

Наконец Роб сел, выпрямился, склонился к Мэри и поцеловал ее. Она почувствовала на его губах свое собственное теплое сладкое молоко.

— Увы, я не римлянин, — сказал Роб.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ХАКИМ



Наутро после возвращения Роб разглядел своего сынишку при дневном свете. Младенец показался ему красавцем: густо-синие английские глаза, большие руки и ступни ног. Он, нежно загибая каждый, пересчитал все пальчики на руках и ногах и поразился немного кривым ножкам. Крепкий малыш!

Ребенок, которого Мэри щедро умастила маслом, пахнул, как пресс для оливок. Потом запах стал менее приятным, и Роб сменил пеленки, впервые с тех пор, как ухаживал за братьями и сестренкой. Где-то в глубине души он все еще надеялся когда-нибудь отыскать Вильяма Стюарта, Анну-Марию и Джонатана Картера. Разве не порадуются давние потерянные друг для друга Коли такому племяннику?

С Мэри они поссорились из-за обрезания.

— Вреда ему это не причинит. Здесь всякого мужчину непременно обрезают, все равно, мусульманина или еврея, а ему так будет гораздо легче войти в местное общество.

— А я не желаю, чтобы он входил в местное общество! Главное, чтобы его хорошо приняли дома, где мужчин не укорачивают, а оставляют такими, как положено от природы.

Роб рассмеялся, а Мэри заплакала. Он долго утешал ее и при первой же возможности отправился посоветоваться к Ибн Сине.

Князь лекарей тепло поздоровался с Робом, возблагодарил Аллаха за то, что тот сохранил его живым, с грустью вспомнил о Мирдине. Ибн Сина очень внимательно выслушал отчет Робана о лечении раненых и проведенных после двух битв ампутациях. Особенно его заинтересовало сопоставление эффективности горячего масла и промывания открытых ран крепким вином. Снова подтвердилось, что научная истина ему дороже, чем собственная непогрешимость. Пусть наблюдения Робана и противоречили тому, что говорил и писал сам Ибн Сина, Учитель настаивал, чтобы Роб написал о своих наблюдениях и открытиях.

— А кроме того, этот вопрос — о промывании ран вином — должен стать предметом твоей первой лекции в качестве хакима, — сказал он, и Роб услышал, как соглашается с Учителем. Потом старик пристально посмотрел на него.

— Я хочу, Иессей бен Беньямин, чтобы ты работал вместе со мной. Моим помощником.

О таком Роб даже и не мечтал. Ему хотелось объяснить главному лекарю, что он добрался до Исфагана, преодолев огромное расстояние, через множество чужих стран, справившись с невероятными трудностями, только для того, чтобы прикоснуться к краю одежды Ибн Сины. Вместо всего этого он просто кивнул:

— Я с радостью принимаю такое предложение, хаким-баши!

Мэри ничуть не возражала, когда он сказал ей об этом. Она уже достаточно прожила в Исфагане и даже не думала, что ее муж может отказаться от подобной чести. Ведь это сулило не только вполне приличный доход, но и несомненный почет и уважение, проистекающие от близости к тому, кого почитали как полубога, а любили больше, нежели царя. Когда Роб увидел, как жена рада за него, он привлек ее к себе, обнял.

— Я обязательно отвезу тебя домой, обещаю, Мэри. Но еще не сейчас. Пожалуйста, верь мне!

Она верила. Но признала и то, что если они здесь задержатся, то ей надо менять образ

жизни. Она решила сделать над собой усилие и уважать обычаи страны, в которой живет. С большой неохотой Мэри согласилась на обрезание сына.

Роб пошел за советом к Нитке Повитухе.

— Идем со мной, — сказала та и повела его за две улицы, к реб Ашеру Якоби, *могелю* [190].

— Значит, обрезание, — сказал могель. — А мать... — Прищурившись, он задумчиво посмотрел на Нитку, почесал свою бороду. — Мать из чужаков!

— Ну, не обязательно, чтобы это был *брит* [191] со всеми положенными молитвами, — возразила Нитка. Она уже совершила очень серьезный шаг — помогла «не нашей» женщине родить ребенка мужского пола — и теперь без труда взяла на себя роль защитницы. — Коль уж отец просит, чтобы ребенок был отмечен печатью Авраама, так это ведь благословение — провести обрезание, разве нет?

— Твоя правда, — признал реб Ашер. — А твой отец? Он будет держать ребенка на руках? — обратился он к Робу.

— Отец мой умер.

Реб Ашер вздохнул.

— А будут присутствовать другие родственники?

— Только моя жена. Здесь нет других родственников. Ребенка я буду держать сам.

— Такое событие надо отпраздновать, — мягко вставила Нитка. — Ты же не против? Мои сыновья, Шмуэль и Хофни, несколько человек соседей...

Роб согласно кивнул.

— Об этом я сама позабочусь, — заверила его Нитка.

На следующее утро она со своими могучими сыновьями-каменотесами первой появилась в доме Роба. Гинда, неприветливая торговка с еврейского рынка, пришла вместе со своим Длинным Исааком, седобородым задумчивым знатоком законов. Гинда по-прежнему не улыбалась Робу, но принесла с собой подарок — стопку пеленок. Яков Башмачник со своей женой Наомой принесли бутылку вина. Пришел и Мика Галеви Булочник, а его жена Юдифь несла две огромные сахарные лепешки.

Держа родное маленькое тельце у себя на коленях личиком вверх, Роб не мог побороть сомнений, пока реб Ашер обрезал крошечную крайнюю плоть.

— Пусть малыш растет здоровым — и телом и душой — и творит в жизни одни добрые дела! — провозгласил могель, когда младенец пронзительно взвизгнул. Соседи подняли чаши вина и поздравили родителей. Роб нарек сына еврейским именем — Мирдин бен Иессей.

Мэри с отвращением наблюдала за каждым мигмом этой церемонии. Через час, когда все гости разошлись, а они с Робом остались наедине, она обмакнула пальцы в ячменный отвар и прикоснулась к хнычущему малышу: ко лбу, подбородку и мочкам обеих ушей.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа нарекаю тебя Робертом Джеймсом Кодем, — отчетливо выговорила она. Имя дала ребенку в честь его отца и деда. С тех пор она дома всегда называла мужа Робом, а сына — Робом Джейм [192].

Достопочтенному реб Мульке Аскар, торговцу жемчугом в Маскате — мой привет!

Ваш покойный сын Мирдин был моим другом. Да почиет он с миром!

Мы с ним вместе были хирургами в Индии, откуда я привез несколько вещей, каковые и посылаю Вам ныне с добрым человеком, реб Мойше бен Завилем, торговцем из города Кум,

караван которого сегодня отправляется в Ваш город с грузом оливкового масла.

Реб Мойше передаст Вам нарисованную на пергаменте карту, где указано точное местоположение могилы Мирдина в деревне Каузамби — с тем чтобы Вы, если того пожелаете, могли когда-нибудь забрать его останки. Еще посылаю его *тфиллин*, которые он ежедневно повязывал на свою руку. Мне он рассказывал, что это вы подарили их ему, когда на четырнадцатом году он получил право участвовать в *миньяне*. Посылаю также доску и фигуры для шахской игры, за которой мы с Мирдином провели много радостных часов.

В Индии с ним не было других вещей. Похоронен он был, разумеется, завернутым в *талес*. Я молю Господа Бога, чтобы Он смягчил пониманием боль и тяжесть Вашей и нашей утраты. С его смертью свет ушел из моей жизни. Он был самым чудесным человеком, которого я ценил превыше всех прочих. Я не сомневаюсь, что сейчас он пребывает вместе с *адашим*, и надеюсь, что когда-нибудь удостоюсь снова быть с ним рядом.

Передайте, пожалуйста, мой привет и мое уважение его вдове и его достойным юным сыновьям. Сообщите им, что моя жена родила здорового сына, Мирдина бен Иессея, и передает им с любовью свои пожелания доброй жизни.

Йиворехана Адонаи в 'Йишмореха. (Да благословит Вас Господь Бог и да сохранит!)

Иессей бен Беньямин, хаким

Аль-Джуджани многие годы был помощником Ибн Сины. Он сумел достичь как хирург собственного величия, опередив, таким образом, всех других помощников Учителя, однако и эти другие добились немалых успехов. Хаким-баши нагружал своих помощников работой до предела, так что эта должность была своего рода продолжением учебы, она давала возможность познать еще больше. Роб с самого начала делал очень многое, а не просто сопровождал Ибн Сину или подавал ему нужные инструменты, как случалось с помощниками других выдающихся личностей. Ибн Сина всегда был готов помочь советом, если это требовалось, или высказать свое мнение по какому-либо вопросу, но молодому хакиму он полностью доверял и ждал от него самостоятельной работы.

Для Роба наступили счастливые дни. Он прочитал в медресе лекцию о промывании открытых ран вином; слушателей было мало — в то утро гость, лекарь из Рея, читал лекцию о физической любви. Персидские медики неизменно спешили на лекции, посвященные половой жизни, и Роба это удивляло, ведь в Европе этот вопрос не входил в компетенцию врачей. Впрочем, он и сам побывал не на одной такой лекции, и брак его оказался исключительно удачным — то ли благодаря всему, что Роб там узнал, то ли вопреки.

Мэри быстро приходила в себя после родов. Они точно выполняли предписания Ибн Сины, который предупредил, что супругам следует воздерживаться от телесного общения в течение шести недель после родов, а наружные половые органы молодой матери советовал смазывать оливковым маслом и втирать в них мед, разведенный в ячменном отваре. Это лечение оказалось очень удачным. Шесть недель, правда, показались им целой вечностью, и когда этот срок пришел к концу, Мэри жадно прильнула к мужу, едва только он обнял ее.

Минуло еще несколько недель, и у Мэри стало пропадать молоко. Это было удивительно и тревожно, ведь с самого начала молока у нее было в изобилии. Она говорила Робу, что в ней бурлит молочная река, там достаточно, чтобы напоить весь мир. Кормление младенца приносило ей огромное облегчение, иначе болезненное давление внутри груди стало бы невыносимым. Но вот, совсем скоро, это давление исчезло, а боль ей теперь причиняло тоненькое хныканье голодного Роба Джея.

Стало ясно, что нужна кормилица. Роб поговорил с несколькими повитухами и через них отыскал крепкую миловидную армянку, именем Приска, у которой с избытком хватало молока и для своей новорожденной дочери, и для сына хакима. Четыре раза в день Мэри носила сынишку в лавку кожевника Диркана, мужа Приски, и ждала, пока маленькому Робу Джею давали грудь. По ночам же Приска приходила в домик в Яхуддиейе и ночевала с обоими младенцами в соседней с хозяевами комнате, а Роб и Мэри старались потихоньку предаваться любви, наслаждаясь затем роскошью спать беспробудно.

Мэри выполнила свое предназначение и теперь сияла от счастья. Ее красота расцвела с новой силой. Робу иногда казалось, что рождение сына, созданного ими обоими — это исключительно заслуга самой Мэри, но его любовь к ней от этого только росла.

В первую неделю месяца шабан через Исфаган снова прошел караван реб Мойше бен Завиля, возвращавшийся обратно в Кум. Купец привез подарки от реб Мульки Аскари и его невестки Фары. Младенцу Мирдину бен Иессею Фара с любовью и заботой сшила шесть комплектов полотняной одежды, а торговец жемчугами возвратил Робу шахскую игру, принадлежавшую покойному сыну.

Мэри в последний раз всплакнула по Фаре. Когда она вытерла слезы с глаз, Роб расставил на доске Мирдина фигуры и обучил жену этой игре. Они потом часто в нее играли. Роб не ожидал от жены слишком многого — в конце концов, то была игра для воинов, а Мэри всего лишь женщина. Но она быстро всё схватывала и вскоре брала его фигуры, гикая и издавая боевые кличи, какие пристали разве что разбойникам-сельджукам. То, как быстро она научилась командовать царской армией, пусть и было не совсем естественно для женщины, однако же подтверждало истину, давно усвоенную Робом: Мэри Каллен была существом необыкновенным.

* * *

Пришел месяц рамадан и захватил Карима врасплох: тот закоснел в грехах, и теперь ему невозможно было достичь душевной чистоты и полного покаяния, какие приличествуют месяцу поста, а сознавать свою греховность было тяжело. Даже частые молитвы и строгий пост не помогали ему прогнать мысли о Деспине, и его тянуло к ней с прежней неумемной силой. Да и то сказать, Ибн Сина почти каждый вечер молился то в одной, то в другой мечети, а по вечерам ужинал с муллами и знатоками Корана. Таким образом, рамадан обеспечивал любовникам полную свободу свиданий и Карим виделся с Деспиной не реже, чем раньше.

Ала-шах тоже был занят во время рамадана — он часто молился при народе, были и другие царские обязанности, отнимавшие много времени, поэтому однажды Кариму даже удалось — впервые за много месяцев — вырваться в маристан. К счастью, Ибн Сины в тот день в больнице не было, он ухаживал за придворным, которого постигла лихорадка. Карим чувствовал за собой вину: Ибн Сина всегда относился к нему справедливо и доброжелательно, и Кариму тяжело было находиться рядом с супругом Деспины.

Посещение больницы принесло Кариму горькое разочарование. Нет, учащиеся все так же следовали за ним повсюду, даже в большем количестве — о Кариме ходили все более удивительные легенды. Но никого из больных он теперь не знал; все, кого он когда-то лечил, либо уже умерли, либо давным-давно выздоровели. Пусть некогда он обходил все эти залы с

твердой уверенностью в своих силах и умении, зато теперь обнаружил, что запинаяется, нервно задавая вопросы: не было полной ясности, что же интересует его у больных, за которых отвечают другие лекари.

Ему удалось завершить визит благополучно, не выставив себя круглым дураком, но для себя Карим сделал грустный вывод: если он не станет посвящать больше времени настоящей лечебной практике, то от всех знаний и умений, заработанных с таким трудом долгими годами учебы, скоро ничего у него не останется.

Выбирать ему, правда, не приходилось. Ала-шах заверил его, что их обоих ожидают такие головокружительные высоты, перед которыми медицина просто померкнет.

В нынешнем году Карим не участвовал в чатыре. Он не готовился к нему, да и располнел куда больше, чем положено бегуну. Он наблюдал за состязанием, сидя рядом с шахом.

Первый день байрама выдался даже жарче, чем тот, когда бежал он сам, и начало состязания было довольно вялым. Царь возобновил свое обещание даровать калаат тому, кто сумеет повторить достижение Карима и пробежать все двенадцать этапов до Вечерней молитвы, однако уже было ясно, что сегодня никто не сможет одолеть все сто двадцать шесть римских миль.

Настоящее состязание началось уже на пятом этапе и вскоре превратилось в борьбу между аль-Гаратом из Хамадана и молодым воином по имени Нафис Джурджис. Каждый из них в прошлом году начал бег слишком резво и выдохся задолго до конца. Теперь же, не повторяя своей ошибки, оба бежали очень медленно.

Карим криками подбадривал Нафиса. Ала-шаху он объяснил: это вызвано тем, что Нафис был вместе с ними в индийском походе. По правде же говоря, он симпатизировал молодому воину, но еще больше хотел, чтобы победа не досталась аль-Гарату. Он ведь помнил аль-Гарата с детства, проведенного в Хамадане, и при встрече в прошлом году Карим снова ощутил всю глубину презрения соперника к бывшему мальчишке для удовольствий Заки Омара.

Но Нафис, забрав из колчана восьмую стрелу, сник, и в состязании остался один аль-Гарат. День уже клонился к вечеру, а жара стояла невыносимая. Аль-Гарат поступил мудро: он сделал знак, что завершит этот этап и удовольствуется тем, что его признают победителем.

Вместе с шахом Карим проехал этот этап верхом далеко впереди бегуна, чтобы приветствовать его у финишной черты. Ала восседал на своем диковатом белом жеребце, Карим красовался в седле серого арабского скакуна, гордо вскидывавшего голову. По дороге настроение Карима заметно улучшилось: все вокруг понимали, что еще не скоро кто-то другой сумеет — если вообще сумеет! — пробежать чатыр так, как бежал он в прошлом году. И потому его повсюду приветствовали бурными кликами радости, не забывая в нем и героя Мансуры и Каузамби. На лице Ала-шаха цвела довольная улыбка, и Карим понял: аль-Гарата шах поздравит благосклонно, но бегун останется крестьянином-бедняком, а сам Карим вскоре сделается визирем Персидской державы.

Они проезжали мимо маристана, и на крыше он заметил евнуха Вазифа, а рядом с ним закутанную в покрывало Деспину. При виде ее сердце у Карима забилося чаще, он улыбнулся. Куда лучше проезжать мимо нее вот так, верхом на бесценном скакуне, в одежде из шелка и тонкого полотна, чем пробегать, шатаясь, провоняв потом, почти ослепнув от невероятной усталости!

Сидевшая недалеко от Деспины женщина, без покрывала на лице, изнывала от жары; она сняла черную накидку и встряхнула головой, словно подражая коню Карима. Ее длинные волосы разметались, заструились волнами, солнце заиграло на них всеми оттенками золотого и красного. Ехавший рядом с Каримом шах заговорил:

— Это и есть жена зимми?

— Истинно так, о великий государь. Это женщина нашего друга Иессея бен Беньямина.

— Так я и подумал, — сказал Ала ад-Даула.

Царь не сводил глаз с этой женщины с непокрытой головой, пока она не осталась далеко позади. Вопросов он больше не задавал, и Кариму вскоре удалось отвлечь его беседой об индийском мастере Дхане Вангалиле, о тех мечях, какие тот ковал для шаха в своей новой кузне позади конюшен Райского дворца.

Роб по-прежнему начинал всякий день с молитвы в синагоге "Дом мира», отчасти потому, что странное смешение напева еврейской молитвы с повторяемой мысленно молитвой христианской было ему приятно и служило духовной пищей. Но главным образом потому, что этим он как бы исполнял свой долг перед Мирдином.

И все же он не мог заставить себя войти в «Дом Сиона», синагогу Мирдина. И хотя в «Доме мира» тоже ежедневно собирались знатоки закона и обсуждали заповеди и совсем не трудно было бы попросить их обучить его тем восьмидесяти девяти заповедям, которых он до сих пор не знал, Роб не мог собраться с духом и сделать это без Мирдина. Он убеждал себя, что тому, кто лишь прикидывается евреем, пятисот двадцати четырех заповедей хватит не хуже, чем шестисот тринадцати, а потому обратил свой разум на другие вещи.

* * *

Не было такого предмета, по которому Учитель не написал бы хоть одного труда. Пока Роб учился, он познакомился со многими его работами по медицине, но теперь стал обращаться и к трудам Ибн Сины по другим вопросам и всякий раз приходил во все большее восхищение, изумляясь грандиозности этого ума. Труды были посвящены музыке и поэзии, астрономии и метафизике, философии Востока и пределам познания; Ибн Сина написал комментарии ко всем сочинениям Аристотеля. Находясь в заточении в замке Фардаджан, он написал книгу, озаглавленную «Наставление», в которой суммировал все отрасли философии. Был у него даже труд по военному искусству, «Организация и снабжение воинов, вспомогательных отрядов рабов и всего войска» — он сослужил бы неплохую службу Робу, если б тот прочитал его прежде, чем отправляться полевым хирургом в Индию. Еще он писал о математике, о душе человеческой, о природе печали. И часто возвращался к вопросам ислама — религии, полученной им от отца и воспринятой на веру, хотя по натуре он был и остался ученым.

Именно за это его и любили простые люди. Они видели, что несмотря на роскошное поместье и царский калаат, несмотря на то, что со всех концов света к нему съезжались прославленные ученые — взглянуть на него и испить из колодца его разума, несмотря на то, что цари оспаривали друг у друга честь называться покровителями Учителя — несмотря на все это, Ибн Сина, как и самый скромный труженик, воздевал глаза к небу и громко восклицал:

*Ла иляха иля-ль-Ля,
Мухаммеддан расулю-ль-Ля.
Нет Бога, кроме Аллаха,
А Мухаммед — Пророк Аллаха.*

Каждое утро, перед Первой молитвой, у его дома собиралась толпа в несколько сот человек. Там были нищие, муллы, пастухи, купцы, бедняки и богачи, люди всех сословий.

Князь лекарей выносил свой молитвенный коврик и возносил молитвы вместе со своими почитателями. Затем он ехал верхом в маристан, а люди шли рядом с его конем, воспевали Пророка и читали стихи из Корана.

По вечерам, несколько раз в неделю, в его доме собирались ученики. Как правило, проводились чтения по лекарскому искусству. Каждую неделю, вот уже четверть века, аль-Джуджани читал им вслух отрывки из трудов Ибн Сины, чаще всего из знаменитого «Канона». Иногда и Роба просили почитать из труда Ибн Сины, называемого «Шифа» [\[193\]](#). За этим следовала оживленная дискуссия, нечто среднее между дружескими посиделками за чашей вина и сугубо научными дебатами. Эти дискуссии бывали то горячими, то забавными, но неизменно поучительными.

— Каким образом кровь достигает пальцев? — восклицал, бывало, в отчаянии аль-Джуджани, повторяя вопрос ученика. — Ты что же, позабыл слова Галена: сердце, подобно насосу, приводит кровь в движение?

— А! — вмешивался тут Ибн Сина. — Ветер приводит в движение парусный корабль. Но как этот корабль находит путь к Бахрейну?

Частенько Роб, покидая дом Учителя, видел краем глаза евнуха Вазифа — тот стоял, скрываясь в тени, у двери в южную башню. Как-то вечером Роб улизнул и вышел в поле за стеной поместья Ибн Сины. Он не удивился, обнаружив там стреноженного арабского скакуна Карима — тот нетерпеливо потряхивал головой.

Направляясь обратно к своему коню, привязанному открыто во дворе, Роб взглянул на окно комнаты, помещавшейся на самом верху башни. Через щель окна, прорезанного в камне, пробивался неровный, колеблющийся желтый свет. Без всякой зависти и без сожалений Роб вспомнил, что Деспина предпочитает предаваться любви при свете шести свечей.

* * *

Ибн Сина посвящал Роба в тайны врачевания.

— Внутри каждого из нас живет загадочное существо. Одни называют его душой, другие — разумом, но оно оказывает очень большое влияние на наше тело и состояние здоровья. Еще совсем молодым, когда я жил в Бухаре, я увидел, как это проявляется. Тогда я только начал интересоваться предметом, который позднее подтолкнул меня к написанию труда «О пульсе». Был у меня один больной, примерно мой ровесник, именем Ахмед. У него пропал аппетит, он сильно исхудал. Отец его, богатый купец, весьма этим опечалился и прибег к моей помощи.

Осмотрев этого Ахмеда, я не обнаружил у него никакой болезни. Но я не спешил, беседовал с ним, и вот случилась удивительная вещь. Пальцы я держал на его запястье, ощущая биение артерии, а тем временем мы беседовали, как добрые друзья, и заговорили о разных селениях в окрестностях Бухары. Пульс у юноши был медленный, ровный, пока мне не довелось упомянуть свое родное селение Афшану. И тут пульс его так затрепетал под моими пальцами, что я даже испугался!

Это селение я отлично знал, а потому стал перечислять все его улицы. Это ни к чему не приводило, пока я не добрался до переулка Одиннадцатого Имама. Тогда пульс юноши снова убыстрился и заплясал. К тому времени я уж не знал все семьи, какие жили в том переулке,

но расспросами и намеками удалось вызнать, что живет там некий Ибн Рази, медник, у коего имеются три дочери. Старшая из них, Рипка, была настоящая красавица. Стоило Ахмеду заговорить об этой девушке, как его пульс забился и затрепетал, подобно пойманной птичке.

И поговорил я с его отцом, и объяснил ему, что исцеление для его сына одно — надо женить его на этой Рипке. Отец договорился с ее родителями, и дело сладилось. Вскоре после того к Ахмеду вернулся и аппетит. Когда я виделся с ним в последний раз, спустя несколько лет после знакомства, он располнел и был вполне доволен жизнью.

Гален утверждает, что сердце и артерии пульсируют в одном ритме, так что по одному можно судить и о другом, а еще — что пульс медленный и ровный есть доказательство доброго здоровья. Но после случая с Ахмедом я неоднократно замечал, что по пульсу можно судить и о том, находится ли человек в состоянии возбуждения или же разум его спокоен и просветлен. Много раз я проверял и убедился точно: пульс — это гонец, который никогда не обманывает.

Так Роб узнал, что помимо дара, позволяющего ему измерять запас жизненных сил того или иного человека, он может и по пульсу судить о здоровье и настроении пациента. Возможностей проверить это утверждение у него было в изобилии. К Князю лекарей стекалось в поисках чудесного исцеления множество отчаявшихся людей. К беднякам и богачам здесь относились одинаково, но Ибн Сина и Роб могли принять лишь немногих, остальных же направляли к другим лекарям.

Больше всего времени Ибн Сина как врачеватель уделял шаху и самым высокопоставленным вельможам. Так случилось, что однажды утром Учитель послал Роба в Райский дворец, сказав, что у Сиддхи, жены индийского мастера-оружейника Дхана Вангалила, приключилась колика.

Робу понадобился переводчик, и в этой роли выступил личный махаут шаха, индеец Харша. Сиддха же оказалась приятной круглолицей женщиной с начавшими сесть волосами. Семья Вангалилов поклонялась Будде, поэтому на нее не распространялся запрет осматривать женщину, *аурат*, и Роб прощупал живот

Сиддхи, не опасаясь, что его предадут шариатскому суду. После длительного осмотра он пришел к выводу, что недуг ее связан с питанием. Харша объяснил ему, что ни семья кузнеца, ни махауты не получают в достаточном количестве тмин, куркуму, перец — те пряности, к которым с детства привыкли и от которых зависело у них правильное пищеварение.

Роб исправил это упущение, лично проследив за распределением пряностей. У некоторых махаутов он уже пользовался уважением — они видели, как заботливо он ухаживал за их слонами, получившими раны в бою, теперь же он завоевал и признательность семьи Вангалилов.

Роб привел к ним в гости и Мэри с Робом Джем, надеясь, что общие трудности тех, кто вынужден жить в Персии, вдали от своей родины, послужат основой для дружеского сближения. Увы, в этом случае не вспыхнула та искра дружеской симпатии, которая сразу сблизила Мэри и Фару. Обе женщины настороженно, с натянутой вежливостью, разглядывали друг дружку, причем Мэри избегала смотреть на черный кружок *кумкума*, нарисованный в середине лба Сиддхи. Больше Роб не приводил к Вангалилам свою жену. Но сам не раз бывал у них, замороженный тем, как Дхан Вангалил работает со сталью.

Дхан устроил над неглубоким отверстием в полу плавильную печь — глиняную стенку,

окруженную более толстой внешней стеной из камня и земли, и все это было скреплено связками прутьев. Высотой печь доходила до плеча человека, а шириной была в один шаг, слегка сужалась кверху, чтобы там собирался жар, да и стенки так стояли прочнее, не обрушатся.

В этой печи Дхан плавил ковкое железо из чередующихся слоев древесного угля и персидской руды, которая состояла из комков размером от горошины до ореха. Вокруг печи шла неглубокая канавка. Мастер, сидя на ее внешнем краю и спустив ноги в канавку, раздувал мехи из цельной козлиной шкуры, нагнетая в плавящуюся массу строго определенный объем воздуха. Над самым жарким пламенем печи из руды выплавлялись маленькие капли железа, похожие на дождевые, только раскаленные. Они опускались вниз, к поду печи, и там собиралась спекшаяся масса древесного угля, шлака и железа, а называлось все это крицей [194].

Дхан перед плавкой закупорил выходное отверстие печи глиной, теперь же он сломал эту преграду, чтобы извлечь крицу. Она затем подвергалась долгой обработке молотом, что требовало многократного подогрева массы в кузнечном горне. Значительная часть металла попадала в шлак и выбрасывалась, но то, что удавалось выплавить, было отличным ковким железом.

Правда, это железо слишком мягкое, объяснял Робу мастер через Харшу. А болванки индийской стали, привезенные из Кау-замби на слонах, были очень твердыми. Несколько болванок мастер расплавил в своем тигле и сразу же быстро загасил пламя. Охладившись, сталь сделалась очень ломкой. Дхан отламывал от нее куски и накладывал их на полосы ковкого железа.

Теперь, обливаясь потом и маневрируя между наковальнями то с клещами, то с резцами, то с пробойниками и молотами, худенький индеец обнаруживал похожие на змей-удавов бицепсы, которые позволяли ему могучими ударами соединять в одно металл мягкий и металл твердый. Как одержимый, он бил и бил своим молотом, сгибал и отрубал полосы, накладывал их друг на друга, загибал края, снова и снова нанося молотом удар за ударом по разогретым заготовкам, как бы сплавляя многочисленные слои разного металла в единое целое, подобно горшечнику, который лепит глину, придавая ей нужную форму, или женщине, которая месит тесто.

Наблюдая за его работой, Роб понимал, что никогда в жизни не сумеет обучиться всем этим хитростям, всем тонкостям, требующим великого умения и передающимся по наследству в долгом ряду поколений индийских кузнецов. Но общее представление о самом процессе он получил, задавая бесчисленные вопросы.

Дхан изготовил кривой меч и выдержал его в золе, смоченной лимонным уксусом. В итоге на клинке возникла своего рода метка, протравленная кислотой и имеющая туманно-голубоватый оттенок. Если сделать клинок из одного железа, он выйдет слишком мягким, а если из одной индийской стали, то слишком ломким. Этот меч, однако, был остер как бритва, он мог перерубить подброшенную в воздух нить и при этом был удивительно гибким.

Мечи, которые Дхан изготавливал по шахскому приказу, не предназначались для царей. То было безыскусное оружие для простых воинов, накапливаемое в предвидении будущей войны, когда эти мечи должны дать персам желанное преимущество на поле брани.

— Индийская сталь у него вся выйдет уже через несколько недель, — заметил Харша.

И все же Дхан предложил изготовить для Роба кинжал — в благодарность за все, что

хаким сделал и для его семьи, и для махаутов. Роб с сожалением отказался: оружие было прекрасным, но у него пропало желание участвовать в убийствах. Однако он открыл свою сумку и показал Дхану скальпель, пару бистури и два ножа для ампутаций — у одного лезвие было тонкое и изогнутое, а у другого — пошире, зазубренное (оно предназначалось для того, чтобы пилить кости).

Дхан добродушно улыбнулся, обнажив во рту дыры от многих выпавших зубов, и согласно кивнул.

* * *

Прошла неделя, и Дхан вручил ему инструменты из узорчатой стали. Такие долго будут острыми-острыми, они прочные — таких хирургических инструментов Роб еще и не видел.

Он знал, что эти инструменты переживут его самого. То был истинно царский подарок, он требовал достойного ответа, но Роб этого сразу не сообразил. Дхан же видел огромное удовольствие хакима и наслаждался им. Оба они, лишенные возможности обменяться словами, просто крепко обнялись. Вместе смазали инструменты маслом и завернули каждый в отдельную тряпочку, после чего Роб уложил их в свою кожаную сумку.

Из Райского дворца он уезжал, испытывая огромную радость, и тут на пути ему встретилась возвращающаяся с охоты свита во главе с самим шахом. Ала в простой охотничьей одежде выглядел точно так же, как при их первой встрече много лет тому назад.

Роб придержал коня и низко поклонился, надеясь, что царь проедет мимо, но через миг, красуясь в седле, к нему галопом подлетел Фархад.

— Он желает, чтобы ты подъехал.

С этими словами Капитан Ворот круто развернул коня на месте, а Роб потрусил вслед за ним к повелителю.

— А, зимми! Поезжай-ка рядом со мной. — Ала взмахнул рукой, подавая воинам охраны знак держаться на приличном расстоянии позади, а сам вместе с Робом шагом поехал к дворцу. — Я так и не вознаградил твоих услуг, оказанных Персии.

Роб удивился: ему казалось, что все заслуги участников похода в Индию давным-давно вознаграждены. Несколько военачальников за проявленную доблесть получили повышение, простым воинам раздали туго набитые кошельки. А Карима шах осыпал такими щедрыми похвалами в присутствии многих свидетелей, что вскоре сплетники на базарах только и делали, что называли должности, одна другой выше, которые должен был занять Карим. Роба позабыли, и его это вполне устраивало, он был рад и тому, что этот поход остался в прошлом.

— Я думаю одарить тебя вторым калаатом, включающим более просторный дом с прилегающими угодьями — такой, где не стыдно принять и царя.

— Для чего же калаат, великий государь? — сказал Роб и сухо поблагодарил шаха за щедрость. — В походе я участвовал, чтобы хоть в малой мере выразить ту огромную благодарность, которую испытываю к повелителю.

Полагалось бы сказать о безграничной любви к владыке Персии, но этого Роб не сумел, да и сам Ала, по всей видимости, не слишком-то поверил тому, что было сказано.

— И все же награду ты вполне заслужил.

— Тогда я лишь умоляю великого государя наградить меня дозволением и дальше жить

в маленьком домике в Яхуддийе, ибо там жизнь моя спокойна и счастлива.

Шах посмотрел на Роба тяжелым взглядом, помедлил, но все же кивнул.

— Ступай прочь, зимми! — Он вонзил пятки в бока белого скакуна, и тот прыжками помчался вперед. Следовавшая позади охрана тоже погнала своих коней галопом, и вот уже мимо Роба замелькали многочисленные всадники, застучали копыта, зазвенела сбруя.

Роб в задумчивости развернул своего гнедого и снова направил его к дому. Не терпелось похвастаться Мэри новыми инструментами из узорчатой стали.

В тот год зима пришла в Персию рано, и была она суровой. В одно утро все горные вершины стали белыми от снега, а на следующий день сильный порывистый ветер принес в Исфаган смесь соли, песка и снега. Торговцы на базарах накрывали свои товары холстами и вздыхали о весне. Неуклюжие в своих теплых, доходивших до самых лодыжек *кадабииз* овечьих шкур, они горбились у жаровен с горящими угольями и согревались пересказом сплетен, касавшихся их повелителя. Хотя по большей части на подвиги шаха они смотрели с улыбкой или ограничивались осторожным взглядом, брошенным украдкой, недавний скандал заставил их лица посуроветь и сморщиться, и проистекало это отнюдь не из свирепости холодных ветров.

Недовольный каждодневными попойками и шумными выходками шаха, имам Мирза-абу-ль-Кандраси послал своего друга и ближайшего помощника муллу Мусу ибн Аббаса вразумить повелителя, напомнить ему о том, что крепкие напитки противны воле Аллаха и запрещены Кораном.

Ала-шах уже много часов пил и пил, прежде чем к нему явился посланец визиря. Мусу он выслушал, нахмурившись. Когда же в полной мере осознал смысл читаемых ему нравоучений и уловил укоризну в голосе говорившего, то сошел со ступеней трона и приблизился к мулле.

Муса, обеспокоившись, но не зная, что иное ему делать, продолжал свои поучения. Шах, все с тем же спокойным выражением лица, вылил мулле на голову чашу вина, удивив и огорчив тем всех присутствующих, от придворных вельмож до слуг и рабов. Весь остаток «лекции» он поливал Мусу хмельными винами, так что у того промокли насквозь и борода, и вся одежда. Затем небрежным взмахом руки он отпустил муллу, вымокшего от вина и донельзя униженного, обратно к Кандраси.

Эта наглядная демонстрация неприязни к исфаганскому священнослужителю воспринималась народом как доказательство того, что дни Кандраси на посту визиря сочтены. Муллы давно привыкли к своему влиянию и привилегиям, полученным благодаря правлению Кандраси, поэтому на следующее утро во всех мечетях Исфагана раздавались с кафедр мрачные и тревожащие умы пророчества о будущем, ожидающем Персию.

Карим Гарун пришел к Ибн Сине и Робу — посоветоваться, как быть с Ала-шахом.

— Он ведь совсем не такой. Он часто бывает самым бескорыстным человеком, прекрасным собеседником, веселым и любезным. Ты же видел его в Индии, зимми. Он храбрый из воинов, а если у него честолюбивые планы, если он желает сделаться великим шахиншахом, то лишь потому, что стремится еще больше возвысить Персию.

Они слушали его молча.

— Я пытался удерживать его от вина, — продолжал Карим, жалобно глядя на бывшего наставника и на своего друга.

Ибн Сина вздохнул:

— Опаснее всего для окружающих он бывает по утрам, когда пробуждается и чувствует тошноту от выпитого накануне вечером. Ты тогда давай ему чай из листьев сенны, дабы очистить желудок от ядов и прогнать головную боль. Посыпай его пищу размолотым в порошок армянским камнем [\[195\]](#) — это излечивает от меланхолии. Но нет средства, чтобы

защитить его от самого себя. Когда он пьет вино, постарайся, если удастся, держаться от него подальше. — Ибн Сина с грустью посмотрел на Карима. — Тебе и по городу следует передвигаться с осмотрительностью. Всем известно, что ты шахский любимец и возможный соперник Кандраси. Так что теперь у тебя есть могущественные враги, и они ни перед чем не остановятся, чтобы не допустить тебя к власти.

— Ты должен, — добавил Роб, перехватив взгляд Карима и подчеркивая каждое слово, — вести жизнь безупречную. Ведь твои враги не замедлят воспользоваться любой твоей слабостью.

Робу вспомнилось, как сурово он упрекал самого себя, когда по его милости Учитель сделался рогоносцем. И Карима он хорошо знал: несмотря на все свои честолюбивые мечты, несмотря на пылкую любовь к женщине, Карим был в душе человеком честным и добрым, и Роб догадывался, сколько душевных мук он испытывает, предавая Ибн Сину.

Карим кивнул, соглашаясь с ним. Расставаясь, он сжал руку Роба и улыбнулся. Роб улыбнулся в ответ — невозможно было не ответить другу. Карим был все так же красив, все так же обаятелен, вот только беззаботности в нем не осталось. Роб видел, что друг напряжен, беспокоен, неуверен, и с жалостью посмотрел вслед Кариму.

* * *

Голубые глазенки Роба-младшего бесстрашно смотрели на окружающий мир. Он начинал ползать, и родители немало порадовались, когда он научился пить из чашки. По совету Ибн Сины они давали малышу верблюжье молоко: Учитель сказал, что это наиболее полезное для детишек питание. Молоко имело сильный запах, в нем плавали желтоватые сгустки жира, но мальчик жадно глотал эту пищу. С тех пор Ириска перестала кормить его грудью. Каждое утро Роб приносил с армянского рынка верблюжье молоко в каменном кувшинчике. Бывшая кормилица, неизменно с кем-нибудь из своих детишек, каждое утро смотрела на него, выглядывая из кожаной лавки мужа.

— Господин зимми! Господин зимми! Как поживает мой малыш? — окликала она Роба и одаривала его ослепительной улыбкой всякий раз, когда он отвечал, что малыш бодр и здоров.

Воздух был холодным, и больные в большом числе обращались к лекарям, жалуясь на простуду, на боль в костях, на воспалившиеся и распухшие суставы. Плиний Младший советовал: чтобы исцелиться от простуды, больной должен поцеловать волосатую мордочку мыши, однако Ибн Сина заявил, что Плиний Младший ничего не понимал, его и читать не стоит. У Ибн Си-ны было свое излюбленное средство от чрезмерного разлития флегмы и страданий, причиняемых ревматизмом. Он долго и тщательно наставлял Роба, как готовить лекарство: взять по два дирхема бобровой струи [\[196\]](#), смолы гальбанума исфаганского, гальбанума [\[197\]](#) обыкновенного, асафетиды [\[198\]](#) пахучей, асафетиды обычной, семян сельдерея, сирийского пажитника [\[199\]](#), василька, семян гармалы, смолы опопанакса, смолы руты душистой и сердцевины семян тыквы. Сухие ингредиенты растолочь в ступке. Смолы вымочить в масле за ночь и тоже растолочь, а затем залить чистым медом без пены. Потом смешать с сухими ингредиентами, а полученную пасту держать в глазурованном сосуде.

— Доза составляет один миткаль, — наставлял Ибн Сина. — Лекарство весьма действенно, если Аллаху будет угодно.

Роб отправился в слоновники: там все махауты чихали и кашляли, ибо зима выдалась гораздо суровее тех, к которым они привыкли у себя в Индии. Роб приходил к ним три дня подряд, давал им настой дымянки, отвар шалфея и пасту Ибн Сины, но и через три дня результаты были неясными, он даже сожалел, что не мог дать им столь любимое Цирюльником Снадобье от Всех Болезней. Слоны тоже смотрелись не так блестяще, как в битве: они напоминали шатры, ибо их, пытаясь защитить от холода, закутали во множество одеял. Роб постоял с Харшей, посмотрел на Зи, громадного шахского слона, который старательно поедает сено.

— Бедные мои детки, — ласково говорил Харша. — В стародавние времена, еще до Будды, до Брахмы, Вишну и Шивы, ^[200]слоны были всемогущи и наш народ поклонялся им. Теперь же они совсем стали не похожи на богов, их даже ловят и заставляют подчиняться воле человека.

Пока они наблюдали, Зи задрожал от холода, и Роб велел давать животным для питья подогретую воду, дабы согреть их изнутри. Харша отнесся к этому с сомнением:

— Мы давно с ними работаем, они трудятся отлично, несмотря ни на какой холод.

Роб, однако, немало прочитал о слонах в Доме мудрости.

— Тебе приходилось слышать о Ганнибале?

— Нет, — ответил махаут.

— Это был воин, великий полководец.

— Такой же великий, как шах Ала?

— Ну, по меньшей мере такой же, только жил он давным-давно. Он перевел свое войско с тридцатью семью слонами через Альпы — это высокие, страшные горы, крутые и покрытые снегами — и не потерял при этом ни одного! Но они ослабели от постоянного холода. Позднее, переваливая уже через меньшие горы, все слоны умерли, кроме одного-единственного. А вывод из этого вот какой: надо давать животным хороший отдых и держать их в тепле.

Харша почтительно поклонился Робу.

— А ты знаешь, хаким, что за тобой следят?

Роб даже вздрогнул от неожиданности.

— Во-он там, на солнышке сидит.

Там действительно был незаметный человек, кутавшийся в свое кадаби и прислонившийся спиной к стене, которая защищала от пронизывающего ветра.

— А ты уверен?

— Уверен, хаким, вчера он тоже шел за тобой, я заметил. Да он и сейчас не спускает с тебя глаз.

— Когда я уйду отсюда, ты сможешь проследить за ним незаметно, чтобы мы выяснили, кто он такой?

— Смогу, хаким, — ответил Харша, и в его глазах вспыхнули искорки.

Поздно вечером Харша пришел в квартал Яхуддийе и постучал в дверь домика Роба.

— Он шел за тобой до самого дома, хаким. Когда он оставил тебя здесь, я проследил его путь до Пятничной мечети. Я был хитер, о почтеннейший, я был невидим. Он вошел в домик муллы одетым в изодранное кадаби, а вскорости вышел оттуда в черных одеждах и как раз успел войти в мечеть до начала Пятой молитвы. Он мулла, о хаким!

Роб задумчиво поблагодарил его, и Харша ушел.

Он не сомневался, что этот мулла служит друзьям Кандраси. Несомненно, они

выследили Карима, когда тот приходил посоветоваться с Ибн Синой и Робом, а теперь следили за Робом, чтобы выведать, насколько он участвует в делах своего друга — возможно, будущего визиря.

Вероятно, они решили, что Роб не опасен, ибо на следующий День он старательно осматривался, но не увидел никого, кто шел бы за ним неотступно, и — насколько он мог судить — в последующие дни за ним тоже не следили.

* * *

Погода еще стояла холодная, но заметным становилось приближение весны. Теперь снег лежал лишь на самых верхушках высоких горных пиков, а в саду у Роба голые ветви абрикосовых деревьев покрылись крошечными черными почками, совершенно круглыми.

Однажды утром явились два воина и проводили Роба в Райский дворец. В холодном тронном зале, облицованном камнем, мерзли маленькие группки придворных с посиневшими губами; Карима среди них не было. Шах сидел за столом, под которым находилась решетка, пропускавшая снизу нагретый печью воздух. Роб простерся перед повелителем ниц, затем шах махнул ему рукой — знак подойти ближе и сесть; приятно было ощутить тепло, удерживаемое под столом тяжелой войлочной скатертью. Фигуры для шахской игры были уже расставлены, и Ала, не тратя слов даром, сделал первый ход.

— А-а, зимми, да ты превратился в голодную кошку! — сказал он немного погодя. Это было верно: Роб научился нападать.

Шах играл, нахмутив брови, не сводя с доски напряженного взгляда. Роб использовал в качестве главной ударной силы своих слонов и вскоре забрал у противника верблюда, коня со всадником и трех пехотинцев.

Зрители наблюдали за игрой в почтительном молчании. Европейец-неверный вот-вот, казалось, выиграет у шаха, и это кого-то, несомненно, ужасало, а кого-то радовало.

Повелитель Персии, однако, имел большой опыт сражений и был коварным полководцем. Только-только Роб возгордился, решив, что стал славным игроком и толковым стратегом, как Ала предложил жертву фигуры и загнал противника в угол. Своими двумя слонами он пользовался куда искуснее, чем Ганнибал тридцатью семью. Очень скоро Роб лишился обоих слонов, да еще и всадника на коне. Он все же упорно сопротивлялся, припоминая все, чему научил его Мирдин. Боролся достойно, пока не получил в конце концов шахмат. Игра окончилась, вельможи хлопали в ладоши, приветствуя победу своего владыки, и Ала напустил на себя довольный вид.

Он снял с пальца массивное кольцо литого золота и вложил его Робу в правую руку:

— Да, кстати, о калаате. Мы теперь жалуем его тебе. У тебя будет достаточно просторный дом, чтобы пригласить в гости и развлечь царя.

Дом с гаремом. А в гареме — Мэри.

Вельможи слушали и наблюдали.

— Это кольцо я стану носить с гордостью и великой благодарностью к шаху. Что же до калаата, я вполне счастлив иметь то, что уже доставила мне щедрость великого государя. Я останусь в своем нынешнем доме.

Тон при этих словах у него был почтительный, но говорил он слишком решительно, да и глаза отвел не настолько быстро, чтобы выказать покорность и повиновение. Все, кто был в

тронной зале, слышали слова, сказанные зимми.

* * *

На следующее утро это происшествие достигло ушей Ибн Сины.

Главный лекарь не зря дважды побывал на должности визиря. Свои люди, сообщавшие нужные сведения, были у него и среди вельмож, и среди слуг Райского дворца, и он сразу от нескольких услышал о неосмотрительном и опрометчивом поступке своего помощника-зимми.

Как и всегда в трудный момент, Ибн Сина сел и задумался. Он отлично понимал, что его пребывание в столице шаха Ала ад-Даулы служит источником гордости повелителя. Оно позволяет шаху ставить себя на одну доску с Багдадским халифом как повелителя просвещенного, покровителя наук. Но сознавал Ибн Сина и то, что его влияние на царя имеет свои пределы. Простой просьбой, обращенной к владыке, Иессея бен Беньямина не спасешь.

Ала-шах всю свою жизнь мечтал сделаться одним из величайших монархов в истории Персии, царем, имя которого будет жить в веках. Сейчас он готовил войну, которая либо обеспечит ему такое бессмертие, либо окончательно развеет в прах все мечты. В такое время он никак не мог допустить, чтобы кто-либо противился его воле.

Ибн Сина понимал, что царь непременно убьет Иессея бен Беньямина.

Возможно, уже отдан приказ неведомым убийцам — напасть на молодого хакима где-нибудь на улице. А быть может, его арестуют стражники, затем предадут шариатскому суду, который и вынесет приговор. Ала — искусный политик, уж он сумеет так обставить казнь этого зимми, чтобы она послужила его высшим интересам.

Ибн Сина много лет изучал Ала-шаха и понимал, как устроен царский ум. Поэтому он знал, что нужно предпринять.

В то утро он собрал в маристане всех своих сотрудников.

— До нас дошли сведения о том, что в городе Идхадж есть несколько больных — слишком тяжело больных, чтобы везти их сюда, в нашу больницу, — сказал он им, и это была чистая правда. — А посему, — обратился он теперь к Иессею бен Беньямину, — тебе надлежит отправиться в Идхадж и организовать там правильное лечение этих людей.

Потом они обсудили, какие надо взять с собой травы и лекарства, нагрузив их на вьючного осла, а какие целебные средства можно найти в самом городе, обсудили и характер болезней некоторых пациентов, о которых было известно, после чего Иессей попрощался и выехал, не теряя времени даром.

Идхадж лежал в трех днях нелегкого пути к югу от Исфага-на, да и лечение больных потребует не меньше трех дней. Таким образом, Ибн Сина получал вполне достаточно времени.

На следующий день, после полудня, он отправился в Яхуд-дийе и проехал прямо к домику своего помощника.

На его стук дверь отворила женщина с младенцем на руках. На ее лице отразились крайнее удивление и недолгое замешательство, когда на пороге своего дома она увидела самого Князя лекарей. Однако она быстро овладела собой и с должной почтительностью пригласила гостя в дом. Дом был небогат, но содержался в чистоте и порядке, в нем было

уютно; стены украшены занавесями, на глиняном полу повсюду коврики. С похвальной быстротой хозяйка поставила перед ним глиняное блюдо со сладкими пирогами с присыпкой из семян и кувшин щербета из розовой воды с кардамоном.

Чего не ожидал Ибн Сина, так это того, что она совершенно не знает языка. Как только он попытался разговориться с нею, сразу же стало ясно, что ее знание фарси исчерпывается несколькими словами.

Князь лекарей хотел поговорить с нею обстоятельно. Хотел, чтобы она знала: с тех пор, как он впервые оценил способности ее мужа, его разум и природную проницательность, он томился желанием заполучить себе этого громадного молодого чужестранца, подобно тому, как нищий мечтает найти клад, как влюбленный томится по любимой женщине. Он так сильно хотел, чтобы европеец стал лекарем, потому что знал: Аллах предназначил Иессею бен Беньямину быть врачом.

— Он будет светочем среди лекарей. Он почти уже достиг этой ступени, почти — но еще не достиг.

Цари же все безумны. Когда имеешь безграничную власть, отобрать человеческую жизнь ничуть не труднее, чем пожаловать калаат. Если же вы сейчас решите бежать отсюда, то весь остаток дней своих станете об этом сожалеть. Ведь он ехал так далеко, рисковал так сильно — я-то знаю, что никакой он не еврей.

Женщина сидела, держала малыша на руках и слушала Ибн Сину с нарастающей тревогой. Он безуспешно попробовал говорить с ней на древнееврейском языке, потом быстро перешел на турецкий и арабский. Он был знатоком языков, великолепным лингвистом, однако из европейских языков знал лишь немногие, ибо изучал тот или иной язык лишь в поисках доступа к знаниям. Заговорил на греческом, женщина не отвечала.

Тогда он обратился к латыни и увидел, как она медленно кивнула, а в глазах зажегся огонек понимания.

— *Rex te venire ad se vult. Si non, maritus necabitur.* — Потом повторил еще раз: «Царь желает, чтобы ты пришла к нему. Если не пойдешь, мужа твоего убьют».

— *Quid dicas?* Что говоришь ты? — переспросила она.

Ибн Сина повторил еще раз, очень медленно.

Ребенок у нее на руках захныкал, но она даже не обратила на это внимания. Широко открытыми глазами она смотрела на Ибн Сину, а от лица совершенно отлила кровь. Лицо казалось высеченным из камня, но теперь Ибн Сина увидел на нем и нечто такое, чего не заметил сразу. Старик хорошо разбирался в людях, и тревога его понемногу улеглась: он увидел перед собой очень сильную женщину. Он все устроит, а она сделает все, что необходимо сделать.

* * *

За Мэри явились рабы-носильщики с паланкином. Она не знала, куда девать Роба Джея, а потому взяла его с собой. Это решение оказалось удачным, ибо в гареме Райского дворца малыша радостно приняла целая толпа женщин.

Саму Мэри, к ее смущению и растерянности, отвели в бани. Роб когда-то рассказывал ей, что женщинам-мусульманкам религией предписывается каждые десять дней удалять волосы на лобке, для чего применяется наложение смеси извести с мышьяком. Волосы под

мышками тоже выдергивают или сбрасывают — замужние женщины каждую неделю, вдовы раз в две недели, а девушки раз в месяц. Ухаживавшие за Мэри женщины смотрели на нее с нескрываемым отвращением.

После купания ей принесли на трех подносах различные ароматические средства, притирания и краски, но Мэри лишь слегка опрыскала себя духами.

Затем ее провели в комнату, где велели ждать. Из мебели в комнате были только большой соломенный тюфяк с подушками и одеялами да закрытый шкафчик, на котором стоял таз с водой. Откуда-то из соседних покоев доносилась музыка. Мэри почувствовала, что замерзает. После ожидания, показавшегося ей очень долгим, она взяла одно одеяло и закуталась в него.

Наконец пришел Ала-шах. Мэри сильно испугалась, но он улыбнулся, увидев ее закутанной в бесформенное одеяло.

Шах шевельнул пальцем, приказывая снять одеяло, затем нетерпеливо махнул рукой — платье снять тоже. Мэри знала, что по сравнению с большинством восточных женщин она выглядит тощей, а персиянки уже давно приложили все силы, чтобы растолковать ей: веснушки ниспосланы Аллахом в наказание за ее бесстыдство, ибо она не закрывает лицо покрывалом.

Шах потрогал тяжелые волны густых рыжих волос, поднес прядь к носу. Волосы Мэри не надушила, и шах скорчил недовольную мину, не почуяв привычного запаха благовоний.

На какое-то мгновение Мэри забыла о шахе, тревожась за своего малыша. Когда Роб Джей станет старше, вспомнит ли он, как его принесли сюда? Вспомнит ли радостные возгласы и нежное воркование увидевших его женщин? То, как над ним склонились их лица, на которых цвели улыбки, а в глазах светилась нежность? То, как они ласкали его, гладили руками?

Руки царя еще лежали на ее голове. Он говорил что-то на фарси, но обращался ли при этом к ней или к самому себе — этого Мэри не могла понять. Она не посмела даже отрицательно покачать головой в знак того, что не понимает его языка, опасаясь, что он воспримет этот жест как знак ее несогласия.

Ала перешел к изучению ее тела, однако волосы интересовали его больше всего:
— Хна?

Это единственное слово она поняла и заверила царя, что цвет ее волос происходит вовсе не от хны, хотя он и не понимал, конечно, ее языка. Ала осторожно продернул одну прядку между пальцев, пытаясь стереть краску.

В мгновение ока он сбросил просторную льняную рубаху, в которую только и был одет. Руки у него были мускулистые, а талия — широкая, с выдающимся вперед волосатым животом. Все тело у него поросло волосами. Детородный орган показался Мэри меньшего размера, чем у Роба, и более темным.

По пути во дворец, в паланкине, Мэри фантазировала о том, что ее ждет. То она представляла себе, как объясняет, рыдая, что Иисус запрещает христианкам вступать в телесное общение вне брака. И, словно в «Житиях святых», царь сжалится над ее слезными мольбами и по доброте душевной отправит домой. То ей грезилось, как она, принужденная к такому поступку необходимостью спасти мужа, получает возможность пережить самые сладострастные минуты своей жизни, испытать невероятные наслаждения в объятиях совершенно не сравнимого ни с кем любовника, который, имея власть повелевать всеми персидскими красавицами, отдал предпочтение ей.

Действительность не была похожа на эти грезы. Ала осмотрел ее груди, потрогал соски — вероятно, их цвет несколько отличался от привычного ему. В холодной комнате груди у нее затвердели, однако шах не выказал к ним особого интереса. Когда он толкнул ее на тюфяк, Мэри мысленно воззвала о помощи к своей теще — пресвятой Богоматери. Она неохотно приняла в себя шаха, оставаясь сухой от страха и злости на этого человека, который был готов отдать приказ убить ее мужа. Не было никаких милых ласк, которыми разогревал ее Роб, делая податливой своим желаниям. Орган Ала-шаха не напоминал прямую палку, он был немного обмякшим, и войти в нее ему удалось не без труда. Пришлось прибегнуть к помощи оливкового масла, которым раздраженный шах поливал почему-то не себя, а Мэри. Наконец ему удалось кое-как протолкаться внутрь, и Мэри безразлично закрыла глаза.

Ее предварительно вымыли в бане, но, как обнаружилось, шах не стал утруждать купанием себя. Не отличался он и особой энергией. Напротив, он, казалось, даже скучает, сопя от предпринимаемых усилий. Прошло буквально несколько мгновений, и он совсем не по-царски задрожал мелкой дрожью, что было даже странно для такого крупного мужчины, и издал недовольный стон. После этого царь царей вышел из нее с легким чмоканьем оливкового масла и покинул комнату, не взглянув на Мэри, не сказав ни слова.

Она лежала там, где он оставил ее, чувствуя себя липкой и униженной, не зная, что ей делать дальше. Но плакать она себе не позволила.

Через недолгое время за ней пришли те же женщины и отвели ее к сынишке. Мэри поспешно облачилась в одежды и взяла на руки Роба Джея. Прощаясь с ней, женщины положили в паланкин сплетенную из веревок сетку, полную зеленых дынь. Когда они с Робом Джеем оказались снова в Яхуддиейе, Мэри подумала было, не оставить ли дыни прямо посреди улицы, но потом ей представилось, что проще всего забрать их в дом, а паланкин пусть отправляется своей дорогой.

Те дыни, что продавали на базарах, были подпорченными, а то и совсем не годными — их всю долгую зиму хранили в горных пещерах. Эти же оказались отличными, они как раз созрели к возвращению Роба из Идхаджа, а на вкус — просто объедение.

Какое удивительное чувство возникает, когдаходишь в мари-стан, это прохладное святилище, наполненное духом болезней и разнообразными запахами целебных средств, где со всех сторон звучит неизбежная музыка лечебницы: стоны, крики, быстрые шаги сотрудников. Роб по сей день задыхался от волнения, и сердце его начинало биться часто-часто, когда он входил в маристан, а вслед за ним тянулись цепочкой учащиеся, словно гусята за матерью-гусыней.

Они послушно шли за ним — за тем, кто сам еще совсем недавно почтительно следовал за другими лекарями!

Остановиться и дать возможность учащемуся изложить историю болезни пациента. Затем подойти к циновке и побеседовать с больным, понаблюдать за ним, осмотреть, пощупать, принюхаться к болезни, как принюхивается лиса, отыскивая птичьи яйца. Постараться перехитрить проклятого Черного Рыцаря. Затем не спеша обсудить состояние больного или раненого со всей группой учащихся, выслушать мнения, которые чаще всего мало чего стоили, бывали совсем нелепыми, но порой — просто замечательными! Для учащихся это было постижением знания, Для самого Роба — возможностью выковать из их разума важнейший инструмент, который анализирует ситуацию и предлагает стратегию лечения, отвергает ее и предлагает другую.

В итоге Роб, давая им уроки, порой приходил к таким выводам, которые в ином случае просто не пришли бы ему в голову.

Ибн Сина настаивал, чтобы Роб читал лекции. Послушать их приходили и другие лекари, но в их присутствии Роб никогда не чувствовал себя непринужденно; он стоял и, обливаясь потом, честно излагал все, что сумел прочесть в книгах по тому или иному вопросу. Он хорошо представлял себе, как выглядит в их глазах: выше ростом и шире в плечах подавляющего большинства из них, со сломанным носом англичанина. Не забывал он и о том, что говорит с заметным акцентом — теперь он уже достаточно хорошо овладел языком, чтобы слышать это.

Опять-таки по настоянию Ибн Сины Роб также писал — подготовил небольшую статью о промывании открытых ран вином. Работа эта далась ему нелегко, но радости-не принесла, даже когда была закончена, переписана и помещена в Дом Мудрости.

Он хорошо понимал, что обязан передавать учащимся свои знания и умение, как другие передавали их ему, и все же Мир-дин ошибался — Роб не хотел заниматься всем сразу. Он не сможет уподобиться Ибн Сине. Не было у него стремления сделаться философом, педагогом и богословом, не испытывал он потребности ни писать, ни проповедовать. Учиться и стремиться к знаниям его принуждала необходимость понимания, что же надо делать, когда самому приходится заниматься больными. А для него самого задача, требующая решения, возникала в тот момент, когда он брал больного за руки и происходило то же самое волшебство, с которым он впервые познакомился в возрасте девяти лет.

Однажды утром в маристан доставили девочку по имени Ситара. Доставил ее отец, бедуин, ремеслом которого было изготовление шатров. Девочке было очень плохо, ее то и дело тошнило и рвало, а правую сторону затвердевшего живота раздирала невыносимая острая боль. Роб понимал, в чем дело, но не имел понятия, как лечить эту боль в боку. Девочка все время громко стонала, ей трудно было отвечать на вопросы, и все же Роб старательно расспросил ее, стремясь ухватиться за что-нибудь такое, что подскажет ему правильное решение.

Он очистил ей желудок, прикладывал к животу мешочки с горячим песком и холодные компрессы, а ночью рассказал о больной бедуинке своей жене и попросил Мэри помолиться за нее.

Мэри весьма огорчилась, услышав о девочке, пораженной той же болезнью, которая убила Джеймса Гейки Каллена. Ей вдруг вспомнилась уединенная могила отца у вадии Ахмеда в Хамадане.

На следующее утро Роб сделал юной бедуинке кровопускание, давал ей разные снадобья и целебные травы, но толку от всего этого не было никакого. Он видел, как начинается сильный жар, как стекленеют у девочки глаза, а сама она понемногу вянет, как застигнутый морозом зеленый листик. На третий день она умерла.

Роб со всеми подробностями проанализировал ее короткую жизнь. До того как начались эти боли в боку, приведшие к смерти, она была совершенно здорова. Девственница двенадцати лет от роду, и лишь совсем недавно у нее начались обыкновенные для женщин истечения кровей... Что общего было между нею, маленьким мальчиком и тестем Роба, мужчиной средних лет? Ничего общего он не находил.

Однако убило всех троих одно и то же.

* * *

Неприязнь между Ала-шахом и его визирем, имамом Кандраси, проявилась на людях во время очередного шахского Большого приема. Имам, как обычно, сидел на низеньком троне справа и пониже шаха, но обращался он к повелителю с такой ледяной вежливостью, что ни у кого из присутствующих не осталось ни малейших сомнений в его подлинных чувствах.

В тот вечер Роб был в гостях у Ибн Сины, они играли в шахскую игру. То была не столько битва, сколько урок — будто взрослый играет с ребенком. Казалось, что Ибн Сина продумал наперед всю партию, от начала до конца. Теперь он двигал свои фигуры без долгих размышлений и без каких-либо колебаний. Сдержатъ его натиск Роб не сумел, он лишь оценил необходимость предварительного планирования своих действий. Вскоре умение заглядывать вперед стало привычной частью его собственной стратегии.

— Люди собираются небольшими группками на улицах и майданах, — сказал Роб, — и что-то обсуждают вполголоса.

— Их смущает и беспокоит то, что нет единомыслия между слугами Аллаха и повелителем Райского дворца. Они опасаются, что ссора такого рода может погубить весь мир. — Ибн Сина своим всадником забрал *руха* Роба. — Это пройдет. Такие вещи всегда проходят, а те, к кому Аллах милостив, благополучно выживают.

Некоторое время они играли молча, потом Роб не выдержал и поведал Ибн Сине о смерти девочки-бедуинки, перечислил все симптомы болезни, упомянул и о двух других

случаях подобной болезни живота, ибо они не давали ему покоя.

— Ситара — такое имя носила и моя мать, — вздохнул Ибн Сина. Однако предложить объяснений смерти девочки он не мог. — Существует много вопросов, ответы на которые нам не открыты.

— Они и не будут открыты до тех пор, пока мы их не поищем, — медленно проговорил Роб.

Ибн Сина пожал плечами и предпочел перевести разговор на другие темы. Он заговорил о свежих новостях из дворца и сообщил, что шах снова отправил своих людей в Индию. На этот раз не воинов, а купцов: шах поручил им приобрести индийскую сталь или хотя бы руду, из которой ее получают, потому что у Дхана Вангалила больше не осталось такой стали и он не может изготавливать узорчатые голубоватые мечи, столь ценимые Ала-шахом.

— Он приказал им не возвращаться иначе, как с целым караваном, груженным сталью или же рудой, даже если для этого им придется дойти до самого конца Великого Шелкового пути.

— А что там, в конце Шелкового пути? — спросил Роб.

— Чжун-Го [\[201\]](#). Огромнейшая страна.

— А дальше, за нею?

— Вода. Океаны, — пожал плечами Ибн Сина.

— По дороге сюда спутники говорили мне, что Земля плоская и со всех сторон окружена огнем. Добраться можно только до края, а потом неминуемо свалишься и попадешь в адское пламя.

— Мало ли что болтают спутники в дороге, — презрительно бросил Ибн Сина. — Это все неправда. Вот я читал, что за пределами обитаемого мира — лишь соль и песок, совсем как в Дешт-и-Кевир. Пишут также, что большая часть мира покрыта льдом. — Он задумчиво посмотрел на Роба. — А что находится за пределами твоей страны?

— Британия — это остров. Ее омывают воды океана, а за ним лежит Дания, страна норманнов. Оттуда родом наш король. А вот дальше, *за нею*, как говорят, находится страна льда.

— Если отправиться к северу от Персии, то за Газни лежит страна Русь, а за нею простирается страна льда. Да, я могу поверить в то, что большая часть всего мира покрыта льдом, — сказал Ибн Сина. — По краям, однако, нет никакого адского пламени, ибо мыслящие люди уже давно открыли, что Земля круглая, как слива. Ты ведь бывал на море. Когда видишь вдали приближающийся корабль, то первое, что появляется на горизонте, — это верхушка его мачты, а затем корабль открывается тебе все больше и больше, ибо он плывет по изогнутой поверхности мира.

После этого он покончил с Робом на доске — почти не думая, загнал в ловушку его царя, а затем кликнул раба и велел принести шербет с вином и вазу фисташек.

— А ты разве не помнишь, что писал астроном Птолемей?

— Древний грек, писавший свои труды в Египте, — улыбнулся Роб. Из астрономии он прочитал ровно столько, сколько требовалось в медресе.

— Именно так. Он писал, что Земля круглая. Свисая с вогнутого свода небес, она является центром Вселенной. Вокруг нее вращаются Солнце и Луна, чередуя у нас день и ночь.

— Но этот мир, имеющий форму шара, покрытый водой и сушей, горами и реками, лесами, пустынями и бескрайними полями льдов — полый ли он внутри или же цельный?

Если он цельный, то какова природа того, что находится внутри него?

Старик улыбнулся и пожал плечами. Он был сейчас в своей стихии и получал большое удовольствие.

— Этого мы знать не можем. Земля ведь невероятно обширна — тебе ли не знать этого, тому, кто прошагал и проехал немалое ее пространство? А мы всего лишь маленькие человечки, мы не в силах зарыться настолько глубоко, чтобы ответить на подобные вопросы.

— Но если бы вам представилась возможность заглянуть в самый центр Земли, сделали бы вы это?

— Разумеется!

— Однако заглянуть внутрь человеческого тела вы можете, но не делаете этого!

Улыбка Ибн Сины погасла.

— Человечество не так далеко ушло от дикости, ему необходимо жить по определенным законам. Если их не соблюдать, нас поглотит наша животная сущность и мы просто исчезнем. Один же из наших законов запрещает вскрывать тела покойников, которым предстоит когда-нибудь восстать из своих могил благодаря Пророку.

— Отчего же люди так страдают, когда их одолевает боль в низу живота?

— А ты разрежь брюхо свиньи, — посоветовал Ибн Сина, пожав плечами, — и найди ответ на свою загадку. У свиньи внутренние органы такие же, как у человека.

— А вы твердо уверены в этом, Учитель?

— Вполне. Так писали все ученые со времен Галена, которому соотечественники-греки не позволяли вскрывать человеческие тела. Подобный запрет существует и у иудеев, и у христиан, так что все люди испытывают одинаковое отвращение к рассечению тела. — Ибн Сина взглянул на Роба с отеческой заботой. — Чтобы сделаться врачом, ты многое преодолел. Но лечить ты обязан в согласии с требованиями религии и общей волей всех других людей. Если же ты поступишь по-иному, тогда их власть сокрушит тебя.

* * *

Роб ехал домой на гнедом и всматривался в небо, пока яркие точки не поплыли у него перед глазами. Из всех планет он мог найти лишь Луну и Сатурн, да еще нечто яркое, что могло быть Юпитером, который выделяется среди звезд постоянным ярким блеском.

Он четко осознал, что Ибн Сина не был полубогом. Князь лекарей был стареющим ученым, оказавшимся в ловушке между медициной и религиозной верой, в которой его воспитали благочестивые родители. Эти ограничения, естественные для человека, лишь заставляли Роба еще сильнее любить Ибн Сину, но тем не менее он чувствовал себя в чем-то обманутым — как мальчик, который вдруг обнаруживает недостатки в собственном отце.

Вернувшись в Яхуддиейе и расседывая гнедого, Роб все еще пребывал в задумчивости. В домике уже спали и Мэри, и малыш, поэтому Роб разделся, стараясь не шуметь, и долго лежал, не в силах уснуть — ему не давала покоя мысль о том, чем же вызвано заболевание в низу живота.

Среди ночи Мэри вдруг проснулась и выбежала наружу; ее вырвало, да и в целом она чувствовала себя больной. Роб пошел вслед за ней. Охваченный мыслями о болезни, которая свела в могилу ее отца, он твердо помнил, что первым симптомом этой болезни является рвота. Невзирая на возражения Мэри, он внимательно осмотрел ее, едва они возвратились в

дом, однако живот на ощупь был мягким, жара тоже не было.

В конце концов они улеглись на свою циновку.

— Роб! — позвала его Мэри через некоторое время. И снова. — Милый мой Роб! — это был возглас отчаяния, словно ей снился кошмар.

— Тихо, тихо, маленького разбудишь, — прошептал он ей на ухо. Роб был удивлен: раньше он никогда не замечал, чтобы жене снились кошмары. Он погладил ее по голове, успокоил, прижал к себе крепко-крепко.

— Я здесь, Мэри. Я с тобой, любимая. — Он говорил чуть слышно, убаюкивая ее произносил ласковые слова на английском, на фарси, на наречии евреев. Наконец Мэри успокоилась.

Вскоре она снова вздрогнула во сне, но затем погладила его лицо, вздохнула и обняла руками его голову. Роб лежал так, положив голову на мягкую грудь жены, пока приятный неторопливый стук ее сердца не заставил его погрузиться в освежающий сон.

Пригревало солнышко, пробивались из-под земли робкие зеленые росточки — в Исфаган пришла весна. Повсюду в воздухе сновали птицы, неся в своих клювах соломинки и тонкие веточки — строительный материал для гнезд, — а ручейки и сухие вади устремили в Реку Жизни потоки талых вод. Уровень реки стал повышаться, она грозно забурилась. Роб испытывал такое чувство, словно он взял землю за руки и ощутил всю безграничную, неисчерпаемую жизненную силу природы. Символом плодородия могла служить и Мэри: приступы тошноты у нее продолжались и учащались, и на этот раз даже без помощи Фары можно было с полной уверенностью сказать, что наступила новая беременность. Роб отнесся к этому с большой радостью, однако сама Мэри хандрела и раздражалась, как никогда прежде. Все больше и больше времени Роб уделял сыну. У того личико сразу озарялось улыбкой, когда появлялся отец, он начинал повизгивать и изгибаться, словно виляющий хвостом щенок. Отец же с радостью учил его:

— Потяни папу за бороду, — говорил он, гордясь тем, какая крепкая у малыша хватка.

— Потяни папу за уши!

— Дергай папу за нос!

На той же неделе, когда малыш сделал первые осторожные, неуверенные шагжки, он и заговорил. Неудивительно, что первым словом, которое он смог произнести, было «па». От этого короткого слога, с которым маленький человечек обращался к нему, Роба переполнили восхищение и любовь — до такой степени, что он едва мог поверить в то, какое счастье ему привалило.

Теплым весенним днем он уговорил Мэри прогуляться вместе на армянский базар, прихватил и Роба Джея. Оказавшись на базаре, поставил сынишку на землю рядом с лавкой кожевника, и Роб Джей, пошатываясь, сделал несколько шагов к Приске. Бывшая его кормилица вскрикнула от восторга и чуть не задушила мальчика в радостных объятиях.

Возвращаясь домой в Яхуддийе, супруги улыбались и здоровались то с одним, то с другим. Хотя после отъезда Фары ни одна женщина квартала не сблизилась с Мэри, европейку из «ненаших» больше никто не проклинал; евреи Яхуддийе привыкли к ней.

Немного позже, когда Мэри готовила плов на обед, а Роб прививал в саду одно из абрикосовых деревьев, из дома по соседству выбежали две маленькие дочки Мики Галеви и стали в садике Роба играть с его сыном. Роб наслаждался всей душой, слушая их громкие крики. Ему подумалось, что на свете есть люди и похуже, нежели евреи квартала Яхуддийе, да и в самом Ис-фагане существуют места куда хуже этого квартала.

* * *

Однажды Роб услышал, что аль-Джуджани будет читать учащимся лекцию о вскрытии свиньи. Он тут же вызвался ассистировать. Животное, выбранное для демонстрации, оказалось могучим кабаном с клыками, напоминавшими миниатюрные слоновьи бивни, крошечными глазками, длинным телом, покрытым густой порослью жесткой серой щетины, и мощным волосатым половым органом. Этого кабана зарезали еще вчера, о чем

свидетельствовал и запах, однако откармливали его зерном, а потому и запах рассеченного желудка, кисловатый, напоминал запах бродящего пива. Роб давно усвоил, что такие запахи сами по себе не плохи и не хороши, просто каждый был по-своему интересен, потому что мог рассказать целую историю. Впрочем, напрасно он присматривался, принюхивался и настойчиво шарил руками в животе, среди кишок: ничто не подсказывало ему, отчего же происходит боль, поражающая правую сторону живота. Аль-Джуджани, которого занятие интересовало больше, чем предоставление Робу возможности удовлетворять свое любопытство, проявил вполне понятное недовольство тем, что ассистент слишком долго копается во внутренностях животного.

После окончания занятия Роб, нимало не просветившись, пошел встретиться с Ибн Синой — здесь, в маристане. С первого же взгляда на главного врача он понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее.

— Их схватили — мою Деспину и Карима Гаруна.

— Сядьте, господин, успокойтесь, — ласково сказал ему Роб, видя, что Ибн Сина потрясен; его лицо, выражавшее крайнее удивление, как-то сразу постарело.

Сбылись самые страшные опасения Роба. Он заставил себя задавать положенные вопросы и без труда выяснил то, что и предполагал: обвинения им предъявлялись в супружеской неверности и прелюбодеянии.

* * *

Люди, посланные Кандраси, в то утро проследили Карима до самого дома Ибн Сины. Муллы вместе с воинами ворвались в каменную башню и схватили любовников.

— А что же евнух?

В мгновение ока Ибн Сина окинул Роба взглядом, и тот испытал отвращение к самому себе — он понял, какие тайны приоткрывает сам этот вопрос. Однако Ибн Сина лишь печально покачал головой:

— Вазиф погиб. Если бы они не убили его, подкравшись из-за угла, он никого бы не допустил в башню.

— Чем же мы можем помочь Кариму и Деспине?

— Помочь им может один только шах Ала ад-Даула, — ответил Ибн Сина. — Надо повергнуть прошение к его стопам.

Вместе с Ибн Синой Роб поехал по улицам Исфагана, а встречные отводили в сторону глаза, не желая унижать Ибн Сину своей жалостью.

В Райском дворце их встретил Капитан Ворот. Он проявил любезность, положенную в отношении Князя лекарей, но вместо шахского кабинета провел их в передний покой.

Фархад покинул их, но вскоре возвратился и сказал: царь весьма опечален тем, что сегодня не может уделить им время.

— Мы подождем, — сказал на это Ибн Сина. — Быть может, явится какая-нибудь возможность.

Фархад радовался падению могущественного царедворца. Кланяясь Робу, он даже улыбнулся.

Они прождали весь день, а к вечеру Роб проводил Ибн Сину домой. Утром они возвратились во дворец. Фархад по-прежнему стремился сохранять всю свою любезность.

Он проводил их в ту же переднюю и позволил томиться там ожиданием, хотя скоро стало ясно, что шах не примет их. Тем не менее они ждали. Ибн Сина почти не разговаривал. Один раз он вздохнул:

— Мне она всегда была все равно что дочь. — Помолчал, потом добавил: — Чем впрямую столкнуться с визирем, шаху куда легче делать вид, что решительный удар, нанесенный Кандраси, для царя лишь мелкий укол.

Весь второй день они провели в стенах Райского дворца. Постепенно становилось ясно: невзирая на всю славу и влияние Князя лекарей, несмотря на то, что Карим был любимцем царя, шах Ала ничего предпринимать не станет.

— Он предпочитает сдать Карима с потрохами имаму Кандраси, — мрачно сказал Роб. — Будто они играют между собой в шахскую игру, а Карим — лишь фигура, которой можно пожертвовать без больших сожалений.

— Через два дня состоится Большой прием, — проговорил Ибн Сина. — Надо облегчить шаху задачу помочь им. Я при всех обращусь к нему с просьбой о помиловании. Я — муж обвиняемой, а Карима любят все. Народ поднимет крик в поддержку моего прошения о спасении героя чатыра. Шаху останется лишь представить дело так, что он проявляет милосердие, идя навстречу желанию своих подданных. — Если произойдет так, — добавил Ибн Сина, — Кариму, вероятно, дадут двадцать ударов палкой, а Деспину подвергнут порке и запретят ей до конца жизни покидать дом мужа.

Но при выходе из Райского дворца они встретили аль-Джужджани, который ожидал их там. Мастер-хирург любил Ибн Сину не меньше, чем все остальные. Из любви он и взял на себя задачу сообщить им дурные вести.

Карима и Деспину уже судил шариатский суд. Выступили три свидетеля, все трое почтенные муллы. Ни Карим, ни Деспина не пытались отрицать свою вину — несомненно, ради того, чтобы избежать пытки. Муфтий, судья, приговорил их обоих к смертной казни, которая должна свершиться завтра поутру:

— Женщина Деспина подлежит отделению головы от туловища. Кариму Гаруну надлежит вспороть живот.

Роб растерянно переглянулся с Ибн Синой. Он ожидал, что Учитель скажет аль-Джужджани, каким еще образом можно спасти Карима и Деспину, но старик лишь покачал головой.

— Исполнение приговора мы отворотить не можем, — сокрушенно проговорил он. — В наших силах лишь позаботиться о том, чтобы смерть пришла к ним милосердно.

— Тогда нужно кое-что сделать, — тихо сказал аль-Джужджани. — Подкупить кого нужно. А вместо лекарского помощника в тюрьму калантара надо послать врачевателя, которому мы можем доверять.

Весенний воздух был теплым, но Роба продрал мороз по коже.

— Пусть это буду я, — сказал он.

* * *

В ту ночь он не смог уснуть. Поднялся еще до зари и поехал на гнедом по темным городским улицам. Оказавшись у дома Ибн Сины, Роб в глубине души еще надеялся разглядеть во мраке фигуру евнуха Вазифа. В комнатах обеих башен не было ни света, ни

жизни.

Ибн Сина передал ему кувшин виноградного сока.

— Сок густо насыщен производными опия и порошком чистого семени конопли под названием *буинг*, — наставлял он Роба. — В этом есть известный риск. Они должны выпить как можно больше этого напитка. Но если кто-то из них выпьет чересчур много и не сможет идти на казнь своими ногами, то вместе с ними умрешь и ты.

— С Божьей помощью, — кивнул Роб, чтобы подтвердить: смысл наставления он вполне понял.

— Да будет милостив к тебе Аллах, — откликнулся Ибн Сина, и не успел Роб выйти из комнаты, как Учитель стал нараспев читать стихи из Корана.

В тюрьме Роб объявил часовому, что он лекарь, и получил стражника в сопровождение. Сначала они направились к тем камерам, где содержались женщины. В какой-то из них — это было отчетливо слышно — женщина то напевала, то безутешно рыдала. Роб испугался, что эти безумные звуки издает Деспина, но ошибся. Она спокойно ожидала своей участи в крошечной камере, немытая, не надушенная, со спутанными прядями волос. Ее худенькое стройное тело закутали в грязные черные одеяния.

Роб поставил на пол кувшин с *буингом*, подошел к Деспине и откинул ее вуаль.

— Я принес тебе питье.

Впоследствии он всегда станет думать о ней как о *femina* ^[202], словно вобравшей в себя черты его сестры Анны-Марии, жены Мэри, той продажной девки, что обслуживала его в повозке на майдане, да и вообще всякой женщины, какую он только встречал на своем жизненном пути.

В глазах Деспины стояли слезы, однако от *буинга* она твердо отказалась.

— Ты должна это выпить. Это поможет тебе.

Она отрицательно покачала головой. «Я и так скоро буду в раю», — молили и убеждали Роба ее полные страха глаза.

— Отдай лучше ему, — прошептала она, и Роб простился с Деспиной.

Гулким эхом отдавался в коридоре каждый шаг, когда Роб вслед за стражником прошел вдоль рядов камер, спустился по двум коротким лестничным пролетам, снова оказался в таком же каменном туннеле, вошел в такую же тесную камеру.

Друг его был бледен.

— Значит, ты, европеец!

— Я, Карим.

Они обнялись, крепко сжимая друг друга.

— А она?..

— Я был у нее только что. Она держится молодцом.

— Я ведь, — вздохнул Карим, — несколько недель даже не слышал ее голоса! Вот и пошел тогда, чтобы хоть услышать, ты понимаешь? Я был совершенно уверен, что слезки за мной нет.

Роб кивнул.

У Карима дрогнули губы. Он схватил протянутый ему кувшин и пил жадно, вобрав в себя две трети содержимого, прежде чем вернул.

— Это поможет. Ибн Сина изготовил собственноручно.

— Старик, которого ты боготворишь. А я частенько мечтал подсыпать ему яду, тогда она досталась бы мне.

— У каждого бывают злые мысли. Но ты бы этого никогда не сделал. — Робу почему-то казалось важным, чтобы Карим услышал это от него, пока еще не подействовал наркотик. — Ты меня слышишь?

Карим кивнул. Роб не спускал с него глаз, опасаясь, что друг выпил слишком много *буинга*. Если настой подействует сразу, шариатский суд соберется снова и муфтий вынесет смертный приговор еще одному лекарю.

Глаза Карима наполовину закрылись. Он бодрствовал, но говорить ему уже не хотелось. Роб тоже молчал, оставаясь вместе с ним до тех пор, пока не послышались приближающиеся шаги.

— Карим!

— Уже? — Карим несколько раз моргнул.

— Вспомни о том, как ты выиграл чатыр, — ласково посоветовал ему Роб. Шаги затихли, отворилась дверь камеры; за нею стояли трое стражников и два муллы. — Вспомни самый счастливый день своей жизни.

— А Заки Омар бывал иногда очень славным человеком, — проговорил Карим и слегка улыбнулся Робу; глаза у него были отсутствующими.

Два стражника подхватили его под руки. Роб сразу за ними, не отставая, вышел из камеры, проследовал по длинному коридору, поднялся по двум лестничным пролетам и оказался во внутреннем дворе, где ярко, словно начищенная медь, сияло солнце. Утро было ласковое, необычайно красивое, и это представлялось утонченной жестокостью. Роб видел, как подгибаются при ходьбе ноги Карима, но со стороны всякому должно было казаться, что осужденный просто смертельно напуган. Они прошагали мимо двойного ряда карканов с зажатыми в них жертвами — эта сцена до сих пор виделась Робу в кошмарных снах.

На обагренной кровью земле рядом с фигурой, облаченной во все черное, уже лежало нечто ужасное, однако *буинглишил* священнослужителей удовольствия: Карим так и не заметил ее.

Палач на вид был не старше Роба — невысокий крепыш с непропорционально длинными руками и безразличным взглядом. Его сила и ловкость, да еще отточенные как бритва клинки — вот и все, что смогло купить золото Ибн Сины.

Стражники уложили Карима лицом вверх; глаза у того уже остекленели. Никакого прощания не вышло, палач мигом нанес отработанный удар. Острие меча вонзилось прямо в сердце, вызвав мгновенную смерть, за что исполнитель казни и получил щедрую мзду. Роб только услышал, как его друг издал звук, похожий на громкий недовольный вздох.

На долю Роба выпало проследить за тем, как тела Деспины и Карима отвезли из тюрьмы на кладбище за стенами города. Он не постоял за платой, чтобы над обеими свежими могилами были прочитаны надлежащие молитвы. Муллы, которые их читали, были те же самые, что присутствовали и при казни.

Похоронный обряд окончился; Роб допил настой, оставшийся в кувшине, и отпустил поводья, предоставив гнедому самому нести его домой.

Но, когда они поравнялись с Райским дворцом, Роб натянул поводья и всмотрелся в царское жилище. В тот день дворец выглядел особенно красиво: развевались на башенках под легким весенним ветерком разноцветные флаги, полыхали на солнце значки воинских отрядов и бердыши стражи, а начищенные доспехи и оружие просто слепили глаз.

В ушах Роба звучал голос Ала-шаха: «Мы четверо друзей... Мы — четверо друзей». Роб со злостью потряс кулаком:

— Н-НЕ-Д-ДОС-ТОЙ-НЬЙ!

Его крик полетел к стене, достиг ушей воинов, заставил их насторожиться. Начальник отряда спустился к часовым, стоявшим у наружных ворот.

— Это кто еще там? Узнать его можно?

— Да, это, кажется, хаким Иессей. Тот самый зимми.

Стражи взгляделись во всадника, увидели, как он снова потряс кулаком, заметили и кувшин вина, и отпущенные конские поводья.

Их начальник помнил, как этот еврей отстал от возвращавшихся из набега на Индию воинов, чтобы заботиться о раненых.

— Да у него морда совсем пьяная, — усмехнулся он. — А вообще-то он малый неплохой. Пусть себе едет! — И все проводили взглядом лекаря, которого гнедой мерин нес дальше, к городским воротам.

Вот он и остался единственным выжившим из всего Исфаганского медицинского отряда. Роб думал о том, что и Мирдин, и Карим засыпаны теперь землей, и это наполняло все его существо гневом, болью и горькими сожалениями. Но эти две смерти заставляли его в то же время ощущать всю радость бытия: Роб воспринимал всякий день, как поцелуй любимой, и с наслаждением смаковал простые удовольствия будней: глубокий вдох, долгое освобождение мочевого пузыря, неспешный выпуск наружу скопившихся газов. Когда он испытывал голод, то с наслаждением жевал корку черствого хлеба, а когда испытывал усталость, с наслаждением ложился спать. А как приятно было дотронуться до свободного пояса жены, прислушаться к тому, как она храпит! Или покусать животик сынишке, пока тот не начинал радостно хохотать во все горло, а у самого Роба не наворачивались на глаза слезы радости.

И ведь все это — вопреки той атмосфере мрака и скуки, которая окутала в последнее время Исфаган.

Если уж Аллаху с имамом Кандраси так легко удалось расправиться с исфаганским героем-атлетом, как же мог простой человек осмелиться нарушать суровые законы ислама, установленные самим Пророком?

Продажных женщин больше не было видно, а на майданах по ночам не слышалось веселого гомона. По улицам ходили попарно муллы, высматривая, у кого из женщин покрывало оставляет открытой хотя бы часть лица, кто из мужчин недостаточно поспешно откликается на призыв муэдзина к молитве, не найдется ли где такой глупый трактирщик, который торгует вином. Даже в Яхуддийе, где женщины всегда ограничивались тем, что старательно покрывали платками волосы, многие еврейки стали закрывать и лица тяжелыми покрывалами, как у мусульманок.

Некоторые тайком вздыхали, с грустью вспоминая ночи, проведенные с музыкой и весельем, но были и такие, кто радовался пришедшим переменам. В маристане хаджи Давут Хосейн в ходе утренней молитвы вознес особую хвалу Аллаху.

— Мечеть и царство родились из единой утробы, они и в жизни едины, и никому не удастся их разделить! — воскликнул он.

К дому Ибн Сины по утрам приходило даже больше народу, чем раньше. Они молились вместе с ним, но теперь Князь лекарей после молитвы возвращался в свой дом и не показывался, пока не наступал час следующей молитвы. Он целиком отдался своему горю и воспоминаниям и перестал появляться в маристане, читать лекции и лечить больных. Если кто не желал, чтобы к ним прикасался зимми, то тех осматривал аль-Джуджани, но таких находилось не много и Роб работал без передышки, заботясь и о своих прежних пациентах, и о пациентах Ибн Сины.

Однажды в больницу приковывлял тощий старик со зловонным дыханием и грязными босыми ногами. Ноги у этого Касима ибн Сахди походили на журавлиные, с узловатыми коленями, а клочок седой бороды был словно изъеден молью. Он не ведал своего возраста, не имел своего дома, ибо почти всю жизнь провел, прислуживая то в одном караване, то в другом.

— Где я только ни бывал, господин!

— И в Европе, откуда я родом?

— Ну, разве что там не бывал. — Он рассказал, что и семьи у него нет, а заботится о нем один Аллах. — Сюда я попал вчера с караваном, что привез шерсть и финики из Кума. По дороге меня скрутила боль, злая, что твой джинн.

— Боль — где?

Касим застонал и схватился за правую сторону живота.

— Извергал ли ты свою пйщу?

— О Аллах, я тем и болен — рвота все время, и ослаб страшно. Но вот я спал, и во сне воззвал ко мне Аллах и сказал: «Есть поблизости человек, который тебя исцелит». И я проснулся и стал расспрашивать всех, есть ли поблизости такое место, где лечат недужных, и меня направили в этот маристан.

Старика провели к тьюфяку, вымыли, накормили легкой пищей. Это был первый для Роба пациент с болезнью, поразившей правый бок, которого он мог наблюдать на ранней стадии заболевания. Аллах, возможно, и знал, как исцелить Касима, но Робу это оставалось неизвестно.

Снова он просиживал в библиотеке долгие часы. Наконец, любезный Юсуф аль-Джамал, хранитель Дома мудрости, задал вопрос: что ищет он столь упорно и настойчиво?

— Тайну болезни, которая поражает правую сторону живота. Пытаюсь отыскать сообщения древних авторов, которые вскрывали человеческий живот прежде, чем это стало делом запретным.

Почтенный библиотекарь заморгал и вежливо кивнул:

— Я постараюсь помочь тебе. Дай мне время, я посмотрю, что можно отыскать.

Ибн Сина был теперь недоступен, и Роб пошел к аль-Джуджани, который не отличался таким терпением, как Учитель.

— Очень часто люди умирают от этой болезни, — отвечал аль-Джуджани, — однако иные приходят в маристан с жалобами на боль и жжение в низу живота, в его правой стороне, а потом все это проходит и люди возвращаются к себе домой.

— Отчего проходит?

Аль-Джуджани пожал плечами, взглянул на Роба с явным раздражением и не пожелал более тратить время на этот предмет.

У Касима боль тоже прошла через два-три дня, но Роб не захотел отпускать его.

— Куда тебе идти?

Старый погонщик пожал плечами:

— Найду караван, хаким, там мой дом.

— Не всем, кто приходит сюда, удается уйти. Некоторые из них умирают, понимаешь?

— Все люди рано или поздно умирают, — серьезно кивнул головой Касим.

— Обмывать умерших, готовить их к погребению — это значит служить Аллаху. Ты мог бы выполнять такую работу?

— Конечно, хаким. Это и вправду дело, угодное Аллаху, как ты и сказал, — подтвердил старик с торжественным видом. — Аллах привел меня сюда; возможно, ему угодно, чтобы я здесь остался.

По соседству с двумя помещениями, служившими больничным моргом, находилась небольшая кладовая. Роб со стариком вместе прибрали в ней и превратили в жилище Касима ибн Сахди.

— Есть ты будешь здесь, после того как покормят больных, а в банях маристана ты

можешь мыться.

— Слушаюсь, хаким.

Роб дал ему циновку и глиняную лампу. Старик развернул свой потертый молитвенный коврик и объявил, что лучшего жилья в жизни своей не видал.

* * *

Прошло без малого две недели, прежде чем заваленный работой Роб сумел повидаться в Доме мудрости с Юсуфом аль-Джамалом. В знак благодарности за помощь он принес библиотекарю подарок. У любого торговца можно было купить крупные, толстые фисташки, однако у Юсуфа осталось мало зубов, жевать фисташки ему было трудно, поэтому Роб купил для него плетеную из тростника корзину, полную мягких фиников, выращенных в оазисах пустыни.

Однажды вечером они с Юсуфом сели в Доме мудрости и принялись за финики. Читателей в библиотеке уже не осталось.

— Я углубился в прошлое, — сказал ему Юсуф, — насколько мог. До самой античности. Даже египтян, слава которых как бальзамировщиков тебе известна, учили тому, что вскрывать живот есть зло, ибо обезображивает умершего.

— Но... как же тогда они делали мумии?

— А они были лицемерами. Платили презираемым людям, которые назывались *парасхитами*, и те грешили, делая запретный первый надрез на животе, а затем сразу же бежали, чтобы их не забили до смерти камнями. Они, таким образом, брали вину на себя, позволяя почтенным бальзамировщикам извлечь из живота внутренние органы и продолжить работу по бальзамированию тела.

— Изучали ли они органы, которые извлекали? Оставили ли хоть какие-то письменные следы своих наблюдений?

— Египтяне проводили бальзамирование пять тысяч лет и выпотрошили в общей сложности почти семьсот пятьдесят миллионов человек, умерших от всех мыслимых болезней. Внутренние органы они помещали в сосуды из глины, известняка или же алебастра, а иной раз просто выбрасывали прочь. Но нет ни малейшего намека на то, что они хоть как-то изучали эти органы.

Вот у греков было совсем по-иному, хотя и происходило там же, в долине Нила. — Юсуф взял еще горсть фиников. — За девятьсот лет до рождения Пророка Мухаммеда Александр Македонский ураганом промчался по нашей Персии, подобный прекрасному юному богу войны. Он покорил весь древний мир, а на северо-западном конце дельты Нила, на узкой полоске земли между Средиземным морем и озером Мареотида, основал прекрасный город, которому дал свое собственное имя.

Через десять лет он умер от болотной лихорадки, но город Александрия успел уже стать центром греческой культуры. При разделе империи Александра Египет вместе с этим новым городом перешел к македонцу Птолемею, одному из наиболее ученых соратников Александра. Птолемея основал в Александрии Мусейон — первый в мире университет — и знаменитую Александрийскую библиотеку. Там процветали все отрасли знания, но самых талантливых учеников со всего света привлекала школа врачевания. Вот тогда, в первый и последний раз за всю долгую историю человечества, краеугольным камнем этой школы

стала анатомия. На протяжении трех сотен лет там очень широко практиковалось вскрытие человеческого тела.

Роб, жадно слушая, подался всем телом вперед:

— Значит, можно прочитать сделанные ими описания болезней, каковые поражают внутренние органы?

Юсуф отрицательно покачал головой:

— Книги этой великолепной библиотеки пропали, когда город подвергся разграблению легионами Октавиана за тридцать лет до начала христианского летосчисления. Римляне уничтожили львиную долю книг александрийских лекарей. То немногое, что уцелело, собрал Цельс [\[203\]](#). Он попытался сохранить это в своем труде «De re medicina», но там встречается лишь краткое упоминание «заболевания, каковое гнездится в толстой кишке и поражает главным образом ту часть, где располагается, как я отмечал, слепая кишка. Сопровождается оно бурным воспалением и сильными болями, в особенности с правой стороны».

— Эту цитату я помню, — разочарованно проворчал Роб. — Ибн Сина использует ее в своих лекциях.

— Следовательно, — пожал плечами Юсуф, — мои старания оставляют тебя там же, где ты был и до этих поисков. Тех описаний, которые ты ищешь, не существует.

Роб мрачно кивнул.

— А почему ты полагаешь, что единственный краткий период, когда лекари вскрывали человеческие тела, связан с греками?

— У них не было преимуществ веры в единого сильного Бога, который запрещает всякое надругательство над тем, что Он сотворил. Вместо этого они верили во всех этих прелюбодеев, в слабых богов и богинь, которые затевали ссоры по всякому поводу. — Библиотекарь выплюнул в пригоршню множество финиковых косточек и ласково улыбнулся Робу. — Они могли вскрывать тела, хаким, лишь потому, что были, в сущности, варварами.

Мэри скоро предстояло рожать, она уж не могла ездить верхом, но пешком ходила, чтобы купить на базарах необходимые семье продукты. Ослика она вела в поводу — он вез ее покупки и Роба Джея, который ехал в люльке, привязанной ремешком к спине осла. Бремя еще не рожденного ребенка тяготило ее, заставляло напрягать спину, поэтому она медленным шагом перебиралась с одного базара на другой. На армянском рынке, как обычно, Мэри остановилась у кожевенной лавки — разделить с Приской шербет и горячую тонкую персидскую лепешку.

Приска, казалось, всегда была рада видеть свою бывшую нанимательницу и ребенка, которого сама выкормила, но сегодня она так и сияла от радости. Мэри же, хотя и очень старалась выучить персидский язык, пока сумела осилить всего несколько слов.

— *Чужеземец. Издалека. Такой, как хаким. Как ты.*

Женщины расстались нехотя и не без обоюдных сожалений, а вечером Мэри с жаром пересказала мужу это происшествие. Тот уже знал, что пыталась объяснить ей Приска, ибо слухи быстро достигли и маристана.

— В Исфаган только что приехал некий европеец.

— Из какой страны?

— Из Англии. Купец.

— Англичанин? — Мэри недоверчиво уставилась на мужа. Лицо у нее покраснелось, и Роб заметил, каким интересом, каким волнением зажглись ее глаза, как она, сама того не замечая, прижимала руку к груди. — Почему же ты сразу не пошел к нему?

— Мэри...

— Да ведь ты непременно должен это сделать! Ты знаешь, где он поселился?

— В армянском квартале, поэтому Приска и узнала о нем. Говорят, он сразу заявил, что согласен жить только среди христиан. — Роб улыбнулся. — Стоило ему, однако, увидеть те убогие хижины, в которых ютятся немногочисленные бедняки-армяне, как он быстренько снял куда более приличный дом у хозяина-мусульманина.

— Ты должен написать ему письмо. Проси его прийти к нам на ужин.

— Да я ведь не знаю даже его имени!

— Ну и что? Найми посыльного. В армянском квартале ему любой подскажет, как сюда попасть, — горячо говорила Мэ-Ри. — Роб! Он ведь расскажет нам *новости!*

Меньше всего Робу хотелось поддерживать небезопасную связь с английским христианином. Но понимал он и то, что не может лишить жену возможности услышать о краях, куда более милых ее сердцу, чем Персия. Он сел к столу и написал письмо.

* * *

— Меня зовут Босток. Чарльз Босток.

Роб с первого взгляда узнал гостя. Когда он, сделавшись учеником цирюльника-хирурга, впервые возвращался в Лондон, то вместе с Цирюльником два дня путешествовал под защитой каравана Бостока, состоявшего из множества вьючных лошадей. Они везли соль из

арундельских копей. А на привале он и Цирюльник жонглировали, и купец подарил ему монетку в два пенса — купить себе что-нибудь, когда окажется в Лондоне.

— Иессей бен Беньямин. Здешний лекарь.

— Вы написали свое приглашение по-английски. И говорите на моем родном языке...

Ответить на это можно было только одно — то, что стало для Роба привычным в Исфагане:

— Я вырос в городе Лидсе. — Роба все это скорее забавляло, чем тревожило: прошло ведь четырнадцать лет, и из того щенка, каким он некогда был, вырос довольно-таки странный пес. Рассуждая так, Роб был уверен, что Босток не сможет связать мальчишку-жонглера с этим рослым лекарем-евреем, в гости к которому его занесло в Персии. — А это моя жена Мэри. Она шотландка, из той страны, что к северу от Англии.

— Приветствую вас, госпожа.

Мэри отчаянно хотелось принарядиться, но огромный живот не позволял и думать о голубом платье, так что она надела бесформенное черное одеяние. Зато чисто вымытые рыжие волосы просто сияли. Она повязала на голову вышитую широкую ленту, с которой свисало на лоб ее единственное украшение — ниточка мелкого жемчуга.

Босток по-прежнему носил длинные волосы, зачесанные назад и удерживаемые при помощи обручей и лент, но теперь эти волосы стали уже не пшеничными, а седоватыми. Одет он был в изысканный костюм красного бархата, узорчатая вышивка на котором изрядно запылилась. Для персидского климата такой костюм был слишком теплым, а для визита в их скромный домик — слишком щегольским. Робу подумалось, что ничьи глаза до сих пор не всматривались так оценивающе и в их лошадей, и в сам домик, и в одежды хозяев, и в каждый предмет мебели. Так же гость, со смешанным выражением любопытства и неприязни, всматривался в смуглого бородатого еврея, его рыжеволосую жену кельтского типа, уже готовившуюся рожать, и в спящего малыша, который был лишним доказательством реальности столь позорного союза между представителями различных религий.

Но, несмотря на нескрываемое неудовольствие, гостю не меньше, чем им самим, хотелось поговорить на английском языке, поэтому очень быстро все трое разговорились. Роб и Мэри не могли удержаться и буквально засыпали Бостока вопросами:

— Вы что-нибудь знаете о том, что происходит в шотландских землях?

— Хорошие времена были в Лондоне, когда вы уезжали, или трудные?

— Царил ли там мир?

— А страной по-прежнему правит Канут?

Таким образом, Бостока вынудили отработать свой ужин, хотя его свежим новостям было уже без малого два года. Ни о шотландской земле, ни о севере Англии он вообще ничего сказать не мог. Но времена были изобильные, Лондон рос как на дрожжах, с каждым годом там возводилось все больше новых домов, а от кораблей на Темзе было не повернуться. Далее гость сообщил, что за два месяца до его отъезда король Канут почил естественной смертью, а в тот день, когда Босток высадился в Кале, умер Роберт Первый, герцог Нормандский.

— Теперь по обе стороны Пролива правят бастарды. В Нормандии герцогом — с помощью друзей и родичей отца — стал незаконный сын Роберта Вильгельм, хотя он совсем еще ребенок. В Англии же трон по праву должен был перейти к Гартакнуту, сыну Канута и королевы Эммы, но он много лет жил в Дании и не ступал на нашу землю. Вот и захватил трон его сводный младший брат Гарольд Заячья лапа — Канут в свое время открыто признал

его своим побочным сыном от некоей мало кому известной нортгемптонской дамы, именем Эльфгифа. Гарольд и стал новым королем Англии [204].

— А где же Эдуард и Альфред, те два принца, которых Эмма родила королю Этельреду, еще прежде своего замужества за Канутом? — поинтересовался Роб.

— Они живут в Нормандии под защитой двора герцога Вильгельма. Можно предположить, что оба с большим интересом поглядывают на другой берег Пролива, — ответил Босток.

Как ни изголодались они по новостям из родной страны, но от запахов стряпни Мэри у всех троих потекли слюнки, а у купца даже взгляд стал теплее, когда он увидел, что приготовила хозяйка в его честь.

Парочку фазанов, щедро политых маслом и не раз смазанных жиром, фаршированных по персидскому обычаю рисом и виноградом и долго тушившихся на медленном огне. Еще летний салат. Сладкие дыни. Медовый пирог с абрикосами. Не последнее дело — мех доброго розового вина, купленного за большие деньги, да и с немалым риском. Мэри ходила вместе с Робом на еврейский рынок, где Гинда поначалу упорно отрицала, что приторговывает вином, и испуганно озиралась: кто еще слышал эту опасную просьбу? После долгих уговоров, после того, как ей вручили тройную цену товара, она выкопала из мешка с зерном мех вина, а Мэри доставила его домой тайком от мулл, в люльке рядом со спящим сынишкой.

Босток с удовольствием поглощал выставленные блюда, но вот он сделал добрый глоток вина и объявил, что через несколько дней отправляется в обратный путь, в Европу.

— Когда я прибыл в Константинополь по церковным делам, не смог удержаться и не проехать дальше на восток. Ведомо ли вам, что король Англии возведет в тэны всякого купца-путешественника, который отважится совершить три поездки в дальние края и откроет таковые для английской торговли? Так вот, это чистая правда, а для свободного человека — это отличная возможность получить благородное звание, в то же время добыв и немалую прибыль. «Шелка!» — подумал я. Если бы удалось проехать по Великому шелковому пути, я бы вернулся домой с таким грузом, что смог бы купить весь Лондон! Я был рад, когда добрался до Персии — здесь я вместо шелков купил много ковров и искусных вышивок. Но больше я сюда не вернусь, уж больно невыгодно: мне ведь приходится оплачивать чуть не целое войско, чтобы безопасно доставить товар в Англию!

Робу захотелось узнать, насколько схожи пути, которыми они добрались до Персии. Босток рассказал, что из Англии он сперва направился в Рим.

— Я объединил свои торговые дела с поручением Этельнота, архиепископа Кентерберийского. В Латеранском дворце папа Бенедикт IX посулил щедрую награду за *expeditiones in terra et mari* [205] и велел мне именем Спасителя Иисуса направить свои стопы в Константинополь, дабы вручить там послания папы патриарху Алексею.

— Так вы папский легат! — воскликнула Мэри.

«Не столько легат, сколько гонец», — сухо поправил ее Роб про себя, хотя было ясно, что Босток вызывает у Мэри полный восторг.

— Вот уже шестьсот лет Восточная церковь оспаривает решения Западной, — проговорил купец, надувшись от важности. — В Константинополе Алексея считают равным папе, что глубоко возмущает Святой Римский престол. У патриарха его треклятые бородатые попы женятся — *женятся!* Они не молятся ни Иисусу, ни Марии, они и к Троице относятся без должного почтения [206]. Потому-то обе стороны и обмениваются постоянно письмами со

взаимными обвинениями.

Кувшин опустел, и Роб вышел в соседнюю комнату — наполнить его из меха.

— Вы христианка?

— Да, — ответила Мэри.

— Как же вы стали наложницей этого еврея? Может, вас захватили пираты или мусульманские разбойники и продали ему?

— Я — его жена, — внятно произнесла Мэри.

Роб в соседней комнате перестал наполнять кувшин и стал прислушиваться к разговору, невесело усмехаясь: англичанин так сильно ненавидел его, что даже не потрудился умерить силу своего голоса.

— Я охотно устрою вас с ребенком в своем караване. Вы получите носилки и носильщиков, пока не родите и не сможете ехать верхом.

— Увы, мастер Босток, это исключено. Я принадлежу своему мужу — всей душой и по взаимному согласию, — ответила на это Мэри, однако сдержанно поблагодарила купца за предложение.

Он с принужденной любезностью возразил, что это был его долг христианина — он желал бы, чтобы кто-нибудь предложил такую услугу и его собственной дочери, окажись она (Боже упаси!) в подобном положении.

Роб Коль вернулся к столу с желанием изувечить Бостока, но Иессей бен Беньямин держался с восточным радушием, наливая гостю вина вместо того, чтобы тузить его. Беседа, однако, сделалась неприязненной и прерывистой. Едва покончив с ужином, англичанин покинул их. Роб и Мэри остались наедине. Собирая со стола посуду, каждый из них углубился в собственные мысли.

— Так мы когда-нибудь отправимся домой? — спросила Мэри.

— Ну, а как же! — удивленно воскликнул Роб.

— Значит, с отъездом Бостока такая возможность для меня не потеряна?

— В этом я тебе клянусь.

Глаза у нее засверкали.

— Он правильно делает, что нанял для охраны целое войско. Путешествие сюда полно опасностей... Как смогут двое детишек отправиться в такую даль и не погибнуть в пути?

Обхватить Мэри было сейчас непросто, но Роб осторожно заключил ее в свои объятия.

— Будем в Константинополе — снова сделаемся христианами и присоединимся к большому каравану, хорошо охраняемому.

— А как добраться отсюда до Константинополя?

— Эту тайну я узнал по пути сюда. — Роб помог ей опуститься на циновку. Ей теперь нелегко было это сделать — как ни повернись, все равно что-нибудь очень скоро начинало болеть. Он обнимал ее, гладил по голове, а говорил с нею так, будто рассказывал ребенку сказку на ночь: — От Исфагана до самого Константинополя я останусь Иессеем бен Беньямином. И нас будут принимать еврейские поселения, одно за другим; там и накормят, и защитят, и дорогу покажут. Так человек, прыгая с камешка на камешек, перебирается через опасную бурную реку. — Он погладил лицо жены. Положил ладонь на большущий теплый живот и почувствовал, как шевелится в утробе дитя. От этого Роб преисполнился благодарности и жалости. Так оно все и будет, уверял он себя. Однако не смог бы сказать, когда же это все свершится.

Роб уже привык спать, прикинув к огромному тугому животу жены, но вот однажды он проснулся, ощутив теплую влагу, а проснувшись окончательно, стал лихорадочно натягивать на себя одежду и побежал к Нитке Повитухе. Та, хоть и привыкла, что в ее дверь барабанят, когда все остальные люди мирно почивают, вышла на порог сердитая и язвительная и велела Робу успокоиться и запастись терпением.

— Но она уже выпустила воды!

— Вот и хорошо, вот и хорошо, — бормотала повитуха.

Вскоре по темной улице прошествовал целый караван: впереди Роб, освещающий факелом дорогу, за ним Нитка с большим мешком чисто выстиранных тряпок, а за нею два ее мускулистых сына, которые с хрипами и вздохами тащили родильное кресло.

Это кресло Хофни и Шмуэль установили рядом с очагом, почти как трон. Нитка велела Робу развести огонь, потому что в середине ночи воздух был весьма прохладным. Мэри села в кресло, похожая на обнаженную королеву. Сыновья Нитки, уходя, забрали с собой и Роба Джея — позаботиться о нем, пока мать будет мучиться родами. В Яхуддиейе все жители оказывали друг другу подобные услуги, даже *гоям*.

Царственный вид Мэри утратила, как только подступил приступ боли. Роб даже растерялся, услышав ее первый пронзительный стон. Кресло было сооружено на совесть и могло выдержать любые рывки и метания роженицы, и Нитка занялась своими тряпицами: аккуратно сворачивала и раскладывала их, ничуть не тревожась тем, что Мэри, рыдая, вцепилась в подлокотники кресла.

Ноги у Мэри подрагивали, не переставая, но когда боль скручивала ее, они начинали ужасно трястись и дергаться. После третьего приступа Роб встал у нее за спиной и прижал плечи Мэри к спинке кресла. Мэри оскалилась и зарычала по-волчьи. Роб не удивился бы даже, если б она его укусила или завыла.

Роб не раз ампутировал конечности мужчинам, он привык ко всем заразным болезням, но тут почувствовал, как кровь отливает у него от головы. Повитуха сурово поглядела на него, захватила пальцами складку плоти на его предплечье и хорошенько ущипнула. Резкая боль заставила Роба прийти в себя и избавила от унижения.

— Ступай вон, — велела ему Нитка. — Вон, вон.

И он пошел в садик, постоял там в темноте, прислушиваясь к несущимся из домика звукам. В саду было тихо и прохладно. Он подумал о ядовитых змеях, соскальзывающих с каменной ограды, и решил, что его это не тревожит. Он потерял счет времени, но вдруг спохватился, что после родов потребуется горящий очаг, и сразу вернулся в дом, подбросить дровишек.

Взглянул на Мэри — колени у нее были разведены на всю ширину.

— Вот, теперь ты родишь, — мягко командовала Нитка. — Давай же, подруга, напрягись!

Замерев, Роб увидел, как между бедер жены появилась макушка младенца, похожая на макушку монаха с выбритой розовой тонзурой, и быстренько ретировался обратно в сад. Там он пробыл довольно долго, пока не услышал тоненький писк; тогда он устремился в дом и увидел новорожденного.

— Снова мальчик, — коротко бросила ему Нитка, очищая согнутым мизинцем ротик

младенца от слизи.

В слабых лучах рождающегося дня отсвечивала синим толстая, напоминающая кусок веревки пуповина.

— Сейчас было гораздо легче, чем в первый раз, — сказала ему Мэри.

Нитка вытирала и успокаивала ее, а Роб, получив от нее послед, пошел в сад и закопал его. Повитуха, довольно кивнув, приняла щедрую плату и пошла к себе домой.

Оставшись в спальне вдвоем, Роб и Мэри обнялись, потом она попросила воды и крестила младенца Томасом Скоттом Колем.

Роб взял его на руки и внимательно осмотрел: немного поменьше, чем старший брат, но вовсе не недомерок. Энергичный красненький человечек, маленький мужчина с округлыми карими глазами и хохолком темных волос, в которых уже пробивался намек на рыжие волосы матери. Роб решил, что глазами, формой головы, большим ртом и длинными тонкими пальчиками новорожденный очень напоминает его собственных братьев, Вильяма Стюарта и Джонатана Картера — те, когда только родились, были точно такими же. «Отличить младенца Коля от всех прочих всегда легко», — заявил он Мэри.

Касим уже два месяца занимался покойниками, когда боли в низу живота возобновились.

— На что похожа боль? — спрашивал у него Роб.

— Сильная она, хаким.

Видно было, однако, что не такая сильная, как в первый раз.

— Но боль тупая или режущая?

— Она такая, будто внутри меня поселился джинн и когтями раздирает мне внутренности, сминая их и рвет на части. — Бывший погонщик весьма успешно запугивал самого себя. Он умоляюще смотрел на Роба, ожидая, что хаким разуверит его в этих страхах.

Жара у него не было — а когда он впервые пришел в мари-стан, жар был, — да и живот не сделался твердым. Роб наказал часто поить его вином, настоящим на меду, к которому Касим был равнодушен — он любил выпить, а нынешние строгости, введенные муллами, подвергали его тяжкому испытанию.

Касим провел таким образом несколько недель с большим удовольствием: постоянно слегка пьяный, он бродил по всей больнице, обмениваясь с больными разными мнениями и жизненными наблюдениями. Да ведь и было о чем посплетничать! У всех на устах была свежая новость: имам Кандраси покинул Исфаган, несмотря на одержанную им очевидную политическую и моральную победу над шахом.

Поговаривали, что Кандраси бежал к туркам-сельджукам, а вернется лишь вместе с их войском, которое осадит город. Он хочет сместить Ала-шаха и заменить его на персидском троне строгим ревнителем веры — уж не своей ли персоной? Ну, а пока жизнь текла, как обычно, и мрачные муллы все так же, попарно, расхаживали по улицам города: хитрый старый имам оставил правоверных Исфагана на попечение своего верного ученика Мусы ибн Аббаса.

Шах не показывал носа из Райского дворца, словно прятался там от всех. Приемов он больше не проводил. Роба не звал к себе с того дня, когда казнили Карима. Не было приглашений ни на царские развлечения, ни на охоту или игры, ни вообще приглашений ко двору. Если в Райском дворце требовался лекарь, то вместо захандрившего Ибн Сины вызывали аль-Джуджани или кого-нибудь еще, но только не Роба.

Однако же, доставили подарок от шаха новорожденному сыну Роба.

Принесли его сразу после праздника в честь наречения нового человека еврейским именем. На этот раз Роб уже все знал и сам пригласил соседей. Реб Ашер Якоби, *могель*, вознес молитву о том, чтобы ребенок рос сильным и здоровым для жизни, полной добрых дел, после чего обрезал крайнюю плоть. Малышу дали пососать кусочек хлеба, смоченного вином, чтобы он не хныкал от боли, и нарекли его на еврейском наречии — Там, сын Иессея.

Ала-шах не прислал никаких подарков, когда родился маленький Роб Джей, теперь же от него доставили красивый ковер — голубой, прошитый блестящими шелковыми нитями того же цвета, а синим был вышит родовой герб царской династии Саманидов.

Роб решил, что коврик очень красив и должен лежать на полу рядом с колыбелькой, но Мэри, которая после родов сделалась раздражительной, решительно этому воспротивилась.

Она купила сундучок из сандалового дерева, защищающего от моли, и спрятала ковер туда.

* * *

Роб принял участие в испытании учащихся медресе. В составе ведущих опрос преподавателей он оказался из-за отсутствия Ибн Сины и стыдился того, что кто-нибудь может подумать, будто он слишком самоуверен и воображает, что вправе занимать место Князя лекарей.

Но поделаться тут ничего было нельзя, вот он и старался, как мог. К испытанию готовился так, словно не он, а его самого собирались проверять. Задавал продуманные вопросы, рассчитанные не на то, чтобы обескуражить кандидата в лекари, а выявить знания, и внимательно выслушивал ответы. Всего преподаватели выслушали четырех кандидатов и трем из них присвоили звание лекарей. Замешательство вызвал четвертый. Лекарский помощник Джебри Бейдави уже пять лет учился в медресе. Он дважды проваливался на предыдущих испытаниях, но отец у него был человек богатый и влиятельный; отец задобрил хаджи Давута Хосейна, фактического начальника медресе, и уговорил его сделать так, чтобы сына снова подвергли испытанию.

Роб учился вместе с Бейдави и знал его как бездельника и мота, который к тому же был бездушен и небрежен с больными. Он и к третьему испытанию подготовился кое-как.

Роб знал, как в таком случае поступил бы Ибн Сина.

— Я отвергаю этого кандидата, — сказал он твердо и без всяких сожалений. Остальные преподаватели поспешили с ним согласиться, и на том заседании совета по испытаниям завершилось.

Прошло несколько дней после этого, и в маристан пришел Ибн Сина.

— Добро пожаловать, Учитель! Вы вернулись! — радостно воскликнул Роб.

— Да нет, не вернулся, — покачал головой Ибн Сина. Выглядел он усталым, измученным, а пришел, как сам объяснил Робу, на осмотр. Он хотел, чтобы его осмотрели двое: аль-Джуджани и Иессей бен Беньямин.

И они сели с ним вместе в комнате для осмотров, побеседовали, выяснив историю болезни, как он сам их когда-то учил. Большой рассказал, что ожидал вскоре вернуться к своим обязанностям, выйти из дому, но так и не сумел оправиться от двойного удара: потери Резы, а затем и Деспины. И выглядел, и чувствовал себя он все хуже и хуже.

Испытывал слабость, быстро уставал, и даже за простые дела ему было нелегко взяться. Поначалу эти симптомы он приписывал своей острой тоске.

— Нам ведь с вами доподлинно известно, что состояние духа способно удивительным, а порой и ужасным образом влиять на телесное здоровье.

В последнее время, однако, его стал беспокоить кишечник: позывы возникали резко, внезапно, а стул содержал слизь, гной и кровь. Поэтому он и решил обратиться к знающим лекарям.

Они так тщательно его осмотрели, как будто он был последним в их жизни пациентом. Ничего не оставили без внимания. А Ибн Сина сидел с бесконечным терпением и не мешал им щупать, давить, нажимать, прислушиваться и задавать всё новые вопросы.

Когда с этим закончили, аль-Джуджани был бледен, но не терял бодрости во взгляде.

— У тебя, господин, кровавый понос, а вызван он чрезмерными переживаниями.

Но Робу интуиция подсказывала нечто большее. Он посмотрел на обожаемого Учителя:

— Я думаю, это опухоль, в самом начале развития.

Ибн Сина моргнул.

— Рак кишечника? — уточнил он ровным голосом, словно говорил с новым больным, поступившим в маристан.

Роб кивнул, стараясь не думать о том, какой медленной пыткой становится это заболевание.

Аль-Джужджани даже побагровел от возмущения, что ему противоречат, но Ибн Сина мягко успокоил его. Вот почему, догадался Роб, он и попросил их проводить осмотр вдвоем: знал заранее, что аль-Джужджани так ослеплен своей любовью к Учителю, что просто не способен признать ужасную правду.

У Роба задрожали колени. Он взял Ибн Сину за руку, они смотрели друг другу в глаза, не отводя взгляда.

— У вас еще много сил, Учитель. Надо только следить за работой кишечника, дабы не допускать скопления черной желчи, каковая приводит к росту опухоли.

Главный лекарь согласно кивнул.

— Я молюсь о том, чтобы мой диагноз оказался ошибочным, — сказал Роб.

Ибн Сина ответил ему слабой ласковой улыбкой.

— От молитвы вреда не будет.

Роб сказал Учителю, что хотел бы вскорости навестить его и провести вечер за шахской игрой. Старик ответил, что для Иессея бен Беньямина его дом всегда открыт.

Лето подходило к концу. Однажды, в сухой день, когда повсюду клубилась пыль, из дымки, затянувшей северо-восток, вынырнул караван, в котором позванивали колокольчиками сто шестнадцать верблюдов. Вытянувшись в длинную цепочку, роняя слюну от усталости — а нагружены они были железной рудой, — верблюды вошли в Исфаган уже на исходе дня. Ала-шах надеялся, что благодаря этой руде Дхан Вангалил сумеет выковать его воинам еще много мечей из узорчатой синеватой стали. Увы! Вскоре проведенные мастером-оружейником пробы покажут, что железо в этой руде чересчур мягкое, однако пока, в этот вечер, кое-кого сильно взволновала другая новость, доставленная караваном.

Некоего Хенди, старшего погонщика в караване, даже вызвали во дворец, дабы шах своими ушами услышал то, что удалось проведать погонщику. После этого его доставили в мари-стан, и там он поведал свою историю лекарям.

Вот уж много месяцев Махмуд, султан Газни, тяжело болел, у него был сильный жар, а гноя в груди скопилось столько, что на спине даже вздулся широкий мягкий горб. Султанские лекари решили: если они хотят продлить дни Махмуда, этот горб необходимо осушить.

Хенди сообщил и такую подробность: спину султана покрыли тонким слоем гончарной глины.

— А это для чего? — поинтересовался один из новых лекарей маристана.

Хенди лишь пожал плечами, но аль-Джуджани, который в отсутствие Ибн Синь оставался в больнице старшим, сумел ответить на вопрос:

— За этой глиной надо внимательно наблюдать. Первый участок, который подсохнет, указывает, где кожа горячее всего. Там и следует производить разрез.

Когда хирурги разрежали султану спину, все скопившееся там хлынуло наружу, и лекари вставили свои дренажные трубки.

— А каким скальпелем они вскрывали — с закругленным лезвием или с острым концом? — поинтересовался аль-Джуджани.

— Ему давали снотворное, чтобы заглушить боль?

— Дренажные трубки из олова или же полотняные фитили?

— Гной-то был белого цвета или черного?

— А следов крови в нем не было?

— Господа мои! Благородные господа! Я же старший погонщик верблюдов, а не хаким! — воскликнул Хенди, приходя в отчаяние. — Нет у меня ответов ни на один из этих вопросов. Кроме рассказанного, мне только одно еще известно, вот и все.

— И что же? — спросил его аль-Джуджани.

— Через три дня после того, как сделали разрез, господа мои, султан Газни умер.

* * *

Когда-то они были молодыми львами — Ала и Махмуд. Каждый из них рано взошел на трон и наследовал сильному предшественнику-отцу, каждый не выпускал другого из поля

зрения, и державы их жили ожиданием, не сомневаясь, что придет день и они схватятся. Тогда либо Персия проглотит Газни, либо Газни — Персию.

Этого так и не произошло. Они настороженно кружили, время от времени происходили стычки мелких отрядов, но государи выжидали, отдавая себе отчет в том, что затевать большую войну пока рано. И все же Ала никогда не забывал о Махмуде.

Частенько тот даже снился шаху Персии, причем сон повторялся снова и снова: их войска стоят друг против друга, готовые к битве; Ала-шах в одиночку мчится на коне в сторону неистовых афганских кочевников Махмуда и выкрикивает свой вызов — вызов султану на смертный поединок. Как Ардашир вызывал на бой Ардевана: кто останется в живых, тот и получит все, и станет по праву царем царей.

Теперь Аллах их рассудил и уж не придется шаху вступить в смертный бой с Махмудом. В течение четырех дней после прибытия каравана с рудой в Исфаган возвратились порознь три доверенных и опытных лазутчика; они побывали в Райском дворце, и из рассказанного ими шах начал составлять ясную картину того, что же произошло в Газни, столице его соперника.

Сразу после смерти султана Махмуда его сын Мухаммед попытался захватить трон, но эти планы сорвал младший сын, Абу Саид Масуд, молодой воитель, которого решительно поддержало войско. Всего за несколько часов Мухаммед был свергнут, закован в цепи и брошен в темницу, а Масуда провозгласили султаном. Похороны Махмуда превратились в нечто невообразимое — отчасти то было грустное прощание с одним правителем, отчасти лихорадочное празднество по случаю восшествия на престол нового, а после похорон Масуд созвал вождей племен и объявил им о своем намерении свершить то, чего так и не сделал отец: надлежало сообщить войску о предстоящем в ближайшие дни походе на Исфаган.

Получив такие сообщения своих лазутчиков, Ала-шах уж не мог больше отсиживаться в Райском дворце.

Предстоящему вторжению врага он даже радовался, и на то были две причины. Масуд был горяч и неопытен, и Ала-шаху не терпелось показать свое искусство полководца этому юнцу. А кроме того, в душе каждого перса жила любовь к войне, и шах был достаточно проницателен, чтобы понять: его народ с радостью примет вызов врага, видя в этом избавление от благочестивых запретов и ограничений, наложенных на повседневную жизнь муллами.

Ала проводил военные советы, которые превращались в маленькие праздники — пили вино, а в подходящее время появлялись и женщины, как в добрые старые дни. Вместе со своими военачальниками шах изучил чертежи и карты; выходило, что из Газни ведет сюда лишь одна дорога, достаточно широкая и удобная для продвижения большого войска. Масуду предстояло пересечь высохшие глиняные пустыри и гряду невысоких гор к северу от Дешт-и-Кевир, обходя затем великую пустыню, пока его войско не углубится в провинцию Хамадан. И только тогда он сможет повернуть на юг.

Но Ала-шах принял свое решение: персидское войско выступит в Хамадан и встретит врага прежде, чем тот успеет подойти к Исфагану.

* * *

Подготовка к походу стала теперь единственной темой всех разговоров, даже в

маристане, хотя Роб и пытался избегать таких разговоров. Он старался и не думать о грядущей войне, потому что никоим образом не желал в ней участвовать. Свой долг Алашаху — долг немалый! — он уже уплатил. Набег на Индию вполне убедил Роба, что более служить в войске он не желает. Оттого он тревожился, ожидая вызова во дворец, но вызова все не было.

Время шло, и Робу хватало работы. У Касима прошла боль в низу живота, но, к вящей радости погонщика, Роб по-прежнему прописывал ему вино ежедневно, вернув к исполнению обязанностей в морге. Роб теперь лечил больше пациентов, чем когда-либо прежде, потому что на аль-Джуджани легли многие из обязанностей главного лекаря, и тот передал большинство своих пациентов другим лекарям, в том числе и Робу.

С величайшим удивлением он узнал, что Ибн Сина вызвался добровольно возглавить отряд хирургов, которым предстоит отправиться на север вместе с шахским войском. Робу сообщил об этом аль-Джуджани, который уже преодолел свою обиду (или же спрятал ее поглубже).

— Это же расточительство — посылать в битвы такого великого мудреца!

Аль-Джуджани пожал плечами.

— Учитель хочет в последний раз участвовать в военном походе.

— Он же стар, он не выживет.

— Стариком он давно выглядел, а ведь не прожил еще и шестидесяти лет, — горько вздохнул аль-Джуджани. — Мне кажется, он уповает на то, что его отыщут стрела или копье. Что же в этом такого страшного — встретить смерть более быструю и легкую, чем та, которая, судя по всему, теперь его ожидает?

Князь лекарей не замедлил уведомить, что вместе с ним в поход отправятся одиннадцать отобранных им хирургов. Четверо из них были еще учащимися, трое — лекарями-новичками, из совсем недавно получивших звание, еще четверо — опытными врачами.

Аль-Джуджани теперь сделался главным лекарем не только фактически, но и вполне официально. Назначение это встретили с грустью, ибо теперь все лекари в Исфагане осознали, что Ибн Сина уже никогда не вернется и не будет больше возглавлять сообщество исфаганских медиков.

Роба удивило и даже несколько встревожило, что ему было поручено выполнять некоторые обязанности, какие при Ибн Сине выполнял аль-Джуджани — имелись и более опытные и известные лекари, на которых новый руководитель маристана мог эти обязанности возложить. А поскольку пятеро из двенадцати членов хирургического отряда были к тому же преподавателями медресе, то Робу сказали, что он должен проводить больше лекций и учить лекарьских помощников, когда лечит больных в маристане.

Помимо всего названного, его назначили постоянным членом совета по испытанию учащихся, желавших получить звание лекарей, и еще включили в состав коллегии, которая обеспечивала сотрудничество между больницей и школой как таковой. Первое заседание этой коллегии состоялось в роскошном дворце Ротуна ибн Насра, официального руководителя медресе. Это звание, как известно, было дано ему только ради почета, поэтому сам почтенный руководитель не потрудился явиться на заседание, однако дворец свой предоставил, а прислуге приказал подавать собирающимся здесь лекарям самые изысканные яства.

На первое подали ломтики больших дынь с зеленой мякотью. Вкус у них был

божественный, сладкая мякоть так и таяла во рту. Такие дыни Роб пробовал только один раз в жизни, и как раз собирался упомянуть об этом, когда бывший его наставник Джалал-уд-Дин широко улыбнулся Робу.

— За эти изысканные плоды мы должны благодарить молодую жену хозяина.

Роб не понял. Костоправ подмигнул ему.

— Как тебе должно быть известно, Ротун ибн Наср — командующий войсками и двоюродный брат шаха. На прошлой неделе шах приезжал к нему — проводить военный совет. Вне всякого сомнения, встретился он и с новой женой Ротуна. Когда посеяно царское семя, Ала всегда присылает в подарок эти свои необыкновенные дыни. А если из семени произрастет плод мужского пола, присылается подарок, достойный принца — ковер с гербом Саманидов.

* * *

Роб не смог дожидаться окончания обеда. Сказавшись больным, он покинул почтенное собрание. Голова у него шла кругом, пока он скакал к своему домику в Яхуддийе. Роб Джей играл с матерью в саду, но младенец лежал в колыбельке, и Роб взял Тама на руки, осмотрел внимательно.

Просто крошечный новорожденный младенец. То же самое дитя, которое он обожал еще утром, уходя на работу. Роб положил малыша в колыбель и достал из сандалового сундучка подаренный шахом ковер. Расстелил его на полу возле колыбели.

Когда поднял глаза, в дверях стояла Мэри. Они посмотрели друг на друга долгим взглядом. Боль и жалость, которые он испытывал к жене, были невыносимыми.

Он подошел к Мэри, хотел было обнять ее, но вдруг обнаружил, что его руки стискивают ее изо всех сил. Пытался заговорить — слова не шли с языка.

Мэри вырвалась и стала разминать плечи.

— Ты заботился о том, чтобы мы здесь жили хорошо. Я позаботилась о том, чтобы мы вообще жили, — неприязненно сказала она. Печаль, стоявшая в ее глазах, уступила место чему-то другому, чему-то, противоположному любви.

Ближе к вечеру она перебралась из спальни. Купила себе узкую циновку и расстелила ее между колыбелями детей, рядом с ковром, на котором был вышит герб Саманидов.

В ту ночь Роб так и не смог уснуть. Он чувствовал себя выбитым из колеи, словно земля ушла у него из-под ног, и ему теперь приходится шагать по воздуху. В подобном положении, пришло ему в голову, многие мужчины убили бы и мать, и дитя, однако он хорошо понимал, что Там и Мэри в соседней комнате спят в полной безопасности. Безумные мысли роились в его голове, но с ума он отнюдь не сошел.

Утром он встал и пошел в маристан, где тоже не все шло гладко. Ибн Сина забрал в поход четырех служителей — собирать раненых и переносить их в лазарет, а аль-Джуджани пока не удалось подыскать им достойную замену. Те служители, которые остались в маристане, были перегружены работой, выглядели мрачными, так что Робу пришлось посещать своих больных и выполнять работу лекаря без всякой помощи. Иной раз приходилось прерываться и убирать, потому что служитель не успел сделать этого сам, приходилось обмывать прохладной водой пылающее лицо больного или же подавать воду, чтобы смочить пересохшие от жара глотки.

Обходя больных, он обнаружил Касима ибн Сахди — тот лежал с побелевшим лицом и жалобно стонал. Пол вокруг был забрызган рвотой. Когда Касим занемог, он выбрался из своей каморки рядом с моргом и занял место среди больных, понимая, что Роб, обходя маристан, заметит его.

Касим признался, что за последнюю неделю боль прихватывала его несколько раз.

— Почему же ты мне ничего не сказал!

— О Аллах, да у меня же было вино! Я пил вино, боль уходила. А теперь вот и вино не помогает, хаким, я его и принять не могу.

Его знобило, но сильного жара не было, а живот чувствительно отзывался на прикосновение, но оставался мягким. Иногда он начинал часто-часто дышать от боли, язык был обложен, а дыхание — несвежее.

— Я сделаю тебе целебный настой.

— Да благословит тебя Аллах, о благородный господин!

Роб отправился прямо в аптеку. В красное вино, которое так нравилось Касиму, подмешал опиаты и *буинг*, затем поспешил назад, к больному. В глазах старого хранителя морга, когда он глотал напиток, стояли страх и предчувствие неизбежного.

Через тонкую ткань, затягивающую распахнутые окна мари-стана, слышался нарастающий шум. Роб вышел наружу и увидел, что весь город высыпал на улицы проводить уходящее в поход войско.

Он пошел вслед за людским потоком на площадь. Это войско было слишком большим, чтобы площади могли его вместить. Оно растекалось по улицам всей центральной части Исфагана. Не сотни воинов, как в отряде, с которым он ходил в набег на Индию, а многие тысячи. Долгими колоннами шли тяжеловооруженные пешие воины, еще больше было легковооруженных. Метатели дротиков. Копейщики верхом на конях. Мечники на пони и верблюдах. В толпе давили друг на друга немилосердно, и гвалт стоял невообразимый: прощальные возгласы, плач и вопли женщин, соленые шуточки, выкрики начальников, пожелания победы и скорого возвращения...

Роб пробивался вперед, словно пловец, преодолевающий течение людской реки, среди

окружавшей его вони, в которой смешались запахи человеческих тел, верблюжьего пота и конского навоза. Солнце слепило глаза, сверкая на начищенном оружии и доспехах. В голове колонны воинов шли боевые слоны. Роб насчитал их тридцать четыре — Ала-шах бросал в бой всех слонов, каких имел.

Ибн Сину он не увидел. С несколькими отъезжающими лекарями они простились в маристане, однако сам Ибн Сина не пришел туда проститься, да и Роба к себе не пригласил, так что было ясно: он не хочет слышать никаких прощальных слов.

Вот появились царские музыканты. Одни дули в длинные золотистые трубы, другие звонили в серебряные колокольчики, возвещая приближение грозного и могучего слона Зи, исполненного сознания своей силы. Махаут Харша был наряжен во все белое, а сам шах облачен в свои традиционные военные одежды из голубого шелка и красный тюрбан.

Народ в восторге завопил тысячами глоток, завидев царя-воителя. Вот он воздел руку, по-царски приветствуя подданных, и все поняли, что он обещает им Газни. Роб вглядывался в напряженную прямую спину шаха. В эту минуту Ала-шах не был Ала ад-Даулой — он стал Ксерксом, Дарием, Киром Великим. Для всех вокруг он был символом всех завоевателей сразу.

«Мы четверо друзей. Мы четверо друзей». У Роба кружилась голова, он думал о том, как подобраться к шаху и убить его без особого труда. Но он был в самом конце толпы. Да если бы даже стоял в первом ряду, его зарубили бы тотчас же, стоило только броситься к царю.

Он повернулся и пошел. Не стал вместе со всеми смотреть на то, как проходят торжественным маршем люди, направляющиеся навстречу славе или смерти. С трудом выбрался из толпы и пошел, ничего вокруг не замечая, пока не оказался на берегу Заянде — Реки Жизни.

Роб снял с пальца кольцо литого золота, которым Ала наградил его за службу в Индийском походе, и бросил в коричневые воды реки. Вдали, не переставая, шумела толпа, а он тихо пошел к себе в маристан.

* * *

Касим находился под сильным действием настоя, и все же выглядел совсем больным. Глаза ничего не выражали, лицо побледнело и осунулось. Его бил озноб, хотя день стоял жаркий. Роб укрыл его одеялом; вскоре оно промокло, а когда Роб потрогал лицо больного, оно оказалось очень горячим.

К концу дня боль стала такой сильной, что старик завопил, едва Роб дотронулся до его живота.

Домой он не пошел, остался в маристане, то и дело возвращаясь к тюфяку Касима. В тот вечер Касим, в разгар своих мучений, почувствовал большое облегчение. Дыхание его стало ровным, спокойным, и он наконец уснул. В душе Роба возникла была надежда, но спустя несколько часов жар возобновился, тело стало совсем горячим, пульс сделался частым-частым, а по временам едва прощупывался.

Касим метался в бреду. «Нувас! — звал он. — Ах, Нувас». Иногда больной разговаривал со своим отцом и с дядей Нили, снова и снова звал неведомого Нуваса.

Роб взял Касима за руки, и сердце у него екнуло; он не отпустил рук старика, потому что теперь мог предложить ему только одно — свое присутствие, слабое утешение

человеческого прикосновения. Через некоторое время тяжелое дыхание старика замедлилось и в конце концов прекратилось совсем. Касим умер, а Роб все еще не отпускал его мозолистые руки.

* * *

Роб просунул одну руку под узловатые колени старика, другой обхватил его обнаженные худые плечи и отнес тело в морг. Потом заглянул в соседнюю каморку. Там стояла вонь, надо будет распорядиться, чтобы пол как следует выскребли. Роб осмотрел пожитки Касима, а было их совсем немного: потертый молитвенный коврик; несколько листков бумаги и кусочков выделанной кожи — на них писец, которому Касим за то заплатил, переписал для заказчика несколько молитв из Корана; две фляги запретного вина; заплесневелая армянская лепешка да мисочка с прогорклыми зелеными маслинами. Дешевый кинжальчик с зазубренным лезвием.

Время было уже за полночь, почти все в больнице спали, разве что время от времени вскрикивал или всхлипывал кто-нибудь из больных. Никто не видел, как Роб вынес из каморки скудные пожитки Касима. Когда же он втаскивал туда тяжелый стол, ему повстречался служитель, однако нехватка рабочих рук придала тому смелости — он отвел взгляд и проскользнул мимо хакима, пока ему не поручили новой работы, которой он и так немало уже переделал.

Роб подложил под две ножки стола доску, чтобы тот стоял наклонно, и к нижнему концу придвинул таз. Ему требовалось много света, поэтому Роб осторожно обошел больницу и стащил четыре лампы и десяток свечей, затем расставил их вокруг стола, словно вокруг алтаря. После этого перенес из морга тело Касима, положил на стол.

Еще когда Касим умирал, Роб уже знал, что сегодня нарушит заповедь.

Но теперь, когда эта минута настала, у него перехватило дыхание. Он ведь не был древнеегипетским бальзамирщиком, который мог поручить вскрытие тела презренному парасхиту и переложить на него грех. Если в этом действительно есть какой-то грех, то он ляжет на самого Роба.

Взял в руку изогнутый хирургический нож со щупом на конце — бистури — и сделал надрез, вскрывая живот от паха до грудины. Плоть подавалась неохотно, стала сочиться кровь.

Роб не представлял, что делать дальше, так что отвернул кожу от грудины, и тут утратил присутствие духа. За всю жизнь у него были только два настоящих друга, и оба они умерли от того, что оружие грубо вспорол им грудную полость. Если его сейчас поймут, он умрет таким же образом, но его еще ждет и всеобщее осуждение, перенести которое невозможно. Он выскочил из каморки и нервно прошелся по больнице, однако те, кто не спал, не обращали на него ни малейшего внимания. Роба не покидало такое чувство, что земля ушла из-под ног и он шагает прямо по воздуху, но на этот раз он еще и заглядывал в разверзшуюся пропасть.

Он прихватил в свою импровизированную лабораторию пилку с мелкими зубьями для перепиливания костей и распилил грудину; получилось подобие той раны, от которой погиб в Индии Мирдин. В нижней части он продолжил разрез от паха до внутренней стороны бедра, так что получил возможность отогнуть огромный бесформенный кусок кожи и

открыть взору брюшную полость. Под розовой брюшиной краснела плоть желудка, белели полосы мышц, и даже у тощего Касима обнаружили желтые сгустки жира.

Тонкий слой ткани, выстилавшей изнутри брюшную стенку, был заметно воспален и покрыт каким-то свертывающимся веществом. Свет слепил Роба глаза, и внутренние органы показались ему вполне здоровыми, за исключением тонкой кишки — та во многих местах воспалилась, покраснела. Даже самые мелкие сосуды были так переполнены кровью, что похоже было — в них впрыснули красный воск. Небольшая часть кишки, напоминающая мешочек, почернела и прилипла к внутренней стенке живота. Роб попытался осторожно отделить их друг от друга, тонкие оболочки лопнули, а под ними он увидел две-три ложки гноя — вот та инфекция, которая причиняла столько боли Касиму. Он подозревал, что мучения Касима прекратились, когда больные ткани лопнули. Реденькая жидкость темного цвета и отвратительного запаха излилась из воспаленной кишки в брюшную полость. Роб обмакнул в нее кончик пальца и с интересом понюхал: ведь это и мог быть тот яд, который вызывал и жар, и смерть.

Ему хотелось познакомиться и с другими органами, но он побоялся.

Старательно зашил разрез. Если правы служители церкви и Касим ибн Сахди когда-нибудь восстанет из могилы, пусть уж воскреснет целым. Потом скрестил покойнику руки на груди, связал их, взял большой кусок материи и обмотал вокруг бедер старика. Потом заботливо обернул тело саваном и отнес обратно в морг, где оно будет ожидать до утра, до погребения.

— Спасибо тебе, Касим, — произнес он торжественно. — Покойся с миром!

Захватив с собой одну-единственную свечку, он пошел в бани маристана, отмылся дочиста и переоделся. Ему, однако, все казалось, что запах смерти не отстаёт от него, поэтому Роб sprыснул благовониями обе руки до локтя.

Оказавшись за пределами больницы, во тьме, он по-прежнему испытывал страх. Даже не верилось в то, что он осмелился сделать.

Уже перед самой зарей Роб прилег на циновку в своем домике. Утром он крепко спал, а у Мэри окаменело лицо, когда она почуяла запах благовоний чужой женщины — этот запах осквернял их дом.

Юсуф аль-Джамал позвал Роба под своды библиотеки, этого храма науки.

— Я хочу показать тебе настоящее сокровище.

На столе лежала толстая книга, явно свежая копия шедевра Ибн Сины — «Канона врачебной науки».

— Этот экземпляр «Канона» не принадлежит Дому мудрости. Это копия, сделанная одним моим знакомым писцом. Ее можно купить.

А! Роб взял книгу в руки. Она была переписана с любовью, четкими черными буквами на страницах цвета слоновой кости. Это был толстый том из многих тетрадей — большие листы тонкого пергамента складывались, потом разрезались, так что страницы было легко переворачивать. Все тетради были аккуратно прошиты и переплетены мягкой выделанной шкурой ягненка.

— Дорогая?

Юсуф кивнул.

— Сколько?

— Писец продаст ее за восемьдесят серебряных бистов. Ему деньги очень нужны.

Роб поджал губы — таких денег у него не было, это он хорошо знал. У Мэри было много денег, которые оставил ей отец, но они с Мэри теперь...

Он отрицательно покачал головой.

— А я так хотел, чтобы эта книга принадлежала тебе, — вздохнул Юсуф.

— Когда истекает срок продажи?

— Я могу держать ее у себя две недели, — пожал плечами Юсуф.

— Тогда хорошо. Придержи ее.

Библиотекарь с сомнением посмотрел на него.

— Значит, хаким, у тебя появятся деньги?

— Если Аллах так захочет.

— Точно, — улыбнулся Юсуф. — Иншалла!

* * *

Роб навесил на дверь каморки, примыкающей к моргу, тяжелый замок и приладил толстый засов. Принес туда второй стол, стальной бурав, вилку, небольшой нож, несколько острых скальпелей, да еще разновидность рубила, которое каменотесы зовут долотом. Принес доску для рисования, стопку бумаги, уголь и свинцовые стержни; щипцы, глину, воск, перья, чернильницу.

Однажды днем он взял с собой нескольких студентов помускулистее, пошел с ними на базар и вернулся со свежей свиной тушей, притащить которую оказалось не так-то легко. Никому не показалось странным, когда Роб сказал, что будет вскрывать ее в каморке у морга.

Ночью, оставшись в одиночестве, он внес в каморку труп молодой женщины, которая умерла несколько часов тому назад, положил ее на стол. Звали ее Мелия.

На этот раз он взялся за дело горячее, а боялся меньше. Страхи свои он обдумал и не усмотрел в своих занятиях ни какого-нибудь колдовства, ни происков коварного джинна. Он полагал, что ему было позволено сделаться лекарем ради того, чтобы оберегать лучшее из творений Божьих, а значит, Господь всемогущий не станет гневаться, если он побольше узнает о столь сложном и интересном существе, как человек.

Роб вскрыл и свиную тушу, и тело женщины, и приготовился сопоставить их анатомическое строение.

Но, начав сравнение двух тел в той области, где возникает болезнь в боку, он сразу же и остановился. У свиньи слепая кишка, похожая на мешочек, от которого отходила толстая кишка, была весьма солидной, длиной в добрых полшага или даже больше. У женщины слепая кишка была в сравнении с этим совсем крошечная, раз в девять-десять короче, и не толще мизинца Роба. Ба! Да тут... к этой маленькой кишке прикреплялось... нечто. Оно было очень похоже на розового червяка, каких можно накопать в саду, только кто-то его будто выкопал и поместил в живот этой женщины.

У свиньи на другом конце стола такого червеобразного отростка не было, да Роб ни разу и не видел ничего подобного на свиных кишках.

Он не торопился с выводами. Поначалу Роб подумал, что маленькая слепая кишка у этой женщины может быть отклонением от нормы, а червеобразный отросток на ней — какая-нибудь редкая опухоль или еще какой нарост.

Тело Мелии он подготовил к погребению так же тщательно, как и тело Касима, после чего отнес в морг.

Однако в последующие ночи он вскрыл тела юноши-подростка, женщины средних лет, младенца шести недель от роду. И каждый раз, с нарастающим волнением, обнаруживал на том же месте такой же отросток. Этот «червяк» был неотъемлемой частью каждого человека и служил доказательством того, что человеческие органы не абсолютно таковы же, как у свиньи.

Ох, черт бы побрал Ибн Сыну!

— Ах ты, чертов старикашка! — прошептал Роб. — Ошибся ты!

Вопреки тому, что писал Цельс, вопреки тому, что преподавалось ученикам на протяжении тысячи лет, люди — мужчины и женщины — были уникальны. А коль так, то кто знает, сколько еще тайн можно раскрыть и разгадать, если просто взять и заглянуть внутрь человеческого тела!

* * *

Всю свою жизнь Роб был одинок и остро ощущал свое одиночество, пока не встретил ее. Теперь он снова стал одинок, и это было нестерпимо. Однажды ночью он вернулся домой и лег рядом с нею, между двумя спящими малышами.

Он даже не пытался дотронуться до нее, но она сразу же набросилась на него, как дикая зверушка. Ее рука угодила без промаха прямо ему в лицо, и удар оказался болезненным. Мэри была женщина рослая и сильная, ее удары могли причинять боль. Роб схватил ее за руки и прижал их к бокам.

— Сумасшедшая.

— Не смей приближаться ко мне после того, как побывал у персидских шлюх!

А, сообразил он, благовония!

— Да я брызгаю на себя благовониями, потому что вскрываю туши животных в маристане.

Она ничего не ответила, но попыталась освободиться. Роб чувствовал рядом знакомое тело, прижавшееся в борьбе к его телу, а ноздри заполнял запах ее рыжих волос.

— Мэри!

Она чуть успокоилась. Возможно, уловила что-то в его голосе. Он наклонился поцеловать ее, однако не удивился бы, если б она его укусила за губы или за горло. Она этого не сделала. Ему потребовалось долгое мгновение, чтобы осознать, что она отвечает на поцелуй. Роб отпустил ее руки и с великой радостью коснулся груди — твердых, но вполне живых.

Мэри издавала слабые стоны, и он не мог сказать, плачет она или стонет от удовольствия. Он отведал молока из ее груди, потерся носом о пупок. Под теплой кожей этого живота были свернуты кольцами блестящие розовые и серые внутренности.

Они переплетались и извивались, как собравшиеся отовсюду морские чудища, но конечности у нее отнюдь не застыли, не стали холодными, а на холмике его палец, а затем и два, обнаружили тепло и скользкую влагу жизненных соков.

Он резко вошел в нее, и они соединились, как хлопающие ладоши, отчаянно набросились друг на друга, мощно, с силой, словно пытались разрушить нечто невидимое. Они изгоняли джинна. Мэри, резко двигаясь ему навстречу, терзала ногтями его спину. Слышалось только тихое постанывание и звук соединяющихся тел, пока Мэри, наконец, не вскрикнула, затем застонал Роб, Там захныкал, проснулся с визгом Роб Джей, и все четверо смеялись или плакали, причем взрослые делали и то и другое.

В конце концов удалось навести порядок. Малыш Роб Джей снова уснул, а младенцу дали грудь, и Мэри, пока кормила, тихим голосом поведала Робу, как пришел к ней Ибн Сина, как наставлял ее, что ей надо сделать. Так он узнал, что эта женщина и старик спасли ему жизнь.

Участие Ибн Сины в этом деле ошеломило Роба. В остальном же рассказанное было близко к тому, о чем он уже и так догадался. Когда Там уснул, он обнял жену и сказал: она женщина, которую он выбрал себе на всю жизнь. Он гладил ее по волосам, целовал белоснежную шею, затылок, на котором не осмеливались появляться веснушки. Когда она тоже уснула, Роб еще долго лежал, глядя в темный потолок.

В следующие дни Мэри часто улыбалась, и Роба огорчало и сердило, когда он замечал в этих улыбках оттенок страха — ведь он всеми силами доказывал ей свою любовь и благодарность.

Как-то утром в доме одного придворного Роб лечил заболевшего ребенка и увидел рядом со спальней циновкой небольшой голубой ковер с гербом Саманидов. Присмотревшись к мальчику, он отметил смуглую кожу, крючковатый нос, особенное выражение глаз. Лицо было знакомым, легко узнаваемым — особенно сейчас, когда он смотрел на совсем юного шахского отпрыска.

Нарушив свое расписание, он вернулся домой, подхватил на руки Тама и поднес к свету. Лицо было точь-в-точь, как у того заболевшего ребенка. И все же временами Там удивительно походил на потерянного брата Роба, Вилла.

И до, и после его поездки по поручению Ибн Сины в Идхадж они с Мэри предавались любви. Кто же сможет утверждать с уверенностью, что этот плод вырос не из их семени?

Роб сменил влажные пеленки младенца, погладил маленькую ручку и поцеловал такую удивительно нежную щечку, потом положил ребенка назад, в колыбельку.

В ту ночь они с Мэри предавались любви с нежностью и заботой друг о друге. Это принесло им огромное удовлетворение, и в то же время все было не совсем так, как раньше. Роб после этого вышел в сад и посидел под луной, подле увядших осенью цветов, за которыми Мэри всегда заботливо ухаживала.

Ничто на свете не бывает неизменным, понял Роб. Она уже не та юная женщина, которая так доверчиво последовала за ним на пшеничное поле, да и он — не тот юноша, который вел ее тогда.

И то был не последний долг, который ему так страстно хотелось выплатить Ала-шаху.

Далеко на востоке поднялась такая невероятная туча пыли, что наблюдатели твердо рассчитывали вскоре увидеть громаднейший караван, а то и несколько больших караванов, идущих сразу друг за другом.

Но шел не караван — к городу подступало войско.

Когда оно приблизилось к воротам, можно было уже различить воинов — то были афганцы из Газни. Они остановились у стен города, а их командующий, молодой человек в синем халате и снежно-белом тюрбане, въехал в Исфаган в сопровождении четырех других военачальников. Никто не мог ему в этом воспрепятствовать: все войско Ала-шаха пошло за повелителем в Хамадан, а городские ворота охраняла горстка пожилых ветеранов, которые мигом рассеялись при появлении неприятеля. Так и вышло, что султан Масуд (ибо это был он) въехал в Исфаган совершенно беспрепятственно. У Пятничной мечети афганцы спешили и вошли внутрь. Потом рассказывали, что они совершили вместе со всеми верующими Третью молитву, а после того уединились на много часов вместе с имамом Мусой ибн Аббасом и муллами его свиты.

Большинство горожан Масуда так и не увидело, но все знали о его появлении, и Роб вместе с аль-Джуджани поднялись, среди прочих, на городские стены и глазели оттуда на воинов Газни. Это были крепыши в изодранных шароварах и длинных свободных рубахах. У некоторых концы тюрбана были обмотаны вокруг рта и носа для защиты от пыли и песка, неизбежных в пути, а позади седел их лохматых лошадок были прикручены войлочные спальные тюфячки. Они выглядели очень бодрыми и уверенными в себе, пробовали пальцами наконечники стрел, поправляли длинные луки, глядя на лежащий перед ними богатый город с женщинами, которых некому защитить. И взгляды их были подобны волчьим, когда волки смотрят на заячий выводок, однако воины знали дисциплину и мирно ожидали, пока их вождь находился в мечети. Робу подумалось: а нет ли среди них и того афганца, который так долго продержался на чатыре против Карима?

— Что может Масуд обсуждать с муллами? — спросил он у аль-Джуджани.

— Его лазутчики, несомненно, сообщили ему о разногласиях между ними и шахом. Думаю, он скоро намерен сам здесь воцариться, вот и торгуется с муллами: сколько будут стоить их благословения и покорность.

Вполне могло быть и так, ибо вскоре Масуд и его помощники вернулись к своему войску, явно не собираясь никого грабить. Султан был совсем юным, почти еще мальчиком, но они с Ала-шахом вполне могли оказаться родственниками: на ли-цах обоих была написана одинаковая гордая уверенность и жестокость хищников. Со стены наблюдали, как он размотал и старательно спрятал чистый белый тюрбан, а на голову надел грязный, черный — и войско снова выступило в поход.

Афганцы двинулись на север, повторяя путь войска шаха Персии.

— Шах ошибался, полагая, что придут они через Хамадан.

— А я думаю, главные силы Газни уже собрались в Хамадане, — медленно проговорил аль-Джуджани.

Роб сообразил, что тот прав. Уходящих афганцев было гораздо меньше, нежели воинов персидской армии, да и боевых слонов у них совсем не было. Значит, есть у них и другое

войско.

— Так Масуд устроил ловушку?

Аль-Джузджани молча кивнул.

— Но ведь мы можем поскакать и предупредить персов!

— Сейчас уже слишком поздно, иначе Масуд не оставил бы нас в живых. Как бы то ни было, — насмешливо заметил аль-Джузджани, — мало что изменится от того, кто из них победит: Ала или Масуд. Если имам Кандраси и вправду отправился к сельджукам, чтобы навести их на Исфаган, в конце концов город не достанется ни Масуду, ни Ала-шаху. Сельджуки беспощадны и сильны, к тому же многочисленны, как песок морской.

— Но если придут сельджуки или Масуд вернется, чтобы захватить город, что же станет с маристаном?

Аль-Джузджани пожал плечами.

— На какое-то время больница закроется, а мы разбежимся и спрячемся, чтобы пересидеть это бедствие. А потом вылезем из нор и жизнь потечет, как обычно. Вместе с нашим господином я служил полудюжине царей. Цари приходят и уходят, а люди все так же нуждаются в лекарях, — назидательно сказал он.

Роб попросил у Мэри денег на покупку книги, и «Канон» поступил в его распоряжение. Роб держал книгу в руках с великим почтением. До этого у него не было ни одной собственной книги, но от обладания этой он получал столь много удовольствия, что поклялся себе: будут у него и другие.

И все же он не слишком засиживался над книгой, его неудержимо влекла к себе каморка Касима.

Он посвящал вскрытиям несколько ночей в неделю, и в ход уже пошли принадлежности для рисования. Ему не терпелось сделать больше и больше, но сил для этого не хватало: требовалось хоть немного спать, чтобы днем работать в маристане.

В одном из вскрытых трупов — молодого мужчины, убитого ножом в пьяной драке, — Роб обнаружил отросток слепой кишки увеличенным, покрасневшим и затвердевшим. Он предположил, что наблюдает болезнь, поражающую бок, на самой ранней стадии: в этом случае больной должен был испытать первые перемежающиеся приступы боли. Теперь перед Робом вырисовалась вся картина заболевания от начала до смертельного исхода, и он записал в своей тетради:

У шести пациентов наблюдалось прободение кишки при болезни внизу живота; все они умерли.

Первым решающим симптомом является внезапно возникающая боль в животе.

Боль эта обычно острая, изредка умеренная.

Иногда она сопровождается ознобом, почти всегда — тошнотой и рвотой.

За болью возникает жар, и его следует считать вторым постоянным симптомом заболевания.

При пальпации правой стороны нижней части живота ощущается сопротивление тканей в четко определенной области, причем эта область болезненно реагирует на прикосновение, а мышцы живота становятся напряженными и затвердевают.

Поиски причины подобного состояния приводят нас к отростку слепой кишки,

который можно уподобить жирному розовому земляному червю распространенного типа. Если этот орган воспаляется или подвергается заражению, он сразу же краснеет, затем становится черным, наполняется гноем и в конечном итоге лопается, извергая свое содержимое в брюшную полость.

В таком случае быстро наступает смерть — как правило, в течение от получаса до полутора суток с момента сильного повышения температуры тела.

Роб рассекал и изучал лишь те части тела, которые затем будут скрыты саваном. Он не мог вскрывать стопы ног и голову, что весьма его огорчало, потому что изучение свиного мозга теперь уже не могло его удовлетворить. Роб, как и прежде, питал к Ибн Сине безграничное уважение, но теперь он убедился в том, что в определенных вопросах его наставника самого учили неправильно — например, о строении скелета и мышц, — а он передавал эти ошибочные сведения дальше.

Работал Роб терпеливо, обнажал и зарисовывал мышцы, похожие на проволоку или отрезки канатов. Некоторые начинались и заканчивались как связки шнуров, к другим же прикреплялись плоские части, округлые утолщения; у иных связка шнуров была только в одном конце, а иные были составными, с двумя головками на концах — такие были особенно важными: если будет поражена одна головка, то другая сможет взять ее функцию на себя. Начинал он с полного неведения и постепенно получал знание, находясь при этом постоянно в состоянии лихорадочного возбуждения и радостного ожидания, как во сне. Зарисовывал кости и суставы, их форму и положение, отдавая себе отчет в том, что эти рисунки будут бесценны при обучении будущих лекарей — что надлежит им делать при растяжении связок и переломах костей.

Закончив работу, он всегда обертывал тело в саван, возвращал в морг, а рисунки уносил с собой. У Роба больше не было такого чувства, будто он заглядывает в бездонную пропасть греха, однако никогда не забывал о том, какой ужасный конец его ждет, если его застанут за вскрытием. Рассекая тела в неверном, колеблющемся свете ламп, в комнате, лишенной притока свежего воздуха, он вздрагивал при каждом шорохе и в ужасе замирал всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо двери, что случалось, правда, очень редко.

И эти страхи были вовсе не беспричинными.

Однажды рано утром он выносил из морга тело пожилой женщины, умершей совсем недавно. Выйдя за дверь и подняв голову, он увидел служителя, который приближался, неся мужское тело. Роб замер и молча смотрел на этого служителя; голова женщины у него на руках качнулась, одна ее рука свесилась. Служитель вежливо поклонился.

— Помочь вам с ношей, хаким?

— Она не тяжела.

Идя впереди служителя, Роб вернулся в морг, они положили двух покойников рядом и вместе вышли оттуда.

Вскрытая им свинья сгодилась только на четыре дня — разложение зашло так далеко, что стало необходимо избавиться от туши. Впрочем, когда он вскрывал желудок и кишки человека, то обонял куда более неприятные запахи, чем тошнотворно-приторный запах гниющей свинины. Эти запахи пропитывали все помещение, и ни мыло, ни вода не помогали от них избавиться.

Как-то утром он купил на базаре другую свиную тушу, а после обеда, проходя мимо каморки Касима, увидел хаджи Давута Хосейна, который позвякивал запертым замком.

— Почему дверь заперта? Что находится за нею?

— Это помещение, в котором я провожу вскрытие свиней, — спокойно ответил ему Роб.

Заместитель начальника школы посмотрел на него с отвращением. Давут Хосейн теперь на все смотрел только с отвращением: муллы возложили на него обязанность надзирать за маристаном и медресе — строго ли блюдутся здесь исламские законы.

Еще несколько раз в тот день Роб наблюдал, как хаджи бродит вокруг, высматривая и вынюхивая.

Вечером Роб рано вернулся домой. Наутро он пришел в больницу и увидел, что замок на двери каморки сорван и сломан. Внутри все так, как он оставил, да только не совсем. Туша свиньи покоится на столе, но кто-то ее накрыл. Инструменты лежат в беспорядке, хотя ни один не пропал. Те, кто побывал здесь, не нашли ничего такого, что могло бы послужить к обвинению Роба, и пока он мог чувствовать себя в безопасности. Но это вторжение предвещало такие последствия, от которых мороз продирает по коже.

Роб понимал, что рано или поздно его разоблачат, но ведь он познавал ценные факты и видел поразительные вещи, а потому не собирался останавливаться.

Он выждал два дня, в течение которых хаджи ничем его не беспокоил. В больнице тем временем умер один старик — умер, тихо беседуя с Робом. Ночью тот вскрыл тело, чтобы посмотреть, что же вызвало такую мирную кончину, и увидел: артерия, питавшая кровью сердце и нижнюю часть тела, сморщилась, увяла, как пожелтевший осенний листок.

В теле одного ребенка он увидел нечто новое и понял, почему рак получил именно такое название: Роб обратил внимание на то, как ненасытная опухоль, похожая на краба, раскинула свои щупальца во все стороны. В третьем теле он обнаружил, что печень из мягкой ткани насыщенного красновато-коричневого цвета превратилась во что-то твердое, как дерево, а цвет приобрела желтоватый.

На следующей неделе он произвел вскрытие женщины, которая была на последних месяцах беременности, и зарисовал раздувшийся живот и утробу. Они походили на перевернутую чашу, защищавшую собою зародившуюся в них новую жизнь. На рисунке он придал лицу женщины черты Деспины, которой уже никогда не родить ребенка. Внизу подписал название: «Беременная женщина».

В другую ночь он сидел у секционного стола и рисовал юношу, которому придал черты Карима — не то чтобы очень похоже, но кто любил его, тот сразу узнает. Роб так нарисовал его, что кожа как бы просвечивала, словно сделанная из стекла. Чего он сам не видел в лежащем перед ним теле, то изобразил так, как считал правильным Гален. Понимал, что некоторые из этих непроверенных подробностей могут оказаться неточными, и все-таки даже ему самому этот рисунок показался весьма примечательным — он показывал различные внутренние органы и кровеносные сосуды, будто око Божье зрит сквозь плоть человеческую.

Закончив рисунок, взволнованный Роб подписал его своим именем, поставил дату и дал рисунку название: «Прозрачный человек».

Все это время не приходило никаких известий о ходе войны. Согласно отданным заранее распоряжениям шаха, четыре каравана, груженных припасами, отправились по следам войска. Больше их никто не видел; полагали, что эти караваны добрались до Ала-шаха и приняли участие в сражениях. И вдруг однажды вечером, как раз перед Четвертой молитвой, прискакал гонец, неся самые дурные вести, какие только можно было себе представить.

Как многие и думали, к тому времени, когда Масуд появился ненадолго в Исфагане, его основные силы уже встретились с персами и сошлись с ними в битве. Масуд послал по той дороге, на которой его ожидали, войско во главе с двумя своими самыми славными полководцами — Абу Салем аль-Хамдуни и Ташем Фар-рашем. Они подготовили и блестяще осуществили фронтальный удар. Разделив войско на две части, выслали лазутчиков, а сами затаились в засаде за селением аль-Карадж. Когда персы достаточно приблизились, полк Абу Саля аль-Хамдуни устремился на них сплошной лавиной с одной стороны села, а афганцы Таша Фарраша — с другой. С флангов навалились они на воинов Ала-шаха, потеснили персов, и вскоре войско Газни соединилось в одно целое, замкнув огромный полукруг, подобный неводу рыболова.

Персы, захваченные врасплох, вскоре опомнились и дрались храбро, однако врагов было больше, к тому же персы попали в окружение. День за днем они постепенно сдавали свои позиции. И наконец обнаружилось, что позади них появилось еще одно афганское войско во главе с самим султаном Масудом. Тогда сражение стало еще более ожесточенным и яростным, но его исход был уже предreshен. Впереди находилось превосходящее по численности войско во главе с двумя лучшими полководцами Газни, позади — конница султана, небольшая числом, но грозная. Она сражалась примерно так же, как некогда римляне с древними персами, только теперь сами персы стали жертвой опустошительных коротких налетов неуловимого противника. Афганцы снова и снова наносили удары с тыла, неизменно растворяясь, чтобы после появиться в другом месте.

Пришло время — и под прикрытием начавшейся песчаной бури Масуд бросил на обескровленных и смятенных персов все три свои полка с трех сторон.

На следующее утро солнце осветило полузасыпанные песком тела павших воинов и убитых животных — полегло больше половины всего персидского войска. Некоторым удалось спастись; ходили слухи, сказал гонец, что среди последних и сам Ала-шах, но точно этого никто не знал.

— А какая участь постигла Ибн Сину? — спросил гонца аль-Джуджани.

— Ибн Сина покинул войско задолго до аль-Караджа, хаким. С ним приключились ужасные колики, он стал совсем беспомощным, и с дозволения шаха самый младший из хирургов, некто Биби аль-Гури, увез его в город Хамадан. Там Ибн Сине принадлежит старый дом, которым когда-то владел его отец.

— Этот дом мне известен, — откликнулся аль-Джуджани.

Роб понял, что аль-Джуджани поедет туда.

— Позвольте мне поехать с вами, — попросил он.

На мгновение в глазах старого лекаря зажглись огоньки ревности, но здравый смысл

быстро взял верх и он согласно кивнул.

— Мы отправимся в путь не мешкая, — сказал он.

* * *

Путешествие их было долгим и тягостным. Они все время погоняли коней, не ведая, застанут ли еще Учителя в живых. Аль-Джуздйни отупел от отчаяния, и этому не приходилось удивляться. Роб обожал Ибн Сину, но длилось это всего несколько лет, аль-Джузджани же поклонялся Князю лекарей всю свою жизнь.

Им пришлось дать большой крюк в восточном направлении, чтобы не оказаться на пути войск, ибо, по всем данным, в Хамадане все еще происходили бои. Но когда они достигли главного города, давшего имя всей провинции, Хамадан показался им мирным и сонным, без малейшего намека на проходившие в нескольких лигах отсюда кровопролитные сражения.

Роб увидел дом и подумал, что тот куда больше подходит Ибн Сине, нежели роскошный особняк в Исфагане. Дом этот, построенный из камня и глины, напоминал ту одежду, которую всегда надевал Ибн Сина; неброскую, поношенную, но очень удобную.

А внутри домика они ощутили зловещий запах болезни.

Аль-Джузджани с проснувшейся ревностью попросил Роба обождать у входа в покой, где лежал Ибн Сина. Через несколько мгновений Роб уловил негромкие голоса, а затем — к своему удивлению и немалой тревоге — несомненно, звук удара.

Из комнаты вылетел лекарь Биби аль-Гури, бледный как полотно, рыдающий. Проскочил мимо Роба, не поздоровавшись, и выбежал из домика.

Через недолгое время вышел и аль-Джузджани в сопровождении пожилого муллы.

— Этот молодой мошенник погубил Ибн Сину! Когда они сюда приехали, он дал Учителю сельдерейное семя, чтобы выпустить газы и прекратить колики. Но вместо двух *данаков семян* целых пять *дирхемов*, и с тех пор Ибн Сина непрестанно теряет кровь в больших количествах.

В одном *дирхеме* было шесть *данаков*. Следовательно, больной получил сразу пятнадцать доз сильнейшего слабительного.

Аль-Джузджани посмотрел на Роба.

— К стыду своему, я сам входил в тот совет, который присвоил этому аль-Гури звание лекаря, — с горечью произнес он.

— Но вы же не могли провидеть будущее и знать, что он совершит эту ошибку, — мягко сказал Роб. Аль-Джузджани это, однако, не утешило.

— Какая жестокая насмешка! — воскликнул он. — Величайшего врачевателя погубил бестолковый хахим!

— Учитель в сознании?

— Он дал свободу своим рабам, — сказал, кивнув утвердительно, мулла, — а имущество свое велел раздать беднякам.

— Можно мне войти?

Аль-Джузджани махнул рукой.

Оказавшись в комнате, Роб испытал потрясение. За те четыре месяца, что они не виделись, плоть Ибн Сины словно истаяла. Закрытые глаза глубоко запали, черты лица заострились, натягивая восковую кожу.

Аль-Гури причинил своим лечением вред, но это лишь ускорило неизбежную развязку, к которой шел рак желудка.

Роб взял Ибн Сину за руки; там уже оставалось жизни так мало, что Робу даже трудно было что-то выговорить. Глаза Ибн Сины открылись, и его взгляд пронизал Роба. Тот почувствовал, что эти глаза способны проникать в его мысли, так что притворяться не имело смысла.

— Отчего так происходит, Учитель, — с глубокой грустью спросил он, — что лекарь, могущий делать столь многое, уподобляется гонимому ветром листку, а подлинная власть остается у одного лишь Аллаха?

К его несказанному удивлению, исхудавшее лицо Учителя озарилось светом улыбки. И Роб внезапно понял, чему улыбается Ибн Сина.

— Это та самая загадка? — робко спросил он.

— Это она... мой европеец. И ты должен весь остаток своей жизни... провести в поисках... разгадки.

— Учитель!

Но Ибн Сина снова закрыл глаза и не отвечал. Роб немного посидел с ним в молчании.

— Я мог бы, никем не прикидываясь, поехать в другие места, — проговорил он по-английски. — В Западный халифат: в Толедо, в Кордову. Но я услышал об одном человеке. Об Авиценне, арабское имя которого будто заколдовало меня и заставило дрожать, как в ознобе. Абу Али аль-Хуссейн ибн Абдалла ибн Сина.

Старик не мог понять из этого ничего, кроме собственного имени, но открыл глаза и слабо сжал руки Роба.

— Только коснуться края вашей одежды. Величайшего в мире врачевателя, — прошептал Роб.

Он едва мог вспомнить лицо усталого, сломленного жизнью плотника, своего родного отца. Цирюльник относился к нему по-человечески, но никакой любви к нему не питал. Сейчас перед Робом был человек, который стал ему настоящим духовным отцом. Роб забыл о накопившихся упреках и помнил лишь о том, что было крайне необходимо:

— Прощу вас, благословите меня.

Ибн Сина произнес несколько отрывистых слов на арабском языке, но Робу было необязательно понимать их буквальный смысл. Он понял, что Ибн Сина уже давно благословил его.

На прощание он поцеловал старика. Когда Роб вышел, его место у ложа занял мулла и стал громко читать стихи из Корана.

В Исфаган он возвращался один. Аль-Джуджани остался в Хамадане и ясно дал понять что желает побыть наедине со своим господином в последние дни его жизни.

— Ибн Сину мы больше не увидим, — сказал Роб жене, возвратившись домой. Мэри отвернулась и заплакала, как ребенок.

Роб, немного отдохнув, поспешил в маристан. В отсутствие и Ибн Сины, и аль-Джуджани в больнице воцарился беспорядок, многие вопросы надо было срочно решать. Роб провел весь долгий день за осмотром и лечением больных, прочитал лекцию о способах лечения боевых ранений и — самая неприятная обязанность — встретился с хаджи Давутом Хосейном, чтобы обсудить некоторые общие вопросы организации работы школы.

Поскольку времена настали беспокойные, многие учащиеся бросили занятия и возвратились к своим родным, жившим вдали от Исфагана.

— Из-за этого, — ворчал хаджи, — осталось слишком мало лекарских учеников, которым можно поручить работу в больнице.

К счастью, уменьшилось и число пациентов: люди с куда большим страхом думали о бедствиях предстоящего захвата города чужим войском, нежели о собственных болезнях.

В ту ночь глаза у Мэри были красными и опухшими от слез, и они с Робом прильнули друг к другу с уже позабытой нежностью.

Утром, уходя из дома в квартале Яхуддией, Роб уловил в воздухе какую-то почти неуловимую перемену, как в Англии — повышение влажности перед бурей.

На еврейском рынке большинство лавчонок, вопреки обыкновению, стояли пустыми, а Гинда лихорадочно собирала товары, разложенные на ее столике.

— Что случилось? — спросил Роб.

— Афганцы!

Он направил гнедого к городским стенам. Взобравшись по узкой лесенке, обнаружил на стене выстроившихся рядами и на удивление молчаливых людей, почти сразу понял и причину охватившего их страха: под стенами расположилось лагерь многочисленное и грозное войско Газни. Пешие воины Масу-да заняли половину небольшой равнины у западной стены города. Конники и всадники на верблюдах стали лагерем у подножия окружавших город холмов, а боевых слонов разместили на высоких склонах, у шатров знати и военачальников, флажки которых трепетали на горячем ветру. В самой середине лагеря развевалось выше всех узкое змеевидное знамя династии Газневидов — голова черной пантеры на оранжевом поле.

Роб прикинул: это войско раза в четыре превосходило то, с которым Масуд выступил из Исфагана на запад.

— Отчего же они не входят в город? — спросил он одного из стражников калантара.

— Они гнались за Ала-шахом до самого города, теперь же он в пределах городских стен.

— И из-за этого они не входят в город?

— Масуд сказал, что выдать Ала-шаха должны сами горожане, его подданные. Он сказал: если мы выдадим ему шаха, он пощадит наши жизни. Если же нет, то он обещает воздвигнуть на центральном майдане курган из наших костей.

— И что же, Ала будет выдан?

Стражник сверкнул глазами и сплюнул.

— Мы персы, а он — наш шах.

Роб кивнул. Но до конца не поверил.

Он спустился со стены и поскакал в свой домик в Яхуддийе. Английский меч лежал на месте, обернутый промасленной тканью. Роб повесил меч на пояс и попросил Мэри достать меч отца и забаррикадировать за ним дверь.

Потом снова вскочил в седло и отправился в Райский дворец.

* * *

На улице Али и Фатимы собирались группами взволнованные горожане. На широкой, в четыре полосы, улице Тысячи Садов народу было поменьше, а у Врат Рая — совсем никого. Эта улица, обычно такая чистая и ухоженная, теперь выглядела несколько заброшенной. Служители в последнее время не подрезали здесь ветви деревьев и кустов, не наводили порядок. В дальнем конце улицы виднелся одинокий страж.

Когда Роб подъехал ближе, этот страж заступил ему дорогу.

— Я Иессей, хаким из маристана. Вызван к повелителю.

Воин был совсем еще мальчишка, выглядел он растерянным, даже испуганным. В конце концов он кивнул и отступил в сторону, пропуская всадника. Роб проехал через искусственный лес, насаженный здесь для удовольствия царей, мимо зеленого поля для конного поло, мимо двух скаковых кругов и множества беседок.

Роб придержал гнедого за конюшнями, у жилища, выделенного Дхану Вангалилу. Оружейника-индийца вместе со старшим сыном брали в Хамадан, с воинами. Роб не знал, удалось ли выжить этим двоим, но остальных членов семьи он не нашел. Дом стоял пустой, кто-то даже развалил глиняные стенки плавильной печи, которые так заботливо возвел Дхан Вангалил.

Он поехал дальше, вдоль длинной подъездной аллеи к самому Райскому дворцу. Ни единого воина на башнях дворца не было. Копыта гнедого гулко процокали по подъемному мосту, и Роб спешил, привязав коня у парадных дверей.

Его шаги отдавались эхом в опустевших длинных коридорах дворца. Дойдя до приемного зала, где он всегда представлял перед взором повелителя, Роб увидел Ала-шаха — тот сидел в углу на ковре, поджав под себя ноги. Перед ним стояли наполовину опустевший кувшин вина и доска для шахской игры: Ала решал игровую задачу.

Шах выглядел таким же неухоженным, как и сады, окружавшие его дворец. Борода не стрижена. Под глазами фиолетовые круги, сам он исхудал, и нос, как никогда, выдавался хищным клювом. Шах поднял голову и посмотрел на Роба, стоявшего перед ним; рука вошедшего лежала на рукояти меча.

— Что, зимми? Пришел отомстить за себя?

Роб не сразу сообразил, что Ала говорит о шахской игре и уже расставляет фигуры в исходное положение.

Роб пожал плечами и отпустил рукоять меча, поправив оружие так, чтобы оно не мешало ему сесть на пол напротив шаха.

— Свежее войско, — пошутил Ала ад-Даула и сделал первый ход, двинув вперед пешего воина. Роб сделал ответный ход пехотинцем из черного дерева.

— Где же Фархад? Погиб в сражении? — Роб не ожидал, что найдет шаха в одиночестве. Он предполагал, что сперва ему придется зарубить Капитана Ворота.

— Не погиб Фархад. Сбежал. — Ала забрал пехотинца всадником, а Роб незамедлительно двинул вперед своего черного всадника, забирая в плен белого пехотинца.

— Хуф бы тебя не покинул.

— Да, Хуф ни за что бы не удрал, — рассеянно согласился Ала. Он внимательно всмотрелся в расположение фигур. Наконец взялся за *руха*, находившегося в самом конце боевого построения — вырезанного из слоновой кости воина с поднесенными ко рту ковшиком руками, из которых он пил кровь врага.

Роб подготовил ловушку и заманил в нее Ала-шаха, взяв белого *руха* и отдав взамен своего всадника.

Ала уставился на доску.

После этого царь стал делать ходы осмотрительнее, подолгу обдумывая каждый. Глаза его радостно загорелись, когда он выиграл еще одного всадника, и омрачились при потере слона.

— А что случилось со слонем Зи?

— А-а, *вот это* был добрый слон! Я и его потерял у Врат аль-Караджа.

— Где же махаут Харша?

— Погиб еще раньше, чем умер слон. Копье пронзило ему грудь. — Шах отпил вина, не предлагая Робу, прямо из горлышка кувшина; струйка вина пролилась на уже запятнанную рубаху. Бороду и губы он отер тыльной стороной ладони. — Довольно разговоров. — И он углубился в игру, потому что у черных фигур было небольшое позиционное преимущество.

Теперь Ала перешел в атаку, он использовал все свои хитрости, которые некогда так хорошо ему помогали, но Роб в последние годы закалился, сражаясь с более изощренными умами. Мирдин показал ему, когда можно бросаться вперед, а когда следует быть осторожным; Ибн Сина научил Роба предвидеть действия противника, рассчитывать вперед на несколько ходов, и теперь было похоже на то, что Роб ведет Ала-шаха по такой тропе, в конце которой фигуры из слоновой кости ждет неизбежная гибель.

Время шло, на лбу Ала-шаха выступили капли пота, хотя в комнате с каменными стенами и каменным полом было прохладно. Робу казалось, что свои ходы делает не только он сам — вместе с ним фигуры направляют Мирдин и Ибн Сина. Из белых фигур на доске остались только царь, полководец и верблюд, и вскоре Роб, не сводя глаз с шаха, забрал верблюда своим полководцем.

Ала поставил белого полководца перед царем, прикрывая того от атаки. Но у Роба оставалось еще пять фигур: царь, полководец, *рух*, верблюд и один пеший воин, — и он быстро провел пехотинца, которому ничто не угрожало, на другой край доски. По правилам, он заменил пехотинца своим вторым *рухом*, снова вошедшим в игру.

Через три хода он пожертвовал эту новообретенную фигуру ради того, чтобы захватить в плен полководца из слоновой кости. А еще через два хода его полководец из черного дерева напал на царя белых.

— С дороги, о шах! — тихо проговорил Роб.

Трижды он повторял эти слова, продвигая свои фигуры так, чтобы окруженному царю Ала-шаха некуда стало отступать.

— Шахтранг, — проговорил он наконец.

— Да. Гибель царя. — Ала смел с доски оставшиеся фигуры.

Теперь они пристально глядели друг на друга, и рука Роба снова легла на рукоять меча.

— Масуд сказал: если народ тебя не выдаст, афганцы учинят в городе резню и грабеж.

— Афганцы учинят резню и грабеж независимо от того, выдадут меня им или нет. У Исфагана есть лишь одна надежда. — Он не без труда встал на ноги, и Роб тоже поднялся: негоже простолоудину сидеть, когда царь стоит.

— Я вызову Масуда на бой, властитель против властителя.

Робу хотелось убить шаха, а вовсе не внимать ему с симпатией и восхищением, и он нахмурился.

Ала согнул свой тяжелый лук, что не многим было под силу, и натянул тетиву. Потом указал пальцем на свой меч из узорчатой стали, выкованный Дханом Вангалилом — меч висел на дальней стене.

— Подай мне оружие, зимми.

Роб принес клинок, и шах опоясался мечом.

— Так ты сейчас пойдешь к Масуду?

— По-моему, сейчас самое время.

— Хочешь, я буду помогать тебе?

— Нет!

Роб увидел на лице шаха неприязненное удивление при мысли о том, что оруженосцем царю Персии будет служить еврей. Но Роб не рассердился на это, а испытал облегчение — он ведь предложил свои услуги сгоряча, сразу же о том и пожалев. Роб не видел ни славы, ни смысла в том, чтобы умереть, сражаясь бок о бок с шахом Ала.

Ястребиное лицо шаха все же смягчилось. Ала помешкал перед уходом.

— Твое предложение — это слова настоящего мужчины, — сказал он Робу. — Подумай, какую награду ты хочешь получить. Когда вернусь, я пожалую тебе калаат.

* * *

По узкой каменной лестнице Роб взобрался на самую высокую башню Райского дворца. С этой высоты ему было хорошо видны дома исфаганских богачей, верхушки стен, усеянные персами, расстилающаяся за стенами города равнина и лагерь воинов Газни, протянувшийся до самых холмов.

Долго ждал Роб на ветру, развевавшем его волосы и бороду, но Ала все не появлялся. Время шло и шло, и Роб стал упрекать себя за то, что не убил шаха сам. Он теперь не сомневался, что Ала надул его и скрылся из города.

Но вот он увидел его.

Западные ворота города Робу не были видны, но он увидел, как шах, выехав из города, появился на равнине, верхом на знакомом скакуне — прекрасном и яростном арабском жеребце, то и дело потряхивавшем гривой и красиво встававшем на дыбы.

Роб смотрел, как повелитель Персии скачет прямо во вражеский лагерь. Подъехав совсем близко, он натянул поводья, приподнялся на стременах и прокричал свой вызов. Самих слов Роб не слышал, только слабый отголосок долетел до него. Но многие подданные шаха их расслышали. Они воспитывались на легенде об Ардеване и Ардешире, легенде с первом поединке за право называться шахиншахом, и со стен донеслись приветственные

возгласы. От палаток военачальников в лагере воинов Газни вниз по холму двинулась небольшая группа всадников. Возглавлял их человек в белом тюрбане, но Роб не видел, Масуд ли это. Впрочем, где бы ни был Масуд, даже если он и слышал легенду об этом древнем поединке, он явно не придавал легендам ни малейшего значения.

Из афганских рядов вырвалась вперед большая группа лучников на быстрых как ветер конях.

Роб не представлял себе коня, который мог бы обогнать белого жеребца, однако шах Ала и не пытался уйти от врагов. Он снова приподнялся на стременах. Роб не сомневался, что на этот раз он выкрикивает насмешки и оскорбления в адрес юного султана, уклоняющегося от боя.

Когда афганские воины приблизились чуть не вплотную, шах поднял свой лук и погнал белого жеребца прочь, только бежать было уже некуда. Ала на полном скаку повернулся в седле и послал стрелу, свалив с седла скачущего впереди афганца. Это был прекрасный парфянский выстрел, и на стенах он вызвал бурю восторга. Но ответный град вражеских стрел не миновал шаха.

Четыре стрелы попали в жеребца, и на губах его появилась красная пена. Белый конь замедлил свой бег, потом остановился, постоял, пошатываясь, и, наконец, рухнул наземь вместе со своим мертвым всадником.

Роба неожиданно захлестнула глубокая печаль.

Он видел, как афганцы обвязали веревкой щиколотки Ала-шаха и поволокли его в свой лагерь, вздымая за собой тучу серой пыли. Роб, сам не зная отчего, был особенно уязвлен тем, что шаха влекли по земле лицом вниз.

* * *

Роб отвел гнедого в загон за царскими конюшнями, расседлал. Не так-то легко оказалось в одиночку растворить массивные ворота, но слуг в Райском дворце не осталось, так что пришлось управляться самому.

— Прощай, друг, — сказал Роб, хлопнул коня по крупу и, увидев, что тот присоединился к другим лошадям в загоне, тщательно затворил ворота. Одному Богу известно, кто станет хозяином гнедого завтра утром.

В верблюжьем загоне он взял две уздечки из числа висевших у входа и выбрал себе двух молодых крепких верблюдиц — как раз таких, как хотел. Они наблюдали за его приближением, стоя на коленях и продолжая жевать свою жвачку.

Первая попыталась укусить его за руку, когда он подошел к ней с уздечкой, но Мирдин, этот добрейший из людей, показал ему, как укрощать строптивых верблюдов. Роб так сильно пнул животное в ребра, что у верблюдицы вздох вырвался со свистом между квадратных желтых зубов. После этого с нею уже можно было найти общий язык, а вторая и не пыталась сопротивляться, словно умела учиться на чужих ошибках.

Юного стража у Врат Рая уже не было. Чем дальше ехал Роб по улицам Исфагана, тем сильнее казалось, что весь город охвачен безумием. Повсюду туда и сюда сновали люди, несли какие-то свертки и узлы, тащили за поводья животных, нагруженных домашним скарбом. Сущий ад творился на улице Али и Фатимы. Мимо Роба, напугав верблюдиц, пронеслась чья-то лошадь без всадника. На базаре некоторые купцы просто побросали свои

товары в лавках. Роб заметил жадные взгляды, устремленные на его верблюдов, вытащил меч из ножен и положил на седло перед собой. Чтобы добраться до Яхуддиейе, ему пришлось сделать немалый крюк по восточной части города: люди и животные запрудили улицы, протянулись по ним на тысячу шагов, ибо многие спешили покинуть Исфаган через восточные ворота, уходя от врагов, расположившихся у западной стены.

Он подъехал к дому, и на его зов Мэри открыла дверь — с побледневшим лицом, не выпуская из рук отцовского меча.

— Мы уезжаем домой.

Мэри была сильно испугана, но Роб видел, как ее губы зашептали благодарственную молитву.

Роб снял тюрбан и персидскую одежду, облачившись снова в свой черный кафтан и еврейскую кожаную шляпу.

Быстро собрали нужное: экземпляр «Канона врачебной науки» Ибн Сины, анатомические рисунки, скатанные в трубку и упрятанные в бамбуковый футляр, медицинские записи Роба, набор лекарских инструментов, игру, доставшуюся от Мир-дина, еду и кое-какие лекарства, меч отца Мэри и небольшую шкатулку с деньгами. Все это нагрузили на меньшую верблюдицу.

Той же, что побольше, Роб навесил с одного бока тростниковую корзину, с другого — сетчатый мешок с крупными ячейками. В маленьком флакончике у него оставалась капелька *буинга* — как раз хватило взять на кончик мизинца и дать пососать Робу Джею, а потом и Таму. Когда оба уснули, Роб положил старшего в корзину, меньшего в мешок, а их мама села верхом на верблюда, посередине между ними.

Сумерки только спускались, когда они попрощались с маленьким домиком в Яхуддиейе, боясь замешкаться — афганцы могли ворваться в город в любую минуту.

Когда Роб провел обеих верблюдиц через опустевшие западные ворота, стемнело окончательно. Охотничья тропа, по которой они двинулись через холмы, проходила так близко от костров афганских воинов, что слышны были их песни и громкие возгласы. Слышались и пронзительные вопли, которыми афганцы распяляли себя для предстоящего разорения города.

Один раз показалось, что какой-то всадник несется галопом прямо на них, но вскоре топот копыт пронесся стороной и замер вдали.

Действие *буинга* заканчивалось. Роб Джей негромко захныкал, потом и заплакал. Робу эти звуки показались невыносимо громкими, и Мэри взяла малыша из корзины и убаюкала.

За ними никто не гнался. Костры остались позади. Но, когда Роб оглянулся назад, розоватое зарево занялось над покинутым ими городом, и стало ясно: это пылает Исфаган.

Они не останавливались всю ночь, когда же забрезжил слабый свет раннего утра, Роб увидел, что они перевалили через холмы. Воинов поблизости не было. Все тело у него одеревенело, а ноги... Он понимал, что как только остановится, его злейшим врагом станет боль. Хныкали теперь уже оба малыша, а жена Роба, с посеревшим лицом, ехала, закрыв глаза, но он не стал останавливаться. Заставлял усталые ноги идти дальше и дальше и вел верблюдиц на запад, к первому из цепочки еврейских поселений.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ



Через большой Пролив они переправились в 24-й день марта лета от Рождества Христова 1043-го. Причалили поздним вечером в Гавани Королевы. Кто знает — может, все в дальнейшей жизни сложилось бы у них совсем по-другому, пояись они в городе Лондоне теплым летним днем. Мэри, однако, ступила на берег в слякоть, под холодным весенним дождем, держа на руках младшего сына, которого (как и его отца) тошнило и рвало всю дорогу от французского берега до высадки в Лондоне. Ей этот город не понравился; с первой же минуты, когда она ощутила его промозглую сырость и мрак, Мэри прониклась недоверием к Лондону.

У причалов было буквально не повернуться: одних вселяющих страх боевых кораблей, покачивающихся на волнах, Роб насчитал два десятка с лишним, а купеческих судов было и не сосчитать. И Роб, и Мэри, и детишки были совсем без сил после путешествия. Добрались кое-как до постоянного двора на рынке в Саутуорке — Роб еще не забыл его, но постояльцам там предлагался весьма убогий приют, в довершение ко всему еще и кишевший насекомыми.

Чуть только забрезжила утренняя заря, Роб самостоятельно отправился на поиски более подходящего пристанища. Он пошел по широкой дороге, через Лондонский мост, недавно на совесть отремонтированный — этот мост изменился меньше всего остального в городе. Лондон очень разросся. На месте прежних лугов и садов Роб увидел незнакомые постройки и лабиринт улиц, переплетающихся не хуже, чем в Яхуддиейе. В северной части города он почувствовал себя совершеннейшим чужаком: в годы его детства здесь помещались богатые особняки, окруженные полями, садами и огородами, которые принадлежали родовитым старожилам. Теперь же многие имения были распроданы, а здесь обосновались мастера, занимавшиеся далеко не столь чистыми ремеслами. Стояли тут мастерские по выплавке железа, небольшой квартал занимали жилые дома и лавки златокузнецов, недалеко от них расположились такие же кварталы серебряных дел мастеров и медников. Да, в таком месте Робу не хотелось бы поселиться — вечная пелена дыма от сжигаемой древесины, вечная вонь от кожевенных мастерских, неумолчный грохот молотков по наковальням, рев плавильных печей, стук, звяканье и лязг из многочисленных ремесленных лавок.

Да и в каждом другом районе его глаза сразу находили какие-нибудь недостатки. В Криплгейте было противно, ибо там так и не осушили болото, Холборн и Флит-стрит отстояли слишком далеко от центра города, Чипсайд переполнен мелочными торговцами. В нижней части города скученность была еще заметнее, но то были районы, овеванные грезами детства, и Роба неудержимо влекло к самому берегу реки.

Улица Темзы оставалась главной улицей Лондона. В нищих тесных переулочках от пристани Пуддл-Док на одном ее конце до Тауэрского холма на другом ютились носильщики, грузчики, слуги и прочий простой люд, но сама улица, протянувшаяся далеко вдоль реки со множеством причалов, была средоточием ввоза и вывоза товаров, центром оптовой торговли. По южной стороне улицы дома стояли более или менее в одну линию — этого требовали находившиеся за ними русловая стена и пристани, — зато на северной стороне они строились как попало, и улица то сужалась, то расширялась. Местами фасады громадных особняков, увенчанных остrokонечными крышами, выпирали из общего ряда, будто живот беременной женщины. В другом месте вдруг проглядывал обнесенный оградой

садик или же прятался в глубине склад товаров, а саму улицу почти весь день заполняли толпы пешеходов, верховых и вьючных животных, чье ржание и запах навоза Роб не успел еще позабыть.

В одной таверне он стал расспрашивать, нет ли в этом районе дома, который сдается внаем. Ему сказали, что есть один такой близ Уолбрука. Оказалось, рядом с этим домом стоит небольшая церквушка святого Иосафа, и Роб решил, что Мэри здесь понравится. На первом этаже жил хозяин, Питер Лаунд. Внаем он сдавал второй этаж — там помещались одна маленькая комнатка и одна большая, где могло разместиться все семейство. Крутая лестница вела со второго этажа прямо на оживленную улицу.

Клопов было не видно, да и плата назначена вполне умеренная. Главное — район был хороший: большинство переулков, поднимающихся к северу в гору, облюбовали под свои дома и лавки зажиточные купцы.

Роб, не теряя времени даром, пошел в Саутуорк за семьей.

— Дом пока не то чтобы очень уж хороший. Но, я думаю, он вполне подойдет, а? — спросил он у жены.

Мэри оглянулась вокруг с робостью, а ее ответ потонул в неожиданно громком перезвоне колоколов церкви святого Иосафа.

Едва они разместились на новом месте, Роб поспешил к мастеру и заказал себе вывеску, велел вырезать ее на дубовой доске, а буквы зачернить. Готовую вывеску прикрепили у входа в дом со стороны улицы Темзы, так чтобы всем было видно: здесь живет Роберт Джереми Коль, лекарь.

* * *

Первое время Мэри нравилось, что вокруг одни британцы, повсюду звучит английская речь, хотя с сыновьями она по-прежнему разговаривала на шотландском, желая, чтобы они хорошо знали язык предков. Раздобыть в Лондоне что бы то ни было — для этого требовалось хорошенько поломать голову. Мэри нашла портниху и заказала платье из приличной коричневой материи. Ей бы хотелось голубое, такого оттенка, как некогда подарил ей отец — голубизны летнего неба, но это было, разумеется, невозможно. Ну, и это платье вышло неплохим: длинное, с узкой талией, высоким округлым вырезом на шее и такими свободными рукавами, что они до самых запястьев ниспадали роскошными складками.

Робу они заказали добротные серые штаны и куртку. Хотя он и не соглашался на такое расточительство, Мэри купила ему еще два черных плаща, подходящих лекарям: один из легкой материи без оторочки — на лето, другой же поплотнее, отороченный лисьим мехом, с капюшоном. Ему давно уже пора было купить новую одежду, ибо он до сих пор носил то, что они купили в Константинополе, куда попали по долгой цепочке еврейских поселений, пройдя ее всю звено за звеном. Кустистую бороду Роб подстриг так, что она стала походить на козлиную; купил, поторговавшись, западное платье, и к тому времени, когда они присоединились к большому каравану, Иессей бен Беньямин перестал существовать. Его место занял Роберт Джереми Коль, англичанин, направляющийся вместе со своей семьей в родную страну.

Мэри, как всегда, бережливая, припрятала кафтан, а позднее сшила из него одежду для

сыновей. Одежду Роба Джея она отдавала со временем Таму, хотя здесь были свои трудности: Роб Джей был высок для своего возраста, тогда как Там был чуть помельче, чем большинство ровесников — по дороге на запад он перенес тяжелую болезнь. Во франкском городе Фрейзинге у обоих мальчиков воспалились гортани, стали слезиться глаза, а затем начался сильный жар, изрядно напугавший Мэри, которая подумала было, что может лишиться обоих сыновей. Жар не спадал много дней подряд; Роб Джей пережил болезнь без видимых последствий, но у Тама болезнь словно поселилась в левой ноге, которая сделалась очень бледной и выглядела почти безжизненной.

Семья Колей пришла во Фрейзинг с караваном, которому вскоре предстояло отбывать дальше. Мастер-караванщик сказал, что не станет задерживаться из-за больных.

— Ступай и будь проклят, — сказал ему Роб, потому что его сын нуждался в лечении и он не намерен был лишать ребенка врачебной помощи. Он прикладывал к ноге Тама горячие влажные компрессы, не спал, чтобы часто менять их, брал маленькую ножку в свои огромные ручищи и снова и снова сгибал и разгибал колено, заставляя мышцы работать. Он пощипывал ногу, массировал ее, густо смазывал медвежьим жиром.

Там поправлялся, но не быстро. К тому времени, когда случилась болезнь, он ходил еще неполный год. Теперь ему снова пришлось учиться ползать и двигаться на четвереньках, а когда он снова стал ходить, то и дело пошатывался и падал — левая нога стала чуть короче правой.

Они около года провели во Фрейзинге, ожидая сначала, пока поправится Там, а затем — пока появится подходящий караван. Роб так и не привык к франкам, не полюбил их, однако он стал несколько мягче относиться к их манерам и понятиям о жизни. Хотя он и не знал языка, люди все-таки обращались к нему со своими болезнями, видя, с каким безграничным терпением и любовью он ухаживает за своим сыном. Роб неустанно работал с ногой Тама, и теперь мальчик оказался одним из самых живых и бойких лондонских ребятишек, пусть и слегка приволакивал при ходьбе левую ступню.

Если на то пошло, то оба мальчика чувствовали себя в Лондоне куда увереннее, чем их мать, потому что Мэри не могла примириться с этим городом. Она находила климат слишком сырым, а англичан слишком холодными. Приходя на рынок, она с великим трудом удерживалась от того, чтобы горячо, с чувством поторговаться, как уже привыкла на Востоке. В целом люди оказались здесь отнюдь не такими любезными, как она ожидала. Даже Роб говорил, что ему не хватает потока бойкой персидской речи.

— Хотя вся эта восточная лесть и яйца выеденного не стоит, а все же она приятна, — признавался он Мэри.

Роб был источником постоянных переживаний для Мэри. Чего-то им очень не хватало на супружеском ложе, была там какая-то безрадостность, которую Мэри даже не смогла бы объяснить словами. Она купила зеркало и внимательно изучила свое отражение. Обнаружила, что под жарким солнцем странствий ее кожа утратила прежний блеск. Лицо заметно похудело, а скулы стали выступать резче. Понимала она и то, что груди из-за кормления не стали лучше. По всему Лондону расхаживали продажные женщины с холодным взглядом, и некоторые из них были совсем недурны. Что если Роб рано или поздно обратит свои взоры к ним? Она представила себе, как он станет хвастать шлюхе, что обучался искусству любви в Персии, и мучила себя, представляя, как те станут с ним кататься, кувыркаться и смеяться, как было когда-то у них с Робом.

Ей Лондон представлялся черной трясиной, которая уже засосала их по щиколотки.

Сравнение это возникло не случайно — в этом городе стояло большее зловоние, чем в любом из встречавшихся на их долгом пути болот. Открытые сточные канавы и повсеместная грязь были не лучше и не хуже, чем в Исфагане, но вот людей здесь было куда больше. В некоторых кварталах люди буквально теснились, оттого и зловоние мусора и отходов становилось просто невыносимым.

Когда они достигли Константинополя и оказались среди христиан, коих там было подавляющее большинство, Мэри стала ревностно посещать церковь, истово молилась, но теперь и к этому она остыла. Лондонские церкви подавляли ее. Церквей в Лондоне оказалось значительно больше, чем мечетей в Исфагане — более сотни. Они высоко вздымались над любыми прочими строениями, и казалось, что сам город построен в промежутках между церквями, а от грома их колоколов Мэри непрестанно вздрагивала. Ей даже казалось иной раз, что поднятый этими церковными колоколами ветер поднимет ее и унесет куда-то прочь. Хотя церковь святого Иосафа и была невелика сама по себе, зато ее колокола были огромны, а их звон резонировал во всем доме на улице Темзы, к тому же одновременно звонили и колокола всех прочих церквей, отчего у Мэри шла кругом голова. Этот призыв к молитве звучал куда оглушительнее, чем голоса целой армии муэдзинов. Колокола созывали верующих к заутрене, обедне и вечерне, колокола сопровождали святую мессу, колокола напоминали ленивым горожанам, что пора гасить огни в домах. По случаю крестин и венчаний они грохотали так, что сотрясались до основания сами колокольни, они же провожали печальными гулками ударами каждую вознесшуюся на небеса христианскую душу. Колокола звонили, когда полыхал пожар или вспыхивал мятеж, колокольным звоном встречали именитых гостей города, им же отмечали наступление каждого церковного праздника, а приглушенный звук колоколов был вестником какого-нибудь несчастья. Для Мэри весь Лондон превратился в сплошные колокола.

И она возненавидела эти колокола, чтоб их черт побрал.

* * *

Первый человек, которого новая вывеска привела к их дверям, вовсе не был болен. Это был худощавый сутулый человек, всматривавшийся в Роба и моргавший прищуренными глазками.

— Николас Ханн, лекарь, — отрекомендовался он и склонил голову, наподобие воробья, ожидая реакции. — С улицы Темзы, — добавил он с ударением.

— Я видел вашу вывеску, — сказал ему Роб и улыбнулся. — Вы живете в одном конце улицы Темзы, мастер Ханн, а я поселился на другом. Между нами довольно страждущих лондонцев, вполне хватит и на дюжину лекарей, и тем будет хлопот полон рот.

Ханн недовольно хмыкнул.

— Не так-то уж много больных, как вы себе воображаете. Да и лекари вовсе не перегружены. Лондон и без того переполнен врачующими, так что, по моему мнению, начинающему свою практику лекарю скорее подошел бы городок за пределами лондонских стен.

Он поинтересовался, где учился мастер Коль, и Роб бессовестно солгал, словно торговец коврами: он-де шесть лет учился в Восточном Франкском королевстве.

— И сколько вы думаете брать?

— Братъ?

— Ну да. Каково ваше вознаграждение, милейший, расценки какие?

— Я над этим как-то еще не думал.

— Так подумайте сразу. Я вам скажу, каковы здесь порядки, ибо негоже новичку подрывать положение остальных. Плата различается в зависимости от достатков больного — верхний предел, разумеется, не ограничен, хоть до небес. Но ни в коем случае нельзя опускать плату ниже сорока пенсов за кровопускание, потому что на нем зиждется наше ремесло. Нельзя брать и меньше тридцати шести пенсов за исследование мочи.

Роб уставился на него в задумчивости: названные цены были непомерно высоки и безжалостны.

— Вы не станете тревожиться о простолюдинах, которые теснятся на дальнем конце улицы — для них есть цирюльники-хирурги. Не назвал бы я похвальным и желание пользоваться знать, ибо о здоровье людей знатных пекутся считанные лекари — Драйфилд, Хадсон, Симпсон и им подобные. Однако улица Темзы приносит богатые плоды, ведь здесь живут преуспевающие купцы. Правда, я приучился брать плату еще до начала лечения, когда больной сильнее всего тревожится о своем здоровье. — Он бросил на Роба пронизательный взгляд. — В нашем соперничестве может оказаться преимуществ не менее, чем недостатков, ибо я обнаружил, что пациентов весьма впечатляет, если приглашаешь коллегу-консультанта — когда пациент достаточно богат. Так что мы сможем весьма выгодно нанимать друг друга, а?

Роб сделал несколько шагов к двери, выпроваживая посетителя.

— Я предпочитаю в основном действовать сугубо самостоятельно, — холодно произнес он.

Посетитель побагровел, потому что ответ содержал недвусмысленный отказ.

— Так вам и придется поступать, мастер Коль. Я не премину передать это другим лекарям, ни один из них и близко к вам не подойдет. — Он чопорно кивнул и с тем вышел вон.

* * *

Стали являться и больные, но не часто.

Этого следовало ожидать, твердил себе Роб. Он был новичком в этом море, совершенно ему не знакомом, значит, потребуется время, пока его признают. Лучше уж сидеть и ждать, чем обдѣлывать делишки с типами, подобными Ханну.

Пока же он обживался в Лондоне. Повел жену и детей к могилам своих близких, малыши поиграли среди надгробий на кладбище при церкви святого Ботульфа. Постепенно Роб в самой глубине души смирился с мыслью о том, что ему никогда не удастся разыскать ни сестру, ни братьев, но он утешался и гордился своей новой семьей, которую создал себе сам, и надеялся, что так или иначе о его жене и детях узнают и мама, и отец, и брат Сэмюэл.

На Корнхилле он отыскал таверну по своему вкусу. Называлась она «Лиса», там собирався выпить по кружечке трудовой люд; в таких же тавернах искал отдохновение и отец, когда Роб еще был малышом. Роб, однако, избегал метеглина, пил только темный эль. Встретился ему здесь строительный подрядчик, именем Джордж Маркэм, который состоял в плотницком цехе в одно время с отцом Роба. Маркэм был дородным краснолицым

мужчиной, черноволосым, с пробивающейся на висках и на кончике бороды сединой. Он входил не в ту сотню, что Натанаэль Коль, но помнил того, а потом еще выяснилось, что он племянник Ричарда Бьюкерела — того самого, что был старостой цеха. Водил он дружбу с Тернером Хорном, мастером-плотником, у которого жил Сэмюэл, пока не погиб на пристани.

— Тернера с женой сгубила болотная лихорадка, тому пять лет. И их младшенького тоже. Жуткая тогда выдалась зима, — рассказывал Маркэм.

Роб поведал всем завсегдатаям «Лисы», что много лет провел в чужедальной стороне, учился на лекаря в Восточном Франкском королевстве.

— А знаком тебе ученик по имени Энтони Тайт? — спросил Роб у Маркэма.

— Он был подмастерьем плотника, да только помер в прошлом году от грудной болезни.

Роб кивнул, и некоторое время они пили молча. От Маркэма и других посетителей «Лисы» Роб узнал о том, что происходило в последние годы с престолом Англии. Кое-что ему рассказывал еще Босток в Исфагане. Теперь же выяснилось, что Гарольд Заячья лапа, наследник Канута, показал себя властителем слабым. Сильным человеком, стоявшим на страже его трона, был Годвин, эрл Уэссекса. Сводный брат Гарольда Альфред, называвший себя Этелингом ^[207] и наследным принцем, прибыл из Нормандии в Англию. Воины Гарольда перерезали свиту Альфреда, его самого бросили в темницу и выкололи ему глаза, отчего тот вскоре умер мучительной смертью — изувеченные глазницы воспалились под действием инфекции.

Гарольд же постоянно переедал, не знал умеренности в питье и сам довел себя до смерти. Гартакнут, его сводный брат, вернулся с войны в Дании и наследовал ему на престоле Англии.

— По приказу Гартакнута тело Гарольда вынули из саркофага в Вестминстерском аббатстве и бросили в поросшее мхами «болото близ острова Торни, — рассказывал Джордж Маркэм, у которого под действием хмельного напитка развязался язык. — Подумать, тело его сводного брата! Будто это был пес или мешок с дерьмом!

Маркэм поведал далее, как тело бывшего короля Англии лежало в камышах, колеблемое поочередно приливами и отливами.

— В конце концов мы, несколько человек, прокрались туда тайком. Ну и холодная же ночь выдалась! А туман такой густой, что лунный свет не пробивался совсем. Тело мы положили в лодку, да и поплыли вниз по Темзе. Останки похоронили, как подобает, в Церкви святого Климента. Уж такое христианам положено было сделать. — Он перекрестился и изрядно отхлебнул из своего кубка.

Гартакнут пробыл королем всего два года и свалился замертво на брачном пиру. Вот и настал черед Эдуарда. Эдуард к тому времени уже взял себе в жены дочь Годвина и тоже оказался под сильным влиянием уэссекского эрла, но народ его полюбил.

— Эдуард — добрый король, — сказал Маркэм Робу. — Он построил целый флот черных кораблей, таких, как надо.

— Я их видел, — кивнул Роб. — А быстры ли они?

— Хватает, чтобы держать пиратов подальше от морских путей.

После всех этих рассказов о королях, к тому же сдобренных кабацкими прибаутками и воспоминаниями рассказчиков, глотки изрядно пересохли и срочно требовали влаги. Надо было ведь и тосты поднять — за обоих покойных братьев и, уж конечно, за ныне

здравствующего Эдуарда, властелина королевства. Так вышло, что несколько вечеров подряд Роб забывал о своей слабости перед крепкими напитками и возвращался из «Лисы» домой, на улицу Темзы, покачиваясь и пошатываясь, а Мэри приходилось раздевать и разувать сердитого пьянчугу и укладывать в постель.

Печальные складки на ее лице залегли еще глубже.

— Любимый, — сказала она ему однажды, — давай уедем отсюда.

— Отчего же? Да и куда мы уедем?

— Можно поселиться в Килмарноке. Там ведь принадлежащее мне имение, там мои родичи, они рады будут приветить моего мужа и сыновей.

— Надо быть более справедливыми к Лондону, не стоит так спешить, — мягко возразил ей Роб.

Он был далеко не дурак и дал зарок вести себя осмотрительнее в «Лисе», да и захаживать туда пореже. Но Роб не стал говорить жене, что Лондон для него — страна детских грез, нечто куда большее, чем просто город, где можно жить и работать лекарем. В Персии он привык ко многому такому, что вошло в его плоть и кровь, а здесь было совершенно неизвестным. Он горячо мечтал о свободном обмене идеями врачевания, как это было принято в Исфагане. Но для этого требовалась больница, а Лондон — отличное место для основания такого маристана.

* * *

В том году затяжная холодная зима сменилась дождливым летом. По утрам густой туман окутывал берега Темзы. Если в какой-то день не было дождя, то ближе к полудню солнце все же пробивалось сквозь серую пелену, и город сразу же пробуждался к жизни. Робу особенно нравилось гулять в такое время, когда все как бы возрождается к жизни. В один особенно погожий денек туман рассеялся как раз тогда, когда Роб проходил мимо купеческой пристани. Там множество рабов складывали штабелями чугунные чушки для погрузки на корабль.

Из тяжелых слитков металла успели сложить уже двенадцать штабелей. Штабеля вышли слишком уж высокими, а может быть, земля под одним рядом была неровной. Роб залюбовался сверкающим под лучами солнца мокрым металлом, и тут ломовой извозчик, громко крича на лошадей, щелкая бичом и натягивая вожжи, заставил своих грязно-белых лошадок попятиться слишком далеко и слишком быстро — задок тяжелой подводы с грохотом врезался в один из штабелей.

Давным-давно Роб поклялся себе, что его дети не будут играть у причалов. Он не выносил подвод, а когда встречал их, то не мог не вспомнить брата Сэмюэла, который погиб под колесами вот такой тяжело груженной телеги. И вот теперь он с ужасом наблюдал подобный несчастный случай своими глазами.

Чугунная болванка на самом верху штабеля подалась вперед, покачалась у края и заскользила вниз, увлекая за собой две другие.

Раздался громкий предостерегающий крик, люди заметались, но два раба оказались позади всех своих товарищей. Они упали и отчаянно пытались подняться на ноги, и тут на одного из двоих обрушилась всем своим весом чугунная чушка, мгновенно выбив дух из несчастного. Другая болванка ударила своим концом по правой ноге второго раба, и его

вопли побудили Роба действовать.

— Давайте, вытаскивайте их из-под болванок. Быстрее. Ну, осторожнее! — командовал он, и полдюжины рабов подняли болванки, освобождая пострадавших. Роб велел отнести раненых подальше от штабелей. Одного взгляда хватило, чтобы удостовериться: тот бедняга, на все тело которого пришелся удар, уже мертв. У него была раздавлена грудная клетка, а гортань разорвана, отчего он задохнулся, и лицо его успело налиться кровью и потемнеть.

Второй раб уже не вопил, он лишился чувств, когда его переносили. Что ж, оно и к лучшему. Ступня и щиколотка были страшно изувечены, вылечить их Роб был не в силах. Он отправил одного раба к себе домой — взять у Мэри набор хирургических инструментов. Пока раненый оставался без сознания, Роб надрезал кожу повыше перелома и завернул ее наподобие клапана, затем стал рассекать ткани и мышцы.

От этого человека исходил особенный запах, резкий и неприятный, заставивший Роба разволноваться и даже испугаться. То был запах человека, уподобившегося животному, многократно проливавшему пот на тяжелой работе, пока его запах не впитался в нестиранные лохмотья и не стал частью самого человека, как и его бритая голова раба или нога, которую Роб собирался ампутировать. И Роба это заставило вспомнить двух других рабов-грузчиков с таким же точно неприятным запахом, — тех, которые принесли его отца с причала в дом, где ему предстояло вскорости умереть.

— Что это вы тут, к чертям собачьим, делаете и что вы себе думаете?

Роб поднял голову и с трудом сумел сохранить спокойствие на лице: рядом с ним стоял не кто иной, как человек, которого не столь уж давно он видел в Персии, в домике Иессея бен Беньямина.

— Лечу человека.

— Но ведь мне сказали, что вы лекарь!

— Вам правильно сказали.

— Я Чарльз Босток, купец, ведущий заморскую торговлю, хозяин этого склада и всего причала. И уж поверьте, я вовсе не такой непроходимый дурак, чтобы для раба нанимать лекаря!

Роб только пожал плечами. Его набор инструментов принесли, и он уже был готов к операции. Взял пилу для костей, отделил покалеченную ступню и зашил клапан кожи вокруг культи, из которой сочилась кровь, так аккуратно, что сам аль-Джуджа-ни не нашел бы, к чему придраться.

— Я свою мысль выразил предельно ясно, — обратился к нему остававшийся поблизости Босток. — Платить вам я не собираюсь. От меня вы и полпенни не получите.

Роб кивнул. Он осторожно похлопал раненого двумя пальцами по щекам, тот застонал.

— Так вы кто?

— Роберт Коль, лекарь с улицы Темзы.

— Мы не знакомы с вами, мастер?

— Насколько я понимаю, нет, мастер купец.

Роб собрал инструменты и откланялся. В конце пристани он рискнул оглянуться на купца. Босток стоял то ли остолбенев, то ли в чем-то сильно сомневаясь и не сводил глаз с удалявшегося Роба.

Он убеждал себя, что в Исфагане Босток видел перед собой еврея в персидском наряде, в тюрбане, с кустистой бородой — экзотического восточного еврея Иессея бен Беньямина. А на причале купец говорил с Робертом Джереми Колем, свободным лондонским горожанином в простой английской одежде, а лицо, как хотелось надеяться, изменила коротко подстриженная борода.

Вполне вероятно, Босток так его и не вспомнит. Но и что вспомнит, тоже вероятно.

Роб не мог оставить этот вопрос, как собака — кость. Он не так сильно боялся за себя (хотя он таки *боялся*), как тревожился о том, что станет с его женой и сыновьями, если его постигнет беда.

Поэтому, когда Мэри в тот вечер снова завела речь о Килмарноке, Роб слушал ее и начинал соображать, что необходимо сделать.

— Как бы мне хотелось, чтобы мы переехали туда, — говорила ему Мэри. — Как сильно мне хочется пройти по той земле, которая принадлежит мне, и снова оказаться среди своих родственников и вообще шотландцев!

— Мне необходимо кое-что сделать здесь, — медленно проговорил Роб. Взял жену за руки. — Но тебе с малышами лучше уехать в Килмарнок, без меня.

— Без тебя?!

— Без меня.

Мэри застыла на стуле, как изваяние. Лицо так побелело, что скулы, казалось, выступили еще сильнее и по-новому оттеняют ее тонкое лицо. Она всматривалась в мужа расширившимися глазами. Уголки рта, всегда безошибочно выдававшие все ее чувства, говорили о том, как не нравится ей это предложение.

— Если ты так желаешь, то мы поедем, — ответила она ровным голосом.

В следующие несколько дней Роб несколько раз передумывал, снова решал и снова передумывал. Никто не поднял шума, не было никаких оснований для тревоги. За ним не пришли вооруженные стражники. Становилось ясно: хотя лицо его показалось Бостоку знакомым, купец не смог опознать в нем Иессея бен Беньямина.

Ему хотелось сказать жене, что уезжать никуда не надо.

Несколько раз он чуть было не сказал так, но что-то все время не давало ему произнести эти слова. Глубоко в душе у него поселился темный страх, а значит, не будет ничего плохого, если Мэри с мальчиками на время окажется подальше, в безопасности.

Они снова обсудили это дело вдвоем.

— Если бы ты мог отправить нас до порта Данбар... — сказала Мэри.

— А что там, в Данбаре?

— Там семья Макфи. Родственники Калленов. А уж они позаботятся о том, чтобы мы благополучно попали в Килмарнок.

Попасть в Данбар оказалось совсем не трудно. Близился конец лета, и корабли отчаливали от лондонских пристаней один за другим: купцы торопились побыстрее совершить последнее короткое путешествие, пока не начнутся бури и не закроют Северное море до новой весны. В «Лисе» Роб узнал, что есть один пакетбот, который заходит и в Данбар. Назывался он «Эльфги-фу» — в честь матушки Гарольда Заячьей лапы, а капитаном на нем был седой датчанин. Капитан весьма обрадовался трем пассажирам, которые деньги платят, а едят не много.

«Эльфгифу» отплывала меньше чем через две недели, поэтому готовиться к отъезду надо было сразу: чинить платье, решать, какие вещи Мэри возьмет с собой, а какие нет.

И вдруг оказалось, что до отплытия остается два-три дня.

— Я приеду за тобой в Килмарнок, как только смогу.

— Точно приедешь?

— Конечно!

Ночью, накануне отплытия, она сказала мужу:

— Если ты не сможешь приехать...

— Я непременно приеду.

— Ну... если не сможешь. Если так или иначе мы окажемся вдали друг от друга, ты должен знать: мои родичи воспитают мальчиков настоящими мужчинами.

Эти слова не столько успокоили Роба, сколько растрожили, и он пожалел о том, что сам предложил расстаться.

Они жадно обнимали и ласкали друг друга, не пропуская ни одного хорошо изученного уголка, подобно слепым, которые хотят сохранить память о прикосновениях. Они предавались любви как-то печально, словно знали, что это в последний раз. Когда все было позади, Мэри беззвучно заплакала, и Роб молча продолжал держать ее в нежных объятиях. Каждому из них было что сказать другому, но слова не шли с языка.

На рассвете Роб проводил их на борт «Эльфгифу». Корабль был построен по образу и подобию прочных ладей викингов, но в длину имел всего шагов тридцать, с открытым настилом вместо палубы. Одна мачта, в четыре человеческих роста, с большим квадратным парусом, корпус сбит из толстых дубовых досок внахлестку. Черные королевские корабли не подпустят морских пиратов к берегу, а «Эльфгифу» станет причаливать к берегу всякий раз, когда нужно доставить почту, взять небольшой груз, а также при первых признаках приближающейся бури. На таком корабле путешествовать безопаснее всего.

Роб стоял на причале. Лицо Мэри стало непроницаемым — эту броню, помогавшую ей противостоять опасностям окружающего мира, она всегда надевала в трудные минуты. Кораблик только слегка покачивался на речных волнах, но несчастный Там уже позеленел и выглядел очень невеселым.

— Надо разрабатывать ему ногу постоянно, — прокричал Роб жене и руками показал, как делают массаж. Мэри кивнула в знак того, что поняла. Матрос выбрал швартовы, и корабль очутился на свободе. Двадцать гребцов налегли разом на весла, сильный отлив тут же подхватил судно. Мэри как заботливая мать усадила сыновей на тюки груза в самой середине ко-рабля — там, где невозможно упасть за борт. Потом перегнулась через борт и что-то прокричала Робу, пока ставили парус.

— Счастливо оставаться, папочка! — тут же отчетливо расслышал он послушные тоненькие голоса.

— С Богом! — напутствовал их Роб.

Очень скоро они скрылись из виду, хотя Роб стоял все на том же месте и напрягал глаза, вглядываясь в отплывших. Ему даже не хотелось уходить с причала — так поразила его внезапная мысль, что он снова оказался в том же положении, что и девятилетний мальчик, не имеющий в Лондоне ни семьи, ни друзей.

В том году, в девятый день ноября, весь Лондон только и говорил, что о женщине по имени Джулия Свейн — ее схватили по обвинению в ведовстве. Обвинители утверждали, что она превращала свою дочь Глинну, шестнадцати лет, в летучую лошадь и так безжалостно ее гоняла, что девушка потом лежала без сил.

— Если правду люди говорят, — сказал Робу хозяин дома, — то как это гнусно и отвратительно — так поступать с собственным ребенком!

А Роб страшно скучал по своим детям и их матери. Первый шторм разыгрался на море через четыре с лишним недели после их отплытия, когда они уж точно должны были высадиться в Данбаре, но Роб молился: где бы они ни были, пусть пережидают всякую бурю в безопасных местах.

Сам же он снова бродил в одиночестве, посетил все знакомые с детства места Лондона, не оставил вниманием и новые кварталы, возникшие с тех пор, как он мальчишкой покинул этот город. Стоял перед Домом короля, когда-то казавшимся ему воплощением царственного величия, и дивился разительному отличию европейской незатейливости от изысканного великолепия Райского дворца. Король Эдуард почти все время проводил в своем замке в Винчестере, но как-то утром Роб, наблюдая из-за ворот дворца, увидел его молча прогуливающимся в сопровождении приближенных и воинов охраны. Король был глубоко погружен в собственные мысли. Выглядел он старше своих сорока с небольшим лет. Поседел он, как говорили, еще в ранней молодости, когда узнал о том, что Гарольд Заячья лапа сделал с его братом Альфредом. Робу Эдуард показался далеко не таким царственным повелителем, каким был Ала-шах, однако — напомнил себе Роб — Ала-шаха давно нет, а Эдуард пребывает в живых.

Осень с самого Михайлова дня ^[208]сделалась холодной, задули пронизывающие ветра. Зима началась рано, но оказалась теплой, с обильными дождями. Роб часто думал о своих, жалея, что не знает точно, когда они прибыли в Килмарнок. Одиночество то и дело гнало его в «Лису», однако он старался сдерживаться и не пить слишком много, ибо не желал снова, как в юности, превратиться в пьяницу и забияку. Впрочем, выпивка не приносила облегчения, а скорее погружала его в меланхолию: Роб чувствовал, как идет по стопам своего отца, завсегдатая пивных. Из-за этого он отворачивался и от продажных и доступных женщин, которые казались еще привлекательнее от того, что Роба мучило острое неудовлетворенное желание. С горечью Роб твердил себе, что пить он может, но не должен полностью уподобиться Натанаэлю Колю, женатому развратнику.

Подошло Рождество, и Робу стало еще грустнее — ведь этот праздник необходимо отмечать в кругу семьи. В самый день Рождества он пошел в «Лису» и заказал там обед: студень из свиной головы и говяжьих ножек, пирог с бараниной и побольше меду, чтобы было чем запить это все. После обеда Роб возвращался домой и увидел, что два матроса избивают незнакомца; кожаная шляпа жертвы валялась в грязи, а одет он был в черный кафтан. Один матрос удерживал, заломив за спину, руки этого человека, а другой наносил беспощадные удары.

— Прекратите, черт бы вас побрал!

Тот, кто бил, сделал передышку.

— Шел бы ты своей дорогой, господин, пока мы тебя не трогаем.

— А что он вам сделал?

— Преступление совершилось тысячу лет назад, а теперь мы отправим этого вонючего еврея-французишкудохлым в его Нормандию.

— Оставьте его в покое.

— А, ну раз он тебе так нравится, ты отсоси ему как следует, а мы посмотрим.

Хмель всегда пробуждал в Робе желание подраться с кем-нибудь, а потому он не стал раздумывать долго. Его кулак врезался прямо в неприветливую и отталкивающую физиономию. Сообщник отпустил еврея и отбежал подальше, а первый матрос тем временем поднялся на ноги.

— Ублюдок! Ты и кровь Спасителя стал бы пить из чаши этого треклятого еврея!

Роб не стал гнаться за убегающими. Еврей, рослый мужчина, стоял ссутулившись, из носу его шла кровь, губы разбиты, но плакал он, казалось, больше от пережитого унижения, нежели от физической боли.

— Вот так так, что это здесь происходит? — поинтересовался подошедший к ним человек с вьющимися рыжими волосами и курчавой рыжей бородой, с крупным носом, на котором проступали багровые жилки.

— Да ничего особенного. На этого человека напали разбойники.

— Хм-м-м... А вы уверены, что это не он был зачинщиком?

— Вполне.

Еврей уже овладел собой и смог заговорить. Ясно было, что он горячо благодарит своего спасителя, но говорил он по-французски, легко и плавно.

— Вам этот язык знаком? — спросил Роб рыжеволосого. Тот укоризненно покачал головой. Робу хотелось заговорить с евреем на их наречии и пожелать ему более спокойного Праздника огней [\[209\]](#), но в присутствии постороннего он на это не отважился. Наконец еврей подобрал свою шляпу и пошел своей дорогой, как и рыжеволосый.

У самого берега реки Роб нашел небольшую пивную и вознаградил себя красным вином. В помещении было темно и душно, а потому он забрал небольшой кувшин с вином и пошел пить на причал, устроившись на сваях, которые забивал, возможно, его отец. Его вымочил дождь и исхлестал ветер, серая вода под причалом угрожающе вздымалась волнами.

Роб был доволен. В какой еще день лучше всего предотвратить новое распятие?

Вино было отнюдь не царским напитком, оно обжигало гортань, и все-таки Робу оно понравилось. В конце концов, он сын своего отца и вправе получать удовольствие от напитка, если уж решил выпить.

Да нет, преображение уже произошло, он стал Натанаэлем Колем. Его отец — это он сам. Но каким-то непостижимым образом он сознавал, что в то же время является и Мирдином, и Каримом. И Ала-шахом, и Дханом Вангалилом. И Абу Али аль-Хусейном ибн Абдаллой ибн Синой (да-да, в особенности Ибн Синой!) ... Но он был также и тем толстым разбойником, которого убил много лет тому назад, и благочестивым старым козлом Давутом Хосейном...

С ясностью, которая подействовала на него крепче вина, Роб понял, что в нем соединились все остальные люди, каждый из них стал его частью. И когда он сражался с трижды проклятым Черным Рыцарем, он всего лишь боролся за собственную жизнь. Сейчас ему, пьяному и одинокому, впервые открылась эта истина.

Допив вино, он поднялся со свай. Прихватив пустой кувшин, который вскоре предстоит

наполнить каким-нибудь лекарством, а быть может, чьей-то мочой, подлежащей анализу за приличное вознаграждение, он пошел — вместе со всеми людьми, составлявшими его — осторожными, заплетающимися шагами, направляясь с причала к безопасной пристани дома на улице Темзы.

* * *

«Не для того я остался здесь без жены и детей, чтобы превратиться в жалкого пьянчугу», — укорял себя Роб на следующее утро, когда в голове у него прояснилось.

Он вознамерился заняться лечением больных, как полагается, и пошел в лавку, где продавались травы — она помещалась в конце улицы Темзы. Надо было пополнить свои лекарственные запасы, а в Лондоне легче было купить некоторые травы, чем собирать их на лугах и в лесах. Он еще раньше познакомился с хозяином этой лавки — невысоким суетливым человеком по имени Рольф Поллард. Робу он показался вполне сведущим аптекарем.

— Куда мне обратиться, чтобы наладить связи с другими лекарями? — поинтересовался у него Роб.

— Ну, здесь все ясно, мастер Коль, — в Лицей. Так называется собрание, где регулярно встречаются лекари нашего города. Подробности мне неизвестны, но их должен знать господин Руфус, — и показал на человека, стоявшего в противоположном конце комнаты — тот принялся к высушенной веточке портулака, стараясь определить, насколько крепко держится запах.

Поллард проводил Робу через всю свою лавку и познакомил с Обри Руфусом, лекарем с улицы Фенчерч.

— Я рассказал мастеру Колю о Лицее лекарей, — сказал аптекарь, — да вот не мог припомнить никаких подробностей.

Руфус, рассудительный на вид человек, лет на десять старше Робу, пригладил рукой редущие волосы и довольно любезно кивнул.

— Собрания проводятся каждый месяц, в первый понедельник вечером, когда наступает час обеда, в зале над таверной Иллингурта на Корнхилле. Это хороший предлог, чтобы предаться обжорству. Еду и напитки каждый покупает себе за свои деньги.

— Требуется ли специальное приглашение?

— Вовсе нет. Туда может прийти любой лондонский лекарь. Но, если вам так хочется получить приглашение — что ж, я вас прямо сейчас и приглашаю, — приветливо откликнулся Руфус, и Роб с улыбкой поблагодарил его, а затем откланялся.

Так получилось, что в слякотный первый понедельник нового года он отправился к таверне Иллингурта и оказался в компании двух десятков практикующих лекарей. Они сидели за столами, потягивали напитки, переговаривались и смеялись, а когда вошел Роб, стали исподволь с любопытством разглядывать его, как всякая компания разглядывает новичка.

Первым, кого он узнал, был Ханн, который при виде Робу помрачнел и прошептал что-то на ухо своему соседу. Но Обри Руфус, сидевший за другим столом, помахал Робу рукой, приглашая его к себе. Представил Робу четырех сидевших за столом лекарей, не забыл и им сказать, что Роб недавно приехал в их город и занялся практикой на улице Темзы.

Четыре пары глаз изучали вновь прибывшего с разной степенью мрачности и настороженности, подобно тому взгляду, которым встретил его Ханн.

— У кого вы были учеником? — поллюбопытствовал коллега по имени Брейс.

— Учился я у лекаря Гепманна в городе Фрейзинге, в королевстве Восточных франков. — То была фамилия хозяина дома, где семья Колей жила во время пребывания во Фрейзинге.

— Хм-м-м, — протянул Брейс, явно не слишком доверявший чужеземным лекарям. — И долго ходили в учениках?

— Шесть лет.

От дальнейших расспросов их отвлекла поданная еда: пережаренная птица с пареной репой и эль — его Роб пил умеренно, не желая сразу выставлять себя на посмешище. После обеда выяснилось, что Брейс нынче вечером читает основной доклад. Говорил он о применении стеклянных банок и предупреждал коллег-лекарей, что оные надлежит хорошенько разогреть, ибо не что иное, а именно тепло, впитанное стеклом, притягивает к себе дурную кровь, заставляя ее скапливаться у поверхности кожи, а удалить ее позволяет последующее кровопускание.

— Вам следует наглядно показать пациентам свою уверенность в том, что повторяемые неоднократно банки и кровопускания принесут им выздоровление, дабы тем сообщить больным доброе настроение и веру в успех, — рассуждал Брейс.

Обсуждение было худо подготовлено, но из выступлений Роб сумел понять: когда ему было одиннадцать лет, он уже узнал от Цирюльника о том, как ставить банки и делать кровопускания, когда применять эти средства, а когда воздерживаться от них — узнал больше, чем многие из присутствующих здесь лекарей.

Лицей, таким образом, быстро разочаровал его.

Всех этих лекарей, казалось, занимает в первую очередь одно — вознаграждения и доходы. Руфус с завистью подтрунивал над председательствующим, королевским лекарем, именем Драйфилд, потому что тот каждый год получал жалованье и платье.

— Но ведь можно получать постоянное жалованье за лечение больных и при этом не состоять на королевской службе, — заметил Роб. Вот теперь он завладел их вниманием.

— Как такое возможно? — задал вопрос Драйфилд.

— Лекарь может работать в больнице — лечебном учреждении, цель которого состоит в лечении больных и достижении понимания природы болезней.

Некоторые смотрели тупо, ничего не поняв, но Драйфилд кивнул.

— Эта идея пришла к нам с Востока и постепенно распространяется. Мы уже слышаны о больнице, недавно учрежденной в Салерно, и о давно существующем в Париже Отель-Дье. Позвольте, однако, предупредить вас: в Отель-Дье людей отправляют умирать и сразу забывают о них, это поистине адское заведение.

— Больница не обязательно должна уподобляться Отель-Дье, — возразил Роб, досадуя, что не может поведать им о ма-ристане. Тут вмешался Ханн:

— Не исключая, что такая система может действовать успешно в странах неразвитых, но ведь английские лекари обладают большей независимостью духа, они и свои доходы должны получать независимой деятельностью.

— Я полагаю, что медицина — это куда важнее, нежели просто доходы, — миролюбиво возразил ему Роб.

— Она значит меньше, чем доходы, — парировал Ханн. — Вознаграждения ныне не

слишком высоки, а в Лондон то и дело прибывают босоногие новички. С чего это вы взяли, что медицина важнее доходов?

— Она есть призвание, мастер Ханн, — ответил ему Роб. — Все равно как глас Божий, призывающий иных людей служить в церкви.

Брейс испустил возмущенный возглас, но председатель, сытый по горло пререканиями, откашлялся.

— Кто предложит темы для обсуждения в следующем месяце? — спросил он присутствующих. Наступила полная тишина.

— Давайте, давайте, каждый должен внести вклад в общее дело, — нетерпеливо проговорил Драйфилд.

Роб понимал, что на первом же своем собрании набиваться в докладчики не годится, но ведь никто больше не произносил ни слова, и наконец он решился заговорить:

— Я сделаю доклад, если будет на то ваше согласие.

У Драйфилда удивленно поднялись брови.

— И на какую же тему, мастер?

— Я буду говорить о лечении болезни, поражающей низ живота.

— Поражающей низ живота? Мастер... э-э-э, Кроу — так?

— Коль.

— Да, мастер Коль. Ну что же, вот и отлично, обсудим болезнь, поражающую низ живота, — заключил председатель.

* * *

Джулия Свейн, обвиненная в ведовстве, покаялась в совершенном преступлении. У нее на внутренней стороне нежной белой руки, чуть пониже левого плеча, обнаружили характерное для ведьмы пятнышко. Дочь Глинна дала показания: Джулия со смехом удерживала ее, пока с нею совокуплялся некто — как считала девушка, то был сам Сатана. Несколько жертв ведьмы обвиняли ее в наведении порчи. Уже будучи привязана к специальному сиденью, на котором ее должны были окунать в ледяные воды Темзы, Джулия решила признаться во всем и теперь изо всех сил помогала служителям церкви, искоренявшим зло. Рассказывали, что те подолгу допрашивали ее обо всем, что касается ведовства и применяемых ведьмами способов. Роб старался обо всем этом не задумываться.

Он купил себе толстоватую серую кобылу и пристроил ее в бывшие конюшни Эгльстана — теперь они принадлежали человеку по фамилии Торн. Кобыла была уже немолода и ничем не замечательна, но ведь ему не в конное поло играть на ней, убеждал себя Роб. Когда его вызывали к больным, он ехал верхом, а иные пациенты и сами находили дорогу к его дому. Время года было такое, что часто случались воспаления гортани. Роб, конечно, предпочел бы лечить их персидскими снадобьями: тамариндом, гранатами, растолченными в порошок винными ягодами — но приходилось делать снадобья из того, что имелось под рукой. А имелись портулак, вымоченный в розовой воде (он годился для полосканий воспаленного горла), настой сушеных фиалок, который помогал от головной боли и от жара, сосновая смола, смешанная с медом — ее ели, чтобы уменьшить кашель и образование мокроты.

Один из обратившихся к Робу больных назвался Томасом Гудом. Волосы и борода у него

были цвета моркови, а нос потерял всякий цвет. Его лицо показалось Робу знакомым, и вскоре он вспомнил, что именно этот человек был свидетелем того происшествия с евреем и двумя матросами. Симптомы, на которые он жаловался, напоминали гнойное заболевание десен, однако во рту не было гнойничков, не было у пациента и жара, и горло не покраснело, да и вообще он был слишком энергичен для больного. По сути дела, он все время задавал вопросы, касающиеся лекаря: у кого тот учился? А что, живет он один? Как, у него нет ни жены, ни детей? Давно ли лекарь проживает в Лондоне? А приехал он откуда?

Тут и слепому было понятно: этот человек никакой не больной, а просто соглядатай. Роб ничего ему на расспросы не ответил, прописал сильное слабительное, которое тот все равно не станет принимать, и поспешил выпроводить, не отвечая на новый поток вопросов.

Но сам визит чрезвычайно обеспокоил Роба. Кто подослал этого Гуда? Кого так интересовали ответы на все эти вопросы? И случайно ли вышло так, что этот человек стал свидетелем столкновения Роба с двумя матросами?

На следующий день кое-что прояснилось. Роб пошел в лавку аптекаря, чтобы купить еще трав для приготовления лекарств, и снова встретил там Обри Руфуса, пришедшего по такому же делу.

— Ханн злословит о вас, как только может, — поведал он Робу. — Говорит, что вы чересчур самоуверенны, а внешность выдает в вас негодяя и головореза. Поэтому он вообще сомневается в том, что вы лекарь. Он стремится закрыть членство в Лицее для тех, кто учился ремеслу не в Англии.

— И что же вы мне посоветуете?

— Да просто не обращайтесь внимания, — ответил Руфус. — Всем же ясно: он не может смириться с тем, что пришлось делить улицу Темзы с вами. И всем известно, что за лишнюю монету Ханн готов родного дедушку задушить. Оттого и верить ему никто не станет.

Роб вернулся к себе на улицу Темзы успокоенным. Он решил, что рассеет все сомнения касательно своего образования, и с усердием, будто готовился к лекции в медресе, взялся за доклад о болезни, поражающей низ живота. Настоящий Лицей — в древних Афинах — был той школой, где преподавал сам Аристотель. Роб не Аристотель, но он воспитанник Ибн Сины и сумеет показать этим лондонским лекарям, каким должен быть доклад на темы врачевания болезней.

* * *

Интерес у них, конечно, был. Ведь любому из собравшихся в Лицей случалось терять пациентов, которые страдали от бо-ли в правой нижней части живота. Но встретили они доклад дружными насмешками.

— Червячок? — посмеивался косоглазый лекарь по имени Сарджент. — Маленький розовенький червячок в животе?

— Червеобразный отросток, мастер, — сухо ответил Роб. — Он прикрепляется к слепой кишке. И может загноиться.

— Но на рисунках Галена мы не видим никакого червеобразного отростка на слепой кишке, — сказал Драйфилд. — Цельс, Разес, Аристотель, Диоскорид — кто из них писал с таком отростке?

— Ни один не писал. Из чего не следует, что такого отростка в этом месте не

существует.

— Вам случалось препарировать свинью, мастер Коль?

— Случалось.

— Ну, тогда вы должны знать, что внутренности свиньи подобны человеческим. Замечали ль вы когда-нибудь у свиньи розовый отросток на слепой кишке?

— Да то была маленькая розовая колбаска, мастер! — воскликнул какой-то остроумец, и все присутствующие расхохотались.

— Внутреннее строение свиньи представляется таким же, как у человека, — терпеливо сказал Роб. — Однако же есть и некоторые незначительные отличия. К числу таковых относится и маленький отросток, наблюдаемый на слепой кишке человека. — Он развернул свой рисунок Прозрачного Человека и железными гвоздями прикрепил его к стене. — Вот о чем я говорю. Здесь этот отросток изображен на ранней стадии воспаления.

— Предположим, что болезнь, поражающая низ живота, вызвана именно теми причинами, о которых вы толкуете, — сказал один лекарь с сильным датским акцентом. — Какое же лечение вы предлагаете?

— Я не знаю средства против этой болезни.

Послышались возмущенные возгласы.

— Но тогда какая разница — знаем мы природу заболевания или не знаем?

Его поддержали выкриками и другие, в своей единомышленной неприязни к новичку позабыв о том, как сильно не любят англичане датчан.

— Медицина подобна медленному возведению здания, — сказал им Роб. — Благословен тот из нас, кто сумеет добавить в него хотя бы один кирпичик. Коль уж мы способны объяснить природу болезни, то некто, пока еще не родившийся, сможет отыскать и способ ее лечения.

Послышался новый ропот возмущения. Все столпились у стены, рассматривая Прозрачного Человека.

— Это вы рисовали, мастер Коль? — спросил Драйфилд, заметивший подпись.

— Отличная работа, — заметил председатель. — Что послужило вам моделью?

— Мужчина, у которого был разорван живот.

— Следовательно, вы видели лишь один подобный отросток, — сказал Ханн. — Несомненно, голос Всевышнего, возвестивший вам о *призвании* нашему ремеслу, сообщил вам также, что этот маленький розовый червячок имеется у всех и каждого?

Эта реплика вызвала новый взрыв смеха, и Роб позволил себе дать отповедь:

— Я действительно полагаю, что отросток слепой кишки *имеется* у всех людей. Я видел его не у одного человека.

— Ну, скажем... у... четырех?

— Не менее чем у шести человек.

Теперь они устали не на рисунок, а на самого Роба.

— Полдюжины, мастер Коль? Как же вам удалось заглянуть внутрь шести человек? — спросил его Драйфилд.

— У некоторых животы оказались распороты вследствие несчастных случаев, другие стали жертвами боевых стычек или поножовщины. Отнюдь не все они были моими пациентами, а сами эти случаи встречались мне на протяжении длительного времени. — Роб сам почувствовал, как нелепо это звучит.

— Не только мужчины, но и женщины? — уточнил Драйфилд.

— В их числе были и женщины, — неохотно ответил Роб.

— Хм-м-м, — протянул председатель, ясно давая понять, что считает Роба лжецом.

— А женщины пострадали, надо полагать, на поединках? — бархатным голосом осведомился Ханн, и на этот раз от смеха не удержался даже Руфус. — Мне это, право же, представляется чудесным совпадением, что вам удалось заглянуть во внутренности столь большого числа людей, — продолжал Ханн. Роб увидел, какой свирепой радостью загорелись глаза противника, и понял, что решение прочитать лекцию в Лицее было ошибочным с самого начала.

* * *

Джулии Свейн не удалось избежать вод Темзы. В последний день февраля на рассвете более двух тысяч человек собрались полюбоваться и порадоваться тому, как ее зашивают в мешок вместе с петухом, змеей и большим камнем, а затем бросают в глубокий пруд в Сент-Джайлсе.

Роб не пошел смотреть утопление. Вместо этого он отправился на причал Бостока — узнать, что стало с тем невольником, которому он ампутировал ступню. Человека этого нигде было не видно, а нелюбезный надсмотрщик лишь сообщил, что раба услали из Лондона в другое место. Роб весьма опасался за него, понимая, что сама жизнь раба всегда зависит от того, способен ли он трудиться. На пристани он увидел и другого раба, спина которого была исполосована плетью до крови, и следы ударов глубоко отпечатались на теле. Вернувшись к себе, Роб приготовил целебную мазь из козьего жира, свиного сала, растительного масла, ладана и окиси меди. Потом снова пошел на причал и смазал лекарством воспаленную спину раба.

— Эй, что тут, черт возьми, происходит?

На них стремительно надвигался надзиратель, и раб убежал прочь, хотя Роб еще не закончил обрабатывать его раны.

— Этот причал принадлежит мастеру Бостоку. Ему известно, что вы здесь?

— Вот это совершенно не важно.

Надзиратель сверкнул глазами, но дальше спорить не посмел, а Роб рад был убраться с причала Бостока без дальнейших неприятностей.

К нему приходили и денежные пациенты. Одну бледную даму, непрерывно рыдавшую, он вылечил от поноса, давая ей кипяченое коровье молоко. Обратился к нему один процветающий корабел — куртка у него промокла от крови, потому что на запястье была глубокая рана и кисть наполовину отделилась от предплечья. Человек этот охотно признал, что сам поранился ножом — находясь изрядно под хмельком, пытался было свести счеты с жизнью.

Он едва и не расстался с нею, остановившись у самой кости. Проводя вскрытия в морге маристана, Роб выяснил, что артерия в запястье проходит как раз возле костл. Будь порез на волосок глубже, этот человек вполне удовлетворил бы свое пьяное желание умереть. Но ограничилось все тем, что он перерезал сухожилия, направлявшие движения большого и указательного пальцев. Роб зашил и перевязал рану, но эти пальцы остались неподвижными и нечувствительными.

— Смогу ли я снова двигать ими?

— Это уж как Бог положит. Вы неплохо поработали; если попробуете снова, думаю, вы себя убьете. А из этого следует: хотите жить, оставьте крепкие напитки.

Роб опасался, что этот человек может повторить свою попытку.

Стоявшее на дворе время года требовало запасов слабительного, ибо всю зиму люди были лишены зелени, а потому Роб приготовил настойку ревеня. Через неделю все его запасы вышли.

Лечил он человека, которого осел укусил в шею, вскрыл уйму чирьев, вправил вывихнутую кисть, срастил сломанный палец. Как-то среди ночи перепуганная женщина позвала его в дом по улице Темзы, но довольно далеко — в те края, которые сам Роб считал «ничейной землей», как раз посередине между его жилищем и домом Ханна. Оно бы и лучше было, обратись она к Ханну, потому что муж ее заболел не на шутку. Он был конюхом в конюшнях Торна и дня три назад порезал большой палец, а сегодня слег с болями в поясице. Челюсти у него были плотно сомкнуты, на губах выступила пена, едва пробивающаяся сквозь стиснутые зубы, а все тело напоминало согнутый лук: он приподнял поясицу и лежал, опираясь на пятки и затылок. Роб раньше не видел таких больных сам, но знал по описаниям в трудах Ибн Сины. Это был столбняк, или спинной спазм. Как его лечить, никто не знал, и пациент умер еще до наступления утра.

После выступления в Лицее у Роба остался неприятный осадок. В первый понедельник марта он заставил себя посетить очередное собрание в качестве безмолвного зрителя, но ошибка уже была допущена и он увидел, что на него все смотрят как на глупого хвастуна, который склонен предаваться нелепым фантазиям. Одни насмешливо улыбались ему, другие смотрели холодно. Обри Руфус не пригласил его в свою компанию, а когда их взгляды встретились, отвел глаза. Роб присел за стол с незнакомыми людьми, которые избегали к нему обращаться.

Нынешний доклад касался переломов плеча, предплечья и ребер, а также вывихов челюсти, плеча и локтя. Докладывал толстенный коротышка, именем Тайлер, и это был жалкий доклад, изобилующий столь многими ошибками как фактическими, так и касающимися способов лечения, что костоправ Джалал пришел бы от него в великий гнев. Роб только сидел и молчал.

Когда докладчик окончил речь, беседа перешла на утопление ведьмы.

— Поймают еще и других, попомните мои слова, — сказал Сарджент. — Ведьмы же занимаются своим ремеслом не в одиночку. А мы, осматривая людские тела, должны примечать дьявольские отметины и сообщать о них.

— Мы должны постараться вести себя выше всякой критики, — задумчиво проговорил Драйфилд, — ибо многие считают, что лекари близки по ремеслу к ведьмам. Приходилось слышать, что такой лекарь-ведун может вызвать у больного пену на губах и заставить того застыть, как мертвого.

Роб с тревогой подумал о конюхе, который заболел столбняком, но пока что к Робу никто не приставал и никто ни в чем не обвинял.

— А чем еще отличается мужчина-ведун? — поинтересовался Ханн.

— Они выглядят как самые обычные люди, — ответил ему Драйфилд, — хотя некоторые утверждают, что они обрезают себе член на манер язычников.

У Роба от страха съезжилась его собственная мошонка. При первой же возможности он покинул собрание, зная, что уже не вернется сюда: опасно бывать в таком месте, где жизнь может повиснуть на волоске, случись кому-нибудь из коллег понаблюдать за ним, когда он

освобождается от скопившейся жидкости.

Пусть в Лицее он испытал разочарование и подмочил свою репутацию, говорил себе Роб, у него остаются работа и крепкое здоровье.

Но на следующее утро в дом на улице Темзы явился Томас Гуд, тот самый рыжеволосый соглядатай, в сопровождении двух вооруженных людей.

— Чем могу служить? — холодно поинтересовался Роб.

— Мы трое, — ухмыльнулся Гуд, — судебные исполнители при епископе.

— И что же? — спросил Роб, хотя уже все понял.

Гуду доставило удовольствие харкнуть и сплюнуть на чистый пол в доме лекаря.

— Мы пришли, дабы взять тебя под стражу, Роберт Джереми Коль, и предать суду Божию.

— Куда вы меня ведете? — спросил Роб, когда они уже шли по улице.

— Суд состоится в Южном приделе церкви Святого Павла.

— А в чем состоит обвинение?

Гуд вместо ответа только пожал плечами и покачал головой.

Добрались до церкви святого Павла, Роба провели в комнатку, где было много ожидавших своей очереди. У дверей стояли стражники.

У Роба возникло такое чувство, будто все это с ним уже происходило раньше. Все утро в неизвестности, на жесткой скамье, слушая бормотание людей в монашеских одеяниях — он словно вернулся в царство имама Кандраси, разве что на этот раз он не был лекарем при шариатском суде. Сам он ощущал себя человеком, ведущим жизнь праведную, как никогда ранее, однако в глазах служителей церкви он был не менее виновен, чем все прочие, призванные в тот день на суд.

Но он ведь не ведьма!

Роб возблагодарил Бога за то, что Мэри с детьми сейчас не с ним. Хотел было попросить разрешения пойти в часовню, помолиться, но знал, что не получит на это позволения, поэтому беззвучно помолился прямо здесь. Попросил Бога оградить его от зашивания в мешок вместе с петухом, змеей и камнем, от того, чтобы быть брошенным в глубокие воды.

Тревожило его и то, каких свидетелей могут призвать: вызвали ли тех лекарей, которые слышали, что он заглядывал внутрь человеческих тел, или ту женщину, которая видела, как он лечил ее мужа, а тот застыл и на губах его выступила пена. Или же этого грязного негодяя Ханна — тот способен выдумать все, что угодно, лишь бы выставить Роба ведуном и тем избавиться от него.

Но знал он и другое: если судьи уже пришли к определенному решению, свидетели им вообще ни к чему. Его разденут, увидят обрезание, а потом станут осматривать, пока не решат, что нашли метку дьявола. Несомненно, для получения признаний у них не меньший арсенал средств, чем у имама Кандраси.

Боже правый...

Времени для размышлений у Роба было предостаточно, и страх его все рос и рос. После полудня его вызвали пред очи церковного начальства. В массивном дубовом кресле восседал пожилой косоглазый епископ, облаченный в полинявший коричневый шерстяной стихарь, епитрахиль и ризу. Из разговоров в передней Роб узнал, что это Эльфсиг — ординарий [210] церкви Святого Павла, не ведающий милосердия при назначении наказаний. Справа от епископа помещались два священника средних лет, в черных облачениях, а слева — молодой монах-бenedиктинец в рясе темно-серого цвета.

Служитель поднес Священное Писание, Робу велели поцеловать крест и принести на Писании клятву давать только правдивые показания. Начиналась обычная процедура.

— Назови свое имя! — Эльфсиг сверлил Роба глазами.

— Роберт Джереми Коль, ваше преосвященство.

— Где проживаешь, каков род занятий?

— Я лекарь с улицы Темзы.

Епископ кивнул одному из священников, сидевших по правую руку.

— Совершили ли вы в двадцать пятый день декабря минувшего года, вместе с неким евреем, нападение без всякого повода на мастера Эдгара Бурстана и господина Вильяма Симеона, свободнорожденных лондонцев, христиан прихода святого Олафа?

На миг Роб был озадачен, но затем почувствовал огромное облегчение — он понял, что его обвиняют не в колдовстве. Моряки донесли, что он заступился за еврея! Невелико преступление, даже если его за это и осудят.

— Вместе с евреем из Нормандии, именем Давид бен Аарон, — уточнил епископ, отчаянно моргая. Должно быть, видел он совсем уже плохо.

— Доселе я ни разу не слыхивал ни имени этого еврея, ни имен жалобщиков. Но матросы сообщили вам неправдивые сведения. Именно они совершенно несправедливо, как разбойники, напали на этого еврея. Потому-то я и вмешался.

— Вы христианин?

— Я крещен.

— Вы постоянно посещаете службы?

— Нет, ваше преосвященство.

Епископ презрительно хмыкнул и с мрачным видом кивнул.

— Введите свидетеля, готового дать показания под присягой, — велел он серому монаху.

Стоило Робу увидеть свидетеля — и чувства облегчения как не бывало.

Чарльз Босток надел по такому поводу богатый наряд, шею украшала тяжелая золотая цепь, а на пальце сверкал большой перстень с печаткой. Отвечая на обычные вступительные вопросы, он поведал суду, что был возведен королем Гартакну-том в достоинство тэна — награда за совершенные им три опасных путешествия по торговым делам. Еще он был почетным каноником церкви святого Петра. Члены церковного суда отнеслись к нему с надлежащим почтением.

— Позвольте спросить, мастер Босток, известен ли вам этот человек?

— Это Иессей бен Беньямин, лекарь-еврей, — заявил Босток, не задумываясь.

Епископ уставился на купца подслеповатыми глазами.

— Вы уверены в том, что касается его еврейского исповедания?

— Ваше преосвященство, четыре-пять лет тому назад я путешествовал по Византийскому патриархату, закупая товары и выполняя поручение его святейшества Папы Римского. В городе Исфагане услышал я об одной женщине-христианке, которая оказалась в Персии в совершенном одиночестве по смерти своего отца-шотландца и вышла затем замуж за еврея. Получив от них приглашение прийти в гости, я не стал противиться желанию побывать в их доме и самолично удостовериться в справедливости слухов. Там я — к своему огорчению и отвращению — убедился в том, что слухи не лгали. Она истинно была женой этого человека.

— Уверены ли вы, благородный тэн, что это тот самый человек? — впервые подал голос монах.

— Вполне уверен, святой брат. Несколько недель назад он появился на моей пристани и пытался содрать с меня немалый куш за то, что искалечил одного из моих невольников, платить я, разумеется, отказался. А увидев его лицо, я сразу понял, что где-то видел его раньше. Стал вспоминать и наконец вспомнил. Он и есть тот самый еврей из Исфагана, ни малейших сомнений. Развратитель христианок. Тогда, в Персии, христианка уже успела

родить одного ребенка от этого еврея и затяжелела от него вновь.

Епископ подался вперед:

— Напоминаю о принесенной торжественной клятве. Каково же твое *подлинное* имя, господин?

— Роберт Джереми Коль.

— Этот еврей лжет, — откликнулся Босток.

— Мастер купец, — вмешался монах, — вы видели его в Персии только один раз?

— Да, то был единственный раз, — нехотя признал Босток.

— И вы с тех пор не видели его на протяжении пяти лет?

— Скорее четырех, чем пяти. Но в остальном это так.

— И все же уверены, что это он?

— Уверен. Говорю же вам, у меня нет ни малейших сомнений.

— Вот и хорошо, тэн Босток, — кивнул ему епископ. — Примите нашу благодарность.

Пока купца провожали из зала суда, церковники не сводили глаз с Роба, а он всеми силами старался сохранить спокойный вид.

— Если ты действительно свободнорожденный христианин, то не кажется ли тебе странным, — сухо спросил епископ, — что ты оказался перед нашим судом по двум отдельным обвинениям, причем одно касается того, что ты помогал некоему еврею, а второе связано с тем, что ты и сам являешься евреем?

— Меня зовут Роберт Джереми Коль. Крещен я был в полумиле отсюда, в церкви Святого Ботульфа. В церковную книгу вписано мое имя. Отца моего звали Натанаэлем, он был подмастерьем в лондонском цехе плотников. Похоронен он на кладбище при церкви Святого Ботульфа, как и моя мать, Агнесса, которая при жизни была портнихой и вышивальщицей.

— Вы посещали школу при церкви Святого Ботульфа? — холодным тоном обратился к Робу монах.

— Всего два года.

— Кто преподавал там Священное Писание?

Роб закрыл глаза и наморщил лоб:

— Был там отец... Филиберт. Да, точно, отец Филиберт.

Монах вопросительно взглянул на епископа, тот пожал плечами и покачал головой:

— Имя Филиберт мне незнакомо.

— Тогда латынь. Кто преподавал латынь?

— Брат Уголин.

— Правда, — откликнулся епископ. — Брат Уголин преподавал латынь в школе при церкви Святого Ботульфа. Я хорошо его помню. Только он умер тому уж много лет. — Епископ потянул себя за нос и, близоруко сощурившись, посмотрел на Роба. Потом вздохнул: — Мы, разумеется, проверим приходскую книгу.

— И увидите, ваше преосвященство: там записано то, что я и сказал, — ответил на это Роб.

— Что ж, я позволю тебе очиститься от подозрений торжественной клятвой в том, что ты есть тот, за кого себя выдаешь. Тебе назначается предстать вновь перед нашим судом по истечении трех недель. С тобою должны явиться двенадцать свободных мужчин, кои подтвердят истинность твоей клятвы. Каждый из них должен по своей воле поклясться, что ты Роберт Джереми Коль, христианин и свободнорожденный человек. Это понятно?

Роб кивнул, и его отпустили.

Спустя несколько минут он стоял на улице у церкви Святого Павла, едва веря, что больше не подвергается резкому и язвительному допросу.

— Господин Коль! — окликнул его кто-то. Роб обернулся и увидел, что к нему спешит монах-бенедиктинец.

— Не заглянете ли со мной вместе в трактир, мастер? Мне хотелось бы поговорить с вами.

«Что еще?» — подумал Роб.

Он, однако, пошел вслед за монахом по грязной улице в таверну, а там они устроились в укромном уголке, заказали каждый по кружке эля. Монах сказал, что зовут его братом Паулином.

— Мне кажется, что под конец ход суда обернулся в вашу пользу. — Роб ничего на это не ответил, и его молчание заставило монаха недоуменно поднять брови. — Да ну, честный человек всегда сумеет найти еще двенадцать честных людей.

— Я действительно родился в приходе Святого Ботульфа. Но я покинул его еще мальчиком, — печально проговорил Роб, — и стал путешествовать по всей Англии в качестве ученика при цирюльнике-хирурге. Мне потребуется чертова уйма времени, чтобы отыскать двенадцать человек, честных уж там или не очень, которые помнят меня и захотят проехать до самого Лондона, дабы это подтвердить.

Брат Паулин отхлебнул из своей кружки.

— Но если вы не найдете ровно двенадцать человек, то все дело может быть подвергнуто сомнению. Тогда вам предоставят возможность доказать свою правоту испытанием.

— И в чем же состоит испытание? — В эле Робу чудилась горечь отчаяния.

— Церковь применяет четыре способа испытания: холодной водой, кипящей водой, каленым железом и освященным хлебом. Могу вам сообщить, что епископ Эльфсиг предпочитает каленое железо. Вам дадут испить святой воды и ею же окропят руку перед испытанием. Правую или левую — по вашему выбору. Затем вы возьмете в эту руку раскаленный добела брусок железа, вынув его из огня, и пронесете на расстояние девяти футов, преодолев это расстояние в три шага. Потом надо бросить железо и спешить к алтарю. Там руку забинтуют, а бинты опечатают. Снимут повязку через три дня. Если рука под ней окажется белой и чистой, вас объявят ни в чем не виновным. Если же рука окажется не чистой, вас отлучат от церкви и предадут в руки светских властей.

Роб старался не выказывать своих чувств, но ясно ощутил, как кровь отхлынула от лица.

— Если только совесть ваша не безупречно чиста, то есть не чище, чем у большинства смертных, то вам, я полагаю, лучше уехать из Лондона, — сухо подвел итог брат Паулин.

— А отчего вы все это мне рассказываете? И отчего вообще взялись давать мне советы?

Какое-то время они изучающе вглядывались друг в друга. У монаха была небольшая вьющаяся бородка и волосы с выбритой тонзурой — светло-каштанового цвета, цвета старой соломы, а глаза синевато-серые, аспидные, и такие же холодные. То были глаза человека скрытного, человека, который всегда себе на уме. Рот сжат в узкую щель, как у святоши, непримиримого врага чужих грехов. Роб был совершенно уверен в том, что не встречал этого человека до того мига, когда переступил порог церкви святого Павла сегодня утром.

— Я знаю, что вы Роберт Джереми Коль.

— Как вы можете это знать?

— Прежде чем стать братом Паулином в Обществе святого Бенедикта, я носил ту же фамилию — Коль. Почти наверняка я ваш родной брат.

Роб поверил этому сразу. Он уже двадцать два года искал братьев и сестру и теперь почувствовал, как его захлестывает радость. Однако это чувство тут же угасло: в нем быстро проснулась подозрительность, да и не хватало здесь чего-то важного. Роб хотел было встать на ноги, но его собеседник продолжал сидеть, глядя на него настороженно и что-то рассчитывая, и Роб опустился на табурет. Услышал свое громкое дыхание.

— Ты старше, чем был бы младенец Роджер, — произнес он. — Сэмюэл умер. Ты знаешь?

— Знаю.

— Значит, ты либо Джонатан, либо...

— Да нет, я Вильям.

— Вильям!

Монах по-прежнему смотрел на него сосредоточенно.

— Когда умер отец, тебя забрал с собой священник по имени Ловелл.

— Отец Ранальд Ловелл. Он отвез меня в монастырь Святого Бенедикта в Джарроу^[211]. Прожил он всего четыре года после этого, а потом было решено, что я должен буду принять постриг.

Паулин сжато рассказал Робу свою историю:

— Эдмунд, настоятель монастыря в Джарроу, с любовью взял на себя попечение обо мне, пока я был юн. Он неустанно закалял меня, выковывал дух мой, и благодаря его трудам я сделался сперва послушником, затем монахом, потом помощником настоятеля, и все это в весьма молодом возрасте. Я был его сильной правой рукой и даже больше того. Он ведь был abbas et presbyter^[212] и все время посвящал чтению вслух Священного Писания, пополнял свои знания, наставлял других, писал. Я же был уполномоченным Эдмунда и строго блюл управление делами монастыря. Как его помощника меня не очень-то любили, — скупое усмехнулся он. — Два года назад он умер, и меня не избрали на его место, но архиепископ внимательно наблюдал за монастырем в Джарроу и попросил меня оставить общину братства, которая стала мне семьей. Я должен принять рукоположение и стать епархиальным викарием^[213] в Вустере.

Робу подумалось, что эта речь, начисто лишённая и намека на любовь, звучит странно для встречи братьев после долгой разлуки: сухое перечисление занимаемых должностей, а за ним — скрытые надежды и честолюбивые ожидания.

— Великая ответственность ожидает тебя, — сдержанно заметил Роб.

— А это один Бог ведает, — пожал плечами Паулин.

— Во всяком случае, — сказал Роб, — мне осталось найти всего одиннадцать свидетелей. А может быть, епископ согласится засчитать свидетельство моего брата за несколько других.

Паулин не улыбнулся:

— Когда я увидел твоё имя в жалобе, то навел справки. Купец Босток, если его к тому поощрять, сможет сообщить суду интереснейшие детали. А вдруг тебя спросят, не прикидывался ли ты евреем ради того, чтобы посещать языческую академию вопреки запрету церкви?

К ним подошла подавальщица, но Роб махнул рукой, и она ушла прочь.

— Тогда я бы ответил, что Бог в неизреченной мудрости своей позволил мне стать

врачевателем, ибо не для того он сотворил мужчин и женщин, чтобы они лишь страдали и умирали.

— У Бога есть целое воинство помазанных слуг, которые истолковывают Его волю — что определил Он для тела человека и для его души. Ни цирюльники-хирурги, ни лекари, обучавшиеся у язычников, такого помазания не получили, а мы ввели церковные законы, дабы остановить таких, как ты.

— Вы затруднили нам путь. Временами замедляете наше продвижение. Но думаю, Виль, что остановить нас вам не удалось.

— Ты уедешь из Лондона.

— А ты этим так озабочен из чувства братской любви или же потому, что негоже будущему викарию Вустерской епархии иметь брата, отлученного от церкви и казненного по обвинению в язычестве?

Шли минуты, оба брата молчали.

— Я искал тебя всю жизнь. Я всегда мечтал отыскать детей, — с горечью сказал Роб.

— Мы давно уже не дети. А мечты и действительность — далеко не одно и то же, — ответил Паулин.

Роб кивнул и оттолкнул свой табурет.

— Ты что-нибудь знаешь об остальных?

— Только о девочке.

— Где же она?

— Умерла уже тому шесть лет.

— Вот как... — Роб тяжело поднялся из-за стола. — А где я могу отыскать могилу?

— Нет никакой могилы. Она погибла в большом пожаре.

Роб снова кивнул и вышел из таверны, не оглядываясь на серого монаха.

* * *

Теперь Роб не так опасался ареста, как убийц, нанятых достаточно влиятельным человеком, чтобы избавиться от хлопот с ним. Он поспешил в конюшни Торна, оплатил счет и забрал свою лошадь. В доме на улице Темзы он задержался лишь для того, чтобы собрать те вещи, которые стали неотъемлемой частью его жизни. Ему уже до смерти надоело впопыхах оставлять то один, то другой дом, а потом долго странствовать, но он успел к этому привыкнуть и теперь собирался проворно и с толком.

Когда брат Паулин сидел за вечерней трапезой среди священников церкви Святого Павла, его родной брат уже покидал Лондон. Верхом на тяжело ступавшей кобыле он проехал по месиву лондонских улиц и оказался на Линкольнской дороге, которая вела на север Англии. Его преследовали фурии ^[214], а избавиться от них так и не удавалось, ибо некоторые из них гнездились в его душе.

В первую ночь он спал мягко, устроившись в стогу соломы недалеко от дороги. Солома была прошлогодняя, уже подгнившая в глубине, поэтому Роб не стал зарываться в нее, но и так он немного согревался ее теплом, а воздух был не холодным. Когда он пробудился на рассвете, то сразу же подосадовал: вспомнил, что не забрал из дома на улице Темзы шахскую игру, некогда принадлежавшую Мирдину. Роб так дорожил ею, что провез из Персии через полмира, и теперь ему было очень больно сознавать, что она утрачена навсегда.

Роб проголодался, но даже не стал пытаться раздобыть еду в каком-нибудь крестьянском доме — ведь его там наверняка хорошо запомнят и это укажет след всякому, кто вздумает его разыскивать. До середины утра ехал с пустым брюхом, пока не добрался до деревни, где был рынок, а уж там купил хлеба и сыра. Хватило и утолить голод, и взять с собой в запас.

По дороге он невесело размышлял. Чем найти такого брата, лучше было бы вообще никогда его не находить. Роб чувствовал себя обманутым и отринутым. Однако, говорил он себе, он оплакивал Вильяма с того далекого ныне дня, когда их разлучили, а вот монаха Паулина с холодным взглядом охотно никогда больше не встречал бы.

— Ступай ко всем чертям, викарий Вустерской епархии! — прокричал Роб.

От громкого возгласа птицы взлетели с ветвей, а кобыла шарахнулась и стала прядать ушами. Чтобы никто не подумал, что на округу напали разбойники, Роб подул в саксонский рог. Знакомый звук вернул его в детство, в годы ранней юности, и на душе потеплело.

* * *

Если за ним снарядят погоню, то она станет искать по большим дорогам, поэтому Роб свернул с Линкольнского тракта и поехал тропинками вдоль побережья. Они шли от одной рыбацкой деревушки до другой. Этим путем они не раз ездили здесь с Цирюльником. Правда, Роб теперь не бил в барабан и не устраивал представлений для публики; не искал он себе и пациентов, опасаясь, что погоня станет разыскивать как раз беглого лекаря. Ни в одной из деревень никто не признал в нем юного цирюльника-хирурга, побывавшего в этих краях давным-давно. Да, здесь он ни за что не нашел бы свидетелей, готовых под присягой подтвердить его личность. Его непременно осудили бы. Роб понимал, как ему повезло, что удалось бежать. От этого мрачное настроение рассеялось, пришло понимание того, что жизнь еще сулит ему безграничные возможности.

Некоторые места он еще не совсем забыл. Замечал: вот приметный издали дом или церковь сгорели дотла, а вот здесь расчистили лес и на вырубке возвели новые постройки. Продвигался он мучительно медленно, потому что дорога порой превращалась в сплошное месиво грязи, а лошадь вскоре совсем измучилась. Она вполне годилась для того, чтобы можно было среди ночи добраться к больному — не галопом, конечно, — но долго ехать верхом на ней по полям и раскисшим дорогам было решительно невозможно. И немолода была кобыла, и труды ее измучили, и норова не хватало. Роб делал для скотинки все, что мог, часто останавливался на привал, ложился на берегу реки, а кобыла пощипывала только что

пробившуюся молодую травку и отдыхала от трудов. Но уже ничем нельзя было вернуть лошадке молодость или сделать ее более выносливой.

Деньги он тратил экономно. Когда ему разрешали — порой за плату, порой и бесплатно — он ночевал на охапке соломы в теплых хлевах, избегая задерживаться в домах, а если уж никак нельзя было этого избежать, то останавливался на ночлег на постоянных дворах. Однажды поздно вечером он сидел в таверне портового городка Миддлсбро и наблюдал, как два морячка осушили невероятное количество кружек эля.

Один из них, приземистый, широкоплечий, с черными волосами, выбивавшимися из-под вязаной шапочки, застучал кружкой по столу, призывая к вниманию:

— Нам требуется матрос! Пойдем вдоль побережья в порт Аймут, в Шотландию. По дороге все время будем ловить сельдь. Найдется здесь хоть один мужчина?

В таверне яблоку негде было упасть, но никто и не пошевелился, лишь несколько негромких смешков раздалось среди наступившей тишины.

«Рискну?» — подумал Роб. Ведь так можно добраться гораздо быстрее.

«Оказаться в океане — и то лучше, чем без конца понукать лошадку пробираться по бабки в грязи», — решил он, встал из-за стола и направился к морякам.

— Лодка принадлежит вам?

— Да, я капитан. Зовут меня Ней, а это вот Альдус.

— Меня зовут Джонсон, — представился Роб. А что, такое имя ничем не хуже всякого другого.

Ней оглядел его внимательно.

— Здоровый черт! — Он взял Роба за руку, повернул вверх ладонью и неодобрительно потрогал мягкую кожу.

— Работать я могу.

— Увидим, — отозвался Ней.

* * *

Тогда же вечером, в таверне, Роб отдал свою кобылу какому-то незнакомцу: продавать ее утром времени не будет, да и что за нее выручишь? Когда же он подошел к выдавшему виды рыбацкому баркасу, то невольно подумал, что тот похож на кобылу — такой же старый и потрепанный. Впрочем, Ней и Альдус зимой не сидели сложа руки: все швы старательно проконопачены и просмолены, по волнам лодка шла легко. Некоторое время после отплытия Роб мучился. Он перегнулся через борт и блевал, а рыбаки ругались и грозили выбросить его за борт. Но, несмотря на тошноту и рвоту, Роб заставил себя работать. И часа не прошло, как они забросили сеть и потянули ее за лодкой, а потом налегли все втроем и выбрали — пустую, только вода стекала. Забрасывали и тянули снова и снова, но рыбы попадалось мало. Ней бушевал. Роб чувствовал, что лишь внушительный рост и увесистые кулаки оберегают его от побоев. Вечером поужинали черствой лепешкой, костистой копченой рыбой и водой, которая отдавала сельдью. Роб попытался проглотить хоть несколько кусочков, но изверг все обратно. Что еще хуже — Альдус маялся животом, и вскоре ведро, служившее им вместо галлона, стало невероятно раздражать и взор, и обоняние. Впрочем, того, кто много лет проработал в больнице, это не слишком волновало. Роб опорожнил ведро за борт и вымыл его дочиста. Должно быть, добровольного исполнения такой обязанности моряки не

ожидали; во всяком случае, ругать Роба они после этого перестали.

Ночью, лежа на холодном дне лодки, которая взбиралась на волны, зарывалась носом и рыскала по сторонам, Роб то и дело полз к борту, пока у него уже не осталось ничего, что можно было бы вырвать. Утром снова началась работа, но на шестой раз сеть пошла не так, как прежде. Они тянули, а сеть, казалось, за что-то зацепилась. Медленно, с превеликим трудом они выбрали ее, и в лодку хлынул бьющийся серебристый поток рыбы.

— Вот теперь мы ловим сельдь! — вскричал Ней взволнованно.

Трижды сеть приходила полная рыбы, потом улов стал уменьшаться. Когда же в лодке не осталось места, они свернули к берегу.

Наутро рыбу забрали торговцы, которые продают ее и свежей, и вяленой, и копченой, а рыбаки, едва разгрузив лодку, снова вышли в море.

Роб натер на руках мозоли, кожа сильно болела, потом стала грубеть. Сеть местами рвалась, и он научился завязывать узлы там, где требовалось ее починить. На четвертый день — Роб и сам не заметил, как это случилось — тошнота прекратилась. И больше не возвращалась. «Надо будет Таму рассказать об этом», — радостно подумал Роб, когда осознал происшедшее.

Каждый день они причаливали чуть дальше к северу, продавали улов, пока он был свежим. Лунными ночами Ней иной раз замечал стайку рыбок, маленьких, будто дождевые капли — они стремились уйти от кормившихся более крупных рыб. Тогда забрасывали сеть и тянули ее вдоль дорожки лунного света, а потом вытягивали нежданный дар моря.

Ней стал часто улыбаться. Роб услышал, как он говорил Альдусу, что этот Джонсон принес им удачу. Теперь, когда они вечером приставали к берегу, Ней ставил своей команде эль и горячую пищу и они все втроем засиживались допоздна, распевая песни. Работая матросом, Роб многому научился, в том числе и уйме непристойных песен.

— Из тебя выйдет настоящий рыбак, — говорил ему Ней. — Мы в Аймуте пробудем дней пять-шесть, сети надо починить. А потом отправимся назад в Миддлсбро — мы так всегда делаем, ловим сельдь между Аймутом и Миддлсбро, плаваем туда-сюда. Хочешь остаться с нами?

Роб, польщенный этим предложением, поблагодарил его, но честно сказал, что в Аймуте он с ними расстанется.

Через несколько дней они оказались на месте, вошли в переполненную судами красивую гавань, и Ней расплатился с Робом несколькими монетами и дружеским похлопыванием по спине. Роб сказал, что ему надо подыскать себе коня, тогда Ней провел его через весь город к одному честному барышнику, который заявил, что у него есть две подходящих лошади — кобыла и мерин. Кобыла оказалась намного красивее.

— Мне когда-то очень повезло с мерином, — сказал Роб и решил остановиться на мерине. Этот, конечно, был не арабских кровей, а скромной на вид местной, английской породы, с короткими мохнатыми ногами и спутанной гривой. Ему было два года, был он крепок и резв.

Роб пристроил за седлом свои пожитки, вскочил на коня и тепло распрощался с Неем.

— Пусть рыба всегда идет в твои сети!

— Езжай с Богом, Джонсон!

Выносливый мерин порадовал Роба. Он оказался куда лучше, чем выглядел, и Роб решил дать ему имя аль-Бурак — в честь того крылатого коня, который доставил Мухаммеда, как верят мусульмане, с земли на седьмое небо.

В середине каждого дня, когда было тепло, Роб старался делать привал у озера или реки и купать аль-Бурака, а спутанную гриву неустанно расчесывал пальцами, сожалея, что не имеет прочного деревянного гребня. Казалось, конь не ведает усталости, а дороги к этому времени уже стали подсыхать, поэтому путешествие протекало быстрее. Рыбацкий баркас доставил его за пределы тех краев, которые были Робу знакомы, и теперь все вокруг стало более интересным из-за своей новизны. Пять дней он ехал вдоль берега реки Твид, затем река повернула на юг, а Роб на север, в предгорья, проезжая то одну, то другую гряду холмов, которые нельзя еще было назвать горами. На их склонах, поросших вереском, то там, то здесь поднимались острые скалы. В эту пору года талые воды все еще сходили с холмов, а пересечь такой поток всякий раз было делом весьма нелегким.

Крестьянских усадеб здесь было немного, и отстояли они далеко друг от друга. Иные были настоящими большими усадьбами, иные — просто скромными фермами. Роб заметил, что все они выглядят ухоженными, повсюду царит — просто красота! — образцовый порядок, добиться которого можно лишь каждодневным тяжелым трудом. Часто он трубил в свой саксонский рог. Земледельцы были начеку, всегда готовы постоять за себя, но Робу никто не пытался причинить вред. Всматриваясь в этот край и его жителей, Роб стал лучше понимать некоторые стороны характера Мэри.

Уже много долгих-предолгих месяцев он не видел ее. Может, он и едет зря? Может, она завела себе другого мужчину — да хоть того же проклятого кузена?

Земля здесь радовала человека, но приспособлена лучше всего была для овец и коров. Верхушки большинства холмов были голыми, но на склонах, особенно внизу, раскинулись изобильные пастбища. У пастухов всегда имелись собаки, и Роб приучился их опасаться.

Миновав городишко Кумнок, он ехал еще полдня, а потом остановился у фермы и спросил разрешения переночевать там на соломе. Оказалось, что накануне один из пастушьих псов разорвал грудь жене хозяина фермы.

— Слава Иисусу! — прошептал муж, когда Роб сказал ему, что он лекарь.

Хозяйка, крупная женщина, мать уже взрослых детей, сходила с ума от невыносимой боли. Нападение было серьезным — казалось, что женщину покусал лев.

— Где этот пес?

— Пса больше нет, — мрачно ответил хозяин.

Они с трудом заставили женщину выпить побольше хлебного вина. Она чуть не подавилась, но теперь Роб смог обрезать лоскутья кожи и зашить рану. Он подумал, что женщина, скорее всего, осталась бы в живых и без его помощи, но так ей стало, несомненно, лучше. За ней нужно было день-другой поухаживать, Роб пробыл там неделю, пока в одно прекрасное утро не сообразил, что не спешит ехать дальше: Килмарнок находился неподалеку, а доехать до цели своего путешествия ему было страшновато.

Сказал хозяину фермы, куда хочет попасть, тот показал ему самый удобный путь.

О ранах, полученных женщиной, Роб вспомнил два дня спустя, когда дорогу его коню загородил огромный свирепый пес. Роб уже до половины вытащил меч из ножен, и только тут пса отозвали. Пастух что-то резко бросил Робу на шотландском языке.

— Я не говорю на вашем языке.

— Ты быть на земля Каллен.

— Именно здесь я и хочу быть.

— Э? Это как?

— А это я скажу Мэри Каллен. — Роб окинул пастуха взглядом и увидел перед собой человека еще довольно молодого, с обветренным лицом, немного поседевшего и настороженного, словно пес. — Ты кто?

Шотландец тоже рассмотрел его и, казалось, колебался: отвечать или нет.

— Крейг Каллен, — ответил он наконец.

— А меня зовут Коль. Роберт Коль.

Пастух кивнул, не выказав ни удивления, ни дружелюбия.

— Лучше за мной, — сказал он и пошел прочь. Роб не видел, чтобы он подал собаке какой-нибудь знак, однако пес отошел и потрусил вслед за мерином, так что Роб оказался между пастухом и собакой. Его доставляли, словно добычу, найденную среди холмов.

И дом, и амбар были каменными, добротными построенными давным-давно. Пока Роб въезжал во двор, детишки разглядывали его и перешептывались, и он не сразу сообразил, что среди них и его сыновья. Там тихонько спросил у брата что-то по-шотландски.

— Что он сказал?

— Он спросил: «Это наш папа?», а я ответил: «Да».

Роб улыбнулся и хотел обнять их, но они завизжали и прыснули в стороны вместе с остальными, когда он спрыгнул с седла. Там по-прежнему прихрамывал, но, как с радостью отметил Роб, бежал проворно.

— Они просто засмутились. Сейчас вернутся, — раздался с крыльца голос Мэри. Она опустила голову и избегала встречаться с ним взглядом. Роб подумал, что она ему не рада. Потом она оказалась в его объятиях, где ей стало так уютно и спокойно! Если у нее и был другой мужчина, то сейчас, обнимаясь во дворе, они заставили его призадуматься.

Они целовались, и Роб обнаружил, что у нее не хватает одного зуба — на верхней челюсти, чуть правее середины.

— Я хотела загнать корову, та упиралась, и я попала прямо на рога. — Мэри заплакала. — Я старая и уродливая.

— Я не из-за этих проклятых зубов женился. — Роб говорил намеренно грубовато, но потрогал выщербленное место осторожно, мизинцем, и ощутил теплую влагу рта, а Мэри стала сосать его мизинец. — И не проклятый зуб я уложил в постель, — добавил Роб, и Мэри улыбнулась, хотя глаза у нее еще блестели от слез.

— На пшеничное поле, — уточнила она. — Прямо в грязь рядом с мышами и всякими тварями ползучими. Вскочил, как баран на овечку. — Она вытерла слезы. — Ты устал и проголодался, — сказала она, взяла его за руку и повела в домик, служивший кухней и столовой. Робу странно было видеть, насколько она чувствует себя здесь хозяйкой. Мэри дала ему овсяных лепешек с молоком, и Роб рассказал ей о найденном и вновь потерянном брате и о том, как бежал из Лондона.

— Как это странно и как ты, должно быть, огорчен... Но если бы этого не произошло, ты бы вернулся ко мне?

— Раньше или позже. — Они смотрели друг на друга и улыбались. — Красивая страна, — сказал Роб, — но суровая.

— Когда тепло, жизнь здесь становится легче. Мы и оглянуться не успеем, как пора будет пахать и сеять.

— Пахать пора сейчас. — Робу уже в горло не лезли овсяные лепешки.

Мэри по-прежнему быстро заливалась румянцем. Это, с удовлетворением подумал Роб, всегда останется при ней. Она повела его в дом, они пытались идти обнявшись, но вскоре у них стали путаться ноги, они сталкивались бедрами и в итоге так расхохотались, что Роб стал опасаться, не помешает ли им такое веселье предаваться любви. Как оказалось, напрасно опасался.

На следующее утро, посадив каждый на седло перед собою по сыну, они поехали знакомиться с огромным, раскинувшимся на холмах имением. Овцы, которые были здесь повсюду, отрывались от свежей зеленой травы и смотрели на проезжающих, вскидывая черные, белые, коричневые морды. Они ехали все дальше и дальше, и Мэри с большой гордостью показывала свои владения. По краям огромного имения было разбросано двадцать семь небольших ферм.

— Все эти фермеры — мои родичи.

— И сколько всего мужчин?

— Сорок один.

— Так здесь собрана вся твоя семья?

— Здесь только Каллены, но в мою родню еще входят Теддеры и Макфи. До владений Макфи надо ехать все утро, на восток — вон через те невысокие холмы. До Теддеров — целый день на север, через ущелье, потом надо еще через большую реку переправиться.

— И сколько же мужчин во всех трех семьях?

— Должно быть, сотни полторы.

Роб поджал губы:

— Да у тебя целое войско.

— Да, и с ним гораздо спокойнее жить.

Ему казалось, что вокруг текут сплошные овечьи реки.

— Мы держим большие стада ради шкур и шерсти. Мясо быстро портится, поэтому мы стараемся съесть как можно больше. Тебе еще успеет надоесть баранина.

В то же утро Робу пришлось познакомиться с хозяйственными заботами семьи.

— Уже начался весенний окот, — рассказывала ему Мэри, — и все занимаются овцами и днем, и вечером. Некоторых ягнят приходится забивать с третьего по десятый день жизни, когда шкурки самые нежные. — Мэри препоручила Роба заботам Крейга, а сама уехала. К середине утра овчары приняли Роба как своего, видя, как он несуетливо помогает тем овцам, у которых окот протекает трудно, как ловко затачивает ножи и пускает их в ход.

Роба же огорчило то, каким образом местные овцеводы холостят ягнят: они откусывали новорожденным самцам половые железы и выплевывали в ведро.

— Почему именно таким образом? — поинтересовался он.

— Надо яйца убирать, — усмехнулся ему Крейг окровавленным ртом. — Очень много баранов не надо, так, а?

— Но почему не отрезать ножом?

— Так деды-прадеды всегда делать. Очень быстро и ягням боль меньше.

Роб полез в седельную сумку и достал свой скальпель из узорчатой стали. Вскоре и Крейг, и другие овчары нехотя согласились, что так тоже получается хорошо. Роб не стал им рассказывать, что наловчился делать это быстро и хорошо, чтобы не причинять лишней боли мужчинам, которых он превращал в евнухов.

Роб, со своей стороны, увидел, что овчары — народ независимый и на редкость умелый.

— Неудивительно, — сказал он Мэри, когда они увиделись в доме, — что тебе так нужен был я. Ведь все остальные в этой чертовой стране — твои родичи!

Жена устало улыбнулась ему, весь день она снимала шкурки с ягнят. Комната пропиталась запахами овечьей шерсти, крови и мяса, но Роба это не смущало — ему вспоминались маристан и лекарские шатры в Индии.

— Ну, теперь, когда я приехал, у тебя стало одним пастухом больше, — сказал Роб, и улыбка Мэри погасла.

— *Замолчи!* — прикрикнула она. — Ты в своем ли уме?

Взяла его за руку и повела из комнаты, где разделявают туши, в отдельную каменную пристройку. В этой пристройке были три чисто выбеленные комнаты. Одна — кабинет для научных занятий. Другая явно обставлена как комната для осмотра больных — столы и шкафы точно такие же, как были у него в Исфагане. В третьей стояли деревянные скамьи, чтобы пациенты могли сидеть, ожидая приема у лекаря.

* * *

Роб постепенно начал знакомиться с людьми поближе. Мужчина по имени Острик был музыкантом. Разделочный нож выскользнул у него из пальцев и вспорол артерию на предплечье. Роб остановил кровотечение и зашил рану.

— Смогу ли я теперь играть? — с тревогой спрашивал Острик. — Волынка же ложится всей тяжестью на руку.

— Потерпи несколько дней, все наладится, — заверил его Роб.

Спустя какое-то время он проходил мимо дубильного сарая, где обрабатывали свежие нежные шкурки, и встретил Малькольма, старика отца Крейга — тот приходился Мэри двоюродным братом. Роб задержался и посмотрел на распухшие узловатые пальцы старика, обратил внимание на то, как необычно изгибаются ногти.

— Вы уже давненько и сильно кашляете. И жар у вас часто бывает, — негромко сказал он старику.

— Кто тебе сказал? — удивился Малькольм Каллен.

Такие симптомы описал Ибн Сина и назвал их «пальцами Гиппократата», они безошибочно указывали на болезнь легких.

— Я по вашим рукам вижу. У вас ведь и на ногах пальцы такие же, разве нет?

Старик кивнул:

— Ты можешь мне помочь?

— Пока не знаю. — Он приложил ухо к груди больного и услышал громкое бульканье, как то, что издает кипящий уксус.

— У вас в груди скопилось много жидкости. Приходите ко мне на прием утром, когда сможете. Я просверлю маленькую дырочку между ребер и выпущу воду — не сразу, понемногу. А тем временем я изучу вашу мочу и посмотрю, далеко ли зашла болезнь. Еще я буду вас окуривать дымом и назначу диету, чтобы тело могло высохнуть до нормального состояния.

В ту ночь Мэри сказала ему с улыбкой:

— Как это ты сумел околдовать старика Малькольма? Он всем подряд рассказывает, что ты владеешь даром исцелять, как волшебник.

— Пока я еще ничем ему не помог.

На следующее утро он оказался в своей амбулатории в полном одиночестве — ни

Малькольма, ни кого другого. И послезавтра утром то же самое.

Мэри в ответ на его жалобы только покачала головой.

— Никто не придет, пока не закончится пора окота. Так здесь привыкли.

Она знала, что говорит. Еще десять дней никто к нему не приходил. Потом наступила небольшая передышка между окотом и стрижкой овец. Однажды утром Роб отворил дверь амбулатории — все скамьи до единой были забиты людьми, а старик Малькольм пожелал ему доброго дня.

После того пациенты охотно приходили каждое утро: с фермы на ферму, с одного холма на другой разлетелись вести о том, что муж Мэри Каллен — настоящий целитель. В Килмарноке никогда прежде не бывало лекаря, и Роб прекрасно понимал, что ему еще много лет предстоит расхлебывать последствия самолечения. Мало того — к нему вели и больную скотину, а если не могли привести, то не стеснялись вызывать его в свои овчарни, конюшни и коровники. Очень скоро Роб близко познакомился и с копытной гнилью, и с гнойничками на деснах, которые потом могли привести к гибели животного. При возможности он вскрывал туши коров, иногда и овец, чтобы понять, что когда надлежит делать для лечения. Обнаружилось, что внутреннее строение этих животных ничуть не походит ни на свинью, ни на человека.

В темноте супружеской спальни, где в эти ночи они оба усиленно трудились над тем, чтобы зачать новую жизнь, Роб попытался было поблагодарить жену за амбулаторию. Ему сказали, что Мэри построила ее сразу же, как только вернулась в Килмарнок. Мэри наклонилась к нему;

— А сколько времени ты прожил бы здесь со мной без своей работы, хахим?

В ее словах не было упрека и, произнеся их, она тут же поцеловала мужа.

Роб водил сыновей в лес, в холмы — отыскивал нужные травы и корни. Они втроем собирали целебные растения и приносили домой, одни потом высушивали, другие надо было истолочь. Роб садился рядом с сыновьями и старательно учил их, показывая по очереди каждый листок и каждый цветок. Подробно рассказывал о травах: какая помогает от головной боли, какая от судорог, какой можно понижать жар, а какой лечить простуду. Были такие, что помогали про кровотечение из носу, а другие — при обморожениях. Были свои травы и для врачевания острого воспаления горла, и при боли в суставах.

Крейг Каллен был мастер вырезать деревянные ложки. Свое умение он употребил и на то, чтобы изготовить деревянные шкатулки с крышками, в которых целебные растения можно было надежно хранить в сухости. Эти шкатулки, как и свои ложки, Крейг украсил резными нимфами, всевозможными сказочными животными и духами. Увидев работу, Роб сделал рисунки некоторых фигур, потребных для шахской игры.

— А вот что-нибудь такое можешь сделать?

— Почему бы не мог? — хитро сощурившись, ответил Крейг.

Тогда Роб нарисовал подробно каждую фигуру и клетчатую доску. Крейг все это вырезал — подсказок понадобилось совсем немного, — и вот Мэри и Роб вновь смогли проводить целые часы за игрой, которой обучил его покойный ныне царь.

Роб твердо вознамерился выучить гаэльский — язык шотландцев. Книг у Мэри не было, но она взялась учить мужа, начав с алфавита, который содержал восемнадцать букв. Теперь Роб хорошо знал, как браться за изучение чужого языка. Он трудился все лето и осень, а к началу зимы мог уже написать короткие фразы на языке шотландцев и пытался говорить на нем, немало забавляя овчаров и собственных сыновей.

Как Роб и предполагал, зима в этих краях была суровой. Перед самым Сретением [215] ударил совсем лютый мороз. Тогда наступил сезон охоты, потому что густой снежный покров сохранял следы и позволял промышлять оленей и птиц, а также выслеживать и убивать рысей и волков, наносивших урон отарам. По вечерам люди собирались у огня в их доме. Крейг частенько вырезал что-нибудь, другие чинили сбрую или делали что-то другое, что можно было успешно сладить в тепле и в хорошей компании. Иногда Острик наигрывал на волынке. В Килмарноке изготавливали знаменитые шерстяные ткани, окрашивая их в разные оттенки вереска — краску получали из собранных по склонам мхов. Пряла каждая женщина самостоятельно, дома, но они собирались все вместе, когда приходило время обрабатывать пряжу глиной, благодаря чему материя становилась тугой и упругой. Мокрую пряжу, вымоченную в мыльной воде, выкладывали на стол и передавали по кругу, а каждая женщина терла и колотила ее. За работой они напевали песни, которые некогда были сложены теми, кто вот так же трудился над пряжей, а Роб думал, как ладно звучат эти напевы в сопровождении волынки Острика.

с попами ему будет нетрудно избежать. Но в один прекрасный день, когда он встречал свою вторую весну в Килмарноке, там появился невысокий толстенький человек.

— Отец Домналл! Это же отец Домналл! — воскликнула Мэри и поспешила встретить гостя.

Все окружили его, тепло приветствуя. Он же уделял минутку каждому, с улыбкой расспрашивал их, кого-то гладил по руке, кому-то дарил слово ободрения. «Словно добрый эрл среди своих крепостных», — кисло подумал Роб. Подошел гость и к Робу, оглядел его.

— Так-так. Вы — муж Мэри Каллен.

— Да.

— Увлекаетесь рыбалкой?

Роб растерялся:

— Форель ловлю.

— Уж в этом я не сомневался. Завтра утром приглашаю вас поудить лосося, — сказал гость. Роб согласился.

Назавтра, едва небо стало сереть, они прогулялись до берега небольшой, но бурной речки. Домналл прихватил с собой два массивных шеста, явно тяжеловатых для удочек, крепчайшую леску и острые крючки, хитроумно упрятанные в середину красивых приманок в виде длинных стержней, разукрашенных перьями.

— Они похожи на некоторых моих знакомых, — сказал Роб об этих приманках. Домналл кивнул, с интересом поглядывая на Роба.

Священник показал ему, как забрасывать приманку, а потом подводить ее небольшими рывками, напоминающими движения маленькой рыбки. Они повторяли этот прием снова и снова, без малейшего успеха, но Роба это не волновало — его заворожила текучая вода. Теперь уже и солнце встало. Высоко над головой плыл в пустоте орел, а где-то недалеко послышался крик куропатки.

Крупная рыбина так резко схватила наживку Роба у самой поверхности, что в воздух взметнулся фонтанчик воды. И сразу же добыча пошла вверх по течению.

— Подойди к ней сам, не то она порвет леску или оторвет крючок! — крикнул Домналл.

Роб уже с шумом шлепал по воде, стремясь настичь лосося. Рыба рванулась с такой силой, что Роб едва удержал ее. Он несколько раз падал в ледяную воду, тащился по каменистому дну, барахтался в глубоких омутах и выкарабкивался из них.

Рыба рвалась прочь неустанно и влекла Роба то вверх, то вниз по течению. Домналл выкрикивал советы, но Роб взглянул в ту сторону, откуда послышался громкий плеск, и увидел, что у священника появилось вдоволь своих забот. Он тоже подцепил на крючок рыбу и теперь погрузился в воду, как и Роб.

Роб же изо всех сил старался удержать рыбу на середине течения. Наконец, ему показалось, что он уже справился с лососем, хотя на том конце удилица чувствовалась страшная тяжесть. Вскоре он смог вывести слабо сопротивляющуюся рыбину — такую громадину! — на покрытое галькой мелководье. Когда же он ухватился за стержень приманки, лосось в последний раз конвульсивно дернулся и сорвался с крючка, оставив на нем длинную полосу окровавленной плоти из своей глотки. На какое-то мгновение лосось застыл неподвижно на боку, а потом Роб увидел густое облако крови, вытекающей из жабр, и рыба пропала, канув в глубину вод.

Роб стоял, дрожа от отвращения — ведь поток крови говорил о том, что он убил рыбу, а

теперь она пропала даром.

Движимый скорее инстинктом, чем надеждой, он пошел вниз по течению, но не успел сделать и пяти шагов, как увидел в воде серебристый блеск и сразу наклонился. Дважды он терял ее из виду — вода относила рыбу дальше, но потом лосось оказался прямо под ним. Рыба умирала, но искра жизни в ней еще не погасла, а сильное течение прижало ее к большому валуну.

Робу пришлось погрузиться полностью в ледяную воду, от которой немело тело, чтобы ухватить добычу обеими руками и дотащить ее до берега, где он ударом тяжелого камня пресек страдания лосося. Весила добыча по меньшей мере два стоуна [\[216\]](#).

Домналл тем временем вытаскивал на берег рыбину гораздо меньших размеров.

— Твоей рыбины хватит на всех, а? — спросил священник.

Роб согласно кивнул, и Домналл вернул лосося в родную стихию. Он осторожно придерживал рыбину, пока вода оживляла ее. Плавники зашевелились так вяло, будто рыба и не боролась за свою жизнь, медленно заработали жабры. Роб увидел, как по рыбьему телу пробежал трепет возвращенной жизни, а потом лосось поплыл прочь и вскоре исчез в бурном потоке. Роб почувствовал, что этот священник станет ему другом.

* * *

Рыболовы сняли промокшую насквозь одежду и разложили ее сушиться, а сами прилегли рядышком на огромном валуне, уже нагретом лучами солнца.

— Да, на ловлю форели это не похоже, — вздохнул Домналл.

— Разница как между тем, чтобы сорвать цветочек и повалить дерево. — У Роба на ногах кровоточило с полдюжины порезов от падений на каменистое дно, а синяков было и не сосчитать.

Они усмехнулись, глядя друг на друга.

Домналл почесал свой небольшой округлый живот, белый, словно у рыбы, и погрузился в молчание. Роб ожидал, что священник станет его расспрашивать, однако, как он успел заметить, этот пастырь предпочитал не спешить и внимательно слушать. Домналл обладал редким даром терпения, что сделало бы его исключительно опасным противником, вздумай Роб научить его шахской игре.

— Мы с Мэри не венчались в церкви. Вы знали об этом?

— Слышал что-то такое.

— Так вот, мы действительно муж и жена уже много лет, но этот союз мы скрепили сами.

Домналл неодобрительно хмыкнул.

Роб поведал священнику свою историю, не умолчав о неприятностях, с которыми столкнулся в Лондоне, и не пытаясь их преуменьшить.

— Мне бы хотелось, чтобы вы нас обвенчали, но должен честно предупредить: возможно, что меня уже отлучили от церкви.

Этот вопрос они обдумывали, лениво высыхая на солнышке.

— Если только этому вашему вустерскому викарию удалось, он давно уже замаял дело, — сказал по размышлении Домналл. — Человеку столь честолюбивому куда лучше иметь брата без вести пропавшего и забытого, нежели позорно отлученного от церкви.

Роб кивнул:

— Но если ему не удалось этого замять?

Священник нахмурился:

— У вас нет никаких ясных доказательств состоявшегося отлучения?

Роб отрицательно покачал головой:

— Но ведь такое возможно.

— Возможно? Я не могу вести дела в своем приходе, исходя из одних ваших опасений.

Человече, человече, какое дело Христу до страхов твоих? Я вот родился в Прествике. Со времени рукоположения в сан я ни разу не покидал этого горного прихода и надеюсь пробыть здесь пастырем до самой своей смерти. Не считая вас одного, я в жизни не встречал ни единого человека из Лондона или Вустера. И я не общался никогда ни с архиепископом, ни с его святейшеством папой, а с одним лишь Иисусом. Можете ли вы поверить, чтобы Господь воспретил мне сделать вас четверых доброй христианской семьей?

Роб улыбнулся ему в ответ и покачал головой.

* * *

На всю жизнь запомнят их сыновья свадьбу своих родителей и станут рассказывать о ней своим детям и внукам. Венчаль-ная служба в поместье Калленов прошла тихо и скромно. На Мэри было платье из светло-серой материи, украшенное серебряной брошью, и пояс из кожи косули с серебряными бляшками. Держалась невеста скромно, но глаза ее засияли, когда отец Домналл провозгласил: отныне и вовеки она сама и дети ее соединены нерасторжимыми узами с Робертом Джереми Колем.

После этого Мэри разослала всей своей родне приглашения прийти познакомиться с ее мужем. В назначенный день Макфи отправились на запад через гряду невысоких холмов, а Теддеры переправились через большую реку и, преодолев ущелье, прибыли в Килмарнок. С собой все привезли подарки новобрачным, сладкие пирожки с ягодами и фруктами, пироги с дичью, бочонки хмельных напитков и огромный пудинг из мяса и овсяной муки — любимое в этих местах лакомство. В самом поместье в это время медленно поджаривали на вертелах вола и быка, восемь овец да еще дюжину ягнят, а уж птицы и не счесть сколько. Развлекали гостей наигрыши на арфе и волынке, на скрипке и трубе. Женщины затянули песню, и Мэри охотно подхватила.

Весь день до вечера, пока гости состязались в силе и ловкости, Роб знакомился с Калленами, Теддерами и Макфи. Одни понравились ему с первого взгляда, другие не понравились. Он старался не задерживать внимания на двоюродных братьях Мэри, которых был целый легион. Многие гости уже изрядно хлебнули и настойчиво звали жениха присоединиться к ним. Он, однако, поднял тосты за свою молодую жену, за детей, за весь клан, а дальше отшутился и пить не стал.

Вечером, когда пир был еще в самом разгаре, Роб ушел подальше от дома и двора, мимо овчарен, на свободу. Вечер был отличный — небо звездное, а воздух еще прохладный. Он вдыхал запахи луговых трав, а по мере того, как шум веселья затихал вдали, стал ясно различать блеяние овец, ржание лошади, шум ветра в холмах, журчание рек и ручьев, и показалось Робу, что из ступней его пробиваются тонкие корешки и вырастают в эту каменистую землю.

Отчего женщина то быстро зачинает новую жизнь, то подолгу не спешит — загадка. Мэри, родив двух сыновей, пять лет затем не могла зачать, и вот после свадьбы она снова затяжелела. Она стала не так нагружать себя работой, охотно обращаясь к кому-нибудь из мужчин, если дело было не таким легким. Сыновья не отставали от нее ни на шаг и выполняли несложные поручения. Легко было заметить, кому из сыновей предстоит стать овчаром: Робу Джею работа с овцами, казалось, то нравится, то не очень, а вот Там всегда охотно бросался покормить ягнят и выпрашивал разрешение принять участие в стрижке. Была у него и другая страсть, которая проявилась сперва в грубых линиях, нацарапанных прутиком на земле. Потом отец дал ему стержни из древесного угля и сосновую дощечку и показал, как можно изобразить при помощи этого разные предметы и людей. Робу не пришлось объяснять, что рисовать надо так, как есть, не опуская и изъянов.

На стене над кроватью Тама висел ковер с гербом царской династии Саманидов — подразумевалось, что принадлежит он Таму и получен в дар от одного перса, друга семьи. Мэри и Роб лишь один раз коснулись темы, давно загнанной обоими в самые отдаленные уголки памяти. Роб наблюдал, как Там гонится за отбившейся овечкой, и подумал, что мальчика совсем не обрадует известие об имеющихся у него в неисчислимом количестве братьях-чужеземцах, коих он никогда не увидит.

— Мы ему никогда не станем говорить.

— Он *твой* сын, — ответила Мэри. Она повернулась к мужу, обняла, а в ее утробе между тем росла Джура Агнесса, их единственная дочь.

Роб овладел новым для него языком, благо все вокруг говорили на нем с утра до вечера; Роб стал тоже говорить на гаэльском. Отец Домналл ссудил ему Библию, написанную ирландскими монахами на языке шотландцев. Как Роб выучил персидский язык по Корану, так теперь он овладел гаэльским по Священному Писанию.

В своем кабинете он повесил рисунки Прозрачного Человека и Беременной Женщины и стал учить сыновей по анатомическим чертежам, отвечая на возникавшие у них вопросы. Нередко один из сыновей, а то и оба сопровождали отца, когда он шел навестить больного человека или животное. В один из таких дней Роб Джей ехал позади отца на седле аль-Бурака к небольшой ферме, построенной на холме. В доме стоял тяжелый запах — там умирала Ардис, жена Острика.

Мальчик смотрел, как отец отмеряет и дает ей целебный настой; потом Роб смочил водой тряпицу и протянул сыну:

— Можешь обтереть ей лицо.

Роб Джей делал это нежно, с большой осторожностью обтирал растрескавшиеся губы. Когда закончил, Ардис сделала усилие и взяла мальчика за руки.

Роб видел, как ласковая улыбка сына сменяется совсем другим выражением: мальчик теперь понял, что произойдет, и это повергло его в смятение. Лицо покрылось бледностью. Роб заметил, как поспешно он оттолкнул руки женщины.

— Так должно быть, — сказал ему Роб. Он обнял сына за худенькие плечи и крепко прижал к себе. — *Так должно быть.* — А ведь ему всего семь лет, на два года меньше, чем было самому Робу. И Роб с удивлением осознал, что в его жизни замкнулся большой круг.

Роб утешил и подбодрил Ардис. А когда они вышли из дома, он взял сына за руки, чтобы Роб Джей ощутил жизненную силу отца и успокоился. Потом посмотрел сыну в глаза.

— То, что ты ощутил в Ардис, и та сила жизни, какую чувствуешь сейчас во мне... способность чувствовать такое — это дар Господа Бога. Добрый дар. Зла в нем нет, так что не пугайся. И не пытайся понять его сразу. Придет время, ты все поймешь. Главное — не бойся.

Лицо сына снова порозовело.

— Хорошо, папа.

Роб вскочил на коня, посадил позади себя сына и вернулся с ним домой.

Ардис умерла восемь дней спустя. После этого Роб Джей несколько месяцев не заходил в амбулаторию и не просился сопровождать отца, когда тот ехал к больным. Роб его не заставлял. Даже ребенок, считал Роб, вправе выбирать, хочет ли он соприкоснуться с человеческими страданиями.

Роб Джей пытался отвлечь себя тем, что вместе с Тамом пас овец. Когда это ему надоедало, он уединялся и шел собирать травы, проводя за этим занятием долгие часы. Он был мальчик любознательный.

Отцу, однако, он доверял безоговорочно, и настал день, когда он выбежал во двор вслед за собравшимся отъезжать Робом.

— Па, можно, я поеду с тобой? За конем присмотрю, еще что сделаю.

Роб кивнул и посадил сына в седло, за спиной.

Вскоре Роб Джей стал навещать в амбулаторию, и Роб стал снова учить его. А когда ему минуло девять, он по собственному желанию уже каждый день помогал отцу в качестве ученика.

* * *

Через год после рождения Джуры Агнессы Мэри произвела на свет еще одного мальчика, Натанаэля Робертсона. Еще через год был мертворожденный младенец мужского пола, перед погребением крещенный и нареченный Карриком Лайоном Колем, а затем последовали два выкидыша подряд, оба с осложнениями. После этого Мэри, хотя и была еще достаточно молода, больше не беременела. Роб знал, что это ее печалит, ибо она мечтала подарить ему много ребятишек, но он радовался и тому, что к жене постепенно возвращались силы и доброе расположение духа.

Однажды днем, когда младшему сыну шел пятый годик, в Килмарнок въехал человек в запыленном черном кафтане и похожей на колокол кожаной шляпе. В поводу он вел тяжело нагруженного осла.

— Да пребудет мир над тобой, — произнес Роб на наречии евреев, и у приезжего отвисла от удивления челюсть.

— И над тобою да пребудет мир, — ответил он.

Мускулистый мужчина с нечесаной рыжеватой бородой и загорелой в странствиях кожей; уголки рта поникли от усталости, а вокруг глаз залегли глубокие морщины. Звали его Дан бен Гамалиэль из Руана [\[217\]](#), и занесло его очень далеко от дома.

Роб поставил на конюшню лошадь и осла, дал приезжему воды — умыться с дороги, потом поставил на стол перед ним кошерную пищу. Роб обнаружил, что говорить на наречии

ему стало трудно, слишком многое позабылось, но прочесть благословение над хлебом и вином он смог.

— Так вы евреи? — спросил, глядя на все это с изумлением, Дан бен Гамалиэль.

— Нет, христиане.

— Тогда почему вы все это делаете?

— Мы тем выплачиваем очень большой долг, — ответил ему Роб.

Дети сидели за столом и не сводили глаз с человека, не похожего на всех, кого они доколе видели, и удивлялись, слыша, как отец произносит странные слова перед тем, как вкусить пищу.

— Когда поедим, можешь заняться со мной учением. — Роб почувствовал, как поднимается в душе волной позабытое уже возбуждение. — Может, посидим вместе над заповедями?

Гость пристально взгляделся в него.

— Весьма сожалею... но не могу! — Лицо у Дана бен Гамалиэля побелело. — Я не знаток закона, — пробормотал он.

Роб, скрывая разочарование, отвел гостя туда, где тот мог хорошо выспаться, как поступили бы в еврейском поселении.

Назавтра он поднялся очень рано. Среди вещей, взятых им из Персии, обнаружались еврейская камилавка, молитвенное покрывало и филактерии. Роб взял все это и пошел присоединиться к Дану бен Гамалиэлю на утренней молитве.

Тот, выпучив глаза, смотрел, как Роб повязывает на лоб маленькую черную коробочку, а кожаный ремень обвивает вокруг руки так, чтобы получились буквы непроизносимого имени Бога, наблюдал, как Роб раскачивается и читает нараспев молитву.

— Я теперь знаю, кто ты такой, — глухо произнес Дан бен Гамалиэль. — Ты был евреем, а стал отступником. Ты отвернулся от своего собственного народа, от нашего Бога, и продал душу другому народу.

— Да нет, это не так, — возразил Роб и тут же с сожалением увидел, что прервал молитву гостя. — Я объясню, когда ты завершишь молитву. — И с тем он ушел.

Но, когда вернулся, чтобы позвать гостя на утреннюю трапезу, Дана бен Гамалиэля уже нигде не было. И лошадь его исчезла. И осел тоже. Тяжелого груза не было видно, его увезли. Гость предпочел бегство тому, чтобы подвергать себя опасности заразиться ересью от еврей-отступника.

* * *

То была последняя в жизни Роба встреча с евреем. Больше он никогда их не видел и не говорил на наречии.

Он чувствовал, что персидский язык тоже быстро ускользает из его памяти, и однажды решил, что необходимо, пока окончательно не забыл всего, перевести «Канон» на английский, чтобы и впредь советоваться с Учителем. На выполнение этой задачи у него ушло невероятно много времени. Он без конца повторял себе, что Ибн Сина куда быстрее написал «Канон врачебной науки», чем Роберт Коль перевел эту книгу!

Иной раз он с грустью и сожалением вспоминал о том, что так и не прочитал все заповеди хотя бы один раз. Частенько думал об Иессее бен Беньямине, но постепенно

привык к исчезновению того — быть евреем, *таки да*, тяжело! — и почти перестал упоминать в разговоре былые времена и чужие края. Один раз Там и Роб Джей принимали участие в состязании по бегу — оно проводилось на холмах каждый год в день памяти святого Колумбана [\[218\]](#), — и Роб поведал им о бегуне по имени Карим, который некогда выиграл долгое удивительное состязание по бегу, называемое чатыром. Временами — как правило, когда приходилось заниматься бытовыми заботами, не минуящими ни одного шотландца: обмазывать свежей глиной овчарни, расчищать дорожки от наметенного снега, рубить дрова для очага, — он вдруг ощущал запах пустыни, остывающей после жаркого дня, видел, как Фара Аскари зажигает субботние свечи, слышал, как неистово трубит слон, устремляющийся на врагов, а то, бывало, с замиранием сердца вспоминал бешеную скачку-полет на длинноногом верблюде. Но постепенно ему стало казаться, что вся его жизнь протекла в Килмарноке, а что было прежде — то волшебная сказка, которую он слышал, сидя у очага зимним вечером, когда снаружи выла лютая вьюга.

Дети его росли здоровыми, менялись, а жена с годами становилась все красивее. Шло время, и лишь одно оставалось неизменным — его необычайное чутье, предвидение врачевателя, которое так и не покинуло Роба. Шел ли он ночью один на вызов к больному или же спешил по утрам в переполненную амбулаторию, он всегда чувствовал боль своих пациентов. Он торопился побороть их болезни, но всегда испытывал, как испытал в тот далекий первый свой день в маристане, безграничное удивление и безграничную благодарность за то, что оказался избранным, за то, что Бог простер руку и коснулся именно его, за то, что такая редкая возможность служить людям и облегчать их страдания выпала на долю ученика Цирюльника.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

БЛАГОДАРНОСТИ

Среди действующих лиц «Лекаря» лишь двое — Ибн Сина и аль-Джузджани — являются реальными историческими личностями. Шах по имени Ала ад-Даула существовал в действительности, но о нем сохранилось так мало сведений, что в романе его характер пришлось создавать по крупицам из того, что известно о целом ряде других персидских царей.

Маристан изображен здесь по описаниям средневековой больницы «Азуди» в Багдаде.

Почти весь колорит и очень многие факты, касающиеся XI столетия, для нас безвозвратно утрачены. И там, где источники не сохранились либо малопонятны, я без колебаний прибегал к своей фантазии. Таким образом, эта книга скорее является плодом воображения автора, чем точным изображением исторических событий, а все ошибки, серьезные или мелкие, допущенные мною из желания правдиво отобразить дух эпохи и различных стран, лежат на моей совести. И все же сам роман никогда не был бы написан, если бы не помощь целого ряда библиотек и отдельных лиц.

Я горячо признателен университету штата Массачусетс в Амхерсте и лично Эдле Хольм, сотруднице его межбиблиотечного абонемента, за то, что мне была предоставлена возможность пользоваться всеми библиотеками этого университета на правах преподавателя.

Ценным источником литературы по медицине и истории медицины стала для меня библиотека им. Ламара Суттера при медицинском центре названного университета в Вустере.

Колледж им. Смита любезно предоставил мне статус «ученого-краеведа», что позволило мне пользоваться библиотекой им. Уильяма Аллана Нельсона, а библиотека им. Вернера Джостена при Центре сценических искусств им. Смита оказалась прекрасным источником деталей, связанных с костюмами давних эпох.

Барбара Заленски, сотрудница библиотеки им. Белдинга в Эшфил-де, штат Массачусетс, помогала мне неизменно, сколько бы сил и времени ей ни приходилось затрачивать на поиск той или иной заказанной мною книги.

Кэтлин М. Джонсон, библиотекарь справочно-библиографического отдела библиотеки им. Бейкера при магистратуре факультета делового администрирования Гарвардского университета, прислала мне материалы по истории средневековых монет.

Мне также хочется поблагодарить библиотекарей и библиотеки колледжа им. Амхерста, колледжа Маунт-Холиока, университета им. Брандейса, университета им. Кларка, Медицинскую библиотеку им. Каунтуэя факультета медицины Гарвардского университета, Бостонскую публичную библиотеку и Бостонский библиотечный консорциум.

Доктор ветеринарии Ричард М. Джаковски, специалист по патологии животных в Новоанглийском ветеринарном центре университета им. Тафтса, расположенном в Норт-Графтоне, штат Массачусетс, провел по моей просьбе сравнительное изучение внутреннего анатомического строения свиньи и человека. Аналогичную услугу оказала и доктор философии Сьюзан Л. Карпентер, научный сотрудник Лаборатории Скалистых гор при Национальном институте здравоохранения в Гамильтоне, штат Монтана.

В течение нескольких лет я получал ответы на возникавшие у меня многочисленные вопросы по иудаизму у раввина Луиса А. Ризера из Храма Израиля в Гринфилде, штат

Массачусетс.

Раввин Филип Каплан из Объединения синагог Бостона объяснил мне в подробностях, как производится кошерный забой животных.

Магистратура географического факультета университета им. Кларка снабдила меня картами и сведениями по географии мира в XI веке.

Преподаватели кафедры классических языков колледжа Святого Креста в Вустере, штат Массачусетс, оказали мне содействие в переводах с латыни.

Роберт Рулофф, кузнец из города Эшфилда, штат Массачусетс, просветил меня насчет индийской синей узорчатой стали и познакомил с профессиональным журналом по кузнечному делу — «Эн-вил ринг».

Гувнер Фелпс из Эшфилда рассказал, как в Шотландии ловят лосося.

Патрисия Шартл Майрер, мой бывший литагент (ныне она на пенсии), неизменно меня подбадривала, как и нынешний литагент, Юджин Х. Виник из компании «Макинтош энд Отис, инкорпорей-тед». Именно Пэт Майрер предложила, чтобы я написал о династии медиков, в которой профессия передавалась от отца к сыну на протяжении многих поколений, и это предложение подвигло меня на написание продолжения «Лекаря» — книги, которая сейчас находится в работе.

Идеальным редактором — жестким и требовательным, любезным и всегда готовым помочь — оказался Герман Голлоб из издательства «Саймон энд Шустер». Благодаря ему публикация этой книги многому меня научила.

Лайз Гордон помогла с литературной редакцией рукописи, а также оказала мне большую дружескую моральную поддержку, наряду с Джейми Гордоном, Винсентом Рико, Майклом Гордоном и Уэнди Гордоном.

А критически замечания, как всегда, исходили от Лоррен Гордон, как и мягкое убеждение, настойчивость и большая любовь, за которые я ей неизменно благодарен.

Эшфилд, штат Массачусетс,

26 декабря 1985 г.

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Ср. русский перевод этого аята (стиха) И. Ю. Крачковского: «...те, которые не слышат тебя сердцем, не принимают твоего призыва, ибо мертвы их сердца, и сами они, как мертвые. Аллах воскресит их в Судный день, и будут они к Нему возвращены, и Он спросит с них за то, что они делали». *<emphasis>*(Здесь и далее примеч. пер.)

Этельред II Неразумный (968—1016), англосаксонский король Англии в 978—1013 и в 1014—1016 гг., из Уэссекской династии. После его смерти Англией на протяжении 26 лет правили датчане.

Йомены — в средневековой Англии: свободные земледельцы, имевшие привилегию служить в королевской армии и носить оружие.

Мастер — в средневековой Англии: обращение к состоятельным ремесленникам, купцам и незнатным дворянам.

Женский вариант обращения «мастер».

Первая британская лондонская когорта (*лат.*). Когорта — подразделение римского легиона.

Рабом (*лат.*).

В Средние века в Европе и на Руси: форма выкупа за пролитую кровь (убийство или тяжкое увечье человека, равного по социальному положению).

В предшествующие десятилетия датчане взимали с Англии дань, в 1013 г. ненадолго захватили страну, а в описываемый период (с 1016 г.) вся Англия находилась под властью датского короля Кнуда Великого.

В Средние века «хирурги» ограничивались исключительно кровопусканиями; это не требовало особой учености и обычно входило в обязанности цирюльников. Лекарь же получал образование, почему его услуги и ценились гораздо дороже.

Т. е. гнойное.

Хлорид ртути, используемый как кишечный антисептик.

Небольшой городок в нынешнем графстве Кембриджшир; основан во второй половине X века.

Так англосаксы называли датчанина Кнуда Великого.

Incitatus — «быстроногий, проворный» (*лат.*). По свидетельству античных авторов, император Калигула (правил в 37—41 гг. н. э.) возвел этого коня в сенаторское звание. В императорском Риме консулы избирались, а не назначались.

Берсерками называли воинов-викингов, отличавшихся в бою особой яростью. В данном случае слово обозначает викингов вообще.

Свен I Вилобородый — король Дании с 986 по 1014 гг. В разные периоды правил также Норвегией и Англией.

Шериф — в англосаксонский период: представитель королевской власти в графстве.

Здесь: помещение для общих собраний монахов.

Общая спальня в монастыре.

Исход, гл. 22, ст. 18. В Средние века это изречение широко использовалось католической церковью для оправдания «охоты на ведьм».

Витенагемот (букв, «совет мудрейших», *др.-англ.*)— в англосаксонский период: совет знати, избиравший короля в случае отсутствия бесспорного наследника и дававший королю советы по важнейшим государственным делам.

Эрл — титул высшей англосаксонской знати, впоследствии соответствовал титулу графа; тэны — военно-служилая знать англосаксонского периода, предшественники будущих рыцарей. За службу король жаловал их земельными владениями.

В те времена — представитель королевской власти на местах.

Отмечается 15 июля. В Англии с давних пор существует поверье, что погода в этот день определяет и следующие 40 дней: будут они дождливыми или сухими.

"Жизненная сила» (*лат.*; вымышленное название растения).

Здесь и далее стихи в переводе Ю. Поляковой.

Старинная мера веса, около 12,7 кг.

Дартмур — район на юго-западе Англии, в графстве Девоншир.

Отмечается у католиков 29 сентября.

Bridge — мост (*англ.*).

Один из наиболее распространенных христианских гимнов; написан в начале VIII века; входит в состав католической мессы и англиканской литургии (на английский язык переведен в сер. XIX в.); в православной традиции называется «Слава в вышних Богу», но английский текст заметно отличается от русского. Исполняется по воскресным и праздничным дням.

Пс. 8, ст. 3; Матф., 21:16.

Из католического гимна *Conditor alme siderum*, написанного в VII в.; пер. А. Куличенко и М. Линьковой.

Испытание каленым железом состояло в том, что подозреваемый нес голой рукой раскаленный докрасна железный брус весом в 1,5 кг. Если он не получал ожога, это считалось ниспосланным свыше знаком его невиновности. Получение ожога служило доказательством того, что Бог подтверждает вину подозреваемого. Эти испытания проводились под руководством священников, так как рассматривались в качестве «Божьего суда».

Район низменных болотистых равнин на востоке Англии, в графствах Кембриджшир, Линкольншир и Норфолк. Болота подверглись осушению в XVII-XIX вв.

Викарий: в католической церкви — помощник епископа; в данном случае — второй священник большого прихода, помогающий основному.

Брундизий (совр. Бриндизи) — древний город в Италии, важный порт на Адриатическом море, центр торговли с Грецией. Аппиева дорога соединяла Рим и Брундизий. Преторианцы — императорская гвардия в Древнем Риме.

Анахронизм: титул герцога, как и классические феодальные замки, появятся в Англии после норманнского завоевания, примерно через полвека после описываемых в данной главе событий; сословие йоменов — землевладельцев, не зависимых от сеньора — сложится в Англии еще позднее.

Кнуд, который был одновременно королем Англии, Дании и Норвегии, для удобства управления страной во время своих частых отлучек разделил Англию на четыре княжества, во главе которых поставил эрлов из традиционной англосаксонской знати. Это обеспечило прочность его престола, так как никто из эрлов не мог завладеть тронном в одиночку, а сговориться им мешало соперничество.

Я — римлянин (*лат.*).

Вал (или Стена) Адриана сооружен римлянами в 120—123 гг. н. э. для обороны северной границы провинции Британия (где еще не было ни англов, ни саксов) от набегов пиктов из Каледонии (где еще не поселились скотты, будущие шотландцы). Протяженность от реки Тайн до реки Солуэй — около 120 км.

Имеются в виду первые представители староанглийских бульдогов (ныне вымершей породы): *англ.* bull — «бык», dog — «собака».

В оригинале название созвучно английскому слову «веселый» или «жизнерадостный».

Старинная мера длины: расстояние от кончика отставленного большого пальца до кончика отставленного мизинца.

Христианские церкви, в т. ч. и католическая, относят гнев к числу семи смертных грехов, но эти грехи влекут за собой «гибель бессмертной души», а не смертную казнь как таковую. До конца VI в. смертных грехов насчитывалось восемь, со временем и характер грехов, и порядок их перечисления подвергались пересмотру. Смертной казнью в Англии в разные периоды Средних веков карались различные преступления, но прежде всего шесть: убийство, разбой на дорогах, кража на сумму свыше одного шиллинга (12 пенсов), участие в мятеже, изготовление фальшивой монеты, поджог.

Гаэльский (или гэльский) — язык кельтской группы, на разных диалектах которого говорят шотландцы и ирландцы.

Requiescat in pace — «Да упокоится с миром» (*лат.*), обычная надпись на надгробиях, цитата из католической заупокойной молитвы (реквиема).

Англ. *cross* значит «крест», но может быть и сокращенной формой слова *crossing*— «переправа».

Из «Од» римского поэта Горация. Часто переводится как «Лови момент».

Брохот (брахот, берахот — «благословение», *др.-евр.*) — в иудаизме: первый трактат Талмуда. В узком смысле: благодарственная молитва, возносимая за трапезой — перед каждым блюдом в отдельности.

См. Левит, гл. 11; Второзак., гл. 14.

Роберт II Дьявол (ок. 1000—1035) — герцог Нормандии в 1027—1035 гг. Отец Вильгельма Завоевателя.

За семь лет до описываемых событий, т. е. в 1023 г., герцогом Нормандии был Ричард II, отец Роберта.

Отель-Дье («Божий приют») — крупнейшая и старейшая больница Парижа, основана в середине VII века.

Речь идет об обострении политического соперничества между Папой Римским и патриархом Константинопольским, а также об углублении расхождений по вопросам вероучения между Западной (католической) и несколькими Восточными (православными) церквями. В 1054 г. это привело к окончательному расколу среди христиан: папский легат предал анафеме (вечному проклятию) восточных патриархов, а те взаимно прокляли легата и перестали признавать какой-либо авторитет Папы Римского.

Константинопольский патриарх — старший среди четырех восточных патриархов.

Имеются в виду земли, фактически или номинально подчиненные Багдадскому халифу, в отличие от Кордовского халифата в арабской Испании.

В Англии: жест, призывающий говорить тише, по секрету.

Англосаксонское руководство по медицине, составленное в X в.

Знаменитый в раннем Средневековье врач-грек, практиковавший в Риме в VI в.

Греческий хирург и акушер VII в.

Гай Плиний Секунд, или Плиний Старший (23—79) — автор энциклопедической «Естественной истории».

Другое название кровопускания.

В средневековой демонологии: демон или дьявол в женском обликии.

Кнорр — торговое и грузовое судно викингов, построенное по тому же типу, что и боевые ладьи-драккары; могло идти на веслах или под одним прямоугольным парусом.

Трирема — гребное судно с тремя рядами весел; в период классической античности — основной тип боевых кораблей Средиземноморья.

Каракка — большое военное или торговое судно с малой маневренностью, зато вместительное; с конца XV века получили распространение трехмачтовые испанские каракки, сыгравшие важную роль на начальном этапе Великих географических открытий.

Английское название пролива Ла-Манш.

В Средние века — главный мясной рынок тогдашнего города Лондона (совр. Лондонского Сити).

Мец — город в Лотарингии, недалеко от границы между Францией и Германией.

Тевтоны — древнегерманское племя, разбитое римлянами в конце II в. до н. э. Позднее название стало применяться ко всем германским племенам в целом.

Ландграф — титул феодалов в средневековой Германии; примерно соответствовал титулу маркиза в других странах Западной Европы.

Современный город Брно в Чехии.

В Средние века в Германии: обозначение свободного человека. Роб поначалу принимает это за имя.

Денье (от названия римской монеты «денарий») — мелкая серебряная монета в средневековой Франции и германских княжествах. По весу соответствовала английскому пенни (240 денье — 1 фунт серебра), но чеканилась из серебра более низкой пробы. В разные века ее вес и качество существенно менялись.

Современная Анкара, столица Турции.

Шотландское пренебрежительное прозвище англичан, от искаженного слова «сакс».

Гуаньхуа — официальный язык Китая, возникший на основе пекинского диалекта и обогащенный некоторыми другими северными диалектами китайского. Европейцы именовали китайских чиновников «мандаринами», отсюда и принятое в Западной Европе название языка.

Совр. город Кайфэн в КНР, в провинции Хэнань. Осн. в IV в. н. э., период наибольшего расцвета пришелся как раз на описываемый здесь XI век, когда этот город (по оценкам совр. ученых) был самым большим в мире — его население составляло 600—700 тыс. чел.

Возникло в 843 г. после раздела наследия Карла Великого. Название перестало употребляться во второй пол. X века, когда распространился термин «Германское королевство».

В иудаизме: небольшой бассейн для ритуальных омовений. Букв, «собрание вод» (*др.-евр.*).

Дорога (*лат.*).

Как известно, Коран написан по-арабски, и только арабский текст признается в исламе священным, поэтому изучать по нему фарси или любой другой язык невозможно. Вероятно, в данном случае речь идет об изложниц Корана в учебных целях для иноязычных мусульман, а также для пропаганды среди тех, кто желает принять ислам. Автор заимствовал данную цитату из аналогичного пособия на английском языке.

1 англ. стоун — 14 фунтов или 6,34 кг.

Современное название — Шипкинский перевал.

Раввин.

В иудаизме: пренебрежительное название всякого иноверца.

См.: Бытие, гл. 17, ст. 10—14.

См. Второзак. 6:9.

В русских текстах их часто обозначают греческим словом «филактерии», т. е. «охранные амулеты».

Второзак., гл. 6, ст. 6,8.

Дозволенной пищи.

Потомки Левия (одно из 12 колен древнееврейского народа) — по традиции выполняли функции священников в иудаизме с древности. При этом они делились на прямых потомков Аарона по мужской линии (когенов), которые занимали старшие должности в храмах, и остальных (собственно левитов), выполнявших вспомогательные функции при богослужениях.

Так названа в др.-евр. оригинале Библии одежда из смеси льна и шерсти.

Второзак., гл. 22, ст. 11.

Двенадцатый месяц иудейского календаря (согласно Библии), с 20 февраля по 24 марта.

Песнь песней, 6:2.

Это название употреблено автором для удобства читателей: территория нынешней Турции входила тогда в Византийскую империю, а первые турки (сельджуки) появились в ее восточной части лишь через 20—25 лет после описываемых событий.

Шотландское название устья реки Клайд вместе с морским заливом, в который она впадает.

Граница между Болгарским царством и Византийской империей.

Ок. 30 м.

Автор допускает анахронизм: Византия в силу географического положения всегда была связана с восточным колоритом, но турецкие слова в то время там еще не употреблялись. Город стал турецким Стамбулом с караван-сараями и прочим лишь в 1453 г., через четыре века после описанных здесь событий.

На самом деле Греция ко временам императора Константина уже пять веков находилась под римским владычеством. Византий был маленькой рыбацкой деревушкой, на месте которой Константин в 324—330 гг. н. э. основал вторую столицу своей обширной империи.

Такую картину Роб мог бы наблюдать через полвека после описываемых событий. В 1030-е гг. Византия полностью контролировала всю Малую Азию, и даже арабский султан Северной Сирии признавал себя вассалом империи.

В римских банях (термах): помещение для укрепления организма и снятия усталости. Температура — от 35 до 45 градусов.

Цицит (цицес) — сплетенные пучки нитей (часто шерстяных), которые надлежит носить мальчикам и мужчинам, прикрепив их к одежде, имеющей четыре угла, на каждом из этих углов. В частности, цицит является атрибутом молитвенного покрывала.

См. Чис., 15:38—39.

Вежливое обращение к мужчине в Турции.

Имеется в виду Армянское нагорье.

Еврей (на иврите).

У мусульман: религиозная школа. В широком смысле — вообще учебное заведение.

Пожелание счастья, удачи (*др.-евр.*).

Это турецкое название одного из районов Стамбула появилось через 425 лет после описанных здесь событий. В XI веке этот район Константинополя назывался Хрисуполисом.

Небольшое грузовое судно, распространенное в Турции и Иране до начала XX века. Перевозило до 6 человек и до 16 тонн груза.

Букв. «изюминка» (*арабск.*).

«Алла экбер» — турецкое произношение арабск. «Алла акбар» — «Велик Аллах».

Автор, вольно или невольно, пародирует мусульманские молитвы, обычно начинающиеся с шахады: «Нет бога (божества), кроме Аллаха (т.-е. единого Бога). И нет у Аллаха пророка, кроме Мухаммеда, Посланника Аллаха». За этим нередко следует басмала: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, велик Аллах!» Молитву можно повторять много раз но полностью, а не отдельные фразы, как в тексте романа.

Сельман, перс по происхождению, близкий сподвижник Мухаммеда, исповедовал ранее зороастризм и принадлежал к прославленной школе мудрости в городе Балхе. Считается, что благодаря ему нарождающийся ислам обогатился рядом философских доктрин зороастризма, древней религии Персии.

Тюркские племена, которые впервые упоминаются в византийских хрониках с сер. XIV века.

Букв. «Если будет на то Божья воля» (арабск.) — ритуальное молитвенное восклицание, примерно соответствующее выражениям «Дай Бог!», «С Божьей помощью».

В каноническом русском переводе Библии эти слова находятся в 19 и 20 стихах названной главы.

Самое большое озеро на Ближнем и Среднем Востоке. Находится на сев-зап. Ирана.

Лонцано явно преувеличивает: в одной английской пяди было 9 дюймов, или 22,8 см. Иными словами, длина тела льва с хвостом составляла бы свыше 10 м.

Ис.,60:1.

Шахиншах («царь царей») — древний титул правителей Ирана (Персии), окончательно упраздненный лишь в 1979 г.

Зимми» (ед. ч.; множ. «ахль аль-зимма», «люди договора», арабск.) — общее название немусульман: христиан, зороастрийцев, иудеев и проч., проживавших в мусульманских странах. Им гарантировались защита жизни, имущества и вероисповедания, а в обмен они признавали руководящую роль ислама во всех сферах жизни общества и уплачивали специальный налог, однако освобождались от общего налога, выплачиваемого государству мусульманами. «Людьми Книги» (арабск. «ахль аль-китан») в Коране названы иудеи, христиане и сабеи, поклонявшиеся единому Богу и имевшие Писание («Книгу»).

Муниципий (*лат.*), в Римской империи: второй по значению класс крупных городов, пользовавшихся определенными привилегиями.

Навуходоносор (правил в 605—562 гг. до н. э.) — царь Вавилона. Покорил многие земли, в т. ч. Иудею. Разрушил первый Иерусалимский храм (Храм Соломона), а пленных иудеев угнал в Вавилон на восстановление древнего зиккурата (башни-храма) Этеменанки высотой в 90 м, что дало толчок библейской легенде о Вавилонской башне (см. книгу пророка Даниила).

Йездигерд I Предатель (правил в 399—420 гг. н. э.) — шахиншах Персии из Династии Сасанидов. Покушался на привилегии зороастрийского духовенства.

Хазан (кантор) в иудаизме примерно соответствует священнику в христианских церквях. Отправляет службы в синагоге.

Устад — мастер (уважительное обращение в Персии). Аль-Джуджани — известный персидский врач, ученик и сотрудник Ибн Сины, оставивший подробные записки о жизни и деятельности учителя.

Почетный титул перед именем тех, кто совершил хадж — поклонение святыням Мекки.

В странах ислама: система права, основанная на Коране.

Духовное лицо, наделенное правом выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Калантар — в феодальной Персии выборный городской голова (в Исфагане назначался шахом). В современном Иране — начальник городской полиции.

У мусульман традиционным днем отдыха считается пятница.

Титул высшего мусульманского духовенства.

Сура 109, аяты 2—3, 6. Перевод с арабского И. Ю. Крачковского.

Начальник дворцовой стражи.

Четверг.

Седьмой месяц исламского лунного календаря, один из четырех священных месяцев, в течение которых Пророком запрещены войны и распри.

Хаким — лекарь, врач (*перс.*). Почтительное обращение, как современное «доктор».

Древнее название реки Амударья.

Древнее название территории нынешнего Азербайджана.

То есть из стран, номинально признававших главенство Багдадского халифа.

Кордовского халифата, власть которого простиралась на Испанию и отдельные районы Северной Африки.

Абу Зейд Хунейн ибн Исхак аль-Абади (809—873) — выдающийся арабский ученый и медик.

Латинское слово *cataracta* означало «водопад», от греческого *kataraktēs*— «падающий вниз».

Автор не употребляет привычных для нас названий элементов костюма восточной женщины: халат и чадра.

Большая площадь (*перс.*).

Примерно 2,5 м.

Горшок (*лат.*).

Эксмут — приморский город в графстве Девон, на юго-западе Англии.

Кум — город в Иране; известен с V века, славился производством гончарной посуды и ковров.

Имеются в виду Янцзы и Хуанхэ — крупнейшие реки Китая.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря; отводится строгому посту — от утреннего намаза (молитвы) на рассвете до пятого намаза на закате.

Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази (850—923) — выдающийся багдадский врачеватель, родом из Персии. В Европе его называли Разес.

Накш-и-Рустам, или Накше-Рустам — место захоронения царей из династии Ахеменидов (VI — IV вв. до н. э.), однако там есть скальные рельефы, высеченные и гораздо раньше (ок. 1000 г. до н. э.) и позднее (III IV вв. н. э.). Находится в провинции Фарс, в 6 км от древней столицы страны, Персеполиса.

Раби-уль-авваль («первый раби») — третий месяц мусульманского лунного календаря. В этом месяце родился Пророк Мухаммед. В исламе летосчисление ведется от хиджры — переселения Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Ягриб (ныне город Медина), 16 июля 622 г. по летосчислению христиан. Иными словами, дело происходит в конце 1034 г.

«Второй раби», четвертый месяц мусульманского лунного календаря.

Иисус Христос родился. Иисуса Христа распяли. Иисуса Христа во гроб положили
Аминь (*лат.*).

Мусульманское право, основанное на коранических текстах. Применяется поныне в ряде исламских стран.

Сборник хадисов — рассказов о жизни и деяниях Пророка Мухаммеда, нечто вроде мусульманского Евангелия. Ислам разделяется на два больших течения: суннитов, признающих сунну, и шиитов, не признающих ее святости. Последние составляют, в частности, подавляющее большинство населения Ирана.

Начальник лекарей (*перс.*).

Как известно, Пророк не владел грамотой. Услышанные им откровения, составившие Коран, были записаны в разное время его учениками — первыми последователями ислама. Собственно Коран как единая книга был составлен из этих записей лишь при втором халифе, Омаре.

Имеется в виду столица Хорезма (ныне город Ургенч в Узбекистане).

Использовался в качестве учебника в европейских университетах вплоть до XVII века.

Римская миля равнялась 1000 двойных шагов (148 см), т. е. почти полутора километрам.

Примерно 186,5 км, более четырех современных марафонских дистанций.

Катафракты (букв, «закованные в броню», *др.-греч.*) — воины тяжелой конницы Александра Македонского. Название попало на Средний Восток после его завоеваний.

Аббасиды — династия халифов (750—1258), потомки Аббаса, дяди Пророка Мухаммеда.

Махмуд Газневи (970—1030) — султан государства Газневидов (Афганистана) с 998 г. Покорил Восточную Персию, юг Средней Азии, Хорезм, часть Индии. Умер до описываемых здесь событий.

Авва — отец (*др.-евр.*).

Распространенная в Средние века на Востоке жвачка: смесь листьев перца бетель и измельченных семян пальмы арека с небольшим количеством извести. Возбуждающее средство.

Арабское название пересыхающих рек в пустынных и полупустынных районах.

Пс., 23:1-6

Главный труд ар-Рази (букв. «Объемлющая (книга)»). Охватывает все сферы тогдашних медицинских знаний.

Притч. 5:3. Мирдин намекает на продолжение: «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый».

В этом случае, по понятиям иудаизма, молитва считается коллективной, а не индивидуальной.

Множ. ч. от слова «мицва», т. е. «повеление, приказание» (*др-евр.*).

Длинный медицинский нож с узким лезвием.

Хирургический инструмент для удаления омертвевших тканей, наростов и проч. из полостей.

Армянская апостольская (или армяно-григорианская) церковь основана в 301 г. епископом Григором. По форме службы близка к православию, Папе Римскому не подчинена, но исповедует монофиситство, как и христианские церкви Эфиопии, Египта и Сирии. Это направление было осуждено как еретическое еще Халкидонским Вселенским собором в 451 г. В городе Эчмиадзин находится резиденция главы церкви — патриарха-католикоса всех армян.

Сура 2 (Корова), аяты 30, 31.

Сура 38 (Сад), аят 26.

Мансура — небольшой город в северо-западной Индии, ныне в пакистанской провинции Пенджаб.

Второзак., гл. 21, ст. 22—23.

Автор, говоря об «уважении» к телу казненного, умышленно опускает окончание 23-го стиха: «...погребѣ его в тот же день, ибо проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел».

Анкус — главный инструмент дрессировки и управления слоном; представляет собою короткое (до полуметра) копьё с толстой рукоятью и крюком (багром) у острого конца. Изобретен в Индии на рубеже VI и V вв. до н. э., с тех пор применялся повсеместно.

У азиатских слонов самки никогда не нападают на самцов, поэтому слонихи нигде не применялись в качестве боевых животных, только как тягловые.

Могель (*др.-евр.*)— в иудаизме: человек, который совершает ритуальное обрезание.

Брит-мила — еврейское название обряда обрезания.

Джей — первая буква английских имен Джеймс и Джереми.

Китаб аш-шифа (*перс.*), «Книга исцеления».

Крица — свежая глыба вываренного железа, идущая далее для отжимки, проковки и обработки в полосовое и другое железо... (*Словарь В. И. Даля*).

Лазурит, или ляпис-лазурь — ценный поделочный камень. В те времена добывался в горах Армении, позднее был обнаружен в Германии и других странах.

Выделения мускусных желез бобра; впоследствии на их основе станут изготавливать касторовое масло.

Горьковатая смола из корней некоторых азиатских растений.

Горькая на вкус и имеющая запах лука смола, получаемая из корней растений семейства зонтичных.

Бобовая культура с мелкими семенами.

Брахма, Шива и Вишну — три главных бога индуистского пантеона.

Так сами китайцы называют Китай.

Женщина (лат.).

Авл Корнелий Цельс (ок. 25 г. до н. э. — 50 г. н. э.) — римский философ и врач. Из его обширных трудов до нас дошли немногие, в т. ч. 8-томное сочинение «О медицине», упоминаемое Юсуфом в следующей фразе.

Гарольд I (1015—1040) — король Англии в 1035—1040 гг. Прозвище Заячья лапа получено в юности за быстроту в беге и охотничье искусство. В те времена во многих странах Зап. Европы побочные дети монархов (бастарды) занимали престол при отсутствии законных наследников. Гартакнут (Гадикнут, Хардекнуд; 1019—1042) — король Англии в 1040—1042 гг., был не старшим, а младшим братом Гарольда.

Путешествия по суше и по морям (*лат.*).

Одно из богословских расхождений между Римом и Константинополем состояло в том, что католики на Западе считали: Святой Дух равно исходит от Отца и от Сына, — тогда как православные полагали, что Святой Дух исходит только от Отца, но только через Сына. Православие, таким образом, разграничивало членов Троицы по степени важности, а католицизм считал Иисуса равным Богу-творцу. Право же священников иметь семью, принятое в православии, было впоследствии одним из требований Реформации и ныне признается подавляющим большинством протестантских церквей.

Этелинг» на англосаксонском буквально значило «отпрыск благородной крови». Так обычно называли в тот период принцев, особенно наследника престола. Альфред был законным сыном короля Этельреда Неразумного и мог претендовать на престол. В 1042 г. королем Англии стал его родной младший брат Эдуард, прозванный Исповедником. Они приходились единоутробными братьями Гартакнуту, сыну короля Кнуда Великого (Канута), так как матерью всех троих была королева Эмма. Гарольд же приходился Гартакнуту сводным братом по отцу, т. е. единокровным, а в родстве с Альфредом и Эдуардом не состоял.

День архангела Михаила, который отмечается католической церковью 29 сентября, а православными церквями 21 ноября.

Ханука, или Праздник огней — иудейский религиозный праздник в память освящения жертвенника иерусалимского Храма после освобождения его братьями Маккавеями. Как правило, приходится на декабрь общепринятого календаря.

Ординарий (в католической и совр. англиканской церквах) — епископ, пользующийся правами судьи.

Морской порт на северо-востоке Англии.

Аббат и пресвитер (*лат.*), т. е. совмещал функции настоятеля монастыря и священника.

В католической церкви викарий — помощник епископа, отвечающий за часть приходов епархии или за определенные вопросы управления ею. Здесь речь идет именно об этой должности. В совр. англиканской церкви термином «викарий» обозначаются обычные приходские священники.

В греческой мифологии фуриями назывались богини мщения.

Отмечается всеми христианскими церквями 2 февраля, но по разным стилям (у православных церквей это обычно 15 февраля, т. е. 2 февраля ст. ст.).

Ок. 13 кг.

Крупный город в Северной Франции.

Колумбан (или Колумба; ок. 521—597) — ирландский миссионер, обративший в христианство живших в то время в Шотландии пиктов. Считается «апостолом Шотландии». На острове Айона сохранились развалины основанного им монастыря.